353221
К

Габит Мусрепов

ИЗБРАННОЕ

84Каз7
С(Каз)2
М9

Вступительная статья
Георгия Ломидзе

Художник
В. Горячев

М $\frac{4702230200-184}{028(01)-82}$ 92-82

© Вступительная статья, состав, оформление. Издательство «Художественная литература», 1982 г.

Северо-Казахстанская областная
БИБЛИОТЕКА
ПЕТРОПАВЛОВСК

355221

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

...И вот опять сошлись и теснят друг друга яростные соперники — два богатых аула: располагаются у ручья Майкудук на очередную стоянку по пути к осенним стойбищам. Белые юрты пока не поставлены. Целое лето что ни день размахивали камчой, каждый вдали воинственно топырил крылья — узки были для них даже широкие просторы Куланотпеса и Кудайменды. А теперь сбились на клочке земли не больше ладони, уперлись спина в спину. Что их свело?

Два бая — два давнишних врага всегда летовали подальше один от другого. Чтобы кто из них к кому в гости поехал — о том и речи быть не могло. А сегодня к вечеру, словно сговорившись, примчали на Майкудук. Стали у единственного тут ручья, плечо к плечу, будто братья-друзья, которые и жить не могут врозь. Но что брови у обоих насуплены, о том давно известно всей округе, всей Сарыарке.

В один час сошлись! Едва с востока, извиваясь длинной пестрой змеей, показался одетый коврами верблюжий караван Игилика, западную сторону степи заволок семнадцатитысячный табун бая Жумана. Волнистое, длинное облако пыли, повторяющее очертания верблюжьего кочевья и само похожее на огромного верблюда, столкнулось и смешалось над ручьем с кипящей пыльной метелью, поднятой копытами множества лошадей.

И вот уже плотная туча накрыла целый край. Еще утром степь лежала в тихой дреме, раскинувшись будто спящая девушка. А теперь многотысячный беспредельный табун залил ее, и она заколыхалась, как море. Казалось, низины стали глубже, холмы — приподнялись. Начисто, словно бритвой, снимая низкую в этом году траву боз, не-

терпеливо отфыркиваясь от пыли и мошкары, туча лошадей шла, как степной пожар.

Жатаки — бедняки, обреченные из-за нехватки вьючного скота вечно сидеть у своих зимовок, теперь спешно готовились откочевать. Там, где только что торчали, подобно одиноким могилам, их черные юрты, недвижно лежат верблюды. Юрты, уже навьюченные на их горбы, придают животным вид древних развалин. К верблюдам жмутся козы, такие разномастные, такие пестрые, будто хозяин специально раскрасил их себе в утешение: где две козы — кажется будто их четыре; где их пять — видишь десяток, а где больше пяти — там уже пестреет целое стадо. Сквозь решетку шанырака — купола разобранной юрты — блестят черные глазенки запеленатых младенцев. Слышится требовательный плач. Но женщинам не до них. Худые, с темными от ветров, изломанными жизнью лицами, они мечутся, подбирают свой нехитрый скарб: хромой очаг — треножник, безносый куман.

Фырканье лошадей приближалось. Дыхание богатства теснило бедняцкий аул, подобно вихрю сдувало его.

Бай Жуман нагнал голову своего кочевья лишь у ручья Майкудук. Двенадцать дней шел, как на поводу, за Игиликом — пытался разгадать планы соперника. Задержался было на Шерубай-Нуре, рассчитывал: «Уж здесь-то боднемся». Но длинная вереница зеленых арб врага — в каждой пара верблюдов — ходко прошла дальше в сопровождении множества всадников.

Надеялся Жуман, может, Игилик на речке Сокыр споткнется, но напрасно — зеленые арбы и здесь не остановились.

И вот — Майкудук... Бай Жуман спешился, закинул поводья па луку, чембур заткнул за пояс. Сел прямо у ног длинного карего коня, нахмуренный, гневный. Приказал тотчас же ставить белую юрту, теперь сидит наблюдает, готовый сорваться, накричать. Старшая жена, байбише Копей, двигается неторопливо, но повода для придирок не дает — с пятнадцати лет замужем, успела изучить характер Жумана. Дело спорится: одни воздвигают юрту, другие в это же время прибирают вещи, обставляют юрту внутри. Но трудно в суматохе не сделать промаха. И бай Жуман ждет. Оба — и муж и жена — напряженно следят друг за другом.

Жуман — человек известный. На Алтай-Карпыке всяк знает этого бая: ростом низок, но плотный, литой. Каждый

палец, как пест, ноги — лопаты. Удивителен его подбородок — голый, никогда на нем не вырастала ни единая пушинка. Такой гладкий, что, как говорится, и подкованный конь поскользнется. Оттого, видно, бурая борода Жумана растет не как у всех людей. Начинается где положено — у висков, спускается по отвислым щекам, тоже не нарушая естественных правил. Но, встретив подбородок, как бы спотыкается о его гладь и пропадает. Выходит снова уже под кадыком: спутанная, сизая — не борода, а лежалая шерсть. Лицо невыразительное, тусклое, как стертая монета. Но брови выдают характер: они как бы упали на глаза, наполовину прикрыв их, и никогда не поднимаются.

Жуман сидит — злой на всех и на себя. Никак ему не удается подловить байбише, сорвать гнев. И вдруг слышит: смех! Оттуда, со стороны располагающегося рядом враждебного аула. Пронюхали, что ли, что Жуман кипит, не в себе? Насмехаются, наверно... А тут еще мухи и мошкара. Так и липнут к голому подбородку.

Откуда-то выскочили волкодавы Игилика, на глазах у Жумана мгновенно изодрали в кровь его любимых псов. Один из них забился в не покрытую еще юрту. Жалобно смотрит на хозяина сквозь стенную решетку — кереге, скулит. Жуману досадно и больно.

— Уа! Гони, гони табун дальше! Не соседа земля — моя! — крикнул он показавшемуся вдали табунщику. Во весь голос крикнул: пусть услышат эти весельчаки в ауле Игилика.

И только тут впервые взглянул в их сторону. Взглянул и обомлел. Этот Игилик всегда придумает что-нибудь такое, обо что обязательно споткнется глаз. Жуман не просто удивился — ужаснулся...

Бий Игилик только что закончил поездку по аулам. Заботы о перекочевке предоставил сыновьям, а сам с небольшой группой людей навестил аулы, расположенные по эту сторону Улытау. Ему были рады всюду. Кто мог ожидать — такой важный бий, отец двоих волостных управителей, владелец двенадцатитысячного табуна и вдруг удостоил визитом бедных родичей. У Игилика для всех нашлось слово. Тем, кому сопутствовала удача, пожелал: «пусть и дальше так будет», того же, кто потерял близкого, утешал: «да помолится за нас в раю». Разбирал, как положено бию — судье, обиды, улаживал споры. Ездил долго. Много голов склонялось перед ним, много бород согласно кивало. «Хитрые ноги», заподозрив нечистое, сле-

тались к Игилику, как мухи на сладкое: что-то здесь кроется, неспроста приехал сюда знатный бий. Но как ни задирали хитрецы уши своих засаленных тымаков, выведать ничего не удавалось. С тем же и ушли, с чем прибыли.

Игилик отдыхал позади воздвигающейся новой юрты. С ним все, кто сопровождал его в поездке: хожа Куренкоз, ловкий Омар — правая рука Игилика, акын Нысаналы, благородный тёре Жумабек, бий Боздах, караванщик Ибрай и сирота Сеит, набалованный жиен — племянник Игилика. Нежноликая токал Айганша носится, гибкая, будто порожняя по весне змея, — что муж прикажет, повторять не придется. Двенадцать дней не видались, даже весточки от Игилика не было, а все у нее готово: ковры и одеяла постланы, золотистый кумыс взболтан и подан в посеребренном тазу — тегене. Все что надо и ничего лишнего. Можно подумать, заранее знала, где и в какой час ожидать мужа.

Гости Игилика, услышав окрик Жумана, слегка смутились. Сам же бий и краешком глаза не повел.

— Да, да, продолжайте, — поощрил Игилик хожу. Куренкоз давно уже щекотал языком нёбо, в удивлении взирая на возносящуюся к небу юрту.

— Да, хожеке, продолжайте, продолжайте, — поспешили поддакнуть хозяину его друзья. Они давно привыкли пастись там, где укажет бий.

— Батшагар! — вскричал в изумлении хожа и продолжал, заикаясь, словно школьник, запамятовавший слова молитвы: — Аллах свидетель, такой юрты свет не видал! Орда Аблая — степной дворец его — и то из девяти крыльев сложили. А у вашей — двенадцать крыльев! Да это же минарет!.. Сравнится разве только с куполом султана Кожахмета! — Он взглянул на готовый уже остов юрты.

Хожа Куренкоз — один из старейших соратников Игилика. Было время, спас он однажды бия от неминуемой гибели. Подстелил свою почтенную бороду под ноги грозного султана Кенесары. Отвел беду, нависшую над головой Игилика. Но это было давно, много лет назад. Теперь Куренкоз пробавляется тем, что кинет ему бий от своих щедрот. Стал послушным спутником, преданным слугой Игилика. Одно желание теперь у хожи — сделаться с помощью своего покровителя уездным имамом.

Игилик равнодушно внимал похвалам. Он знал им цену. Да и манера у бия такова: никогда не обнаруживал своих чувств.

Новая юрта Игилика и верно была такой большой, что глаз о нее действительно не мог не споткнуться. Каждое из двенадцати решетчатых крыльев кереге с трудом развернули четыре жигита. Купол юрты — шанырак поднимали в два приема. Сначала положили на кереге, а затем на четырех высоких шестах с трудом подняли вверх. В это же самое время верховые жигиты, улучив мгновение, воткнули тонкие гнутые ууки верхними концами в шанырак, а нижние закрепили на кереге. Такой величественной юрты никто из гостей Игилика еще не видывал. Не удивительно, что Жуман ужаснулся, заметив, как необычно крепят ууки к шанраку.

Сборку остова закончили. Не покрытая еще юрта предстала во всей своей внушительной красоте.

— Ууки какие! Наполовину из золота, наполовину из серебра! — продолжал восторгаться Куренкоз.

— Что вы, хожеке, ни к чему нам такая роскошь. Краска просто. Под золото, — скромничал Игилик.

— Краска? Тогда, пожалуй, из Бухары? Такие краски, слыхать, только в Мекке можно найти да еще в Медине и Бухаре. Поздравляю! А как в белую кошму оденут, купол будет виден за десятки верст. Не зря имя ваше Игилик. Счастья вам, Игилик! [1]

— Поздравляем. Вы для нас всегда загадка, хоть мы с вами и не расстаемся. Видно, пора такая пришла. «Волк постарел, глаз потускнел». Не успеваем за быстрым веком... — уныло сказал бий Боздах, выдавая затаенную в душе давнюю обиду.

— Только что заранее не говорю. А так нет у меня дела, чтобы через вас не прошло. — Игилик улыбнулся бию Боздаху и закончил с таким расчетом, чтобы друзья разнесли его слова по степи: — Мы не потомки тёре. Не хотел я этой юрты. Говорил: ни к чему нам, простым людям, такая роскошь. Но сыновья не послушались, хожеке. Что сделаешь, век ведь их, не смог удержать.

Игилик до сих пор сидел спиной к юрте. С последними же словами повернул свое тяжелое тело, глянул мельком на остов.

— Боялся, получится громоздко, нескладно. Вижу, выходит ничего.

Свита приняла последние слова за сигнал. Не смели присоединиться к похвалам хожи Куренкоза, не зная, как

---

[1] Игилик — благо, счастье.

отнесется к этому Игилик. Теперь пустились расхваливать, возносить до небес и без того высокую юрту.

Слова «мы не потомки тёре» заставили Жумабека двинуться на месте. Он сидел, спокойно перебирая тонкими пальцами костяшки кулака. Теперь рука его потянулась к холеным усам — ведь единственный здесь потомок тёре — он, Жумабек. Но, не коснувшись усов, упала. Должно быть, почувствовал тёре в словах Игилика намек, больно кольнувший аристократическую гордость. Однако гордость эта давно брошена под зад Игилика. Аристократ стал стремянным, склонился перед толстой сумой.

Рос когда-то Жумабек стройный, прямой, как тополь у ручья, где вдосталь и воды, и света, и пищи. Тяжелый труд не касался его, печали и лишения шли мимо. Все это теперь в прошлом. Благодатный ручей давно обмелел, и тёре постепенно увядал. Весь облик его тронула бедность. На одежде новыми были только заплаты. На лицо легла унылая тень. О прежнем благоденствии напоминали лишь суконный чапан да посеребренный пояс — все, что осталось от знатных предков. Мог ли он теперь дать отпор бию с тугим карманом? И ответ в голове был уже готов: «Построил высокую орду — думаешь, сам сделался ханом?..» Но тёре молчал.

И в самом деле, возводя эту необычную юрту, Игилик имел свой расчет. Он и остов деревянный заказал не кому-нибудь, а самому Сандыбаю — знаменитому мастеру из далекой Есили. За работу пообещал десять кобылиц, каждую с сосунком-однолеткой. И остальное все приобрел там же, в Есили, — от мелованного войлока до самой последней мелочи. Привезли это сюда, к ручью Майкудук, на шести зеленых арбах. Ставить юрту приказал в среду — в счастливый день недели. И в среду же к условному часу заявился сам с большой группой людей.

Давно носил в душе мечту — воздвигнуть небывало высокую белую юрту. Такую высокую, чтобы ууки соединять с шаныраком не иначе, как с коней. И чтобы люди обязательно это увидели, сидели бы и удивлялись, глядя, как собирают это чудо. Разве не полетит слава о владельце такого чуда по всей степи? И вот мечта сбывается.

О чувствах Игилика никто не догадывался. Он сдержан, невозмутим, все еще не подходит к юрте, даже не смотрит на нее.

— Пейте, хожеке! — поворачивает голову к Куренкозу и только тогда бросает незаметный взгляд на свое чудо.

Внутри у него что-то теплеет — но только внутри. Достойные отца сыновья тоже не произнесли ни слова.

Зато Омару, управляющему Игилика, не сидится. Все дела по созданию юрты прошли через ловкие руки «блистающего» Омара. Ему не терпится услышать похвалу. Рядом сидит акын Нысаналы. Его нарочно пригласили, чтобы воспел новую юрту. Омар торопливым шепотом, но так, чтобы услышал Игилик, подгоняет акына:

— Что молчишь? Или челюсти омертвели? Хочешь, чтобы опередили тебя? Говори, если есть что сказать.

— Не неволь, Омар, аксакала. Акын устал с дороги. Заметил я, жестковато идет его конь. Дай отдышаться. Пусть сначала хоть голову сунет в юрту... А там, захочет, может, и споет что-нибудь для байбише[1]. — Игилик добродушно рассмеялся.

«Жестковато идет конь его, — смекнул старый акын.— Не иначе, собирается подарить иноходца!» Ордабай, старший сын Игилика, тоже точно так понял эти слова и отметил для себя как приказ.

— Давно не слагаю песен, но раз просит Омаржан... — Акын взялся за домбру.

Слаб был акын, любил подарки, но сочинять хвалы с ходу не умел. Не помог и намек бия — петь для Айганши, не понял старик. Принялся рыскать вокруг купола султана Кожахмета, — дальше хожи пойти не смог. Не нашел иного сравнения. Припустил длинной скучной рысцой, странствуя по давно прошедшим и нынешним временам. Вконец измучился, проскакал по всей необъятной степи. Никто не помог бедняге, не остановил. Обычно бий, если хотел прервать чью-то речь, подавал знак кашлем. На этот раз знака не было, бий молчал. Акын кое-как дотрусил наконец до благословений — обычной концовки. И, спотыкаясь, теряя надежду на иноходца, остановился.

— Мой биеке был прав: устал я, не в голосе, — сказал акын и в досаде отбросил домбру. Отбросил, а не прислонил к стене, как положено.

Балованный жиен Сеит, который полулежал за Омаром, притянул его ухо к себе:

— Ишь заважничал, — сказал то ли об Омаре, то ли об акыне.

---

[1] Айганша — токал, то есть не первая жена, не байбише. Но она любимая жена. Игилик называет ее «байбише», признавая за ней право старшей жены.

Акын жалко моргал — часто-часто. Что за пение у него получилось? Да и могло ли быть иначе? Разве пел он — бродил вокруг, вилял, уходил от правды. Высказать свою мысль не смел, а слов, угодных хозяину, не нашел.

Игилика с Нысаналы связывало одно давнее и тайное дело. В свое время, страшась виселицы, Игилик последовал за кровавым Кенесары. Примкнул тогда же к султану и Жуман, но тот шел по своей воле. Игилик плелся где-то в конце большого потока. Перегоняя свои табуны, подолгу задерживался: то на берегах Сарысу, то у реки Чу. Когда же пришла весть, что волк пал от руки смелого киргиза, Игилик, не медля ни часу, повернул обратно. Повернул без колебаний, ведь пошел не своей волей. Но смута сулила трофеи. От них Игилик отказаться не мог. Пока опомнились те, что силой были угнаны вперед, Игилик успел значительно умножить свои табуны — затаврил семь тысяч чужих лошадей.

Об этом преступлении Игилика знает акын Нысаналы. Он даже сложил в свое время стихи по этому поводу: не стихи — плач правды. Давно не поет тех стихов акын — запрещено. И все-таки Игилик не был спокоен. Душа его до сих пор содрогается от слов поэта: «ненасытный, жадный», «кровавые ноги», «ночной вор, оседлавший дорогу». Если бы не эти стихи, бий Игилик и думать забыл бы про то позорное время. Стихи, стихи напоминали. Тогда ведь все принялись пинать вора. А он, уличенный, скулил, как собака, вертелся, молил о пощаде. Понятно, почему бий держал акына при себе: опутал длинным арканом и пустил гулять стреноженного. Ныне акын — певец растущей славы Игилика.

Старому бию Боздаху любой поступок Игилика внушал опасения. И теперь он сидел, не в силах развязать узел сомнений, возникший в душе. Эта странная поездка! Игилик ничего не объяснил, просто взял Боздаха с собою — и все. Пока ездили, он то чтил Боздаха — уступал ему место во главе дастархана, то, в другом ауле, усаживал старого бия ниже себя, располагался на почетном месте сам. А вот все, что случилось сегодня, было неожиданным не только для Боздаха. Ведь Игилик ни разу не заикнулся, что его аул снялся с жайляу. И вдруг сегодня утром неизвестно откуда свалился этот ловкач Омар и заявил: «Аул бия будет после обеда на Майкудуке!»

Семнадцать дней назад вместе с Игиликом они выехали из его аула, а теперь снова оказались в ауле Игилика!

Не удивлялся только сам Игилик. Остальные вспомнили вдруг о своих аулах, забеспокоились: пора бы и им откочевать.

В пути они слышали, что со стороны Актау и Ортау движутся большие табуны. Во встречных бедняцких аулах жатаки держали лошадей на привязи — это Боздах сам видел. Значит, чего-то ждали, опасались, как бы поток байских кочевий не унес и их лошадей.

— Сказать «ваши» — не можем. Ваши табуны, кажется, еще не снялись с Ортау, — нащупывали почву некоторые из свиты. Игилик неизменно отвечал:

— Мои табуны не двинутся. Может, это идут табуны Жумана?

И вот оказалось: аул Игилика уже ждет их здесь, весь в сборе, на новом месте.

Весть, привезенная Омаром, удивляла и другой своей стороной.

— Почему на Майкудуке? Ведь ваш аул никогда не останавливался тут. Здесь и места с ладонь, и кругом голый такыр... Как тут дойных коров держать? — удивлялись спутники. Игилик отвечал загадочно:

— Моих сыновей выдумка. Узнали, что Майкудук отходит к казне. Вот и решили попользоваться: «Попасем хоть немножко».

Бия Боздаха насторожили слова «земля отходит к казне». Он чуял что-то недоброе. Но старые глаза разучились проникать глубоко.

Чугунно-коричневое лицо Игилика ничего не выдавало. Все та же невозмутимая широта, те же радушные объятия, никаких следов чего-то необычного, затаенного. Кочует ли аул на жайляу, двигается ли на осеннее пастбище, — хозяин идет в то место, куда гонит его «зуб скота», — вот все, что мог прочитать старый бий на лице Игилика. Спросить же прямо не смел ни он, ни кто другой из свиты...

Про Игилика не скажешь — высокомерный, гордый. Никто никогда не слышал, чтобы бий повысил голос, посмотрел холодно, сердито. Но весь вид его говорил о могучей силе, о власти. Чугунногрудый, с медвежьим затылком. Цепкие волосатые пальцы созданы, чтобы хватать. Брови прямыми крыльями резко приподняты над глазами. Двинет слегка бровью, чуть блеснет белком глаза, и достаточно — все затихнут, словно на похоронах. А хожа Куренкоз так начинает дрожать, что хруст в его суставах

сливается со стуком четок, которые набраны из мелких, словно мышиный помет, камешков. Но Игилик в последнее время забыл показывать и эти ничтожные признаки силы. Хорошо сознавая свою власть, он придерживал поводья могущества. Приказы его похожи на просьбу, приговоры звучат примиряющим словом. Посмотреть со стороны — такой скромный, в пору удивляться: как до сих пор не растащили его добро?

Не только бий Боздах, но и все приближенные ломали голову над поведением Игилика. В дороге он часто уединялся, то с бием Боздахом, то с хожой, то с тёре. Но разговор шел исключительно о делах попутных аулов. В свои планы хозяин никого не посвящал.

За всю поездку бий ни разу не прилег на ночь в чужом ауле. Обычно с вечера останавливался в какой-нибудь юрте и всю ночь проводил в беседах. А чуть рассветет — предлагал: «Покроем по холодку часть пути?»

Все тотчас же соглашались. Хожа дрожащими пальцами принимался завязывать тесемки чекпена. Его глаза покраснели от бессонных ночей, в уголках собрались желтые зернышки. И когда хожа по старой привычке шарил взглядом в чужой юрте, его спутникам приходила на ум мышь, которая снует с зернышком проса в зубах. Игилик не жалел даже таких глаз...

Если и приходилось заночевать, то только вдали от аулов, на безлюдном берегу реки или ручья. Постель Игилика проста: седло — под голову, потник — под себя. Лежит — не шелохнется. А спит или не спит — никто не знает. Сколько представлялось случаев поговорить по душам. Но Игилик никому не открылся. Всех держал на одинаковом расстоянии: ни близко, ни далеко.

«Знаю я тебя, хитроумного, — думал про себя хожа. — Хоть и величаешь меня хожой, а сам к благородному тянешься. Наверно, тайну свою тёре открыл».

«Зачем ему открывать тайну перед тёре, которого сам превратил в стремянного? Что я могу? Скорее всего с хожой поделится. Тот хоть поможет при случае заткнуть рот смутьянам. Прикроет именем бога все, что ни затеет Игилик», — так рассуждал тёре Жумабек.

А в душе бия Боздаха теплилась слабая надежда. «Не задумал ли породниться с моим аулом? Может, из моего аула новую токал хочет взять?»

Однажды в дороге с глазу на глаз Игилик спросил Боздаха:

— Бозеке, ваши предки, кажется, кочевали у подножия Нильды?

Старый бий не умел заглядывать далеко, ответил спроста:

— Нет, биеке. Мои предки кочевали по Карамуруну... А как отняли его у нас тёре, с того времени около вас кочуем.

Игилик помолчал немного, показывая, что ответ не понравился.

— Напрасно, Бозеке, принимаете болтовню людей за слова Корана. Нильда — земля ваших предков, ваша земля. Хотите — могу бумаги составить.

Игилик приоткрыл перед Боздахом какой-то краешек. Краешек чего? Этого бий Боздах так и не понял. Положить поперек седла Нильду — против такого дела старый бий, конечно, ничего не имел. Но не скрывается ли тут подвох? Может, Игилик захочет, чтобы Боздах полностью осел в Нильде? Нет, это все равно что лечь и никогда больше не встать. Так сплетались в голове бия Боздаха надежды и тревоги.

Однако друг перед другом и хожа, и бий, и тёре — каждый делал вид, что только он один посвящен в замысел Игилика. А тот, хорошо зная их повадки, держал чаши весов в равновесии, следил, чтобы ни одна не перетянула.

Вот так, сами не понимая зачем, оказались спутники Игилика на Майкудуке.

Всходила полная луна. Щедро обливала голубоватым светом уже одетую в кошмы высокую белую юрту. И юрта будто еще выросла, поднялась к самым звездам. На фоне темно-синего неба, блестящего от множества звезд, юрта стояла, как бы увитая сверкающим ожерельем. Игилик не торопился ввести гостей внутрь. Пусть люди увидят юрту во всей красе, налюбуются вдоволь, чтобы сами захотели славословить. Хожа Куренкоз первым угадал желание бия. Вздернул бородку вверх.

— Батшагар! Что за красота! Эта юрта в лучах луны прекрасна. Звезды будто для нее созданы!..

Игилик поднялся. Поднялись вслед за ним и гости.

— На Майкудуке в этом году и правда только голый такыр, пустыня! Боюсь, от пыли глаз скоро не сможем открыть, — заметил он Омару, шагнув к юрте.

Для Омара слово, брошенное Игиликом, — приказ. Тотчас повернулся к своим жигитам, распорядился о чем-

то глуховатым голосом, и жигиты уже на конях. Гости медленно, торжественно вышагивали, будто ко входу в мечеть. А разбойники Омара тем временем вынырнули из-за юрт в ночную степь. И вот уже громко застучали по спинам лошадей сверкающие соилы, отбрасывая от аула табун Жумана.

Настоящая красота юрты открылась только внутри, когда вошли в нее. Гостей ослепил свет четырех висячих ламп. Таких больших ламп еще не видели в казахской степи. Торжественно поблескивали золоченые ууки. Они распирали расшитую черным бархатом белую кошму. Вход сторожили четыре посеребренных вешалки — адалбаканы. Это нарушало привычный порядок. Обычно адалбаканы стояли на почетном месте. На них навьючивали все, чем мог гордиться хозяин: посеребренные седла, ценную сбрую, бобровые шапки, лисьи малахаи. У Игилика все удивляло. Прямо против двери над почетным местом висел коричневый ковер. В обе стороны от него по решетчатым кереге шли до самого входа голубые персидские ковры. Они были одинаковы и по размеру и по цвету, точно их сделали на заказ. Мягкие ворсистые ковры пружинили под ногами, ведя к почетному месту. Все вещи, казалось, радостно улыбались гостю. Груз их не чувствовался в просторной юрте.

Игилик даже не взглянул на всю эту роскошь. Повесил камчу и верблюжий чекпен на рогульку адалбакана и прошел мимо к приготовленному для него высокому месту, сложенному из нескольких одеял.

Хожа — совсем как черепаха из панциря — напряженно вытягивал из-за множества воротников худую, всю в складках дубленую шею. В скользящих по ковру мягких кожаных сапогах он еле добрался до почетного места и сел правее и ниже Игилика. Тёре Жумабек замешкался у входа — старался разгладить руками помятые долгой верховой ездой штаны. Гости смутились. Здесь, в этой роскошной юрте, они как-то сразу уменьшились. А когда сели на места, стали похожи на приземистые куманы.

Понемногу люди кое-как пришли в себя. Хожа снова принялся за похвалы. На этот раз Игилик перебил его:

— Юрта казаха — вещь недорогая, хожеке. Все дело в том, что думаем больше о скоте, чем о себе. Разве каждый казах не в состоянии поднять над собой подобную юрту? Шерсть у нас под ногами валяется, зря пропадает. И потом, как мы содержим нашу юрту. Не важно, белую или

черную! Все в нее тащим. Тут и помои, и телята, и жеребята, и шкуры, снятые с падали, — все держим там, где сами живем... Только в одном не ленимся: пить кумыс да мясо есть, а до остального нам дела нет. Вы восхищаетесь этой юртой, а ведь она не стоит избы русского мужика-однолошадника. Ничего мы не умеем, только хвалимся, кичимся по всякому пустяку.

Сияя вошел Омар. Он присел, поджав ноги, и уставился на Игилика. Докладывать не стал, только по обыкновению моргнул слегка. Игилик знал, с чем на этот раз придет Омар, и прислушался. Сквозь беспорядочный топот лошадей, треск соилов донесся монотонный перестук приближающейся рессорной коляски. Игилик посветлел. Омар быстро подполз к нему за спинами гостей.

— Этот «трехстрастный»... Уже тут, пройдоха. Все, пес, пронюхает.

— Кто это?

— Турсынбай...

Тень улыбки тут же исчезла с лица Игилика.

— Иди туда! — шепнул Омару.

Туда — значит, в юрту старшего сына Ордабая, волостного управителя. У него, по распоряжению Игилика, должны были остановиться гости, приехавшие на рессорной коляске.

2

Аул Жумана располагался суматошно, беспорядочно — по старинке. Причиной всей суеты был сам бай Жуман. По старинке же вся тяжесть по устройству на новом месте ложилась на плечи байбише Копей.

Едва Жуман вошел в юрту, лопнула черная саба — кожаный бурдюк для кумыса...

Место для юрты выбрали в спешке бугристое. Прямо под почетным седалищем хозяина оказалась яма...

Свалился вдруг на голову Жумана адалбакан, плохо прикрепленный к ууку...

И в довершение всего пришел Сеит. Будет теперь на правах жиена, которому все дозволено, важничать, приставать с глупыми шутками. Сеит приходился жиеном не только аулу Игилика, но и аулу Жумана — по линии байбише Копей.

И с табунами сегодня творилось что-то непонятное.

С тех пор как стемнело, все не смолкают удары курука и топот копыт... Зачем они там гоняют косяки с места на место?

Раздраженный Жуман раздумывал, что же выбрать, к чему прицепиться, чтобы покрепче досадить жене. И тут байбише Копей сама вдруг попалась ему в руки, попалась безнадежно...

— Принеси-ка мельницу, намелем муки на куймак,— попросила она доильщицу Кунше, самого близкого ей здесь человека. Копей надеялась, что муж смягчится, успокоится, услыхав про свой любимый куймак — оладьи.

Кунше вернулась с пустыми руками.

— Апасы-ау, на каком она верблюде? Не нашла я.

Дальше Жуман терпеть не стал.

— Не нашла? Съел ее кто-нибудь, наверно! Проглотил! — И накинулся на байбише. — Разве разыщешь твое пряталище?! Голова не знает, что руки делают. Есть хоть в голове твоей мозги?

Он наговорил бы еще кучу обидных слов. Собственная ярость задушила, стала поперек горла: захлебнулся, захрипел.

В каком вьюке находится ручная мельница, знал только Жуман. Он загонял прислугу при откочевке, сам во все вмешивался. И мельницу сам бай велел погрузить, сам и верблюда указал. Однако сейчас он и не думал облегчить поиски. Наоборот, радовался, что нашлась хорошая зацепка, — можно как следует сорвать на байбише злость.

И тут перед самой юртой затопал иноходец, что-то тяжелое грохнуло оземь. Это подскакал известный веселыми выходками Байжан. Против всех правил приличия подъехал к самому входу. «Много себе позволяет! Что там еще придумал этот бешеный?» — забеспокоился Жуман.

— Заждался, видно, Жумеке самовара. Разве закипит у вас. Подбрось-ка вот этого, сразу забурлит! — желая угодить хозяину, хлопотал у входа Байжан, развязывая мешок.

Но сегодня ничто не могло смягчить гнева Жумана.

— Бешеный дурак. Со своим углем чуть не на голову лезет. Думает, для него закона нет, — рассвирепел еще сильнее.

Перед юртой поочередно то пели, то стихали два самовара: и правда никак не могли закипеть вплоть до сумерек. Байжан набил до отказа трубы обоих самоваров

каменным углем из своего мешка и размашистым шагом вошел в юрту.

Байжан приходился близким родственником Жуману. Человек он был непосредственный и часто откалывал такое, что никак не укладывалось в понятие о степных приличиях. Поэтому и прозвали его «бешеным Байжаном». А Жуману он несколько раз так насолил, что тот теперь до самой смерти не простит. Жуман слыл в народе большим скрягой. Как раз о таких в степи говорят: «Кулак у него никогда не разжимается». И вот Байжан, имея в виду это свойство родственника, как-то задал ему вопросец: «Сколько скота думаешь с собой на тот свет захватить?» Эта шутка до сих пор гуляет в народе. А прошлой осенью заявился с такой речью:

«На короткой веревке узлов не завяжешь... Своего скота нет, так я зарезал одну из твоих жирных кобылиц — не обидишься? Рассчитаемся углем».

Жуман, не долго думая, отнял у родственника единственного иноходца, а самого выгнал вон из юрты. На другой день весь аул потешался над баем. Куда там кобылу — даже мыши Байжан у Жумана не тронул. Пришлось баю вернуть обидчику лошаденку.

С тех пор Жуман не терпит Байжана, не хочет и видеть его. А тот так и вьется вокруг аула. Вот, например, сейчас, с какой стати так рано снялся с жайляу? Обязательно ему надо лететь за Жуманом? Досадовал бай и на то, что Копей-байбише чересчур приветлива с родственником.

Байжан разрешает себе и такие шутки:

— Дал бы мне аллах право совершать обрезание, уж я бы не ошибся, угадал бы точно, кому из вас быть мужем, а кому женой.

Байжан, погрузив на двух верблюдов свой небогатый скарб и всю семью, долго догонял кочевье бая Жумана. Сегодня утром наконец добрался сюда и сразу же отправился отдать баю долг уважения. Да и узнать заодно, где тот намерен ставить аул.

— Зачем тебе знать? Боишься, твои угодья потравлю, которых нет? Или, может, в соседи мне метишь?

Жуман говорил резко, не хотел подпускать насмешника к своему аулу.

Байжан в долгу не остался.

— Ну и пропадай тут... Родич твой поедет к своему колодцу, там и остановится.

Есть два места, которые называют колодцами Байжана. Один — обычный колодец, Байжан выкопал его вместе со своими детьми в ложбине, заросшей низким караганом. Служит он для питья и водопоя. Рядом торчит, как тымак шамана, сарай, а возле него чернеет вход в землянку.

Однажды, было это три года назад, сынишка Байжана Апак в полуверсте от колодца нашел кучку блестящего угля, его выбросил из норы сурок. Мальчик позвал отца. Разрыли вдвоем сурочью нору, угля там оказалось видимо-невидимо.

— Если каменный уголь, созданный аллахом, выбросил сурок, который тоже создан аллахом, а сурка поймал аллахом же созданный сын Байжана с помощью собаки, которая тоже — творенье аллаха, значит, по милости аллаха, хозяином этого угля должен быть ваш хозяин и отец.

Так Байжан объявил себя собственником месторождения угля.

С тех пор повелось: каждую осень Байжан щедрой рукой отпускал родственникам, с которыми дружил, мешки угля. Но тем, кто пытался нагрузить углем целую арбу, подгребал только пыль да крошку и притом жаловался: кончается, мол, уголь.

Нора сурка превратилась в большую яму. Опасаясь жадного глаза, Байжан огородил яму караганом, а вход прикрыл колесом. Вот уже три года зовут люди то место: «Байжанов колодец».

Сегодня, поставив наскоро маленькую юрту, Байжан забросил на своего Куцего мешок с углем, и забыв утреннюю неудачу, снова отправился к Жуману. Он знал, что подарок обрадует байбише Копей. А ей он любил угождать. Ведь она всегда так приветлива с Байжаном. Да и как ему в одиночестве торчать тут у колодца. Привык ведь на людях. Все лето прожил бок о бок с многолюдным аулом. Тянуло поболтать с байбише. Думалось, Жуман с дороги, устал, наверное, спит. А Жуман — вот он, сидит надутый. Под лампой блестит его плешивый подбородок.

Байжан подсел к баю. Из добрых чувств — думал разговором развлечь немного хозяина, рассеять гнев.

— Ты, кажется, Жумеке, не собирался располагаться здесь, смотрю — располагаешься? — мягко спросил, усаживаясь пониже, хозяина.

— Расположился. Если можешь, прогони! — огрызнулся Жуман.

— О, кто же посмеет мешать вам, разве только Игилик? — вскричал Байжан, показывая, что он всецело на стороне Жумана.

— Ты это скажи своему брату, Игилику. Знаем, как ты обхаживаешь его. — Жуман лег и больше не произносил ни слова.

— Вы два сильных бая. Ну и бодайтесь себе сами. А я не желаю быть той мухой, что попала меж двух верблюдов, когда они терлись боками, — Байжан отвернулся и тоже лег.

— Проглядел аллах, когда творил этот просторный мир, — повернулся к Байжану юный Сеит. — Не позвал на свет ни одного представителя из рода Алтай-Карпык. Создай он для каждого из обоих моих нагаши две Улытау, два Балхаша, две Нуры и два Майкудука, не было бы этих скандалов каждый год.

— Ничего, распря твоих нагаши приходит к концу. В этом крае останется только один из них, — ответил Байжан, нарочно цепляя хозяина.

— Дня не пройдет, я его выброшу! — вскипел Жуман. — Увидишь. Натравлю свои табуны, до рассвета весь этот край станет как после пожара! Погляжу, как он не откочует! — Бай снова отвернулся.

Жуман высказал свою заветную мечту. Срочно снимаясь с жайляу вдогонку за Игиликом, он уже имел в голове этот замысел. Остановится бок о бок с соперником, напустит на него свои семнадцатитысячные табуны, уничтожит корма, напылит, и придется бию Игилику покинуть край. Этот бий много власти взял! Ступит ногой на землю — земля его. Жуман вытеснит зазнавшегося бия и из Майкудука и из Букпы. Узкая мысль Жумана, выбрав однажды этот путь, утвердилась в нем и окаменела.

Байжан давно проник в план бая и жалел этот аул.

— Значит, рассчитываешь на свои табуны? Думаешь, Игилик испугается, уйдет? О себе лучше подумай. Игилик не привел сюда даже дойных кобыл. Знаешь ты это? Его табуны остались на Сокыре. Смотри, как бы самому не пришлось сняться.

Жуман, будто по голове хлопнули, вскочил. Неужели Игилик опять перехитрил его? В бреднях этого бешеного пса есть что-то похожее на правду...

— Что болтаешь, десятый день, как табуны Игилика

снялись с Ортау! Что же, он намерен сидеть тут без кумыса, без коней?

— Когда ты их видел, табуны шли сюда. А как только ты проехал — завернули обратно. Коней и дойных коров он собирается пасти у реки, — поддержал Байжана Сеит.

Жуман ослеп от ярости. Эти двое подосланы врагом!.. Знали все и молчали! А теперь смеются над ним. Он заорал:

— Что вам дать, чтобы не переступали больше порога моего дома?!

— Так не выпроваживают жиена, — оскорбился Сеит, но Жуман в ярости перебил его:

— О несчастный прихлебатель, сирота бездомный! Что тебе еще сказать, чтобы ты убрался вон? А ты, бешеный пес, уйдешь хоть, если прокляну на вечное одиночество?!

Сеит, словно больной, тяжело поднялся с места и, пошатываясь, пошел к двери. Очень обидно было слышать: «несчастный прихлебатель», «бездомный сирота». Он ведь уже взрослый жигит! Никто никогда не говорил ему подобных слов. А тут прогнали, как мальчишку.

— Пусть я буду жертвой твоей, жиен мой, жеребеночек! — кинулась Копей-байбише за Сеитом. Но никакая ласка теперь не могла остановить его. Только бы не упасть, только бы силы не изменили — скорее выйти отсюда.

А Байжан не собирался оставаться в долгу.

— Не я, сам подохнешь в одиночестве! — огрызнулся, вставая. Он хотел было выложить баю всю обиду, все высказать, что думает о нем. Сейчас заявит, что порывает с этим аулом навсегда. Но не сказал.

Посмотрел на байбише Копей и пожалел ее.

В это время вдруг, чуть не рыдая, вбежала в юрту Кунше. Что за напасти навалились на этот дом! У нее случилась своя беда:

— Вытек!.. Вытек серебряный самовар!..

Дочь ее Назыкеш с другой девушкой из прислуги внесли большой серебряный самовар. Нижняя часть его напоминала разбитый сапог пастуха. Полированная грудь пошла разноцветными пятнами. Он так сплющился и покосился, что нельзя было поставить на землю. Девушки держали его, стоя в растерянности посреди юрты. Лицо Жумана начало как-то странно меняться, пошло пятнами, грозя стать похожим на его несчастный самовар.

Эта вещь была гордостью дома. Ставили его лишь для особо важных гостей. Обычно держали в почетном углу на специальном костяном шкафчике — кебеже. В лихую годину, когда люди Кенесары чуть не разграбили Жумана, бай прежде всего позаботился о спасении серебряного самовара. И сегодня, развьючивая имущество, Копей вдвоем с Кунше прежде всего внесли в юрту самовар и водрузили на кебеже. Но Жуман остановил их, раскричался. Сегодня он желал пить чай из серебряного самовара.

Видно, юрта Игилика не давала ему покоя. Надо было показать, что и у него, Жумана, тоже кое-что есть. Серебряный самовар! Вся юрта Игилика не стоит такого замечательного самовара.

— Бережете, чтоб на моих поминках кипятить его? — завопил Жуман на жену. — Может, это ты получила его в приданое от своей родни?

К обидным словам мужа Копей не привыкать. Но вот одного она никак не может вынести: трескучий, срывающийся на визг голос Жумана эхом и дребезжаньем отзывается во всех вещах, кроме разве наполненной до отказа кумысом сабы. И Копей, спасаясь от этого голоса, поспешила вынести самовар за дверь. Налила воды, насыпала, как положено, жару. А то, что случилось дальше, натворил Байжан со своим углем. Погубили самовар!.. Смотреть на него нельзя: посинел, опух, напоминает обмороженное лицо человека.

— Пусть пропадет твой уголь. И сам ты пропади под твоим углем! — проклинал Жуман Байжана. Байжан, который только что был готов дать баю отпор, теперь сник — почувствовал вину. Рта не открыл, вылетел на улицу. Только уже вскочив на Куцего, зашептал себе под нос:

— Шайтан с твоим самоваром. Слабее моего чугунного кумана оказался. Мой покраснеет до самой ляжки, а знай шумит, посвистывает. Что из того, что серебряный! Кому нужна такая непрочная посуда? Одного кипячения не выдержал!

Байжан шептал тихо, так, чтобы в юрте не услышали. И коню будто передалось настроение хозяина — побежал от байской юрты, мягко, ни разу не фыркнув.

Жуман подскочил к самовару, с ходу ударил ногой. Крышка, звеня, взлетела и разбила стекло висячей лампы. Пламя испуганно запрыгало и осело. В юрте стало

темно. Еле различимо лицо байбише Копей, застывшей печально у сабы. Блестят, не мигая, широко открытые глаза Кунше. Сливается с темнотой почерневшее от злости лицо Жумана. В юрте мертвая тишина. Отчетливо слышны жалобное ржание отбившихся от табуна жеребят да грызня псов где-то на границе между аулами. Около байбише стоит Назыкеш, молча обнимает ее. Боится: вот-вот Жуман схватится за камчу. Но Жуман окаменел, видно, задумался...

— Отец, что с тобой творится? Неужели нельзя хоть раз без скандала?! — укорил, входя в юрту, Кошкарбай, старший сын Жумана.

Жуман бессильно опустился на место, равнодушный ко всему. И опять в юрте все надолго затихло.

Вдруг вблизи послышался конский топот. Загалдели возбужденные гневные голоса. Донесся стон.

Копей повернулась на шум к двери:

— Началось!

— Жабай!.. Кажется, стонет Жабай! — вскрикнула Кунше и выбежала из юрты.

* * *

Сеит, только что изгнанный из юрты Жумана, сидел на пригорке между аулами двух своих нагаши. Печальны, тяжки его думы. Он — сирота. Никому не нужен. Один на всем белом свете. Нагаши Жуман отчетливо дал это понять. Горько Сеиту...

Мимо протрусил иноходец. Ночь стояла лунная, и по серебру гривы Сеит угадал — иноходец Байжана.

— Постойте, нагаши! [1]

Голос Сеита дрожал. Байжан понимал, как горько сейчас юноше. Он спешился.

— Тяжело, жаным? Понимаю, понимаю. Ты, может, думаешь, душа Байжана сделана из железа? Каждый день обзывают Байжана собакой, бешеным, а он все терпит, да? Аллах так велит! Только не всегда я сносил обиды. Тоже ведь был когда-то молодым, гордым, как ты. Не хотел наложить на рот крышку, вот и прозвали бешеным. Вот как, свет мой. А ты, жаным, о себе, пока не поздно, подумай. Ты для них — лакомый кусок. Мягкое,

---

[1] Сеит и Байжана называет «нагаши» — дядей. Считается, что он жиен всему аулу, стало быть — и Байжану.

теплое быстро проходит через глотку этих людей. Гляди, как бы и тебя не проглотили.

Они шли рядом. Байжан — белая душа, слова его чистые, искренние. Сеит верит ему и понемногу успокаивается. Юноше не пришлось еще испытать настоящего горя. Теперь он даже стыдится своей слабости. Раскис из-за капризного старика!..

— Стоит ли обижаться на сумасбродного Жумана?!

— Э-э, Жуман... Лучше прислушивайся к тому, что делает твой настоящий нагаши.

«Настоящий нагаши» — это Игилик. Да, от него никому не укрыться. Бодрствуешь ли, дремлешь — все равно. Захочет проглотить — проглотит. Все это Сеиту давно известно. И ему захотелось вдруг переменить разговор.

— Давай поспорим, нагаши. Скоро тут будет резня.

— Зачем спорить, жаным? О том даже моя баба знает. Если уж спорить, то о том, кто выйдет победителем.

— А ты знаешь даже, кто победит?

— Ой-бай! Этого старого албасты Игилик, словно юный пери, одним пальцем придушит. Как резаный козленок завопит наш Жуман.

— Выходит, твой иноходец знает, куда путь держать?

— Э, что мы для них? Замашут крыльями — заденут и нас. Душа бы хоть уцелела. Когда она мухой прикинется — как бы ее нечаянно не прихлопнули[1].

Они шли вдоль левого крыла аула Игилика. Оно далеко вытянулось, чуть не вплотную к аулу Жумана. Длинные ряды зеленых арб образовали стены, загораживая путь к единственному тут ручейку. Придется людям Жумана ходить за питьевой водой в обход.

— Проглядел старый Жуман, а юрту ведь раньше Игилика начал ставить. Даже жалко его становится. Хочет побольше кусок проглотить, а в глотку не проходит — все обратно идет, — пожалел Сеит Жумана.

— Скорее подавился бы да сдох. Нам спокойнее бы стало.

Вокруг всего аула Игилика, словно пограничный вал, лежали вьючные верблюды. Они непрерывно двигали челюстями, будто рассказывали друг другу длинную сказку. Рослые арабские волкодавы рыскали между аулами — охраняли покой Игилика.

---

[1] Душа представлялась казаху мухой, которая вылетает из груди, когда наступает смерть.

Байжан привязал Куцего к одной из крайних арб, и они с Сеитом направились к белой юрте Игилика. По дороге Байжан приметил стоявших под седлом скакунов.

Байжана не смущал его малый достаток. С обоими родичами — баями держался независимо. Слова его, может быть, и не имели для людей веса, тем не менее своей доли в разговоре он никогда не упускал. Было ему теперь лет под пятьдесят. Крепкий, ни капли лишнего жира. Бородка округлая, на взгляд приятная. Усы острые, глаза смелые. Сплетен не таскал, худого не делал, не врал. Словом, грехов за ним не было. Оттого, видно, и держался с достоинством, головы ни перед кем не склонял.

В юрте Игилика шло угощение. Человек десять — видны одни плечи и головы — сосредоточенно склонились над глубоким, как корыто, тазом. В тазу доверху — мясо. Тем, кто глядел сверху, пирующие напоминали баранов, сбившихся у колоды с водой.

— Проходи, Байжеке, сюда проходи! Раздели угощение с почтенным хожой! — Омар встал, уступая свое место. Усы его блестят от жира, челюсть не переставая ходит — гоняет мясо от одной щеки к другой. Прежде чем отвалиться от таза, Омар ловко загреб левой рукой жирный кусок на кости.

— Иди сюда, проходи! — радушно принялась приглашать Айганша. Ей не надо подсказывать, без слов угадывает малейшее желание мужа. — Иди, мой сёрэ. Хоть слово твое и бывает остро, но нас никогда не обижал... Почаще приезжал бы, а то совсем мы тут затосковали. Иди сюда, садись со мною рядом.

Она подвинулась, освободив место между собой и мужем.

В этом доме и баба умеет быть обходительной. Речистая токал закидывает удочку как раз в то место, куда наметил муж. Не угодил гость — так отбреет языком, что хоть больше не приходи. Когда же нужно расположить к себе — не заметит, если и отбреют ее, а только скажет: «Как можно обижаться на тебя. Ты же наш любимец, единственный!»

Черные большие глаза ее широко открыты. Короткий нос чуть вздернут. Высокая, стройная. И всегда — в движении, всегда хлопочет по дому. Айганша — токал, вторая жена. Она еще молода, нижняя губа сочна, как вишня. Но молодость ей не помеха. Все уважают ее, как солидную байбише. По всему Алтай-Карпыку не сыщешь

другой такой женщины, чтобы вот так сидела за одним дастарханом с мужем. Такая уж была Айганша. Все, что ни сделает, — приятно.

Байжан — белая душа, совсем очарован приветливостью молодой хозяйки. Без колебания подсаживается к тазу. Игилик, продолжая начатое женой, подхватывает:

— С новосельем, Байжеке! Слава аллаху, с таким соседом скучать не будем!

И тут Байжан почувствовал вдруг себя степным беркутом, которого приманили на кусок мяса. Но выпутаться уже не было сил.

Гости начали отваливаться от дастархана. Причмокивая, облизывали пальцы. В это время войлочная дверь слегка приоткрылась. Айганша, чутко следившая за всем, тотчас заметила: в щели блеснуло юное лицо девушки.

— Пусть буду жертвой твоей! Это ты, Назыкеш? Войди же, войди!

Большеглазая, смуглая девушка застенчиво вошла в юрту. Гости невольно вспомнили Кунше — так похожа была девушка на мать. Назыкеш уже успела прослыть красивейшей среди смуглянок. Была она — само приличие: скромная, стыдливая. Не смея произнести ни звука, боясь моргнуть густыми ресницами, застыла, уставившись на Айганшу. Ее смутила компания почетных мужчин. Не решалась сесть — стояла. Не вполне еще округлившаяся фигура молоденькой девушки притянула взгляды сидевших. Назыкеш еще плотнее сжала губы, казалось, она так и не вымолвит ни слова. Черные глаза, обычно задорные, теперь испуганно блестели.

Девушка была так хороша, что все примолкли. Забыв обо всем на свете, влюбленно смотрел — не мог оторвать глаз и Сеит. Айганша приметила это острым оком.

— Жиен-ау, смотри, глаза устанут, моргнул бы хоть, что ли?

Она потянула Назыкеш за руку и усадила рядом с собой.

— Э, жигит, ты же только что оттуда! — хмыкнул и Омар. — Не насмотрелся?

Лишь теперь дошло до Сеита, что шутят над ним. Он повалился за спину Омара, щипнул его: брось, мол, болтать!

— Что же молчишь, не просто же так зашла? Здорова ли апа? Смотри, какая большая стала, — мужчин стесняешься!.. — тихо шептала Айганша. Что отвечает Назы-

кеш, совсем не слышно. Только подрагивающий пучок перьев филина на коричневой шапочке выдает: она все-таки что-то говорит.

— Передай байбише: пусть верит мне, как самой себе. На меня может положиться. Что мужья ссорятся, нас не касается.

Айганша говорит нарочно громко, даже повторяет некоторые слова — пусть слышат все.

— Я соскучился по рукам Копей-женге. Твоя стряпня не стоит ее ногтей, — сказал Игилик.

— Если соскучился, пошел бы да навестил, — вставил Байжан.

— Э, Байжеке, думаешь, все такие смелые, как ты. Боюсь, Жуман прогонит.

Байжану ясно — шутит хозяин. Нет такого казаха, чтобы отважился выгнать Игилика. Но приятно слышать, что и Игилика могут выгнать из дома, откуда только что выгнали его самого. Пусть никто туда не ходит. Честно говоря, Байжан не против — пусть два бая ссорятся.

Айганша что-то нашептывает мужу. Омар вдруг заторопился, поднялся, пробормотал под нос:

— Кони там... Позаботился ли кто?

Всем ясно — предлог это, дело не в конях. Если кто и поверил, разве один хожа. Но Омару не до этого, он торопится. Собралась идти домой и Назыкеш. Айганша уверена: в этом ауле жигиты не позволят себе баловаться, а все-таки задерживает девушку:

— Боюсь, как бы собаки тебя не покусали... Кто бы проводил? А вот жиен! Не проводишь ли?

Она угадала тайную мысль жигита. Сеит молод, нет еще и двадцати. Он очень засмущался, еле встал, будто поднимал непосильную тяжесть. Ведь и в аул Жумана забегал только ради Назыкеш — лишний раз взглянуть. А девушка тогда так и не появилась в юрте. Угадала, видно, зачем пришел жигит. А теперь можно идти с нею рядом, и так далеко. Можно сказать ей, что захочешь! Даже пошутить... А будет случай — и признаться... Но ворота смелости для юноши еще прочно закрыты. Жигит с трудом перешагнул порог, не сразу догнал Назыкеш.

Сеит вовсе не был робким, наоборот, он умел быть и веселым и обходительным. Но сейчас боялся даже нечаянно коснуться девушки, не решался заговорить. Шел то опережая на шаг, то на шаг отставал. Колени слабели, руки нелепо махали. Луна ярко светила, и тени идущих

были видны отчетливо. Сеиту очень не нравилась его тень. Он досадовал и на сантаму — отчего-то в этих сапогах с высокими голенищами он сегодня то и дело скользил, спотыкался. И каракулевая шапка жгла, просто горела внутри. Назыкеш, понятно, замечает все это и наверно потихоньку смеется. Отчего бы иначе вздрагивать пучку перьев на ее шапочке? Конечно, смеется над ним...

Так и шли они, оба смущаясь, до самого аула Жумана.

— Дальше я не боюсь. Возвращайтесь! — Назыкеш чуть повернула лицо в его сторону и, не задерживаясь, пошла вперед. Это были единственные слова, прозвучавшие между ними. Жигит долго провожал ее взглядом. Она уходила, становилась все меньше и меньше, вскоре скрылась совсем за юртой. Сеит улыбнулся неизвестно чему и повернул назад. Теперь шаг его стал твердым. Колени не подгибались, тень перестала быть уродливой. Он мог только досадовать на свою недавнюю нескладность. Впереди показался Омар. Шел навстречу. Плавно покачивая корпусом, ступал важно, явно подражая Игилику. Сеиту не хотелось встречаться, знал, что за разговоры ведут байские приспешники. Но Омар преградил путь.

— Давно я не видел ее. Смотри, как созрела на нынешнем жайляу! Ты что же, жигит? Помял бы маленько, да и в овраг...

Перед девушкой жигит робел, а вот Омару ответил резко:

— Брось со мной так говорить, хватит! Понял?

Ответа не стал дожидаться, не хотел слушать ни грязных шуток, ни извинений.

— Из-за кого ты? Подумаешь, прислуга... В людях ведь живет!

Сеит не обернулся. Когда же он скрылся совсем, Омар осмелел и сказал с угрозой:

— Хорошо, что напомнил о себе...

3

У Сеита с Омаром были кое-какие счеты. Знал о том молодой Сеит или нет, но счет ждал своего часа. Дела такого рода среди степного люда не легко забываются. Они живут до тех пор, пока живы стороны. Счет с годами не меркнет, а наоборот — растет, наслаивается новы-

ми обидами. Пуговку ли присвоил виновный или верблюда — не важно. Уплатит ли потерпевшему сполна или отделается угощением — все равно. Это болезнь. Она будет точить до тех пор, пока честь не успокоится. Пока обиженный однажды не скажет себе: «Счеты сведены!» Имя этой болезни — месть. Как будет отмщен пострадавший — не главное. Важно, чтобы посторонние — два-три свидетеля — сказали: «отомстил». Иначе нет человеку ни покоя, ни мира, не может он оставить этого дела, если даже оно надоело ему.

В словах Сеита послышалась угроза, и Омар вспомнил об одном деле...

Омар не имел привычки делиться своими мыслями. И сейчас в своей юрте, перешагнув через покорно ждавшую его жену, улегся и, глядя в темноту, начал перебирать в уме подробности того дела.

Что же, отцы умирают у каждого. На то воля аллаха. И матери умирают — тоже по воле аллаха. Смерть — она, как сборщик старых недоимок, неизбежно посетит в свой черед каждую юрту. Сирота... Омар в конце концов тоже сирота. Не важно, что борода и усы имеются. Немало на свете сирот. Сеит — всего лишь один из многих...

Мысли Омара гладко текли только до этого места. А дальше спотыкались о некое препятствие. О нем знал только Омар да черная ночь.

Отец и мать Сеита умерли от холеры во время одной из частых в степи эпидемий. Игилик, не желая упустить оставшийся скот и имущество, взял сироту к себе. «Своя ведь кровь, — объяснял он в разговорах, — не могу и помыслить, чтобы рос у чужих!» Уладить дело о наследстве Игилик поручил Омару. Он должен был переправить все добро в аул. С той поры в табунах Игилика преобладает темно-гнедая масть — бий присвоил себе весь косяк темно-гнедого с лысинкой жеребца, от которого рождались одни скакуны. И до сих пор так ценит эту масть, что никому не продает ни одного коня из потомков жеребца с лысинкой. Что до остального имущества, то Игилик строго не проверял — все ли доставил Омар. Во всяком случае, так казалось Омару. «Ловкий» заполучил тогда тоже немало лошадей. Правда, не слишком породистых — разномастных. И красивая, совсем еще новая юрта, в которой лежит сейчас Омар, тоже из наследства Сеита. Юрту не перекроешь, не перекрасишь. Это обстоятельство иной раз тревожит Омара. Попросил у Игилика попользоваться на

время. Но это «на время» тянется уже восьмой год. Игилик, правда, не вспоминает про юрту. Видно, умеет ценить заслуги Омара, они ведь не так уж малы. И Сеит, судя по всему, ни о чем до сих пор не догадывается. Но люди могут открыть глаза наследнику. Отчего это Сеит сегодня был таким дерзким? Что, если узнал правду? Нелегко в таком случае придется Омару. Надо, пожалуй, предупредить бия, — так размышлял в темноте Омар.

Этим летом Омар хорошо постарался для Игилика. Выгодно сбыл в Петропавловске копившийся годами копский волос — на трехстах верблюдах отвез его туда. Взамен привез шесть десятков русских арб да еще пятнадцать сенокосилок.

И ковры для новой юрты, удивившие гостей, тоже Омар добыл через своего знакомого акмолинского купца Сеиткамала. И к русскому купцу Никону Ушакову, который прикатил на рессорной коляске и гостит сейчас в юрте старшего Игиликова сына Ордабая, — к нему тоже ездил Омар. Так и сказал Ушакову по-русски:

«Аята... как день своя гнездо домой сядет, ти будешь Игилик домой». Ушаков понял гонца и точно, как только солнце село, прибыл сюда, в аул.

Другие влиятельные лица, тоже приглашенные Омаром от имени Игилика, съехались в аул вечером и теснились сейчас в гостевой юрте и в юрте сыновей. Игилик ничего не сообщал о своем замысле. Но Омар чувствовал: скоро начнется, непременно здесь начнется задуманное большое дело. Долго бежало оно разными ручейками, понемногу Игилик завернул их все. Завтра — конец! Завтра сольются ручейки в единое русло. Тонко и гладко плел задуманное Игилик. Плел, как плетут камчу о тридцати двух ремешках. На конце все ремешки завязывают единым узлом. Омар угадывал, какой узел завяжет в конце Игилик. Не зря два богатейших бая теснят друг друга. Не зря толкутся на этом клочке в ладонь. Рога одного полетят. А раз так, без Омара дело не обойдется.

Теперь можно и отдохнуть. Отодвинул подальше насыбай и совсем приготовился уснуть. Вдруг потревожил далекий тихий голос:

— Омар, должно быть, еще не спит.

Чей голос — Омару не важно, в конце концов может ведь оказаться, что это говорит Игилик. И Омар опять перешагнул через жену. Быстро начал одеваться. Пришлось взяться и за насыбай.

Возле юрты играл осколком зеркала слабоумный Тлеуке, брат Омара. Он подставлял зеркальце лучам луны и норовил пустить зайчика в глаза черному псу, что лежал у юрты. Тлеуке уже двадцать пять лет. Пускать зайчики — его единственное дело. Ночью подставляет осколки зеркала луне, днем — солнцу. Правда, и еще одно дело занимало Тлеуке. И это дело говорило, что слабоумный не чужд интересов жизни. Тлеуке постоянно искал в степи деньги. Деньги, которые кто-то будто бы мог потерять в этой пустыне. Десять лет назад мечтал найти двадцать копеек, теперь мечта выросла до рубля. Тлеуке не пропустит ничего, что белеет, блестит. Не пройдет мимо кучки земли — а вдруг там он и лежит, рубль. Перекопает все, переворошит, основательно, так, чтобы потом не жалеть: а вдруг пропустил, просмотрел...

Омар схватил брата за ворот, сильно стукнул по затылку.

— Ступай спать!

Тлеуке не обиделся. Однако в юрту не пошел: появилось новое дело — стал направлять зайчика вслед уходящему старшему брату.

Из юрты Ордабая неслись громкие голоса, слышался веселый, довольный смех. За юртой в некотором отдалении шел, покачиваясь, словно черный нар, Игилик — один, без провожатого. Направлялся, видно, к аулу Жумана. Омар заторопился вслед. Уши тымака хлопали по щекам, полы чекпена развевались. Наконец поравнялся. Не оглядываясь и не задерживая шага, Игилик сказал:

— Будь в юрте Ордабая. Пусть сегодня закончат разговоры. А с утра последи, чтобы гости покинули аул.

Распорядился и зашагал дальше, к аулу Жумана, опять один.

* * *

Назыкеш не напрасно прибегала в юрту Игилика. Она приходила как тайная посланница от байбише Копей. Ей удалось, не возбуждая подозрений, передать через Айганшу слова Копей: «Пусть придет ко мне, а власть оставит для других». Прийти он должен был тайно. И вот Игилик идет к своей умной женге, потому что действительно уважает ее.

Были случаи, когда длительная тяжба с Жуманом разрешалась одной встречей с Копей. Байбише Копей

было ясно — Жуману в его тяжбах не осилить Игилика. И она старалась не допустить мужа до позора. Умело, тихо решала споры сама. Устраивала все своими ловкими руками. Игилик и сейчас надеялся на это ее уменье.

Байбише Копей шла навстречу Игилику в сопровождении Кунше. Шла легко, не торопясь, к месту, которое сама назначила. Специально поставленные люди давно сторожили: идет ли Игилик. Вышла она из юрты не раньше, чем узнала, что Игилик приближается. Не прибавила шагу, даже когда увидела, что Игилик на месте, ждет ее.

Была байбише Копей еще молода и, не смотря на полноту, привлекательна. Люди ее любили. Она нравилась и красотой и опрятностью, а главное — умом. Одевалась нарядно, жаулык повязывала высоко, по-молодому. Была совсем иной, чем Айганша. Та носилась, не ведая покоя, в потоке бурно растущего богатства Игилика. Богатство Жумана не доставляло байбише Копей ничего, кроме мук и горя. Оно — не для нее. В этом ауле только и знали, что считать копыта. Так и шла ее жизнь: полная хлопот, но в то же время пустая. Разочарование и муки — одно только и познала Копей, соприкоснувшись с этим никчемным богатством. Не льстила ей и слава щедрой байбише. Относилась одинаково с добром ко всем: и к близким и к чужим. Поэтому, хоть все кругом и не любили Жумана, но его жену Копей жалели.

Обменялись принятыми словами вежливости, расспросили о здоровье, тогда только Игилик начал:

— Не обиделась ли на меня, Копей? Сам прийти в твой дом не могу. Передать слово через кого-нибудь опасаюсь: из одного сделают два, и тут же узнает весь свет. Просто не знал, как поступить. А тут ты сама нашла способ. Только скажи — если надо упасть к ногам Жумана, я готов!

— Люди устали от постоянных распрей наших домов. Еще раз поклониться — много ли толку? Если и наступит мир, надолго ли? По-разному ведь живем. Мы — по старинке, топчемся на месте, дрожим над своим добром. А у тебя — совсем иное... Завидуем, да не умеем иначе. Вот и черним... Не будет между вами мира, это ты оставь. Я хочу другое узнать: разойдетесь на этот раз без боя? Кровь бы не пролилась. Тяжело было бы видеть одного из вас сброшенным в грязь...

— Разве Жумеке готовит войско? — насторожился Игилик.

— Войско?! Да оно всегда наготове у вас обоих. Было ли время, когда вы не собирали войска? Битва, сам знаешь, уже началась... Ты о себе скажи!

— Копей! — Игилик взглянул на нее искренне, светло. — Наши мужи бестолковы, говоришь им — не понимают. Показываешь — не видят. Вот я и предпочитаю молчать до времени. Жду часа. А подойдет — требую исполнения, и только. И исполняют, так и не уразумев, что к чему. Но дело ладится и кончается успешно — за всем стою я сам. Пусть не понимают. Ведь и имам не интересуется, понимают ли молящиеся слова молитвы. А ты, Копей, сидя в своей юрте, смекаешь то, что не ведают мужи.

Много знати сейчас гостит у меня в ауле. И ничего я им до сих пор не открыл. А тебе открою. Земля мне больше не нужна. Мое богатство теперь — базар. Не зарюсь я ни на этот ручеек, ни на эту землю с ладонь. А прикочевал сюда затем только, чтобы не потерять кое-что большее, чем этот ручеек. Хочу из собственных рук передать здешнюю землю. Иначе сами ведь возьмут, возьмут как ничейную. Я сделаю так, чтобы ее новый хозяин — а он сидит сейчас в юрте моего сына — не смог тут обосноваться. Пускай те, что говорят, будто я нацелился на Майкудук, идут на мои земли, пусть берут даже зимовье. Через год это зимовье будет всего лишь коровник, стойбище для волов.

Земля же, на которой мы стоим, все равно отойдет в казну. Ее надо вовремя самим уступить, так будет надежней. — Игилик задумался, опасаясь: не сказал ли лишнего?

Две вещи поняла Копей ясно: источник богатства Игилика — базар. Это первое. Второе — прикочевал сюда Игилик не ради этой чахлой земли. Это, похоже, правда. Правда и другое: поступишься малым, сохранишь большое. Значит, Игилик, уступая Майкудук, хочет сберечь что-то значительно большее. Рассудив так, она сказала:

— Лишь бы руки твои остались чистыми. И мы, семья Жумана, будем стараться смирить злобу, прекратить тяжбу, помешать междоусобице.

Копей возвращалась домой успокоенная. Игилик был с нею откровенен. Он поведал ей что-то новое. Его беспокоит какая-то опасность. Опасность эта надвигается со стороны. Недаром сетовал на бестолковых мужей, говорил, что надо быть зорким, гибким. Выходило, их аулам

делить здесь нечего, значит, все должно кончиться мирно. Оба были удовлетворены беседой: и Игилик и Копей.

Одна Кунше осталась недовольна. Пока шла беседа, она сидела — безразличная, невозмутимая. Но в душе крепко обижалась на хозяйку. Незачем было и упоминать о кровопролитии, если только тем дело и кончилось, что поговорили. Ни словом ведь не обмолвилась Копей о Жабае. А видела своими глазами, как принесли его, избитого в кровь жигитами Игилика. Был бы Жабай свой, близкий человек, не оставили бы так. И не отпереться бы Игилику, никак не отпереться.

Так думала Кунше, но высказать вслух обиду не посмела...

* * *

Омар, выполняя волю Игилика, вошел в юрту Ордабая. Здесь веселились. Гости, видимо, удачно закончили дела, а теперь громко смеялись чему-то. На почетном месте восседал осанистый, благообразно-красивый человек. Красивы и благородны были и его седеющие волосы, и мягкий голос, и нарядная одежда. Даже улыбка его говорила, что он — белая кость. Омар догадался: это Рязанов, владелец золотых приисков и заводов на Урале. Другого человека, который сейчас полулежал по-казахски, подмяв локтем подушку, Омар хорошо знал: Никон Ушаков, петропавловский купец. С ним Омару частенько приходилось встречаться. Глаза у Ушакова ясные, голубые, а спутанные волосы стоят дыбом — видно, не часто прикасается к ним гребень. И бритву, заметно, тоже не часто берет в руки купец. Концы пальцев зажелтели от табачного дыма. Он много ездит по казахской степи. Знаком с обычаями. Умеет вовремя, как встанет от дастархана, произнести «бисмилла, алла акбар», за что казахи ценили его, даже пустили славу, что говорит, мол, по-казахски. А уменье ограничивалось всего несколькими словами: вроде «бер» — дай, «сат» — продай, «уйге барам» — поеду домой. Мог еще по-казахски сосчитать до ста.

Значительно ниже их сидел приказчик Степан Бушуев. Этот был хорошим знакомым Омара. Все новшества приходили в дом Игилика через него да через Ушакова. С обоими Омар давно уже имел дела.

В юрту Ордабая могли входить только родные братья, мирзы и вестовые, больше никто. И сегодня при гостях

здесь были только свои да еще Байжан. Все сидели важные, довольные, похожие на сытых ягнят.

Подобравшись, похлопывая себя по коленям тымаком, Байжан весь подался к гостям. Люди смеялись только что сказанным его словам. Ушаков хохотал, содрогаясь всем телом, беспомощно отмахивался руками, задыхался. Рязанов в недоумении смотрел то на одного, то на другого. Казахи приставали к Байжану:

— Спроси, спроси еще раз!

— Как это ты, Байжеке, сумел сразить всех: и казахов, и русских? — Омар подсел к Байжану.

Тот обернулся:

— Э-э, ты ловок по-русски говорить. Объясни им, что спрашиваю.

— Вы вот ему свой вопрос задайте, он все знает, — натравливал Ушаков Байжана на Рязанова.

Степан Бушуев неодобрительно качал подстриженной в скобку головой. Ему, видно, не по нутру были эти шутки.

— О чем же хочешь спросить? — сказал Омар.

— Апыр-ау! Слыхал я, у них три бабы из одного рода были царицами. Пусть сгорит твой иман, спроси об этом.

— Как бы нам не осрамиться. Говорят, среди них не все бабы, была одна девушка, — осторожно возразил Омар.

— Девушка или баба, — спроси, пожалуйста.

— Нет, не хочу впутываться. Я по-русски знаю лишь одно слово — «хорошо», а по-нашему «игилик» — вот и все, с меня достаточно. Остальное уступаю другим, — сказал и откинулся довольный — сумел лишний раз показать преданность Игилику.

— Сам, сам спроси! — подзадоривали шутника.

Байжан решил рискнуть. Пододвинулся к Рязанову и задал свой вопрос:

— Оруской один аул три баба, сарь — баба... Аята правда? — сказал, подняв три пальца.

Рязанов снова ничего не понял. Остальные давились смехом. Первым опомнился Ушаков. Речь шла все-таки о царицах. Не стоит, пожалуй, так смеяться. Он отер слезы, выступившие от смеха, и попробовал объяснить:

— Это правда. Все три из одного рода — Романовых. Одну из них называют Екатериной Великой.

— Значит, такой большой баба был? — удивился Байжан, окончательно смутив Ушакова.

Речь о царицах зашла случайно. «Очень умный народ русские! — сказал Байжан, рассматривая складной нож Ушакова со множеством разных приспособлений. — Всякую вещь могут сделать. Не ленивый народ, усталости не знают. Вот они, смотрите, откуда приехали! Этот человек, — он показал на Рязанова, — от самого Катринбор прибыл. Видит бог, этот нож стоит моего иноходца. Был бы народ слабый, разве вышли бы у них из одного рода три сарь-бабы?»

Этот-то вопрос и привел к веселью.

Народ, далекий от источников информации, очень любопытен, со страстью отдается разговорам. Многого не понимает, забыв раз услышанное, возвращается к тому же, как говорится, с каждым новолунием. Байжана томила такая страсть. Немного помявшись, он задал новый вопрос:

— Ошаков!.. Мы говорим, чего больше на свете: леса или русских? Еще спорим, кого больше: русских или китайцев? Слыхали: есть еще большой народ — хинду. Теперь, говорят, к этому большому народу пришел маленький народ, но драчливый — аккылшык. И завоевал хинду. Говорят, сняли голову падишаху, зарезали всех семерых сыновей и поставили своего жинарал-кубрнатор. Скажи, Ошаков, правда это?

Ушаков посерьезнел, привстал, начал говорить медленно, подробно объясняя, стараясь, чтобы его поняли.

Байжан коснулся события, которое вызвало волнение в русском обществе. Долго шумел по этому же поводу и мусульманский мир. Теперь, ничего не добившись, остывал. Речь шла о последних делах Ост-Индийской компании «английских баев» — так пояснил Ушаков. Компания эта вот уже двести пятьдесят лет единолично владела богатствами Индии и фактически управляла страной. Несколько лет назад эти баи приняли решение покончить в Индии с самоуправлением, а Бахадур-шаха, потомка Хромого Тимура, объявить не имеющим наследников.

Индийскому народу предлагали навсегда забыть о самостоятельности. Решение это будто бы уже утверждено королевой Викторией. Она готовилась стать индийской императрицей.

А Бахадур-шаха, отца семерых сыновей, объявили не имеющим наследников!.. Скоро их и в самом деле не стало. Всех семерых сыновей шаха казнили в тюрьме. Так приказал Чемберлен. Выполнил приказ майор Ход-

сон. Всех семерых самолично застрелил из карабина. Управляет теперь Индией генерал-губернатор, поставленный англичанами.

Этих кровожадных захватчиков и имел в виду Байжан. О том и спрашивал. Не случайно назвал их не аккылшын, то есть англичане, а аккылшык, что означало — старая матерая гиена.

Все это дело компания провела тихо, чтобы скрыть от народа пролитую кровь. Но правда попала все же в народ. О ней узнал весь мир. Весь мир проклинал королеву, Вильсона, Чемберлена, Ходсона и всех, кто был с ними. Голос гнева достиг и казахской степи. Его и услышал Байжан.

Все это объяснял сейчас казахам в юрте Ордабая Ушаков.

— Англия — опасная для народов страна. Не зря наши поэты называют ее «коварным Альбионом». Ни одна другая страна в мире не имеет такого количества захваченных земель. Но ей все мало, теперь она озирает орлиным оком наши огромные азиатские степи.

Заметно было, что Ушаков взволнован, обеспокоен чем-то. Кончив говорить, посмотрел на Рязанова. Рязанов пожал плечами и сказал, наклонив голову:

— Не замечал, чтобы англичане были коварными. А встречался с ними немало. В нас самих много такого, за что краснеть часто приходится.

Замечание Рязанова было явно не по душе Ушакову. Но не захотел показывать здесь своих разногласий с компаньоном.

— Да-да, — поспешил отговориться. — Не замечаем бревна в собственном глазу, все оттого, что ленивы.

А Байжан доволен. Смотри ведь, какой важный, оказывается, вопрос задал! Разохотился и дальше:

— Ошаков-тамыр! Слыхали мы совсем чудное: у народа хинду, говорят, человек, если в тюрьму сядет, в три раза сытнее ест, чем тот, кто работает. Почему так, объясни, пожалуйста. Неужели не могут уважить человека иначе как посадив в тюрьму?

Ушаков и на этот раз ответил напрямик, рискуя не угодить Рязанову:

— Не в уважении дело. Просто народ беден до крайности. Англичане совсем высосали индусов. Вот и выходит, что на свободе индус голоднее живет, чем в тюрьме. Ты же сам понимаешь, заключенному не дадут ничего,

кроме тухлой похлебки и куска хлеба! Даже англичане пишут: за год индусы съедают мяса вдвое меньше, чем соли...

— Соли? Солью питаются! — удивился Байжан. И было чему удивляться. Ведь Байжан принадлежал к народу, который привык есть мясо не иначе как захватив всей пятерней.

— Нет, конечно, там не одну соль едят. Просто мясо очень дорогое, не по карману. Постной пищей обходятся. Вот и получается: соли съедают больше, чем мяса.

Байжан махнул рукой: то ли считал, что Ушаков рассказывает сказки, то ли сокрушался — что за несчастный народ такой! Он даже отодвинулся назад. Но тут же вспомнил что-то и опять подался к Ушакову.

— Забыл спросить тебя: говорили, что в этой Хинду народ обиделся, вышел на улицу и сел там. Неужели до сих пор сидят?

И такой слух ходил по степи. Он возник после недавних волнений в Бенаресе. Жители этого города показали всему миру удивительную сторону характера индийского народа. Они были доведены до отчаяния. Триста тысяч, как один человек, вышли на улицы и сели там. Сидели недвижно, как на привязи. Отказались от пищи, воды, сна. Ни палящее солнце, ни вихрь, ни ливень — ничто не колебало их воли. Это было восстание, сидячее восстание — «дгурна». Не дрогнула «дгурна», даже когда полетели срубленные саблями головы. Люди падали мертвыми, а товарищи их продолжали немой протест. Это было беспримерное возмущение индийской бедноты, первый урок «аккылшыкам».

Ушаков подтвердил:

— Дгурна в самом деле была. В тот раз англичане сдались. Индусы победили...

— Вот народ! Настоящий народ!

Байжан был удовлетворен.

— Никон Абрамович, к чему это вы? Здесь — и такие подробности!.. — выговаривал Рязанов.

— К тому и говорю, что у нас такого не бывает.

Все почувствовали неловкость, притихли. Выручил Ибрай — караванщик Игилика. Вошел в юрту и, не пускаясь в обычные расспросы о здоровье, о родне, о скоте, прямо с порога объявил:

— Игилик всех просит к себе.

Ушаков в душе благодарил Игилика. Он опасался,

как бы их дело с казахами не затянулось. Боялся обычной для степи волокиты и утомительных церемоний вежливости.

— Пойдемте, Александр Николаевич, — обрадованно пригласил Рязанова.

Игилик не обманул ожиданий. Без лишних слов приступил к делу.

— Вы не то что мы — люди занятые. Казах ложится рано, встает поздно. Не хотел задерживать вас до завтрашнего полдня. Извините, что пригласил в такой поздний час.

— Что вы, мы очень признательны. К тому же нам с вами не привыкать к ночным беседам. Сколько ночей просидели вместе на ярмарках в Акмолинске, в Куянде. Наоборот, мы благодарны вам.

Обменялись короткими любезностями, и Игилик без подходов объявил о решении интересующего их дела. Это решение бий считал выгодным для всех заинтересованных сторон.

— Хозяин здешней земли вот он, родич наш, Байжан. Он вам ее и продаст. А мы всего лишь понятые. Правильно говорю, Байжеке? — Ответа ждать не стал, повернулся к тёре Жумабеку. — Мне передали, что вам удобнее получать рабочую силу из одних рук. Вот — тёре Жубамек. Человек влиятельный, надежный. С ним будете иметь дело по этому вопросу...

Вот это удача! Байжан и Жумабек дружески переглянулись. Какая-то надежда, конечно, теплилась в них и вчера. Но все же опасались: как бы не оказаться у кого-нибудь на поводу. Теперь они заулыбались так широко, будто получили по мешку золота.

— Бий Боздах! — продолжал знакомить Игилик гостей со своими людьми. — Нам стало известно, что потребуется заверить бумаги. Бий Боздах приехал с далекого жайлау, чтобы помочь в этом. Мы с ним в качестве биев приложим свои пальцы, а распишется за всех нас уважаемый хожеке. — Игилик кивнул Куренкозу. Так он представил Ушакову людей, привезенных специально для проведения сделки и на случай столкновения из-за земли с Жуманом.

Все шло гладко. Все были довольны, счастливы, будто окунули руки по локоть в золото. Сон слетел с лиц. Игилик назвал караванщиков и главным среди них Ибрая. Представил Куренкоза в качестве имама, без которого не

обойтись на будущих промышленных предприятиях. Знакомил хозяев и с другими надежными, верными псами, что немедля прибегут, если, упаси аллах, возникнут недоразумения с рабочими. А Ушаков будто коней скупал. Окидывал взглядом каждого названного и, соглашаясь на сделку, кивал головой.

— Мы надеялись нынче же договориться насчет Нильды, — заметил Ушаков, когда с Карагандой было покончено.

— Вот вам хозяин Нильды, — Игилик кивком указал на бия Боздаха. — Продаст или не продаст — его дело. Мы здесь решать не можем.

Боздах сидел, понурив голову. Игилик выждал некоторое время — давал Боздаху прийти в себя. Но тот так ничего и не сообразил. Заерзал на месте, закашлялся. Игилик решил помочь:

— Мы не знаем случая, когда бы Бозеке говорил «нет», если все сказали «да».

Бий Боздах почувствовал твердую почву под ногами.

— Да-да, — согласился он, торопясь передать поводья Игилику. — Что решат люди, на то мы и согласны. — Он тоже почувствовал в своем кармане тяжесть и звон серебряных монет.

— Что касается Байдулета, Сасыка и Кулжумыра, берите их. На этих землях в иные годы останавливался мой аул. Отдаю так. Не хочу, чтобы люди говорили: «Игилик торгует землей». Если потребуются бумаги — Ордабай сделает все.

Игилик помолчал и добавил:

— Народ у нас непостоянный. Сегодня так, а завтра иначе. Эту черту вы сами уже знаете. Значит, над всем потребуются глаза власти. Но, впрочем, это уже дело нашего волостного. Он и будет смотреть за порядком.

Так Игилик, накинув на шеи присутствующих по аркану, привязал их к единому, надежному колу, и кол этот именовался — Ордабай, старший сын Игилика.

Рязанов привык относиться к казахам с недоверием. Ему было равно подозрительно: пускались ли они в проволочки или соглашались легко. Желал уяснить все до конца.

— Сколько земли и по какой цене продает он нам?— показал на Байжана.

По лицу Игилика скользнула усмешка. Казахские баи никогда не торгуются. Иной раз потом бывают и

споры. Но торговаться — приличия степи не позволяют такого.

— Десять верст вдоль и столько же поперек. За каждую версту дадите по коню. Больше Байжан не просит.

— Значит, десять на десять... — все еще уточнял Рязанов.

— Десять скакунов... Двести пятьдесят рублей, если на деньги. Ну как, хватит? — шепнул Ушаков Байжану.

Байжан, довольный, закивал головой. И Боздаху уже мерещатся двести пятьдесят рублей — пожалуй, не меньше дадут и за Нильду.

— Здесь сегодня присутствуют все, и я, пользуясь случаем, хочу сказать еще об одном, — снова заговорил Игилик. — Три года тянули мы это дело. Земля отцов, трудно решиться сразу. Потом выясняли: кто же хозяин этих земель. Наконец сидящие здесь пришли к единому мнению: Караганда — земля Байжана, Нильда — Боздаха. Остальные подняли руки, согласились. Значит, дело это исключительно касается хозяев земли. Мы — в стороне. Наша задача засвидетельствовать совершенную куплю-продажу, и только. Не так ли? — Игилик окинул взглядом сидящих. И все, будто лошади, молча закивали головами. Боялись произнести слово: как бы нечаянно не навредить себе.

Так без споров и скандалов были проданы Караганда и Нильда, и ни один казах со стороны не был спрошен — дело завершили в узком кругу. Игилик обошел даже своих собратьев биев. Тех самых биев, чье дело жизни — посредничество между тяжущимися. Проглядели они эту сделку. А ведь почуяли тяжбу, слетелись сюда в надежде на поживу. В ту самую минуту, когда совершалась купля-продажа Караганды и Нильды, эти медные лбы, отвалившись от дастархана, спорили в гостевой юрте, поочередно занимая сторону то одного бая, то другого, трудили головы, как бы разветвить сделку, углубить тяжбу, чтоб каждому досталось. Игилик закончил дело один, все сломал сильной рукой. Сам остался чистым. Легкое и мелкое отдал другим, большое и выгодное никому даже и не показал. Главное для него сегодня было — предстать перед Ушаковым в блеске авторитета, человеком дела.

— Я вас не держу, хожеке. Если сказали все, идите отдохните в юрте для гостей. Когда понадобитесь, пришлю Омара. Он будет нашим вестовым.

Игилик теперь выпроваживал своих гостей, которых больше двух недель водил за собой. И те заторопились, стали прощаться с Игиликом и с приезжими покупателями земли. Каждый старался на прощанье что-нибудь сказать Ушакову и Рязанову по-русски. Даже хожа и тот пробормотал какое-то незнакомое для него слово.

И вот Игилик остался наедине с русскими.

— Вы, дорогой бий, говорили так, будто мысли мои читали, — начал Ушаков. — Не знаю, как и благодарить вас. Особое спасибо за людей, которых вы дали нам в помощь.

— Какая тут благодарность? Это я у вас в долгу. Вы с благодарностью не заставляете ждать. Не знаю сам, как отблагодарить, особенно вашего Степана, — сказал Игилик, показывая, что не забывает услуг.

Он многому научился у русских через Степана и Ушакова. Скот, например, зимует у него на стойловом корму. Научился заготовлять сено, пахать и сеять. Шерсть, конский волос, рога и шкуры, — то, что раньше бесцельно копилось годами, — теперь нашли сбыт в Иркутске, Омске, Тюмени, Петропавловске, Челябинске. А ярмарки в Атбасаре, Кароткеле, Кереку и Куянды! Через них Игилик начал получать неслыханные в степи доходы. Было за что благодарить русских гостей.

— А как повозки? Получили? Понравились вам? — вставил Степан.

— Еще не пришли, но сегодня четвертый день, как отправлены из Акмолинска.

Игилик до нынешнего дня, как положено казаху, ездил верхом. Теперь же с помощью Степана закупил в Петропавловске четыре легких тарантаса. Об этой услуге и напоминал сейчас Степан.

— Впредь нам без Степана и дня не прожить. Столько вещей привозит, а мы не знаем, как и подойти к ним. Сколько возни было хотя бы с этими четырьмя лампами! — Игилик своими словами заставил гостей оглядеть юрту. Они до сих пор были поглощены исключительно мыслями об угле и меди и не смотрели вокруг. Теперь невольно подняли глаза, залюбовались богатством красок. А Игилик между тем своими словами намекнул Ушакову на давнее обещание. Ушаков как-то обмолвился, что пришлет опытного приказчика и дельного механика. Есть у Игилика ловкий, умеющий блеснуть Омар. Он незаме-

нимый помощник в решении самых запутанных дел. Но что касается торговли и сельскохозяйственных машин — тут Омар ничего не смыслит.

* * *

Близился рассвет — невеселый, серый. Игилик, хоть и после тяжелой дороги, все еще не ложился. Стоял у своей юрты, осматривался вокруг, словно хотел узреть: что несет ему наступающий день. Вдруг услышал знакомый дробный перестук, тот же, что вчера вечером. Это удалялись от его аула русские гости. Тройка вороных с проседью, почуяв наезженную колею, пошла бураном. Рессорная коляска, вороные — все слилось в одну сплошную черную массу. Масса эта неслась и, казалось, рождала холодный, леденящий поток — враждебный, злобный. Игилик обычно любовался быстрой ездой и сам мечтал лихо ездить. Но сейчас другое занимало его. В этой уносившейся коляске он чуял начало беды. Нет, он не желал своим гостям доброго пути. Похоже, что они быстро тут расплодятся, дай только начать... Если бы не указ царя! Если бы не угроза, что все земли с богатствами недр отойдут казне! Игилик и пяди родной Сарыарки не уступил бы! Не то что коляске — чужаку верховому не дал бы проехать... Указ, указ проложил дорогу этой коляске. И побежала узкая дорога через горы, через долины, завиляла змеей от Акмолинска до Караганды и дальше, через Сарысу до Нильды.

Но это не все. Есть у этой дороги еще и ветвь. Перевалив через Каркаралы, вьется она уже до Бесшокы, Корпештау, Кызылтау...

Одна только надежда. Обманчив зеленый налет на камнях. Не всегда эта зеленая наль обнаруживает медь. Кокозек уже обманул Ушакова: наль — есть, а меди — нет. Хорошо, если и Нильда обманет! Уйдут гости ни с чем, и нога русского сына не ступит больше в казахскую степь. Убрался бы Ушаков тем же следом, что и приехал. И змея-дорога, смотришь, постепенно заросла бы, исчезла. Или нет!.. Эта узкая дорога может быть полезна и самому Игилику. Разве не нужна будет дорога для этих зеленых арб, что выстроились здесь длинным рядом? Или для легких тарантасов, которые вот-вот прибудут? Поведет тогда этот путь Игилика на ярмарки — в Акмо-

линск, в Куянду. Какая теперь жизнь без дороги?! Пусть убирается Ушаков, пусть провалится в зиндан — подземное царство! А дорога пусть остается, не должна она исчезнуть... Дорога эта не простая — доходная, денежная.

Три года подобные думы донимали Игилика. Три года тянул он. Теперь вынужден был наконец сказать свое «да». Ушаков давно приступал к нему, предлагал стать пайщиком, обещал половину дохода. Прикинул Игилик — нешуточный пай, четыре тысячи лошадей. Нет, не мог он так вот запросто отдать четырехтысячный табун. Лошади ведь одна к одной — работа долгих лет. Не протянул и пальца русскому купцу, хоть Ушаков тогда очень нуждался в деньгах. Теперь же Игилик сам все уладил. Большой толк получился от его поездки по аулам трех волостей. Заткнул кривые рты, уладил претензии одних, сломил упорство других — вырвал выросшие не в ряд зубы. Сам затеял все дело, сам и узел завязал — кончил с честью. Все теперь перед ним в долгу: и русские и казахи.

От гостевой юрты нестройной рысцой отъехало около десятка всадников. Это бий Боздах, хожа Куренкоз, тёре Жумабек и еще кое-кто; те, что рукой Игилика пристегнуты к новому делу. Спешат, торопятся получить свои доли. Трусят за Ушаковым прямо через бездорожную степь... Боятся, как бы не захлопнулись ладони, которые не слишком любят давать.

А вот и Омар. Проводил гостей и — к Игилику за новыми распоряжениями, иначе не заснуть ему.

— Травы по берегам Сокыра стоят нетронутые. Не перебросить ли туда три-четыре сенокосилки? — не приказывал, а как бы предлагал Игилик. — И на Нуре, Былкылдаке и Бурме травы неплохие — я смотрел. Зима ожидается тяжелая. Вам с Когабаем надо бы позаботиться. Если где не возьмут машины, поставишь косарей. В каждом косе вместо четырех выделишь по десять человек. Где будут зимовать табуны на подножном корму, заранее, до снегопадов, построишь землянки.

Игилик убедился, что Омар понял все, и только тогда шагнул в юрту. Там хозяйничала Айганша. Опускала подвешенные на шелковых шнурах лампы и гасила их одну за другой. Задует лампу и сейчас же шепнет: «Бисмилла!»

— Что надо перед делом сказать, ты говоришь после... — ласково пожурил Игилик.

Омар в своей юрте уже в третий раз за нынешнюю ночь перешагнул через молчавшую жену и наконец улегся. У них не были в обычае ни ласки, ни шутки — единого слова не нашлось сказать друг другу.

4

Бай Жуман не спал, поворачивался с боку на бок, кряхтел. Вся ночь прошла как бесконечный томительный вздох. Встал рано, вышел на утренний воздух — подышать. Возле юрты и дальше, по всему аулу, глыбами возвышались все еще не развьюченные верблюды. Их губы шевелились, а глаза устремлялись к Жуману всякий раз, как тот проходил мимо. Верблюды будто просили: «Распорядись, пусть поскорее освободят нас!» Жуман понимает их язык...

Табуны, плотно накрывшие вчера Майкудук, теперь рассеянной тучей лежали на окрестных холмах.

Тревожное ржанье донесло Жуману — косяки все еще перемещаются. Табунщики сновали между ними. Отчего это табунщики до сих пор никак не наведут порядка?! Вот один табун выделился и застыл, растянувшись, как полоса леса, вдоль речки Кокпекты, пониже ручья Майкудук. Этот добрался до водопоя.

Вставало осеннее карагандинское солнце. Смотрело холодно, тускло, не бросая теплого луча. Казалось, и солнце за эту ночь не отдохнуло: никак не может разлепить глаз. Облака хмурились, неохотно отступая к горизонту.

Вокруг Жумана ни единого человека. Бай решил воспользоваться случаем: сейчас он как следует рассмотрит эту самую юрту Игилика! Взглянул и тотчас отвел глаза. Не юрта — огромный купол. Не хочет смотреть на нее Жуман. Повел взглядом в сторону и остановился на стройном ряду длинных зеленых арб. Невиданная для степи роскошь! Она так и била в глаза, Жуман вконец расстроился.

— Чтоб тебя аллах по темени стукнул! Чтоб ты и в могиле вопил! — клял он Игилика.

Еще бы не клясть. Сено! Четыре доверху полные скошенной травой воза стояли рядом с арбами. А возле — с полсотни коней. Отборные, сытые, выезженные, одни скакуны. И масть как на подбор: вороные да темно-караковые...

Аул Игилика напоминал улицу: ряд белых юрт, продолженный зелеными арбами, огибал ручей Майкудук.

— Капыр проклятый! Совсем в русского перекрестился!

Внимание Жумана привлек его собственный карий скакун. Стреноженный, неловко выбрасывая вперед ноги, запрыгал он к сену Игилика. Глаза бы не смотрели — благородный скакун забыл достоинство, польстился на этот гяуров корм!

— Эй, Жабай! Спит, что ли? Почему не завернет коня?! — крикнул в сторону черной юрты, стоявшей на краю аула.

Ему и невдомек, что Жабая, его табунщика, избили жигиты Игилика. Ночью не пожелал ни слушать, ни знать того, что случилось. Думает — упал по неловкости с коня, а теперь валяется. Не признает Жуман за бедняком права болеть. Злится на Жабая. Байбише Копей не торопится открыть истину. Ночью вместе с Кунше заговаривала и перевязывала раненый глаз табунщика. А домашним приказала, чтобы не говорили правду о Жабае. Пусть лучше бай ничего не знает. Иначе не избежать бойни.

Но карему нет дела до распри между баями. Он уже допрыгал к арбе с сеном и теперь ходит кругами, смотрит, точно нищий. Жадно вытянул шею, норовит протиснуться между чужими конями. Игиликовы кони, жирные, сильные, лягают его, больно бьют копытами. Карий не отстает, прилип голодным взглядом к душистому сену. Глотает слюну, снова и снова заходит, кружит около. Так унижаться! Жуман окончательно выходит из себя.

— Где же этот Жабай! Гвоздем прибили его, что ли?

На грозный окрик из черной юрты выскочил Талтаяк, отец Жабая — немощный старикашка, весь словно обглоданный. Хотел было бежать, да ноги заплелись — не слушаются.

— Байеке, плохо Жабаю, плохо ему. А коня я сам приведу. Где он? Сам сбегаю, — замяукал старик, ища Жуманова коня слезящимися, невидящими глазами.

— Там! — Жуман повернул лицо к аулу Игилика, и взгляд невольно опять задержался на ненавистной высокой белой юрте.

Байбише Копей подбежала к мужу: как бы не натворил чего в гневе. Ночью она старалась убедить его, чтобы покинул этот сухой такыр. Поняла из разговора с Иги-

ликом — так сделать лучше всего. Заманивала даже: можно перехитрить соперника. Пока Игилик сидит в этой пустыне, можно захватить одно из его лучших пастбищ... Ничто не подействовало. Жуман и слушать не хотел. Как бы теперь не проглядеть ей! Угадать надо, что еще надумал ее муж...

— Жабай?.. Боюсь за него, — начала было байбише.— Все еще не приходит в себя...

Жуман не дал говорить дальше:

— Пусть подыхает. Аул без него обойдется.

Он огляделся вокруг. Прав был, пожалуй, бешеный Байжан, в самом деле ни травинки вокруг — голо, как на пожарище. Даже в этот утренний час поднялась густая пыль. Табунов уже не видно. Но Жуман слышит тревожное голодное ржанье. И кажется ему, будто кони тоже молят, как и байбише Копей, зовут: «Откочевывай, хозяин, уходи!»

— Разбирать юрты! — кратко приказал, обернувшись к жене.

Байбише Копей привыкла смирять гнев мужа покорностью. Тотчас бросила свои дела, принялась будить людей. И вот уже с помощью сыновей, снох, прислуги разбирает юрты.

— Куда погоним табуны? — поспешил с вопросом Тати, младший сын Жумана, решив уйти вместе с табунщиками и хоть на время избавиться от вечной ругани отца.

— На Маржанколь, на Кундуз! — буркнул Жуман.

Жители аула, прислуга, доильщики испуганно выскакивали из-под наспех сделанных укрытий. Большинство людей так и не успели поставить юрты, замучил вчера бестолковой суетой Жуман. Вскоре уже весь аул снаряжал кочевье бая. Грузчики поднимали верблюдов. Верблюды, не отдохнув за ночь под тяжестью вьюков, ревели, вставали тяжело, нехотя. Люди не обращали внимания на их рев: выстраивали караван за караваном. И вот уже несколько караванов стоят, ожидая команды.

— За мной! Не отставать!

Жуман вскочил на коня. Хмурый, повел кочевье — куда, зачем? Намерений своих так и не открыл.

Байбише Копей торопила отставших. Отсылала за караваном караван, второй, третий.... Боялась, как бы Жуман не выкинул вдруг чего. Байбише так спешила, что и думать не смогла о приличном виде коса. Кочевье, при-

бывшее вчера пополудни на Майкудук, совсем не похоже было на то, которое сейчас, на рассвете, спешило покинуть этот край. Вчерашнее двигалось собранно, стройно, нарядно. Сегодня же кос, уходя по вчерашнему следу, растянулся, шел кое-как, отдельными караванами. И вид его был неопрятен, жалок.

Жуман ехал впереди. Одна только дума занимала его: как бы посильнее досадить Игидику. Вдруг что-то завиднелось на дороге. Навстречу шел обоз; множество арб двигалось от Акмолинска. Жуман было подумал: может, купец Сеиткамал едет — имеет ведь обыкновение навещать богатые аулы во время осенних стоянок. Вдруг, как по глазам хлестнуло, узнал знакомые уже зеленые арбы. Игиликовы арбы! Новая затея! Совсем из берегов вышел, зазнался! Первой шла длинная арба, запряженная четверкой лошадей. К ней привязаны четыре новенькие повозки. На некотором расстоянии еще арба и опять на привязи четыре таких же новеньких тарантаса. Блистают золотом, оправлены по углам медью, крыты желтой кожей. Серебром горят на солнце. На первой арбе три человека. Два жигита правят лошадьми, третий развалился на свежем сене. Это Батыраш, известный плут, ведает торговыми делами Игилика.

Жуман взвился от досады. Проклятия потоком хлынули к горлу, да так и застряли там — захлебнулся ими, ничего произнести не смог. Пришпорив пятками коня, налетел на заднюю повозку. Хлестнул с ходу камчой. Крытая повозка глухо отозвалась на удар. Отъехал назад и с ходу ударил снова. Бил долго, еще и еще... Без слов, только рычал. Ударял и ударял камчой о кожаный верх. Но отвести душу не удавалось. Повозка не человек, пощады не просит. И тут Жумана озарило. Знает он, как навредить Игилику! Скорее на Дайрабай! На Игиликовы сенокосы!..

Дайрабай — то самое сенокосное угодье, о котором на рассвете распорядился Игилик в разговоре со своим управляющим Омаром. Жуман повернул свой кос туда...

* * *

Байбише Копей проводила последних верблюдов. Шум стих. И тут услышала громкий стон. Вспомнила о Жабае. Как его перевезти? Во всем ауле Жумана нет ни

одной телеги. Навьючить на верблюда? Не выдержит больной, слаб очень. Да и от Жумана крепко достанется, не терпит жалости к прислуге. Придется оставить здесь на время черную юрту Талтаяка. Пусть до вечера побудет с отцом. А ночью, может, и переправят как-нибудь на новое стойбище. Отец Жабая, увядший, жалкий старик Талтаяк, вертелся вокруг, но не смел и слова сказать. Байбише торопилась. Снохи и аульные девушки давно сидели в седлах и ждали ее.

— Придется вам здесь побыть. Подождем, пока Жабаю полегчает... — мягко сказала она Талтаяку, и голос ее дрогнул — помочь беднякам ничем не могла.

— А верблюды? Пасти-то кто их будет? — забеспокоился Талтаяк. Волновался, как бы не остались без присмотра байские верблюды, о сыне попросить ему и в голову не пришло. Отупела душа, привык быть рабом.

— Несчастный, дались ему верблюды! — с досадой проговорила Кунше.

Байбише Копей жалеет эту семью, от души жалеет. Но сделать что-нибудь для Жабая сейчас она не в силах. Попробовала успокоить Кунше:

— Сама не знаю, где стоять будем, но без еды они не останутся. Присылать буду на лошадях. Обязательно...

В эту минуту Копей острее, чем когда-либо, почувствовала свое бесправие, беспомощность и не выдержала — на глазах показались слезы. Кунше придерживала за повод ее коня. Слезы хозяйки смягчили вчерашнюю обиду.

— Голодным вы Жабая не оставите, это так. Только ходить за ним кто будет? Можно ли доверить больного этому несчастному дурню?

Если бы взгляд Кунше имел силу ружья, он убил бы сейчас старика Талтаяка наповал. Копей все поняла.

— Ну что же, ты всегда меня выручаешь, жаным. Да и рука у тебя на леченье легкая. Может, остаться хочешь?

— Так будет лучше, сестра! — Кунше благодарно взглянула на байбише и тут же велела дочери: — Назыкеш, жаным, задержи верблюда с нашей юртой. Мы остаемся.

И Назыкеш, отделившись от группы верховых девушек, поскакала догонять удаляющийся караван. Красива была наездница — как бы одно целое с несущимся словно вихрь темно-гнедым конем. Байбише проводила

девушку взглядом и сама грустно тронулась вслед за уходящим косом.

Только что суетился здесь многолюдный аул богатого бая... Теперь торчит на пустом месте одна-единственная жалкая продымленная юрта. В ней в переднем углу — на почетном месте — лежит Жабай. Юрта гудит: все мухи покинутого стойбища собрались тут. Раненый бредит. Жар усилился. Губы совсем почернели, запеклись. Крепкое молодое тело напряглось, содрогаясь от тяжкой боли, красота и сила его как бы выступили наружу в этой борьбе.

— Есть тут кто?.. Снимите эту вашу... Давит глаза,— просил раненый, пытаясь сорвать с глаза красную тряпку.

— Потерпи, свет мой, потерпи, — уговаривала присевшая рядом Кунше. — Заговор мой легкий, всегда помогал. Потерпи, бедный малай. Потерпи...

Кунше посмотрела на сильно опухшее колено Жабая и безнадежно вздохнула.

— Сейчас распарю еще свежего конского навоза, приложим к колену.

Жабай не смог ответить. Хоть и видно было по судорожным движениям — хотел о чем-то спросить. Но вот напряжение ослабло, понял, что рядом свой человек, и успокоился.

Жабай — молодой жигит. Ему только что исполнилось восемнадцать. Пятнадцатилетним мальчишкой поступил в табунщики к баю Жуману. С тех пор его жизнь протекала в этом ауле. Из своего хозяйства только и помнит с детства — одну лошадь да куцую коровенку. Сколько ни работал, так и не смог прибавить к коровенке отца какой-нибудь другой живности. А отец стал очень старым. Задергали. Всю жизнь только и слышит окрики да ругань. Запуган старик. Сейчас уж и из ума выживать начал. Одно только и понимает — верблюды! В них для него все — и радость и горе.

Беда с Жабаем случилась так. Вчера вечером заворачивал край табуна. Вдруг вихрем откуда ни возьмись налетели жигиты Игилика. Вмиг окружили, и очутился Жабай среди них, беззащитный, как ягненок среди волков. Не хотел связываться, попробовал поладить мирно:

— Помогли бы лучше, жигиты, завернуть табун. Никак нам одним не справиться.

— Что это он, шутит, что ли?! — Около Жабая придержал своего коня Омар.

Жабай не заметил угрозы в словах Игиликова чабармана. А тот выдернул из-под колена шокпар и ударил прямо по левому глазу. Глазная кость звонко отозвалась дубинке. Жабай увидел огромные зеленые листья, которые, вспыхивая и светясь, падали на землю, и потерял сознание. На беду свою не свалился с коня — многолетняя привычка удержала в седле. Омар рассвирепел, позорно для него — как же это, не выбил из седла человека, который даже не сопротивляется. Сделал второй заход, ударил Жабая по колену. Но этого табунщик уже не почувствовал. Он повалился. Левая нога застряла в стремени. Конь поволок всадника за собой. А потом Жабай долго лежал недвижно. Лежал, пока не подобрали свои. А сейчас ему очень плохо. Не помогает и лечение доброй Кунше.

— Пить! — произнес с трудом, облизывая губы.

Назыкеш молча вымыла щербатую деревянную чашку, разболтала в воде немного кислого молока и подала матери. Кунше бережно приподняла на подушке голову больного, осторожно влила питье в рот.

У каждого дома, как говорится, свой круг, своя тайна. Между семьей Кунше и семьей Талтаяка однажды затлел некий шепот, да так и не угас. Все началось с одного вечера. Талтаяк в тот день долго крутился около Кунше. Все время, пока она доила корову, расточал ей ласковые слова, те же, что приговаривал обычно верблюдам. «Айналайыным, черный верблюжонок! Айналайыным, серый верблюжонок!» Потом приступил к делу: «Этот мой Жабай давно пристает ко мне...»

Кунше в конце концов разобралась, с чем именно пристает к отцу Жабай. Словно досадуя, ответила: «Много ли толку соединить одного несчастного с другим! Пусть подойдет сам, тогда и отвечу. А ты иди своей дорогой».

Подойти к Кунше Жабай решился лишь недавно. Перед самым уходом на жайлау. Кунше ответила на сватовство так:

«Хочу сказать тебе, зеница ока моего, одно слово: у чужого порога живем и вы и мы. Ты — раб, она — рабыня. Хочу через вас радость увидеть. А что за радость смотреть на тебя — скотника да на дочь — доильщицу. А тебе разве будет радостно видеть рядом с собой двух рабынь, старую и молодую. Нет в этом хорошего, сынок. Вот и решила: если уйдешь ты из этого аула, в тот же

день отдам за тебя Назыкеш. Дал бы бог умереть, не видя, как унижают дитя мое. Ах, не слышать бы ей брани, что наслушалась я за свою жизнь».

Тогда и договорились: будущей весной кончается срок работы на Жумана. И Жабай уйдет из этого аула.

Понятно, почему не отходит Кунше со вчерашней ночи от постели Жабая, почему так горюет. Отчего такая несчастная, невезучая она женщина! Страшно и подумать — вдруг умрет!

Назыкеш лишь смутно догадывалась, о чем уговорились Кунше с Жабаем. Послушно выполняя сейчас все поручения, девушка следила взглядом за матерью и жигитом. Что-то бледна была сегодня Назыкеш. Может быть, тосковала — ведь подружки ушли с кочевьем. Или, может, тревожилась о Жабае?..

Торопливо вошел Сеит. Он издали заметил на покинутой стоянке Жумана одинокую черную юрту и хотел справиться, чья она, — чувствовал, неспроста оставлена. Тревожился за Назыкеш: не с ней ли какая беда?.. А она как раз возвращалась с верблюдом на поводу. Вместе с Талтаяком заставили верблюда опуститься, развьючили и начали ставить еще одну ветхую юрту.

— Жабай?! Почему лежишь? Случилось что? — удивился Сеит, увидев больного.

— Что сказать тебе, родной? Известно: сильные бодаются, а под удар попадает муха... — ответила Кунше.

Дальше Сеит не стал спрашивать. Стычки между их аулами — дело привычное. И случай с Жабаем — не редкость. Сеиту столько раз приходилось видеть такое. Он смотрел на Жабая. Кровь, смешанная с жженой кошмой, струилась из-под красной повязки. Кроваво-грязные подтеки размазались по всему лицу. Раненый приложил руку к повязанному глазу. Он задыхался, нетерпеливо дергался, стонал.

— К фельдшеру везти надо. Боюсь, опасно это... — сказал Сеит.

Жабай снова попросил:

— Пить!..

Сеит приподнял голову больного. Поила на этот раз Назыкеш. Три головы сошлись вместе, все три — юные. Как сложится судьба этих молодых голов? — подумалось Кунше. Глубоко тронуло ее в эту минуту дружеское единение молодых людей, как бы их братство. У Кунше намокли глаза. «Что же, он, как и мы, сирота, поломан-

ная душа!» — так решила она, глядя, с каким участием отнесся Сеит к больному.

И раненый, казалось, ощутил сострадание друзей, успокоился.

А Сеит нечаянно взглянул на склонившуюся рядом с ним Назыкеш. Впервые так близко увидел ее бледноватые гладкие пальцы с удлиненными розовеющими ногтями. Косы упали на грудь, и открылась нежная, не тронутая загаром шея. Жигит смутился. Сейчас же отвел глаза, укорил себя: «В такую минуту!..»

— К фельдшеру везти надо, апай... А то останется как Сарымсак, — настойчиво повторил Сеит. Он напомнил об одном работнике Игилика — кривом Сарымсаке, которому выбили глаз в одной из таких же драк.

— Как повезем к бершиль, очей моих свет? Что мы здесь можем сделать?

— Сейчас сам все устрою. Приведу сюда зеленую арбу моего нагаши. Велю наложить побольше сена. Сам отвезу его к заводскому фельдшеру. А вы тут пока приготовьтесь. — Сеит вышел.

У юрты Игилика собрался чуть не весь аул. Однако самого Игилика здесь не было. Люди разглядывали повозки, которые только что прибыли. На одну из них взобралась молодая Айганша.

— Русские бабы всегда в таких ездят! — сказала она, с удовольствием развалившись в крытом возке.

— Какой вопрос! — поддакнул Омар. — Оттого и белолицые, загар их не трогает.

В центре толпы, запустив оба больших пальца за пояс, стоял Батыраш — правая рука Игилика по торговой части. Он-то и привез сюда эти диковинные телеги.

Люди, не веря глазам, то поглаживали кожаный верх, то щупали сафьяновые сиденья. А некоторые, желая угодить молодой жене бая, спрашивали, дотрагиваясь до медной окантовки:

— Не золото ли?

— Нельзя руками, жигиты... Нельзя. Она любит бережное обращение. Вытирают ее только мягкой собачьей шкуркой. Рука человека для нее — яд, — останавливал аулчан Батыраш. В голосе его тревога. Причина тревоги — Игилик. Не вышел сам осмотреть повозки, значит, гневается. Опоздал Батыраш, попадет ему теперь. Айганше понятно это беспокойство, она подливает масла в огонь:

— Почему не вчера доставил повозки? Ведь тебе было ясно сказано? Может, дождь или буран задержали?.. Что-то я не заметила ни дождя, ни бурана...

Объяснений она не ждет, приказывает:

— Две повозки и один тарантас оставишь здесь. Остальные отведи к отау. Пусть сыновья сами поделят.

Им недовольны! Это Батырашу ясно. Даже оправдаться не дали. Айганша скрылась в юрте.

Сеит, торопясь, подошел к толпе, поклонился. В другое время он не упустил бы случая подшутить над Батырашем. Сейчас же, озабоченный, прошел, не задерживаясь, прямо к Игилику.

— Нагаши! — обратился чуть не с порога. — Табунщику Жабаю глаз выбили и ногу перешибли. Если фельдшер не поможет, погиб он. А жигит ведь какой! Потребуется — другому от своего тела живой кусок отрежет. Позвольте взять арбу. Надо скорее отвезти на Акбуйрат к фельдшеру.

— Кто избил? Когда?

— Прошлой ночью драка была. Жабай при смерти... Ни слова не говорит — Омар больше знает... — Указал на входившего в юрту Омара.

Сеит заметил, как внимательно слушает его Игилик, и смело выкладывал все.

— Кто?.. Что?.. — начал было Омар.

Сеит перебил:

— С тебя здесь никто выкупа не требует. Спрашиваю только, кто избил Жабая? Разве не ты водил ночью жигитов на табуны Жумана?

— Э... да, правда. Выходил я ночью. Только сразу вернулся, заметил, что Ушаков подъезжает.

— Да ведь Ушаков приехал уже после драки. Разве не так?! — Сеит зло посмотрел на Омара.

Горячий жигит сумел бы не так еще оборвать Омара, да при Игилике неловко. А Игилик не поддерживал разговора.

— Запряги Сеиту арбу. Дай в помощь двух жигитов, — приказал он Омару.

И вот Сеит с арбой уже снова у юрты Талтаяка. Он застал Кунше за лечением. Прикладывала к колену Жабая парную желтую массу, которая растекалась по всей ноге. Сеит понял, что это такое. Четыре жигита понесли Жабая, опустили на сено в арбу. Удобно показалось Жабаю на сенном ворохе, он даже вздохнул с облегчением.

Арба тронулась по дороге к Акбуйрату, на завод Ушакова. Только там была больница, был фельдшер. В арбе рядом с Жабаем — Кунше и Назыкеш. Два жигита правили лошадьми. Сеит верхом на коне сопровождал арбу.

За аулом Игилика на обочине увидели Тлеуке. Он искал рубль. Ведь ночью здесь проехал Ушаков, а у русского бая карман набит...

— Жабай, что ли, эй?! — глупо осклабился он. — Везите, везите к бершиль, пусть там подохнет. Зачем меня в прошлом году в затылок толкнул? Пусть, пусть теперь подохнет!

Тлеуке захохотал: вот ведь как удачно сказанул! Сеит мгновенно наехал, сбил дурачка и, не оглядываясь, зарысил дальше. Тлеуке и не подумал обидеться. Вскочил на ноги, вытащил осколок зеркальца и навел на Назыкеш, норовя пустить ей в лицо зайчика.

Всю дорогу Сеит тревожился о Жабае. Придерживал ход арбы, боялся — не растрясло бы. Одергивал жигитов, чтобы не говорили громко. То и дело заставлял поить больного. Наконец не выдержал, передал коня Назыкеш, а сам сел в арбу рядом с Жабаем. Кунше и Назыкеш чувствовали — малознакомый жигит заботится о Жабае от чистого сердца. Сеит и сам, казалось, забыл, что рядом находится девушка по имени Назыкеш.

А Назыкеш совсем преобразилась, пересев с арбы на каракового с лысинкой коня. Выстоялый конь шагал красиво, пружинисто, норовя пуститься вскачь. И Назыкеш, туго перехваченная в стане, сидела в нарядном седле как-то особенно собранная, будто сокол на руке охотника. Коричневая бархатная безрукавка на ней была, конечно, с чужого плеча. И низкие узорчатые сапожки носила раньше одна из келин бая. Да и пучок перьев для шапочки, должно быть, выпрашивала у кого-то целое лето. Однако любящая рука ловко подогнала все это к фигуре девушки. Душу вкладывала мать в свою Назыкеш. «Куколка моя, жеребеночек!» — приговаривала, наряжая ее. В такие минуты Кунше была счастлива. Назыкеш на коне и сама чувствовала себя красивой. Видно, оттого и боялась оглянуться назад. А бедная Кунше была благодарна Сеиту, что не глядит на ее дочь, не «бодает» глазами, а приглядывает за больным. Кунше не переставала удивляться: откуда такая скромность в жигите из богатого аула!

Жабай немного успокоился. Сеит тоже вздохнул об-

легченно. К нему обратился один из помощников в арбе — крупный мужчина, уже в летах. Он правил лошадьми.

— Скажи, жаным, почему всегда так бывает: воюют сармантаи и мураты, а без глаза остается каракесек?

Это и был тот самый Сарымсак, работник Игилика, которому когда-то в одной из драк выбили глаз.

— А вы не держитесь за сармантаев и муратов. Зачем бьетесь за них? — посоветовал Сеит. Где-то в глубине рождался другой ответ Сарымсаку, но пока Сеит не смог ухватить его.

Слова Сарымсака встревожили Кунше.

— Зачем накликаешь беду? Везем ведь к бершиль... Думаем, вылечит его...

— Не поможет уже бершиль. Быть парню слепым, как и я. Чем другим лечили бы, может, и помог бы бершиль. А от паленой кошмы никто не вылечит. Это уж я знаю.

Сарымсак ответил Кунше, не задумываясь, прямо. А вот о том, будут ли каракесеки и дальше участвовать в драках между богатыми родами, промолчал. Да и что мог бы сказать он? Что он знал?

* * *

Сорок верст до Акбуйрата они проехали за полдня. У самого завода нагнал их на карем иноходце Омар. Он спешил по своему делу. Исполнял приказ Игилика — перебросить сенокосилки с берегов Нуры на Дайрабай.

— Я загляну в Акбуйрат. С бершиль переговорю, — приостановился у арбы, еле сдерживая разгоряченного коня. — А то кто его, собаку, знает, найдет ли свободное место или нет... Можете не беспокоиться, все приготовлю.

На Кунше Омар и не взглянул, все косился на Назыкеш.

Сеит был очень доволен Омаром. Мог бы даже простить вчерашнюю наглость.

— Вот это по-братски, Омеке. Я ведь тут никого не знаю. Где живет этот бершиль, и то не знаю. Да вы не задерживайтесь, поезжайте. Давно вижу, щекочете пах своему карему. Скачите уж!

— Ай, ерке жиен! Ай, шутник!.. Все сделаю. С помощью аллаха устрою все.

Омар пустил коня вскачь. Зад его ерзал в седле из стороны в сторону, голова дергалась, будто он кому-то поддакивал. А уж сидел — картинка! Подбоченился, зажав в руке камчу. Здесь он рисовался, не стесняясь. Не то что перед Игиликом. Там он был тих и скромен.

Телега подъехала к отлогому берегу реки Кокозек. На той стороне — на крутом берегу, носящем название Акбуйрат, полно народа. Разбрелись группами меж множества холмиков, будто на кладбище. Можно подумать — там похоронены почтенные жители степи, и теперь родичи собираются соорудить гробницы. Поодаль еще какие-то группы возились у черных куч, напоминающих юрты бедняков. Эти люди, казалось, надумали коптить мясо — хлопотали, старались разжечь кучи. Через реку доносились странные запахи — пахло то тлеющим кизяком, то сгорающим боялычем и караганом, а то вдруг щекотал ноздри запах горелого жира, тянуло серой.

У моста сбились груженые арбы, навьюченные верблюды, люди. Груз особый, черные с прозеленью камни вроде горелого железа, глыбы известняка, кизяк. Все вокруг кричало, ревело, грохотало, лязгало. Казалось, здесь начинался какой-то другой мир, полный суеты.

Сеита и его спутников через ревущую толчею провел урядник по фамилии Боткин. Как бы показывая, что специально вышел их встречать, он самолично взял коней под уздцы.

— Дорогу телеге господина Игилика! Прочь, орда! Посторонись, киргиз! — расшумелся он, тыча кулаком любого встречного. К людям Игилика у Боткина особый подход, почтение. А все прочие казахи у него «орда». Толстокожий, наверно, и не знает, что можно сказать по-человечески: «Дорогу раненому!» или «Дорогу гостям».

Сеит с прошлого года не бывал здесь. Переехав реку, он поразился: на взгорье повыше черных холмиков выросли ряды таких же черных юрт. Один край порядка подступал к берегу реки, другой исчезал за холмом. Юрты лепились одна к другой — между двумя третьей не протиснуться. Кое-где жалась к юрте коровенка или коза. Весь ряд покосился в одну сторону. Кажется, подуй ветер — и юрты покатятся вниз, к реке.

У ветхих юрт сидели тощие старики. Шеи их вытянуты, лица серые, дубленые. Тут же, как мышата у норок, копошились черноногие, чумазые детишки. Они так где-то перепачкались, что было невозможно разобрать,

какого цвета кожа, белая или черная. Только глазенки выделялись, блестели.

Вид этого табора потряс Сеита. Он никак не мог отвести от него взгляда. Дети и старики большого, в добрых сто пятьдесят юрт, оседлого аула как-то отчужденно взирали на жигита. Этих жатаков даже не заинтересовал красавец конь. Казалось, они забыли, что такое опрятность, красота. И теперь, встретившись с утраченным, не видели ничего, будто ослепли. Все это было совсем не похоже на степные обычаи, к которым привык Сеит. Там люди не упускают случая полюбоваться добрым конем. Сразу бы обступили, принялись хвалить.

Здешние жители, хоть они и называют себя оседлыми крестьянами, уже не степные жатаки. Они теперь рабочие Ушакова. Холмистая степь Акбуйрата на берегу Кокозека — это и есть его медеплавильный завод. Люди же, что ходили меж холмов над обрывом, не гробницы воздвигали, а строили круглые медеплавильные печи. Медную руду пока дробили молотом, обжигали жаром кизяка, боялыча и карагана. Все это и увидели Сеит и его спутники, когда подъезжали к реке.

Ряд черных юрт наконец оборвался. В стороне, поодаль стояла серая юрта. Из нее навстречу Сеиту вышел безбородый казах — заводской толмач Жусун.

— Держи, свет мой, вон на тот крайний дом, который голубой, — пояснил он, шагая за телегой.

Сеит уже заметил впереди с десяток белых домов. Каждый стоял особняком, поодаль от других. Два — низкие и длинные — были похожи на сараи для верблюдов. Окна их, застекленные осколками, глядели холодно, невесело. Возле этих домов не лаяли собаки, не копошились куры. Только несколько девочек играли в домики, складывали их из акбуйратского мелкого камня.

Подъехали к крайнему голубому каменному дому. У входа их встретил сам фельдшер Самойлов. Тут же приказал снять больного с арбы и перенести в дом. Урядник Боткин, стуча шашкой, уже устраивался за коричневым столом в передней. Уселся, разложил перед собой бумаги, глубокомысленно склонил голову набок. Грамота — диковина для казахов, и урядник важничал, надулся так, будто сочинял Библию или Коран.

— Чей он киргиз? — спросил про больного у толмача.

— Талтаяков сын, Жабай, — ответил тот.

— Какой волости?

— Вроде из каракесеков...

Урядник набил руку в подобных делах и быстро отмахал полстраницы. Временами перо его, пробежав вхолостую, на некоторое время замирало. В такие минуты он давил мух — захватит левой пригоршней со стола и вытрет ладонь о брюки. Жусупа он больше ни о чем не спрашивал. Писал, опираясь на рассказ Омара. Этот пройдоха успел уже повидаться с урядником.

«В степной барымте...» — уже начал он страницу и споткнулся. Фраза дальше никак не шла. Перечеркнул. Пришлось все переписывать заново. В донесении начальству делать помарки не положено. «Степная барымта» — главная идея донесения, и мысль незадачливого урядника вилась вокруг нее. Два слова: «степная барымта» легко подвертывались под перо. А вот другие — родственники главных никак не давались.

Из дальней комнаты вышел фельдшер.

— Что прикладывали к глазу? Чем лечили?

Жусуп расспросил Кунше и ответил:

— Шорный кошма ес, понял? Огонь жигает, понял? Потом больной клаз положит — хорошо будит! Кровь бежать не будит...

— А ногу зачем конским навозом облепили? — задал еще вопрос фельдшер.

— О! Аята сапсем харашо! — сказал Жусуп.

Фельдшер покачал головой. Понял, что спрашивать бесполезно, и ушел.

Боткин все писал, теперь уже без затруднений.

«Киргизин Джабай, сын Талтаяков, родом из Каракесека, был побит в степной барымте. Удар нанесен по левому глазу твердым предметом. Чем именно был ударен упомянутый киргизин: палкой или киргизской палицей, участковый фельдшер Самойлов Степан Иннокентьевич установить не мог...»

Боткин отложил перо и прошел в дальнюю комнату.

«Степная барымта» — именно на этом настаивал Омар, когда объяснял происшествие уряднику. Именно эти слова просил обязательно написать в бумаге. Очень удобные слова! На них всегда опиралась в своих объяснениях степная власть. Степь! Там случаются бури, рыскают волки и происходит барымта! Спасительные слова, особенно если надо замять какое-нибудь дело. Похоже, большие люди раз и навсегда уверовали, что и в самом деле существует такой народ — как попало кочующий и

драчливый. Сам черт их не разберет: все — родичи, богатые, бедные — только и заняты одним разбойным промыслом — барымтой.

Боткин вышел от фельдшера — видно, уточнял что-то, — и снова засел за бумагу.

«Оный Джабай, сын Талтаяков, ранен также и в правое колено. Глаз, должно быть, поврежден серьезно. Скорее всего ослепнет. Рана на колене заживет. О глазе этого сказать нельзя. Степные баксы — знахари лечили всякой дрянью: золой, навозом, плевком... Одно слово — дикость! Иначе назвать нельзя.

Во-вторых, аул Жумана, с которым кочевал Талтаяков Джабай, бросил его одного в степи и исчез в неизвестном направлении. Пострадавшего доставили в больницу люди бия Игилика Утепова. Никакой гарантии за жизнь больного фельдшер Самойлов дать не может. Лечить же оставляет сроком от трех до шести месяцев, согласно постановлению управляющего Спасским заводом г. Бернера».

Боткин старательно вывел свою подпись и теперь ждал, когда выйдет фельдшер Самойлов. Ждали фельдшера и Сеит с его спутниками. Ждали молча, не смея вымолвить слова при уряднике. Такова уж робость аульных жителей перед вооруженным шашкой человеком.

Сеита давно тревожили громкие стоны, которые то и дело доносились из-за закрытой двери. Он попросил у Боткина разрешения: пусть позволит увидеть больного, хоть попрощаться с ним. Урядник сам провел Сеита в комнату, где перевязывали раны Жабая. Процедура была уже закончена, и фельдшер освобождал привязанные к кровати руки и ноги жигита. Жабай лежал недвижно. Не подавал признаков жизни. Не шелохнулся он и потом, когда четыре санитара подняли его и понесли в другую комнату, когда опустили на деревянный топчан. Сеиту показалось, что Жабай не дышит. Встревоженный, вышел он к своим спутникам.

В молчании, с вопросом в глазах уставились на него Кунше и Назыкеш.

— Похоже — плохо... Еле дышит. Видно, дорога подействовала...

Вскоре вышел и фельдшер.

— Можете возвращаться. Лежать будет долго. Лечить будем серьезно, — объявил он.

Встали молча. Молча сели в телегу и тронулись в обратный путь.

5

Петропавловский купец Никон Ушаков уже много лет матерым волком рыскал по казахской степи. Как и все алчные, он был неутомим в своих скитаниях, и потому многое увидел, многое приобрел. Казахская степь веками лежала нетронутая, как молоко, с которого еще не успели снять сливки. Ушаков не пропускал ни одного встречного холма, на каждом вбивал колышек. Будто арканом вязал в одно — уголь и железо, железо и медь, медь и свинец. Под каким именно колышком обнаружится золото, под которым найдет он медь, да и будет ли там вообще что-нибудь — такой уверенности пока еще не было. Однако на всякий случай наложил тамгу на два десятка мест, где пахло рудой. Целиком проглотил такие обширные рудные земли, как Джезказган, Нильда, Акбуйрат, Кулжумыр, Сасык, Соран, Караганда.

Разве Никон Ушаков виноват, что кочевой народ не умеет взять отпущенное ему природой? Богатство лежит под ногами, выходит чуть ли не на поверхность земли, а невежественные степные баи дерутся из-за клочка травы! Ну и пусть, это их дело. Ушаков же знает, где лежит клад, и возьмет его. До сих пор он все примерялся, лишь мысленно обнимал эти несметные богатства. Теперь намерен запустить в них всю пятерню.

Одно тормозит — Рязанов. Сегодня, в эту ночь должна решиться судьба компании. Через два часа господин Рязанов, отдохнув немного, встанет. Вот тогда все и решится: жить Акбуйратской медной компании или умереть. Держится она на паях нескольких купцов. Но крупнейший пай у Рязанова. Прошлой зимой Рязанов ворчал: «Мешками бросаем в пустынную степь золото да серебро, которые по крупинкам собираем в горах Урала! Ради чего? Лишь ради далекой и смутной надежды. А чем все это кончится? Кто может предсказать?..» Теперь он поговаривает, что хочет покинуть компанию. Эти колебания тормозят, прямо убивают Ушакова. Без веревки связал его Рязанов. Пока не прояснится вопрос, Ушаков не может заявить в округ о нескольких новых находках. А ведь какие находки — вернейшие месторождения! Да, Рязанов нужен компании. Без него начинание если и не умрет совсем, то будет еле скрипеть. Вот и обхаживает Ушаков богатейшего, готов даже поклониться. Долго уговаривал выехать в степь, осмотреть все на месте. С боль-

шим трудом, чуть не на аркане притащил сюда главного компаньона.

И вот куплены уже Караганда и Нильда. Инженер Бернер со своей разведывательной группой опередил состояние месторождений Мыстау, Коргаштау, Джезказгана. А сегодня должны прибыть сведения об Алтынды. Алтынды — значит Золотоносная. Название расшевелило Рязанова, очень он заинтересовался этим местом. Сегодня один из разведчиков — Турсынбай привезет о нем сведения. Вот тогда, услышав все собственными ушами, Рязанов объявит о своем решении.

Ушаков так освоился со степью, что, можно сказать, сам стал казахом. Новые познания пошли ему на пользу. Народные названия мест, открытый нрав степняка — все служило ему. Работали на него и ветры, и разрушительные бури. Даже сурки трудились — выбрасывали наружу недра земли. В Сарыарке зимы суровые, земля сильно промерзает, суркам приходится рыть очень глубокие норы. Роет, работает, выбрасывает из глубин куски пород. Тут нужен только внимательный глаз. Попадется блестящая черная крошка — ищи каменный уголь, выбросит сурок зеленовато-пестрые камешки — не прогляди медь!.. У Ушакова таких внимательных глаз тридцать пар. Тридцать старателей — разведчиков из казахов — держит Никон Ушаков. Они скачут по степи днем и ночью, несутся вслед каждой буре, проверяют кучки возле каждой сурочьей норы. Эти охотники до легкой жизни, вооружаясь лопатой и кожаным мешочком для образцов, вдоль и поперек, не зная усталости, обыскивают степь. Стараются на совесть. Ведь за каждый кусок руды, принесенный из новых мест, Ушаков дает барана. Такая плата вполне устраивает обе стороны.

Сегодня Ушаков призвал к себе своих разведчиков. Сейчас он их расспросит. Может, до прихода Рязанова удастся получить что-нибудь новенькое — такое, что могло бы заинтересовать компаньона.

Первым заговорил охотник Берден. Он за целое лето ничего не нашел. И теперь вылез раньше других, надеется насытить хозяина словами — уловка неудачников.

— Ошаков, печень моя, аллах нынче обещает тебе удачный год. Чую, завалит тебя всяким добром... Сурков — нет числа! Своими глазами видел: пятнадцать орд этих сурков рыли ямы на земле, где не ступала ни одна нога. Сторожил их я три дня и три ночи. У меня на примете

был холм. Знаю, там должно быть золото или серебро. Так эти сурки обступили тот холм со всех сторон — и давай подкапывать! День и ночь рыли, непрерывно рыли, будто завод строить нанялись. Пошлет мне аллах удачу! Слышу я — один из ваших баранов блеет в мою сторону. Вели своему Жусупу, пусть передаст мои слова в точности. — Бердеп говорил, и все в нем двигалось, помогая убеждать, — руки, тело, лицо. Исчерпав все доводы, умолк и весь подался вперед.

Ушаков понял из речи Бердена далеко не все. Обрадовали знакомые слова: сурки, золото, серебро. Однако по извечной манере торговца напустил на тебя равнодушный вид. Бердену кивнул одобрительно и попросил Жусупа разъяснить эти самые понравившиеся ему слова:

— Что такое «Мыстау»?

— Аята болшой, болшой земля, — заторопился толмач, не зная, — что «тау» по русски — «гора». Важно не уронить свою репутацию переводчика перед Ушаковым. — Сагсем плнай, кругом плнай меднай земля...

— Гора?

— Нет, земля...

Ушаков улыбнулся.

— А «Коргасынтау» что означает?

— Аята тоже болшой земля. Плнай свинсевай земля... Иногда и серебро ес.

Ушаков доволен. Не важно, что Жусуп не слишком грамотен. Главное — большая земля, полная меди и свинца. Теперь Ушаков захотел уточнить еще вот что: «Мыстау» и «Джезказган» — оба слова указывают на медь. В чем же разница? Почему в одном случае «мыс», а в другом «жез»?

— Аята все равно, для казаха все равно, — не смог разъяснить Жусуп.

Давно на своем месте ерзал старатель Карсыбек. Ревниво следил: слишком долго беседует Ушаков с Жусупом.

— В нашей степи чего только нет, — заговорил он. — Коргасынтау, Мыстау, Алтынды, Борлытау: серебро, медь, золото, мел — все, только бери. Есть место — Ткенекты называется. Так там серебро и свинец лежат просто так, прямо на земле. Проедешь по тем местам на коне — следы за тобой серебряные... Эх, только наш брат, казах, не повернет шею! — выговорил с досадой и посмотрел на Жусупа — переводи!

И поставил перед Ушаковым три кожаных мешочка, набитых рудой.

О местах, которые назвал Карсыбек, Ушаков был наслышан. Но опять не выдал своих планов, сказал небрежно:

— Что я смыслю в этом. Оставь тут, Бернер посмотрит. — Он поднял мешочки, выставил в ряд на столе. Увесистые! Да, если Карсыбек взял свои образцы действительно в неразведанных местах, то этим надо заняться! Так он подумал, но виду, конечно, не подал. Однако и Карсыбек не прост. Умеет проникать в истину. «Слава аллаху, капкан мой, кажется, защелкнулся», — сказал он себе.

— Я думаю: может, все эти «Мыстау», «Алтынды» и прочее просто взяты из сказов? — спросил Ушаков.

Карсыбек опять поспешил:

— Там наши жайлау. Кочуем с аулами. Я и сам в детстве смотрел на эти горы, как на сказку. Алтынтау, Коктау! А оказалось, и вправду горы эти золотые, серебряные, медные...

Глаза Ушакова засияли. Он весь подобрался, как беркут, готовый схватить добычу. Серебряные, золотые ручьи потекли перед глазами.

— Вот Карсыбек — он получит барана, — объявил Ушаков, глядя на Бердена.

Эх, Берден! У него в изобилии рождались только слова, а дела не делались. Залепетал смущенно:

— Если нам не суждено, что же...

Он растерянно оглядывался по сторонам, не решаясь встретиться с товарищами взглядом.

Подъехал Турсынбай. Тот самый, коварный, непостоянный Турсынбай, которого Омар в разговоре с Игиликом назвал «Три страсти». Вид у него сегодня мрачный, будто потерпел крупную неудачу. Своим казахам кивнул холодно, показывая, что у него есть для хозяина особенное слово, которое будет сказано с глазу на глаз. И уставился на Ушакова. Нижняя губа оттопырена — за ней набит насыбай.

— Идите пока. — Ушаков стал выпроваживать жигитов. Оставил только Жусупа.

Разведчики выходили переговариваясь. Карсыбек хвалил русских: «справедливые люди». А Берден досадовал: не легко провести русского, дает, только когда ему самому даешь.

— Мы потеряли Алтынды! — проговорил Турсынбай и обратился к Жусупу: — Передай своему белоглазому как-нибудь помягче. Вездесущий Попов, оказывается, успел забить там свой кол. Кол я выбросил, да с камнем не справился. Громадный, с печь, не сдвинешь. На камне надпись.

Жусуп перевел. Ушаков насторожился.

— Почему решил, что Попова камень? Может, и не его надпись?

— А я списал.

Турсынбай вытащил из-за голенища бумажку, сложенную вчетверо, и протянул Ушакову. «Гора Алтынды, открыл Степан Попов», — было написано там. Ниже обозначены месяц и год. Судя по надписи, открытие сделано два года назад.

Ушаков потемнел. Вперил острый взгляд прямо в морщинистое лицо Турсынбая. Изучал, не шевельнется ли скрытое предательство. Дождался: под правым глазом степняка что-то дернулось. Теперь оба молча уставились друг на друга. Глаз в глаз. И похожи были в эту минуту на двух змей, пытающихся заворожить одна другую. Лицо Турсынбая посерело, глаза заискрились, будто змеиное жало с выступившей каплей яда. Голубые глаза Ушакова леденели. Виновный не выдержал, первым моргнул. И сразу потухли искры, взор помутнел.

— Турсынбай, ты перешел ко мне от Попова, — заговорил Ушаков. — И ты уже второй раз подводишь меня... Давно ли мы с тобой ездили в то самое место? Не было там никакого кола.

— А помните, левее от нас оставалась лощина? Вот там и оказался этот кол.

— Судя по надписи, прошло два года, как Попов застолбил это место. У меня ты всего лишь год. Как же мог ты не знать об этом?

— Мы с вами тайнами не обменивались... И потом, не в обычае Попова открывать свои тайны. Вы ведь тоже нам не все открываете. Где были вчера, куда завтра собираетесь. — Хитрый охотник, вместо того, чтобы оправдываться, двинулся в наступление.

Турсынбай перешел к Ушакову от известного семипалатинского горнопромышленника Попова. Этот предприниматель первым начал разрабатывать рудные месторождения в казахской степи. Турсынбай жаловался, что Попов обидел его: «Сколько лет за одним дастарханом ели,

а он, жадный, присвоил мой десятилетний труд. И то мало показалось. Захватил мое осеннее кочевье. Грабителем оказался!» Действительно ли он разошелся с Поповым или захотел урвать два куска? Так или иначе, но этим летом Ушаков поручил ему разведку. Турсынбай большой знаток степи. Знает наизусть, где какое месторождение и кто собирается наложить на него руку. Предсказания его бывали точны. Но за последние два месяца он уже второй раз подводит Ушакова. По его вине Ушаков потерял сорок человек рабочих. Сорок жититов, уже получив аванс, перекинулись к Попову. И проглядел их Турсынбай...

И вот второй раз подвел. Поручил ему Ушаков застолбить Алтынды. А он привез колы обратно. Провалил дело. Но Турсынбая так вот запросто не прогонишь. Опасный человек. Слишком многое ему известно. У него страсть — лезть в чужие споры. Только бы раздуть какой-нибудь скандал. А что до совести — щепоть насыбая для него дороже. Нет, просто так от него не отделаешься. Ни к чему сейчас Ушакову лишние помехи. Приходится терпеть.

— Да, с Попова не спросишь... Ступай домой. Надо будет, позову, — отговорился Ушаков.

И тут наконец появился Рязанов — отдохнувший, расчесанный, разглаженный. Ушаков кивнул Турсынбаю и Жусупу — повторил приказ выйти.

— Ну, какие у вас новости? Видел я господина Бернера, так и сияет, будто клад нашел. У вас тут все горы золотые да серебряные, — шутил Рязанов, улыбаясь с видом хорошо выспавшегося человека.

Вместо ответа Ушаков выставил мешочки, привезенные Карсыбеком. Он запускал в них руку и сыпал перед Рязановым образцы. На столе загорелись, замерцали куски руды — свинцовая, медная, золотая... У самой двери горела в свете лампы красным огнем сорокапудовая глыба меди. Это был редкостный самородок — неопровержимое свидетельство. «Да, есть тут эти самые богатства, которыми манит Ушаков», — подумал Рязанов, но скользнул по образцам равнодушным взглядом. Даже самородок не задержал его внимания. Старший компаньон вел себя с младшим по тому же образцу, что и Ушаков с разведчиками.

— Вы, кажется, чем-то озабочены, не так ли? — тонко улыбнулся Рязанов.

Ушаков видит притворство старшего компаньона. Не сомневается, что в нем бурлит сейчас алчность и зависть. Разозлился: «Раз так, будем говорить прямо».

— Об успехах вам доложит господин Бернер. Я же должен сообщить вам нечто не слишком приятное. Пока мы тут судили да рядили, люди успели прибрать к рукам Алтынды.

— Как?! Кто?! — Улыбки Рязанова как не бывало.

— Попов... Опередил нас. Успел застолбить.

— Кто такой этот ваш Попов? Что это — озорство?

— К нашему сожалению, он тот, кто первым в казахской степи начал горнорудное дело. У него тут большие права. От правительства всякие льготы. Тягаться с ним нет смысла. Первооткрыватель! Единственно верный путь: не давать больше повода для подобных случаев, самим не мешкать.

Ушаков явно намекал на постоянные проволочки, которые чинил Рязанов.

Но Рязанов не принимает такого разговора. Он не привык винить себя, как не привык и уступать.

— Первый? Подумаешь, казахский аксакал! Много таких «первых» пошло по миру с сумой. Повидали мы первооткрывателей!.. Что же, прикажете казахским обычаям кланяться? Нет, эти порядки мне не указ. К министру пойду!..

Вот удобный случай подстегнуть самолюбие Рязанова. Ушаков не преминул воспользоваться:

— Но, Александр Николаевич, нельзя же удерживать других, когда сами ничего не предпринимаем. Попов ведь начал за Баян-Аулом. А теперь он где? Уже на этой стороне Каркаралы. Теперь его разведчики обнюхивают Балхашское побережье... А мы? Смотрим на свои пять-шесть холмов — и все! Кокчетавский мужик Демидов, полуграмотный, тот самый, что ставит точку после каждого слова, и он понимает, что мешкать опасно. Развернулся как? Что ни месяц — заявка на рудник.

— Колоссально, господа... — В комнату быстро вошел инженер Бернер. — Колоссально!.. Ни в какой Америке, ни в какой Африке, ни в каком Трансваале подобного не было... Половина плавки — медь! Это в первой пробной печи! Другие тоже дали богато — больше трети. А руда ведь обычная, ни единого куска самородка, специально отбирали.

Руда Нильды оказалась необычно богатой. Из двух тысяч пудов ее удалось получить около восьмисот пудов черновой меди.

Великую радость принес Бернер. Но Рязанов сумел скрыть свое чувство. Отшутился:

— Говорите — отбирали, Карл Карлович? Смотрите, а то ведь подешевеет медь, что будем тогда делать?

Работы шли успешно, и Рязанов об этом уже знал. Ему хотелось поскорее узнать другое:

— Порадовали вы нас, Карл Карлович. Но мы, поджидая тут результатов, примерно на такой процент и рассчитывали. Вы лучше о другом... Познакомьте нас, пожалуйста, с результатами вашей поездки.

Радостное возбуждение инженера-немца потухло. Он деловито приступил к докладу о поездке. Рассказывал подробно, с чисто немецкой обстоятельностью: исторические справки, цифры. Говорил спокойно, холодно.

— Относительно мест, которые я посетил, вопрос «есть или нет» не стоял. Эти места давно ответили «есть». Доказано, что на протяжении многих веков народ чудь плавил медь на Джезказгане, Мыстау и Имантау. Отвалы руды, из которых выбрана только самородная медь, тянутся в Джезказгане на протяжении пяти верст. Я прикинул: в одном только Джезказганском отвале миллион пудов меди!..

Рязанов и Ушаков разом склонились над картой, развернутой Бернером. Так быстро, что чуть не задели друг друга головами. Но даже извиниться забыли. До того ли теперь! Не оторвать их в эту минуту от цифр Бернера. Миллион пудов! Ничего они больше не видят и не слышат, хоть мир сгори. Глаза сверлят бумагу. Глаза убийц! — подумалось Бернеру. — Убийц, готовых к своему черному делу. Бернер был поражен. Особенно удивил его Рязанов — человек с такими хорошими манерами!..

— Чудь — народ древний. Вряд ли они сумели проникнуть глубоко. Руда, видимо, не тронута в глубине, как думаете? — встревожился Рязанов.

— Они брали только верхний слой.

— А копали как: упорядоченно или где придется?

— Следы копей расположены дугой с большим радиусом. Вероятно, копали там, где порода мягче. Ведь у них не было железных орудий. Попадаются копи длиной в полверсты, шириной около двадцати саженей. Но глу-

бина небольшая: всего пять-шесть саженей. Твердой породы не трогали.

— С водой, с топливом как там?

— Вода не слишком далеко, а вот топлива вовсе нет. Местность — голый такыр: ни куста не растет. А насчет угля — никто еще не исследовал.

— Но жить-то там можно?

Бернеру хотелось ответить — нет такого места на земле, где не смог бы жить человек, но он вовремя удержался.

— Да, казахи кругом живут.

— Ну, а как вы сами думаете? Что бы вы решили?

— Я думаю, это — колоссальный массив рудных залежей! Я бы не пожалел средств, будь они у меня.

— Какой глубины вы достигли?

— Мы заложили три шурфа в трех разных местах. Больше не смогли. И то с помощью местных жителей. Сплошная медь! От самой поверхности до глубины в пятьдесят аршин. Глубже не удалось проникнуть.

— Господи, да это же сокровище! — не удержался Рязанов.

— Сокровище. И грех его упустить, — энергично поддержал Бернер.

Ушаков пока молчал. Вот наконец то, чего он давно добивался: Рязанов поражен, захвачен рассказом Бернера.

— А карагандинский уголь, это надежно? — продолжал расспрашивать Рязанов.

— За три года сделано двадцать проб. Сплошная толща, — сказал Ушаков.

Уголь и руда! Такие запасы! И так удобно, благоприятно для производства расположены. Это Рязанову ясно. И тем не менее он вдруг опять заколебался. Возникли другие вопросы: как быть с транспортом? Железной дороги нет, потребуются тысячи подвод, а где их тут взять? Ушаков предложил взамен десятитысячные караваны верблюдов.

— А тысячи рабочих рук, их где возьмем? В эту глушь не заманишь русских рабочих.

— Зачем нам русские? На горной работе я предпочитаю казахов. Дешевле рабочей силы не сыщешь. Разве что в Африке. И заметьте, квартиры не требуют. Летом — в юртах, зимой — в землянках...

— Да, но нам нужна гарантия, стабильность в рабо-

те. Что, если эти ваши казахи по своей привычке в один прекрасный день возьмут да и откочуют?

— Зачем? Гнуть спину на бая, который вовсе ничего не платит за труд? Мы ведь как-никак, а что-то им заплатим. И затем — подрядчики, они же у нас есть! Вот и будут нести ответ.

— Нет, казахи ненадежны. Кочевой, непостоянный народ. За всю историю не создал ничего, что могло бы остаться потомкам. Нет у них ни привязанности к месту, ни гордости за дело собственных рук. Откуда быть у них чувству ответственности? Опасно, думаю, все же начинать такое большое дело, можно сказать, дело всей будущей жизни, полагаясь на более чем сомнительную надежность этого народа.

— О, вы слишком строги, слишком!.. Я знаю этот народ вот уже пятнадцать лет. Бывает — хитрят. Но и хитрость у них, как у детей, наивная, видна насквозь. Часто оборачивается так, что обманутым остается сам же хитрец. Это хитрость шашечной игры. Кстати, они играют в шашки — в дойбу по-ихнему. А вот шахматного хода сложность им еще неведома. Что же касается надежности, вы напрасно... Более надежных, чем казахи, людей я, например, не встречал. Если казах обещал, значит — все, сделает непременно. Умрет, а сделает.

Ушаков говорил убежденно, и Бернер тоже помог ему.

— Кстати, среди них немало и достаточно опытных рабочих. Многие уже набили руку в горном деле. У нас все работы, включая плавку меди, выполняют казахи. Нам остается только надзор.

— Александр Николаевич, дело мы затеваем немалое, и ваши опасения справедливы. Но вам опасаться здесь нечего. Всю ответственность я беру на себя. Твердо обещаю — на каждый вложенный вами рубль получить рубль чистой прибыли. За свой труд ничего не хочу. — Ушаков коснулся стороны, которая, как он полагал, прежде всего интересует компаньона: какую выгоду будет иметь тот от участия в компании?

— Рубль на рубль? Это я получу везде, — начал было Рязанов напрямик, но вдруг опять слукавил: — Романтика! Благородное дело! Не раз я обжигался, увлеченный фантазией. Вдохнуть кипучую жизнь в эту мертвую степь — разве это не благородно, не романтично? Только вот думаю, как бы не прогореть нам, а?

Боюсь, устанем мы ждать копеек из этой далекой степи. Месторождения богатейшие, и их тут много — в этом я не сомневаюсь. Но что толку? Топлива ведь нет. Боюсь, вложения наши окажутся лишь мертвой водой. Я еду завтра. Разрешите мне подумать. Завтра перед отъездом дам окончательный ответ.

Такого оборота Ушаков не ожидал и не смог скрыть своего раздражения — оно явно выступило у него на лице. Но сдержался, смолчал.

Известно, деньги живут в дружбе, только когда они в одном кармане. А попробуй объединить содержимое двух карманов — без боя не обойдется. Спор Ушакова с Рязановым был именно таким боем. Сражались деньги из двух разных карманов.

* * *

Рязанов ушел. Было уже очень поздно. Бернер понимал настроение Ушакова. Пригласил прогуляться — посмотреть на плавку меди.

Над рекой в четырех местах пылали костры вокруг куч руды, сложенной для обжига. Крепкие с виду, рослые жигиты подхватывали на вилы огромные охапки боялыча и бросали в огонь. Боялыч, едва коснувшись жара, ярко вспыхивал, длинные языки взлетали в темное небо, и по тесным рядам юрт пробегал их красноватый отблеск. Тотчас же вспыхивали голубыми точками глаза коз, коров и собак, прикорнувших между юртами. Дым навис над аулом. И так всегда — ночью и днем. Ночью и днем — всегда из аула доносится хрипловатый надсадный кашель. Сидят там на своих постелях старики и старухи, трясутся, накинув на плечи ветхие одеяла. Уперлись худыми руками в землю, а на глазах слезы — кашель перехватил дыхание.

— Ну и адова мука — обжигать эту руду.

— Иначе нельзя. Надо ведь очистить перед плавкой от серы, — ответил Бернер.

— А топливо!.. Бог ты мой, сколько идет топлива! Просто настоящее бедствие, джут!

— Да, каждую такую кучу обжигаем по двадцать дней. Притом непрерывно. Только Караганда может избавить нас от этого джута.

— Да, да, Караганда! Вот когда размахнемся. Во всю ширь размахнемся!..

Они спустились к самому краю берега. Над обрывом стояли, пылая жаром, каменные печи. Только что окончилось их первое испытание. Накал был еще так силен, что близко не подойти. Жигиты в войлочных шляпах и в войлочных фартуках заканчивали разливку меди по ямкам. Лица жигитов — словно ремень, задубевший от пота и сажи. Разливщиками командовал инженер Иван Некрасов. Он руководил плавкой. Некрасов подошел к Ушакову.

— Поздравляю. Первый опыт завершен. Можно бы еще чище получить. Да вот Карл Карлович торопил. Люди работали на совесть. Посмотрите, какой металл, — вот он перед вами...

Все ямки были уже заполнены. Светящаяся густая масса тускло поблескивала, отражая свет луны и ламп, развешанных для работы. Вот она — первая медь! Медь, полученная из здешней — акбуйратской руды и той, что привезена из Нильды. Ушаков смотрел, не мог оторваться. Ямки представлялись ему уже озерцами — медными озерцами, и они усеивали в его воображении всю степь...

— Пусть Рязанов выходит из компании, пусть! Сам потом пожалеет. — Ушаков не обращался ни к кому, говорил как бы сам для себя. Голубые глаза его потеплели то ли от нахлынувших чувств, то ли осветила их жаркая поверхность жидкой меди. Долго еще стоял он, нагнувшись над светящимися озерцами, упершись руками в колени, любовался своим детищем.

На другой день перед самым своим отъездом Рязанов — верен себе! — отравил все-таки радость компаньона.

— Как известно, деньги любят счет. Чтобы не возвращаться больше к этому предмету, я изложил свои условия письменно. Вот вам пакет. Ознакомьтесь, подумайте. Понравится — сообщите в Акмолинск, я задержусь там на три дня, а затем вернусь в Петропавловск. Жду.

Он передал пакет и уехал.

«Управляющему от имени Спасской компании г. Ушакову Н. А., — писал Рязанов в своей записке. — Желая, чтобы средства, так щедро отпускаемые компанией вот уже несколько лет подряд, приносили в будущем определенный, постоянный доход, учитывая, что средства в этой глуши оборачиваются, не в пример внутренней России, медленно, памятуя также и то, что по некоторым сообра-

жениям казахская степь мало внушает доверия для того, чтобы вкладывать в нее капитал, я предлагаю вам следующие условия:

1. Шестьдесят из ста двадцати контрольных пакетов-паев компании предоставляются мне, Александру Николаевичу Рязанову; тридцать пакетов-паев, иначе — четвертая часть — предоставляется вам, Никону Абрамовичу Ушакову, остальные тридцать — Зотову и Савостьянову. Всего получается 120 пакетов.

2. Ответственным за все предприятия компании в казахской степи и главным руководителем всех производимых работ назначаетесь вы, Никон Абрамович Ушаков.

3. В ближайшие пять лет право назначения начальников предприятий будет принадлежать вам, Н. А. Ушакову, а по истечении этого срока мне, А. Н. Рязанову, как главному пайщику компании. Другие пайщики компании, Зотов и Савостьянов, таких прав не имеют вообще.

4. В конце каждого месяца вы извещаете меня о ходе производства, в особенности же — о количестве добытого угля и выплавленной меди.

5. В начале каждого года всеми пайщиками компании утверждается общая сумма средств, расходуемых на производство. Эта сумма не подлежит пересмотру. Как владелец половины паев я обладаю одним голосом, вы: Зотов, Савостьянов и Ушаков — все вместе, со своей стороны имеете один голос.

Во всем остальном наши отношения пусть останутся неизменными, как они установлены ранее принятым уставом компании.

Если вы согласны с моими предложениями, прошу вас прибыть в Акмолинск, чтобы надлежащим образом оформить наши новые условия в Управлении Горного округа.

Всегда готовый к услугам ваш покорный слуга А. Рязанов».

Минувшей ночью впервые, может быть, за много лет бродячей жизни Ушаков, окрыленный успехом своего дела, спал спокойно. И то под утро, после осмотра печей. И вот Рязанов опять сует свою лапу. Чертов хищник! Этой бумагой он наконец открыл свое истинное лицо. Ночью в разговоре ломался, делал вид, что не верит в рентабельность казахского рудного производства, а к

утру что?! Захотелось урвать побольше кус! Ему одному — целая доля, а остальным — доля на всех! Не желаете — до свиданья!

Весь день Ушаков ходил черный от дум. И так и сяк ностил в мыслях Рязанова. Под конец, плюнув, обозвал «тухлой рыбой» и, совсем уже в сердцах: «парижской шлюхой»!

Вспомнился Ушакову другой его компаньон — Зотов. Вот человек! Угостит, проиграет тебе в карты, а потом сгребет в объятия, как медведь, и басит: «Друг, Никон, люблю! Набей морду, хоть сейчас набей! Не обижусь... Ты не смотри, что я тоже пайщик. Были, значит, лишние, вот и уступил. А ты не стесняйся, трать как вздумаешь! Не спрашивал я с тебя отчету и, видит бог, не спрошу. Нет! Зотов не станет требовать отчета! Зотов тебе не Рязанов. А ты, Ника, ты — последняя сволочь! Оттого и люблю. С Рязановым смотри, Ника, порви. Порвешь, а? Прирезать его мало. Собака он! Кривляется: «это так, это не так». Ста-арая шлюха! Смотри, Ника, порви! А то, гляди, проглотит тебя самого, живьем проглотит... В один прекрасный день возьмет и проглотит. Пропадут твои труды. Запомни, что говорю!..»

Зотов всегда твердил о Рязанове одно и то же. И пьяный и трезвый — предупреждал. А Рязанов все прицениваался, колебался. И вот верно — разинул пасть, готов проглотить. Ведь время какое, остановить дело никак нельзя — упустишь! Знает он это, собака! Старая свинья! Половину всех паев хапнул. И третий, Савостьянов, тоже такой. Двойник, тень Рязанова. Мурлычет, будто ему за ухом чешут. Что ни скажет Рязанов, он всегда заодно.

До самого вечера честил двух своих компаньонов Ушаков. А вечером позвал Степана Бушуева.

— Вели запрягать. В Акмолинск едем. И чтобы на каждом пикете стояли наготове три пары лошадей!

Пригласил Бернера и Некрасова.

— Гасите все огни. Плавку меди прекращаем. Всех рабочих перебросить на строительство завода.

Ушаков ускакал. Огни погасли. Печи постепенно отходили от жара. Кипучий Акбуйрат затих. Кучи руды дымили, потухая. И остались стоять на берегу — полуобожженные, унылые, как заброшенные могилы...

6

Пегий, черный с белым кобель, собираясь прилечь у юрты, с опаской обернулся на восток и для верности потянул ноздрями воздух. Еще бы: раны со вчерашнего ведь так и не зажили. А вдруг снова нагрянет этот аул с высоченной юртой и с целым караваном каких-то непонятных деревянных штук! Но аула Игилика пес не учуял. Все было тихо. Старый кобель сунул морду в бок, устроился поудобней и погрузился в думы:

«Наконец хоть удалось спокойно допить свой айран-шалап. Первый раз за все время, как тронулись с жайлау, наелся досыта. Слава аллаху! Не захотелось даже вылизывать дно чашки. Попробую теперь соснуть. Бог даст, еще и высплюсь. К вечеру выходил в обход аула, все как следует оглядел: долго бегал, долго лаял. Кажется, ничего: ни волков не заметно, ни чужих псов. Чужие псы!.. Да... Вот сволочи — псы у этого Игилика! Сволочи, такие же, как и их хозяин. Попадись на глаза, привяжутся — не отстанут: «Что это ты хвост поджал? Чего глаза отводишь? Захотелось, видно, чтобы тебя разорвали?!» Так начнут и тут же хвать за глотку. Слава аллаху, спасибо хозяину, избавились, кажется, от беды...»

С этими думами черно-пегий кобель незаметно задремал.

С такими же примерно мыслями собирался уснуть и его хозяин — бай Жуман. Но тут в юрту зашел нелепый, точно пугало, старик Талтаяк. Забыв, по своему обычаю, приветствия, замяукал прямо с порога:

— Апасы, желтый атан не жует совсем, отчего бы это? Уж не болен ли? Почему в стадо не выгнали? — озабоченно обратился он к байбише Копей.

— Э, бишара-старик! Не беспокойся, просто так, наверно. На вот, попей лучше. Как там Жабай? — спросила тихонько, протягивая пастуху кумыс.

— Отвезли вчера Жабая к бершиль. Какое мне дело!.. Мои ботаханы!.. Как без меня остались?.. Ушел я... За вами пошел...

Копей прикусила губу, предостерегающе покачала головой. Но разве поймет что-нибудь этот бишара! Продолжает долбить свое:

— Пришли жигиты бия. Забрали, увезли... Зачем увезли? Разве когда-нибудь было счастье избитому человеку? Останется слепым... Да так ему и надо!..

Бог знает, что еще может наболтать несчастный старик. Сейчас бай Жуман взорвется. Копей перебила Талтаяка, обратилась к мужу сама, торопясь опередить его гнев:

— Не знаешь разве, что Жабаю плохо? Конечно, где тебе повернуть шею на такое... Вот и повезли его к бершиль. Родственники повезли.

—Родственники? Слыхала же: «жигиты бия»!

— Э, мало ли родичей у них в том ауле. Кто-нибудь и повез...

— А я ни одного не узнал... На арбе приехали и увезли, — опять встрял Талтаяк.

«На арбе увезли!» Теперь у обоих: и у Копей и у Жумана не осталось сомнений. Арба могла принадлежать только Игилику. Понятно, что это за люди, которые увезли Жабая. По-разному отнеслись муж и жена к этому известию. Она — восхитилась Игиликом. Жуман еще сильнее загорелся злобой. Спохватилась Копей: как бы до утра не случилось какого несчастья! Поспешила выпроводить Талтаяка.

— Ты, старый, допивай кумыс и отправляйся к себе домой, — строго приказала ему.

— Домой? А где мой дом? Юрта — она там осталась, на прежнем стойбище. Пусть остается... Пойду к своим атанам. Прихвачу и Желтого.

Старик долго еще возился у юрты, бурча под нос:

— Вставай, мой желтый ботахан, вставай. Что нам с тобой тут делать, в ауле.

Пока не стих этот сиротливый голос, в юрте молчали.

Талтаяк давно уже рвался к своим верблюдам. Выживающего из ума старика не слишком тревожила болезнь Жабая. Душа не дрогнула, даже когда израненного сына укладывали на арбу. Чуть ли не в тот же миг отправился догонять кочевье бая. По дороге наткнулся на бродившего вокруг аула Тлеуке. Встретились двое полоумных и забыли обо всем на свете, до самого вечера играли. Нехитрая забава: Тлеуке норовил навести в глаза Талтаяка солнечного зайчика. А старик с видом испуганного ребенка вскрикивал «ой-бой» и пригибался. Вот и вся игра. Но им она казалась очень забавной. Равные во всем, они не могли наскучить друг другу. Начинали игру снова и снова.

Вечером Тлеуке предложил:

— Давай сядем на твоего атана и поедем в Акбуй-

рат. Туда ночью уехали русские баи. Наверно, уронили рубль. Давай найдем?

— Чекпен у русских крепкий, карман целый. А когда карман целый, не проскочит ни акша, ни даже шакша. Не только деньги, но даже и табакерка.

Даже самому понравилось, как складно сказал.

В аул Жумана старик отправился уже к сумеркам. Трясся на верблюде сорок пять верст и вот, не успев приехать, — снова собрался в путь. К стадам, к своим верблюжатам.

Ласковое бормотанье старика затихло, в юрте начался разговор.

— Эй, ты, баба, почему молчала? Почему ничего не сказала мне? — надвинулся на жену Жуман. Он поднялся с постели, решительно накинул на плечи чекпен. Нет, он не оставит этого дела, все разузнает про Жабая, — так поняла по его движениям Копей.

— Я и не скрывала, да ты сам не слушал.

— Не слушал?! А ты разве сказала, что его избили?

— Ты же не спрашивал.

— Значит, Игиликовы псы избили его?

— Не знаю чьи.

Кто избил — это Жуман уже и сам понял. Он чувствовал себя сейчас бывалым охотником — наконец-то напал на след. Теперь уж заставит споткнуться ненавистного Игилика.

— Кошкарбай! — резко крикнул старшего сына. — Сюда! Сюда, сюда иди! Бегом, если не умер!

Едва Кошкарбай перешагнул порог, Жуман накинулся с бранью:

— О, чтоб ты не родился! Разве ты мой сын! Хочешь, чтобы отца твоего живьем схоронили? Отлепись хоть на время от своей бабы. Сторожишь ее, как собака свою собачью чашку.

Кошкарбай — давно отделившийся сын. Слова «как собака свою чашку» больно задели его. Он побледнел. Но взглянуть отцу прямо в глаза не смел. Обратился к Копей:

— Что тут случилось?

Он смотрел на Копей с подозрением: «Уж не твоих ли рук, мачеха, это дело?»

Копей печально молчала.

— Твой родич Игилик избил Жабая и отвез к бершиль. А всю вину валят на меня. Неужели мои кони не

могут догнать Игиликовых коней? Почему ты все еще тут? Почему не скачешь в степи? Заблудиться боишься? — задыхался от гнева Жуман.

Ничто в этом доме не обсуждалось спокойно. Ничто не решали сообща. Визгливый, пронзительный голос хозяина скота жалил и оглушал всех. Потому и вершились дела второпях, сгоряча. И не удивительно, что Жуман всегда проигрывал. Игилик — тот подбирался незаметно, из-за спины, а когтил намертво. Дом Жумана уже привык: каждая схватка с Игиликом приносит беду.

Кошкарбай стоял перед отцом безмолвно. Что ему еще оставалось делать — Жуман в споре не оказывает гостеприимства чужому слову. Когда же все-таки пришлось открыть рот, промямлил: «Съезжу сам завтра к бершиль». Разве это хотелось услышать Жуману? «Убью Игилика! Всех перебью!» — вот это был бы ответ. Постоянные поражения сделали сердце сына пугливым. Большего, чем «съезжу к бершиль», он пообещать не смог.

* * *

И еще одна ночь прошла без сна. Разволновался Жуман — громко вздыхал, ворочался в постели. Под утро слух его поразил какой-то странный, немыслимо визгливый звук. Звук этот то и дело менялся, то уходил, то приближался вновь. Он ел уши, ныл в печени. Казалось, не звук это — беда надвигалась, беда. Даже не одна, а две, три — много бед! Залаяли встревоженно собаки, завыли с тоски. «Может, заблудились русские друзья этого пса Игилика? Вот и мечутся теперь, не знают, куда им ехать. Так и надо, не будут в другой раз соваться в степь». Придумав объяснение, Жуман успокоился и на рассвете уснул.

Встал поздно. В доме творилось что-то неладное. По лицам домашних догадался — что-то случилось! Люди двигались неслышно, разговаривали шепотом. Копей была печальнее, чем всегда. Впрочем, Жуману нет дела до горестей бесплодной байбише. Что в ней толку — года идут, а детей все нет. Но лицо Копей для Жумана — книга. Беда, случившаяся в доме, прежде всего проступает именно на этом лице. Что же произошло?

— Отец, что ли, у тебя умер?

Копей молчала.

— Ну умер так умер. Великое несчастье! Рухнула одна из опор Алтай-Карпыка!

Жуман намекал на бедность, на слабость родичей Копей. Обидно байбише слушать.

— Моя родня без твоих дойных кобыл обходится. Зачем тревожишь память отца? Отец мой давно уже умер. — Копей заплакала.

— Ну и пусть перевернется в могиле!.. Подай ичиги! — гаркнул Жуман.

В юрте сгущалась гроза. Жуман готов был опять разрядиться гневом. И тут появился Турсынбай — разведчик Ушакова. С порога принялся расспрашивать о здоровье и благополучии хозяина дома. Можно было подумать — вернулся старый друг после долгой разлуки. А он — змеей заползал баю за пазуху.

Заявился он неспроста. Надеялся выведать кое-что. Вчера выжал из Жусупа все, что тот знал о делах Ушакова и Игилика. Но вот продана ли Ушакову Караганда — это так и осталось невыясненным. Не узнал Турсынбай ничего и о ночных гостях Игилика. Попытался выведать у Омара. «Тёре. Приезжали к волостному», — вот и все, больше ничего не захотел добавить. А к Игилику и не суйся, прогонит. Турсынбаю только и оставалось — поехать к Жуману. Ведь из-за Караганды грызлись два бая: Игилик и Жуман.

— Поздравляю, Жумеке! Оказывается, вы тоже сено косите? И машины у вас появились. Целых три!

Визгливый, колеблющийся звук, поразивший Жумана под утро, донесся опять. Теперь наконец бай понял, что это. И снова ему показалось, что надвигается беда. О сенокосилках Игилика наслышался уже, только видеть не приходилось.

— О, аллах! Ты что, с ума сходишь?! Что я тебе, капыр, как твой Игилик?! Кошу сено!.. Когда это было?.. Разве мне недостает щедрот аллаха?.. — Жуман возмущался, однако тень зависти мелькнула на лице, и это не ускользнуло от Турсынбая.

— Апырау! Чьи же тогда машины тут косят? Прямо у ваших юрт!.. — прикинулся он простачком.

— Видно, брата твоего ненасытного. Чтоб сдох, подавившись этой травой! — Жуман стал удивительно похож на переполненный кислым молоком торсык: ткни — и лопнет.

— Э, меня не проведете, Жумеке. Ругаете брата ваше-

го Игилика! Сами знаете — близкий человек не обидится. Но, извините меня, странно все же, косит ведь чуть не у вашего порога!.. — Турсынбай рассчитал точно — задел самое чувствительное место в душе Жумана и с удовольствием отметил: подействовало. — Может, эти земли продали заводу и косят заводские? — прикинулся, хитрая лисица, еще большим простачком. И так ловко прикинулся: ноздри раздулись, а уши, казалось, обвисли.

Жуман и не подумал, что тут может быть подвох, — давно привык винить Игилика во всем дурном.

— Сколько? Три машины, говоришь?

— Да, да! Собственными глазами видел. Всю долину выкашивают. Уже ту сторону очистили. Сейчас сюда перейдут.

— Похоже, он и на моей могиле косить захочет, когда умру!..

Турсынбай смекнул: в душе Жумана зреет план расправы с Игиликовыми косилками.

Стравливать людей друг с другом — любимое занятие Турсынбая, его страсть. С тем он сюда и приехал. Не зря прозвали его в народе «Три страсти». Три страсти было у Турсынбая: доносить, ссорить и наслаждаться расправой. Пошлет «круглую бумагу» [1] — донос, разожжет ссору, а потом ждет, чтобы один из ссорящихся был уничтожен — вот вся радость этого человека.

Турсынбай внимательно наблюдал за своей жертвой. Жуман был готов — вот-вот лопнет. Подметив это, гость еще больше вдохновился.

— Да, между прочим, видел я вашего раненого человека — лежит у бершиль.

— Это его тот!.. Он!.. — зарычал Жуман. Ему теперь больно было даже произнести ненавистное имя.

— Ну, вижу, должен я все сказать. Слышал я, твой родич Игилик велел так составить акт, будто вы сами избили своего человека и сами же бросили на стойбище. Вот как дело представил. Каков! Ведь избил его он сам!.. — Турсынбай действовал уже напрямик. — А ты, Жумеке, для родичей человек безобидный. Живешь сам по себе. Скромный ты человек. Вот я и пришел к тебе, нарочно свернул. Думаю: пусть потом не упрекает меня...

---

[1] «Круглая бумага» — так, видимо, впервые назвали когда-то свиток с доносом. (*Прим. перев.*)

Так разгорается пожар. Гость сидел, попивал кумыс Жумана и тут же, не теряя времени, пакостил ему. А хозяин, слепой от гнева, наставил уши, верил каждому слову. Турсынбай для него сейчас был единственным, искренним и надежным другом. И кончилось тем, что в Акбуйрат поехал не Кошкарбай — сын Жумана, а вероломный гость — Турсынбай. Ему доверил хозяин разузнать все о деле с Жабаем, выведать все «бершиловы» секреты.

Вышел Жуман проводить Турсынбая и нечаянно оглянулся на треск сенокосилок. Бог ты мой! Обширная долина почти вся была выстрижена. Туда и сюда сновали три машины. Каждую тащила тройка лошадей. Машины быстро пожирали редкую осеннюю траву — бадык. На северном берегу долины высился большой холм — могила Дайрабая. Перед ней у длинной зеленой арбы возились три жигита. Один верхом, конь под ним так и ходит: гарцевал, бил копытами оземь. Похоже, это Игиликов ловкач Омар. Он восседал на коне, размахивал камчой. Жуман узнал его. Омар на что-то указывал, распоряжался. Жуман, не раздумывая, пошел прямо к коню, к тому, что оседлали для Кошкарбая, чтобы скакал в Акбуйрат.

— Ты, дедушка, посиди дома. Я пойду под соилы, я!.. — уколол он сына. — Подай камчу!

Схватил камчу и взлетел в седло, как молодой жигит, едва коснувшись стремени. Отъехал от юрты на длину аркана и пустил коня вскачь — дольше терпеть не мог.

В мрачном всаднике Омар узнал Жумана. Всадник мчался прямо к нему и явно не с доброй целью.

— Машины не останавливать! Держаться плотнее! Ни звука ему не отвечать! Повода не давайте, чтобы и подступиться не мог. Этот бешеный пристанет ко мне — не отвяжешься. Лучше уеду. Смогу — вернусь ночью. Грабли, грабли тоже пустите!.. — распоряжался уже на ходу Омар.

Жигиты на машинах съехались плотнее и, оглашая криками степь, погнали коней.

Жуман был уже близко. Удирать из-под носа неловко, а драться со стариком неприлично. Омар повернул к могиле Дайрабая, зорко следя за приближающимся Жуманом.

Жуман, огибая могилу, пошел наперерез. Омар спешился и склонился перед холмом, будто в молитве. Вид отрешенный — ничто земное не тронет его, забыл обо всем на свете. Бей — не шевельнется. Гнусаво бормочет что-то под нос, изредка протягивает погромче слова, услышанные от мулл и случайно застрявшие в голове.

Бить человека, когда он чтит память покойника, — все равно что замахнуться на самого покойника. Так, рядом и торчали они: один со скорбным видом кланялся могиле, бормоча что-то, чему не видно конца, другой задыхался от злости, не в силах дождаться, когда же тот кончит. Жуману ясно — тянет Омар. Откуда знать ему столько молитв. И все-таки нарушить обращение единоверца к богу нельзя. Однако и терпения тоже нет. Хватит тебе, кончай! — собрался уже сказать, но тут Омар сам кончил молитву. Простер ладони вперед, поднес к лицу. Что произносит Омар, за треском машин не слышно. Он покосился на старика. Оказывается, и тот поднял ладони, присоединился к благословениям Омара. Омар провел ладонями по щекам. Жуман сделал то же.

— Салаумагалейкум! — Омар протянул обе руки Жуману.

— Ах, подлец! Ты, видно, затем сюда приехал, чтобы меня почтить? — Жуман наскочил на Омара, замахнулся камчой. Омар пригнулся. Качма лишь коснулась его. Удар, предназначенный врагу, пришелся по паху Жуманова вороного. Стоялый конь так и взмыл. Пришлось разворачиваться для нового захода. Тем временем Омар успел вскочить в седло. Камча свистнула снова. На этот раз конец ее угодил по правой руке управляющего Игилика.

Омар кружил возле могилы — единственное, что еще оставалось делать. Пусти коня прямо, Жуман непременно настигнет, а тут расчет: старик побоится возмутить покой духа предков, отвяжется в конце концов. Более молодой и ловкий Омар два круга не подпускал к себе старика. На третьем Жуман начал настигать. Вот уже опять приготовился хлестнуть камчой. Но Омар круто повернул коня. Жуман хотел сделать то же и чуть не вылетел из седла — споткнулся карий.

И это вразумило суеверного старика. Он ужаснулся: вспомнил и о боге, и о душах умерших. Ни слова не вымолвив, резко свернул к аулу. Он не молил бога о прощении. Плакал с досады упрямый старик. Ему казалось — бог помогает обидчику.

У аула он различил своих. Вылезли посмотреть на потеху! Развеселились, глядючи, как их бай без толку носится вокруг могилы за Омаром. Сколько уж он натерпелся от своих!.. Если случалось одержать верх, никто никогда не радовался. А потерпел поражение — насмехаются.

Всегда так... Бездетная Копей, она тоже чужая ему. Сыновья — трусы. Одна мечта у них: поскорее избавиться от отца, тогда уж некому будет их беспокоить... А подъедет сейчас — мигом все попрячутся, разбегутся по юртам. Засядут и будут там потешаться над ним. Теперь им хватит на весь год!

Аул, уставший от диких выходок бая, и правда встретил его в точности так, как старик ожидал. Снаружи — ни души. Попрятались по юртам. И, конечно, — решил Жуман, — подглядывают в щели, потешаются над ним.

— Чтоб ты сгорел! — буркнул бай, досадуя на свой аул. Он проезжал мимо юрты-кухни. В это время струйка пламени выбилась из очага, вырытого в земле. И вот уже побежал огонек — замелькал куропаткой то тут, то там среди сухой прошлогодней травы. Только дай волю — спалит все: и кухню и аул. Пожалуй, доберется и до Игиликова сенокоса. День стоял жаркий, ветер дул сухой и гнал огонь напрямик туда. Настойчиво гнал, будто нарочно, указывая путь Жуману...

Жуман соскочил с коня. Еле затушил пламя — сбивал камчой, топтал сапогами. Из юрты выбежала испуганная женщина. Жуман прогнал ее обратно. Раздумывать дольше не мог. Деревянным ведерком выгреб жар в очаге, понес в сторону сенокоса. Отойдя на безопасное расстояние от аула, рассыпал горячие уголья по сухой траве...

И занялся, загудел прошлогодний ковыль... Огонь заструился, потрескивая, казалось, смеялся, дразнясь. В очаге дремал — тесно было в земляной яме. Теперь же на просторе под вольным ветром разошелся, заиграл. Проглатывал белый ковыль, валил сухую траву — курай. И шел широким фронтом вперед. Оставлял за собой лишь небольшие желтые ушки пламени, они и догрызали корни и всякую мелочь. Иной раз под кустом собиралась целая стая таких ушек: сотни огневых мышат-полевок. Прыгают, принюхиваются и вдруг — нет их, исчезли, будто испугались чего-то.

А большой огонь рвался дальше. Кое-где его задерживали кусты карагана, но не надолго. Все шире размах крыльев пожара, все ближе и ближе он к сенокосу. Позади прыгали уже тысячи огневых змеек. Воробьи, густо обсевшие кусты карагана, удивленно разглядывали приближающееся пламя. Подпустив близко, шумно взлетали,

мелькали в дыму. Жуману казалось — подмигивали ему на прощанье.

Стрекот машин прекратился. Они остановились. И вот уже первая, задрав высоко вверх какую-то штуку, второпях удирает к холму. «Э, так, так!» — порадовался Жуман. Вторая и третья сенокосилки еще быстрее поскакали вслед первой. В дыму мелькал — носился туда и сюда Омар. «Вернулся-таки!» Двинулись железные грабли, затрясли задом, похожим на живот скорпиона. «Э, так, так!.. Не дразните Жумана!.. Вот как надо жрать траву!..»

Пожар, гудя, накрыл сенокос. Добравшись до скошенных валков, проглатывал их целиком. Сухой карагандинский ветер встретил пожар, словно старого друга. Давно, целое лето не виделись. Взбесился от радости и поскакал в обнимку с огнем. Понес, раздувая, пожар...

Только теперь Жуман обернулся. Сыновья и остальные аулчане шли за ним по пятам. Давно шли. Просили опомниться, молили:

— Байеке, иди же, иди домой!

Сыновья боялись близко подступиться, твердили издали:

— Ступай домой, аке, ступай!..

Весь аул был тут. Только байбише Копей осталась у юрты. Смотрела на пожар, безмолвная, обливаясь слезами.

Жуман вдруг завопил во весь голос:

— О сармантаи! Где вы, сармантаи!.. Горим!.. — Опомнился наконец, понял, какую беду накликал на свой аул. Не миновать теперь драки. Только и надежда на родичей — сармантаев. Не придут — раздавит Жумана Игилик.

— Живо! Скачите к сармантаям! Скачите в низины, скачите на холмы — везде, ко всем сармантаям! Скачите, скачите!..

Сыновья не мешкают. С десяток гонцов уже на конях. Всем и без Жумана ясно — погибнут, если не придет на помощь многолюдный род — сармантаи...

— Скачите! Погибаем, горим!.. Бий Игилик войной пошел! — так и скажите. Пусть едут сюда, быстро едут все, у кого мужская пуповина.

Гонцы поскакали...

7

Назыкеш выехала из Майкудука на рассвете. К полудню довольно уже притомилась. Приустал и караковый с лысинкой Сеитов конь — на его коне добиралась к своим. И девушку и коня мучила жажда. Кругом мертвая желтая степь — ни капли воды. Даже губы смочить нечем. Везде сушь—и ничего больше, изредка попадались кусты карагана да верблюжья колючка — и все. Холмы сменялись низинами, низины холмами. Взгляду не на чем задержаться — так все однообразно и скучно. Сероватые осенние холмы лежат будто длинный чекпен. И нигде — ни движенья, ни звука.

Назыкеш снова и снова думала о Жабае. Жалела, страдала за него. В сердце ее завязался какой-то узел, вот уже несколько дней дает себя знать. Пытается Назыкеш избавиться от него, выбросить. А узел не дается, затягивается туже, уходит на самое дно. Сейчас она опять почувствовала его и наконец поняла: то была боязнь — не станет ли Жабай слепым.

Навстречу выскочил на резвом иноходце Омар. Девушка свернула было, уступая дорогу старшему. Омар пошел наперерез и остановился прямо перед ее конем. Волей-неволей остановилась и Назыкеш.

— Э, куда направилась, зеница ока моего?

— В аул за верблюдами, юрту хотим перевезти.

— Бедное дитя! Ты и не заметила. Талтаяк давно уже проехал с двумя верблюдами. Видно, напрямик пошел. — Омар указал камчой на желтый холм. Назыкеш обернулась в ту сторону.

Омар только того и ждал: молниеносно подцепил камчой чембур коня Назыкеш.

— Теперь, свет мой, не отставай от меня!

Назыкеш не успела ни удивиться, ни испугаться, увидела только, что скачет бок о бок с Омаром. Мчался иноходью Омаров конь, и караковый с лысиной не отставал — летел, закусив удила.

Омар был серьезен, озабочен. На лице — ни тени дурной мысли. Только усы по привычке топорщились. Лишь изредка краем голубоватых глаз глянет на девушку и знай гонит своего иноходца. Поперек правой щеки словно проведен синей краской рубец — след камчи Жумана.

Вот повернулся к Назыкеш, заговорил:

— Между нашими аулами никто не ездит, поняла?

Ответа не ждет, опять отвернулся.

Назыкеш обидно, на глаза навертываются слезы, но она все же собралась с духом:

— Отпустите чембур, я и сама умею конем править!

Сказала и тут же, резко придержав каракового, попятилась. Чембур выскользнул из рук захватчика. Пока Омар опомнился, она была уже далеко. Теперь ее не догнать. Омар понял это и крикнул:

— Держи прямо в аул. Да не гони так, оторвешься от меня — заблудишься.

Сам же гнал изо всех сил, боялся потерять девушку из виду.

Мгновение назад мысль его металась от надежды к сомнению и от сомнения к надежде. Теперь ни надежд, ни сомнений не осталось. Мысль занята другим — как бы оправдать свой поступок. «Скажу, задержал по дороге к Жуману. Думал, понесет слово врагу — наболтает, навредит нам». Чутье подсказало — это решение будет самым подходящим в такой день.

После столкновения на могиле и пожара на сенокосе не быть миру между двумя баями. В этом Омар уверен. Сам видел, как Жуман рассылал гонцов к сармантаям. Значит, готовится война. Теперь начнутся набеги, пойдет барымта. И тогда только не зевай: угоняй скот, захватывай людей — спросу до поры до времени не будет.

Аксакалы раскачиваются долго. Пока соберутся, пока будут тягаться, пока придут к примирению — за это время любое дело можно подвести под барымту. Когда идет барымта, никто никого не упрекает, не судит. А Омар все-таки близкий человек Игилику. Он-то может разрешить себе и девушку забрать у неприятеля. Как же ему не польститься на такое, если даже паршивая коза сармантая и та не пройдет мимо его глаз.

Игилика Омар, слава аллаху, изучил хорошо. Теперь, он уверен, у бия одно желание: бередить, без конца бередить рану Жумана. Что угодно твори: угони коня, захвати человека, лишь не давай ни минуты покоя. Жаль, что со стариком Омар столкнулся на могиле. Будь это в другом месте, уж он не дал бы спуску, проучил бы как следует.

И тут вдруг в памяти всплыли многочисленные обиды, которые давно терпел Омар. Вспомнил, как еще сегодня потешались над ним жигиты. Только лишь вывели из-под опасности машины и начали смеяться. Смеялись долго:

«Ну и учил он тебя! Как свою бабу! Что же это ты припустил от старика? Ну и хорош же был. А все хвастаешься: я да я!»

Вспомнил, и горько стало Омару: людей в подчинении у него много, а вот таких, чтобы уважали его, почти нет. И еще досада: ведь сенокос поручил ему сам Игилик. И выходит, Омар провалил все, не уберег сено от пожара. А тут эта еще сармантаевская кыз! Известно, «даже у ножа чешутся зубы при виде красного яблока». Вот и он позарился на сармантаевскую девчонку. И упустил! Вот она — едет впереди, настороженная, не подступишься.

К заходу солнца Омар достиг аула Игилика. Спешил Назыкеш у ее юрты, а коня забрал с собой. Предупредил и дочь и мать:

— Вокруг аула будут ездить дозоры. Кто отойдет на длину аркана, будет схвачен.

Кунше не слышала Омара, ее занимала своя мысль. Мать сильно встревожилась, увидев дочь с Игиликовым управляющим. Обнимая ее, жадно всматривалась в глаза. Глядела долго, изучала.

— Здорова ли? Ничего с тобой не случилось?

— Слава аллаху, ничего. Я так испугалась!..

Обе обнялись так крепко, будто желали слиться одна с другой. Они и плакали и смеялись сквозь слезы. Да, на этот раз аллах спас!..

Омар привязал коней в ряду зеленых арб и побежал к Игилику. Бежал, показывая всем своим видом — случилась беда. Игилик торчал в одиночестве за белой юртой.

— Значит, не уберег от пожара, — сказал он.

Днем Игилик примерно определил место, где горит. Теперь, взглянув на Омара, все понял без слов. Ответа не ждет, хочет знать главное:

— Пожар мы видели. Кто поджег?

— Сам он, сам поджег. Бешеный старик!.. Среди бела дня поджег. И еще стоял, любовался...

— Люди целы?

— Целы, едут.

Игилик сделал шаг-два к юрте и приостановился:

— Переведи сюда семью Байжана. Что он там один! А эта юрта почему до сих пор здесь? — указал подбородком на черную юрту Кунше. — Захотят, можешь перевезти тоже. Об остальном узнаешь от Батыраша.

Распорядился и исчез за белой кошмой. Не посочувствовал Омару, не расспросил ни о чем. Можно подумать,

все шло правильно — так, как замыслил сам бий. И остался Омар у порога: усталый с дороги, побитый и оскорбленный Жуманом, без слова сочувствия. Даже в юрту не пригласили войти.

Прошло три дня. Майкудука не узнать: широким фронтом, плотно, плечо к плечу, стоят юрты — заслон на пути врага. Позади речка — только здесь, с тыла, аул и открыт. Детей и женщин совсем не видно. Одни мужчины. Казалось, все жигиты многочисленного рода Карекеи-Мурат прибыли сюда, на Майкудук. Даже стряпухи на кухне одеты по-мужски. Среди всего войска только и заметны две женщины и те из вражеского стана: только Кунше и Назыкеш остались в своих платьях.

Аул ощетинился соилами — заткнуты за опояску юрт. Кони под седлом, жигиты наготове! Одеты по-походному, головы по бровь стянуты платком, камча за поясом. Ждут первого знака.

В центре аула среди множества юрт возвышается, как ханская ставка, новая белая юрта Игилика. Сейчас она и правда напоминает дворец — орду Кожахмета. Игилик восседает перед входом. Его окружили волостные управители, бии, стражники. Здесь и урядник Боткин. Батыраш с Омаром — то один, то другой — поочередно подбегают с докладом:

— Прибыли сорок человек каракесеков!..

— Из кереев прибывают пятьдесят!..

— До моего обоза все равно не дотянут, — смеется караванщик Ибрай. Он прибыл вместе с акбуйратским урядником Боткиным, привел сюда восемьдесят человек из своих обозников.

— Благодарю, благодарю всех. Только не радует все это меня, — сказал Игилик. Сказал так, чтобы слышали все. — Очень уж это похоже на то, что бывало во времена дедов. Сколько народу оторвано от дел, сколько времени потеряем на смуту! Обращаюсь ко всем вам: и младшим и старшим. Взыщите с меня коня, чекпен — отдайте Жуману. Только бы быстрее покончить с этим. Я доволен народом. Отозвались, пришли защитить невиновного. Я благодарен... Примирите нас. Кончайте дело, пока не нагрянули тёре из Акмолинска... Не дай аллах, дойдет до кровопролития! Скорее кончайте дело. Обещаю устроить большой той!..

Игилик не скупится на слова. Расчет у него точен. Все наперед знает. Эти бии, волостные, тёре не станут торо-

ниться. Им тяжба выгоднее мира. В их интересах продлить междоусобицу. Но и бии, и волостные, и тёре в свою очередь достаточно хорошо видят Игилика. Ему не нужен их казахский суд. Он призвал сюда царский закон, тот и будет решать дело. Вот и сидят аксакалы, согласно кивают головами, не глядя в глаза друг другу.

С громким топотом, тесня встречных, подскакали к группе Игилика три всадника. Впереди всех широкоплечий Буланбай — палуан-борец. Сидит на высоком гнедом акбахае — белоногом коне. Вспотевшая шерсть на бабках акбахая блестит, играя на солнце серебром. Поперек седла переброшен связанный человек. Буланбай — крутой и своенравный жигит, схватил очередного Жуманова дозорного, бросил поперек седла, привез и швыряет к ногам Игилика.

— Еще один, — говорит он, огрев на лету пленного камчой по заду.

Пленник больно ударился всем телом о землю. Буланбай не оглянулся, пошел прямо в юрту — там поили жигитов кумысом. Акбахай, пошевеливая прямыми, как камыш, ушами, привычно зашагал против ветра, подставляя вечернему воздуху вспотевшую широкую грудь.

— Эй! Да развяжите же этого жигита! Несчастный!.. Какой он враг мне!.. —приказал, нахмурившись, Игилик.

Пленного развязали. Жигит поднял голову, маленькие мышиные глазки блестят. Волосы и усы совсем рыжие.

— Эй, жигит! — обратился к нему Игилик. — Не спрашиваю у тебя имени, не хочу, чтобы люди запомнили тебя в несчастье. Ты, свет мой, свободен. Возвращайся. Не требую с тебя клятвы, чтобы молчал о том, что видел и слышал тут. Только одно слово хочу передать с тобой. Скажу его в присутствии моих высоких гостей. Сумеешь ли ты в точности передать это слово уважаемому Жумеке?

— Сумею, конечно, сумею! — закивал пленник, ощупывая отбитый зад.

— Буду рабом его, упаду в ноги, уплачу коня и чекпен... Только пусть не держит на меня злобы из-за земли, которая отходит в казну. Не моя эта земля и не его. Это земля казны. Я же здесь потому, что опасаюсь нашей бестолковости. Стыдно мне перед людьми, которые вложили в это дело столько труда, уплатили деньги. Вот и сторожу пока землю. Я не хочу крови, не собираю войско. Жигиты, которых видишь здесь, пришли по своей воле. Пришли,

чтобы, если выпадет такой несчастный случай, защитить меня.

Урядник Боткин с важностью подкрутил концы отливающих желтой медью усов и осведомился у пленного:

— Понял?

При этом щеки его так раздулись, будто в них было заложено по яйцу.

Пленника напугал грозный вид начальника. Он взмолился к Игилику:

— Велите этому тёре отстать от меня.

Боткин верен привычке нижнего чина — пугать беззащитного. И сейчас сделал грозный вид — вот сомнет, сотрет в порошок пленного! Понять Игиликову затею уму урядника не под силу. Где ему разобраться во всех этих тонкостях, где уразуметь, что Игилик только говорит прямодушно на русский манер, а в действительности с чисто казахской хитростью плетет свое дело.

Пленному вернули тощего, рыжего, как и он сам, коня. Жигит, то и дело оглядываясь, поскакал прочь. Простодушный! Он так и не понял, что с этой минуты невольно стал сторонником Игилика, проводником его мысли.

* * *

Жизнь в степи была подобна узкой, вьющейся по оврагам и балкам дороге. С каждым годом дорога все удлинялась, все больше и больше ветвилась. Что-то устаревало, что-то новое вырастало взамен. И столкнулись на узкой дороге два упрямых движения. Одно было старым, не хотело сойти, другое — новое — желало во что бы то ни стало сбросить помеху с пути. Ни человеческие жертвы, ни пожары, ни позор не остановят уже ни ту, ни другую стороны. Ни одна из них не успокоится, пока наконец не упадет сраженной или же не победит.

Бай Жуман — один из этих упрямцев, осколок старого. Собрав ближних и дальних сармантаев, двинул он войско против другой стороны. Среди бела дня прибыл к озеру Букпе. Аул Игилика был теперь совсем недалеко — за двумя холмами. На холмах видны уже верховые дозоры противника. Разгоряченные быстрой ездой сармантаи возбужденно гудели, хвастались — вот налетят, всех перебьют у Игилика!..

— Эх, самого бы Игилика поймать!..

— Неплохо и его горячую токал!..

— Омара, ты скажи, Омара бы!..

Жуман стоял в центре огромного войска.

— Отпустить поводья! — скомандовал он. — Шайтан с остальными, пусть пропадут. Прежде всего разнесите этот высоченный шанырак — торчит в самое небо! А потом Игилика!.. Игилика ко мне волоките. Самого Игилика! Мне нужен он сам!..

Сармантаевцы ринулись вперед. Они за лето соскучились по хорошей драке. Низкорослые, стоялые кони размашисто скакали, вытягиваясь, как пиявки. Соилы, вскинутые на правое плечо, посвистывали на ветру, гудели.

С шумом и грохотом, не замедляя взятого с места темпа, плотной массой неслось Жуманово войско. Вот-вот налетит на аул, вмиг разнесет его... Но тут из засады наперерез выскочило другое, не меньшее войско и рассекло первое надвое. Большая часть жумановцев оказалась без управления. Группы жигитов быстро редели, разбивались и — вот уже совсем рассыпались. Головка — около сотни человек — налетела с ходу на плотный ряд юрт. Но лишь немногим из них удалось по разу стукнуть соилами, да и то по кошмам. Из-за юрт выскочили соильщики Игилика. Они с легкостью, ударом в колено, сбивали растерявшихся верховых. Пораженные тем же ударом в сустав, падали и кони.

Юрта Игилика стояла неприступная в гуще других юрт, закрытая вереницей зеленых арб. Ни один из нападающих даже близко не подскакал к ней. Так, не сходя с места, соильщики расправились с лихими налетчиками. И вскоре оттеснили их за крайние юрты.

На холмах метались кони со сбившимися под брюхо седлами. Седоки же — одни, сраженные, лежали недвижно там, где были сшиблены, другие, растерявшись, бегали: искали своих коней. В бою никто не считает, сколько раз ты падал и вставал, сколько получил ударов. Зато к концу драки важно быть на своем коне, иначе станешь посмешищем. Все это и было написано на лицах тех, кто рыскал теперь между конями, с надеждой оглядывая их. Иные из жигитов незаметно уклонялись от драки. Этих распря двух баев на задевала. Но равнодушие свое они глубоко прятали от чужих глаз.

Кое-кто, самые робкие, растянулись на земле при первом же ударе. И, благословляя судьбу, лежали не шеве-

лясь, хоть не получили ранений. Находились, впрочем, вояки, что били и лежащего и мертвого.

Так бесплодно распадалась атака, которая нагрянула вначале подобно ливневой грозе. Нигде не осталось ни одной группки, чтобы дралась всерьез. Люди все еще метались, скакали. Но уже не бились, просто разыскивали своих.

Отступающие собирались на гребне холма Итжон, прозванного так за сходство с собачьей спиной, и недоуменно застывали там. Никто не понимал: сделали они все же что-то или нет? Но разве могли они что-нибудь сделать с аулом Игилика? Он и сейчас смотрел на них неприступный, ощетинившийся, точно еж. Чтобы утешить как-то Жумана, люди покрикивали на немногочисленных пленных. Но крики были беззлобны, безгневны.

За полем сражения наблюдали с обеих сторон. Глаза и жумановцев и людей Игилика устремились сейчас к одному и тому же месту: там встретились и трясли друг друга два палуана. Буланбай тягался с Сугурали, борцом из аула Жумана. Столкнулись они случайно и по давней привычке решили померяться силой.

Так поступали они обычно, встречаясь на празднествах. Оба были равно сильны и на тоях брали верх поочередно: то один, то другой. Отбросив в сторону вражду Жумана с Игиликом, они и сейчас схватились, отстаивая лишь свою собственную честь. Каждый из них был самым сильным в своем стане. Ни один всадник не мог удержаться на коне, если прикасалась к нему рука Буланбая или рука Сугурали. Каждый из двух палуанов был для своей стороны как бы полководцем, надеждой. Вот почему так пристально следили за их борьбой с холмов. К этому времени поле сражения опустело, толпы всадников разбрелись. Оба палуана были ясно видны на очистившемся майдане.

Как сшиблись в первый раз бойцы, соилы тут же разлетелись в щепки. Еще заход — и на спины обоих обрушилась тяжелая камча, заплетенная «телячьим зубом», — по-особенному крупно. Заходили справа и слева. Откинувшись, нещадно били и проскакивали мимо, чтоб не подпустить противника сзади. Разгорячились, глаза покраснели, но никто из них так и не смог подступить со спины.

При очередном заходе Сугурали взял плеть в зубы и выставил вперед освободившуюся правую руку. Это был вызов: биться на конях врукопашную. Буланбай вызов

принял. Палуаны налетели и схватили один другого железной хваткой за вороты рубах. Мчавшиеся кони остановились как вкопанные. Они пошатывались, ноги дрожали, подгибались. Деревянные седла скрипели под палуанами, как старые кровати. Жигиты уперлись друг в друга лбами. Со стороны казалось: дерут друг друга за уши. Каждый старался сдернуть противника с коня. То один, то другой ударяли своего скакуна пяткой под печень. Конь отчаянно рвался вперед, но не мог двинуться, будто был впряжен в арбу, полную камня. Так крепко держали друг друга борцы.

Пока палуаны бились на камчах, никто не осмеливался приблизиться к ним. Боялись, как бы не заполучить нечаянный удар. Теперь борцы сплелись подобно двум стволам и, не в силах ни побороть один другого, ни оторваться, застыли. Казалось, два расплавленных куска чугуна сварились и застыли навек. Тут уже не опасно было и подступиться. Человек двадцать со стороны Жумана помчались, держа наготове чембуры. Задумали заарканить Буланбая, привести его в плен. Наступали не боясь, смело, ожесточенно.

— Держи, не выпускай! — кричат Сугурали.

— Свяжем!

Напыжились, галдят, тычут пальцами. И вот уже пробуют закинуть петлю на Буланбая. Жигиты Игилика, завидя такое, бросились на выручку.

— Пусти-ка... Да отпусти же! — попросил Сугурали противника.

Буланбай отпустил. Он доверился палуану. Знал, что тот не будет хитрить. Разжал руки и Сугурали.

— Ойбой, зачем не задержал?!

— Что это ты отпустил?

— Теперь разве свяжешь его?..

Палуан Сугурали повернулся к своим.

— Ой мразь вы, одна мразь! Что же думаете, если я не в силах одолеть такого жигита, так вам помогу? Дам гнилью расправиться с ним? Да он лучше вас всех вместе взятых, в том числе и меня!

Палуан огрел камчой одного из самых рьяных, и тот вмиг оказался под брюхом своего коня.

Сугурали признавал только открытый поединок, битву между двумя. Вся прочая драка — собачье дело, так считал он. Яростно хлестал направо и налево. Еще пять-шесть жигитов очутились под брюхом своих скакунов.

Несколько человек от удара палуана слетело на землю. Другие в страхе сами попрыгали, едва завидев камчу. Буланбай стоял, не двигаясь. Он любовался — его собрат палуан показывал мужество и благородство. С громкими криками подскакали Игиликовы жигиты. Буланбай, размахивая камчой, пошел им наперерез.

— Назад! Уходи!

Жигиты не смели пересечь путь Буланбаю. Они сбились в кучу, хмуро молчали. Буланбай грозно повторил:

— Назад! Вам сказано, назад!

Жигиты дружно качнулись, будто под порывом ветра, и разом повернули к аулу.

Сугурали подскакал к Буланбаю.

— Мы с тобой оба бедняки. Зачем нам быть врагами? Будь лучше другом моим, а не врагом, будь братом мне, а не чужим. Я один в этой стороне. Во всей округе кроме тебя нет жигита, с которым могу померяться силой. Только с тобой и удовольствие биться, только с тобой не стыдно сомкнуть камчу!

Складная речь Сугурали слегка смутила Буланбая. Он был неуклюж на слова. Ответил, как душа подсказала:

— Ты жалуешься — нет у тебя младшего брата. А я жалуюсь — старшего брата нет у меня. Сегодня ты меня хорошо отхлестал, буду считать — старший брат поучил меня. Считай и ты меня своим братом!

Сугурали — белая душа — от таких слов в ноги упал Буланбаю.

— Печень моя, родной мой, заново жить начинаю! Вот тебе моя камча, а ты дай мне свое слово. Пусть Игилик с Жуманом сами дерутся, если некуда силу девать. А нашим с тобой коням хватит пастбищ в степи. — Слезы мешали Сугурали говорить, голос дрожал.

— Тогда по домам! Пусть попробуют додраться сами.

Больше они не говорили. Молча обменялись камча на камчу и разъехались. Пусть никогда не подымается камча на своего старого хозяина. Не поднимет брат камчу на брата...

Такого конца поединка никто не ожидал. Обе стороны были сильно встревожены. Казахская степь не видела ничего подобного. Игилик взволновался не на шутку. В выходке палуанов он разглядел уже не дикую силу, привычную в степи, — здесь назревало нечто новое. Норовистый конь не терпел больше старой узды. Палуаны бросали вызов исконным обычаям степи.

«Скорее послать людей! Задержать!» — советовали некоторые. Игилик осторожен. Отвергает подобные советы.

— Не надо! Узнайте лучше, не ранен ли Буланбай? Не нужно ли чего? Скажите, отказа ни в чем не будет!

Проводил Игилик гонцов и обратился к баям, волостным и аксакалам:

— Бой, я вижу, окончен. Прошу, съездите, почтенные, к Жумаке. Передайте — хочу мира. Готов принять любые условия. Как русские решат, не наше дело. А что касается казахского решения — пусть выбирает любой путь, я на все согласен.

* * *

Группа дряхлых аксакалов во главе с хожой Куренкозом двинулась к стану Жумана. Там в это время творилась неразбериха. Никто так и не понял — что же произошло на майдане? Кто виноват? Люди спорили, винили и упрекали друг друга:

— Из Букпы двинулись — войско войском, на аул наткнулись и разбрелись как стадо. Почему? Кто виноват?..

— Кто? Тот, конечно, кто позволил рассечь войско надвое!

— А кто позволил? Кто этот тот?

— Э, собака его знает!

— Передо мной кто-то ехал на пегом коне. Он свернул влево, я за ним... А потом не знаю, что и случилось. Оглянулся, вижу, наезжает на меня Буланбай...

— И тут твой конь споткнулся, а ты упал?

— Конечно, споткнулся. Я и полетел прямо через голову...

Подъехали посредники...

— Аассалаумагалайкум...

— Уагалайкумассалам...

— Салаумаликум... Салаумаликум...

— Аликсалам... Салаумаликум... Аликсалам...

— Э, Жумеке, здоров ли ваш скот, семья, дети?

— Слава аллаху, здоровы. Здоровы ли ваши?..

— Здоров ли ваш аул, родня?

— Здоровы, хожеке. Аллах милостив...

— Не беспокоят ли волки? Ничего такого не случилось?

— Спасибо, хожеке... А в ваших краях ничего?..

— Спасибо, Жумеке, спасибо... Как чувствует себя байбише Копей?..

— Неплохо... А ваша байбише как?..

— Хорошо, хорошо, Жумеке... Здоровы ли сыновья, снохи?

— Слава аллаху, хожеке...

— Не донимают ли болезни, напасть какая?..

— С божьей помощью, — буркнул Жуман на этот раз. Ему уже надоело повторять «аллах» ради хожи.

— Не терпели ли какого урона?

— Нет... — Жуман не желал больше величать Куренкоза хожой.

Длинные приветствия подходили к концу. Есть ли еще народ в мире, где приветствуют друг друга так долго? Наверно, так делают только казахи. Особенно утомительно тянут, жуют здравицу те, на кого возлагается улаживать споры, утихомиривать междоусобицы. Тут уж не забудут ничего. Осведомятся и о семье, и о скотине, о болезнях, о джуте, о степных орлах и волках. В ходе таких приветствий постепенно выявляется настроение сторон. Они же помогают намекнуть и о деле, с которым явились послы. И хожа Куренкоз таким же образом подступил к цели.

— Тихо ли у вас?

Жуман вспыхнул. Он давно ждал этого вопроса.

— Откуда тишине взяться? Вон кони мечутся на холмах с пустыми седлами. Сколько их! Разве не видишь? А сколько несчастных навьючили на верблюдов и отправили в аул! Кровавый майдан!.. Кончат, наверно, когда перебьют друг друга!..

— «Вражда зависит от враждующих, мир от мирящих», — так говорили деды. Мы не воины. Мы — мирные послы. Наше дело быть справедливыми, помочь миру, — сказал хожа. Дальше он перешел к таким рассуждениям, в которых ни один из этого народа не то что возражать — не посмел бы и слова вставить. Они касались тонкостей, связанных с делами самого аллаха.

— Да, Жумеке, откуда быть миру, тишине? Вы правы. Портится век. Вот и солнце затмилось в прошлом году, а годом раньше, помните, луна. А теперь еще хвостатая звезда нависла прямо над головами казахов. Ждем, надеемся — уйдет от нас. А она с каждым днем все ниже и ниже спускается. А что творится в священном Туркестане! Там, слышал я, ноги хазрета Калмахана из моги-

лы вышли. Белые ноги хазрета почернели под солнцем, ногти на них отросли... Весь исламский мир со страхом и трепетом ждет теперь гласа из могилы пророка Мухаммеда...

— О боже! Пророк Мухаммед! Да отчего же это?.. — возгласил в простоте душевной аксакал, сидевший по правую руку от Жумана.

— Оттого, что нет у него больше сил взирать на наши безобразия, на грехи наши, — брякнул разозленный Жуман.

— Нет, Жумеке, — мягко остановил хожа. — От горя, скажите, от скорби, а не потому, что сил и могущества нет.

— Прости, аллах, оговорился. Конечно, тяжко ему из-за нас, — поспешил поправиться Жуман.

— И еще никогда не произносите «ему». «Пророку нашему» — так лучше сказать...

Известно, мелководье просматривается до дна и наоборот: если сквозь воду увидишь дно, — такая вода мелка. Так без особого труда хожа обнажил дно неглубоких религиозных познаний уважаемого Жумана. Гневливый бай притих, покорно выпучил глаза на хожу. А тот завладел им и погнал перед собой как послушного бычка. Хожа Куренкоз, подобно всякому другому из сословия хожей, считал себя потомком пророка, вероучителем казахов. Недалекий Жуман с его помощью споткнулся на слове. Теперь Куренкоз клонил к тому, чтобы Жуман признался во всех смертных грехах. Перед Игиликом хожа дрожал, но здесь, среди этих людей, чувствовал себя сам чуть ли не повелителем. Одних запугивал, других укорял и в конце концов всех сидящих привел в покорность.

— Эй, что же это ты по-собачьи, на корточки уселся. Не дитя же ты! — выговаривал он седому старику в широченных кожаных шалбарах.

Остановил другого, только лишь тот собрался понюхать насыбаю.

— Эх ты! Не знаешь, что ли, насыбай растет на моче русских баб!

Тут уж многие сникли. Невежественный люд! Веками запугивали его подобными сказками. Хожа для них — правый глаз всей религии.

А хожа, пристукнув одного-другого палицей своей «учености», незаметно подобрался к порученному делу.

Игиликовы условия представил как пожелание посредников-миротворцев.

— Русские порядки не про нас, — подчеркнул он. — Решают, как им удобно, мы не можем им указывать. Вот и надо поторопиться с нашим делом. Доверь его весам родичей-посредников.

Послушать хожу — русские вот-вот нагрянут с приговорами к Игилику и Жуману. Потому только Игилик и торопится, хочет уладить скандал без посторонних.

И тут искусное плетение хожи нарушил Турсынбай. Он знал, как легко поддается Жуман на уловки биев. Вот и решил вставить слово, на которое мог бы опереться Жуман.

— Не зря говорят: у собаки заступник хозяин, а у божьей птахи — бог. Много людей, целое племя Алтай-Карпык собралось здесь. Собралось, чтобы защитить безобидного и скромного человека — Жумана. И как не заступиться за него? Ведь всегда ему зря достается. А вместе с ним и нам. Выбили же глаз одному! Человек тот «наша кость», «жуманово мясо», как говорится. Значит, не кого-нибудь, а нас самих ударили. А с теми, кого на майдане захватили, с теми, скажите, что будет? Душа за душу, скот за скот? Не нами это выдумано. Вот о чем хотел я напомнить вам, — кончил Турсынбай.

— Душа за душу, земля за землю! — крикнул Жуман.

— Не спешите выносить приговор. Передайте дело в руки посредников. Только об этом и просим вас, — остановил хожа.

Хожа Куренкоз друг Игилика. Последнюю поездку все время торчал возле бия, — соображал Жуман. Нет, Жуман не нуждается в таких посредниках. Не станет мириться! Не затем шел сюда... Турсынбай не зря заговорил об Алтай-Карпыке. Намекнул — какая сила стоит за Жуманом. А ведь пока не все гонцы добрались до места. Значит, еще придут, много людей придет. Силой выбросим отсюда Игилика. Только силой!.. Надо будет — устроим засаду. Целый месяц продержим Игилика. Посмотрим, как тогда заговорит. Добьемся — уйдет отсюда, побежит. Хожа Куренкоз зря старается. В пользу Жумана он никогда спор не решит. Нет, миру не быть!..

Жуман утвердился в своей мысли.

— Нет, хожеке! Раб твоей власти, тёре, оговорился я. Не надо нам ни земли за землю, ни души за душу, не надо мира. Никаких переговоров не выйдет, пока не уберется

отсюда ваш друг Игилик. Говорят, он всю траву пожрал по эту сторону Былкылдака. Вот пусть и уходит туда. Уйдет, тогда и посредничай, если желаешь! Теперь, когда речь пошла о понятных Жуману житейских делах, он ни разу не споткнулся.

Посланники Игилика долго уговаривали строптивого бая. То один, то другой выбрасывали вперед камчу — просили слова. Но напрасно — Жуман был непреклонен.

— Уйдет, тогда и будем разговаривать! — твердил одно и то же. Недалекий человек, уперся и не желал сойти с места. Послы не знали, что же еще и придумать. Как сдвинуть с места этого упрямца.

— Кланяться тебе будет. Заплатит коня и чапан!

Ничто не действовало на Жумана. Остался равнодушным даже к обещанию уплатить штраф чести: коня и чапан. Еще сильнее заартачился. Решил: уговаривают, значит, Игилику приходится туго.

— Сначала определим, сколько у кого выбито глаз, сколько проломлено черепов. Тогда и поговорим. А пока скажите вашему окрестившемуся бию, пусть немедля откочует отсюда, покуда цел! — так заявил Жуман и затянул крепко-накрепко развевающиеся уши тымака — показал: больше слушать не станет.

Аткаминеры застыли. Сидели ошеломленные. Руки поверх толстых животов лежали, будто пленники, переброшенные поперек крупа коня. Вид удрученный, можно подумать — над степью нависла катастрофа. Турсынбай почуял: ссора затягивается, и оживился. Глаза забегали точно у вора.

— Хожеке, мне кажется, вы нисколько не пойдете против нашего шариата, если примете на этот раз сторону беззащитного и многострадального человека, — сказал он.

— Колокольчики, колокольчики! — крикнул кто-то из стоящих с краю.

Заливистый звон бубенцов тревожно отдался в сердце каждого. Мчались русские господа. Аксакалы и бии, только что с важностью судившие тяжбу, побледнели. Суетливо подбирали камчу, положенную рядом, надевали кебисы. Дрожащие ноги с трудом попадали в них. Все спешили отойти в сторону.

С саблями наголо, сверкая сталью клинков, подскакали стражники.

— Разойдись! Разойдись! — наседали на толпу. А толпа и без того спешила унести ноги.

Следом ехали две коляски. Они свернули с Акмолинской дороги и, не сбавляя ходу, помчались тоже сюда. Казалось, злая сила, нагрянувшая откуда-то из дали, вот-вот сметет здесь всех, подомнет под себя.

Это наехал Тропинин, начальник полиции Акмолинского округа. С ним прибыли пристав, урядник, стражники. Всех их послал Ушаков по просьбе Игилика. Добрались быстро на перекладных. Об этом тоже позаботился Ушаков — приготовил смену свежих лошадей на каждом пикете. Прибыли, чтобы изгнать с этих земель Жумана. Изгнать силой, раз сам, «выщипав всю скудную траву Караганды, не желает откочевать», — как доносил Ушакову Игилик.

Тропинин вышел из коляски — важный, с ног до головы желтый от золотого шитья.

— Кто тут Жуман?

— Вот он... этот человек! — загалдели люди, отстраняясь от бая.

Жуман не пошевельнулся. Не из упрямства — не до того сейчас. Просто не понимал, как ему теперь быть? Ясно для него было только одно: гроза, налетевшая из Акмолинска, разразится над его головой, только над его... Стоял одинокий, покинутый всеми, даже сыновья и те где-то попрятались.

— Объявить приказ!

Вперед выступил толстоногий, короткошеий пристав. Встал перед Жуманом, пригладил прилизанные волосы и начал читать приказ начальника полиции. Толмач, усатый казах в заломленной набекрень папахе, перевел:

— Месторождения: Караганда, Кокпекты, Букпа, Саран перешли в казну. Жумана, незаконно использующего эти места для пастьбы скота, немедленно отсюда выслать.

— Я... я и сам собрался откочевать! — поспешил заверить напуганный Жуман.

— Собрался? Так зачем вернулся?

— Просто, просто так...

— Просто — нас не устраивает. Освободи земли немедленно!

Пристав потребовал от Жумана письменного заверения в том, что тот немедля покинет эти земли. И тут Жуман

окончательно скис. Чего-чего, а бумаги казах страшился больше всего на свете. Он мгновенно забыл обо всем, о своих претензиях к Игилику, об обидах. Ничего ему уже не надо, только бы освободили от этой ужасной бумаги... Однако его и слушать никто не стал. На белой бумаге остался лопатообразный след, отпечаток толстого и короткого большого пальца — подпись Жумана.

Турсынбай хотел было выручить бая. Он имел привычку постоянно носить в кармане огарок свечи — на случай, если дело, за которое брался, «пахло колокольцами». И всегда незаметно натирал палец воском, прежде чем приложить к расписке. Однако услужить Жуману не удалось. Начальство было слишком зорко.

Степной спор долог. Он движется обычно по прихоти аксакалов-посредников, не спеша, по ухабам и впадинам, по извилинам коровьих троп. И спор Жумана с Игиликом не составлял исключения. Много времени могло утечь, прежде чем эта тяжба пришла бы к концу. Но явилась в степь новая сила — богатство, которое жило и развивалось по своим собственным, незнакомым дотоле в степи законам и обычаям. Оно сразу пресекло привычную волокиту. И все из-за нескольких куч камня, сваленных в Акбуйрате. Новая сила показала, что не даст шутить с полюбившимся ей камнем. И хоть была эта сила еще совсем малочисленной, старое затрепетало. Оно почувствовало, что народившаяся сила безжалостно перешагнет через него, подомнет, отбросит, не посчитается ни с чем.

Так бесславно закончилась затея Жумана. Прибыли сюда дружно — войском, со своим боевым кличем: «Сармантай!» Уходили же в одиночку — кто куда. Жуманова группа распадалась на глазах. Старый боевой клич еще звучал в ушах, но душу не трогал. Вряд ли он когда-либо соберет их вместе.

Людей вокруг Жумана становилось меньше и меньше. А он все стоял. Никто не предложил баю присесть. Никто не подвел коня, не позвал ехать с собой. Было уже поздно. Он заметил наконец это, сел на коня и безвольно затрусил домой — к аулу. Все в нем погасло: и гнев и сила. Ничего не осталось, даже желания отомстить. Кто-то еще ехал за баем. Были рядом какие-то люди. Но Жуман чувствовал себя одиноким. Один! На всем свете один!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Выжил Игилик Жумана из Майкудука, изгнал с позором с другого стойбища и сам откочевал.

На Шерубай-Нуре все богатство Игилика на виду. Оно лежит, бродит на своих ногах, пьет воду, щиплет траву — окружает со всех сторон большой белый аул. Куда ни глянь, за каждым холмом, за каждым бугром — везде лошади, лошади. Они заполнили степь до самого горизонта. И как будто даже раздвинули его.

Сам Игилик сидит за своей высокой белой юртой. Он так внушителен, что, посмотреть, — кажется выше ее. На лице не заметно ни радости, ни торжества. Как всегда, сосредоточен, собран, деловит. Сидит в окружении послушных «мюридов». Лысеющий Омар, тёре Жумабек, обозник Ибрай и Батыраш, будто борзые подачку, ловят каждое слово хозяина. С ним и три его сына.

— Ордабай, ты, я посмотрю, занят, видно, очень. Документ, кажется, до сих пор не отослал? — обратился бий к старшему сыну.

— Сейчас писарь принесет. Вашей подписи ждали... — Ордабай, чтобы скрыть смущение, повернулся к своей юрте: — Эй, Микепар, неси кумагу, неси!

Игилик объяснил собравшимся, о каком документе идет речь.

— Казне потребовалась известь и какие-то белые, цвета чайки, камни... Обратилась к нашему волостному управителю, просят разрешения, чтобы добывать эти камни в Кулжумыре, Байдаулете и Сасыккарасу.

— Э, пусть берут, зачем жалеть созданные аллаком кремень и белую глину, пусть, — дружно согласились присутствующие. Они понимали, что Игилик отдает не просто так, а с какой-то для себя выгодой, но спешили угодить хозяину: — Пусть... Грех ведь продавать землю. Да и земля эта бросовая — меловая, трава не растет...

— Земля всегда была казенная...

Игилик продолжал:

— Сказал вам на всякий случай, если вдруг опять объявятся самозванцы — хозяева земель.

— Ну, теперь не получится, поумнели.

— Теперь уж поняли!.. — заверили сидящие и самодовольно переглянулись.

Появился с бумагой писарь Никифор Березин. Это его Ордабай называл «Микепар». Держа в обеих руках, будто что-то весомое, Никифор передал бумагу Игилику. Бий достал из нагрудного кармана блестящую, как серебро, четырехугольную коробочку. Щелкнув крышкой, вынул оттуда увесистую медную печать и подал старшему сыну. Сын приложил печать к бумаге. На ней отпечаталась арабская вязь слов «Главный бий Кареке-Алтайской волости Игилик Утепов-сын». Сидящие снова переглянулись. На этот раз чрезвычайно почтительно.

— Повезешь сам? — осведомился бий у писаря.

— Могу и сам.

Игилик одобрительно кивнул. Теперь он обратился к Жумабеку.

— Тёре, ты, конечно, не забыл — ведь мы должны заводу пятьсот человек. Время, думаю, подходит, вот-вот потребуют. Будь готов к этому. Смотри, чтобы не пришлось скакать по всей степи да собирать людей.

Жумабек побледнел. Он знал: Игилик не терпит проволочек, тут же отвернется, если что будет не так. Промямлил:

— Писарь бумаги готовит... Вам принесу... Нельзя без вашей подписи. А там сразу сделаем...

Заводчики, плохо осведомленные о жизни в степи, не доверяли казахской бедноте. Считалось — нанимать казахов, пришедших по собственному желанию, ненадежно: разбегутся. Вот и действовали через подрядчиков, которых назначали волостные управители. Так обеспечивали себя рабочей силой все сорок семь производств и заводов в районе Караганды, Каркаралы и Баянаула. Баям и волостным это было на руку. Они старались утвердить хозяев в сложившемся мнении: «Ненадежно...», «Нужен глаз...», «Убежит — не сыщешь: степь велика».

Подрядчики поставляют рабочих сроком на шесть месяцев. За каждого рабочего завод платит по три рубля. На эти три рубля налетает вся аульная власть: бии, волостные, вплоть до аульных старшин. Подрядчикам остается не так уж много, но приходится терпеть. Чуть что — и волостной назначит другого. А должность как-никак выгодная. Так и грабили все вместе. Сначала грабили народ, а потом — друг друга. Таким подрядчиком и стал тёре Жумабек. Игилик напоминал ему о пятистах рабочих, которых тот обязался доставить для медных и угольных работ.

Жумабек перетрусил не на шутку. С набором дело шло плохо.

— Нельзя было сразу... Ждал, пока народ успокоится после майдана. Завтра все, все сделаю. День-два — и наберу, полностью наберу, — изо всех сил старался убедить бия.

— Смотри, Ушаков может обидеться. Заводские дела не терпят казахского «завтра», — еще раз предупредил Игилик и повернулся к обознику Ибраю, показывая тем самым тёре, что разговор окончен. Жумабек направился вслед за писарем. Сначала шел осторожно, волоча ноги в высоких сапогах. Но отойдя подальше, тёре очень заторопился — боялся упустить писаря. Это не ускользнуло от Игилика, и он про себя усмехнулся.

Ибрай давно ожидал своей очереди. Теперь подобрался, переменил позу — присел на колени.

— Я приехал узнать: сколько волов выделим для перевозки угля?

— А нужно сколько?

— Думаю, сто пар.

— А телег, саней хватит? — Игилик взглянул на Батыраша.

— Двух мастеров отвез в воловью отару. Двадцать подвод погнал за лесом на Ерейментау.

— Сколько кругов за месяц между Акбуйратом и Карагандой могут сделать обозы?

— Не больше десяти, — не думая, ответил Ибрай.

— Не десять, а восемь скажи, — поправил Игилик, — забыл про дожди, бураны? Нелегко придется обозам... А вот рассчитываться будем за десять...

Ибрай понял свою оплошность. Оправдываться он не посмел. Решил через Ордабая как-нибудь поправить дело. С тем и ушел.

Игилик только с виду спокоен, ровен, ко всему равнодушен. Доходы, расходы — все это, кажется, не трогает бия. На самом деле он крайне расчетлив, расчетлив до мелочей. Новые источники дохода — базар и завод с их новой формой расчета — деньгами, увеличили и без того не малый аппетит обжоры. Куда там аппетиты Жумана! Жуман готов полезть в драку из-за жалкого кустарника. Алчность Жумана, если сравнить ее с Игиликовой, всего лишь жадность впавшего в детство старика. Игилик теперь постоянно считает, щелкает на счетах. Счеты у него стали вместо четок.

Сегодня Игилик подсчитал точно все, что потребуется сделать для подготовки к зиме. И теперь готовится отдать распоряжения. С прочими делами покончено. Сейчас при нем только те, кто занимается его хозяйством. Распоряжения Игилика кратки и точны:

— Когабай, завтра начнешь вместе с Омаром готовить табуны к зиме, — приказывает среднему сыну.—В косе не должно быть больше восьмисот голов. На каждый — по пять жигитов. Подбирайте только крепких и сильных. В распоряжение каждого табунщика выдашь по двадцать скакунов. Пусть меняют. Чтобы больше пятнадцати дней не ездили на одном и том же. Плату выдай сейчас же, на лето не откладывай.

Когабай кивает головой — соглашается.

Но вот что-то показалось неясным, захотелось уточнить:

— Значит, выделятся еще три табуна?

— Нет. — Игилик недовольно взглянул на недогадливого сына. — Разве половина из ста восемнадцати базаров Сибири не рядом с нами? Думаю, обойдемся ярмарками Карауткела, Петропавловска и Есиля. Отбери из каждого коса по двести лошадей и продай.

Когабай прикинул в уме: «Больше двух тысяч лошадей!» В памяти встали прежние поездки на базары и ярмарки, и он легонько толкнул коленом Омара. Тот от приятной перспективы радостно улыбнулся.

— А с пикетами как дела? — обратился Игилик к Омару. Омар погладил усы, стараясь спрятать улыбку.

— Четыре пикета готовы между Нильдой и Акбуйратом. Осталось только вставить в сторожках окна и двери. Завозим сено. Еще десять дней — и все будет закончено. А вот пикеты между Карагандой и Акбуйратом еще не начали, — виновато сказал Омар. Хоть виниться было и не в чем: распоряжение получил только сегодня.

— Машины на ходу?

— Косят. Велел косить до самых снегов.

— Коней, что для продажи, понемногу перегоняйте к берегам Есиля.

Солнце подбиралось к закату. Под вечерним ветерком оживились, закачались сухие пучки ковыля. Над аулом быстрее поплыли сероватые взлохмаченные, будто верблюжья шуба, облака. С холмов начали спускаться к реке табуны. Звенит, раскатывается по окрестности клич табунщиков — отгоняют лошадей от аула. Потянулись к реке и

косяки скакунов. Они паслись особняком, в стороне от других лошадей. Игилик приумолк. Повернул лицо к табунам, смотрит. Люди поняли: распоряжениям конец, и начали расходиться. Один Омар все еще крутится возле хозяина, что-то хочет сказать. А вот и еще человек появился. Направляется к Игилику. Это мастер Сандыбай, тот самый, что возводил красивую высокую юрту. Он давно уже тут, выжидает, когда Игилик останется один. Игилик, продолжая смотреть на лошадей, спросил у Омара:

— А он почему еще здесь? До сих пор не рассчитались с ним! Неповоротлив наш Ордабай. Вели пригнать сюда три косяка. Из разных табунов... Пусть выбирает, какой понравится. — Игилик кажется огорченным.

Мастер Сандыбай до сих пор не уехал. Надеялся сразу, как закончит юрту, получить обещанное: десять кобылиц с жеребятами. Сначала говорили ему — табуны еще не возвратились с жайлау. А потом пошла драка, майдан! Три дня пришлось отсиживаться в кухонной юрте: могло ведь и ему ни за что ни про что попасть. На Игилика не обижался. Понимал: бию не до него. Так и приехал с его аулом сюда, на осеннее стойбище. Сегодня решил рискнуть — надо, пожалуй, напомнить о себе. Сильно робеет перед Игиликом Сандыбай. Шагает к нему, а сам все старается придумать, как бы поприветливей поздороваться, с чего бы начать. Но так ничего путного и не придумал. Если бы сам Игилик не начал, бедный мастер так и застрял бы на здравице.

— Знаю, знаю, мой мастер! Заждался ты, заждался. Я всякий раз как войду в юрту, о тебе вспоминаю. Но знаешь, дела... Дела все мешали. Не обижайся! Я уже приказал. Сейчас сюда пригонят косяки. Бери, какой понравится.

— Спасибо! Любому рад буду. У вас плохих не водится, — заулыбался во весь рот Сандыбай. В голосе у него соединились и радость, и угодливость, и какая-то собачья застенчивость. Сандыбай посмотрел на табун, спускающийся к реке, и захлопал глазами. Можно подумать — весь табун ему предназначили. Как бы сейчас расхвалил он Игилика! С ног до головы завалить готов словами хвалы. Да вот беда! Слова благодарности куда-то пропали, язык не ворочается — к нёбу присох.

— Все же ты посмотри, выбери. Вон видишь косяк? Кажется, к тебе гонят?

Десять прекрасных кобылиц, гнедых, с гнедыми же

жеребятами, резвясь, пронеслись к реке. Впереди сине-гнедой красавец жеребец, на лбу звездочка!

Косяк проскакал мимо. Табунщики подгоняли, не желая задерживать остальные косяки. Сандыбай в порыве радости выступил вперед, хотел было сказать: «Согласен, беру этот косяк». Но смутился. В жизни еще не видывал таких прекрасных лошадей!.. Тут же пришла другая мысль: не надо спешить. Может, другой косяк еще лучше будет. Рот Сандыбая сам собой расплылся чуть не до ушей, губы сладко причмокивали.

— А на этот взгляни, — показал Игилик на отделившийся от тысячи других косяк.

Мышастые в яблоках кобылицы! С ними жеребята — темные, словно подернуты изморозью. Едва приблизились к Сандыбаю и, сверкнув молнией, пронеслись к реке. Темный белолобый жеребец, поравнявшись с мастером, недовольно фыркнул, будто тот ему не понравился. Сандыбай окончательно онемел. Все лицо — и рот, и нос, и уши, — мелко дрожало. Теперь уже казалось — он не смеялся, а плакал. Даже пот выступил. Захотелось вдруг побежать вслед за косяком, взглянуть, как купаются жеребята... И побежал бы, да ноги не слушались.

— Не волнуйся, мой свет! Посмотри хорошенько. Вот и еще косяк отделился, — ободрял Игилик.

Сандыбай не помнил себя, обо всем на свете забыл. Видел только лошадей, одних лошадей... Он послушно поворачивал голову туда, куда указывал бий. Укажи Игилик на облако и скажи: там скачут кони, Сандыбай поверил бы — разглядел бы коней...

Прядая ушами, переливаясь черным бархатом, пронеслись молодые вороные кобылицы. Отливая серебром, шел впереди бархатно-вороной жеребец с белой звездочкой на лбу. На мгновение у всего косяка заиграли звездочки. А жеребята!.. Какие жеребята!.. Просто с картинки! С тонкими лебедиными шеями. Жаль только — у двух нет звездочек. Сандыбай это точно приметил. А то непременно остановил бы выбор на косяке этого красавца, бархатно-вороного жеребца. Нет, не стоит торопиться, надо еще посмотреть.

— На сегодня все. Другие табуны придут завтра. Хочешь, подожди. Если же из этих что подошло, скажешь, — заметил Игилик.

Сандыбай не ожидал такой щедрости. Думал, подсунут что похуже: постарее да попестрее — разную масть.

А тут — отборные косяки, один другого лучше. Мастер совсем растерялся. Не знает, какой и выбрать. Он, пожалуй, не прочь уже и осмотреть все двенадцать тысяч лошадей Игилика. Вот был бы выбор!.. «А может, так, — смекнул он, — взять по две кобылицы из каждого косяка: две из вороных, две из гнедых и из мышастых тоже две. А жеребцов еще раз осмотреть и выбрать одного? А там из других косяков... Ну, жеребят, пожалуй, нельзя выбирать... Хороший человек Игилик! Жаль только, не весь табун показал!»

Игилик прервал его раздумья.

— Зима нынче ожидается суровая. Поторопись поскорее угнать своих лошадей. Ну, а если у нас задержишься, — погостишь зиму, починишь кое-что, какие-нибудь там телеги. Получил бы к лету еще двух кобылиц с жеребятами... Подумай. Если решишься, передай через Ордабая, — сказал так, между прочим, уже с порога юрты.

Сандыбай остался один. При Игилике что-то удерживало, какой-то стыд мешал проявить обуревавшие его чувства. Теперь же мастер окончательно потерял голову. Так бывает со многими людьми. На глазах у других сдерживаются, а чуть остались одни — мочи нет, отдаются своей страсти. Вот и с Сандыбаем так вышло. Не смог больше терпеть. Не помня себя, побежал к реке, к табунам. Весь взмок от пота. Снял тымак, утирал им лицо и бежал, бежал... Спотыкался, падал и опять бежал. В чем-то измазал, падая, руки. Кое-как отер об одежду и снова затрусил. На бегу уже разглядел лошадей. Они зашли глубоко в реку: пили. Нестриженые хвосты у всех плыли по течению. Вот жеребцы напились, вышли из воды, встряхиваются. С хвостов и грив жемчугами посыпались капли. Холеные жеребята скачут, резвятся на берегу. Сандыбаю хотелось еще раз взглянуть на те три косяка, рассмотреть получше. Да где там, разве узнаешь здесь — их так много, что воды не видно — сплошь плывет черная бархатная масса. Никак не может он различить своих. Оказывается, ни одной лошади так и не успел приметить. Как все они похожи одна на другую... И в то же время одна другой красивее. «Вот бы взять вон ту вороную, очень уж хорош ее жеребенок. Картинка!.. Э, вот так жеребец! Такой красавец вряд ли где еще есть!» — продолжал мечтать мастер Сандыбай.

Он уже видел себя верхом на жеребце-красавце, мысленно доил своих кобылиц. Но лошади были все так хоро-

ти, что глаза разбегались, и Сандыбай никак не мог выбрать. Табуны покинули реку, переваливали уже за холм, а Сандыбай все провожал их взглядом, все выбирал...

* * *

Сандыбай жил у Кунше. Так и не смогли Кунше с дочерью вернуться в аул Жумана. Упрямый Жуман и слушать о том не хотел. Знал, как трудно Копей без Кунше, как она нужна ей, оттого и не разрешил забрать ее, назло своей байбише не разрешил. Затвердил одно: «Обе вы Игиликовы наушницы. Только и знаете — следить за мной...» Теперь Кунше доит кобыл Игилика. Кочует с его аулом. У нее-то и остановился Сандыбай.

С реки Сандыбай вернулся необычно возбужденным. Кунше привыкла к тому, что мастер молчит да все вздыхает. А сегодня с ним творилось что-то непонятное. Глядит на Кунше — глаз не сводит и все порывается что-то сказать. Кунше даже стало неловко под его взглядом.

— Не пожалеете сливок, так еще чашку выпью, — смело протягивает свою чашку хозяйке.

Кунше налила чаю покрепче, молча подала гостю.

— Интересная вы женщина... Очень интересная...

Кунше вздрогнула.

— Как смотрите, если посватаюсь? — Сандыбай говорил и не переставал улыбаться. Он заметил смущение хозяйки и добавил: — Сын у меня растет, надеюсь, тоже станет мастером, как я. На год-два моложе вашей дочери. Но, как говорится: «Бедный разбогатеет, молодой созреет». Не так ли?

Кунше внимательно посмотрела на Сандыбая: сидит, уперев в бок правую руку, важный!..

— Двух кобылиц с жеребятами оставлю без всякого, сейчас же. Одну, пожалуй, мышастой масти, другую — черного бархата. Ты таких в жизни не видывала. Из лучших табунов Игилика. — Сандыбай разошелся, не заметил, как и на «ты» перешел.

— Через год еще двух таких же дам. Каждая стоит девушки. А пройдет еще год, получишь одну трехлетку, тут и заберу невестку. А уж на свадьбе, когда приедешь к нам, подарю тебе четырехлетнего коня. А что там всяких коров, баранов и коз, так и предлагать не стану: терпеть не могу этой скотины.

— Правду говорят: «Русский разбогатеет — дом кладет, казах кое-что заимеет — невесту берет». Не иначе, получил, видно, плату за свой труд. Поздравляю тебя, поздравляю! — сказала Кунше.

— Спасибо, спасибо, кудагай!

Мастер уже назвал Кунше «кудагай», то есть сватья.

— Не спеши называть меня своей кудагай, — охладила Сандыбая Кунше. — Я женщина одинокая. Нам не к чему выдавать дочь за море. Надеемся, для нас найдется жених и тут, в ауле. Надо ведь, чтобы и обо мне позаботился. Зачем вам я? Ровня ровню ищет. — Кунше намекала на свою крайнюю бедность.

— Так я и тебя заберу, только пожелай!

— Нет уж, где нам уходить из рода, — вздохнула Кунше.

— Все ты не то говоришь, кудагай... Сейчас мне надо к волостному... К Ордабаю. Дело есть... Вернусь, тогда и закончим разговор. Быть тебе моей кудагай все равно.

Разошелся мастер — весь мир ему по колено. Вышел наружу, а перед ним так прямо и смотрит на него высокая белая юрта, его творенье. Небо затянуло тучами, сумерки густели, стало почти совсем темно. Но это не мешает Сандыбаю видеть свою работу во всей красе. Счастливая, редкостная минута! Мастер любовался завершенным трудом. Трудом, на который так много ушло дней, потрачено так много мыслей. Как совершенны изгибы ууков, как безупречны линии перехода их к кереге и шанырaку. Нет ни малейшего противоречия между необычной высотой юрты и размахом ее в ширину. Все как надо. Согласие во всем. Он представил себе юрту внутри, ее красочное убранство. Да, из красок ни одну не выбросишь. Они тоже согласно, радуя взор, переходят одна в другую.

Что для бая эта белая юрта?! Всего лишь косяк лошадей — и только! Для Сандыбая же она дело всей его жизни, его ремесло, искусство. Эти линии, рисунки, краски — все долго вынашивалось здесь, в этой голове, лишь постепенно сочетаясь и складываясь в единое целое. «Все десять пальцев твои золотые!» — сказал себе мастер.

И это было действительно так. Взять хоть бы белый тополь, который пошел на ууки! Мастер сам строгал, выравнивал, сам гнул, придавал изящество форме. Все сам! Что мог задать ему заказчик? Только — «пусть будет большой и просторной» — и все. Красоту придумал мастер. Тупые и льстивые глаза видят тут серебро да золото. А это

всего лишь краска, обычная краска, которую сам мастер купил у бакалейщика. Льстецы спрашивали: «Кто сделал эту юрту?» Что с них возьмешь? Привыкли расхваливать даже байского пса. Те, кто по-настоящему понимал красоту, не задавали таких вопросов. Они говорили прямо: «Сразу видно — рука мастера Сандыбая!» И это было высшей наградой для него. Не о богатстве бия свидетельствовала эта необычная юрта — о высоком уменье, о мастерстве! Но не только об этом... Труд мастера всегда становится достоянием чуждых ему людей, его недругов — вот еще о чем говорило сейчас творение Сандыбая.

Вспомнились ему и те, кто помогал создавать эту красоту. Встали перед глазами женщины с окровавленными руками. Это они катали горячую шерсть, голыми локтями катали — готовили для юрты кошму. Кошму отбеливали «городским мелом». Сандыбай сам строго следил, чтобы сыпали его полной мерой. Горячий мел жег, разъедал кожу. Женщины не выдерживали. В концов концов пришлось поставить жигитов. За всем следил Сандыбай сам. Узоры ковров и лент, возникавшие под скрюченными пальцами старушек и тонкими гладкими перстами девушек, — вся эта работа шла тоже на глазах Сандыбая. Много тут было труда! Мастер не сразу получил то, что нужно. Сколько отверг, прежде чем добился согласия линий и красок. «Золото, серебро!» — так могут хвалить только тупицы, не способные понять настоящую красоту.

К прежнему возбуждению прибавилась гордость за свой труд, и Сандыбай сам не заметил, как оказался перед юртой. Гнало его сюда не стремление получить плату — он забыл сейчас и думать про те замечательные косяки. Желание взглянуть на свое детище, которое так живо представил себе, только это толкало его. Перед самым входом мастер вдруг остановился. Опомнился. Вздохнул по своему, теперь уже отданному в чужие руки труду и быстро повернул назад, к юрте Ордабая. Там должен был он окончательно поладить насчет платы. Все теперь зависело от него самого — так объяснил Игилик.

* * *

В юрте Ордабая бились в «двадцать одно». Человек десять склонилось над картами. Сандыбай потихоньку пробрался в укромное место недалеко от входа и затаился там. Совсем не похож сейчас он на того Сандыбая, кото-

рый совсем недавно так красноречиво рассыпался перед Кунше. Теперь это был жалкий проситель. Даже поздороваться внятно не смог, оробел. Только губами пошевелил, и его, конечно, не услышали.

Юрта блистала богатым убранством. Узорчатые ленты — терме бежали пестрой змеей по белым кошмам, вились среди бархата и шелка. Черное и белое, красное и синее, коричневое и желтое удачно сочеталось, ласкало глаз. Один цвет незаметно переходил в другой. «И эту юрту построил мастер своего дела!» — подумал Сандыбай.

Игра была в разгаре. На Сандыбая никто и внимания не обратил. Банк держал Ордабай. Игроков всего было человек пять-шесть. Остальные — те, кто не играл, всеми способами старались угодить хозяину. Заглядывали в чужие карты, знаками предупреждали Ордабая.

Смуглый, массивный жигит явно желал проиграть волостному. Не раздумывая, шел на перебор. Этот игрок — сын обозника Ибрая Ботакар. Он метил в нукеры к волостному. Очень хотелось ему стать стражником при волостном управлении. Причем так рьяно стремился к своей цели, что прикупал даже к восемнадцати очкам. Когда проигрывал, по оплывшему жиром лицу его разливалось удовлетворение, если игра поворачивала в его пользу — крякал с досады. И другие ему под стать. Жалкие людишки! Всегда готовы льстить власть имущему. Рады подставить шею для тумаков. В борьбе на тоях тотчас валятся на землю; в карточной игре спешат поддаться, проиграть; в словесном споре снесут любую обидную шутку. Всегда и везде уступать тому, кто имеет власть, — вот их закон. И достигают ведь своего. Вот они сидят — азаматы, почтенные граждане!

Только двое играли азартно. Понимающе переглядывались, поочередно ставили банк. Обоих окружали сообщники Ордабая.

— Ставь на все! Иди! — подстрекали и тут же, заглянув в карты, спешили предупредить волостного, поглаживали подбородки, кашляли, почесывали виски.

Гладкими, не знающими труда пальцами перебирает Ордабай карты. На обеих руках блестят массивные, как ступня верблюда, золотые кольца. Выравнивает волостной карты, а сам одним глазом косит на помощников. Вот один из них зачесал затылок. На руках у Ордабая шестерка и туз. Знак показывает: надо еще прикупить. Ордабай вы-

тягивает из-под колоды карту. Приспешники наперебой хвалят волостного:

— О, как смело играет!..

— Нашего волостного не проведешь!

— Король, король!..

Пока люди шумели, рядом с тузом лег — борода лопатой — трефовый король. И откуда взялся? Ведь, кажется, только что был на руках у другого!.. Проигравший вынул из кармана бумажные пятирублевки и два серебряных рубля. Придвинул все к Ордабаю.

— Русские вот никогда к семнадцати не прикупают,— пробурчал под нос.

Монеты покатились и упали прямо перед Ордабаем. Холодно блеснуло отчеканенное на серебре лицо царя. Казалось, царь хмурится — недоволен, что его изображение так швыряют. Ордабай сунул деньги в штанину.

— Как красиво катится теньга мырзы!

— Знает, куда катиться! — зашумели голоса льстецов. Каждый всеми силами старается показать — это он, он услужил волостному! Смеются, визжат, не знают, как и выразить радость.

— Стук! В банке тридцать!..

Банк подскакивал выше и выше. Проигрывали все — и те, кто шел на это, и те, кто играл всерьез. Жена Ордабая — коротконосая молодайка — будто ждала этой минуты — начала усиленно приглашать:

— Кончайте, кончайте же, чай совсем почернел!

И тут Ордабаевы льстецы обратили вдруг внимание на затаившегося Сандыбая. Эти люди — большие любители посмеяться над тихим, безобидным человеком. Таким, который — они знают — не посмеет ответить тем же. Накинулись на Сандыбая со всех сторон:

— Ой мастер! Стукни разок, попытай счастья. Жалке, што ли! — галдели, вставляя для шику «русские» словечки. Казахи, кочевавшие по реке Есиль, вблизи русских селений, обычно хоть несколько русских слов да знали.

— Ставь, ставь! Разбогател ведь!

— Дуй, дуй! Не беда, если и проиграешь одну из десяти кобыл!.. — не унимались насмешники.

И в самом Сандыбае происходило что-то непонятное. Какой-то голос, казалось, нашептывал: «Не будь сухим пнем. Дай им достойный ответ. Не хуже их можешь сказать русское слово». Так одинокая собака, попав в чужую свору, хоть и поджимает хвост, но клыки все же показы-

вает. Искусают ее, раздерут — это наверняка. Но пусть хоть увидят, что и у нее клыки есть. Очень одиноким почувствовал себя Сандыбай среди этих людей. И захотелось ему показать этой своре, что и он кое-что знает. Они щеголяют русскими словами, отчего же ему не спросить: «пошом?»

— Пошом? — спросил Сандыбай, будто и в самом деле собрался сделать ставку. Сказал и пуще прежнего съежился, напуганный собственной смелостью.

— Ой мастер, что делает! По-русски говорит!

— Погоди, он еще всех тут обыграет!

— А как же? Ему сейчас так везет!

— Какую юрту сделал! Не юрта — прямо орда!

— Десять кобылиц с жеребятами шутя заработал! Дуй, дуй!

И вот уже Сандыбаю вложили в руки карты.

— Банк — шестьдесят рублей. Как раз цена одной кобылицы с жеребенком. Дуй!..

Не стало у мастера ни воли, ни мысли. Держит обеими руками пикового туза и смотрится в него, как в зеркало, безнадежно, бессильно.

— Значит, на весь банк!.. Правильно, мастер. Держи карту...

Сандыбай так и не понял до конца, как все произошло. Волостной подвигал к нему какие-то деньги, принимал убитый вид. Потом на руках у Сандыбая почему-то оказались два валета и туз... А под конец все кругом ржали, выли, визжали в какой-то неистовой радости и хвалили за что-то Ордабая.

— Кончайте же, кончайте! — снова сказала коротконосая молодуха и расстелила просторный синий дастархан.

Игра приостановилась. «Неужели проиграл?» — все думал и думал Сандыбай, не слыша больше ни шуток, ни разговоров. «Нет, наверно, просто пошутили».

Все принялись пить чай. Сандыбая не пригласили. Волостной, приподняв на кончиках пальцев позолоченную по краям пиалу, спросил:

— А ты, мастер, зачем пришел?

— Э... Этот... Скот чтобы получить, — робко ответил Сандыбай.

— Знаю, знаю... Слушаю тебя. Выбирать кончил?

— Что же еще выбирать. Решил взять из мышастых пять кобылиц, пять из черно-бархатных да жеребца пороного.

Ордабай так и прыснул — прямо чаем на скатерть. Отвернулся, совсем задохся от смеха, замахал на Сандыбая руками — перестань, мол, не смеши, невозможно! Вслед за волостным зашлись смехом и остальные.

— Что же ты, бишара, взял бы еще и жеребца с лысинкой! — рыдали сквозь смех. Шутка рассмешила и коротконосую. Она так закатилась, что глаза закрылись совсем, круглые щеки покраснели, а носика не стало — вконец расплылся.

— В этом ауле много есть всякой масти. Ты бы хоть от каждой взял по одной!

Насмешки окончательно сбили с толку Сандыбая. Он так побледнел, будто душа ушла. Ни горя, ни печали на лице уже не осталось. Только ужас. Он никак не мог взять в толк — что за оплошность совершил, что сказал не так? Лицо вздрагивало, а глаза застыли — казалось, они никогда больше не будут моргать. Чувствовал Сандыбай сейчас только одно — обещанный косяк лошадей ускользает, ускользает...

Волостной отдышался, успокоился. Но вдруг вспомнил, как Сандыбай сказал «решил взять», и опять зашелся смехом. И снова вместе с ним заржали, застонали гости. Настоящей шутки не понять им. Вот и рады потешиться над беззащитным.

Ордабай вдруг посерьезнел, остановил льстецов.

— Правильно делаешь. Раз бий позволил — выбирай. На нас не обижайся. Этого сине-гнедого жеребца как раз перед тобой спрашивала моя катын. Очень уж смешно получилось. Как это вам приглянулся один и тот же конь?

Сандыбай не знал: верить или нет.

— В вашем ауле этот жеребец, пожалуй, не единственный... Я заговорил потому, что сам бий показывал...

— Кобылиц у нас распределяют по косякам весной, один раз в году и до следующей весны не разлучают, — продолжал Ордабай. — Отчего бы не взять тебе косяк целиком. Зачем же разбивать косяки сразу двух жеребцов?

Сандыбай не учуял насмешки. Да что насмешка, сейчас ему плюнь в лицо, и то бы не заметил. Одно желание у него, одно чувство — как можно быстрее получить обещанный косяк.

— Согласен, если так. Очень хорош косяк сине-гнедого жеребца, но что же... Возьму косяк бархатных. А сине-гнедого, раз приглянулся он уважаемой келин, не будем трогать. Уступаю...

Гости взглянули на Ордабая — смеяться им или нет. Волостной хранил серьезность. Пришлось на этот раз льстецам заткнуть свои рты.

— Одну кобылу с жеребенком ты проиграл, так?

— Как проиграл?

— Да так...

Ордабай прощупывал мастера — хватит ли у него духу протестовать. Убедился: старик все снесет. Заговорил властно:

— Забудь и думать про жеребца. Еще не было случая, чтобы наш аул отдал на сторону хоть одного из своих жеребцов. Не в нашем обычае это. Значит, у тебя девять кобылиц с жеребятами. Хочешь — оставь пока у нас, возьмем на себя зимний прокорм. Не хочешь — забирай. Бий предложил тебе быть эту зиму нашим гостем. Как думаешь? Остаешься? А косяк весной к себе перегонишь.

Снова ускользал косяк от Сандыбая. Но как перечить волостному? Пожалуй, и вовсе пропадут... «Попробую угодить ему, так будет вернее. А весной получу своих коней», — порешил свое дело мастер. Покорность досталась ему с кровью от дедов. «Аллах далеко, белый царь еще дальше», — рассуждали испокон века степняки. Жалуйся — не жалуйся Сандыбай, никто все равно не услышит. Все жалобщики идут не куда-нибудь — сюда же, к волостному, к бию. Находиться в этом ауле и не исполнять его волю — таких безумцев нет. Остается только одно: угождать. Но и угождать надо умеючи. Сандыбай покорился обычаю:

— Быть сотрапезником вашего аула... Э-э, каждому это... того... — только и смог сказать он.

— Ну, что же, не теряй тогда времени. Ступай к Батырашу. Он в гостевой юрте. Иди к нему. А ко мне зайдешь позже. Сам позову.

Сандыбай и опомниться не успел, как оказался в положении батрака. Он еще надеялся повидаться с Игиликом, разъяснить свое дело. К Батырашу шел просто так, не думая, что это всерьез. Да не тут-то было! Батыраш долго разговаривать не стал. В ту же ночь мастер очутился в воловьей отаре на полпути от Акбуйрата в Караганду.

— Жить будешь с другими плотниками в этой землянке. Зима на носу, поторопитесь с санями! — распорядился Батыраш и уехал.

Только теперь, когда остался один возле землянки,

Сандыбай почувствовал, как он измучен. Присел на колени, прислонился к стене. Глухой темнотой навалилась на него ночь, и с нею пришла тяжелая дрема. Он был как во сне. Собственный дом, дети, сине-гнедой красавец жеребец, бархатно-вороные кобылы — все проходило перед ним бесконечной чередой. С тем, что косяк не его, Сандыбай свыкся без труда. Но сонная мысль все равно кружилась вокруг одного и того же. Было такое чувство, что он сорвался с обрыва и нет сил остановиться — катится и катится, все вниз и вниз.

* * *

В этот же час Игилик сидел, погруженный в хозяйственные расчеты. У любой глубины есть свое дно. Глубок, непостижим для окружающих Игилик. Но вот наступил поздний час, Игилик опустил висячую лампу, придвинул счеты и отдался во власть самых мелочных чувств — принялся подсчитывать барыши. Видно, сам чувствовал, как несолидно это его дело, оттого и занимался им ночью.

— Ты не отвлекай меня, а то собьюсь со счета, — предупредил жену.

Жена, опершись на локоть, изогнув крутое бедро, лежала рядом. Она кокетливо дрогнула высоким, не тронутым родами станом.

— Хорошо, не буду. Позволь только следить за твоими руками.

Игилик задумался: «Сто пар волов повезут, каждая по двадцать пять пудов угля. Значит, всего выходит две с половиной тысячи пудов. — Он отложил цифры на костяшках. — За каждый пуд шесть копеек. За все — сто пятьдесят рублей. Восемь поездок в месяц... Взять восемь раз, получается одна тысяча двести рублей. Так... Теперь... Между Нильдой и Акбуйратом ходят сто верблюдов. За месяц они делают четыре круга. По девять копеек за пуд. Выходит, двести рублей за одну полную ездку. Да, Ушаков не обманул. Правильно говорил: получишь верные две тысячи в месяц. Так и будет. Счеты не врут...»

Дверь осторожно приоткрыли. Вошел Батыраш. Ни ему, ни Омару, ни Ибраю или Жумабеку — никому из приближенных Игилика не полагалось знать, чем занимается хозяин, оставшись наедине со своими счетами. Обязаны

держать язык за зубами и не давать воли глазам. Батыраш хорошо знает притчу о рогах счастья Искандера. Он вовсе не хочет распрощаться с головой, даже не помышляет о том, чтобы выдать тайну «великого». Оттого и старается не смотреть на счеты, даже в глаза Игилику не решился взглянуть, уставился куда-то на светлую точку между носом и ухом.

— Ты о мастере?.. — спросил Игилик, не глядя на Батыраша, не в силах оторвать глаз от счетов. Он наперед знает, с чем явился Батыраш.

— Да, о нем. Отвез на Воловью отару. Устроил там. — Это было все, о чем должен был сказать Батыраш. Приказ выполнен быстро и точно. Благодарности Батыраш не ждет. Торопливо уходит из юрты. Нарочно торопится — показывает свое рвение в делах: спешит, мол, выполнить другие поручения бия.

Игилик доволен. Ему нравится эта черта в поведении приближенных — дело сделают, а благодарности не ждут и времени даром не теряют. Игилик опять углубляется в подсчеты. Теперь его интересует, какая выручка ожидается от продажи лошадей и сена.

2

Прошли месяцы. Улеглись наконец споры между баями, вызванные распродажей земель русским промышленникам. Стояла середина зимы. В самые жестокие морозы пустился в путь Байжан «справлять кумагу» на проданную Ушакову Караганду. Много дней уже едет он. С ним сын Апак — ведет в поводу двух коней. Мороз пылит на солнце, оседает густым пушистым инеем и на конях и на всадниках. Долгий молчаливый путь подходит к концу. Вечереет, понемногу спускаются сумерки. Всадники, похожие на двух больших белых сов, въезжают в город. Кони испуганно шарахаются от незнакомых предметов. На копыта их намерзли толстые ледышки. Наезженная мостовая непривычно гладка. Кони скользят, спотыкаются на все четыре ноги. Звенящий цокот гулко разносится в морозном воздухе, отдается эхом от стен деревянных домов. И кажется — на соседней улице тоже едут на конях, только не двое, а множество всадников.

Город Омск поразил степняков своей громадностью. Они еще не видели такого, чтоб собиралось в одном месте

больше двадцати дворов. Не мудрено, что Омск, с его сорокатысячным населением показался им прямо бескрайним сказочным Багдадом.

Степан Бушуев говорил, что живет где-то в середине улицы, в доме номер семьдесят первом. Перед домом должны расти тополя. Он все это записал для Байжана на бумаге. Только бумагу сейчас не достанешь. Далеко запрятана, в исподнем кармане овчинных шалбар... Осмотрелся Байжан — все дома кругом одинаковые. Повернул на другую улицу — то же. Долго ездил из улицы в улицу, громко вопрошая по-казахски:

— Где дом Степана, Бошая сына!

Люди не отвечали. Не понимали вопроса, да и мороз подгонял — спешили домой.

— Эй, эй, знаком тамыр! Абажды маленька, пажалста, абажды! — остановил Байжан пожилого человека. Спешившись, начал торопливо развязывать кожаные тесемки шалбар.

— Абажды, пажалста, божий человек. Абажды.

Долго нащупывал карман, еще дольше шарил бумагу.

— Вот, читай, пажалста. Укажи, где живет Степан, Бошая сын. От самой Караганды еду. Двадцать два дня в пути. Такой мороз! Приехал, а тут никто не хочет сказать, где дом Степана...

Горожанин плохо понимал, на что жалуется степняк, смешивающий русские и казахские слова. Но выслушал терпеливо. Бумагу взял, повел Байжана к мигающему фонарю, прочел.

— Ага, — понял он. — Держись левой стороны улицы, домов через десять будет и твой.

Город для степного казаха запутаннее ада. Бесчисленные улицы, повороты, закоулки — как тут разберешься, где что? И Байжан бродил по этому аду, призывая на помощь добрых духов. Но вот наконец он остановился перед двухэтажным деревянным домом. Кажется, тот. По степной привычке окликнул во весь голос:

— Уа, кто там есть?

Деревянные ворота и стены отозвались: «Есть, есть!»

Байжан не понял: то ли его голос вернулся, то ли из дома ответили. Крикнул еще раз.

— Выходи сюда! Кто там есть, выходи!

На этот раз ворота и стены ответили: «Уходи, уходи!»

Степан Бушуев занимал нижний этаж ушаковского дома. Он не сразу понял, что окликали его. Пока узнал Бай-

жана, пока открывал ворота, прошло некоторое время. Байжан по свойственной ему привычке отвлекаться на любой предмет, успел уже заинтересоваться телеграфным столбом.

— Видишь это? — указал сыну.

— Вижу. Гудит как!

— Это он так говорит. Они сидят здесь в Омбы, а могут говорить хоть с Кызылжаром, хоть с Ирбитом.

«Жалко, по-русски не умею. Вот бы послушать, о чем говорят», — подумал про себя Апак.

— А, Байжан, тамыр! — приветствовал Степан Бушуев, впуская гостей в ворота.

— Живой? — начал положенные обычаем вопросы Байжан.

— Живой.

— Баба живой?

— Живой.

— Баранчук живой?

— Живой.

— Баня есть?

— Есть.

Бушуев старался примениться к речи Байжана и отвечал на все вопросы и о здоровье сына и о жене одним словом: «живой». Байжан до страсти любил баню. Оттого и в приветствие свое хитро ввернул вопрос: «Баня есть?»

* * *

Прожил Байжан в доме Ушакова целую неделю. Напарился в бане за это время всласть — пока полностью не ублаготворил себя. Забирался на полок, плюхался животом вниз и командовал:

— Бей, бей, собачий сын, чтобы душа из груди вон!

Когда же спина его принимала цвет красной меди, приходил в полное блаженство и взывал в избытке чувств: «О, вы, люди! Пусть я буду вашей жертвой!» Так говаривал он, бывало, дома, когда за неимением бани жарился у огня.

Отдохнули за эту неделю и кони. Тяжелый переход их основательно вымучил. А тут отъелись на сибирском овсе и заметно прибавили в теле.

Деньги, обещанные за Караганду, Байжан получил сполна. Двести пятьдесят рублей! И все новенькими звон-

кими монетами. Бушуев два раза на глазах Байжана пересчитал их, прежде чем вручить. Но Байжан для верности пересчитал и сам еще три раза. Свои серебряные рубли сложил в длинную стопку и разделил на пять равных «жиликов». Он никогда еще не делил деньги, но, скажем, тушу заколотого барашка или жеребенка не раз приходилось делить. Делили обычно на двенадцать частей и каждую часть называли «жиликом». Поэтому и каждую часть денежного столбика он назвал привычным словом: «жилик». Все пять своих «жиликов» рассовал по карманам, за пазуху, засунул за голенища — спрятал как можно надежней. Впервые в жизни почувствовал тепло богатства и очень приободрился. На следующий день закупил чаю, сахару, разной ткани и прочих нужных в хозяйстве вещей. Все это он делал тоже первый раз в жизни. Вечером перед сном проверил деньги и покупки. Один «жилик» заметно укоротился. Зато какой красивый, цветастый ситец появился взамен! Какой синий бархат!.. И еще вот этот баташовский самовар! Такой водится разве только в хозяйстве Игилика. Теперь, пожалуй, можно забросить и бухарскую бязь. На что она нужна, кусачая! И чугунный куман больше ни к чему, совсем закоптился... Байжан размечтался, представил себе, как позовет в гости, даст аллах, байбише Копей. Ведь у него имеется еще такая прекрасная голова сахара! «Такой, пожалуй, нет и у самого Игилика. Будет милостив аллах, почнем ее, когда придет в гости Копей-женге. Половину подарю ей насовсем. Приторочу к седлу и скажу: «Вот как поступает сёре твой».

Байжан радовался своему богатству, а что касается акта на продажу Нильды — Караганды — эта «кумага» его совсем не интересовала. Акт, между тем, был составлен хитро, людьми, знающими свое дело, с таким расчетом, чтобы предупредить любую возможность претензии со стороны продающего. Слог был так витиеват, фразы так запутаны, что, где там казах — и русский не разобрался бы. Спутали, можно сказать, Байжану, как коню, ноги, а на глаза надвинули, словно плененному беркуту, шапку — томагу. Единственное выражение запомнилось ему: «по статье четыреста тридцать пятой»!.. Но, конечно, и эта фраза была для него всего лишь пустым звуком. Палец приложить к бумаге не трудно. Байжан приложил. Получил двести пятьдесят серебряных рублей и пошел гулять по магазинам и лавкам... Чего только не накупил! Даже маленькие «собачьи» сапки...

Байжан остался очень доволен сделкой. Теперь он занялся подготовкой к отъезду. Завтра — в обратный путь... И тут пришел встревоженный чем-то Бушуев. На каком-то смешанном казахско-русском языке, помогая себе жестами, гримасничая, он кое-как растолковал Байжану, что же произошло. Оказывается, их акт отклонил инженер, который смотрит за горнорудным делом. Требует, чтобы обе стороны завтра явились к нему.

Байжан почувствовал, как деньги ускользают из карманов. Часть он уже истратил. А что, если заставят вернуть все двести пятьдесят рублей?

— Может, удеру сегодня же?

— Нет, удирать никак нельзя. Сегодня приезжает Ушаков. Он все уладит.

Ушаков с шумом и звоном прикатил на тройке серых. Тюменские сани, сверкнув черным и белым лаком, описали большой круг по двору и остановились у крыльца. В доме поднялся переполох. Два жигита, которые целыми днями слонялись без дела да щелкали кедровые орешки, пулей припустили с крыльца — кинулись снимать с хозяина запорошенную снегом доху. Байжан с Апаком стояли во дворе и улыбались. Ушаков взглянул на казахов и сразу узнал старого знакомого.

— Байжеке! Ну как, разбогател?

— День-другой был богатый, а теперь снова становлюсь бедным, — пожаловался Байжан.

— Это отчего же?

Бушуев объяснил, что у них тут случилось, отчего волнуется Байжан.

— Ничего, ничего, не бойся! Все устроим, — успокаивал Ушаков, поднимаясь наверх в свои комнаты.

На другой день Ушаков усадил Байжана в сани и повез к инженеру горнорудного надзора. Ушаков всегда держался вольно, разговаривал в полный голос. Теперь, после сговора с Рязановым, он чувствовал себя особенно уверенно. Ведь фактически он был тут главой новой крупной компании. Инженер нашел в акте множество нарушений, дико противоречащих закону. Но перед этим богатым, уверенным в себе купцом он терялся. Единственно, чего достиг, это смягчения некоторых фраз, а смысл их остался прежним. Без труда закогтил Ушаков этого представителя закона. У инженера были свои слабые места: дом, жена, дети. Где уж тут выдержать напор богача.

— Положено, чтобы продающий услышал и подтвердил каждое слово акта. Этого сделано не было. Такой акт никто не утвердит, — вяло предъявил инженер последнюю претензию.

— Только и всего? В море закона попал волосок? Так мы сейчас же, здесь, на ваших глазах, и прочтем ему все от начала до конца.

Сильною рукою Ушаков отвел крючок, который мог бы зацепить иного и намертво. Протест вылился в пустую формальность. Инженер читал акт, Байжан слушал и клял про себя надоедливого человека, весь его род, все колена.

— Понятно? — осведомился представитель надзора, окончив чтение. Спросил, разумеется, по-русски.

— Позвали — приехал. Я ни в чем не виноват, — по-казахски ответил Байжан.

— Претензий нет?

— Мы, казахи, всякому начальству кланяемся, — сказал Байжан и закивал головой.

Вышло, как в разговоре глухих: один про голову, другой — про уши. Однако внешне был соблюден порядок. Инженер вздохнул с облегчением.

— Надеюсь, мы с вами еще раз поговорим до утверждения, — прозрачно намекал Ушаков. Инженер смягчился лицом — по-видимому, понял. Но вдруг опять забеспокоился:

— Не знаю, право, как это вы упустили один важный момент. Уголь-то ведь открыли не вы, а эти казахи. Почему до сих пор не сообщили? Им положена ежегодная премия.

— Да, я упустил... Сообщил о месторождении согласно общему положению, — несколько смутился Ушаков, но тут же оправился: — Но я никогда не утверждал, что открытие принадлежит мне.

Горнорудное дело в те времена начало бурно развиваться. В законе об открытиях был введен пункт, поощряющий поиски. Первооткрывателю назначалась пожизненная премия. Этого только что введенного пункта инженер надзора обойти никак не мог. Ушаков был осведомлен о нововведении. Но, случайно или нет, однако нигде до сих пор не упоминал имя истинного первооткрывателя карагандинского угля. Теперь он поспешил поправить дело:

— Прошу, господин инженер, объявите ему сами. Это он открыл, и премия принадлежит ему.

Байжан и так уже считал себя богачом. Единственно, над чем дрожал, это как бы не потерять того, что уже дали. И вот открывался еще один, неиссякаемый, источник дохода. Инженер отстоял этот источник для него. Управление постановило, чтобы предприниматель ежегодно выплачивал Байжану: фунт чаю, пять фунтов сахару, три пуда муки и еще к тому сорок рублей наличными.

— Вот постановление. Удостоверь, что знаешь его. Приложи тамгу. — Инженер для наглядности прислонил свой палец к бумаге. Бумагу на получение премии перешлем тебе домой через волостного.

Откуда такая щедрость? Почему такая милость? Байжан не понимал и не желал допытываться. Не верилось, что это надежно. Поскорее бы удрать, пока цело то, что у него в руках.

— Раз он уже здесь, выплачу-ка я ему премию вперед за год. Пусть едет довольным. — Ушаков хлопнул Байжана. Инженер одобрительно улыбнулся.

Байжан не сомневался: новое благо добыл для него Ушаков. Сам видел, как Ушаков громко спорил, убеждал этого инженера. А тот только сдержанно кивал да мычал что-то свое. Конечно, только Ушаков заставил его согласиться. Уходя, Байжан даже и не подумал поблагодарить инженера...

* * *

— Ну видишь, не зря я тебе говорил, что разбогатеешь, — сказал Ушаков, когда сели в сани...

Байжан все-таки остался при своем мнении: чуть было не разорили, а теперь обнадеживают, сулят еще что-то. К шайтану это новое богатство! Скорее бы увезти то, что получено. Хватит и этого, чтобы удивить весь Алтай-Карпык. И Байжан заторопился седлать коней. Гостинцы погрузил на купленные «собачьи» санки, увязал крепко-накрепко и просунул конец веревки под седло Апака. Отец и сын страшно суетились. То и дело бегали в дом, громыхали по доскам пола, словно подкованные кони. Кричали на весь двор:

— Ойбой, Апак! Курт забыл!..

— Я спрятал его под попону.

— Зачем под попону, надо в коржын!

— Коржын уже битком набит.

— Тогда в уруски мешок клади...

— И мешок полон, не воткнешь.

— Сунь за пазуху и не болтай зря.

Шум привлек внимание всех в доме. Вышел во двор и Ушаков. За ним неотступно, как тень, следовал Степан Бушуев.

— Это куда же собрался, Байжеке?

— В степь...

— Домой?!

— Да, домой.

Ушаков пнул ногой «собачьи» санки.

— Никуда не годится. Не дойдут твои санки, развалятся по дороге.

— Аллах даст, не развалятся.

— Степан, снаряди вон те розвальни. И коня выбери. Крепкого коня. В сани кинешь мешка два овса да сена — смотри, побольше набей. Муку погрузишь и все остальное, — приказал Ушаков и опять к Байжану: — Коня, если будет цел, сдашь в Акбуйрате.

— А если случится — падет в пути?

— Падет, так на дороге останется. Держи сорок пять рублей — твоя премия. Ну, до свиданья. Передавай поклон от меня Игилику. Степан тебе поможет собраться.

— Аллах даст, не заморю твоего коня...

Новые деньги Байжан спрятал за пазуху и решил про себя: «Никому из родичей не покажу, ни одному завидущему глазу!» Очень он был доволен Ушаковым за его щедрость. Уже не знал, как и благодарить.

— Да поможет тебе твой бог! Да пошлет тебе удачи в твоих делах!.. — без конца повторял он.

Степан Бушуев не отступил от наказа хозяина. Запряг в розвальни откормленного мерина.

— Как их запрягают? Давай поучимся, иди сюда!..— позвал Байжан сына. Степан распряг коня и начал последовательно показывать, как все делается.

— Э!.. Сначала дугу, видишь, продевает в левую петлю этого... хомута. Потом, гляди, перекинул другой конец через спину коня. Видишь? — поучал Байжан сына. — А я думал, справа надо начинать. Смотри, правая петля так точно и пришлась по дуге, а? А это оглобли! Дуга в них теперь сидит как камень. Смотри, смотри — затягивает хомут, стянул под глоткой ремнем...

Погрузили мешки с мукой и овсом, завалили сверху сеном, и Байжан тронулся в путь. Мерина повел сам, запасных коней поручил сыну. В сани, как ни убеждал Степан, не сели ни тот, ни другой. Заупрямились — в седле теплее.

* * *

За несколько дней скорой езды Байжан с сыном оставили позади большой кусок дороги. Рысцой прошли лесостепь Прииртышья, а теперь ехали по бездорожной, бескрайней Сарыарке. Лишь изредка встречались на пути зимовья полуоседлых кочевников и аулы жатаков. А больше все голая безмолвная степь. В ясные морозные дни по ней, словно волны по морю, перекатывалась поземка. До границы родного аула оставался однодневный переход. Путники так и рвались вперед. И тут настиг их один из страшных белых буранов Арки.

Они остановились на короткий отдых в небольшом жатакском ауле. Надо было дать передышку лошадям перед последним броском. Пока отдыхали, тихий дремлющий день потускнел, померк. Налетел буран, бешено закружил, завертел — не поймешь, откуда пришел. Завыл, засвистел, окончательно прижал к земле несчастный аул. Он и так едва щурил глаза из-под снега. Беззащитный, на обрывистом берегу реки, всегда грудью встречал все ветры, бури, бураны Сарыарки.

— Апыр-ау! Что за зима! Двух дней не прошло, как глаза открыли, и снова... Как бы на этот раз совсем не доконало!.. — тревожился хозяин землянки, в которой остановились Байжан с сыном.

Землянку окружал небольшой дворик, сложенный из кусков самана и мерзлого снега. Там торчал наполовину общипанный стог снега. Для такого хозяйства любой гость был бы в тягость. А такие путники, как Байжан с сыном, с пятью лошадьми — несчастье, настоящий джут. Но не выгонять же гостя в такой буран. Да и гость попался больно щедрый: за чаем оделил всех гостинцем — сибирскими калачами. И хозяин остановил расстроенного Байжана.

— И не думай трогаться, мой путник. Да идти тебе больше и некуда. В этом ауле нет ни одного дома, про который можно сказать: «там все цело». Так что оставайся тут, у меня.

— Спасибо, жаным. Мы гостями не засидимся. Все, что у нас есть, — пополам. А теперь скажи, за что браться, будем тебе помогать...

* * *

...День вдруг совсем погас. Стало так темно, будто при солнечном затмении. Под напором бурана, казалось, шатало даже землю — ни шагу не ступишь. Кругом так гудело, свистело и выло, словно весь мир собрался с силой, чтобы сдунуть аул с его места. Слово, вылетев изо рта, исчезало на ветру, мелькнув сверкающим воздушным крылом. Буран играл с людьми, суетившимися возле домов. То упирался им в грудь, и они трудно шагали, как по глубокой воде; то, подхлестывая сзади, заставлял бежать, будто дали человеку подзатыльник. Каждый дом хлопотал, спасался, озабоченный только своей нуждой.

В такую пургу и вошла в аул толпа усталых, оборванных путников. Они двигались по Акмолинской дороге. Было их много, очень много. Одеты по большей части в черные сермяги, на ногах разбитые валенки. Лица обмотаны тряпками. Шли, шатаясь, еле передвигали ноги. С ними плелись и тощие лошади. Тянули, выбиваясь из сил, сани с поклажей.

— Апырау! Кто же они? Еле живые, несчастные! — обратился Байжан к хозяину, который метался по двору, загоняя скот под навес.

Хозяин быстро обернулся.

— Считай, теперь совсем пропали!—вырвалось у него.

— Почему же?

— А куда их денешь? Тоже ведь божьи созданья. Прошли тут недавно такие же «карачекпены». Говорили, много их бредет. С Урала идут. Рабочие... В Караганду, уголь копать...

«Карачекпены»—черные сермяги. Так называли обычно казахи русских крестьян. Так назвал сейчас хозяин землянки и этих бедняков, двигавшихся через аул.

Толпа брела, и порывы ветра качали ее, словно жиденький лес. То, подхваченная бурей, она падала вперед, то ее отшатывало вспять, будто бил людей в грудь великан-невидимка.

Хозяин передал лопату Байжану, а сам принялся звать:

— Эй, эй!

Байжан волновался, не знал, что делать. Чувствовал себя помехой — не сможет теперь хозяин принять этих людей, и они погибнут.

— Эй, подойди сюда кто-нибудь один! — звал хозяин.

Толпа разом остановилась. Они шли мимо, не замечая занесенных снегом по маковку землянок. Подошли трое.

— Это аул или пикет? — спросили по-русски.

— О, бишара, не все ли равно! Тут нас семеро семей. Как-нибудь разместимся. Вода наша, заварка ваша, — отвечал аулчанин.

— Он гауарит, бода наша, гауарит... Шай, гауарит, ваша, гауарит... — пояснил, как мог, Байжан.

— Нас девяносто человек. Идем двумя партиями. Ради бога, скажите, сколько можете пустить к себе?

— Десять человек можно... Там разместитесь, — хозяин указал на сарайчик из ивового плетня, — а греться будете бегать в дом.

Жатак сам отобрал себе постояльцев. К десяти «карачекпенам» прибавил трех женщин. Они уже совсем валились с ног. Остальную толпу повел устраивать по соседям.

В землянку, разделенную надвое казахской печью с очагом, набилось полно людей. У входа привязали двух дрожащих коз и теленка. Окоченевшие женщины сразу же сели у печи — прислонили спины к горячей стенке. Ноги упрятали в овчинный тулуп. В низкой землянке, как в бане, не продохнешь. Но женщины никак не могли отогреться: дрожат и дрожат, казалось, не отойдут вовек. Видно было, как вздрагивают их ноги под тулупом. У одной, которая помоложе, щеки лихорадочно зарумянились. Глаза у нее большие, темные. Они то закрывались, то, распахнувшись вдруг, блестели слезой. Тонкими иззябшими пальцами она изредка откидывала назад короткие волосы — на большее не было уже сил. Эти стриженые волосы, откинутые назад, как бы говорили об энергии, действии. Хозяйка их время от времени хмурилась, словно досадуя на бессилие.

По правую руку от нее сидела пожилая женщина. Острый нос ее так почернел от мороза, что сделался похож на клюв каратагана. Лицо третьей женщины — в черных пятнах, как в узде. Эти две все время широко открывали рты, судорожно зевали.

Над очагом грелись мужчины. Усы их обтаяли, с них капала вода. Это были рослые и, видно, сильные люди. Но

и их сломила тяжелая дорога. У них тоже обморожены кончики носов, щеки, у некоторых даже до крови. Сосновая лучина, прикрепленная к столбу посреди землянки, освещала черные и коричневые пятна на их лицах.

— Курева ни у кого не осталось? — спросил, блеснув ярким белком глаз, бородатый, загорелый рабочий. Этот крупный широкогрудый человек не стоял у огня. Он все бегал, притопывая, взад и вперед по землянке и отогрелся быстрее других.

— Может, у Лизы что есть... У всех еще вчера кончилось, — как-то безразлично ответил пожилой рабочий, потирая заросшее щетиной лицо.

— А Быков где? — наполнилась землянка голосами.

— На дворе. Устраивает нам жилье.

— Вчера-то скольких недосчитались? Двенадцать будто или тринадцать отстали?

— Четырнадцать...

— А сегодня, по всему видно, не меньше двух дюжин.

— Хоть бы добраться поскорее. Попариться в баньке да на печь...

— Ишь, разохотился! Баню ему! Бани не видать теперь, как своих ушей. Не дошло еще до тебя, что такое эта степь?

— Степь не степь, все равно заведу баню и печь сложу. Хоть из снега, да сделаю. На Урале тоже на пустом месте начинали.

— Хватил, на Урале! Тогда мы молодые были. Сил девать было некуда. А сейчас посмотри хоть на себя — кожа да кости.

— Силы меньше, зато ума прибавилось.

— Это с чего же? Не Рязанов ли научил уму-разуму?

— И Рязанов тоже.

— Это как же? Не тем ли, что закрыл завод посреди зимы, а нас выбросил да в эту глушь погнал?

— И это тоже на пользу. Понимать кое-что научились.

— Э, ты, брат, уже словами Быкова заговорил.

Мужчины понемногу отогревались и начали один за другим выходить во двор. А там в сарайчике уже ярко пылал костер. Хозяин, Байжан с сыном и тот, кого называли Быковым, успели прибрать здесь. Пол густо застелили сеном. Посреди оставили место для костра. Жарко пылающий караган и кизяк быстро нагрели сарайчик. Воздух, не сравнить с душной землянкой — свежий! И не дует: плетеные стены доверху завалены снегом.

Байжан смотрит на веселый огонь, вспоминает ушаковскую баню, завидует:

— Ойбой, пожариться бы на этом огне!

Андрей Быков — человек среднего роста, плотный, как бы литой. Он просит хозяина:

— Топить-то, пожалуй, всю ночь придется. Так что вы продайте нам сразу одну-две вязанки.

Хозяин качает головой.

— Ни к чему нам монеты. Разве на шею вешать? Бери так. Только жги с умом.

В бедняцкий аул жатаков богач никогда не сворачивает. Зато для своего брата — бедняка, какого бы роду-племени ни был, двери аула всегда открыты, почетное место в доме всегда готово. Так получилось и в нынешний буран. Все семьи распахнули свои двери для терпящих бедствие путников. Всюду встречали их с душевным теплом, приветливо. Хозяева землянок то и дело выходили во двор, окликали отбившихся. Не успокоились, пока не подобрали всех. Наступила ночь. На то, что еще кто-нибудь придет из отставших, надежды больше не было. И тогда выяснилось: не дошли еще восемнадцать человек.

Байжан устраивался на ночь в жаркой землянке. Стянул с себя мягкие мяс — кожаные чулки, овчинные шалбары. Теперь, пожалуй, можно бы и познакомиться поближе с хозяином. Днем было не до того. Узнали только, кто из какого рода, — и все. «Чей аул?» — «Рода Токи». — «А вы кто?» — «Из сармантаев». Дальше разговор не двинулся.

Хозяина, оказалось, звали Мынбай. На вид ему было под сорок. Сухой, поджарый и очень смуглый, можно сказать — черный. Но черный только с виду. На самом деле он, как говорится, «человек с белым ликом» — приветливый, с щедрой душой. Это заметно и по тому, как смеется: громко, искренне, точно ребенок.

— Катын, смотри, потуже теперь подпоясывайся, придется, пожалуй, нам на будущее лето рыбу ловить, — шутил он с женой, разливавшей чай. — Порыбачим на Нуре месяц-другой, на две коровы, как думаешь, заработаем? Пеструю телку ведь, похоже, резать будем. Гостей кормить надо. Голову будешь есть ты, сармантай!

— Как знаешь... — сказала жена.

— Ничего, катын, сумеем сохранить Шалбаса, с ним не умрем, — добродушно рассмеялся Мынбай, показывая крепкие зубы.

Еще днем Байжан заметил во дворе коня — стоял под седлом. Хозяин, видать, охотник! Конь добрый. Сам рыжий, а голова белая. Теперь он сразу понял—речь идет об этом белоголовом. Коня своего Мынбай берег пуще семьи — это тоже с первого взгляда приметил Байжан. Даже сказал себе: «Сразу видно, единственный конь отчаянного любителя лошадей!»

Самому Байжану конь настолько понравился, что он сразу же смекнул— не породниться ли с Мынбаем? «Если у него сын, отдам свою дочь, если дочь у него — дам сына». Он и сейчас не оставил своих надежд и решил прихвастнуть перед Мынбаем:

— Все они в мой аул идут, моими гостями будут! Уголь Караганды я продал. Все карманы этого человека, — указал на себя, — серебром набиты. Везде теньга. И за голенищем теньга. И муки у меня целый воз...

— Так что же ты, шайтан тебя возьми! Зарежь хоть одного из твоих коней, накорми этих голодных.

— Могу и прирезать. Жалко только, не едят они конину. Ты знаешь, заколи лучше свою телку, а коня моего себе возьмешь.

— А отдашь того бурого с лысинкой?

— Любого бери.

— Значит, решено?

— Решено!

— Сынок, точи нож!

Байжан не прост, он — себе на уме. Думает: «Возьмука я утром у рабочих кумагу — напишут, что для их пропитания прирезал — и все. Передам ее потом Ушакову».

Три дня бушевал буран. За это время жатакский аул сильно поиздержался на гостей. Мынбаю пришлось прирезать и вторую свою корову. На всех гостей, конечно, и этого не хватило. Другие аулчане тоже внесли, кто что мог — «не остались в стороне от угощения». Но, слава аллаху, буран кончился. Байжан и русские гости покинули аул. За эти три дня общительный Байжан успел близко познакомиться с Быковым. И когда тронулись в путь, в розвальнях Байжана сидели три русских женщины — Быков упросил их взять. Путники шли по жесткой, как точило, снеговой корке. Тянулись длинным караваном, оставляя после себя темноватую узкую, напоминающую фитиль, тропку. Шли в Караганду.

Утро стояло тихое, морозное. Ярко-белая на солнце степь слепила глаза. Буран намел много снега, но в то же

время и умял, уплотнил его. Люди шли, не оставляя следов. Зато кони проваливались по грудь. Отдохнувшие уральцы скоро опередили коней. Быков отстал, шагал рядом с санями — с той стороны, где лежала молодая женщина, которую звали Лизой. Она была больна. Все время просила пить.

Небольшая группа рабочих постарше не успевала за всеми. Люди с особенно бледными, утомленными лицами отстали сразу, как вышли из аула. Скоро и совсем исчезли из виду. Уральцев погнала сюда, в казахскую степь, в Караганду стужа пожестче морозов и белого бурана Аркн. Тяжкая доля, жизнь без надежды подняла их с мест. А хозяева забыли приставить людей, чтобы оберегали партию рабочих, бредущих с Урала. Никто не заботился ни о еде, ни о ночлеге, ни о самой жизни их. Сами, как могли, поддерживали друг друга. Товарищ держался товарища, усталый протягивал руку уставшему. Холодная белая степь молчит, неотзывчива, как глухонемой. Мертвый снежный простор немилосерден, не знает пощады. Жмет пришельцев, сводит ледяные объятия, будто задумал выжать из людей последние силы.

— Елизавета Сергеевна, Лиза! Потерпи... Вот уже и идем мы... В степи теперь... Скоро уж, скоро... — уговаривал Быков, сам не зная, как и помочь больной.

А Байжан смотрел на них и не переставал удивляться: что за люди такие? Откуда силу берут? С больной женой по такому морозу в путь пустился! Нет, казах ни за что не пошел бы. А идут ведь откуда! И все пешком...

Быков попросил задержать одну подводу — надо дождаться отставших. Сам опять догнал сани с больной. Женщина затихла. Быков оглядывал степной простор. Ни дерева кругом, ни даже кустика — ничего, чтобы укрыться от стужи, бурана. Вот бы сюда леса или хоть камыша! Что же здешний народ может выставить против стихии? Чем защищает себя? Или же в них самих таится такая сила, что и стихия им нипочем?

Каждый из путников думал о своем. Но у всех была одна мечта, одна мысль: скорее добраться хоть до какого-нибудь жилья.

Вдали вдруг зачернела точка. Она росла, и Байжан острым глазом степняка вскоре различил двух всадников — ехали бок о бок. Они двигались очень медленно, то спешивались, то снова взбирались на коней, там, где сне-

га было поменьше. Между конями что-то чернело. Байжан приметил: жеребцы гривастые, с длинными пышными хвостами. На таких зимой разъезжают табунщики.

Байжан насторожился. Такой глубокий снег, а всадники идут почему-то не след в след, а рядом. Это не зря. Вот они замахали шапками, что-то закричали. Испугались, видно, как бы обоз не прошел стороной. Байжан слез с коня — знак, что будет дожидаться. Остановил и розвальни. Встречные уже близко. Взбираются по склону холма. Жеребцы проваливаются по грудь. Вот табунщики опять вскочили в седла, отчаянно замахали камчами. Измученные кони вынесли их наконец на гребень. Между конями качался какой-то мерзлый продолговатый тюк. Он то касался снега, а то ударялся о бока жеребцов, Байжан посмотрел на лица табунщиков. Понял, какую ношу везли...

3

С самой осени дом Жумана не подымал глаз.

Дорого обошелся ему Майкудукский майдан. Бай Жуман окончательно озверел от обиды и злости. Дня не проходило без скандала. Цеплялся к каждому пустяку. «Уймите наконец выжившего из ума отца, докажите, что вы мужчины!» — донимали Жумановы невестки своих мужей. Но сыновья не решались заходить в отцовскую юрту. Давно уже бородаты, каждому перевалило за сорок, а все не могут зажить самостоятельно. Хоть и поселились в отдельных отау, но своего хозяйства, своего скота у них нет. Не выделяет отец доли, не считается с ними. «Пока жив — мое. Умру — тогда делайте что знаете, хоть разграбьте». Твердил это всякий день. И сыновья, потеряв надежду на раздел, замолчали. Будто и правда решили ждать смерти отца.

Тоскливо и горько в ауле Жумана. Живут, не знаясь ни с кем из родни. И близким и дальним — всем надоел кичливый, несдержанный бай. Одно у него на уме — майдан да тяжба. С шумом и криками отправляется на майдан: все уничтожит, всех перебьет! И что же? Ни разу еще не выигрывал спора, не вернулся с победой. После Майкудука от него отвернулись самые верные, безотказные соратники. Сармантаи не простят поражения. Никогда еще их род не знавал такого позора. Ведь тысячное войско повел Жуман на аул Игилика! Сармантаи до сих пор не поймут, сколько же воинов выставил против них

Игилик. Сколько бы ни выставил, все равно — только один аул! И не смогли налетевшие тучей сармантаи расправиться с ними. Вся степь тогда смеялась. Стать посмешищем — худшего для воина-жигита и не придумаешь. Не простят, никогда не простят они своего позора Жуману. Вот что значит — послушались выжившего из ума старика. Зачем отверг он переговоры по адату? Выслал же Игилик к нему своих людей! Так нет же, заупрямился. А кончил чем? Дал «подпеске» начальнику! — возмущались бывшие соратники бая.

Подпеске!.. Главное, подпеске дал! Кто знает, что в той бумаге было? Попал один раз в бумагу, до самой смерти ерзать будешь, — больше всего смущало и страшило близких к Жуману людей то, что он приложил палец к русской бумаге.

Сармантаи окончательно порвали с Жуманом, если и вспоминали о нем, то только с досадой или в насмешку. Какая-то келин из сармантаев однажды, вовясь у очага, сказала в сердцах: «Проклятый котел — Жуманова тяжба. Вроде и бурлит, а закипеть не может». Слова ее тут же подхватили, и пошли они гулять по степи: «Котел — Жуманова тяжба».

Каждого человека ждет пора, когда доля его в жизни пойдет на убыль. Человек сам почувствует это. Он перевалил вершину и стоит теперь на склоне холма — спокойный, сдержанный. Вдумчиво, отбросив суету, созерцает жизнь. Неяркое предзакатное солнце тихо осветит ему новое, идущее на смену поколение. С новыми думами и делами, с новой радостью, надеждой и борьбой вступает оно в жизнь. Человек, стоящий на склоне холма, любуется весенним обновлением мира, приветствует молодое, цветущее и сам как бы обновляется, молодеет вместе с ним. Счастлив такой человек! Он нужен молодым, они тянутся к нему. Их радость становится его радостью, в их счастье и его доля. Он ободрит тех, кто дерзнет бороться, поможет тем, кто ищет пути... Стоя на склоне холма, оглянется он назад, на то, что оставил за вершиной. Посмотрит и трезво оценит прошедшее. Может, он слишком много веселился в жизни, а сделал мало? А может статься, и наоборот: сделал достаточно много, а порадоваться не пришлось. Не это важно. Важно другое: он понял и оценил. Горько сознавать, что силы растрачены зря, так же горько видеть, что не выпала и доля радости. Но он снова посмотрит вперед, и надежда вдохновит его, по-

может ему. Он поверит в будущее. Пожелает силы и счастья новым поколениям. Это и есть человек! Здесь — исток человечности.

Ни одной такой черты, даже намека на подобную человечность не было в характере Жумана. Он был зол и обижен на весь свет, считал, что жизнь обошла его. Ревниво взирал на удачу и смех других. Те, с кем мог бы делить радость и горе, покинули его, как покидает осенью скот оскудевшее пастбище. А он даже не взглянул им вслед. Отвернулся — решительно, гневно. С этих пор ни одно знакомое имя не сорвалось с его языка. Казалось, начисто забыл всех: и родичей и близких.

Байбише Копей одна приняла на себя всю тяжесть этих дней. Пятнадцать лет, что прожила с Жуманом, оберегала честь его аула. Самое страшное, знала она, — потерять уважение родичей. Это конец. Нынешняя осень смела ее старания. Дом Жумана рухнул. И осталась Копей одна, никому не нужная, забытая, чужая. Как горько ей, что бездетна. «Отчего не понесла, хоть от собаки...» — отчаивалась, когда становилось совсем невмоготу. Так и жила теперь: ложилась горюя, просыпалась — страдала.

Копей у Жумана — токал, то есть не первая жена. Однако все ее до сих пор называют с уважением «байбише». Только разум, умелые руки и то достоинство, с которым держалась на людях, сделали ее хозяйкой большого аула, старшей женой богача — байбише. И вот теперь никому нет до нее дела. Забыли... У пасынков свои семьи. Бросили ее — догорать в огне Жумановой злобы.

Живет Копей одна в гостиной юрте. Единственный человек в ауле был ей по-настоящему близок — Кунше. Но Жуман так и не разрешил перевезти сюда ее юрту. Уперся на своем: «Обе вы Игиликовы наушницы. Не нравится — откочевывай сама к нему». Ни во что больше не вмешивается Копей. Ни о чем не заботится. Ушла в свое горе. Но если завернет вдруг в их аул случайный гость, принимает его с прежней приветливостью — зачем показывать чужим разлад семьи.

* * *

Третий день трепал буран белые кошмы юрты. Жуман, завернувшись в тулуп, сидел один. Он дремал, но и в дреме угрюмые думы не оставляли его. «Обошли, ограбили!» — вспоминалось ему.

И тут зима дала о себе первую тревожную весть. Табунщик с черным обмороженным лицом тяжело осел, опустился на корточки, едва переступил порог.

— Буран губит... Трех табунов лишились... Часть пала, а другие пошли по ветру... Их каракесеки угоняют... — с трудом выговорил он.

— Ой, проклятый! Чтоб ты навеки заглох! — дернулся из тулупа Жуман.

Половину своих табунов Жуман этой зимой направил в Каркаралы на землю каракесеков. Недаром говорится: «Когда копку побьет собака, она на мыши выместит зло». Так и Жуман вымещал свою злобу на аулах многочисленного и беднейшего рода. Каракесеки и без того жались к каждому кусту. Берегли каждый солнечный склон. Всем родом поднялись они против нашествия тысячных табунов. Жумановых табунщиков было при конях не много, и справиться с каракесеками они не могли. А тут еще буран... Много лошадей пало. Другие, гонимые бурей, разбрелись по степи — там и настигали их каракесеки. О некоторых табунах до сих пор ничего не известно. Пропали и табунщики. Вот какие вести привез гонец.

Жуман вызвал всех четверых сыновей.

— Умрите вместе с табунами или спасите свое наследство!..

Сыновья тут же отправились в степь. Даже не посоветовались с отцом, как действовать против джута. Для них самый страшный джут — их собственный отец. Поспешили поскорей унести свои длинные бороды. Лица их были озабоченны, тревожны. Ведь и в самом деле гибло наследство. Но что их тревога в сравнении с горем Жумана! Горе вывело страшные узоры на лице владельца табунов. Тут каждая морщинка говорила о страдании. Пусть бы не четыре сына, а весь род сармантаев загоревал — и то бы не смог повторить эти узоры.

Вскоре выехал в степь и сам Жуман — не стерпел. Взял в провожатые лишь одного жигита — чтоб вел в поводу двух запасных коней. Куда едет, когда вернется, никому не сообщил. Люди догадывались — едет искать табуны, вон и соил на руку набросил.

Жуман и сам не знал, куда, в какой табун направит свой путь. Лишь отъехав уже порядочно, повернул в направлении озера Маржанкуль и речки Кундызды.

Дороги между аулами совсем замело. Ехать по жест-

кому, как точильный камень, снегу обычной трусцой — мученье. Жуман пустил коней волчьим наметом.

Большой буран стих. Но гребни сугробов, наметенных наискось и поперек пути, продолжали понемногу куриться. Казалось, длинные белые драконы ползают, извиваясь, подпрыгивают, угрожающе шипя и свистя. А вскоре к драконам присоединились белые змейки. Заиграли: то хвост покажется, то голова. Их становилось все больше и больше — множество, целые полчища белых змей перекочевывали на восток. Сугробы, преграждавшие путь западному ветру, начали потихоньку перемещаться, будто вспомнили, что во время бурана легли не так, как положено. Подветренный склон постепенно укорачивался, и гребень тихо-тихо переваливал на другую сторону. Снежные барханы не переставая двигались, перемещались в направлении на восток. Это были предвестники надвигающегося нового бурана.

К заходу солнца буран начал забирать всерьез. И тут вдали запестрел край табунов.

— О кони мои! О скот мой! Живы ли, здоровы ли вы? — взмолился Жуман.

Он заторопился: успеть бы дотемна осмотреть табуны! Пересел на свежего коня. Карий конь, привычный к волчьей охоте по снегу, пошел размашистой рысью, прося повод. Но и табунщики зашевелились. То ли хозяина заметили и старались перед ним, то ли подгонял начинающийся снова буран. Они подтягивали отставшие косяки, плотнее сбивали табун. И вот уже перегоняют его под защиту длинного желтого холма. В стороне мелькнул и исчез какой-то косяк. Коней больше тысячи, а табунщиков всего двое, третий остался в войлочном шалаше—в косе табунщиков, готовил мерзнущим товарищам пищу.

Сумерки быстро сгущались. Только успело стемнеть, буран поднатужился — и пошло: замутило, заныло — по всей степи понеслась снежная вьюга.

— Это все, что осталось от табуна? — закричал Жуман табунщику. Тот подъехал на вороном жеребце. Глаза Жумана не отвыкли еще от летней картины, когда табун занимал чуть ли не всю степь. А тут, и правда, табун казался маленьким — лошади зябко жались друг к дружке, сбивались в кучу.

Табунщику известна подозрительность Жумана и привычка кричать на людей. Он ответил спокойно:

— Пока целы. Потерь нет.

— Что же они такие тощие? Не лошади — мулы!

— Сегодня первый раз днем посветлело. А то все буран. Не успели подкормиться.

— Тебеневку меняли?

— До бурана пасли по берегам Кундузды. А теперь здесь оказались... Буран загнал. Тут еще копыто не ступало, корм не тронут.

Дальше говорить не пришлось. Кони заметались на месте, стараясь друг за другом спастись от ветра. Жуман взял у своего сопровождающего попону, прикрыл спину карего.

— Ты поезжай к косу табунщиков. Жди меня там. К ужину буду, — послал своего жигита. Сам он не мог уже оторваться от табуна. Кони волновались, тревожно ржали — их пугал закручивающий все сильнее и сильнее буран. Призывно заржали жеребцы, оповещая об опасности отставших кобылиц и жеребят. Душу Жумана раздирал тонкий жалобный вопль жеребят. Они теряли в кромешной тьме своих маток и плакали, как дети, просили помочь. Куда же теперь от табуна Жуману? Разве бросить коней и этих малышей в такой беде? До самого сердца достают их стоны. Он слышит просьбу каждого, понимает их и спешит на голос то к одному, то к другому.

Ураганный ветер крутил, то и дело менял направление. Табун метался. Не успевал стать задом к ветру, как снова буря била прямо в лоб. Мотая головами, прижимаясь друг к другу, лошади неудержимо, сплошной массой двигались по ветру. Они сталкивались, как льдины во время ледохода, и неуклонно всем табуном ускользали куда-то в темноту. Вокруг светлело, гудело, завывало. Казалось, не ночь, а какая-то живая воющая мгла накрыла степь.

Слышались голоса табунщиков. Но заставить табун повернуть против ветра они уже не могли. Что тут усилия двух человек! В такой буран нужна сотня жигитов, иначе не справишься с тысячным табуном. Был бы тут лес густой или гора, чтоб подставила свою спину ветру, защитила от бури! Или хоть речка с кустарником, или озеро с камышом — все же хоть как-нибудь да укрылись бы от ветра...

Кони шли, понурив головы, обнюхивая на ходу снег. Их мучил голод. Хватали все: курай, кизяк, что ни попадалось отправляли в пустой желудок. Стоило наступить на что-нибудь мягкое, немедля начинали разгребать снег. Иной раз ухитрялись схватить корень редкой здесь тавол-

ги. Но тут же напирали задние, только и удавалось коснуться мордой.

Все дальше и дальше по ветру уходил с табуном и Жуман. О косе табунщиков забыл и думать. Да и не найти его больше. Ни востока, ни запада — ничего не разберешь в этой крутящейся тьме. Увлекаемый табуном, он только изредка покрикивал, чтобы самого не смяли слишком напористые. Как, куда двигалась эта река, неизвестно. Не понять — откуда доносились иногда крики табунщиков.

А буран все свирепел. Кони слабели один за другим, отставали. Не слышно стало плача жеребят. Жуман задержался. Пропустил табун вперед. Вот, кажется, последний косяк. Еле бредут кобылицы. За ними, совсем уже без сил, тащатся отставшие одиночки. Сзади всех жеребенок. Заметил подъезжающего человека, потянулся к нему мордой, слабо заржал и рухнул. Не шевелится больше, замер. Был бы день, Жуман мог бы заметить, как по-детски шевелил он губами, словно молил помочь ему. Но стояла глухая тьма. А гибель угрожала не одному этому жеребенку — целому табуну...

Жуман поскакал вперед, к голове табуна. Метался из стороны в сторону, пытаясь задержать лошадей. Столкнулся в темноте с табунщиком.

— Придерживай передних! Как можешь, придерживай!.. Не позволяй растягиваться. Об отставших не думай. Только и надежды на тех, что идут густо...

Долго еще боролся Жуман с напирающей гущей табуна. Забыл и о себе и обо всем на свете. Все силы отдал, чтоб остановить эту реку. Но вот почувствовал: карий его сдает, не может больше сопротивляться бурану. Закружил на одном месте, норовя повернуть к ветру задом. Жуман ослабил поводья. И тут же река потащила его с собой, понесла куда-то. Карий то скользил по пологому склону холма, то в ложбинах проваливался в снег по грудь. Иной раз Жуману казалось, что стремена скребут обо что-то. «О аллах! Помоги, пошли густой караганник!» — молил с надеждой. Но тут же поднималась в нем подозрительность, и он уже не желал караганника. «Знаю их! Увидят табунщики защиту, сразу сами и залягут там. А табун бросят на погибель. Правильно сделал, что сам поехал, — думал Жуман. — Чужой давно бы воткнул соил в снег и залег спасаться в сугроб. А как с другими табунами? Что там в Каркаралы? Пугливый пес Кошкарбай! Запрятал

куда-нибудь свою голову, спасает шкуру!.. Получишь, получишь ты свою долю, смотри!..» — выругал старшего сына.

Голоса табунщиков больше не доносились. Но что это? Жуман насторожился. Как звонко вдруг застучали копыта. Наверно, на тастак вышли.

Да, это был тастак — каменистое место. Кони цокали копытами по площадке. Карий приободрился, пошел рысью. За ним, тесня его, — табун. Копыта карего скользнули по камню, чуть не упал. Вдруг остановился и круто взял влево. Пошел, никуда не сворачивая больше, вдоль какой-то невидимой преграды. Кони с размаху ударялись в левый бок карего и тоже поворачивали влево. Удары все чаще и чаще, сильнее — на карего движется вся лавина коней. У него нет больше сил упираться. Уступил, взял чуть правее и вдруг сорвался, полетел куда-то вниз. Глубокий снег чуть не с головой накрыл всадника. Карий попробовал вскочить на ноги... С обрыва на них рушился весь табун. Лошади навалились на Жумана, и он вместе со своим конем, со всем табуном покатился дальше, куда-то вниз...

Табун, гонимый бураном, вынесло на обрывистый берег какой-то реки. Отступать было невозможно. Сзади напирали новые и новые косяки, сшибали передних, ломали ноги и шеи. Весь табун ушел под обрыв.

Жуман больно, всем телом ударился о лед. Он не успел понять, что же случилось? Перед глазами замелькало множество копыт. Тяжелые удары, будто каменные шокпары, посыпались на него...

* * *

В косе укрылись двое: табунщик, которому выпало в тот день готовить пищу, и жигит, сопровождавший Жумана. Когда буран затих, они выбрались наружу. Было уже светло. Высокий вал из снега защищал шалаш. Внутри загона четыре коня жевали караганник, припасенный на топливо, — иной еды им не было. Степь — безбрежное белое море с застывшими волнами — лежала спокойно, казалось, отдыхала после бури. Белизна, кругом белизна! Ни единой точки, чтобы задержать взгляд. Но для глаза кочевника и здесь найдется примета. Застывшие снежные волны-барханы устремлены на восток. Значит, надо ис-

кать там, в ту сторону ушел табун. Только это и сказала людям степь, не больше.

Оба работника Жумана сели на коней. В поводу взяли двух запасных и отправились прямо на восток. К седлам приторочили коржыны. В них обычная еда пастуха. Вареная конина — мясо, очень удобное для зимнего пути, не замерзает и на морозе. И курт, он тоже всегда у табунщика в изобилии. Тоже удобная еда — бросают в торсук с кипятком, пока едут, все это сбивается от тряски, тогда и пей. Получается что-то похожее на кумыс. Эту-то еду и припасли жигиты для своих товарищей — табунщиков. Особый коржын везли и для Жумана.

Едут все время прямо на восток, не отворачивая лица в сторону. Ничто не собьет с нужного пути опытного кочевника. Вот встретили площадку, всю утоптанную следами копыт. Следы за ночь обледенели. Их много — крутятся, поворачивают в разные стороны. Табунщик понимает — здесь ночью метался табун. Едут дальше, все прямо на восток. Еще следы обозначились на белом снегу. Они ведут в сторону. Табунщики не меняют курса, все так же едут на восток. Следы будут встречаться им до самого конца. Степной буран не все заметает снегом. Кое-где он и сдувает его, обнажает землю. Не бывало еще случая в степи, чтобы люди совсем не нашли следов.

— Жутко мне... — заговорил табунщик. — Следы, смотрю, к реке ведут. А берег тут крутой, обрыв высокий... Не дай аллах сорваться оттуда! Ни одна двухлетка не уцелеет. Хоть бы люди живы остались.

— Ойбой, зачем о дурном думать? — остановил его жигит, провожавший Жумана из аула.

— Можно и не думать. А все же повнимательней приглядывай по сторонам. Смотри, может, где воткнутый курук увидишь.

— Курук? Ну, если до курука дойдет, значит, конец...

Понятно, почему взволновался жигит из аула. Курук — шест с волосяным арканом или соил втыкают в сугроб, когда выхода уже нет. Курук помогает отыскать пострадавшего...

Оба молча, не сговариваясь, погнали коней. Скоро наткнулись на первые явные признаки беды. Жеребенок, выкидыш с обмерзшей красной длинной пуповиной, валялся на снегу. Дальше — еще, еще... Павшие лошади — старые и недобравшие силы за лето двухлетки. Особенно

много жеребят. Табунщик каждую лошадь помнит, каждого жеребенка узнает.

— Эх, бишара! — вздохнул он над трупом жеребенка. — Не пришлось тебе как следует даже матку пососать. Доить начали ее больно рано... Ох, и ты, старая, отпрыгалась!.. Правая нога у нее давно болела, корни откапывала всегда левой. Зато молоко давала — больше всякой здоровой...

Следы перестали петлять. Теперь они тянулись точно на восток. Вдали четко обозначились на чистом небе темные зубцы скалистого берега. Они будто манили к себе, звали: «Сюда, сюда идите. То, что вы ищете, — здесь».

— Ох, опасное место. Берег прямо к реке обрывается. — Табунщик, не оглядываясь, погнал коня. Осадил над обрывом. Внизу грудились трупы павших коней. Они успели обмерзнуть. Лежали как попало, друг на друге, вдоль, поперек... Буран, словно стыдясь содеянного, припорошил побоище снежком.

Жигиты спешились. Спустились к реке. Шагать приходилось прямо по трупам коней — иначе ступить негде. Вот и Жуманов конь. Карий лежал оседланный, застыл на морозе, утонув по грудь в снегу. Шея напряженно вытянута. Кажется, все еще старается вырваться вперед. Спустились ниже. На льду навзничь, раскинув руки, лежал Жуман. Пропитанная кровью одежда примерзла ко льду. Мертвый, он лежал среди своих мертвых коней.

— Бишара... — сказал жигит из аула. Он повторил то же слово, что недавно произнес табунщик над трупом жеребенка: «Бишара!» — бедняга, обреченный. И не понять было, жалеет ли жигит хозяина или считает, что так и быть должно — как жил, так и умер.

Сколько видел глаз, весь берег был завален трупами лошадей. Тишину над полем смерти нарушали птицы. Все окрестные сороки слетелись сюда и стрекотали, радуясь обильному пиру. Люди молчали, не смея слова сказать, подавленные страшным видом смерти.

Молча поднялись жигиты на берег и так же молча поехали вдоль него. Пристально смотрели вниз — боялись, как бы среди нагроможденных под обрывом лошадиных трупов не пропустить мертвого человека — своего товарища. Берег постепенно понижался и вот уже полого спускается к реке. Следы!.. Свежие следы лошадиных копыт явно обозначались на пологом склоне. То были следы жизни.

Удивительна и противоречива Сарыарка. Ласковое лето ее дарует жизнь. Но страшны здесь жестокие зимы. Богатство природы и скудость — и то и другое разом соединяет эта степь. Гибель и спасение гнездятся рядом, бок о бок. Только что жигиты отъехали от страшного гиблого места, и вот уже перед ними густые камышовые заросли — спасение! То самое спасение, о котором молил Жуман. И всего лишь в каких-нибудь двухстах шагах от обрыва, где нашла бая смерть. Около сотни лошадей пасутся в зарослях. Бьют, точно кетменями, широкими копытами землю. Снег искристыми фонтанчиками брызжет из-под копыт. Изголодались. Трудятся споро, жадно хватают и корни, и стебли, и сухую траву — курай. А на солнечном склоне пригрелись двое табунщиков. Отпустили на длинных чембурах своих жеребцов попастись, а сами сидят — живы, здоровы.

— Апыр-ау! Живы! — засмеялись, загоготали радостно жигиты. — Уцелели! Спаслись!

Дрожащими от радости и волнения голосами ласково твердили: «Ой, брат мой!», «О родной!». Понемногу волнение улеглось, голоса отвердели. Теперь слышалось дружески грубоватое: «Ой, псище!», «Ой, щенок!..»

— Давай коржын! — требовали табунщики. — Развязывай!

Еда еще не успела замерзнуть. Табунщики быстро покончили с припасами. Съели все — и вареное мясо, и копченый конский загривок, и колбасу из мяса жеребенка — все, что предназначалось Жуману. И только тогда заговорили о событиях ночи. От всего табуна осталось не больше сотни лошадей. Уцелели только яловые кобылицы, сохранившие с лета остатки жира, да исправные косячные жеребцы. Весь остальной табун полег под снегом. Придет весна, растает снег, и на месте гибели табуна обнаружатся только белые кости.

О Жумане не горевали. Но и не радовались — больше молчали. Вьюк с мертвым телом подвесили между двумя жеребцами и повезли домой — так поступают с теми, кому пришлось умереть в степи. Сопровождать покойника отправились двое: жигит, выехавший с Жуманом из аула, и табунщик, помогавший ему искать хозяина и лошадей.

Их и увидели те, кто брел по Акмолинской дороге. Байжан первый понял: везут мертвого.

* * *

— Ойбой, бишара! — невольно воскликнул Байжан, узнав от табунщика, кого везут.

— Бишара? Кто такой бишара? — спросил Быков.

— Беднай, беднай шелабек, — не думая, ответил Байжан.

— Пастух, что ли?

— Да, пастух... Старый пастух...

Байжан все это время озабоченно рассматривал розвальни, поглядывал на женщин, сидевших там.

Быков понял — желает отдать последнюю почесть «старому пастуху» — и попросил женщин сойти с саней. Лизу не стали тревожить. Положили покойника рядом с ней. Байжан накрыл ему лицо попоной, взял у сына вожжи и сам повел запряженных в сани лошадей.

Так был отброшен камень, давно торчавший поперек узкой дороги. Новое движение ударило о него, и он отвалился. Новая сила не знала ни жалости, ни пощады. Нипочем ей ни зима, ни буран, ни смерть, ни слезы. Сметала все, что встречалось на пути.

По Акмолинской узкой дороге далеко растянулись рабочие-уральцы. Передние перевалили за холм, отставших и с вершины холма не было видно. Брели, боролись с жестоким бураном, рвались вперед... А впереди ждала их чужая, холодная, еще более жестокая, чем бураны Арки, жизнь. Узкая дорога, извиваясь змеей, затягивала их в глубь безлесной и безводной, заснеженной мертвой степи.

4

Нынешняя зима началась мягко. Это позднее завернули холода с буранами, пришло страшное бедствие джут — Жуманова погибель. А в первый снежный месяц морозы не трещали, не бесились бураны, и аульный скот продолжал пастись на осенних пастбищах, без труда доставая корм из-под рыхлого снега. С первой порошей началась и охота. У каждой юрты выстаивались кони, возвратившиеся с гона. Над каждым шанырак реяли, словно флаги предков, шкуры зайцев, волков и лисиц — корсаков.

Жизнь передовой страны похожа на полноводную реку, текущую по многим ветвящимся руслам. Жизнь степного люда в те дни напоминала застойную лужу. Пересохнет

ли лужа, превратившись в бесплодный такыр, или однажды весенние воды напоят ее досыта, так, что разольется в озеро-море, — этого никто не знал.

Жизнь передового народа — густое ветвистое дерево, дающее плоды. Жизнь степи в те дни была, что кол для привязи лошадей: ни тебе сена, ни плода. Не знала еще степь промышленности, рожденной трудом. С земли, увлажненной трудовым потом, не снимала урожаев. Ни искусства, ни знания! Не разгорелся в те дни еще немеркнущий пламень человеческой души, чтоб питать жизнь вокруг. Одна цель была у степного люда, одна забота — скот! Земля кормила скот, скот — человека. Так и текла однообразно и уныло степная жизнь. Зима вносила некоторое разнообразие — начиналась охота на степного зверя. Но не надолго. С морозами охота прекращалась. Бедняк расседлывал заезженного, отощавшего коня и лениво дремал в землянке до весны, оставив ворох неоконченных дел.

В тот год охота началась рано...

Иные охотятся ради забавы, других гонит по следу зверя нужда.

Алшагыр — житель жатакского аула — страстный охотник. Добыча его серьезное подспорье для семьи в трудные дни.

Перед землянкой Алшагыра дремлет, поводя впалыми боками, гнедой конь — склонил голову, сонно покачивается, будто читает молитву. У ног его вытянулась упругим прутом пегая гончая — тоже отдыхает после жаркого гона.

Гон сегодня удачный. Пять зайцев и лисица — есть чему порадоваться. И сам Алшагыр и жена его чувствуют себя так, будто вдвое разбогатели. В юрте гости — два охотника, друзья хозяина дома. Сам хозяин снимает шкуру с лисицы, а хозяйка угощает гостей чаем, ведет беседу. С холода в юрту вбежал мальчик: глаза сверкают, щеки горят. Это единственный сын Алшагыра — Алишер. Целый день сегодня бегал по степи.

— Аке, сколько лисичек привез? — спросил отца, по ответа не ждет — некогда. Торопит мать: где портянки?

Сбросил размокшие сапоги, размотал насквозь сырые портянки, швырнул все как попало. Пальцы на ногах растопырились, красные, а чуть повыше, по самую щиколотку — чернота. Времени у него, должно быть, совсем мало. Сунул ноги в валенки одного из гостей, что-то весело чирикнул и — снова во двор.

— Ну, ну, рассказывай, — торопят гости хозяйку.

— О, творец! Что тут особенного? — отмахивается она, но продолжает рассказ, прерванный приходом сына.—Ну, была такая пора... У всякой бывает... Называли меня тогда мои ухажеры Кунназия. Мое имя — Кунзила казалось жигитам недостаточно для меня красивым.

Кунзила, она же Кунназия, что значит солнцеликая, рассказывает оживленно. То и дело смеется. Гости — жигиты совсем не смущают ее. Держится свободно. Кокетливо откинула белый платок с блестящих черных волос. Белолица, шея гладкая, красивая. До сих пор еще очень свежа Кунзила. Друзья, хоть и посмеиваются, слушая ее, но глядят с уважением. Хорошая жена у Алшагыра!

— Ну дальше, дальше что? — просят жигиты. Отставили пиалы на дастархан, приготовились слушать.

— Эй, катын, перестань болтать! Наврет, пожалуй... Вы больше слушайте!.. — досадует и смущается Алшагыр.

— Вот, говорю: так и стала Кунзила, дочка верблюжатника Талтаяка, Кунназией. Ну и, как полагается, задрала нос. Хожу гордо, ни на кого не смотрю. А как же, раз я такая прекрасная: я и Кунзила, я и Кунназия, я и Шахназия!.. И правда — чувствую себя чуть не шахиней. А жигиты так и вьются, не отстают. Ну, прямо как кобели в поры собачьей свадьбы!.. Истинная правда, как в зеркале!

— Ну и договорилась! — смеется Алшагыр.

— Ойбой, я же не о себе, о жигитах. Они летом всегда без головы, — смеется и сама Кунзила.

— Хватит, перестань! — краснеет муж.

— Точно говорю, без головы. Чуть ночь, они уже скребутся о кереге. А я в юрте совсем одна. Без матери ведь. Отец днюет и ночует при байских атанах... Однажды вот вернулась я с качелей и легла, слышу — скребутся. Гляжу, этот, — она указала на Алшагыра, — тоже приполз.

— А ты думала, просто так ходил за тобой, что ли? — приосанился Алшагыр — простая душа.

— Слышу я, шепчет из-за кереге: «Кунназия, Кунназия!» Ну, думаю, видно, и правда я солнецеликая, раз этот тихоня туда же со всеми: «Кунназия!» Он ведь у нас из скромных скромный. Спрашиваю: «Алшагыр, это ты?» «Да, — говорит, — я, Алшагыр». А меня будто шайтан толкает: «Вот чудо! — говорю. — Откуда появился? Ведь я тебя только что во сне видела». А он в ответ пословицей:

«Когда кулану щекотно станет, охотник тут же нагрянет». — И дальше больше: «Не иначе, аллах явил меня тебе». Говорит так мой Алшагыр, а сам прилип к кереге. Слышу я — дышит так громко, сопит.

«Верю, — говорю, — я и сама удивляюсь. Во сне ты со мной был, проснулась — ты рядом. Вот ведь как сны сбываются». Говорю это, а сама изо всех сил щиплю себя: боюсь, как бы не рассмеяться. А он обрадовался: «Как ты меня видела?» — спрашивает. Врать так врать: «Вишни с тобой вдвоем собирали!» — «О, вишня — это дар божий!» Сказал и совсем уже влип в кереге. Таким жаром меня обдал — показалось мне, дышит и ноздрями, и ртом, и даже глазами и ушами, вот как! Смотрю, что же дальше будет: «Ты, — говорю, — срываешь вишни и в рот мне кладешь». А он: «Руками?» — «Нет, на кончике языка подаешь!..» «Апырау! — обрадовался он. — Ведь это то, о чем только я мечтаю! Дай хоть попробовать той сладкой вишни, протяни свои губы!» — «Боюсь, вкус пропадет!» — «А ты не бойся, еще слаще будет. Я же не кладу насыбай за губу». — «Перестань!» — отнекиваюсь я. А он — дай да дай, не унимается. Вконец распалился. Ночь стояла тихая, свет от луны — как молоко! Вижу, просунул губы в кереге, лицо расплющилось, стало похоже на таз. «Хорошо, Алшагыр, — шепчу, — дам себя поцеловать... Только придвинься поближе». Он и навалился, даже юрта затрещала. Подставил рот, а нос — широкий такой, просунулся тоже в решетку, так и просит щелчка. Ну я не удержалась, да как щелкну!

— Ха-ха-ха! Ох-хо-хо! — так и покатились жигиты.

— Вот завралась! — Алшагыр смутился, даже шея покраснела.

Кунзила смотрит на него, посмеивается.

— А дальше ведь что получилось! Он, милый мой, белая душа, не обиделся. Зажал нос рукой, а сам мне: «Завтра же, Кунназия, пришлю сватов. Жди!» Вот как! Я, правда, не сразу и поверила. «Это ты-то?» — спрашиваю, не знаю, что еще и сказать. «Да, я. Последнюю рубашку отдам, возьму коржын да курук — по аулам пойду, а калым выплачу. Сосватаю тебя, Кунназия!» Чувствую — не врет. «Эй, не дури! — говорю ему. — Последнее на калым отдашь, чем кормить меня будешь? Может, рассчитываешь, что отец мой, пастух Талтаяк, расщедрится — выдаст тебе косяк лошадей да стадо атанов?» — «Был бы кетмень, а что копать — всегда найдется. Прокормлю

как-нибудь». Ну, пожалела я его тогда: «Если нужна я тебе, сама улажу с отцом. А ты не выдумывай. Не смей ничего отдавать — даже козленка».

— Твое счастье, что не дала в ту ночь поцеловать себя. А то не видать бы тебе и порога этого дома! — шутит, но не без самодовольства Алшагыр.

— А ты не очень хвастай! Всем известно, кто кого женил. Я тебя на себе женила, причем без всякого калыма. Вот как...

Это была дружная, любящая чета. Люди маленькие, и жизнь была им отпущена без размаха. Зато понимали друг друга с полуслова. Такого не случалось, чтобы один тянул в гору, а другой под гору. И беду и радость делили пополам. А бед бывало, пожалуй, погуще, чем радости. Но никакие нехватки не смогли до сих пор сломить веселого нрава обоих. Крепкая, согласная была семья. Соседи, поглядывая на них, только завидовали.

Алшагыр любовался Кунзилой. Ему нравилось, что жена держится с гостями вольно, весело. Озорство и грубоватые шутки не обижают его. Знает ведь — в сердце у его Кунзилы нет греха и с пылинку.

— Что замолчала? Меня опозорила, выставила на смех мой разбитый нос, а про себя не хочешь? Нет уж, рассказывать — так до конца! — подбивает жену Алшагыр.

Кунзила приняла вызов.

— Ойбайау, совсем забыла! — смеется она.—Однажды поздней осенью заночевал у нас добрый человек. Легли. Ну, как положено: гость на почетном месте, Алишер — он тогда был еще совсем маленьким — у стены, а я у очага. Алшагыра дома в тот день не было, на лисиц охотился. Он же их спит и видит. Сами знаете, чуть осень — на охоту, дома не удержишь. Вот так и лежим. Чую вдруг — щиплет меня кто-то за ногу. Гость, конечно, кто же еще! Да щиплет как хитро — не рукой, а пальцами ног. Э, думаю, разговор твой понятен!.. А он зацепил мою ногу и тянет к себе. Подобралась я под одеяло и колени к подбородку прижала. Лежу. А тот, проклятый, не унимается — тычет и тычет копытом. Ну, ладно, думаю... Зевнула, будто только проснулась, встала, пошла во двор. А по дороге щипцы в очаг сунула. Вернулась, поправила одеяло на сыне, придвинула его поближе к стенке и сама прилегла. А этот опять щиплет и одеяло норовит уже стащить: осмелел, думает — я не против. Юрта была у нас маленькая: голова на почетном месте, ноги у порога.

Вот он через всю юрту ногой меня и достает. Приподнимаюсь тихонько, будто и правда согласна с ним. А сама как схвачу щипцы да к его ноге. Щипцы-то успели докрасна накалиться. К той самой ноге и приложила, что играла с моим одеялом, как котенок с занавеской... Утром встаю — нет моего бедного гостя, исчез...

— Кто же это был? Кто? — встрепенулись слушатели.

В степи редко случалось что-нибудь значительное. Рады бывали любому происшествию. Пустяк, вроде истории с Кунзилой, пережевывали годами. И беда тому человеку, что попадал врасплох. Насмешливая молва не отпускала его до самой смерти.

Жигиты продолжали приставать: кто да кто?

Кунзила кое-как справилась со смехом, хотела было назвать имя, и тут узкая дверь землянки вдруг отворилась. Еле протиснув толстое тело, в юрту ввалился рыжий жигит.

— Алшагыр, бросай свою лисицу, тебя зовет тёре Жумабек. Айда!

Смех Кунзилы оборвался. Ее насторожил необычно торжественный голос посланца. А услышала «тёре Жумабек» — потемнела лицом.

Алшагыр к этому времени уже почти ободрал шкуру. Осталось только сдернуть ее с хвоста. Так и бросил висеть на пышном хвосте, пошел за посланцем.

Аул — всего с десяток землянок — вытянулся вдоль реки. Сегодня здесь оживленно. С верховьев тянутся люди. Пешие копошатся вдали, точно муравьи. Верховые — на конях и верблюдах — уже здесь. Жумабек важно восседает на коврах и попонах в расписной кошеве. Прикатил тёре на благородных иссиня-вороных конях. Остановился посреди аула. Около тёре вертелся староста аула Эсип — брат толмача Жусупа. Жумабек, сбросив на мягкое сиденье волчью доху, говорил с ним.

— Сегодня и выезжайте. Аул никуда не денется. Будете навещать, — услышал слова тёре Алшагыр.

— Э, Алшагыр! — Жумабек заметил его. — Собирайся и ты. Вместе с ними отправишься.

— Куда?

— В Караганду. Придется пять-шесть месяцев поработать.

— Я же один в семье... Жена, сынишка... Вся семья на меня смотрит... Сказали же — на уголь идет, кто захочет...

— Тебе что, деньги не нужны? Пятнадцать рублей за месяц! Когда только казах научится понимать свою выгоду?! Я исполняю волю аксакалов, бия и вашего волостного, — заговорил он жестче. — Видишь же, вон сколько народу идет в Караганду. А ты что? Не заставляйте посылать за вами посыльного. Оставайся, если рассчитываешь, что бии и волостные еще раз ради тебя соберутся, — дал понять Жумабек, какая сила стоит за ним.

— Много разговариваете, — поддержал его Эсип. Он обращался к зашумевшей толпе казахов. — Не засылают же вас туда, где ездят на собачьих упряжках. Всего-то — в Караганду. Свои места.

Люди расходились. Понуро побрел домой и Алшагыр — больше возражать не посмел.

Жумабек вполне освоился с порученным ему в юрте Игилика делом вербовщика. Правда, это всего лишь первый его выезд. Акбуйратский завод что-то продремал все осенние месяцы. Об угле будто забыли и думать. А теперь, почуяв зиму, Акбуйрат встрепенулся. Про Караганду вспомнили. Жумабек получил срочный приказ — в пятидневный срок поставить заводу пятьсот жигитов. Он уже проводил большую часть завербованных. Объезжает последние бедняцкие аулы.

Тёре теперь не узнать. За три последних месяца заметно набрал в теле: спина округлилась, лицо раздалось. В одежде недостатка тоже не видно. Сбросил волчью доху, а под ней — шуба: крыта зеленым сукном, отделана мерлушкой. На голове пышный тымак из желтой лисы. Не он ли три месяца назад бродил пешком, был так тощ, словно конь после джута? А теперь полюбуйтесь — не верхом, в кошеве разъезжает! Такого чуда в степи до сих пор и не знали. Развалился на мягких коврах, лень даже «салем» людям отдать. Кучер — из туленгутов — осадил посреди аула на виду у людей пару вороных. А тёре ему важно так:

— Что-то наш левый красавец шел грузновато, надо бы запрячь алтайца мышастого.

Очень стал важный. Останавливается только у богатых и знатных, как сам Игилик. Такому грозному тёре разве посмеет возразить бедняк вроде Алшагыра.

Вернулся Алшагыр в свою землянку, выругался с порога:

— Шайтан бы забрал твои щипцы, будь они проклятыи!

— Что, что случилось?..

— Твой длинноногий тёре прискакал. В Караганду угоняют, уголь копать...

Гости беспокойно переглянулись. Узун-кулак — длинное ухо степи — давно разнес по аулам весть о наборе рабочих для Караганды. Нашлись уже и желающие поехать — из тех, кого нужда особенно подпирала. Правда, хоть и решили, но раскачивались долго. Сначала мешала степная лень, а потом началась охота — все и откладывали. Однако желание подзаработать зрело. И тут вдруг Жумабек со своей строгостью. Одно дело — идти своей волей: хочешь идешь, хочешь — нет. Совсем другое, когда тебя подгоняют. Жумабек посылает на уголь так, будто распределяет повинность. Это насторожило и встревожило людей. Гости и Алшагыр взволнованно переговаривались. А Кунзила ахала про себя: неужели и правда мстит длинный за щипцы?

— Апа, апа! Кто приехал!.. — Алишер со стуком распахнул дверь.

— Светлый вечер вам! — послышался густой мужественный голос. В землянку вошел палуан Буланбай. За ним следом, напуская холоду в дом, топоча поношенными сапогами, вошло еще несколько человек.

— О! Проходи, проходи... — Хозяин рад гостю. — Куда собрался?

— Да вот надумал связать тебя, а катын твою и сына забрать себе! — пошутил Буланбай, подмигивая Кунзиле.

Буланбай с Алшагыром сверстники и друзья. Шутка между ними — старый обычай.

Гость прошел в верхний угол. Все потеснились, только пегая гончая не двинулась.

— Эй, катын, помоги гостю раздеться!

Кунзила потянула рукав шерстяного чекпена, надетого поверх овчинной шубы, удивилась:

— О, мой пэре, куда это ты так нарядился? Неужели тоже на уголь собрался?

— Угадала, на уголь. Твоему охотнику, — Буланбай смеясь, посмотрел на ободранную лису, — того же желаю!

Всем известно — палуан Буланбай беден. Когда бывает нужно постоять за честь рода — он первый. А вот доля богатства ему никак не перепадает, тут он всегда остается последним. Знаменитый палуан не роптал на свою судьбу, снова и снова добывал в трудных поединках славу каракесекам. И вот такой жигит, гордость рода, должен

жить где-то в чужом краю, копать прославленными руками из-под земли уголь! Кунзила представила это, и ей стало так горько, так больно, что она всхлипнула.

— Ойбой, ты что это? Такая баба-кремень и раскисла? А ну, сынок, не будем смотреть на нее. Иди-ка ко мне, посиди рядом с твоим вторым отцом. — Он усадил мальчика на колени, умолк, задумчиво поглаживая его по голове.

У Буланбая тоже есть сын — Нартай. Всего на год старше Алишера. Остался дома с бабушкой. Только вот старуха уж очень дряхлая, вытопить печь и то ей не под силу. И еды мало... Последнюю коровенку зарезал перед отъездом. Часть мяса с собой взял... Да разве у него одного такая беда? Вот и его спутники, те, что вошли с ним, у них тоже в домах ветер свищет. Беды у каждого столько, что раздели на десять семей и то согнутся. Сколько их уже ушло на медь, на уголь! Пооставляли семьи... А что найдут вернувшись? Зима ведь впереди...

Горьки мысли Буланбая. Здесь, у Алшагыра, он особенно остро почувствовал свою беду. Дружная семья у ровесника: жена, сын... И недостатка в доме пока нет. Не так, правда, много, но хватает, чтобы не умереть с голоду. Спутники Буланбая, видно, тоже загрустили — повесили головы. Стряхнул палуан горькие думы, опять заговорил шутливо:

— Эй, ровесничек, а ты чего нос повесил? Бабу оставлять жалко? Так ты ее с собой бери. Все хоть одна катын на двоих будет.

— Да я ничего. Только узнал... Еще и собраться не успел...

— Долго ли собраться! Вот я сколько уже лет хожу один. Собрался было тоже завести у себя дома такую вот прялочку с причесанной головой, — кивнул Кунзиле. — Да не пришлось... Собирайся живее. Одним косом все же лучше будет. А ты, кремень, наведайся зимой к моей старухе, навести сынишку...

А Кунзила совсем уже не похожа на кремень. Горестно поглядывает то на Буланбая, то на мужа.

Алшагыр все не решался:

— Сам я что, готов бы. Да как их оставлю? — показал на жену и сына.

— Глядите на него! С такой женой и жалуется! Была бы у меня твоя Кунзила... — Буланбай повернулся к своим жигитам: — Вот вы собрались, едете. А поняли хоть для чего? Кто из нас не работал на бая! Десять лет я,

Буланбай, гнул спину на Игилика — и что? Чуть не пошел с куруком да коржыном по аулам. Овца в год — на большее бай не расщедрится. И дальше бы так шло. А ну, потрудите свои головы, соображайте: на угле нам сулят от десяти до пятнадцати рублей в месяц. Если так, будет с чем вернуться к семьям. Многие из вас тревожатся — что там да как! Пропадем, мол. Не пропадем. Не на той, конечно, едем, не к дастархану. Но разве не лучше трудом своим кусок зарабатывать, пусть тяжким трудом, но честным? Разве это не лучше, чем всю жизнь кланяться, ждать, когда тебе, словно собаке, бросят кость от байских остатков! Ведь это самый страшный позор для жигита!..

Буланбай обращался к своим спутникам, но говорил не только для них, но и для Алшагыра. Старался убедить всех, кто колеблется.

Степным жигитам никогда не приходилось еще менять своего образа жизни. Сейчас они страшились нового, того неизвестного, что ждало их впереди. На слова Буланбая отвечали вразброд:

— Кто знает, какая зима нынче выпадет. Как семья одна справится...

— Что-то не видел я, чтобы платили за «так». Кто знает, сумеем ли еще заработать!

— Шесть месяцев! Это же целый век. Я и на шесть дней никогда еще не уезжал из дому. — Это Алшагыр, простая душа, выложил свои думы.

— Не только на шесть месяцев, на шесть лет согласен. Только бы не смотреть в голодные глаза сына, — так сказал Буланбай. Он, сильный и гордый, знал, что значит видеть просящие глаза голодной семьи. Степь щедра для богатых. Буланбаю с его богатырской силой и открытой душой она ничего не дала. После майдана на Майкудуке ушел палуан от Игилика. Такой удивительный получился тогда поединок с Сугурали! Простился Буланбай с названым братом, и не захотелось ему больше смотреть в глаза богача бия. Ушел, не взял ничего. Даже красавца акбахая — белоногого коня, товарища в битвах, и то оставил. Бия конь, не его... Не шло счастье в руки батыра, ускользало, как ускользает серебристый шабак — рыба в реке Нуре от неудачливого рыбака. В начале зимы, как и все, ходил на охоту, приносил кое-какую добычу. Посмотреть тогда на него — батыр! А на душе камень — забота, тревога о семье.

Таким и встретил его однажды тёре Жумабек. Угадал легкую для себя добычу.

— Здоров ли, палуан? Как живешь?.. Насчет угля что думаешь? — задал вопрос так, будто между прочим. Твое, мол, дело: хочешь — поезжай, не хочешь — упрашивать не стану.

— Поеду, — без раздумья ответил Буланбай.

Сказал и сделал. Бывал палуан на майданах за полководца. И теперь среди спутников-жигитов он как бы их предводитель. Не умеют жигиты прятать свою тревогу, стонут — как жить в чужом доме без семьи? Да и работать надо к тому же... Буланбая злит их нытье. Знает: у многих в семьях куда благополучнее, чем у него. И все-таки старается веселым словом ободрить: «укрепить их суставы», как говорил он. Всем кругом он кажется веселым. Только не Кунзиле. Она разглядела тот камень, что лежит у него на душе. Разливает чай, а сама посматривает на ровесника.

Невмоготу Буланбаю дальше оставаться в этом приветливом доме. Смотрит на милую хозяйку Алшагыра, на его сынишку и щемит тревога за своих. Заторопился. Только присел за дастархан — и уже в дорогу.

Дверь отворилась. Опять в землянку протиснулся рыжий жигит, тот, что вызывал Алшагыра к Жумабеку.

— Ойбой, Алшагыр, беда! Тёре и мне приказал ехать. Что мне делать?.. — Толстый жигит шатался от горя. По лицу катились капли пота. Даже ресницы намокли, вот-вот заплачет в голос. Дышит часто, как загнанный конь.

— Сначала все приказывал: позови того, позови другого... Я и бегал... А он, собака, говорит потом: «Собирайся и ты, поедешь!» — У жигита голос задрожал от обиды.

— Э, бишара-жигит! Ты что — один из двенадцати сыновей аллаха? Хватит горевать, вместе поедем, собирайся! Быть тебе в нашем косе за асбасшы. На что другое — не знаю, а пищу готовить сгодишься.

Буланбай уже одевался. Рыжий толстяк будто и не слышал его слов. На чужбине и асбасшы — поваром быть не сладко. Умоляюще смотрел на Алшагыра, словно тот мог помочь ему.

— Собирайся, все едем! Ничего не поделаешь, — не утешил его и Алшагыр.

Толстого жигита звали Колбан. Настоящего его имени никто не помнил. Колбан, то есть увалень — его прозвище. Был он рыхлый и круглый. Живот начинался от гор-

ла и свисал почти до колен. Ноги и руки до того короткие — казалось, творец совсем забыл о них и только потом спохватился, прилепил чьи-то чужие. Одно ремесло было у Колбана, на одно только дело он мастер — едок большой, съест хоть целого барана. Проглотит — и не сыт. Жует с утра до вечера: ходит по юртам, помогает хозяйкам и жует. А толщиной своей даже гордился. Вечерами, когда парни собирались за аулом, без Колбана не обходилось. Каждый хотел попытать свою силу — валили поочередно толстяка на землю. Колбан так и считал, что создан для этой благородной цели.

Долго хлопал глазами Колбан. Никак не мог взять в толк того, что сказали ему Буланбай и Алшагыр. Когда же понял, взмолился:

— О, аллах! Не бросайте только меня где-нибудь на чужбине...

* * *

Настало утро следующего дня. Завербованные казахи начали партия за партией прибывать в Караганду. Ушаков с инженером Бернером и недавно назначенным руководителем работ Сикорским осматривали место будущей разработки угля. Здесь же были и Игилик с верным хожой Куренкозом и тёре Жумабеком и толмач Жусуп. Шестеро — в черной форменной одежде с блестящими желтыми пуговицами — промеряли овраг. В густом караганнике торчали знаки — колы, вбитые на одинаковом расстоянии друг от друга.

— Вот видите, рабочие прибыли, — Ушаков указал Бернеру на толпу жигитов. — А у нас не готов ни один из бараков. Господин Сикорский слишком поздно спохватился. Убытки компании — не его забота. Раз негде жить, то и работать нельзя. А за простой ведь придется платить. Пятьдесят копеек в день.

— В первые месяцы вынуждены будем мириться с неполадками,—ответил руководитель работ Сикорский.— В новом деле, тем более в таких необычно тяжелых условиях, нельзя без этого...

Ушаков перебил:

— Речь идет о бараках!

— Бараки через три дня будут готовы.

Все трое как раз стояли у двух недостроенных бараков. Один — длинная землянка с недокрытой деревянной

крышей. Другой — такой же длинный шалаш из караганника, связанного в пучки. Перед бараками брошены навалом лопаты, ломы, кетмени и кайла — ждут рабочих. Откуда-то, будто из-под земли, доносятся глухие удары молота о наковальню, вздыхает двуручная пила.

— Через три дня? — недовольно переспросил Ушаков.

— Ну вот и начнем с богом! — Бернер будто не замечал недовольства хозяина. — Будем пока радоваться тому, что есть. — Но тут же, как истый немец, уточнил, чтобы не было недоразумений: — Имейте в виду все же, что начинаем кое-как, без той технической подготовки, на которую рассчитывали. Ни шахт, ни вагонеток, никакой, даже минимальной, техники. Ничего из того, что было задумано. Дедовским, так сказать, способом начинаем.

— Ничего, начнем... — Ушаков и сам все видел, да что поделаешь! Уголь нужен завтра же. — Копайте лопатой, руками гребите, таскайте на себе — все равно как, но уголь давайте. Читали, что пишет Рязанов? Надо отправить в январе пятьдесят пудов меди — успокоить господина Рязанова. Начнем как есть. Начинай, Сикорский! — Ушаков успел забыть, что беспокоился о бараках.

Не так рассчитывали начать в Караганде Ушаков и инженер Бернер. Надеялись оснастить добычу угля по всем правилам техники. Но руки связаны — над ними власть всесильного бога — денег. Этот бог не давал размахнуться как надо. Не любил Рязанов, чтобы капитал обращался медленно. Деньги, как дождевые капли, орошают производство. И подобно дождевым каплям, стекая с лопат рабочих, они должны серебряным ручьем струиться в карман главного пайщика. Рязанов в последней деловой записке выставил как непременное условие своего участия в компании ежемесячный и притом возрастающий из месяца в месяц доход. Лик бога должен быть светлым. Это известно Бернеру. Потому и начинают дедовским способом... Не только техники, — даже проекта будущих шахт еще нет.

Толпа жигитов около бараков росла. Поднялась возня. Одни заставляли опуститься упрямившихся верблюдов, другие уже развьючивали груз, третьи осматривались по сторонам, о чем-то спорили... Сикорский с Жусупом подошли к казахам.

— Здравствуйте!

— Здрас!

— Аман!

— Аман.
— Прибыли?
— Прибыли.
— Сколько?
— Не считали.
— Хорошо... Я сам...
— Сам так сам. Было бы хорошо...

Не сумев ничего растолковать жигитам, Сикорский принялся сбивать их в артели по двадцать человек.

— Эта двадцатка отходит в сторону, — скомандовал, отрубая рукой первую группу.
— Эй, Айткул, иди сюда!
— Жантай! Смотри не отстань!
— Колбан, куда ты? Держись своих.

Жигиты уже распределились по-своему—успели сбиться в косы, пока добирались сюда. Теперь не желали их ломать: нельзя сармантаю идти в двадцатку к каракесекам. Степняк привык держаться своей семьи, своего рода. Как ни хлопотал Сикорский, разбивка не получалась. В одной артели не хватало людей, в другой был избыток.

— Ну, теперь вас двадцать? — говорил Сикорский, подходя к группе, которую только что составил.
— Нет, пятнадцать...
— А у нас двадцать четыре...
— Четверо лишних переходите в эту артель!
— Нельзя... Своих каракесеков не отдадим чужим!

Буланбай смотрел, смотрел на эту неразбериху и выступил вперед:

— Э, волк вас там съест? Хватит вам тянуть. Разделяйтесь по двадцать. А кто не хочет с чужими — иди ко мне.

Ушаков все это время стоял в стороне — наблюдал. Теперь подошел к Сикорскому, указал на Буланбая.

— Назначь его десятником. Толковый жигит. В пять минут все тебе уладит.
— Казаха десятником? Он же понятия не имеет о рудном деле!
— А твои десятники? Акула да Зубов, они что, в Париже учились? Научи и этих. Всех придется учить — даже как держать лопату. С того и начинай.
— Ладно. Как зовут? — спросил Сикорский Буланбая.
— Буланбай.
— Отчество?

— Отчества нет, умер.

— Все равно скажи, как звали отца. У русских положено, — разъясняет толмач Жусуп.

Пока шел этот короткий разговор, жигиты опять успели смешаться. Делили еду: курт, масло — у многих она хранилась в общих коржынах...

— Ну, раздели теперь своих жигитов на артели — по двадцать человек в каждой. Будешь десятником, — пояснил Сикорский...

— Над всеми?

— Нет, над всеми я сам...

Тыча каждого пальцем в грудь, Буланбай отсчитывал по двадцать человек и отводил в сторону.

— Вот ваша двадцатка, в одном косе будете, поняли? — приговаривал всякий раз. Разбивку закончил быстро и сказал Сикорскому по-русски:

— Давай работайть!

Пробную добычу решили начать рядом с Байжановым колодцем. Как, на какой глубине залегает уголь — никто не знал. Сикорский вооружил шестьдесят жигитов лопатами, ломами, кетменями, кайлами и привел сюда.

— Копайте! — указал на полосы, отмеченные кольями.

Из густых зарослей караганника выпорхнула большая стая серых куропаток. Отлогие склоны лощины разрисованы, словно кружевом, заячьим следом. Алшагыр приметил и характерную звездочку —отпечаток лисьей лапы. На затвердевшем насте было много таких отметин. «Жаль, капканов не захватил!» — подумал охотник.

— Начинайте! Сначала выкорчуйте караганник. Из него будете потом строить бараки, — втолковывал где словом, где жестом Сикорский.

— А потом?

— Потом начнете землю копать. На аршин — два выкопаете, там и уголь пойдет.

Жигиты сбросили шубы, чекпены, чапаны, поплевали на ладони и взялись за кетмени, лопаты. Под ударами затрещали корни караганника, повалились кусты. Работа началась.

Сикорский тронул за плечо Буланбая:

— Вон там, смотри, — это Иван Акула, — указал на огромного, мрачного вида силача. — Ваш десятник.

— Иван? Акулай? Десятник? Десятник я! Ты сам сказал.

Сикорский видит — Буланбай недоволен.

— Ты десятник для своих жигитов. Он — для своих. Он — рудничный мастер.

Не все из того, что сказал руководитель работ, понял Буланбай. Да Сикорский и не стремился к ясности. Посеял раздор между двумя силачами — и ладно. Как дальше пойдет, ему дела нет. Сцепятся — очень хорошо. В этой глуши и драка — развлечение. Тем более сеять раздоры, затевать интриги в натуре Сикорского. Он и сюда-то попал из-за этой своей слабости. Начинал карьеру неплохо — на западе России. Да беда — хозяевам не нравились грязные делишки этого человека. Сколько хозяев переменил! Теперь очутился тут, на глухой окраине.

Ушел Сикорский. А Буланбай все стоит — не может взять в толк его слова. Приблизился Иван Акула — мрачный, как туча.

— Ты брось эти шутки! — буркнул Буланбаю. — Какой я тебе Акулай! Акула! Иван Акула, понял?

— Злишься? Ты и есть Акулай! Такая песенка есть: «Акулай...»

— Говорят тебе, не Акулай — Акула! — Десятник угрожающе шагнул к Буланбаю.

— Подраться захотел? — Буланбай расправил плечи.

Говорили один по-русски, другой по-казахски. Слов не понимали. Но выражение лица, жесты — яснее слов. Разгорячились, уши у обоих горят, даже кончики носов побелели от злости. Приостановили копку и жигиты. Смотрят на двух силачей — что дальше будет?

— Гляди, как бы не пожалел потом! — Акула ступил еще на шаг вперед.

— Меньше говори! — шагнул и Буланбай.

Остановились, прикинули силу противника на пуды и аршины. Акула чуть не на голову выше. Зато Буланбай плотнее — литой, как камень. Кулаки, что дубовый шокпар. Но и у Акулы кулаки — дубины. Примерились, еще шагнули, чуть не стукнулись грудь о грудь. У Акулы руки пусты — ничего в них не держит. Буланбай по законам борьбы отшвырнул лопату. Приготовились, стоят — глаза в глаза.

Ушаков только было порадовался — так дружно жигиты взялись за работу. И пожалуйста — вот-вот начнется драка! Да кто затеял? Рудничный мастер, десятник! Ушаков рассвирепел.

— Акула! А ну сюда!..

Голос не предвещал ничего доброго. Акула быстро повернулся, пустился бегом на зов. На ходу все же успел пригрозить:

— Ну, погоди еще!

Разошлись матерые. Дальше угроз пока не пошло. Но каждый затаил обиду на другого...

Снова замелькали кетмени. Врубались, точно клыки, в землю. Жигиты работали дружно.

Неподалеку четыре группы других жигитов готовили площадку под бараки. Хоть земля еще не успела промерзнуть, плотный и вязкий суглинок поддавался туго. Жигиты уже порядком вспотели. Но работа не успела еще убить в них живого степного нрава. Смеются, подшучивают друг над другом:

— Рой, рой нору! Тут и поселимся вместе с сурками!

Бьют землю кетмени, кайла, лопаты. Тяпают по дереву топоры. Поют и звенят пилы. Ухает кузнечный молот. Подъезжают с шумом и криком караваны верблюдов, обозы конных подвод, сбрасывают груз: бревна, доски, готовые оконные рамы. Непривычный шум беспокоит исконных обитателей этих мест. Зайцы, высунув на миг длинные уши, снова прячутся, плотнее затаиваются в снежных лежбищах. Лисы, увидев небывалые толпы людей, торопятся унести ноги — уходят по оврагам, ложбинам. Только простодушные куропатки пригрелись на солнечной стороне караганника и косят на людей любопытным глазом.

Степняков тоже пугает этот звенящий край. Все здесь им ново и дико. И эта быстрота вокруг, эта гонка, похожая на колотящееся сердце, и эти подводы, и грузы. Ведь в степи не встретишь скрипящего колеса. А тут не только подводы, — еще какие-то странные вещи, железные ящики на колесах — это начало прибывать шахтное оборудование. Жигиты дивятся, покачивают головами, цокают языками.

Ушаков удовлетворен началом работ. Он везде побывал, все осмотрел. Теперь уединился с Бернером.

— Уезжаю, Карл Карлович, пора! Как только удастся договориться с Рязановым, сразу напишу. Завод пускайте. Не ждите русских рабочих... Чувствую, нелегкой будет поездка...

— Да, этот Рязанов тяжелый человек, — согласился Бернер. — То оказывается, совсем не хочет участвовать, то требует, чтобы медь немедля рекой ему

текла. И тянет все. Вот и опять вас вызывает. Зачем ему этот тормоз?

— Рязанов может себе все позволить. На Урале у него золотой клад. А теперь и на Обь с Енисеем забросил удочку... Ничего не поделаешь, Карл Карлович. Думаю, договоримся на этот раз. И тогда — ни дня терять не станем. Не к чему ему теперь придраться. Требовал начать — начали. Беспокоился насчет рабочих — пятьсот человек уже есть. Думаю, наладим дело. Значит, помните: декабрь я в Петропавловске, дальше — в Омске...

Поездка Ушакову удалась. С Рязановым уладил дела довольно скоро и поехал регистрировать в горнорудном управлении новое соглашение.

Тогда-то он и встретил в своем доме Байжана с сыном — первооткрывателей Караганды.

5

Два месяца казахская зимняя степь трепала, мяла, душила рабочих-уральцев. Два месяца Караганда была для них землей обетованной, надеждой, спасением. Но встретила их долгожданная Караганда суровее морозной степи. Холоднее и жестче.

Передняя группа рабочих поднялась на отлогий холм и остановилась. Опять ничего!.. Все та же белая степь! Но вот пригляделись получше и заметили длинный шест с привязанным вверху пуком сена и фонарем под ним — маяк для путников. Шест торчал в длинном сугробе, а рядом прямо из сугроба дымила труба, тонкая, будто самоварная. Струйка дыма была тоже тонкая, еле заметная. Казалось — не дым, а чье-то слабое дыхание выходит из-под снега. В стороне, у широкой кошевы стояли друг против друга две лошади. Обе густо запорошены инеем, ноздри парят на морозе. Верно, аул какой-то, подумали уральцы.

И тут, будто прямо из снега, вырос перед ними человек в черном тулупе, черной ушанке и белых в красную крапинку пимах.

— Прибыли? Устраивайтесь. Вот ваш барак, — указал на один из длинных сугробов и, не задерживаясь, прошагал дальше — туда, где дымила «самоварная» труба.

Это и была Караганда. Та самая Караганда, о которой мечтали, истомившись по теплу, жилью и сытной еде,

уральцы. В дороге, бывало, беспокоились: как бы те, кому посчастливится прийти раньше, не разобрали хороших бараков. И вот — ни бараков, ни других привычных для пришахтного поселка построек... Все та же нехоженая холодная степь, те же сугробы и так же над ними курится поземка... Однако где-то рядом шла работа. Морозный воздух отчетливо передавал звуки. Вот звякнуло железо: один, другой раз, посыпались удары — лопатой работают!.. А вот и другой, знакомый шахтеру звук: тупые удары — работа идет и под землей.

По ступеням, вырубленным в плотном снегу, спустились внутрь барака-сугроба. Это была землянка, крытая караганником на два ската. В длинном бараке стоял полумрак. Свет еле-еле пробивался сквозь два окна в крыше — мешали сугробы. В мрачной землянке холод чувствовался сильнее, чем на морозе. Даже железные, ни разу не топленные печи будто ежились — замерзли. На стенах, на потолке — повсюду густо кудрявился иней.

Со стены в переднем углу смотрела сквозь иней промерзшая богоматерь. Она, будто пытаясь согреть, крепко прижимала к себе дитя свое. Лицо девы Марии — худое, со впалыми щеками, казалось очень жалким. Трудно было поверить в божественность этой матери. Глаза смотрели на пришельцев кротко, она будто жалела их и, не имея сил помочь, говорила: «Терпите, бедняги!» С той же стены взирал на рабочих и какой-то святой старец. Этот поднял к небу три сложенных вместе перста, будто напоминал — бог там!.. И у девы Марии; и у святого старца лица были неестественно белые, словно обмороженные.

Вошедшие торопливо перекрестились на иконы.

— Господи, спаси и помилуй!..

— Помоги, заступница, матерь божия!..

Стукнули раз-другой щепотью о лбы и плечи и остановились — слова молитвы не шли на ум. Очень уж дико было то, что встретило их здесь.

— Неужели это то самое место?..

— Выходит, то...

В бараке-землянке не на чем было даже присесть, отдохнуть — ни нар, ни скамьи. Промерзший земляной пол жег ноги. Люди начали приплясывать — хоть как-то согреться.

— Неужто и ночевать здесь? — ужаснулся кто-то.

— Нет, для тебя специально гостиницу приготовили.

— Да что, что же это?.. Погубить нас хотят?..

— Говорили же, все там готово: и бараки, и все... Устроитесь и на работу...

— На работу! — повелительно гаркнул от двери грубый голос. — Не на отдых прибыли!

Голос рабочим знакомый. Везде одинаков: на Урале, в Сибири, на Севере, на Востоке, на золоте и серебре, свинце и меди. Всюду звучит одинаково властно и грубо. Голос, не терпящий возражений. Уральцы и здесь не ждали иного, иных слов. Услышав команду, не удивились. Попробовали все же пожаловаться:

— Отогреться бы хоть!..

— Изголодались за дорогу, намучились!..

— Тут рядом вроде печка дымилась, погреться бы нам, — нестройно зашумели рабочие, разом обернувшись к двери. Рыжий, с веснушчатым лицом человек в дверях пропустил мимо ушей жалобы, ответил только на вопрос о печке:

— Там сам Сикорский живет!..

Кто такой Сикорский, люди еще не знали. Но уважительное «сам» привычно подействовало. Раз «сам», значит, следует забыть и думать о той печи. Жалобы стали еще неувереннее.

— Два месяца, что ни говори, в дороге...

— Больные есть и, опять же, семейные...

Слова рабочих несмелы, позы просительные, но на дне глаз у многих запрятана ненависть.

— Больных и семейных сюда никто не звал. Таких на работу не берем.

— Ну как же? А если муж и жена, и оба могут работать?

— Пошли сюда — все здоровыми были. А такая дорога кого хошь больным сделает!..

— Не знаю. Хозяин скажет, — отмахивался человек в дверях.

— А вы кто же будете? Не десятник ли?

— Да, десятник. Иван Зубов.

Иван Зубов вобрал в себя все дурное, что было в людях. Драчливый, задиристый, наглый, глухой к чужому страданию — отребье, выброшенное Россией на Восток. Властно подошел к притихшей толпе, оглядел бракующим взглядом. Не скрыл своего отвращения. Казалось, не на человека смотрит — на старую клячу, которую подсунули вместо сторгованного доброго коня. Рабочие смолк-

ли, перестали говорить о своих нуждах — поняли, что за человек стоит перед ними.

— Откуда вы такие, из тюрьмы, что ли, вышли? — усмехнулся Зубов.

— Нет, с каторги, — сказал пожилой рабочий. Грудь его гудела самоваром, глаза лихорадочно блестели, щеки были мертвенно бледны. Усилием воли подавил приступ мучительного кашля и, нажимая на каждый слог, повторил: — С ка-тор-ги! — сказал, будто гвоздь вбил.

Вот они, русские рабочие! Зубову хорошо известны их повадки. Палец в рот не клади! Куда лучше иметь дело с жигитами: тихие, покладистые. Не важно, что слов не разумеют, можно и жестами объясниться. Да вот Сикорский!.. Поставил его десятником над этими...

А Сикорский тоже знает, что делает. Русскому рабочему нужна железная узда. Оттого и поставил над ними самого злого хозяйского пса.

Зубов злился: только явились и уже огрызаются. Нет, это надо пресечь тут же. Он заговорил, произнося слова так, будто каждое слово в пуд свинца.

— Слушайте. Сначала скажу о том, что вам самим нужно. Первое — барак, где будете жить. Вот он — этот самый ваш барак, — обвел взглядом длинную землянку.— Понятно?

— Понятно... Только почему нет нар? Спать-то на мерзлом полу, что ли?.. — зашумели рабочие.

— Нары ваши под снегом. Зовутся они — караган. Раскопайте снег, нарубите карагану и, пожалуйста, стелите. Мягкая получится постель — пуховая! Понятно?

— А топить чем?

— Углем. Тоже добудете из-под снега. Горит что надо. Можно сказать, плавится!

— А еду, что, тоже под снегом искать?

— Зачем? Еда в мусульманской лавке — сто шагов отсюда. И конина, и свинина — на выбор. И в долг отпускают. Поняли?

— Поняли, как же!.. Бабушкины сказки... С детства к ним привыкши...

— Так. Вопросов, значит, нет. Теперь слушайте, что мне от вас нужно. Я — Зубов, Иван Зубов. Советую в разговоре со мной языку воли не давать. Чем скорее это поймете, тем лучше для вас же будет. Поняли?

— Это мы поняли, еще когда с Урала сюда двину-

лись. Но и вы насчет нас не оплошайте. Мы тоже не общипанные петушки...

— Не помирать сюда пришли, в эту вашу степь!.. Тоже знайте! — раздались голоса рабочих.

— Знаю, знаю вас! Слава богу, двадцать лет пасу таких, как вы. Как свои пять пальцев знаю. Во сне и то дерусь с вами.

— Дай бог вам и дальше видеть такие сны, а мы уж постараемся...

— Это конечно... — согласился, не поняв намека, Зубов. — Так сколько вас пришло?

— До Акмолинска девяносто было. А потом — бураны... После вчерашнего бурана восемнадцати человек недосчитались. Кто погиб, кто отстал — не знаем. Сегодня же еще не сверялись, не успели.

— Айда, за мной! Покажу — где топливо, где постель!

Погибли люди, отстали — это не заботит десятника Зубова. Не трогает это и управляющего работами Сикорского. Какое им дело до пропавших людей? Ведь сами по доброй воле отправились в «киргизские» степи. Так говорилось в документе. Ни десятник, ни управляющий ответственности за них не несли...

* * *

Акбуйратскому медеплавильному заводу грозила остановка. Белые бураны суровой Арки сделали свое дело. Караган и боялыч оказались погребенными под толщей снега. Окрестные аулы, подвозившие заводу топливо, после буранов не могли и шевельнуться. И все это как раз в то время, когда Ушаков особенно настаивал на пуске завода.

Спасти могла только Караганда. Добывать уголь куда продуктивнее, чем корчевать в сугробах боялыч и караган. Так решил Бернер. Он, не медля, отправил в Караганду сто пятьдесят подвод и приказ Сикорскому: в течение трех дней доставить в Акбуйрат три тысячи пудов угля.

Угля у Сикорского едва достало на два десятка подвод. Их он и отослал в Акбуйрат. Остальные подводы простаивали в ожидании груза в соседних аулах. Сеном обоз снабжал Игилик. Бернер грозился взвалить убытки на управляющего.

Сикорский сидел в своей жарко натопленной землянке и ломал голову — как бы выпутаться? И тут к нему ввалился с вестью Зубов: прибыли русские рабочие! Вот кстати! Приказал Зубову немедля взять их в оборот. И Зубов взял...

Уральцы шли за десятником. Наст был такой жесткий, что валенки и унты не оставляли за собой следов. Так и не удалось рабочим ни отогреться, ни поесть. Голодные, нахолодавшиеся брели теперь, дрожа на морозе, еле волоча ноги. И вот на склоне глубокого оврага увидели удивившую их картину: там трудились жигиты. Тепло одетые, крепкие, плотные, со здоровыми, цвета таволги, лицами. Они расчищали склон от снега. Крепкие жигиты! Видно, сытно живут! — подумали русские. Но и сами жигиты, глядя на жалких, ободранных пришельцев, удивились не меньше: откуда такие взялись? Так бы и смотрели друг на друга, да стужа начала пробирать до костей.

— Секир башка, головорезы! — рекомендовал жигитов Зубов. — Все как один воры! Киргизы они. Поняли? Не советую иметь с ними дела. Держу их в особом бараке. Как напьются чаю, да как заноют свою песню...

— Встречали в пути. Знакомы. Останавливаться у них ведь приходилось. Не киргизы они — казахи! Так сами себя называют, — казахи! — сказал сквозь кашель пожилой рабочий.

— Ну как? Наверно, пошарили у вас? От них ведь не убережешься.

— Ни у кого не шарили. Мы еще у них в долгу остались.

— Уж будто в долгу!..

— Да, в долгу. Вот придет Андрей Быков, он вам все подробно выложит. И караган их жгли, и мясо ели, и чай расходовали. За постой-то ничего не берут.

— Ну, еще покажут себя, узнаете, — засмеялся Зубов. — А кто такой ваш Быков?

— Рабочий, конечно. Только человек он сведущий, грамотный человек.

Зубову и сам говорящий — простуженный пожилой рабочий — казался чересчур сведущим. А тут, выходит, имеется еще и грамотей. Это очень не понравилось десятнику.

— Где же он?

— Больную жену повез определять в аул. Скоро, наверно, будет.

Все зубовы твердо усвоили урок — всегда, без промедления пресекать любое недовольство и свободомыслие рабочих. Как же сейчас быть? Нет, пожалуй, грозу надо приберечь для более серьезной цели. Зубов до времени сдержал свою ярость. Повел рабочих дальше по оврагу.

— Вот, смотрите. Для вас постарались, расчистили от карагана. Уголь тут в двух саженях от земли, последний буран снегу намел... Ничего, откопаете. Тут и ваше топливо будет. Отсюда начнете! — указал на кол — отметку. — И дальше дуйте, навстречу жигитам. Поняли?

В стороне от этого места поперек пути лежали плечо к плечу длинные и высокие сугробы. Их было множество. Казалось, не сугробы — белые киты со всех океанов мира улеглись тут. Зубов повел рабочих туда. Указал на сугробы.

— Вот тут и ваша постель лежит. Разройте снег—там караган. А здесь раскопаете — склад инструмента. Чтобы с завтрашнего дня я больше не слышал: где то, где другое!.. Понятно? Разбирайте инструмент — и за дело!

Рабочие принялись было разбирать лопаты, кирки... Но вдруг кто-то крикнул:

— Быков идет!

И все выпрямились, уставились на черную точку в белой степи.

Это тоже не понравилось Зубову. Но он опять должен был на время сдержать свою злость...

* * *

Быков провожал сани с больной Лизой. Она была без сознания, весь день металась, бредила. Когда сани остановились у занесенной снегом землянки Байжана, Быков растерялся. Что же теперь делать? Как добираться дальше до Караганды? Попросить сани? Наверно, нельзя, там ведь лежит покойник — какой-то Байжанов родич.

— Как нам теперь быть? — вырвалось у него.

— Подымайт будем, — ответил Байжан. Он не понял вопроса, но уловил тревогу в голосе русского. А Быков все спрашивал:

— Ты говорил, живешь в Караганде. Где же она, я что-то ничего не вижу?

— Караганды? Это и есть Караганды. Кругом караган. Везде растет караган. Нет такого места, чтобы кара-

ган не рос. Мой дом тоже в карагане стоит. — Байжан нарочно все повторял: караган да караган. Надеялся, может, путник услышит знакомое слово и что-нибудь да поймет. Караганды ведь и значит по-казахски место, где растет караган. А то, что этот ни на что не годный, кроме как на топливо, караган официально зарегистрирован в Петербурге — такого Байжан не мог и помыслить. Откуда ему было знать, что слово «Караганда» в России в последнее время чуть не у всех на языке. А Быков еще больше растерялся. Вот ведь находится он сейчас несомненно в этой самой нашумевшей Караганде, и ничего, кроме белых сугробов, здесь нет! По крайней мере, он ничего не видел.

Затаившийся в снегах дом Байжана всполошился. Все его обитатели высыпали наружу — кто в чем был. Дети, как только услышали скрип полозьев, сразу поняли — отец приехал. Повисли на Байжане, прилепились, словно пиявки. Голые животы сверкали в дырах рубах. Не до мороза им сейчас. Прижались к заиндевевшему тулупу отца, даже не замечали холода.

— Аке приехал! Аке! — радостно галдели все разом.

Тут же стояла и жена Байжана Жубай. Ей тоже хотелось обнять мужа. Так ведь ждала! Перемучилась, передумала все беды, которые только могли случиться в пути. Тропу проторила к кумалакши. Кумалакши — гадалка раскладывала свои камушки и сообщала: «Сбруя натянута, груз тяжел, с добычей едет». После таких гаданий приходили радостные сны: видела, как кроит рубашонки детям. Вчера сердцем почуяла — муж близко. То и дело лазила на крышу, подолгу стояла, все всматривалась в Акмолинский тракт — не покажется ли какая движущаяся точка. А нынче встала рано-рано, чуть свет, прибрала в доме, все приготовила к встрече. И вот он, долгожданный супруг ее, рядом! А она оробела. Не смела вот так же, как ее дети, обнять Байжана — обычай не позволял.

А дети не отпускали своего «аке». Байжан припадал к теплой шее то одного, то другого. Царапал оледенелой бородой. Знакомый домашний запах! Припахивает и дымком, и детским потом. И в то же время каждый из детишек пахнет особенно — чем-то своим. И голоса у них разные, но все очень родные. Соскучился Байжан и по этому запаху, и по ребячьим голосам.

— Катын, гостью привез: в санях, больная. Постели

ей в переднем углу, — взглянул наконец па Жубай. Но только эти слова и нашлись для жены.

— Хорошо ли доехали? Здоровы ли? — тихо сказала Жубай. Поцеловала Апака в щеку и пошла в дом. Защемило было на сердце, но вот обернулась еще раз, и как будто полегчало, — насытилась радостью детей.

— Будем подымайт! — повторил Байжан Быкову. — Апак! Иди помогай!

Байжан кивал то на сани, то на землянку. Быков понял, что предлагает хозяин, но почему-то замялся.

— Хлопотно вам будет... В Караганде, наверно, больница есть, там и устрою.

— Нишаво караган нету... Дабай! — решительно завел руку под спину женщины. — Бери за ноги.

Постель была приготовлена в «чистой» половине землянки. Деревянная кровать с выгнутыми спинками напоминала лодку. Послушная Жубай нагрузила ее всем, что только нашлось в доме. Пух и перья взмывали к самому потолку — так она старалась. Старое лоскутное одеяло и цветастые наволочки на подушках были, конечно, давно не свежими. Но что поделаешь — в этой комнатушке спала вся семья, и Жубай отдала все, чем они сами пользовались.

Картина Андрею Быкову знакомая. Все землянки, в которых приходилось останавливаться, устроены были так же. Сумеречная передняя отделена от жилой части печью. Маленькое оконце в «чистой половине» похоже на глаз слепца: нижняя часть рамы — две ячейки — заткнута подушками. Свет идет только через верх — эта часть затянута бараньим пузырем. И в этой комнатушке все: и хозяева и гости ночевали.

Быков стоял в нерешительности, что-то обдумывал. Вот он обратился к Байжану, который обламывал ледяные сосульки с усов и кривил при этом рот то вправо, то влево.

— Хозяин, боюсь, как бы не тиф у нее! Нельзя держать в одном помещении со здоровыми. Вот у вас малыши, — он показал сначала на больную, потом на притихших ребятишек. — Если позволишь, приберу я в передней, там и устрою. — Говорил как можно мягче, смущенно. За время пути успел понять кое-что из степных обычаев. Боялся, как бы не обидеть этого доброго и гостеприимного человека.

Байжан понял по-своему: боится — дети мешать бу-

дут. Иначе понять просьбу русского он не мог. И в мысль не пришло опасаться заразы. Если случалось, что казах заболевал в гостях, он без церемоний занимал лучшую половину дома. Без смущения пропитывал потом подушки и одеяло. Заражал кругом все, что только можно заразить. А выздоравливал — еще бывал и недоволен: почему не каждый день бесбармак варили? Не дай аллах, подумает — брезгали, остерегались. Позор для всей семьи! Где уж Байжану понять Быкова. Он втайне немного обиделся: и так не разрешил бы детям шуметь около больной. Но раз гость хочет, пускай. Байжан согласился.

Кетмень и лопата принялись работать в передней. В дверь полетели твердые пласты грязи, склеенной навозом. Вскоре пол очистился до желтой глины.

— О, руки умелого! Как ловко лопату держит! — восхищался Быковым хозяин и тут же хлопал себя в удивлении по бедрам: — Подумать только, что может натворить одна коза!

Байжан даже призадумался. Столько наслоений грязи обнаружилось в его передней. «А что если и в быту аула так, — пришло вдруг в голову. — Наслаивается одно на другое, постепенно превращается в твердый пласт. А люди живут и не замечают этих вековых наслоений...»

— Вот так русские! Все умеют, все могут! Даже бога себе сами, своими руками сделали и поклоняются ему. Если б не это — быть бы вам самым великим народом в мире, — добродушно смеялся хозяин. И тут же принялся со всей серьезностью внушать сыну: — Видишь, Апак, гость наш только зашел в дом, сразу увидел, сколько у нас мусора. А мы бы сто лет еще прожили — не заметили бы. Запомни и это, сынок!

Выбросили навоз, убрали пропитанную им землю, устлали земляной пол пахучим сеном, и воздух в передней стал свежим, чистым, куда чище, чем в Байжановой половине. А когда в очаге весело затрещал огонь, сделалось совсем уютно. Устроили постель, перенесли больную, и она успокоилась, затихла.

— Шай, сахар иес. Клеб, калаш иес. Бог даста, баба помирал не дам! — такими словами Байжан проводил Быкова.

Быков поднялся на холм, который ему указал Байжан. Как недавно товарищи, он ничего не увидел — только столб с фонарем и охапкой сена да сугроб с «самоварной

трубой», из которой вился прозрачный дымок. Лишь тут со всей остротой понял Быков, что за жизнь ожидает рабочих в этой Караганде. И вспомнились ему некоторые «защитники народа», что любят, сидя в тепле за столом, поговорить о народном благе. Твердят: «народ, народ!..» Приходилось спорить с такими белоручками... Приехали бы вот сюда да помогли бы на деле этому народу! С нежностью подумал о больной Лизе. Вот Лиза, Елизавета Сергеевна — это человек! Тоже ведь из интеллигенции. Только не болтает зря — дело делает. Даже больная рвалась вперед, просила: «Андрей, я дойду, не надо задерживаться...» И теперь, когда приходила в себя, все спрашивала: «Продвигаемся, значит? Не оставляй меня в ауле. Я, если надо, подымусь, пешком дойду...» Хоть бы раз пожаловалась, охнула. Мужественный, сильный человек. Вот она действительно жалеет народ, хочет помочь ему...

Товарищей Быков нашел у кучи с инструментами. Они по очереди подходили и вытаскивали из-под снега кто лопату, кто кирку, кто лом, кайло или шахтерский обушок. Рыжий сумрачный человек заставлял расписываться в книжице. «Десятник!» — догадался Быков. Быков тоже стал в очередь. Кто-то хотел пропустить вперед, но он молча покачал головой.

Десятник Зубов сразу понял — последний в очереди и есть тот самый Быков, о ком говорили рабочие. Виду, однако, что заинтересован, пока не подал. Но вот подошло и Быкову расписываться в книжице. Тут уж Зубов постарался, прицелился глазом. Быков без смущения выдержал недобрый взгляд десятника. И не он, а сам десятник отвел взор. Его смутил открытый взгляд ясных голубых глаз Быкова. Ни тяжелый переход, ни безнадежность, с которой встречала людей Караганда, — ничто не смогло погасить их света. Смелые умные глаза и злые, как у кошки, повстречавшейся с собакой, гляделки в упор смотрели друг на друга. Гляделки отступили первыми. Десятник и рабочий раскусили друг друга...

— Чего мнетесь! Принимайтесь за работу! — прикрикнул Зубов, переводя глаза на толпу. — Дуйте навстречу киргизам...

«Ну и метали искры! Прямо-таки стрелялись глазами! — отметил про себя пожилой рабочий с сухим кашлем. — Так его, Андрюша, так!»

Быков первым рубанул лопатой по снегу. Отвалил

большой синеватый кус — как от сахарной головы. Не спеша откинул назад. Руки у русских привычны к лопате. Работали уральцы не торопясь, не мешая друг другу, получалось ходко, споро. На другом конце оврага слышны грубые окрики, ругань десятника — это доставалось неумелым казахам. Для русских рабочих грубый окрик — далекое прошлое. Теперь уже не решались кричать на них.

Увлеклись работой. Забыли, что на сегодня угля надо не много — всего для двух железных печек. Расчистили такой кусок, что хоть шахту начинай копать.

— Вот и согрелись! Кто жаловался, что холодно? — пошутил все тот же трудно кашляющий рабочий. Внутри его будто пряталась какая-то большая сила. Оттого, несмотря на болезнь, он всегда деятелен, оживлен. Звали этого человека Александр Шилов. Но все кругом называли «дядя Шило». Так вернее. Кто же, как не Шило: что ни слово — все кольнет. Кого для веселья, а кого и побольней.

— Ты, дядя Шило, у нас двужильный, — сказал ему рослый бородач. — Все устали, а тебе нипочем.

— Чудак ты, Михайло! — улыбнулся Шило. — С каторги вырвались, с рязановской. Воздухом вольным, степным сколько уже дышим! И не обзывает никто. Чем не отдых? Лучшего и не придумаешь. Я и в самом деле не устал. Совсем бы молодым сейчас заделался. Вот только простуда мешает.

— А я, по правде, как ты захворал, все боялся за тебя. Не залег бы где, думаю, на дороге наш Шило...

— Не-е. Куда же годится так быстро богу душу отдавать. Сперва надо до конца выпить весь яд, что тебе отпущен, все речи высказать, что положено... А и умер бы — не беда. Лежал бы в степи — чем не земля? А как снег начал бы таять, дядя Шило, глядишь, и ожил, вылез бы на солнышко вместе с суркáми. Нашел бы себе озерцо какое, пусть хоть в два ведра воды, да и засел бы рыбачить. И скучать бы не стал...

— Уголь! Уголь! — закричали рабочие с того места, где работал Андрей Быков.

— Да ну? Какой же он?

— Гляди-ко, твердый, как камень!

— Такой, как всегда, — черный, — усмехнулся дядя Шило. — Вот и будешь его грызть. Для такого хороший зуб припасти надо.

— Настоящий уголь! Жарко, поди, горит! — рабочие все еще не могли успокоиться.

— Чудной народ! — усмехнулся Шило. — Надо же, уголь нашли, а не верблюда? А копаете-то что, разве не уголь?

Работа пошла еще спорее. Теперь уже принялись разворачивать пласт — расклевывали киркой и острым рудничным обушком. Крупные куски угля отваливались со стуком. Катясь, они, казалось, поблескивали глянцевитым глазом, будто спрашивали: «Кто вы?» Но потом, узнав, что свои, рудничные, теряли интерес и тускнели.

— Жигиты-то до сих пор не докопались до угля. Видать, натыкаются на лед и останавливаются. Не догадываются рыть дальше... Не знают, должно... — сказал один из рабочих.

— Тоже мне скажешь — не знают! Велика догадка! Не хотят — скажи. Думаешь, весело это — уступать чужаку свое, родное, — снова поправлял товарищей Шило.

Коричнево-кровавое солнце входило в густое буроватое облако над горизонтом. Облако было похоже на зубчатую темную скалу, дымившуюся по гребню. Солнце как бы ударялось о скалу и таяло на глазах. Вот от него остался лишь край щеки. Казалось, оно из последних сил цепляется за гребень, боясь, что там, в пропасти за скалой, погаснет навсегда.

Рабочие набрали угля, сколько было нужно для топки, и отправились к бараку. Наперерез им двигались казахи, тоже возвращались с работы — стеганые чекпены перекинуты через одно плечо, на другом несут кетмени и лопаты. Сейчас они не выглядели такими ладными, как утром. Работа взбодрила привычных к ней уральцев, жигиты же были сейчас усталы и неуклюжи.

Андрей Быков шел впереди. Он приветствовал жигитов, как учил Байжан.

— Саламалекум! Аман-ба!

— Агалейкумсалам! Здрасти!.. — заулыбались в ответ жигиты. Поздоровались, и разговор затих. Кто-то из жигитов добавил еще «што?», и обе стороны замолчали. Смотрят друг на друга, улыбаются. А спросить надо бы многое: как устроились? Как жалованье — вовремя ли платят? Как работа? Жигиты и сами догадывались, объясняли, как могли:

— Теньга... Мало-мало...

— Работа — много-много...

Буланбай растолкал товарищей, вышел вперед. Как-никак, он тут главный, десятник! Начал приглашать русских в гости:

— Барак... гость... Кунак... Кушай бойдым... Шай... — чтобы лучше поняли, жует ртом — так, мол, будем кушать.

— Хор-роший народ,— подчеркивая слово «хороший», рассуждал вслух старик Шило. — Простой, добродушный, веселый народ...

— Довольно! Хватит вам! — закричал Иван Зубов. Боялся, как бы рабочие сразу не «снюхались» друг с другом. — В лавку гоните. Не успеете — закроют сейчас.

* * *

Лавка Сеиткамала — небольшая землянка — забита товаром. «Черный сарт», — так прозвали Сеиткамала казахи — позаботился набрать из съестного, из тканей и галантерейной мелочи всего, что можно всучить в долг людям, у которых частенько бывает так, что и копейки за душой нет. За прилавком дрожал от холода татарин — юный Галихайдар Мансуров. На нем одно на другое было надето множество всякой теплой одежды, а поверх шубы натянут еще и стеганый халат. Все это было туго перехвачено красным кушаком. Но Галихайдар все равно мерз. Хлопал рукавицами, приплясывал, нетерпеливо поглядывал на дверь. Нос покраснел, глаза тусклые — совсем мертвые. Но вот дверь заскрипела. Татарин вмиг преобразился — не узнать. Так и засветился весь. Улыбка не только у рта, но и в глазах, и даже красный нос, казалось, заулыбался.

— Проходи, проходи! Махорка иесь — саратовски, шесь капейк сена. Вотка иесь сарьски — сорок капейк, а с запешатан пропка — сорок пиат. Соли нет, сахар иесь. Рыба иесь, мьясо иесь. Лошит тоже скотина, полнай мьяса-колбаса! Тауар хорош, сена хорош. Клеб нету, пряник иесь... Деньги иесь — все продам, деньги нету — даром дам, — развеселившийся приказчик так и сыпал прибаутками.

Рабочие не клевали на шутки Галихайдара. Что за товар, они и сами приметили — не впервой. Терпеть привыкли, но заискивать нет. Шутки берегли друг для друга.

— А, душа моя селедочка рязановская! Узнаешь слепуху? — обращались один к другому. — И сухой лещик на месте...

— Да и «собачья радость» — колбаска тоже тут!..

— Ничего не попишешь, придется взять хоть тухлую да селедочку с ее подружкой водочкой...

— Как же! Для сугрева чарочку пропустить требуется!..

Набрали рабочие кое-чего на всю артель, пришли в свой барак. А там обе железные печки гудят — готовы расплавиться. Это женщины постарались. Походили вокруг, поискали да и нашли чем растопить. А теперь уж и уголь начали забрасывать. В землянке стоял сизый туман. На потолке набухали и, тяжелея, падали вниз прозрачные капли. Капли ползли по стенам, катились прямо из глаз девы Марии. У святого старца один глаз совсем заволокло — ослеп. Откуда-то взялись скамейки! Тоже женских рук дело — раздобыли невесть где досок, сами и смастерили. На одной печи фыркал, плевал водой из носика чайник. А над другой — чад, пахло жареным салом. Свет двух коптилок еле пробивался сквозь чад и туман.

— Жигиты посулили курагану притащить. Чи принесут, чи не... — сообщила одна из хозяек — пожилая, круглолицая. Она мягко, по-украински выговаривала букву «г». Это Катерина Неволя — жена Михайлы.

— Ай да старуха у меня! Успела уже подружиться с жигитами.

— Успела. Вот с ней, с Наташей, и ходила, — показала на подругу. — Хорошо так побалакали...

— Побалакали? О чем же?

— А пес знает... Побалакали — и все.

— Разве у них кто говорит по-русски?

— Откуда я знаю, чи говорит, чи не...

— Может, ты по-ихнему успела выучиться?

— Та не морочь голову, Миша!

— Нет, все же интересно, расскажи, как это у вас вышло, что побалакали?

— Та як же! Пошли мы до того бараку, а там этого курагану навалено!.. Вязанками. И стоит один, жигит, что ли... Ну, я пнула ногой вязанку, спрашиваю: можно? А он понял, нет ли, а головой кивает — соглашается вроде. Мы тут и давай ее поднимать. А он шутит — наступил ногой, не дает, а сам зубы выскалил — видать, веселый парубок. «Ты чего не пускаешь?» — говорим ему. Он тут и покажи на солнце, а сам глаза закрыл. Значит, мол, уснет аллах, тогда и принесу. Много принесу. Показывает на плечи, на спину и в грудь себе тычет — сам, значит, принесу, не

беспокойтесь. Они ведь басурманы, не могут сказать «когда солнце сядет». Положено им: «когда аллах заснет». Вот он и показывал...

— Сама ты басурманка! — мягко пожурил жену Михайло Неволя. — Он-то тебе верно показывал, а ты все по-своему перевернула...

— Та не... я-то знаю, что говорю. Басурманы всегда так... — не сдавалась жена.

В узкую дверь просунулась вдруг лохматая вязанка карагана. За ней другая, третья — и еще и еще... Они протискивались в дверь и шли будто на собственных ногах — людей не видно. Улеглись у стены, и тут из-под них выросли осклабившиеся жигиты.

— Здрасти, знаком! Светлый вечер, аман!..

Рыжий толстяк — это был Колбан — отделил четыре вязанки, растряс караган и начал показывать, как класть из него постель. Уложил комлем в головы и ноги, пушистыми верхушками к середине и разлегся: вот, мол, как удобно!.. Попробовал даже объяснить на каком-то смешанном языке:

— Баба иесь, рядом ляжет, тепло бойдет... — добродушно засмеялся, уверенный, что его поняли.

Русских рабочих тронула такая забота. Старались выказать свою радость: кивали головами, махали руками — большое, мол, спасибо!..

— Вот видишь, какие хлопцы! Поняли? — восхищается Михайло Неволя.

Что слова — все равно что недосоленная пища. Угостить надо.

— Может, выпьете с нами ради знакомства? — спросил один из рабочих, показывая бутылку.

— Ниет! — отмахиваются жигиты.

— А как насчет колбаски?

— Шошка! Сапсем ниет! — жигиты даже испугались: еще вдруг заставят есть свиную колбасу. Попятились к двери.

Что же придумать? Уральцы растерялись. А охапки карагана все прибывали — шли и шли в дверь. Выручил Быков, предложил:

— По-моему, так: пусть несколько человек от нас пойдут к ним и скажут за всех спасибо. Заодно и познакомимся поближе. Хоть как-нибудь, а потолкуем. Они тоже хотят сблизиться. Это же видно.

— Вот хорошо! И ты, Миша, иди, — обрадовалась

Екатерина Неволя. — Погляди на ихнего атамана. Они его не то султан, не то хан зовут. У басурманов всегда так...

— Дуреха ты! Султаны только у турков бывают, — рассердился Михайло.

— Да ты не серчай, Миша. То ж я слыхала... Ермак с ними же воевал?..

Михайло даже плюнул с досады. Решительно повернул к двери.

— Айда, хлопцы, кто идет?

В барак к казахам, кроме Михайла Неволи, пошли Андрей Быков, старик Шило и еще трое. Они застали там знакомый для себя разговор.

На сундуке прямо против лампы сидел Сикорский. Лицом к лицу с ним Буланбай — присел на одно колено. Их тесно окружали рабочие-казахи. Буланбай размахивал руками, быстро меняясь в лице, что-то оживленно доказывал. Все это: и Сикорский, и Буланбай, и жигиты тонуло в тумане из пара, кухонной гари и прочего смрада. У самой двери звучно бурлили над очагом четыре больших котла. В центре барака две железные печи так и стреляли пламенем. Было жарко и душно. Вокруг «железок» были расставлены для просушки унты, сапоги, валенки. На веревке, прямо над головами, висели портянки, шалбары и другое тряпье. Густой, терпкий дух повис в воздухе. Сквозь него еле пробивался запах мясного варева из котлов. Почти все жигиты сидели на своих постелях в исподнем — в широченных дамбалах. Пол по всему бараку устлан был толстым слоем карагана, поверх него — кошмами. Несколько жигитов устроились против печных топок. Чинили в их свете кто сапоги, кто шалбары.

Сикорский с Буланбаем вели разговор. На них мрачно смотрел десятник Акула, прислонясь к столбу-опоре.

— Послушай, Буланбай! — доказывал Сикорский. — Каждый из вас получает по пятьдесят копеек в день, а и на десять ведь не наработали... Заводу трудно...

Буланбай все понял, перебил:

— Кушайт нада, шалбар, унты нада...

Ему хотелось бы подробно объяснить: как треплется на работе одежда, сколько надо пищи — ведь они на работе от зари до зари! Пятьдесят копеек — цена очень маленькая за все это. Но русских слов не хватало. Буланбай пытался помочь себе жестами и в конце концов разозлился и на себя и на Сикорского.

А управляющий знай гнул свое.

— Давай сбросим по десять копеек. Всего-то на артель получается два рубля...

Сикорский очень надеялся сегодня на успех. Он усвоил: жигиты уступчивы, думал, легко удастся их обработать. Одного не разглядел. Уступчивость жигитов чаще всего шла от непонимания чужой речи. Не могли разъяснить своих нужд, ну и соглашались вроде.

Буланбай не поддавался. Как в скалу, уперся в него Сикорский. Кое-что Буланбай успел понять. Сейчас он хотел бы сказать этому человеку: подожди, потерпи немного, сам набавлять будешь. Да никак не мог растолковать это управляющему. А Сикорский все жал:

— Тебе прибавим, по шестьдесят копеек будешь получать. А остальным придется все же убавить.

«Шестьдесят копеек!» — только это и понял Буланбай и обрадовался:

— Дабай, возьмем... Все возьмем...

Сикорский оживился.

— Вот и хорошо, договорились, значит. Тебе шестьдесят. А жигитам — по сорок.

— Сорок? — насторожился Буланбай. — Зачем жигитам сорок? Думаешь, они не возьмут шестьдесят? Раз сказал, стой на своем слове. Рахмат тебе скажут, — объяснял где по-казахски, где русским словом, где жестом.

— Э, видать, не понял ты меня...

— Аята прабильнай бойдет. Рахмат гауарит бойдет... — заладил свое Буланбай: раскусил Сикорского и прикинулся простачком.

Сикорский снова взялся убеждать. Доказывал долго, думал — заговорит Буланбая непонятными словами, сломит его волю. А Буланбай слушал и будто наслаждался:

— Апырау! Харашо гауарит! Откуда столько урускай слова знает! Гауарит, будто конь бежит. Сапсем скакун.

Сикорский озлился.

— Все ведь понимаешь! Смеешься?

— Аята, если думал, что не понимаю, зачем тогда гауарил? Дурак, што ли?

К кому относится это «дурак»? К самому Буланбаю или Сикорскому — непонятно. Удобнее для Сикорского понять — к Буланбаю, он так и решил. А про себя досадовал: «Ну и кремень оказался этот киргиз. Какая-то немая скала — даже эхом не отзовется!» Еле сдерживая раздражение, сказал:

— Буланбай! Ты же умница... Вон какой батыр! Один за пятерых трудишься. Разве это справедливо: всем по пятьдесят и тебе, Буланбаю, тоже пятьдесят. Хочу, чтобы по правде было. Тебе — добавим. Им — сбавим.

Буланбай сам знал, что работает больше всех. Но товарищей в обиду не даст. Оттого и качал на все слова Сикорского отрицательно головой: нет, мол, труд всех одинаково стоит.

Вмешался Акула.

— А этот мешок жира за что получает? — указал на толстого Колбана: он в это время как раз закрыл собой дверь. — Целыми днями только и знает, что торчит у котла да без конца жует! На работе что-то не видал я его.

— Почему гауаришь мешок?

— Мешок и есть! Разве не видишь? Набит всякой дрянью доверху, даже завязать места нет. Вот он и жует — не остановится. Жующий мешок!..

Акула нарочно дразнил. Знал, жигиты обидчивы, чуть что — вспыхивают. Вот и старался — задирал Буланбая, подбивал на ссору. Однако на этот раз Буланбай не мог злиться на Акулу. Акула обозвал толстяка мешком. Правильно, они и сами прозвали его не лучше — Колбан. Он и правда набитый едой мешок, который жует. Буланбаю было досадно на Колбана. Хоть бы придержал немного свой рот. Видит же, как трудно им здесь с едой! Только выставляет себя на насмешки. Но Колбан их товарищ, и Буланбай старался защитить его:

— Ойбой, Акулай! Один баба — один артель нада. Бесбармак варить нада! — объяснил. Нужно бы сказать: «повар», но Буланбай не знает этого слова и говорит: «баба». Надо бы добавить: Колбан варит на всю артель, а артель с лихвой отрабатывает за него на угле. Но на это слов у Буланбая недостало.

В барак вошли русские рабочие. Разговор оборвался. Казахи повскакали — приглашали гостей пройти в передний угол, на почетное место. Это еще не была радость от встречи с товарищами по труду. Ведь казахи не знали пока, чего ждать от этих новых русских. Просто обычай гостеприимства требовал — для гостей почет.

— Добрый вечер! Здравствуйте!

Жигиты в ответ шумно приветствовали гостей. Сикорский потянул Буланбая в сторону, тихонько уговаривал:

— Буланбайка, лучше не упрямься. Три других барака уже приняли по сорок копеек. Все равно будет, как я сказал...

— Гости пришли, не могу больше гауарит!

Буланбай отошел к русским рабочим.

Досадно было Сикорскому. Думал обработать казахов до прихода русских. Оттягивал все до сегодняшнего дня — не мог нажимать, пока не прижились. Боялся: еще разбегутся. А снижать расценки надо. Ведь пока еще ничего не производят. Сегодня заторопился — хотел успеть до русских обойти бараки, да вот не вышло. Буланбай не простак оказался. Только прикидывался. Вот и дотянул. Сейчас разговор продолжать уже не имело смысла. Сикорский и Акула ушли недовольные, даже не попрощались.

Разговор между рабочими кружился вокруг вопросов о здоровье да взаимных «спасибо», «рахмат». Первым нужное слово нашел Шило:

— Так и будем без конца говорить «рахмат» да «спасибо»? Мы, русские, — рабочие, — он ткнул себя в грудь, показал на товарищей. — Вы, казахи, — тоже рабочие, — обвел круглым жестом жигитов. — Значит, мы — свои, близкие, не чужие друг другу. Можно сказать, родичи.

Казахи закивали головами, казалось, начали что-то понимать.

— Тянуть лямку вместе будем. — Шило опять объяснял все на жестах: обнял двоих жигитов; показывал, как будут вместе трудиться. — Значит, нечего нам набивать себе друг перед другом цену. Надо запросто приходить друг к другу. Надо дружить!

Хозяева оживленно заговорили между собой, показывали на Шило, вроде хвалили его. Пока они собирались с ответом, Шило снова заговорил:

— К вам, приходил, я видел, начальник — Сикорский. Вы, жигиты, с ним шумели тут о чем-то. Чего вы ругались?

Казалось, жигиты поняли. Буланбай попытался ответить:

— Мала, мала было, ругались... Хочет десять копейк отнять. — Двинул рукой, как бы отшвырнул эти десять копеек. — Четыре месяца получаем по пятьдесят копейк, привыкли уже. А он хочет десять копейк взять, — опять как бы отшвырнул этот гривенник. — Гауарит, сорок копейк вам хватит.

Старик Шило понял все и присвистнул.

— Андрюша, ты слыхал: по сорок копеек в день! Только дай поблажку, на голову сядут, так и пойдет. Вы понимаете, что это значит? — чуть ли не крикнул он жигитам, будто они сами были виноваты во всем.

— Этого не допустим! — подал голос и Михайло Неволя. — Всех нас касается, все и отбиваться будем. Вместе! Нельзя спускать такое...

Андрею Быкову хотелось услышать, что скажет Буланбай. Он обернулся к нему, показал на дядю Шило:

— Правильно старик говорит, а? Мы — рабочие, вы — рабочие, значит — люди свои, не чужие. Будем дружить, держаться друг друга. Согласен?

Буланбай закивал головой, протянул руку старику Шило:

— Прабильна гауарит!..

Не важно, что на разных языках говорили. Нашелся для них и общий язык — думы были одни и те же, забота общая и общая беда.

Так с первой же встречи поняли друг друга и подружились рабочие с Урала и степные жигиты — первые рабочие Караганды.

6

Высокий плотный сугроб, похожий на сидящего зверя, как бы мордой уткнулся в низкую землянку. Назыкеш легко взбежала по его гребню на крышу. Она только было подняла туго набитый золой мешок, намереваясь заткнуть им дыру дымохода, и в этот самый миг заметила ковыляющего к их землянке человека. Ей показалось — не человек движется, а перекатывается по дороге кряжистый пень: так странно шел этот путник. Кто он такой, Назыкеш не знала, и в то же время он был чем-то очень знаком ей. Вдруг она ахнула. Мешок выпал из рук, шмякнулся о край дымохода, и зола, подхваченная ветром, серым облаком окутала девушку. Морозный ветер железом прижигал лицо, руки, проникал без труда сквозь безрукавный бешмет, надетый только поверх ситцевого платья. Назыкеш ничего не чувствовала. Она стояла, клонясь под ветром, и тонкий стан выгибался так, словно кто-то сзади тянул ее за подол платья и за длинные косы. Солнце, уходя за горизонт, высветило зольное облако. Можно было подумать — эта девушка на крыше возникла прямо из него.

Человек приближался. На каждом шагу он так подавался вперед и так подгибал одно колено, будто кланялся белу свету. Он припадал на больную ногу, наклонялся, чтобы, обхватив колено рукой, переставить ее. Для Назыкеш все лучи закатного солнца устремились сейчас к этому путнику. Она видела только его и ничего больше. Не обратила внимания даже на обоз, удалявшийся по дороге. От него и шел этот человек.

— Он, он! — шептала девушка. Слезы дождем хлынули из глаз. Не помня себя, сбежала с крыши.

На нее надвигалось несчастье — несчастье всей будущей жизни.

— Апа! — кинулась к матери, которая уже легла спать. — Выйди скорей, погляди! — выкрикнула и ничком повалилась на ее постель.

Это был Жабай. Сердце девушки сказало правду...

Позавчера фельдшер Самойлов выписал его из Акбуйратской больницы.

— Береги здоровый глаз... Этот ослеп совсем, но болеть больше не будет. Глазница заросла. Теперь ему никакая пыль и грязь не страшна, — сказал он на прощанье. — Я сделал все, что мог. А вот нога, может, еще и заживет. Не могу сказать точно: то ли коленная чашечка раскололась, то ли треснула головка большой берцовой кости... Полежишь дома с полгодочка, авось и бегать начнешь... А теперь с богом, домой!

Пять с лишним месяцев провалялся Жабай в сыром больничном бараке. Истосковался, изголодался! И сам рад был выйти на вольный воздух. Да и верил больше в силы своего молодого, закаленного тела, чем в лечение фельдшера. Суждено умереть — никакой «бершиль» не поможет. А выдюжить — так выдюжит и без «бершиль». Так он считал и спокойно принял известие о выписке. Пересаживаясь с обоза на обоз, провожая их от одного пикета к другому, сегодня добрался до Воловьей отары и поковылял прямо к загону молодняка. Там, говорили ему, зимуют Кунше с Назыкеш. Всю дорогу радовался и вольному степному ветру, и тому, что едет домой. Одно досаждало — жалость людей. Они не скрывали ее. Так жалостливо смотрели, когда предлагали подвезти, вздыхали и ахали, подсобляя влезть в сани или слезть с них. Расспрашивали, сокрушались, глядя на неловкие его движения. Он никак не мог смириться с мыслью, что стал калекой. Оттого и сейчас, направляясь к дому Кунше, не щадил себя — старался идти быстро, тер-

пел острую боль в колене. Пусть оно болит, только бы не заметили, как ему трудно! В это время и увидела его с крыши Назыкеш.

Кунше кинулась наружу. Игиликовых жигитов проделки! Они напугали дочку! — думала она и так торопилась, что чуть не сбила с ног человека, входившего в это время в калитку. Кунше не сразу узнала Жабая. Приняла за калеку-нищего. Только никогда еще не приходилось ей видеть такого жалкого бродягу. Особенно поразил ее один глаз этого бишары. Казалось, кто-то пытался вырвать его, да не осилил. И глаз остался торчать, будто крутое яйцо, наполовину выдавленное из скорлупы. Бровь, передавленная шрамом, резко поднималась вверх над больным глазом, будто задрала хвост. Вся эта жутко застывшая сторона лица словно насмешливо спрашивала: «Что, испугалась?» Другая же сторона приветливо и смущенно улыбалась.

— О жаным, ты ли это? — невольно вскричала Кунше, узнав наконец Жабая. Сердце ее с силой стукнуло несколько раз в груди. — О жеребеночек мой, что с тобой сделали!

Кунше поцеловала Жабая во влажный лоб.

— Я это, я... — ответил Жабай.

— Идем в дом, свет очей! Идем...

— Нет, шеше. Лучше не показываться мне Назыкеш. Сказать вам надо несколько слов... Скажу и уйду... — Жабай назвал ее «шеше» — матерью.

Он все улыбался, старался скрыть готовые хлынуть слезы. Только улыбка получалась очень грустной. В ней уже навсегда устроилось горе, которое он понесет через всю жизнь. Многое бы ему надо сказать Кунше. Да вот слова нейдут: прихлынули к горлу и душат.

Кунше поняла Жабая. Не упрашивала больше зайти в дом.

— Хоть за ограду войди, простудишься, вспотел весь!

Жабай понял по-своему — не хочет, чтобы люди видели его тут, с ней. И вошел во двор.

— Вот ваш Жабай! Арба с перебитой осью!.. — горько начал он, присаживаясь в углу двора на кучу кизяка. — Вот глаз мой!.. Торчит, как корень выкорчеванного пня, можно даже в руку взять. Шеше, сама, видно, догадываешься, что может сказать такой Жабай!..

— Что делать, жаным!.. Что нам делать? — Кунше заплакала.

— Только одно и могу сделать: уйти. Не хочу быть страданьем Назыкеш, причиной ее слез. Не могу видеть ее

горя, смотреть, как всю жизнь будет вздыхать. — Жабай проглотил ком в горле, перевел дыхание. — Пусть считает — нет меня. Найдется ей другой, у которого все двенадцать жиликов будут целы. А Жабай теперь мертвый.

Дверь землянки тихонько скрипнула и приотворилась. Жабай не видел, кто там за ней, но сердцем почувствовал — Назыкеш! Он схватил Кунше за руки, показал: молчи, не двигайся. Назыкеш несмело шагнула и тотчас остановилась. Еще шаг, и опять замерла. Она была похожа в этот миг на елика — дикую козу, которая чутко ловила шорохи в камышах. Настороженная, бесшумно ступая, пошла к калитке. Девушка была очень красива. Каждое движение, упругое, легкое, было естественно, словно елик пугливо ступал по камням. Неосторожный шорох — и исчезнет. Навсегда скроется эта красота для Жабая! Но девушка не почувствовала устремленного на нее из темного угла двора отчаянного взгляда. Неслышно двигаясь, дошла до калитки. Теперь Назыкеш стояла, освещенная последним светом дня. Вот когда вся красота ее явилась перед Жабаем. Как выровнялась, как похорошела! Косы какие!.. Длинные, блестящие!

Некоторое время она смотрела в степь — жадно вглядывалась, будто искала кого-то, хотела увидеть... Вдруг скрип по снегу чьей-то ноги вспугнул ее. Отпрянула от калитки, быстро пошла к дому. На пороге, закрывая дверь, еще раз поглядела вокруг — глаза печальные, тоскующие. Такой и унес ее в своем сердце Жабай — стройная, пугливая, как елик, с тоскующим взглядом черных глаз.

— Ну, теперь прощайте! — сказал Жабай, поднимаясь. — Не на кого мне обижаться, кроме бога...

— Ах, что мне делать, жаным, что сказать!

Кунше хотела бы быть верной слову. «Обещание — есть обещание. Такова воля аллаха...» — так бы ей надо сказать. Да не смогла. Не решилась даже взглядом проводить гостя. Трудно было смотреть ей, как уходил он, странно переступая, кланяясь на каждом шагу.

* * *

Жабай ни разу не остановился и не оглянулся, пока не достиг большой дороги, где ходили обозы.

Сначала он почувствовал облегчение, будто сбросил со спины тяжелый груз. Но это только казалось. Он сам при-

думал себе это об легчение, чтобы утешить себя. Внутри его что-то плавилось, какой-то огонь разгорался сильнее и сильнее — грозил сжечь и сердце и его всего. Это там, в темном углу двора, занялся в нем этот пожар. Скорее уйти от того места... И он, забыв о больной ноге, захромал быстрее прочь. Но пожар не унимался. Не сегодня он занялся, гораздо раньше и крепко сидел в нем. Пытаясь хоть как-то затушить боль, Жабай стал увещевать себя:

«Правильно, правильно поступил ты, Жабай! Ну, подчинились бы они обету, сдержали бы слово! Что за счастье было бы смотреть, как эти беззащитные бишара сидят привязанные без аркана! — убеждал он себя. И тут же начинал сомневаться: — А может, и такой, как я, был бы им нужен? Может, уже примирились с несчастьем и ждали меня? Все же мужчина в хозяйстве, пусть хоть и калека... Нет! Сам я могу провалиться в яму, но Назыкеш тащить за собой? Нет... Видит бог, не хотел я ее сделать несчастной! Не сегодня придумал, не сегодня решил... Еще как сняли повязку... Увидел я себя, свой глаз этот... Тогда и поклялся. Зачем мне пугать ее? Торчит несчастный глаз, как рог комолой коровы... Как ей каждый день смотреть на такое! Правильно поступил. Не загубил Назыкеш. Душа не будет терзаться. Но какая она стала красивая!»

— На чье счастье хорошеешь, на чье счастье? — он произнес вслух эти слова.

Добрался Жабай до дороги и захромал дальше. Попутных саней не стал ждать — простоишь, пожалуй, тут со своими мыслями, бог знает до чего еще додумаешься. Брел и не видел — не чувствовал, что провожают его издали два тоскливых черных глаза — Назыкеш украдкой следила за ним. Была ли она благодарна Жабаю, что покинул ее, огорчилась ли, жалела несчастного или удивлялась ему — разобраться в этом сама не могла...

* * *

Пикет, к которому шел Жабай, был всего в версте от Воловьей отары. Кое-как жигит доплелся до места. Огромный двор, огороженный щитами, оказался битком набитым: волы, сани, люди — кругом сутолока, крики, суета. Обозники устраивались на ночлег. Это был один из пикетов Игилика на пути между Акбуйратом и Карагандой. Тут и бараки для возчиков, сложенные из дерна, — вытянулись

вдоль одной стороны ограды. И корм для волов припасен — длинные скирды сена привалились к другой стороне. В этой части двора было особенно тесно, суетливо. Доносились шумные пререкания, ругань.

— Аллаха забыл, гяур!..

— Погоди, припомню еще тебе это!..

— Разве так вешают? Смотри — гири от земли даже не оторвались... — надрывались недовольные голоса. А в ответ слышалось:

— Не болтай! Гони десять копеек и проваливай!

Ругали друг друга крепко, но обижаться некогда. Весовщики, видно, уже притерпелись — не первый день. Обозников подпирали задние — свой же брат. Спорить долго не приходилось.

— Посторонись, свет мой, не задерживай! Недоволен, так к бию ступай, он разберется...

Два жигита запарились, отпуская сено. Бросали на весы и, не дожидаясь, пока уравновесятся чаши, откидывали: «Забирай! Двенадцать копеек!», «Волоки! Десять копеек!».

Возчику, может, хватило бы сегодня и на семь копеек, но перевешивать некогда. Вышло на десять — забирай и отходи!

Не успевали даже подобрать того, что рассыпалось. Все суетятся, куда-то спешат, торопятся унести то, что досталось. Клянут кого-то, ругаются с продавцами. И волам попадает — норовит скотина выхватить клок, когда сено проносят мимо.

Степь в те времена не знала, что значит точность. Все тут мерилось приблизительно. Касалось ли это какого-либо количества: людей, скота, богатства, или вступали в силу такие понятия, как грех, честь, месть или совесть, — постоянной меры не было ни тому, ни другому. Не внесли точности ни меры веса и длины, ни деньги, проникшие сюда с торговлей, с зарождением производства. Наоборот, новое еще больше раздвинуло рамки приблизительности. Еще более зыбкими стали понятия законности и справедливости. Власть — у того, кто богат. В его руках и мера и суд. Большинство, которое зовется народом, в счет не бралось. Так что обозники спорили напрасно, зря обижались. Они и сами это понимали, и дальше двух-трех горячих слов их ропот не шел.

Жабай протолкался к баракам. Решил посмотреть, может, есть там кто из своих. В первом бараке никто не

поднял на него взор — хватало собственных забот у каждого. Люди занимались своим делом — сбились в кружки и ужинали. Одни довольствовались растворенным куртом, другие шумно тянули чай, обливаясь потом. Кучка возчиков тесно обсела деревянный таз — склонились над бесбармаком. Эти уж вовсе не поднимали голов, у них только челюсти ходили да уши вздрагивали. В некоторых компаниях успели уже поесть, отводили душу в отрыжке. Там начинался разговор о морозах, о том, что сено дорожает и что к концу зимы обязательно надо ожидать джута. О том, чтобы как-то подготовиться, встретить бедствие, не говорилось. Все предписано аллахом, на все его воля!

— Все от него!.. Одного не пойму: почему джут, насылаемый им, косит только скотину бедняка, а байские табуны не трогает? — наморщил лоб худой как щепка табунщик. Видно было, что над этой загадкой он давно бьется, а уж повадки джута ему хорошо знакомы.

— Ойбой!.. Было бы у меня много-много скота!.. — размечтался молодой жигит и расплылся так, что пухлые щеки совсем закрыли глаза.

— Ну и стал бы вторым Игиликом!..

— Зачем Игиликом?.. Мне бы только богатство, а Игиликом зачем, не стал бы...

— Стал бы, иначе нельзя.

— Не стал бы, говорю!

— Ну, а что тогда сделал бы со своим богатством?

— Что?.. Ну... — жигит запнулся. Было похоже, что он и не задумывался над таким вопросом. — Только бы разбогатеть, а там аллах надоумит. Ну, первым делом, велел бы накосить много-много сена... — пришло вдруг ему в голову.

— Насчет сена ты прав. Хорошее дело.

— Без сена нельзя! — одобрительно зашумели слушатели. Можно подумать, что и сами с будущего лета собираются взяться за косу.

Не в привычке кочевника было загадывать на завтра, заботиться о том, что впереди. Не умел он ставить сколько-нибудь большой и дальней цели. И то, о чем сейчас заговорили обозники, заинтересовало Жабая. Это было что-то новое и, пожалуй, доброе дело. Только бы, как придет лето, не забыли своих намерений... Жабай послушал разговоры и пошел дальше. Знакомых тут не оказалось. Решил посмотреть в другом бараке.

И здесь наткнулся на человека, которого никак не ожидал встретить. И помыслить о том не мог.

Крупная женщина в пуховом платке, накинутом поверх жаулыка, резко выделялась среди ужинавших жигитов. Она была печальна, не притрагивалась к еде — вся ушла в какие-то свои, видно, безнадежные думы.

— Нельзя же так! Выпейте хоть чашку чаю, — упрашивал ее чернобородый, сухой и жилистый человек.

Женщина не отвечала. Казалось, она даже не слышала вопроса. Уставила в стену невидящий взгляд.

Жабай запнулся у входа, сам себе не поверил. Байбише Копей!.. Неужели это она?..

— Апай-ау! Вы?.. Откуда?.. — не знал, что и сказать.

— Жабай, око мое!.. — что-то словно толкнуло Копей — ущербная душа растаяла, из глаз полились слезы.

— Баянды, потеснись, дайте место Жабаю, — обратилась она к чернобородому. Освободив место подле себя, позвала:

— Иди, жаным, сюда иди!

Жабай, тяжело волоча больную ногу, с трудом протиснулся, сел рядом. Она обняла его, поцеловала в обе щеки. Долго сдерживала Копей слезы, теперь они лились, лились — не переставали. Плакала и о себе, и о Жабае, и, казалось, молчаливо винилась в его беде.

Теперь уже все присутствующие обратили внимание на Жабая. Что такое, почему байбише так ласкает этого калеку? Пошли расспросы. Оказалось, историю Жабая знали все.

— Так ты и есть тот самый жигит! Знаем, слыхали...

— Слава аллаху, хоть жив остался!

А Жабай мучился — не решался спросить: отчего это Копей, жена бая Жумана, уважаемая байбише очутилась тут, среди возчиков? Копей заметила его удивление и сама поведала свою историю...

— Не смогла ужиться с сыновьями Жумана. К родичам вот еду. Брат провожает. Вот он — Баянды — мой единственный брат, — показала на жилистого чернобородого обозника.

А было так. Бородатые сыновья Жумана дорвались наконец до имущества отца. Без особых почестей предали земле останки бесславно умершего бая. Наскоро провели положенный обычаем седьмой день и кинулись, грызя друг друга, делить наследство. Откуда только взялись и напористость и воля. Ни один не желал уступить дру-

гому и хвоста лошади. Оказалось, все трое давно вели счет всему, что было потрачено на каждого из них. И калым учитывали, и расход на отау — все, считали даже кто сколько съел! Полагалось выждать год и тогда уж делить наследство — так предписывал обычай. Но после буранов табуны сильно поредели, ожидался еще джут. Приходилось спешить, а то можно было и остальное потерять. И решили: чем троим надзирать над всем, лучше пусть каждый бережет свою собственную долю.

Спорили сыновья, дырявили друг другу головы, но чуть дело касалось мачехи, тут все трое становились единодушны. Бесплодная жена! Не положено ей доли в наследстве! Примирившись ради такого случая на короткое время, посылали своих жен травить байбише. А снохи — келин и рады. Недавно еще робели перед байбише, таили свою злость, вот теперь и наверстывали. Готовы были разорвать Копей:

«Ты виновата, одна ты! Ты мешала нам отделиться, из-за тебя все!... Бай Жуман сам проклял тебя, пустобрюхую. И скот по твоей вине гибнет! Твои родичи, каракесеки, грабят! К ним, к ним ступай, у них свою долю требуй! Они уже забрали ее!» — тявкали келин.

Не в обычае Копей было ругаться, скандалить. И при жизни Жумана не повышала никогда голоса, не кричала на снох. Как стало невмоготу терпеть, вызвала брата. Сегодня покинула аул. Навсегда покинула... Ничего не захватила с собой. Снохи не постеснялись обыскать даже ее собственный сундук — тот, что пятнадцать лет назад привезли в приданое. И вот возвращалась к родным без всего, без доли наследства! Нет большего позора для замужней казашки, как быть выгнанной и вот так вернуться к своим. Стыдилась Копей своей беды. Не хотела заезжать в аулы, лучше уж останавливаться с возчиками на пикетах. Вот отчего такой печальной встретил ее Жабай.

— От твоего отца Талтаяка давно вестей нет. Ушел до буранов с верблюдами на берега Токыраун. С тех пор ничего не слыхали, — сказала Копей, закончив свою историю...

— Баянды! Здесь, что ли, Баянды? — прокричал в окно какой-то всадник, еле сдерживая коня.

— Ибрай это! Что-то случилось! — Баянды выбежал из барака.

Ибрай ведал теперь чуть не всем извозом. Командовал обозами, доставлявшими медь и каменный уголь Ак-

буйрату. Когда подрядился, начал с пяти верблюдов. Теперь их в обозах больше трехсот, да больше сотни подвод с волами. И верблюды и подводы — собственность Игилика. Другим баям тут принадлежала ничтожная часть.

Обозы Ибрая останавливались отдельно, в той самой отаре, где зимовали Кунше с Назыкеш. Игилик выстроил для своих обозов особый пикет. Здесь даже волы ночевали в закрытых сараях. Имелась у Ибрая и передвижная кузница. «Кузница Баянды» — так все называли ее.

Сидевшим в бараке был слышен беспокойный, злой голос Ибрая. С чего это он накинулся на Баянды?

— Ты что это тут разлегся? Отдыхать вздумал? Другие на бровях ползут, а тебя не касается? — орал Ибрай. Что отвечал Баянды, не слышно.

— Кузня твоя сейчас здесь будет. Собирайся! Заболел твой напарник. Живее, слышишь?!

Баянды вернулся с поникшей головой.

— Придется тебе, сестра, без меня ехать. Сатай заболел... Отправляюсь в Караганду, ничего не поделаешь. Сани там чинить надо. Поедешь дальше с Каратаем.

— Раз надо, поезжай. На меня не смотри, сама доеду. Не стоять же работе из-за меня, — успокаивала Копей.

Скоро в бараке затихло. Возчики засыпали, не раздеваясь, прямо на полу — где кто сидел. Ни разговоров, ни сказок — накроют тымаком лицо и сразу в сон. Только руки беспокойно двигались. Худым жилистым пальцам работы хватало на всю ночь — драть бороды, скрести закоростелое тело. Затянул веки и Каратай — пучеглазый жигит, которому Баянды поручал Копей. И сам Баянды в ожидании своей кузницы привалился, сонный, к Каратаю и сладко засопел. Не спали только двое: Жабай и Копей. Копей тихо жаловалась на свою долю. Наболело, хоть бы душу излить. Только вот такому несчастному, как сама, и могла довериться теперь.

— Со слезами вошла в дом Жумана и ухожу со слезами! Тогда насильно тащили, против сердца шла, оттого и лила слезы. А теперь гонят. И снова слезы лью.

Заговорили о беде Жабая.

— Как у тебя с Назыкеш? Я ведь знала. Радовалась на вас. Заходил к ним?

Смутился было Жабай. Он-то думал — об их тайне никто не знает. Но Копей спрашивала ласково, заботливо, как мать, и Жабаю вдруг захотелось открыться перед ней.

— Какой я теперь... Разошлись наши дороги. Заходил сегодня к ним. Так и сказал Кунше.

— О Жабай! Благородное сердце у тебя. Поступил, как настоящий жигит.

Ни от кого не ждал себе похвалы Жабай. Но слова байбише Копей все же приятны ему. Даже тоска по Назыкеш как будто приутихла, улеглась.

За полночь прибыла кузница Баянды. Кривозубый жигит уважительно осведомился с порога:

— Не тут ли кузнец Баке?

Баянды тотчас поднял голову.

— А, это ты, Айтбай? Сейчас едем! А Сандыбай где?

— Меня не возьмете с собой? Мне тоже в Караганду, — попросил Жабай. — Зять там работает. К нему думаю... Куда же еще?

— Что же, едем, жаным. Раз надо, поехали. Кузня у нас просторная, места всем хватит. Боюсь только — тихо будем ехать. Останавливаемся часто в дороге.

Попрощался Жабай с Копей и тронулся в путь. Позади — пустота, не на что оглянуться. Впереди — надежда и риск.

За воротами пикета дожидались два дощатых домика на полозьях. Маленькие оконца горели красноватым светом. В домики были впряжены волы. Около них возились люди... Жабай смотрел с интересом. «Чудо-кузница Баянды! В горне ее куется счастье Ибрая!..» Много наслышался Жабай об этой кузнице. И вот она перед ним.

Баянды подошел к первому домику, открыл заднюю дверь:

— Входи, жаным, входи!

Вошел и сам. Запер дверцу на засов.

— Раздувай мехи, Айтбай! — распорядился, снимая тулуп.

Деревянный домик качнулся, заскрипели полозья — чудо-кузница двинулась...

В первое время кузница Баянды ничем особенным не отличалась — кузница как кузница. Располагалась она на постоянном месте — в овражке у ручья на полпути от Нильды к Акбуйрату. Кузнецов завалили работой. Телеги и сани были новинкой в степи. В неумелых руках все время ломалось то одно, то другое. Трескались от перегрузки деревянные оси, гнулись и выскакивали спицы колес. От зари до зари горел огонь в горне. Баянды и его подручному Сатаю даже поспать не удавалось, а починить всего

так и не могли. За пять-шесть месяцев перед кузницей вырос целый базар телег, весь овражек оказался забит ими. Тогда-то и заявил Баянды Ибраю:

— Давай бросай эту кузню! Насовсем бросай!

Ибрай удивился.

— Это почему? Шайтан тебя надоумил, что ли?

— Измучился я, устал, а толку все равно нет. Вот ведь какие тяжелые камни возишь! А телеги твои — не телеги, сани твои — не сани. Никуда не годятся! Собери их все вместе да и отдай Игилику, пусть возит на них сено. Только на это и годны.

Куда клонит кузнец, Ибрай не понимал. На его вопросы Баянды не отвечал — не слушал их, гнул свое.

— Ты вот что: вели, пусть сделают мне деревянный домик... Не из бревен, из тех досок, из каких сколочена заводская лавка. Домик вели поставить на полозья и дай в упряжку четверку волов. Да еще две пары волов пусть везут за домиком кое-что из инструментов и железо...

— Кочевать собрался?

— Ты не спрашивай. Сначала скажи — да. Твердо скажи, обещай! И это не все. Нет... Вели потом еще один такой домик сделать... За ним пусть тоже идут две упряжки волов. Они повезут бревна и доски. Сколько, значит, пар волов потребуется? Две да две и еще столько, да на домики, выходит — всего восемь пар. Сделаешь так — все твои телеги и сани закую в железо. Буду ездить по дорогам с твоими обозами, все что надо — чинить на ходу. И трех месяцев не пройдет — все починю.

Ибрай встревожился. Что это стало с кузнецом? Похоже — помешался! И то: шесть месяцев не ел да не спал по-человечески, людей не видал! Все в этой своей адовой кузне. Что хочешь может взбрести в голову... И шайтан с джиннами навестить мог, вполне мог!..

— Ничего не стоит твой обоз! — все больше сердился Баянды. — Сани на одних веревках держатся, оглобли да дышла укрепляете ивовым прутом!... Зима подойдет, сядешь ты со своим обозом в сугробе. Месяца не пройдет — все сани в снегу будут... Айтбай, останавливай мехи! — решительно скомандовал подручному.

Кожаные мехи в последний раз вздохнули и, длинно шипя, осели. Пламя опало, яркий огонь заморгал, будто боролся со сном. Угли постепенно подернулись пеплом — горн засыпал. Баянды бросил тяжелый молот под наковальню, передником отер с лица пот.

Ибрай испугался: похоже, кузнец и правда бросил дело.

— Ну, хорошо, сделаем... Не горячись, жаным! — поспешил согласиться. — Пусть будет, как ты хочешь... Только скажи ты мне, зачем же второй домик?

— Зачем? Телеги твои валяются? Валяются... Через месяц и сани будут так же валяться. Обязательно будут. Вот ты и найди трех мастеров таких, чтобы умели ладить телеги и сани. Не простые сани, а чтобы на них еще ящик стоял — большой ящик из досок. Понял? Вот... Они будут делать, а я буду все обивать железом. На заводе был? Заводские телеги и сани видел? Такие и мы начнем делать...

Нет, кузнец был в здравом уме. Ибрай больше не думал, что шайтан его посетил. Подрядчик и в самом деле замучился с телегами. А уж подумать о том, что будет зимой, даже не решался. Кузнец предлагал дело... Для виду Ибрай немного поныл — откуда денег взять? Телеги ведь не его, а Игилика, а чинить за свой счет придется... И мастера дорого станут... Поныл-поныл да и согласился, но так, будто только ради Баянды это сделал.

— Хорошо, Баке, если уж ты настаиваешь, пусть будет по-твоему.

Через полмесяца оба домика были готовы. Сделали их на Акбуйратском заводе. Инженер Некрасов загорелся, затея кузнеца очень ему понравилась. Он сам занялся этими домиками. Велел выложить стенки и под горна из огнеупорного кирпича. Очень хорошие получились домики. Намного лучше, чем были задуманы Баянды.

Жабай осматривал кузню: четыре окна, по два с каждой стороны. Вход в задней стенке, в переднем углу — горн. Рядом большой чурбан, на нем — наковальня. С потолка, будто бочонки, свисают два фонаря в пузатых металлических клетках. Тумбы для сиденья нарезаны из бревна... Очень понравилось тут Жабаю. Пусть в углах и белел иней и на стенках кое-где поблескивал ледок — не важно. Жабаю эта кузница показалась лучше и уютней любой аульной землянки.

А Баянды каким вдруг стал в кузне! Совсем другой человек. Надел кожаный фартук, расправил плечи — батыр! В куче обломков выбрал несколько коротких железин, бросил их к горну. Потом подошел к полозьям, лежащим у стены. Долго перебирал. Одни бросал на

место, другие откладывал в сторону. Видно, кузнец знал, что надо чинить в санях, о которых сказал ему Ибрай.

— Что бы делал без меня ваш Ибрай? Быстро взвыл бы, как покинутый пес, — заговорил Баянды, продолжая разбирать полозья. — Отпросился вот всего на два дня — и что? Пятнадцать саней застряло в дороге. А если бы десять дней меня не было? Ну, заболел бы... Что тогда? Тут уж ваш Ибрай, пожалуй, день и ночь стонал бы от горя. Горевал бы, как по родному отцу, который два раза умер, два раза воскрес и через неделю опять скончался! — Баянды потряс указательным пальцем, словно угрожая Ибраю.

Жабай не выдержал, фыркнул. Он вдруг ясно представил себе старца, который несколько раз умирал и воскресал. Толстый такой старик, едва задвигал ресницами и опять умирает... Пожалуй, такая смерть была бы не лучше кончины Жумана... Баянды начинал Жабаю нравиться. Был он особенный, не похожий на аульных жителей. Говорил прямо, что думает. Решительный человек!

— А ты не смейся! — сам пряча улыбку, остановил Баянды. — Думаешь, завод не схватит Ибрая за шиворот, если он не подвезет угля да руды ко времени? Схватит, еще как схватит! Там тебе не курт варят, а медь, вот как! Взял бодрет? Взял. Давай выполняй! Не выполнил — штраф плати.

Баянды имел в виду подряд и штраф. Это были новые для казахов слова.

— А Игилик, думаешь, спустит? — продолжал Баянды. — Выкладывай, жаным, как договорились, за десять кругов в месяц! Хоть пять, хоть семь сделал — все равно, гони, Ибрай, за десять. Мои сто пар волов, скажет, у тебя же были? У тебя. Ну, значит, и отсчитывай. Ты, парень, не знаешь еще, что такое деньги! Никаких уступок насчет денег не бывает. Опасное дело! С деньгами путаться — это, брат, страшнее, чем на том свете в рай по волосяному мостику перебираться. Щелкнет счетами, и — конец! Ну как, понял теперь, сколько раз может помереть отец Ибрая за те десять дней, что меня не будет?

— Да, в таком деле, пожалуй, споткнешься, — смущенно согласился Жабай.

— Вот мне платят сейчас по пятьдесят копеек в день. Захочу — по рублю платить будут, не пожалеют для та-

кого, как я. Тридцать рублей в месяц! Ты у своего Жумана получал когда-нибудь хоть тридцать копеек?. Не получал...

Снаружи постучали. Баянды — возбужденный, с рукавами, закатанными выше локтя, продолжая говорить, отворил дверь. Вошел Сандыбай. Начал по-аульному длинно здороваться. Осунулся с осени, похудел, щеки ярко горели, будто жег его внутри огонь. Нижняя губа от постоянного употребления насыбая отвисла. На Сандыбае, как и на кузнеце, кожаный фартук. Жабай сразу понял, это мастер из второго домика. За поясом его передника, в складках рукавов, поверх тымака — всюду опилки и стружки.

— Здорово, бай Сандыбай! Как твои табуны? — шутливо приветствовал его кузнец.

— Э, небольшое дело, если и пропали. Всего год работы... Дались тебе мои табуны!.. Ты попробуй, свои наживи, о них и заботься... Насыбай есть? Дай понюшку. — Мастер присел на ящик, в котором кузнец держал одежду. Больно Сандыбаю. Баянды царапнул рану, которая никак не хотела заживать..

— Что мрачный такой? Заболел? Или, может, опять надули? — спрашивал Баянды, подавая насыбай. — Говорил же тебе — с богатыми держи ухо востро.

— Беда одна не ходит. Не только со мной, со всеми так... Как начнет крутить — закружит вконец. А все с этих проклятых карт!.. Зачем их в руки взял?.. Потерял тогда двух кобылиц, с этого и пошло... А теперь еще двух увели... Барымта!... И остальные неизвестно где. Пропали после бурана... До сих пор не найдут... Я и с самого начала сомневался. Только взглянул на тех красавцев, сразу подумал: не по мне. Э, такое богатство разве для бедняка!.. Так всегда бывает, если захотел больше, чем тебе аллахом отпущено...

— Послушайся хоть раз меня, — убеждал мастера Баянды. — Ты ведь даром работаешь! Потребуй, пусть платят хоть по гривеннику в день. Придумали — три кобылы за всю зиму! Дожидайся, заплатят тебе Игилик с Ибраем на том свете... Пусть я буду не Баянды, если не так!..

Досадно Баянды за мастера. Работает — сил не щадит, пот проливает, и за что? За какие-то обещания!..

Сандыбай молчал. Десять копеек, пятьдесят, хоть даже не копейки, а рубли — для него все это пустой звук.

Одно богатство он понимает — скот! Ничего другого не знал и не видел за всю свою жизнь. И сейчас, как тогда осенью, перед глазами его проходят табуны Игилика. Какие табуны! Идут — сверкают блестящими боками, играют на ходу! Хоть бы один конь был хромой или заезженный. Нет — все на подбор. А какой косяк был бархатно-вороных! Очень хороший косяк! Если, конечно, не считать, что у двух жеребят не оказалось на лбу лысинок... Крупы — крутые, круглые, ну просто загляденье! А гривы, гривы! Струятся, словно шелк! Шеи длинные, чуть не в сажень. Уши прямые — камыш! Надо бы тогда отобрать по пяти из каждого косяка: пять из бархатно-вороных, пять из гнедых... Да к ним того сине-гнедого жеребца, что косил глазом... Игилик сам предлагал — выбирай, не стесняйся. Пожалуй, он бы уступил и жеребца сине-гнедого, не то что Ордабай... Стоило мне тогда сказать: «Хочу косяк бархатно-вороных». Или: «Хочу косяк гнедых...» Отдал бы, тут же отдал... Язык мой, шайтан его дери! Присох, окаянный, не пошевелился. При нем, при Игилике, надо было выбрать. А Ордабай высмеял, а потом в карты засадил и обыграл. Отнял кобылиц с жеребятами! Э, сын богатого человека никогда не отступится. Точно знал, какие лошади в буран пропадут, их и подсунул. А Игилик не виноват. Он и сейчас передал — не обижу! Воров, говорит, недалеко искать, из ближних аулов. Пусть, говорит, подождет до Акмолы-базара. Там он отыщет моих лошадей, знает ведь их. И за эту зиму заработаю еще трех кобылиц с жеребятами! Кто еще в степи зарабатывал столько?

Так утешал себя Сандыбай и от всей души молил аллаха — пусть сбережет табуны Игилика от джута! Желал бию всяческого благополучия. Работал изо всех сил, старался. Ездил с обозом Ибрая, а все думал, что работает на Игилика. Сани ведь, которые он чинил, были Игиликовы! Очень не понравилось мастеру, как непочтительно говорил Баянды об уважаемом бие. Завидует, завидует кузнец Сандыбаю. Как-никак, а Сандыбай — сотрапезник бия, сидел с ним за одним дастарханом. А Баянды ни разу и близко к Игилику не подходил. Подумал так мастер и заговорил с важностью:

— Зачем зря разговаривать, Баянды! Пока ты ездил за своей сестрой, я тут восемь ящиков для саней смастерил и еще двое саней сделал. Обей поскорее их железом. Ибеке велел оставить сани в Караганде.

Мастер назвал Ибрая почтительно: «Ибеке». Этим подчеркнул, что и к Ибраю стоит намного ближе, чем Баянды.

— О том, что ты сделал, докладывай своему Ибеке, а не мне! — осадил Баянды старика. Его выводило из себя заискивание мастера перед хозяевами. — Сделаю свою работу, тогда и твоими санями займусь. На дороге пятнадцать саней застряли! А теперь иди, принеси четыре дышла с разводом да три пары полозьев. Иди! — Баянды взялся за молот.

Сандыбай сник. Забитый человек послушен всякому окрику. Кто прикрикнул — тот и командует над ним. Не знает, как и вернуть расположение Баянды. Попросил извиняющимся голосом:

— Баке, может, еще по щепотке заложим?

Кузнец не ответил, повернулся к Жабаю:

— Жаным, что, если покачаешь мехи, а? Айтбай, иди сюда, ковать пособишь.

Сандыбай тихонько вышел из кузницы.

— Забитый человек... Бишара!.. — проговорил вслед Баянды. — Два месяца торчал в воловьей отаре у Игилика, да вот уже около двух, как сюда прикочевал. Второй домик — это его. Работает в передвижной мастерской. Да как работает! Ни днем, ни ночью отдыха не знает. А выгоды своей никак не может понять. Дались ему лошади! Если даже и заплатят обещанное — три кобылы за год — то пятака в день не выйдет... Вбивал, вбивал это ему в голову, да все зря.. — Баянды в сердцах ударил по раскаленному куску железа...

Жабай с интересом следил за работой кузнеца. С каждым ударом кусок все больше расплющивался, принимал нужную форму. «Вот бы мне научиться! — подумал он. — Хорошая работа. И от языков подальше... Сиди тут хоть век, и люди не увидят... Да и ходить много не требуется. Самое подходящее дело для такого, как я». И работа и сам кузнец нравились ему больше и больше. Аульные жигиты много слоняются без дела. Некуда им время девать. Только и знают судить-пересуживать да смеяться. Пустые люди! А Баянды другой. Много лет уже провел он в стороне от аульной жизни. С утра до ночи занят в своей кузне. Вся никчемная аульная шелуха давно слетела с него. Настоящий мужчина! Он с первого взгляда понравился Жабаю — еще на пикете, когда байбише Копей знакомила их. Не полез с жалостью, как другие!

И здесь, как равному, предложил поработать. Жабай первый раз после больницы почувствовал себя человеком.

Всю дорогу до Караганды Жабай обдумывал — как бы попросить Баянды, чтобы оставил в кузнице. И сразу по приезде в Караганду заговорил:

— Баке-уста! Всю ночь смотрел я на вашу работу. Очень мне нравится это ремесло. Вот, если бы взяли меня к себе.

Баянды — открытая душа — ответил не задумываясь:

— Отчего же не взять? Особого ума тут не требуется. Были бы охота да старанье. Ты жигит молодой, сильный. Быстро научишься. Через два месяца будешь бить, как я. Ну пока положат тебе десять рублей в месяц. Тоже неплохо, а?

Баянды сказал: «Молодой, сильный жигит!» Радостно Жабаю слушать такие слова. Вот он и у места! Здесь уж никто не станет тыкать в глаза: кривой да хромой!..

— Ремеслу бы научиться... Стать кузнецом, как вы. А плата что... Как сами знаете.

— Это как же «что»! Очень плохо, если не думаешь о плате. Не ко мне, к Ибраю нанимаешься. А я вот даже очень беспокоюсь, чтобы те, кто со мной работают, получали плату за свой труд. Я из Ибрая, можно сказать, эти десять рублей клещами вытянул. Десять рублей — плата для ученика, так я с ним раз навсегда договорился. Им кузнецы нужны. Еще четыре-пять человек, не меньше... К тем, что уже есть. Вот как! Так что, считай, беру тебя!

— Спасибо, Баке. Разрешите только начать со следующего круга. Надо мне еще с зятем повидаться, он в Караганде работает. Я вас тут и буду ждать.

— Пусть будет так, свет моих очей. Только уговор: сказал — не подводи. Уж дожидайся!

* * *

Жабай шел и удивлялся — что сделалось с этими местами! Большой пологий холм, по которому он шагал, назывался Итжон — собачья спина. И недаром — ничего здесь не было, кроме сухой и жесткой, как собачья шерсть, колючки. Ни летом, ни зимой никто не совался в здешнюю бесплодную степь. А теперь жизнь так и бурлит. По дороге движутся обозы, шумят, бранятся возчи-

ки. И в стороне от дороги копошатся, что-то делают люди. Из сугробов тянулось в небо с десяток густых черных дымков. Видно, это и были бараки рабочих. Жабай свернул с дороги, побрел на дымки...

7

Строили Акбуйратский завод хоть и медленно, но упорно. Три года шла работа. Во второй половине этой зимы он был пущен.

Нарушилась вековая дрема. Из-за акбуйратского холма теперь слышались новые ритмы. Это еще не был настоящий завод. Всего-то одна паровая дробилка, несколько медеплавильных печей да жернова и грохоты для размола и просеивания породы. И все же мысль степного жителя всколыхнулась, пробуждалась к новой жизни.

Протяжное мычание акбуйратского гудка перекатывалось через холмы и овраги, достигало дальних аулов. Степь до этой поры не знала даже скрипа колеса, а тут затарахтели, заскрежетали жернова и грохоты, запыхтела, закашляла паровая машина. Верблюды и то, проходя теми местами, убыстряли привычный плавно-медлительный шаг. Чуть свет в окошках землянок вспыхивали коптилки. А ведь казахи привыкли рано ложиться и поздно вставать. Нарушались привычки, менялся лик самой степи. Раньше чуть видные стежки вились между аулами. Даже главная, Акмолинская, дорога только намечалась едва заметной колеей. Теперь стежки, тропы расширялись, протягивались все дальше и дальше, превращались в большие дороги. На белой снежной поверхности степи эти лысые ленты-дороги вырисовывались четко и ярко. Куда они вели? Степному жителю казалось — к самому краю земли...

Бывало, по тропинкам лишь изредка трусцой проедет одинокий всадник. На новых дорогах день и ночь не умолкали колокольчики: шли караваны, тянулись обозы. Двумя встречными вереницами двигался поток. Беда, если попадал в это движение несведущий житель дальних аулов. Две колеи совсем сбивали его с толку. Чесал голову — по какой дороге ехать? И чаще всего выбирал именно ту, по которой ехать не следовало. И простаивал подолгу, пропуская обозы.

Обозы двигались в любую погоду. Дождь ли, буран —

все равно должны взять свои двадцать верст за день. Иначе день пропал — не попадешь в очередь, не вовремя выгрузишься, не сразу погрузишься. А каждый день — это деньги. Сделал поездку — платят тебе. Потерял день — выкладывай из своего кармана...

Пустил инженер Бернер завод, сообщил темп всем подсобным работам, и к этому времени подоспел сюда сам Никон Ушаков. Приехал, помылся в бане и призвал Бернера. Кроме Ушакова и Бернера за столом сидит инженер Некрасов. Есть и четвертый собеседник — шипит, бормочет свое большой пузатый самовар.

Об успехах Бернер доложил коротко: «Завод пущен без помех. Две печи уже выдают медь, две другие скоро вступят... Вот только не успеваем дробить и просеивать. Два жернова и два грохота не обеспечивают ни качества, ни быстроты... А уголь уже идет. Хороший уголь! Особенно тот, что добыт из глубоких пластов. Меди уже порядочно выплавили, но еще не отправляли. Ждали вас...»

Но вот Бернер подошел к больному вопросу:

— Перевозка угля — вот что меня тревожит больше всего. Мелкие артели обозников не справились, больше подряда не берут. Сейчас между Акбуйратом и Карагандой всего ходит пятьсот подвод. А нам требуется тысяча, да чтобы ходили непрерывно. А те пятьсот, что есть у нас, вот-вот остановятся. Круг, другой — и еще половина выйдет из строя. Зимний период особенно труден. Бураны, заносы... Сани не приспособлены для тяжелых перевозок, ломаются... — В словах инженера-немца Ушакову слышался упрек русской беспечности. — А ведь нам предстоит транспортировать еще и выплавленную медь. Сто подвод, не меньше! В оба конца уйдет два месяца, если не все три. Я думаю, для этого рейса нам лучше отказаться от подвод и саней. Караван верблюдов будет вернее. Только верблюды нужны здоровые, сильные, хорошо выкормленные. У бедняков лучше не брать — не годятся. Обращаться надо только к баям...

— Не беспокойтесь, Карл Карлович, все сделаем. Пригласим к чаю десяток баев — согласятся, помогут... Что еще у вас?

— Акбуйратская руда беднеет. Из ста пудов руды получаем два пуда меди. Нерентабельно. Предлагаю оставить ее совсем и перейти целиком на руду Нильды.

— А как же с рабочими? Зима ведь стоит. Согласятся ли тронуться на новое место?

— Поощрить десятидневным заработком — согласятся. Да и куда им кроме нас... Уже сейчас в степи трудно. А через месяц начнется джут, отбоя от рабочих не будет. На месте тоже можно набрать...

— Ну, а с бараками там как, готовы? Или, может, как было в Караганде — пустыня?

— Бараков, конечно, нет.

— Сколько сейчас рабочих на Нильде?

— Двенадцать русских и около шестидесяти казахов, — ответил на этот раз инженер Некрасов. Ушаков повернулся к нему.

— Да, кстати, Нильда ведь в вашем ведении. Как она, надежна? Может нас полностью обеспечить рудой?

— Нильда более чем надежна. Углубились уже на тридцать саженей, а руды — конца-края не видно. Притом, чем глубже, тем богаче. Нильда должна стать опорой завода, основным источником сырья.

Ушаков приумолк — соображал. Бернер хотел еще что-то сказать. Хозяин остановил.

— О том, чтобы совсем закрыть Акбуйратский рудник, и речи быть не может. Это вылилось бы в большой скандал.

Всегдашняя оглядка Ушакова на главного компаньона, вечная боязнь, что тот устроит скандал, вывела Бернера из равновесия. Он даже покраснел, продолжая доказывать:

— Акбуйратская медь встанет нам в два с половиной раза дороже нильдинской. Это же — убытки!

— Не в том дело... — медленно заговорил Ушаков и оборвал себя. Хотел было о Рязанове, но перевел на другое. — Акбуйратская руда рядом с заводом — это при наших условиях большое преимущество. Сами же говорили, как трудно с транспортом. И потом, как вы думаете, во сколько нам обойдется весть о закрытии рудника компании? И притом компании, только-только вставшей на ноги... Да, кстати, компаньоны решили переименовать наши предприятия. Акбуйратский завод теперь будет называться Спасским, здешний рудник — Воскресенским, а Нильдинский — Успенским. Привыкайте к новым названиям.

— О звучные, красивые имена! Имена, по-моему, самых почитаемых русских праздников!

Некрасов улыбнулся. Бернер увидал улыбку и засомневался:

— Разве не так?

Ушаков развернул перед инженерами аккуратный свиток плотной бумаги. Это была карта предприятий компании: Караганды, Акбуйрата и Нильды.

— Здесь, на Спасском, — показал знак Акбуйратского рудника, — оставим сто человек. Остальных сюда. К маю надо довести в Успенском число рабочих до двухсот пятидесяти. Прошу, подумайте обо всем и представьте ваши окончательные суждения завтра к вечеру.

— Вот это хорошо. Очень хорошо, — одобрили инженеры. Бернер повеселел, стал расспрашивать Ушакова о поездке:

— Как съездили?..

— Прекрасно. Можно сказать, теперь все в порядке! — улыбнулся довольный Ушаков. — По крайней мере лет десять можно без помех работать, встревать больше никто не будет. Господин Рязанов успокоился и даже больше того — подобрел.

— Да мы и сами это почувствовали. Недавно принимали тут опытных рабочих с Урала. Послал ведь.

Бернер заметил усмешку на лице Ушакова, поднял бровь:

— Или на это есть другие причины?

Он считал себя проницательным, тонким человеком — не чета этим русским! И все-таки часто попадал впросак перед теми же русскими.

Неожиданная сговорчивость Рязанова была вызвана действительно другой причиной, и притом причиной скандального свойства. Надо ли посвящать в это подчиненных? Ушаков колебался. Но Рязанов так досадил ему бесконечными придирками, помехами в работе, что захотелось отвести душу.

— Вам, наверно, известно — господин Рязанов между другими делами задумал открыть навигацию по рекам Сибири — пароходное сообщение. Получил на этот счет особые привилегии и вот уже два года везде трубит о своем новом предприятии. Понавешал саженные рекламы. Голландию за пояс заткнуть захотел!

В глазах инженеров — любопытство, слушают с большим интересом.

— Ну и выстроил... Один пароход за два года! Спустил своего «Иоанна» на воду и отправил из Тюмени к Тобольску. Полз этот «Иоанн» месяц и восемнадцать часов. А там всего-то двести пятьдесят верст. Едва дополз

и совсем выдохся. Теперь только на кладбище! — Ушаков увлекся, кое-что и от себя добавил, приукрасил.

— Отчего же так получилось? Неправильно рассчитали корабль?

— Какие уж там расчеты? — рассмеялся Ушаков. — Родной брат Ноеву ковчегу! Неповоротливая плоскодонная махина, а двигатель — всего в тридцать шесть лошадиных сил!

— Узнаю нашего скупого рыцаря. Золота девать некуда, а погнался, видно, за дешевизной, — догадался Бернер.

— Нет, Карл Карлович, не угадали. Этот «Иоанн» — золотой корабль! Можно сказать, самый дорогой корабль нашего века. Знаете, во сколько обошелся? В семьдесят одну тысячу — копейка в копеечку!

— Нич-чего не понимаю...

— А что тут понимать? Подвел вечный его интерес — побольше схватить добычи. О вместимости все заботился — побольше бы рыбы да рыбьего жиру увезти. А о том, как тянуть этот груз — не подумал. Ведь пароход своим ходом идет, да еще против течения. Вот и стоит этот «Иоанн» в Тобольском заливе. Говорят, на перекатах тащили его тридцать пар волов... Вроде бурлаки на Волге! Не знаю, конечно, все ли тут правда. Трудно поверить такому...

— Выходит, совсем опозорился! — Бернер тонко улыбнулся.

— Хорошо бы себя — Россию опозорил, русскую технику! — возмущался Некрасов.

— Стоит «Иоанн» в затоне, а на нем три тысячи пудов сельди да пять пудов рыбьего жира. Это взамен тех семидесяти одной тысячи рубликов! Охрану, говорят, выставил. Круглые сутки караулят, чтобы никто не подошел. Позор свой скрывает. Ну, а Тобольск, слыхать, признателен Рязанову: от крыс освободился, все перекочевали на его посудину.

— Теперь понятно, почему он был добр. Видно, пришлось уволить рабочих?

— Да, господину Рязанову все-таки пришлось закрыть два прииска на Урале. Эти рабочие, что пришли сюда, оттуда. Теперь Рязанова не узнать! Да... Насчет рабочих. Мне сказали — шестнадцать человек из шестидесяти до Караганды не дошли. Надо известить Рязанова. Может, выдаст все же пособие семьям своих рабочих...

Как рыскал волком Попов по казахской степи, снимая с нее сливки, так Рязанов обнюхивал обширный край от Урала до Енисея. С пароходством не вышло, понес тяжелые убытки, закрывал прииски. Ушакову бы обеспокоиться — главный компаньон разоряется! А он не может скрыть удовольствия — радуется его беде. Очень уж досадил Ушакову этот заносчивый барин.

— Смех смехом, господа, но давайте вернемся к нашим делам. А то, как бы и Рязанов однажды не посмеялся над нами, — посерьезнел Ушаков.

— Вряд ли! Смеяться над нами ему не придется. Наш корабль на мель не сядет. Питание обильное, значит, и тяга хорошая. Запасов угля много. Караганда, говорили мне, значит — густая черная кровь. Наше дело может считаться самым полнокровным в этой степи. Вы только взгляните на дорогу — вон сколько пищи везут! — Бернер показал на обозы, тянувшиеся к заводу.

— Это вам Жусуп перевел? Он наговорит, верьте таким толмачам. Караган по-латыни — Caragana pigmata! Это и есть тот самый кустарник, которым вы три года обжигали руду. А Карагапда — место, покрытое этим кустарником, вот и все. Кстати, Нильда идет от слова «ниль» — синька, медный купорос! Или возьмите такие названия: Борлы — меловой, Жезды — медный, Алтынды — золотоносный. Или еще: Бугылы — олений, Алматы — яблочный, Кундызды — соболиный. Названия сообщают о том, чем богаты эти места. Народные названия точны. Знать их очень полезно.

— Согласен с вами. Только Алма-Ата, по-моему, в переводе — отец яблок, — не уступал Бернер.

— Уж вы не спорьте, Карл Карлович! Двадцать лет как-никак интересуюсь казахами и их степью. Кое-чему научился. Не Алма-Ата, а Алматы, иначе: алмалы — богатый, обильный яблоками. Поверьте уж мне. И я вам говорю: названия эти — ключ. Попробуйте задайте где-нибудь в ауле вопрос: нет ли, мол, тут серебра, угля, меди? Вам в ответ будут только головой качать. А спросите, как вот тот холм называется? Непременно узнаете, где лежит сокровище. Запомните это.

Беседу прервали громкие крики. К заводу подходил обоз Ибрая. Заглушая звон колокольчиков, сея страх на всю окрестность, гремел голос самого Ибрая — подрядчик крыл на чем свет стоит и обозников, и волов, и завод. Ушаков и оба инженера вышли на крыльцо.

Заводское начальство всегда радовалось прибытию этого обоза. Радовалось так, как могут только радоваться жители далекого морского острова прибытию корабля. Этот обоз был самый большой из всех и самый надежный. Артели из степняков с наступлением зимы развалились. Ибрай остался почти единственным подрядчиком завода. Оттого и гремел голосом на всю округу, очень стал важный, совсем бай! Возчики у него управлялись по двое с десятью волами. Того нет, как у бедняков, чтобы каждый тащился за собственной упряжкой. Обоз так и поделен на десятки. На каждую десятку один колоколец — звенит на первой, ведущей, паре волов. И чудо-кузница всегда при обозе! Вот как наладил дело Ибрай! Есть отчего загордиться. Имя его на устах у всей Сарыарки.

Обоз остановился. Двести саней выстроились по десяткам, словно войско. Первые подводы уже разгружались, сваливали уголь у заводских ворот. Последние темнели еще на том берегу речки Кокозек. Черный угольный вал у ворот был похож на гриву вороного коня. Он рос на глазах. Сам Ибрай крутился на коне, зычно покрикивал и на своих и на заводских жигитов — тех, что таскали уголь на носилках внутрь, к печам.

— До сих пор не разобрались в заводских порядках! Пришел обоз — очищай дорогу! Путаетесь под ногами!..

И вдруг увидел Ушакова и инженеров. Тут уж он от старания словно взбесился.

— Эй! Глубже, глубже бери, не сломаешься! Выше кидай!.. Не оставляй, подбери все... Крошки и то золото!

Ушаков усмехнулся. Известная привычка — из кожи лезть на глазах у начальства. Но поощрить надо, и он окликнул:

— Ибрагим Кулжанович, Ибрагим Кулжанович!

Ибрай мгновенно, словно колпачок — томагу — с глаз беркута, сдернул с головы тымак. Закивал часто и глубоко и стал похож на лошадь, отбивающуюся от мошки. Сходство подчеркивала и незагорелая белая полоска лба — конь с лысинкой!..

Огрел камчой коня, подлетел к хозяину.

— Здрасти, Никон Ибрахим, здрасти!.. Здравия желаем!

— Ну, спасибо тебе, Ибрагим Кулжанович. Завод тобою доволен.

— Как же иначе, стараемся — дело ведь казенное! Все мы — люди казенные.

Ибрай хитрил. Он до сих пор не мог разобраться, кто над ним главный хозяин: Игилик или Ушаков. Вот и нашел подходящие слова — люди казенные! А что сам он, Ибрай, — опора завода, в этом он и не сомневался.

— Молодец ты! Хорошо придумал насчет походной кузницы. И с бубенцами... Молодчина!

— Кузницу, это он мне помог, — Ибрай показал на Некрасова. — Оказывается, тоже большой мастер.

— А ты совсем не похож на других казахов. Делаешь все основательно, надежный ты человек.

— Что знает казах? Спать только — и все! — Ибрай и правда поверил, что он особенный, и ему захотелось поговорить.

— Ладно, Ибрагим. Потом загляни ко мне, потолкуем, — сказал Ушаков и зашагал к заводскому двору.

Ему не терпелось поскорее увидеть свой завод, услышать грохот самого его сердца.

Завод — огороженная площадка на прибрежном холме — был полон дыма и гари. Казалось, тут палили туши целого стада свиней. Две высокие каменные печи метали в небо языки голубоватого пламени. К ним нельзя было подступиться. Жар душил, остро пахло чем-то незнакомым, новым для степи... Над печами, как над пожарищем, висело черно-кровавое облако. Снег вокруг пропитался гарью. Рабочие в войлочных фартуках и таких же колпаках и рукавицах напряженно следили за тем, что делалось в печах, вслушивались — там внутри что-то булькало, кипело. В руках у рабочих наготове длинные железные ломы. Капельки пота, будто множество черных пиявок, усеяли закопченные лица. Люди то и дело вытирали рукавами застилающий глаза пот, и тогда на миг из-за копоти проступала белизна лица.

— Назад, Толеу! Отходи назад! — крикнул своему напарнику русский рабочий. Он всадил лом острым концом в узкое отверстие у самого основания печи. Вырвались первые струи раскаленного докрасна шлака, мельчайшими звездочками рассыпались по каменному настилу печи. Толеу испуганно отпрянул. Ушаков улыбнулся. Жигит, видно, новичок — еще не привык.

— Каждый день этим двум подавай девятьсот пудов корма. Только подавай! — показал Бернер на печи.

— Да, таких печей у Попова, пожалуй, нет! — с удовольствием сказал Ушаков.

— То ли будет, когда доживем до горячего дутья! Сейчас все еще холодным воздухом поддуваем.

— Доживем, Карл Карлович, доживем!.. Я от своих обещаний не отрекаюсь.

Из пробитой щели, как змея из норы, вынырнула вдруг струя расплавленной меди. Дымясь и шипя, полыхая жаром, скользнула по желобу и устремилась в яму, выдолбленную в каменном грунте. Медь радужно играла, волновалась. Казалось, это была не яма, а озеро в буранный день. Края постепенно запузырились пеной шлака. В середине тускло, словно потертое зеркало, поблескивала тяжелая медь. Жадный блеск вспыхнул в глазах Ушакова. Заводчик так и уставился в это тусклое зеркало.

— Поторопился, Неверов!.. — укорил Бернер рабочего. И к Ушакову: — Перед вами захотел покрасоваться. Полчаса недодержал, выпустил плавку.

Ушаков не слушал. Он смотрел, как огненная змея заполняет озерцо, — видел только это...

Опытным глазом прикинул — сколько из жидкой массы пойдет на пользу ему? Да, шлаку тут будет на добрых девять десятых. Одна десятая — черновая медь. Ее снова придется переплавить, и не раз... Так что чистой меди получится всего ничего... Вспомнилось, как предупреждал Бернер: дедовским способом начинаем, рано или поздно, а пожалеть об этом придется. Тревога скребанула по сердцу. Лучше сейчас не думать...

На заводе появились уже машины. Но что это были за машины! Каждая сама рассказывала о себе: откуда, что испытала, чем больна. Одна — старушка, видавшая виды, глухо кашляла. Другая была, казалось, помоложе. Но зато тянула как-то плохо, вроде робела, — плод детской мысли ее творца. Третья, вся расхлябанная, приплясывала на ходу, прыгала, грохотала, смеялась дурацким смехом.. Четвертая скрипуче ворчала, жаловалась на какие-то обиды. Словом, сброд. Сошлись, словно люди из разных племен. И цвет, и голос, и сила, и возраст — все разное. Если эта «техника» все же работала, то только благодаря тому, что русские инженеры приложили к ней свою смекалку. Да и выхода не было — рассчитывать на другое не приходилось.

Человеку, смыслящему в технике, достаточно было только взглянуть на это сборище, чтобы тут же определить, откуда какая машина родом. Вот эта — гордая анг-

личанка, та — стеснительная швейцарка, а эта, конечно же, игривая француженка!

Машины, какими бы они ни были, свою работу выполняли довольно быстро. Но темп задавали не они. Все промежуточные работы делались вручную, чернорабочими. От их малопроизводительного труда и зависел выхол меди. Вот на эту беду обратил внимание Ушакова Бернер.

— Никон Абрамович, хорошо бы вам сегодня осмотреть весь завод... Пусть сам расскажет о себе. Увидите, что у нас хорошо, что плохо...

Ушаков с трудом оторвал взгляд от тусклого медного зеркала и пошел за Бернером на другую половину завода.

Тут встретила их все та же дедовская старина. Специальных печей для выплавки чистой меди совсем не было. Чтобы освободить руду, а затем черновую медь от примесей серы, от шлака и чугуна, их пропускали через три печи. Иной раз даже дважды через одну и ту же. И все же медь получалась недостаточно чистой.

— А это что за печь? — заинтересовался Ушаков. — Тут, я вижу, одни жигиты управляются?

— Да, одни жигиты. Быстро освоились. Это шпляйзоффен. Только они дали ей свое имя, зовут — сорпанай.

— Сорпу, значит, варят, бульон! — засмеялся Ушаков.

— Ну что, Данияр, скоро твоя сорпа закипит? — спросил Некрасов одного из рабочих. Поручить эту печь казахам — была его мысль, он сам и обучал рабочих.

— Еще пятнадцать часов. Час назад сняли черную пену.

Сорпа еще не готова — жир не вытопился. Данияр с важностью произносил: «пятнадцать часов», «час назад», при этом смотрел на висевшие неподалеку ходики, показывал, что работает по всем правилам, как положено.

«Сорпанай» тоже пришла от дедов. Из первой шахтной печи выходил медный штейн. Его загружали в шпляйзоффен — сорпанай. И кипятили тридцать пять часов подряд. Мешали, давали отстояться, снимали пену и опять кипятили... Ровно половина плавки отходила в шлак. Его снова смешивали с измельченной рудой и засыпали в первую, шахтную печь. А очищенную медь опять кипятили. Получалось по поговорке: «Пятеро отдают двум, двое — тридцати, тридцать Жапеку, а Жапек возьми да и столкни под откос». Несчастная руда, пройдя

все круги ада, попадала под конец в «сорпанай» и затем поступала в горновую. Выход чистой меди получался ничтожный, — как раз, чтоб Жапеку столкнуть под откос.

— Сколько пудов загружаете в этот ваш «сорпанай»? — поинтересовался Ушаков.

— Двести пудов черновой меди и столько же угля...

Осталось осмотреть горновую. Там Ушаков наконец мог увидеть результат всей работы.

Двое рабочих большими ковшами на длинных палках разливали готовую медь по изложницам. Ушаков ускорил шаги.

В прямоугольных формах — изложницах, дымясь, остывала разлитая медь. Тяжелая жидкость сначала полыхала красно-коричневым жаром, но постепенно меркла, гасла — казалось, засыпала, бледнея. Рабочие щипцами вынимали затвердевшие медные кирпичи, окунали в каменные чаны, в воду с примесью смолы. Медь снова как бы вспыхивала — краснела, будто от возмущения. Остывшие кирпичи — теперь они назывались «чушки» — рабочие очищали от окалины, и наружу выходил новый блеск — темно-красный блеск готовой меди. Пуд такой меди обходился заводу в тридцать два рубля. Все, кто трудился, чтобы получить ее, оказывались рабами этих тридцати двух рублей: и возчики, коченевшие с обозами на степной дороге, и рабочие — и те, что тесали камни, добывали руду, копали уголь, и те, что обливались потом у адовых печей. Покорились этой власти инженеры, подрядчики и сам хозяин, который любовался блестящими лысыми головками медных чушек — итогом всего труда. Разница была только в одном — рабочий надеялся получить копейки, инженер — рубли, а хозяин рассчитывал на тысячную прибыль.

— В день выходит сорок пудов чистой меди. Пока так получаем. Думаем с будущего месяца увеличить вдвое, а может, дадим и побольше. Что-нибудь до девяноста пудов, — сказал Бернер. Он, видать, давно подсчитал и хозяйские доходы, и те рубли, что должны осесть в его кармане.

Пошли дальше. Ушаков в делах завода не новичок. Ухо сразу уловило тяжелый кашель камнедробилок.

— Они у вас обе скоро развалятся. Смотрите, чтобы не завалило кого.

— Вот об этом я и твержу, Никон Абрамович... Все оборудование, что пришло от Рязанова, такое... Постарал-

ся сбыть негодный хлам. Сюда отправил, а надо бы на кладбище. Только безвыходность заставила нас возиться с этой рухлядью. Рано или поздно, а все равно придется выбросить. И лучше рано, чем поздно...

Ушаков вздохнул. Знает и сам, что за оборудование прислал Рязанов, да еще в счет своего пая! Надо бы проучить его. Эти дробилки скоро развалятся. Пусть же развалятся поскорее, пока не прошло трех месяцев. По уговору через три месяца после пуска убытки пойдут уже за счет всех пайщиков. Ушаков, придавая словам особый вес, сказал Бернеру:

— Машины ненадежны, ни одна не огорожена. Того и гляди, обрушатся. Смотрите, за безопасность рабочих спросится с вас. Вы же управляющий заводом!..

Бернер тотчас уловил мысль Ушакова.

— Да, вы правы. Дробилки еле дышат. Большая, большая опасность. Не сегодня-завтра развалятся. Я продумаю. Завтра и решим, чем их заменить. Не беспокойтесь.

Хозяин продолжал обходить завод.

В стороне стоял сарай. Там, вскидывая серые от пыли молоты, дробили породу человек тридцать рабочих. На первый взгляд казалось, что тут работают не люди, а степные каменные бабы. Так ровно выкрасила их серая пыль — с ног до головы. Ресницы, усы, бороды, носы — все будто высечено из камня. Только глаза блестели жизнью. Было странно видеть, что эти каменные люди двигаются, что они нагибаются. Падали и падали железные молоты... Люди беспрестанно чихали. Многие хрипло, тягостно кашляли. Люди были сильно изнурены. Лица истомленные, щеки втянуты, из воротников торчат худые, тонкие шеи. Мальчик-подросток и две женщины в широких шалбарах выбирали куски пустой породы и откладывали в отдельную кучу. На женщин особенно страшно было смотреть. Лица их, точно испеченные, совсем ссохлись. Трудно им приходилось. Начальство требовало работы — чтобы не пропускали пустую породу, а рабочие ругались, если женщины откладывали слишком много кусков.

— Вы что, насквозь видите?

— Зачем бросаешь? Смотри, вон блестит. Это что — не медь? — указывали на едва заметную крапинку.

— А ну отходи, пока цела! Хочешь пинка заработать? — начинал кто-нибудь загораться...

Каждый отброшенный кусок — неоплаченный труд. И еще какой труд! Женщины не смели спорить. Поплачут и снова за камни — не зря же им платили их копейки. Только после пинка остерегались подходить близко к рабочим, а если все же приходилось — посылали мальчика:

— Эй, Танжарык, подай вон тот камень! Он без руды.

Когда Ушаков с инженерами вошел в сарай, рабочие, словно заждавшись гостей, дружно поднялись навстречу. Застыли, глядели на хозяина. И правда — настоящие степные каменные бабы. Некоторые зажимали в кулак носы — боялись чихнуть.

— А-ап... — запнулся Ушаков, лишь только раскрыл рот, чтоб сказать рабочим что-то. И чихнул: — А-ап-чхи!

Рабочие чего-то ждали от него. Хозяин перевел кое-как дух, чтоб не чихнуть снова, и мягко заговорил:

— Ну, как живете? Как работается? Сколько получаете?.. За пуд дробленой меди сколько вам платят? В день выходит сколько?

— Три копейки получаем за пуд... — сказал один из рабочих и, глотнув пыли, чихнул. Он засмущался, спрятался за других.

Люди посматривали один на другого — кто же дальше будет говорить? Выступил вперед немолодой уже, жилистый дробильщик. Из-под густого слоя пыли на руках, на шее проступали натруженные вены.

— В день оборачивается копеек до шестидесяти, если, конечно, силы хватает, — он говорил, держась двумя пальцами за нос — защищал ноздри от пыли. — Чуть свет приходим, уходим ночью... Жалоба у нас есть... Почему не засчитывают те камни, что бабы отбирают? Их разве мы не дробим? Дробим. Не наша вина, что в них нет меди. Вот мы и ругаем баб: глазастые больно. Иной раз и стукнешь... Не заставляйте нас зря работать. Нет в этом толку...

— Правильно!.. Пусть нам за все платят!.. И за те камни тоже!.. — выкрикнул кто-то. И все загудели, заговорили.

— А много попадается кусков без меди? — спросил Ушаков женщин.

Женщины молчали, точно совы, хлопали глазами. Вопрос они поняли, конечно, но казашка того времени была безмолвной. Глаза ее видели, уши слышали, все она разумела, только рот молчал. Не годилось женщине раз-

говаривать с чужим мужчиной. Вот и была их мысль неповоротлива, речь непослушна.

Вперед выдвинулись разом трое рабочих.

— Пятьдесят—шестьдесят пудов в день зря пропадает! И так уже давно... Разве по-честному это!

— Пусть за все платят!..

— Целыми днями пыль глотаем, всю грудь забило!.. Пусть платят!

Зашумели и остальные.

— Где ваш десятник? — пришел на помощь хозяину Бернер.

Рабочие расступились. Они сумрачно смотрели все в один угол и молчали — пусть хозяин видит, что там.

А там в темном углу сидел их десятник — бывалый опытный рабочий Мунайтпас. Опирался руками о камень, тяжко дышал, и слезы катились из покрасневших глаз, падали мутными каплями на бороду. В углах губ пузырилась кровавая пена. Мальчик Танжарык суетился вокруг него, укутывая ноги чекпеном — не знал как помочь. Десять лет тому назад Мунайтпас приехал в Акбуйрат. И все это время проработал здесь, на руднике.

— Что с ним? Нездоров?.. — растерялся хозяин.

Рабочие угрюмо взглянули на него и расступились еще шире — сам должен видеть...

— Ну, пусть... Пусть отдохнет... Освободим недельки на две, — поспешил сказать Ушаков.

Рабочие упорно молчали. Ушаков читал в их глазах: «Какой отдых! А семью кто будет кормить?..»

Досадно стало хозяину на себя, неприятно — повел себя не так, как надо бы. Заторопился поправить дело.

— Насчет пустой породы правильно говорят... Платить надо! — повернулся к своим инженерам и тут же к рабочим: — Будь по-вашему. Вперед будем платить за все. Но уж теперь смотрите, чтобы женщины не пропускали ни одного куска без меди! Сами им растолкуйте.

Сказать бы ему это раньше! Осыпали бы благодарностями. А теперь даже спасибо не услышал. Молча разошлись по своим местам. За что благодарить им хозяина? Не на их просьбы ответил, вид умирающего Мунайтпаса вынудил — совесть заговорила. А так и не подумал бы о них... Работа пошла своим ходом. Застучали молоты, зазвенели, разбиваясь, камни. Все — как прежде.

Настроение Ушакова упало. Так хорошо началось это утро, и надо же... Пустяк ведь, невелики деньги — всего

каких-нибудь полтора рубля в день. И что тянул, почему не уступил сразу? Избавился бы от этого тягостного разговора, похожего на суд...

Больше он ни о чем не говорил — ни с инженерами, ни с рабочими. Не поинтересовался даже, как идет обжиг руды — прошел равнодушно мимо дымящихся куч. «Одно к одному, — мрачно думалось ему. — Все как прежде — и породу дробят вручную, и руду обжигают боялычем да караганом». Забыл, не заметил, что тут уже не боялыч горел, а уголь Караганды.

Всегда гостеприимный, Ушаков на этот раз не пригласил инженеров зайти с ним в дом, посидеть. Только уже в дверях сказал:

— Прошу вас, пожалуйста, никаких мер против дробильщиков не принимайте. Что были неучтивы, я сам виноват. Не трогайте их. Хороший урок нам! Так всегда: бережешь копейку — теряешь рубль. Спасибо им надо сказать, вовремя урок преподали.

Он замолчал. Но все еще не входил в дом, что-то обдумывал.

— Вот еще что, Карл Карлович! Завод пущен. Думаю, теперь можно и без суматохи налаживать дело. В суете да в спешке мы многое упустили. Вы, Карл Карлович, не обижайтесь. Это я не против вас. Но пришло время нам оглядеться и серьезно все продумать. Вот хоть бы расценки! Верно ли это — всем одинаково платим? Одни у нас ничего не делают, другие, как эти дробильщики, с ног от работы валятся. А есть и умельцы! Их тоже ценить надо. Подумайте над расценками. Не в наших интересах отпугивать рабочих. Шутить с ними нельзя, особенно с бывалыми. Я говорю о рабочих-казахах. На них наша главная ставка. Русских у нас не много, да они и сами себя в обиду не дадут. Я категорически против того, чтобы из-за копеек терять обученных рабочих и искать новых.

Бернер послушно кивнул головой, достал из кармана записную книжку в кожаной обложке, пометил в ней что-то.

Ушаков продолжал:

— И еще... Условия труда!.. Нельзя ли что-нибудь предпринять, уменьшить эту пыль в дробильном цехе! Ведь когда станут дробилки, вся тяжесть полностью падет на плечи этих рабочих. А они уже сейчас в могилу смотрят. — Он нахмурился.

— Да-да, — согласился Бернер. — Трудно, особенно зимой... Да и медь теряется вместе с пылью... Что-нибудь надо сделать. Подумаем.

Ушаков вспомнил вдруг, как возмущался Рязанов, когда осенью осматривал дробильный цех. «Непочтительные! Чихают при хозяине! Культуре учить надо!»

— Помните, Карл Карлович, как Рязанов осенью нам тут о культуре толковал? Прежде всего о своей культуре должны подумать. От нашего бескультурья все идет. На рабочих грешить тут нечего.

Инженерам еще не приходилось видеть Ушакова таким мрачным. Обычно он был добродушен, приветлив. Сегодня же хозяин недоволен, раздражен. В таких случаях лучше молчать.

— Вечером обойду бараки. Сам все осмотрю... Как они живут? Нельзя допускать, чтобы рабочие и их семьи гибли на нашей работе. Хочу познакомиться, увидеть, в каких условиях живут их дети. Много ли умирает?.. — Ушаков остановился — собрался закурить. Видно было, что думает дальше развить свою мысль. В это время послышался звон колокольчиков. Легкие сани быстро приближались к дому. Это ехал Сикорский. Ушаков сам вызвал его. Никон Абрамович не стал дожидаться, когда управляющий Карагандой сойдет с саней, пошел в дом. Пригласил на этот раз и инженеров с собой.

На Ушакова страшно было смотреть — так он вдруг потемнел. Глаза затуманило, брови свело. Была причина его гневу, и он готовился обрушить все сегодняшнее недовольство на голову Сикорского. Бернер и Некрасов понимающе переглянулись за спиной хозяина.

— Ты что, собачий сын, придумал?.. Распоясался!.. — накинулся, не сдержавшись, как только прибывший ступил в комнату.

Сикорский сдернул с головы ушанку, сказал: «Здравствуйте!» И больше ничего не смог вымолвить — растерялся. Боялся даже глаза поднять, не решался смотреть в лицо хозяина. Взгляд его уперся в сердито сжатые кулаки Ушакова. Здоровенные кулаки! И, видно, имеют привычку прохаживаться по чьей-нибудь спине. Сикорский сник. По залысинам пошли буро-красные пятна. Они просвечивали сквозь жидкую длинную прядь, которой Сикорский покрывал свою плешь. Закоченевший на морозе нос отошел в тепле, и на самом кончике повисла прозрачная капля.

— Нос утри! — рявкнул Ушаков, не зная, как еще выразить свое отвращение к этому человеку.

Каких угодно оскорбительных слов ожидал Сикорский от хозяина, только не это! Дрожь пробежала по всему телу. Казалось, кипяток проник в жилы и волной прошел от ног к голове.

Ушаков размашисто прошагал из угла в угол. Резко повернулся и опять закричал:

— Свои законы устанавливаешь?! — Не хватило слов, чтобы вылить хоть тысячную долю душившего его гнева, и он самым грубым образом замысловато выругался. Сикорский попытался что-то сказать, оправдаться.

— Молчать! — рыкнул Ушаков.

Управляющий опять застыл. Весь вид его говорил: «Молчу и покоряюсь, только не трогай!» Внутренне он молил бога: «Помоги!.. только бы не стукнул сейчас, на глазах у инженеров!»

— Мы рабочих ищем!.. А ты... ты что делаешь?.. — наконец выговорил Ушаков. — Вражду разжигаешь! Драки захотелось! Хочешь, чтобы казахи и русские перебили друг друга? Это тебе надо?..

Сикорский молчал.

— Что ты русским о здешних жигитах наговорил? Зачем мешаешь им ладить друг с другом? Почему не даешь уральцам учить жигитов? Велел я тебе обучать казахских рабочих? Велел или нет?... Тебе велел или кому еще? Отвечай, подлец!.. — Ушаков не мог сдержать себя. К гневу на Сикорского присоединилась досада за сегодняшний день, и все это вместе заставляло кричать. Он сам чувствовал — надо кончить. Пора сказать по существу, о деле. Распорядиться толком насчет казахов и русских рабочих. Но замолчать не мог.

Инженеры недоуменно переглядывались. Бернер был недоволен. Ему казалось, хозяин нарочно пригласил их сюда, чтобы послушали, как он распекает подчиненного.

Наконец Сикорский решился вставить слово.

— Господин Рязанов, когда направлял меня сюда, дал ряд важных указаний... Я и следовал этим указаниям в своей работе. — Он говорил вежливо, сдержанно, как бы подчеркивая этим значительность своих слов. Рязанов — вот какая опора стоит за ним!

— Ах, вот оно что! Так это тебе господин Рязанов приказал натравливать рабочих друг на друга? Он так распорядился? Велел тебе разваливать производство?

И беречь копейки, чтобы терять рубль, тоже он велел?! — еще яростнее набросился Ушаков.

— Н-нет... Нет... Я хотел сказать...

Ушаков не дал договорить.

— Жаль. Жаль, не вывел тебя на чистую воду там, на месте, перед рабочими. Надо бы так сделать. А я пожалел... Напрасно! — проговорил медленно, тяжело и вдруг рявкнул так, что стены дрогнули: — Вон! Вон отсюда, подлец!

Сикорский сжался. Опустив голову, вышел.

8

Круглая лысая луна затопила холмы Акбуйрата голубоватым светом. Она довольно сияла на гладком темно-синем шелке неба и, казалось, любопытствуя, смотрела на степь — что там творится? А белая степь, вся в морщинах — холмах и оврагах, приумолкла, затаила дыхание. Не крутил ее дикий ветер, не бесилась, лежала спокойно. Весь край притих, слушал грохот медеплавильного завода. Ближние и дальние холмы словно подались вперед и замерли, навострив уши.

Длинные трубы — глотки завода, дышали серыми кудрявыми дымами. Прямыми столбами поднимались эти дымы вверх, подпирали низко опустившееся в светлую ночь небо.

Было к чему прислушаться в эту ночь. На заводе творилось что-то необычное. Все здесь двигалось сегодня с особенной быстротой, будто плясало под громыхающую музыку заводских печей. Сновали вперед и назад быстрые тени — жигиты перетаскивали медные кирпичи. Работа машин легкой дрожью отдавалась в ногах, и люди невольно ускоряли шаг. Куда-то девалась усталость, всюду слышались говор, смех, шутки.

В центре всего движения посередине двора сидел на ящике Ушаков. Накинув на плечи черную козью доху, матерым медведем возвышался над всеми. Распоряжения были уже отданы. Ушаков спокойно следил за действиями людей, смотрел, как все выполнялось.

Больше всего суетились подрядчик Ибрай и караванщик Батыраш. Оба — один перед другим — старались попасться на глаза хозяину, показать: «Вот каков я!» Без нужды покрикивали на рабочих, усердствовали, косясь на Ушакова.

— Трогайся с Воловьей отары чуть свет, понял? Тогда успеешь к заходу солнца добраться до пикета у Караганды. Хозяин обещал там завтра быть. Смотри, хоть умри, а будь вовремя! — громко наставлял Ибрай грузившегося Батыраша.

— Эй, двухвостый, ты-то чего лезешь?! Караван Игиликов, груз хозяйский, поведу я, а не ты, — чего встреваешь? Мне толмача не нужно! — так же громко кричал в ответ Батыраш.

— Что ты понимаешь! Я с нашим хозяином десятый год за одним дастарханом сиживаю. Золотой человек! Обидеть такого хозяина грех! Хуже, чем родного отца обидеть... Аллах не простит! — старался еще громче Ибрай.

Немудреный расчет — вот он, Ибрай, из кожи вон лезет для хозяина, не то что этот Батыраш!..

Но и Батыраш не хочет упустить своей доли. Если перепадет хоть капля милости от хозяина — пусть достанется только ему. Огрызается Батыраш на Ибрая и близко не допускает к себе.

Ушаков видит их насквозь. Про себя досадует: когда же вы наконец избавитесь от собачьей угодливости! Но молчит.

Акбуйратский завод отправлял в Петропавловск свою первую медь. Верблюжий караван грузили с полудня — он уже взял три тысячи пудов. Вести этот поезд в Петропавловск должен был Батыраш — опытный караванщик Игилика.

— Ну, Никон Абрамович, расчет оказался верным, — сказал Бернер. — Груза — точно на сто пятьдесят верблюдов. Осталось еще двести пудов, как раз на десять верблюдов. Точка в точку!

Медные слитки укладывались в дубовые, окованные железом ящики, и было похоже — не медь, а поджаристые буханки хлеба лежат там. Два жигита прокладывали между слитками стружки, называя ящики по-казахски «кебеже». Эти кебеже уже стояли в санях, а сани были тоже особенные — на дубовых полозьях.

Работа двигалась споро, весело — со смехом и шутками. Сильные жигиты быстро освоили задачу — строем подносили к саням медные кирпичи и также строем возвращались за следующей партией к каменному сараю — складу. К каждому загруженному ящику подходил с молотком и клещами кузнец Баянды.

Отстранял грузчиков — закрывал крышку ящика только сам, каким-то особым, хитрым способом.

— Секрет! — приговаривал он. Слово это не совсем понятно кузнецу, но так сказал инженер Бернер. Он строго наказал никому не показывать, как запираются крышки. Тяжелые крышки певуче звякали, защелкиваясь. Тайну их замка знал только Баянды.

— Эй, Баянды, говорю! Я же повезу все это до самого Кызыл-Жара. Хоть мне-то покажи этот твой «секрет»! — приставал Батыраш.

— Тебе как раз и нельзя знать. Если хоть один кирпич пропадет, твоих рук будет дело.

Батыраш не обиделся — продолжал выпытывать:

— Ладно тебе! А если раскроется кебеже в пути, закрывать как буду?

— Не раскроется. Предков своих моли — и то не раскроется. Лучше уж заранее лом захвати, иначе не откроешь!

— Да ну тебя! Ишь распушился! Мне сам Игилик сто пятьдесят лучших своих верблюдов доверил. Игилик! Тебе до него, как до бога. Подумаешь, смастерил какую-то там железину. Горе, а не кузнец!

Этого уж Баянды стерпеть не мог — смеяться над его делом!

— Может, твой Игилик и бог, только не для меня. Молись ему, пусть он тебе и верит. А я ни за что не поверю, хоть ты десять раз умри и воскресни!..

— Э, нет здесь бия! Посмотрел бы я!.. — не унимался Батыраш. — Червем пополз бы ты перед ним, мигом выложил бы свой секрет... Подумаешь, дело — кебеже заколачивает.

— Иди зови своего Игилика! Хоть отца его Утепа и деда Казангапа подыми — все равно не скажу! Понял?

Было бы дело в ауле, показал бы Батыраш этому кузнецу! Там Батыраш — гроза. А здесь, на заводском дворе, что можно сделать? Только досадовать на Игилика — как распустил жигитов! Батыраш отвернулся от кузнеца, да так сердито, что всякий мог бы понять — жди мести. Такой обиде только один выкуп — голова обидчика. Но Баянды уже не глядел на него.

К каменному сараю подали в это время большие, окованные железом сани на толстых дубовых полозьях. Тянули их два сильных верблюда. Ушаков обошел сани, внимательно осмотрел.

— Пожалуй, выдюжат!

Человек десять подтащили на волокуше огромную медную глыбу, посаженную на специальную каменную подушку. Она не только величиной, но и очертаниями напоминала улегшегося нара — одногорбого верблюда. Это был самородок, найденный в Нильдинском руднике. Золотом сияла на нем свежевысеченная надпись:

На Парижскую выставку.
Успенский самородок.
Вес — 53 пуда.
Рязанов, Ушаков и К°.

Эти сани должны были доставить медную глыбу через Екатеринбург в столицу Российской империи. А оттуда она поедет в Париж. Провожать самородок, отправляющийся так далеко, собрались все — и рабочие и инженеры.

Глыба стояла на заводском дворе уже давно. Все много раз видели ее, привыкли. Но сегодня каждый должен был обязательно притронуться к ней, погладить рукой, убедиться: ведь надо же — насквозь сплошная медь! Люди переговаривались:

— Такой удивит!

— Удивит? Скажи, язык отнимется, когда увидят.

— Эх, вот бы и сестру вместе отправить!..

«Сестра» самородка, медная глыба в сорок пудов, была отправлена неделю тому назад в дар самому царю.

Но вот верблюды с силой дернули — сани двинулись, заскрипели полозья, и «брат», закованный в железные пояса, одетый в брезент, тронулся в далекий путь. Поехал трубить своей живой красотой о несметных богатствах казахской степи, приманивать сюда обжор со всего света...

Длинный верблюжий караван, гремя и позванивая, спускался с Акбуйратского холма в долину реки Кокозек. Ушаков стоял над обрывом, слушал перезвон колокольчиков, провожал радостным взглядом уходящую медь — первую выплавку Акбуйратского завода. Никогда, казалось, не слыхал он лучшей музыки, не видел во всю свою жизнь красивей картины. Двадцать лет ждал этого часа. Двадцать лет, полных труда, борьбы, сомнений и надежд. Начинала сбываться его мечта...

Вот караван уже пересек долину. Сытые двугорбые верблюды, горделиво вышагивая, потянулись наверх. Вот они уже на другом берегу — уходят в широкую белую

степь, шевелят жирными горбами. Каждая пара горбов как две старушки сплетницы: уселись одна против другой и судят-рядят о соседях...

Был камень, была пыль, грязь, было огненное варево, тяжкий труд. А потом появилась эта чистая медь, и караван увозит ее. Но это еще не все. Медь еще вернется, вернется серебряным потоком, вдохнет новую жизнь в этот Акбуйратский завод и другие заводы, рудники и шахты, которые Ушаков еще построит в степи.

«Прощай, плод моей двадцатилетней муки! Передай англичанам, французам, немцам привет от российских сокровищ, поклон от людей, своими руками создающих богатства!»

День вышел хлопотливый, но Ушаков не чувствовал усталости. И всегда-то он ищет дела, а тут вид этого каравана будто вдохнул в него новые силы. Захотелось что-нибудь предпринять — теперь же, немедленно. На заводском дворе нашел Бернера. Сияя, поздравил, позвал с собой. Бернер пошел охотно. Но Ушаков заговорил все о той же работе.

— Ну, Карл Карлович, мы с вами столкнули сегодня, можно сказать, глыбу. Большое дело сделали. А теперь хочу долг свой выполнить. Давно собирался, да времени не было. А сегодня день подходящий, когда еще такой выпадет? Что, если сейчас и обойти бараки? Еду ведь на рассвете.

Бернер в первую минуту растерялся. Он думал, что Ушаков забыл о бараках. Ведь когда еще собирался — после той неприятной встречи с дробильщиками. Бернер тогда распорядился — бараки кое-как прибрали, приготовились к встрече хозяина. Теперь от тех приготовлений и следа, конечно, не осталось. Пожалуй, радостного настроения хозяина хватит ненадолго.

— Поздновато, Никон Абрамович. Рабочие наверняка спят, — попробовал отговорить.

— А мы посмотрим. Где не спят, туда и заглянем.

Ушаков решительно повернул к баракам. Что оставалось делать? Бернер пошел за ним.

Длинный ряд бараков был как бы вжат в крутой склон холма. Все занесены по самые трубы снегом. Только окна расчищены, да к двери доступ. Снаружи — никого, тихо. Но в оконцах теплился свет. Из труб — дымки, поднимались десятью нитями вверх, размытым облаком висели над бараками. Видно, тут не спали.

Ушакову не впервой было навещать бараки. Не так давно заходил к рабочим в Караганде. Знает, что за жизнь у них. Изменить что-то — об этом он пока и не помышлял. Хотя бы только подбодрить, успокоить на время. Рабочие и тем бывали довольны. Навещает хозяин, значит, помнит, заботится. Дружескому слову радовались. Управляющие в этом отношении — не подмога. Рабочие в Караганде ненавидели своего управляющего. Ушаков и сам бы рад разделаться с Сикорским. И инженер никудышный, и человек подлый. Да вот — Рязанов навязал. Приходится терпеть. А здесь в Акбуйрате управляющим Бернер. Этот — инженер дельный, знающий. Ценный работник. Но и его рабочие не любят. Одно только и знает: работу сделал, деньги получил, и — конец. А как дальше, как живут люди — к этому у него интереса нет. Холодный человек. Вот почему Ушаков обязательно хочет обойти сегодня бараки. Участливое слово — большое дело.

Вошли в крайний барак. Даже бывалого Ушакова поразил его вид. В смрадном полумраке всюду копошились человеческие тела — ступить было страшно. Коптилок в бараке хватало, но горели подслеповато, еле-еле — недоставало воздуха. Ушаков хотел поздороваться со всеми разом и думал в ответ услышать дружное «здрасти». Но где там! С гостями в дверь ворвался морозный воздух и по низу заволок барак туманом. И так было темно, а тут и вовсе — только головы чуть виднелись. В этом тумане никто не узнавал хозяина. Он подошел к ближайшей коптилке.

— Здравствуйте!

— Ойбой! Кто это? Гляди, куман опрокинул! — послышался в ответ голос казашки. И только тогда пожилой рабочий разглядел хозяина. Отбросил свои чокаи — деревянные башмаки, он их чинил у коптилки.

— Вон кто, хозяин! Здрасти! Эй, Турсын, подымайся! — обернулся назад. От стены поднялся молодой казах. Но чтобы подойти к хозяину, надо было перешагнуть еще через двух спящих. Рядом с ним лежали под одеялом две женщины: молодая и старуха. Они тоже приподняли головы. Надо бы и им встать. Но как оденешься — хозяин стоял прямо над головами. Они, стыдясь, натягивали одеяло повыше к шее.

— Проходите, гости!.. — начал было приглашать старый казах, тот, что чинил обувь. И растерянно заулыбался — куда тут пройдешь? Где здесь может быть почетное

место для гостя? Рядом с ним спали два мальчугана. Открыв глаза, они сразу принялись пинать друг друга, тянули каждый на себя старый отцовский чекпен. А чуть дальше уже лежала другая семья. Так же стояла коптилка, так же шевелились под одним одеялом тела. Только кашляли там сильнее и чаще.

Всякое приходилось видеть Ушакову в рабочих бараках, мог бы уж и привыкнуть. И все-таки пробрала его дрожь — под одним-единственным на семью одеялом лежали свекровь и сноха, а по краям рядом с каждой были места их мужей! Это больше всего поразило хозяина. Не видел еще, чтобы так сжимали людей клещи нужды. Ушаков совсем потерялся. Что он мог сказать в утешение этим людям?

А женщины возвели на него глаза, и читал он в них жалобу: «Видишь, мать и сын, свекровь и сноха валяются на одной постели! Разве же мы не люди? Смотри, до чего дошла нужда наша! Забыли, что значит стыд и срам!»

— Как зовут тебя? — спросил Ушаков старшего в семье.

— Жаныс. А это мой сын Турсын, — кивнул на молодого.

— Послушай, Жаныс, как же это вы так?.. Нехорошо ведь... Все кучей спите. И родители и молодые вместе, — не выдержав, сказал Ушаков.

— Не мы одни. В наших бараках почти все так. Сам посмотри... Теснота какая...

— Ну, а отдельно устроиться разве нельзя? Скажем, вы с женой в этом бараке, а молодые — в другом?

— Нет, — заговорил молодой рабочий. Он лучше понимал по-русски. — Вместе мы на копейку живем, а врозь — рубль надо. Лампа... Еда... Старики... Дети... Порознь заработка не хватит.

— Кем ты работаешь?

— На руде, отбиваю...

— А отец?

— Уголь к печам таскает.

— А мать?

— За детьми смотрит, еду варит.

— Ну, а жена твоя что?

— У дробильщиков работает, пустые камни выбирает.

Крепко пришлось задуматься Ушакову. Обычно он сталкивался с другим: один в семье работал, а остальные сидели на его шее. Так полагалось по аульным порядкам.

Тут же вся семья, все взрослые трудились. Не сегодня-завтра и эти малаи, что дерутся из-за отцовского чекпена, тоже побегут — будут выбирать на открытых выработках руду. Трудовая, нужная заводу семья! Надо бы было помочь. Но как, как?..

А тем временем зашевелились и в других углах. К Ушакову подошел высокий худущий старик в одних исподних, широченных дамбалах, без рубашки. На седой голове — старый истрепанный тымак. Усы, борода совсем белые. Лицо сморщенное, изжелта-бледное, как кость. Подошел и, не мигая ресницами, уставился на Ушакова.

— Око мое, а ведь ты, оказывается, наш хозяин! Благодарение аллаху, навестил нас! Э, вижу, не по душе тебе наше житье. Не нравится... Валяемся, как скот... Мать и сын, отец и сноха — все кучей. А ты вот поди у меня посмотри. Два моих сына со своими женами бок о бок со мной спят. Вот как, зрачок мой! Сам — пятый лежу с ними. Вон в том дальнем углу. Загляни уж, жаным, и к нам...

Турсын растолковывал Ушакову, о чем говорил старик. А старику не терпелось сказать еще что-то.

— Я давно уже слепой, ничего не вижу, — заговорил он опять, не дождавшись, пока кончит Турсын. — Все ничего бы. Да наказал аллах — глаза отнял, а слух сделал чутким. Шелохнется кто — тут же слышу. Эх, лучше бы уши заткнул мне, а глаза что — их и закрыть можно. Замучился я совсем. Хоть бы своих только, а то любой скрип, всякий шорох со всех концов барака так и идет в мои уши. Срам какой! Стыд совсем потеряли. Хуже скота... Объясни, хозяин, что нам делать? Скажи!..

Ничего не ответил старику хозяин. Молча пошел по узкому проходу между низкими нарами к дальнему углу. Но и там не задержался, повернул обратно. Можно и не смотреть — везде было не лучше, чем у Жаныса с его сыном. Скорее сказать что-нибудь этой семье да идти. Ведь сейчас все поднимутся, завязнешь в их жалобах. А люди и правда увидели хозяина и начали подыматься. Торопились одеться, посматривали на него. В их глазах, в плаче потревоженных малышей, в окриках матерей, которые старались унять младенцев, в тяжелом кашле мужчин Ушакову слышалась одна и та же жалоба — люди сетовали на тяжелую судьбу, на безжалостно мнущую их жизнь.

— У меня тоже есть семья... — поспешно заговорил с Турсыном Ушаков. — Сам знаешь, завод только что пущен. Сразу всего не можем сделать. Вот и я даже жену не могу сюда взять. Тоже живу в комнатушке — там и работаю, там и ем и сплю. Что поделаешь!.. Постепенно все наладим. А пока надо сделать самим что можно. Пусть разделятся старые и молодые семьи. Кто захочет, может перебираться в Нильду. Работа такая же и заработок тот же. Вот хотя бы ты — переезжай туда с женой. А старики пускай тут остаются. Ты расскажи об этом всем. Может, будут охотники. Все полегче станет. Зла вам я не желаю, но большего сделать сейчас я не могу. Так и объясни людям, ладно?

Турсын безразлично мотнул головой. Хозяин ничего сделать не может — это он понял. А остальное — пустые слова. Здесь, там — все одно и то же. Ушаков и сам это понимал, торопился уйти. Уносил досаду на себя — ведь так и не сумел найти слово, приятное для рабочих, не смог успокоить их.

— Везде так, — заговорил Бернер, как только вышли. — И в Англии и во Франции не лучше. Не зря же в Европе без конца бастуют. Быт рабочих — проблема неразрешимая. Только беспочвенные идеалисты зря тратят на это время, придумывают...

— Я не идеалист, и вам быть им не советую. Коня погоняй овсом, а не кнутом! Известна вам такая мудрость? Рабочие мне нужны для работы, для работы нужны!... Вы слышали, как они кашляют?.. Слышали? Понимаете, чем это грозит? Чахотка! Чахотка отнимает у нас людей, умелых рабочих, понимаете?

— Так всегда в горном деле. Известно, рудничные рабочие редко дотягивают до старости.

— Какое там до старости! Они уже сейчас калеки! В их здоровье прежде всего я, хозяин, заинтересован. Мне нужны рабочие, а не калеки! Не так, чтобы двое-трое еле тянули работу, которую должен выполнять один человек. Хоть бы на Нильдинском руднике усвоили это!

У хозяина не было больше охоты навещать рабочих. Уже повернул было домой. И тут на глаза попали ярко освещенные окна четвертого барака. Интересно, что там делается? Наверно, загуляли по какому-нибудь случаю. И Ушакову захотелось хоть немного облегчить душу, посмотреть на веселые лица.

В этом бараке никто не спал. Ярко светила керосино-

вая лампа. Рабочие сидели кружками на нарах, о чем-то переговаривались.

— А-а, хозяин! — сразу узнали Ушакова.

— Кстати пришли, проходите!

Ушаков быстрым взглядом прошелся по бараку. Все же надеялся отыскать веселье. Но не до того тут было. У самой лампы сидел согнувшись человек. Его придерживали пожилая женщина, видно, жена, и сын — подросток. Человек задыхался, ловил открытым ртом воздух. Мальчик, сурово сжав брови, вытирал лицо отца грязным платком. По щекам его матери катились слезы.

— Кто это? — спросил Ушаков.

— Наш десятник. Мунайтпас, — ответило несколько голосов. — Тот самый... Вы его осенью видели.

Опять Мунайтпас! Снова, как тогда осенью в сарае дробильщиков, Ушаков наткнулся на него. Тогда тоже около него возился этот мальчик. Мунайтпас — старый рабочий. Ушаков помнил его еще по тому времени, когда только начинал рыскать по степи в поисках подземных богатств. Мунайтпас... Ведь это он копал для него шурфы. Как постарел!..

Мунайтпас последние три года работал десятником на Акбуйрате. За всю свою работу на Ушакова вдоволь наглотался рудничной пыли. И вот, не дожив до пятидесяти лет, собрался уходить в могилу.

— Мунайтпас!.. Моньке!.. — Ушаков склонился над больным, заговорил ласково. Но не понять было — слышит его старый рабочий или нет. Все сильнее задыхался Мунайтпас. Подперев языком нижнюю губу, широко раскрыл рот, захватывая воздух. Грудь его скрипела, клокотала, будто там вскипало что-то. Но тело оставалось неподвижным. Он как бы смирился, ждал смерти.

— Моньке, Моньке! Мой старый товарищ, мой спутник!.. — сами собой вырвались у Ушакова слова.

И будто тронуло тончайшую отзывчивую струну в душах людей. Забыли обиды, нужду. Искренний голос хозяина растопил сердца. Народ заплакал. Громко загоревали, затряслись женщины. Много ли надо несчастным — слово сочувствия им кажется дружбой.

А Ушакову вдруг стало совестно за свой порыв. Засмущался, сунул руку в карман, достал горсть серебра — из сочувствия ведь чекпен не скроишь! — и высыпал к ногам умирающего. Не глядя ни на кого, вышел вон — и

прямо к себе. На другие бараки и не взглянул. Торопился. Доняли тяжелые встречи. Не пожелал даже ждать до утра, коротко отдал распоряжения Бернеру и выехал.

* * *

Быстрая езда, колокольчики — лучшее средство против мрачных дум... Приятно было лихо скакать по безлюдной ночной дороге. И голова просветлела, и на душе полегчало.

Ночь стояла безмолвная, лунная. Успокоилась, затихла белая степь. Чувствовалось — зима Арки отступила, повернуло к весне. Но в спокойствии этом угадывалось напоминание: торопись, успей закончить спешные дела до распутицы.

Ушаков летел по дороге и любовался ею. Двумя гладкими лентами бежала она перед ним. Дорога эта — его выдумка. Текут по ней грузы от завода и к заводу, двумя потоками текут — не мешают один другому. В этот поздний час обе колеи были пусты. Обозы стояли на пикетах. Ушаков смотрел — налюбоваться не мог своей дорогой.

Издали чуть донесся звон колокольчиков. Степан Бушуев — он сидел за кучера — придержал коней, звон послышался отчетливей — нескорый, размеренный.

— А ведь это верблюжий караван Батыраша. Не дошел, видать, еще до пикета. Придется нам, Никон Абрамович, перебираться как-нибудь на левую колею. Как думаете? Обгонять будем?

— Что спрашиваешь? Первый раз едешь разве? Без меня как действуешь?

— Я-то?.. Это уж смотря по обстоятельствам. Если у меня дело спешное — обоз сторонится. Ну, а нет — и я подожду.

— Да-а... А если, скажем, и ты торопишься, и обозу надо груз к сроку доставить, тогда как? Кто должен сворачивать?

— Тогда я... — Бушуев чуть замялся, соображал, как бы половчее соврать хозяину.

— ...сворачиваю на проселок к окрестным аулам, к бесбармаку, так? — закончил за него Ушаков. Известны ему повадки приказчика.

— Бывает иной раз. Это правда, — согласился, ни-

сколько не смущаясь, Бушуев. Он знает — хозяину любы прямые ответы. Но Ушаков не расположен шутить. Заговорил серьезно и даже строго:

— Вот что, Степан Иванович! Для чего две колеи проложили, тебе известно. Трудно было втолковать жигитам, как по такой дороге ездить, и то втолковали. Так ты уж смотри, не сбивай дорожный порядок. Медь и уголь никому не должны уступать дороги, пусть хоть сам генерал-губернатор едет. Запомни!..

— Оно конечно, Никон Абрамович! Только знаете, как у нас! На словах обрубили — отрезали, а на деле не тянем — не получается. Все у нас так, начиная с указов царя. Не согласны разве?

Ушаков улыбнулся про себя — приказчик был прав. Но виду не подал.

— Все, да не все! Сколько раз толковать тебе: золото, серебро, медь, свинец, железо и уголь — это особое царство. Живет оно по своим законам. И не вздумай твое «у нас» переносить в наше дело. Российской неповоротливости здесь не место.

— Знаю уж... Отчего еще и брожу один за вами по этой степи. — Бушуев намекал, что ради Ушакова оставил где-то семью.

Резвая тройка скоро нагнала хвост каравана — походную кузницу Баянды. Сам же караван с медью шел далеко впереди, о том доносили глухие медлительные звоны колокольцев. Тройка задержала стремительный бег. Ушаков с интересом посмотрел на окна кузницы. Там шевелились две тени. Одна согнулась, видно, придерживала что-то на наковальне, другая замахивалась и била молотом.

Лошади пошли шагом. Ушаков соскочил с саней, подбежал к кузнечному домику. Стучать пришлось дважды. За грохотом молота услышали не сразу.

Баянды не по обычаю коротко поздоровался, указал хозяину на пень — садись, мол, — и сразу за дело. Захватил из горна железный кус — пришлось бросить туда, когда пошел открывать дверь. Ушакову понравилась такая деловитость: и при хозяине не смутился, продолжает работать.

Баянды придержал железину на наковальне. Другой жигит — широкий в спине, смуглый — замахнулся молотом и точно попал на то место, куда указал Баянды. Удар, еще удар — раскаленное железо податливо расплю-

щивалось, меняло форму. Ушаков не хотел бы мешать работе, но не удержался — сбросил доху, подошел к Баянды.

— Что это ты куешь?

— Ушпыр.

— Ушпыр? Не понимаю. Объясни.

«Ушпыр»... Так казахи называли шпуры — скважины, которые приходилось сверлить в горной породе. Но Баянды, говоря «ушпыр», имел в виду не скважину, а самое сверло. Он очень удивился: как это, Ушаков и не знает ушпыра! Начал показывать, будто вкручивает что-то в пол.

— А-а! Знаю, знаю, — догадался Ушаков. — Кто заказ дал?

«Заказ» — слово кузнецу понятное.

— Пернер, — ответил он. — Двести штук велел! Сорок пет штук готоуа! Хороший железе, каменный железе! — похвалил Баянды, показывая на кучу железных прутков в углу. Он старался вставлять русские слова, чтобы хозяин лучше понял.

Кузнеца Баянды Ушаков знает давно. Но кто этот, второй жигит? Сильный молотобоец! Крепко бьет и точно, даром что кривой на один глаз. Ушаков спросил о незнакомом жигите у Баянды.

— Аята, который в Акбуйрат больнис лежал. Знайшь? Клаз слепой, нога хромой, слыхал?

— А вот руки, вижу, у жигита сильные, умелые. Молодец, жигит! Может, уступишь его мне? Ведь мне еще десять кузнецов нужны.

Баянды ответил длинно. Обычно он не любил терять времени на разговоры. Но тут иное дело. Первое — надо было пожаловаться на Ибрая: «Твой Ибрай-подрядчик собака! Третий месяц ничего не платит жигиту. Все только обещает — корову с теленком даст! А я договаривался на деньги! Вот какой собака!»

Второе, что обязательно решил сделать Баянды, — рассказать, как обидели Жабая и какой он получился хороший кузнец. Эта вторая часть удавалась Баянды плохо. Он старался, то и дело вставлял русские слова и совсем запутал Ушакова.

— Боткин — акт иесь, киргиз лошит карапшит, знайшь? Аята он карапшит. Боткин кумага так писал. Уот: клаз слепой, нога хромой. Хорошай кузнес.

Ушаков понял по-своему. Видно, этот жигит и есть

карапши — конокрад, степной разбойник. Долго они так толковали друг другу, блуждали, теряя последние следы истины. Но главное для себя Ушаков уразумел: этот жигит хороший, дельный кузнец. А если он и «карапши», это не так уж важно.

— Пусть остается в Караганде. Будет получать пятьдесят копеек в день. Пускай завтра зайдет ко мне. Объясни ему.

Двадцать лет ходил Ушаков по степи, знаком был с ее обычаями, но никак не мог понять двух вещей. Вот, например, бий Игилик — держит больше трехсот работников. Но как он расплачивается с ними? Денег Игилик не платил, это-то Ушаков точно знал. Что у них за расчет? И вторая загадка: число работников. Оно постоянно меняется. Летом их больше, зимой меньше. Как все это происходит? Каким путем уравновешивается? Притом бий никаких неудобств не испытывает. Купец Никон Ушаков не мог разрешить эту загадку. Вот и с этим молотобойцем — «карапши» Ибрай тоже задумал повернуть по-аульному. Ушаков попросил Баянды объяснить все это. Видно было, что кузнец сам натерпелся от баев, не зря же так злобно ругал Ибрая.

Кое-что Баянды открыл Ушакову.

С давних времен лучшие пастбища по берегам Иртыша, Есиля и рек-близнецов Нуры и Шерубай-Нуры в предгорьях Каркаралы и в просторных степях Баяна захватили тёре — потомки чингизидов. Аллах знает, когда это было! С тёре издавна же кочевали туленгуты — они когда-то составляли дружину тёре. С того времени, конечно, многое изменилось. Но сословие тёре все еще пользуется влиянием в степи. И в их руках осталось еще много пастбищ. А семьи прежних работников — туленгутов по давней привычке все еще кочуют со своими тёре. Бывает, вокруг юрты бывшего повелителя разбивают до пятидесяти, до ста юрт. Только теперь туленгуты не воины, а работники, прислуга тёре.

— Вот ваш Жумабек, он тоже тёре, — объяснил Баянды. — Только без туленгутов. Лет десять, как их потерял. Обеднял. Сам таскался по богатым аулам — приживальщик Игилика! А теперь — ваш подрядчик. Ожил, поправился... Слыхал я, к лету снова скликает к себе туленгутов. И придут. Куда им деваться после нынешнего джута?

«Вроде нашего крепостного права, — думалось Ушако-

ву. — Тёре все равно что наши помещики, туленгуты — крепостные».

Объяснил Баянды и про Игилика — как он ладит со своими работниками.

— Джут на беду беднякам бывает! А таким, как Игилик, джут — лучший друг. За эту зиму Игилик роздал в долг окрестным аулам тысячи возов сена, до пятисот баранов, больше двухсот лошадей. Выручил, спасибо аллаху! Да еще по весне сотни две кобылиц раздаст — доить на кумыс. Каждый год так делает, выручает родичей да соседей. Помог Игилик — и ему помогать будут. Как не помочь! Сколько потребуется, будут помогать...

Баянды взглянул в окно:

— Э, кажется, к пикету повернули.

Ушаков накинул доху.

— Прощай, Баянды!

— Хош! — попрощались и кузнецы.

Кони, словно ждали хозяина, понесли рысью. До самой Караганды Ушаков молчал, не шелохнулся. Бушуев посматривал на него — не мог понять: спит или думу какую думает? Ушаков и сам не понимал — во сне или наяву приходят к нему мысли. Сначала досадовал на друга своего Игилика. Самый деятельный хозяин в степи и оказался таким отсталым! Тоже действует, как при крепостном праве, а считает себя передовым! Что взять с остальной степи? Потом ему начало грезиться что-то неясное, должно быть, это уж наплыл сон. Туманный, непонятный сон... Но было в нем какое-то беспокойство, забота о чем-то, будто давняя заветная мечта. Вроде бы — узелок, завязанный в душе. И правда, была одна мечта у Ушакова, которую никак не мог осуществить...

Сани остановились у шахты. Только тут Ушаков открыл глаза. Шахта работала в две смены: и ночью и днем.

— Пришли сюда Сикорского. Буди, если спит! — приказал Бушуеву, а сам пошел к рабочим.

Над зевом шахты вращался деревянный ворот. Этот ворот и бревенчатый сруб напомнили Ушакову обычный русский колодец. Только все было крупнее: сруб значительно шире, а ворот намного больше, и вращал его верблюд — белый от инея, ходил с завязанными глазами по кругу. Верблюд приводил в движение большое зубчатое колесо, сцепленное с шестерней ворота.

Десятипудовая железная бадья с громыханьем опускалась под землю. Возвращалась же беззвучно — тяжелая, нагруженная углем или породой. Бадья опрокидывалась, высыпала груз то вправо, то влево. По обе стороны от шахты вырастали насыпи: в одной уголь, в другой пустая порода.

Только верблюд и остался равнодушен к приезду хозяина. Был он нем, как камень, — не роптал, не жаловался. Кружил себе безучастно своим плавным верблюжьим шагом, будто понимал — все равно ничто не изменит его судьбы.

Два жигита, приняв очередную бадью с грузом, опрокинули ее и громко застучали по днищу, как бы выбивая остатки. Они-то заметили хозяина! Ушаков улыбнулся. Известный знак, предупреждали шахтеров — начальство прибыло!

Удивительное дело — этот знак везде одинаков, у всех рабочих мира! Видно, сама жизнь выработала. Наверно, и наши пращуры тоже так стучали-барабанили, предупреждая о появлении врага, о пожаре или еще каком несчастии.

Ушаков залез в бадью, приказал:

— Опускай!

Жигиты захлопнули крышку и, чтобы пришлась плотнее, стали по ней постукивать. «Словно в гроб заколачивают», — слегка передернуло Ушакова. Потом его начало бросать из стороны в сторону. Это рабочие переваливали бадью, подводя к зеву колодца. «И что не сообразил, надо было подождать — сесть перед самым спуском!» — ругал себя Ушаков. Ему стало обидно — неужели уж так тяжела бадья, не могут подвести осторожней! Еще один тяжелый удар — о крышку звякнула железная цепь, Ушакова качнуло, потащило вверх, снова качнуло и — бадья пошла вниз.

Темно, будто глаза завязаны! Мягко ударяется бадья о стенки шахты, медленно ползет вниз. Столько дел за один сегодняшний вечер переделал Ушаков, столько всего повидал! А сейчас будто в другом мире очутился. Какой медлительный спуск! Кажется, век ему конца не будет. Ушакову даже почудилось, будто он проваливается в какую-то черную бездну и нет ему оттуда возврата...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Издревле дыбилась Караганда толстыми загривками холмов. Упирались они — морда к морде, как бы желая столкнуть друг друга, и никогда не сталкивали. Шли века... И вот на теле Караганды появилась новая отметина — длинная щель осклабилась черным зевом. Это был карьер — открытая шахта. Жигиты-углекопы прозвали ее Каражыра — Черный лог. В первое время, пока не достали еще до угля и выбрасывали наверх только желтую глину, про овраг, где шла выработка, говорили: «Сарыауз» — желтый рот. Но теперь новое имя Каражыра прочно закрепилось за этим местом.

Работы двигались вверх по оврагу. Каждая артель долбила свои пятьдесят саженей камня и глины — откапывала уголь. Слово «артель» не прижилось у казахских рабочих, даром что взято было с их же языка. Называли они свои артели «кос» — так говорилось у них в степи, так было привычнее. Жили одним косом, трудились тоже косом.

...Солнце еще не вставало. Тяжелые седые облака нависли над самым горизонтом, казалось, — вот-вот упадут. Но облачный подол уже начал розоветь. Из бараков, будто из нор, выползали поодиночке рабочие. Задерживались у входа, встряхивались от холода — совсем как сурки у нор. Рабочие оглядывали степь, смотрели туда, где остались их аулы, их семьи. В глазах жигитов печаль и забота. Как там? Что с ними? Когда же наконец придет лето? Одни и те же мысли всю зиму — и ночью и днем — душили их.

С лопатой в руке, с кайлом на плече один за другим поплелись углекопы к Черному логу — к Каражыре. Шли неохотно, понуро, словно волы к ярму. Ничего не осталось от прежней ладности жигитов. В ободранных верблюжьих чекпенах, в потертых овчинных тулупах, обуты в тяжелые чокаи на деревянном ходу. Сапоги, в которых пришли сюда, давно развалились. Уродливы, нелепы фигуры людей на белом снегу. Рабочие заторопились: мороз поджигал спины. Чокаи скользили по насту, идти в них было трудно. Люди мелко перебирали ногами.

Осенью весело было глядеть на сильных жигитов — смуглолицые, загорелые, чекпены их сливались с осенней

степью. Теперь и одежда и лица лоснились чернотой — копоть и угольная пыль пропитали насквозь. За всю зиму тела их не пробовали воды. Шли жигиты — будто черные старые вороны с серыми клювами. Обмороженные носы посерели, а щеки были в запекшихся пятнах — как подгорелая печень. Вот что сталось за зиму с вольным степным людом. Не смогли степняки приноровиться к барачной жизни, не умели схватиться с ней, смекнуть — с какой стороны подставить подножку. Трудное время терпели казахи.

Буланбай и Алшагыр шагали со своим косом.

— Булан, теперь, кажется, осталось нам месяц и семнадцать дней, если отбросить сегодняшний, так? — спросил Алшагыр, догоняя товарища.

— А? Каких дней? — не сразу понял Буланбай Алшагыра, он ушел в свои мысли.

— Я говорю, ведь на шесть месяцев взяли нас. Сегодня уже четыре без тринадцати дней. Значит, еще сколько?.. О том дне говорю, когда домой пойдем...

Алшагыр постоянно думал об этом дне, часто говорил о нем с Буланбаем. И теперь ждал одного только слова: «вернемся». Сильно сдал за это время Алшагыр. Отощал, осунулся, скулы выперли, щеки запали. Ясные глаза, в которых раньше так и светилась душа его, теперь потускнели. Одно веко налилось — разнесло от ячменя. В углу другого глаза набилась, не отмыть, черная сажа.

Жалко Буланбаю друга, но утешить нечем. Ответил без обычной шутки:

— Ничего не известно. Может, не ты — аул прикочует к тебе. — Помолчал и добавил: — Боюсь, вперед не уголь будет уговаривать нас, а мы сами ему станем кланяться.

— А правда, что хозяин не хочет отпускать нас? Говорят, Сикорский хотел набирать новых рабочих, а хозяин сильно на него ругался...

— У хозяина своя выгода. Зачем ему новый рабочий? Его еще учить надо, время тратить. А мы уже обучены, знаем, что как делается. Новых набирать выгодно только Жумабеку, ему за каждого по три рубля платят. А хозяину новый в десять раз дороже выйдет. Вот и держится за бывалых. А что нам с тобой выгодно, что невыгодно — скоро увидим...

Он обернулся на шум сзади. Перед вторым бараком, где жили казахские рабочие, копошились на снегу куча чекпенов. Из бараков выходили еще люди, и все — раз-

горяченные, сердитые. Громко кричали, стыдили кого-то. Ругань становилась все громче и круче. Задержались и те жигиты, кто уже шагал к Каражыре. И русские рабочие, направлявшиеся в первую закрытую шахту, тоже остановились, смотрели на свалку.

Вдруг из клубка дерущихся вырвался маленький человечек и юрко побежал по сугробам — прямо в степь. Тымак на его голове сбился под подбородок — так он торопился, летел изо всех сил. Человечек этот был не похож на остальных жигитов. Одежду его не пропитала угольная пыль, ноги обуты не в чокаи — в сапоги. Вдогонку кинулись тощие черные люди. Но куда им? Не догнать верткого беглеца. Не пускают жигитов жесткие чокаи, разъезжаются, скользят. Только одно и смогли — завернули ему в спину еще злее ругань, на чем свет стоит кляли и мать его и отца.

Но один, самый высокий и больше всех запачканный угольной пылью, решил, видно, догнать бегущего. Разогнался было, да тоже поскользнулся, упал. Однако тут же сел, скинул мешавшие чокаи, швырнул в сторону и понесся дальше вслед. Толпа заорала сзади:

— Держи его, избей как собаку!

— В снег его, в снег башкой!

— Волоки сюда! За ногу!

Беглец загнанной лисой озирался по сторонам. Он уже понял — не удрать, и шарил глазами: к кому бы прибиться. Повернул к рабочим, что направились к Каражыре. К той группе, где шли Буланбай с Алшагыром.

— Ишь, увертывается! Что твоя трехлетка от жеребца, — усмехнулся Буланбай.

А беглец скулил, оглядываясь назад:

— Отцепись, агатай!.. Отдам, все отдам, что запросишь.

И тут же молил Буланбая, других углекопов:

— Ойбой! Убивают!.. Помогите родичу!.. Убьет меня этот каракесек!

Хитрая душа, одного молил о пощаде, других подбивал на драку: родич, мол, обычай!..

Буланбаю не понравился этот удиравший. С первого взгляда определил — кривая душа, трусливый характер! Он и с места не сдвинулся, даже не подумал прийти на помощь. Не знал, за что хотят посчитаться жигиты, но был на их стороне. Рабочие зашевелились. Одни беспокойно, другие шутливо заговорили:

— Э, помнет его этот Узункара, этот черно-длинный! Заставит вопить, как козленка.

— А не лезь, несчастная мышь! Не щипли за ухо льва!..

А Узункара уже был рядом. Он и правда был весь черный. Даже зубы почернели от угля. Они еле просматривались в прокопченных усах. Поддал ходу, настиг, двинул кулаком вроде бы чуть-чуть, и все-таки беглец покатился, уткнулся в снег, боднул лопату Буланбая, воткнутую в сугроб. Замер, не двигался больше, уставил затылок прямо в небо. Сердитый черный жигит с разбегу чуть не налетел на Буланбая. С трудом остановился и пинком ноги в бок перевернул беглеца. Теперь тот затылком утонул в снегу по уши, а редкая рыжая бороденка воткнулась в небо. Больше жигит не стал бить — неприлично колотить лежачего. С трудом перевел дыхание, открыл уже рот — хотел объяснить, что случилось, и... узнал Буланбая. Смутился, но дело, видно, было серьезное. Затряс рукой над лежавшим:

— Подлая душа он, собака! Двадцать жигитов нас... Всем косом два месяца откладывали по копейке, изо рта своего вырывали, думали детей, жен да отцов и матерей накормить. Джут ведь в аулах, беда!.. С ним все и отправили. А он, подлая душа, что он им отдал?! Одни, можно сказать, потроха! А мясо сам съел — почти все деньги прикарманил. Чтоб его в могиле ограбили. Товарищей своих обокрал! — Рабочий снова занес было ногу над беглецом. Буланбай остановил:

— Лежачего не бьют! Брось его, жаным. Успокойся, не теряй чести мужа.

— Это правда! Душонка у этой собаки и двух копеек не стоит, зря только пачкаться. А то бы убил, насмерть забил бы собаку!

Тощий и весь черный, от куцего тымака до голых пяток, которые просвечивали в дырявых кошмяных чулках, рабочий плюнул вору в лицо: «Бессовестный пес!», и пошагал прочь, мелькая литыми, словно из чугуна, голыми пятками. Навстречу ему бежал товарищ — нес сброшенные в погоне чокаи.

— Кажется, встречал я его где-то, лицо знакомое. Кто он? — спрашивал Буланбай у своих.

— Это же Байшегир! Такой ведь спокойный жигит — с места не двинется, хоть земля под ним провались, — объяснил Алшагыр. — Если уж он так разошелся, значит,

и правда этот, — он показал на лежащего, — скверный человек.

Беглец заморгал склеенными плевком ресницами. Исподтишка посмотрел — кто же стоит вокруг него? Черный плевок Байшегира скатился вдоль носа и повис под левой ноздрей. Человечек то втягивал его, вдыхая, то выдувал пузырь — ставил юрту, как говорили в степи.

— Эй, хватит притворяться, вставай! Никто за тобой больше не гонится. Ушел Байшегир. Не умер же ты, подымайся!

Буланбай выдернул из-под его головы лопату, повернулся было уходить и остановился. По дороге от Акбуйрата лихо мчались сани, запряженные парой коней. «Сикор едет!» — пронеслось между рабочими. Кони приближались, замедлили бег. Сикорский на ходу что-то кричал встречным, махал руками. Не доехав немного до бараков, спрыгнул с саней, пошел к ближайшей группе. Решительный шаг и то, как требовательно махнул он руками, созывая рабочих, — все показывало, что управляющий привез важный и срочный приказ.

Рыжий маленький человечек, лежавший на снегу, ободрился, поднял голову. Скривив брезгливо лицо, отер рукавом доброго мерлушкового полушубка плевок. Открыл пошире совиные глаза, несколько раз тряхнул головой, как бы пробуя ее прочность. Там внутри что-то болталось, ровно не голова это уже была, а бабка со сбитой с места свинчаткой. Никому больше не было до него дела, никто не смотрел на него. Но он зачем-то все же стал оправдываться — известная привычка людей, чья совесть нечиста.

— Аргынцы! Сородичи, братья мои! Видели? Каракесеки чуть не убили меня! Я их всю зиму кормил, выручал! Разве так бы им пришлось, если бы жили от лавки Сеиткамала? Вот уж кто и правда разорил бы их. Обязательно разорил бы... А я?.. Я, не щадя своего единственного коня-кормильца, всю зиму рыскал по аулам, об их животах заботился. Выискивал, как бы им подешевле скот да мясо добыть! А они!

Так вот он кто, этот рыжий верткий беглец! Буланбаю сразу все стало ясно. Таких клещей-перекупщиков немало навидался. Каждый день встречает. Имеют привычку: вопьются в рабочего и сосут, выжимают все, что не успел высосать хозяин. Не стал Буланбай больше слушать кривые жалобы, повел товарищей к Сикорскому.

Зато сам беглец проявил большой интерес к Буланбаю. Он метнул ему в спину такой взгляд — был бы пулей заряжен, так наповал уложил бы. Это был тот самый рыжий маленький жигит, которого осенью на Майкудукском майдане палуан Буланбай бросил связанного к ногам Игилика. Звали его Мусакай, и промышлял он тем, что продавал углекопам всякую бросовую снедь. Мусакай, глядя вслед бывшему палуану, вспомнил свою обиду. Казалось, снова загорелась метка на его заду, оставленная камчой Буланбая. Всю зиму старался не попадаться ему на глаза. Торговал со всеми артелями, обходил только кос палуана. Да и теперь радовался, что не узнали его.

Опасность миновала. При Сикорском никто не тронет — решил Мусакай и совсем приободрился. Собрался уже встать с земли. В это самое время заметил четырех жигитов — подбирались к нему. Мусакай снова затих, прикинулся умирающим. Жигиты были те самые, что догоняли вора. Опять затрепыхалась трусливая душонка. Лишь громкий голос Сикорского немного успокаивал. Еще пуще затаился под его защитой.

Бить при управляющем жигиты и правда не решались. Но не упускать же вора! Все четверо уселись на спине Мусакая, будто на поваленном бревне.

— Подождем здесь. Байшегир нам расскажет, чего хочет Сикорский, — громко переговаривались, покрепче нажимая на спину торговца.

Сикорский привез приказ Ушакова. После того нагоняя при Бернере и Некрасове Ушаков первый раз вызвал его — срочное дело заставило. Черный лог — Каражыра — не обеспечивал Акбуйрат углем. Частые бураны завалили выработки снегом. Добыча угля останавливалась, приходилось заново расчищать лог. Уголь шел на завод вперемешку со снегом. Да и качество верхних пластов было низкое, много оставалось золы. Давно уже начали готовить закрытую шахту. Но она все еще не давала угля. Решительный Ушаков приказал перебросить большую часть рабочих под землю. Пусть русские углекопы обучат жигитов своему делу.

О том и держал Сикорский речь перед казахскими рабочими. Говорил важно, веско, словно дело исходило от него самого. Получалось у него так, что все будет к пользе рабочих и обо всем постарался не кто иной — Сикорский. Теперь, говорил он, больше не будет разговоров о снижении заработка. Десять копеек, из-за которых мы ру-

гались, останутся в ваших карманах. То касалось открытых выработок в Каражыре. В шахте — иное дело. Там труд серьезный. Действуют шахты круглые сутки. Так что можно будет надеяться и на прибавку. Об этом еще поговорим... С сегодняшнего дня шесть артелей переводим под землю. Будут работать по три в смену. И еще: русские рабочие и жигиты до сих пор жили и работали отдельно. Надо было присмотреться друг к другу, понять... Языка не знали... Теперь научились разговаривать между собой. Можно, пожалуй, составлять и смешанные артели...

Мало того, он назначил Андрея Быкова штейгером к казахским рабочим. Сикорский несколько раз, как бы одобряя, повторил его имя. Закончил прямой похвалой Быкову:

— Он, оказывается, грамотей... Товарищей в обиду не дает, заботится... Шахтерское дело знает хорошо. Руководство завода надеется — Андрей Быков поймет оказанное ему доверие. — Говоря это, Сикорский косил краем глаза на Быкова. Но тот стоял — такой же, как и все. Не понять было, как принял новость. Зато старик Шило не выдержал, подтолкнул локтем Быкова:

— Гляди в оба, Андрюша! Первый силок не другому кому — тебе подставили.

Вроде бы кончил Сикорский говорить, а жигиты все не расходились, переминались с ноги на ногу. Под землю ведь идти, в темноту! Как там работают?.. Дня совсем и не увидишь... Сикорский понял мысли рабочих. Заговорил снова и опять так, будто не Ушаков, а он сам здесь решал:

— Боитесь — дня не увидите? Знаю, знаю... Больше всего недовольств бывает об этом. Не бойтесь. День я поделил поровну — одной смене до обеда на свету гулять, другой после. Первая смена приступает в двенадцать дня, заканчивает в двенадцать ночи. Вторая начинает в полночь и работает до полудня.

Что сказать на это? День и в самом деле оказался поделен поровну. Оставалось лишь бросить жребий: кому в какую смену идти под землю.

С того дня артель Буланбая работала под землей. Вот уже месяц, как прокладывали широкую штольню — главный уклон. Как пойдет шахта, жигиты не знали. Но, долбя изо дня в день мощный пласт угля, чувствовали, что уходят все глубже и глубже в землю. В обе стороны от главного уклона расходились поперечные штреки. В них

работали еще две артели: русская и кос Байшегира. Буланбай ненадолго встречался с Байшегиром наверху у спуска. Здесь перед своей сменой собирались все три артели.

Под землей нет света — только красноватый язычок сальной свечи в фонаре. Нет неба: голубого, облачного, звездного. Нет степи, зеленой или одетой в снега. Нет ветра, нет свежего степного воздуха, чтобы можно было вздохнуть полной грудью. Кругом черно. Над головой, под ногами, спереди, сзади — всюду ночь. В первое время крепежный лес белел на стенах — хоть глаз мог отдохнуть немного. Но угольная пыль чернит без разбору все. Белыми могли оставаться лишь те бревна, что поставлены вчера или сегодня. Куда ни посмотри — тоскливо, хмуро. Своего лица нет ни у чего — все под одно красит черная пыль.

Исчез и смолистый сосновый запах, который помогал дышать людям в первые дни. Почернели бревна — выветрился сосновый дух, потонул в удушливом зольном воздухе подземелья. Двенадцать часов подряд кайлили рабочие уголь в шахте и с ними вместе оставалось тут все, что они выделяли, — наружу не выбежишь! Чуткий нос степняка превратился в первейшего врага — доносчика. Это было настоящее бедствие для жигитов.

Тяжко степному жителю под землей. Тосковал он по вольному воздуху, по просторам степи!

Однообразны и звуки в шахте. Стучит шахтерский обушок, ударяет кайло, скрипят и тукают дощатые сани углевозов. Чутко ухо шахтера. Ловит оно малейший новый звук. Вот, кажется, скрипнули крепления-подпоры и, думается, крепежный лес шепчет, стонет, жалуется — давит его стопудовая тяжесть. Тревожно прислушивается степняк к этим звукам.

Смена Буланбая спустилась в большую штольню. Стуча деревянными подошвами, словно лошади на каменистой дороге, артели расходились по забоям. Привел и Буланбай своих жигитов к привычной уже черной пещере. Трудно давался им этот забой. Это там, наверху, сидя в бараках, хвалили рабочие уголь — скольких, мол, кормит людей! А здесь, под землей, желали только одного — скорее бы добраться до края пласта, если есть он, этот край! Добраться и уйти, навсегда уйти отсюда. Впервые в жизни казах столкнулся с настоящим трудом, и труд оказался таким, что степной житель мог только головой качать.

Буланбай проверил, сколько прошли шахтеры первой смены. Оказалось, продвинулись немного — всего на десять крепежных стоек. Рабочие сбросили верхнюю одежду, сложили там, где им указали еще месяц назад. Подвесили фонари к стойкам. Заняли свои места.

Заблестела, замигала угольная стенка пещеры, отражая тонкие язычки свеч. Здесь было тесно: четыре аршина в длину, два в ширину. Четыре забойщика работали попарно по очереди. Приступили двое первых. Подчистили нижний край стенки и, присев на корточки, принялись подрубать ее. Удары падали точно по границе между пластами породы и угля. Работать неудобно — не размахнешься. Зуб кайла часто соскальзывал, не вырубая уголь.

Четверо других жигитов влезли головой в кожаные, подшитые толстым войлоком петли — хомуты. От каждого хомута протянута железная цепь — идет между ног возчика. Эти четверо — саночники. В своих железных цепях они казались каторжниками в кандалах. Снаряжаясь, саночники подсмеивались друг над другом, шутили:

— Эй, вол с потертой шеей!

— А ты — лошак с перебитой спиной!

Шутки все еще отражали привычный быт степи. Шахтерский язык пока не привился.

Штрек был завален отбитым углем. Выдача наверх не поспевала за работой в забоях. От пещеры — забоя тянулись, будто песчаные гряды, нанесенные бурей, кучи угля. Вся остальная артель, кроме забойщиков и саночников, перекидывала эти черные сугробы к выходу из штрека. Там уголь погружали в коробы на полозьях и саночники тащили его к «Черному рту» — так называли они ствол шахты. Оттуда уже в бадье отправляли добычу наверх.

Четверо саночников приготовились тащить свой груз. Один из них выделялся и ростом и мощью. Это был толстый Колбан. Мрачно смотрел он, как с грохотом сыпался уголь в его сани. К Колбану пришли черные дни. С завистью вспоминал недавнее время, когда знал только одно — варил обед артельщикам. И тогда, бывало, потел у очага, задыхался от дыма, крякал: как тяжело! А теперь: и уголь таскай, и, опять же, обед готовь всему косу! Шесть часов — на угле, шесть у очага. А все Сикорский! Он загнал Колбана под землю. Не терпелось ему! Надо было, чтобы и Колбан попробовал шахтерской жизни. Рубить уголь не получалось у толстяка — ловкость не

та. А вот саночник вышел что надо. Никто за ним угнаться не может. Товарищи шутили: «Наш ревущий атан!» На такие шутки Колбан отвечал всегда одно:

— Почему атан? Вот был бы я — бура, а Сикор — верблюдица, намял бы ему! Пока-за-ал!.. Только подведите.

— Это зачем же подводить? Раз ты бура, сам и мни! — смеялись товарищи.

— Э, он такой шайтан, все насквозь прошел, его просто так не повалишь! Давайте лучше всем косом, а? — Колбан не шутил. Ему и правда хотелось проучить Сикорского. Очень уж он был обижен.

Последняя лопата опустилась в короб Колбана. В силу вступал незыблемый закон совместной работы. Шутник скомандовал: «Пошел!» Колбан без разговоров влез в хомут.

Колбан и точно — атан. Другие саночники согнулись от напряжения, часто останавливались передохнуть. Грузный Колбан шутя брал с места и гнал без остановки до самого «Черного рта». Удивительно — наверху, на вольном воздухе, он без груза и то не поспевал за товарищами, а тут опережал всех.

Буланбай с Алшагыром работали в первой паре забойщиков. Буланбай уже порядочно подрубил основание угольной стенки. Закрепив ее в трех местах кольями, он повернулся к Алшагыру — тот отставал. Буланбай и здесь, в шахте, — палуан. Где требуется сила, ловкость и сметка, — всегда впереди. Отстранив товарища рукой, стал подравнивать стенку.

— О, мой пэри! Бесценный наш Буланбай! Один у нас настоящий муж — это ты! — сказал Алшагыр, уступая свое место.

Работать под землей не то, что в открытой выработке на Каражыре. Нужна сноровка. Там уголь бьют, будто лед на реке — пласты ведь лежат плашмя. А здесь обязательно надо попасть на границу между пластами — они перерезаны забоем и выходят к тебе ребром. Лучше помедлить, примериться и ударить раз, но метко, чем десять раз колотить по гладкому срезу, только кайло затупишь. А попал точно в грань — отлетит большой кус. Буланбай досадовал на товарищей — никак не могут понять такой простой вещи!

Всякий труд имеет одно общее свойство — заложена в нем сила, которая без кнута гонит вперед. Но открыва-

ется это лишь тем, кто подходит к делу с интересом. Задень эту силу — и труд увлечет, работа загорится в руках, сам побежишь вперед. Если зубы болят — забудешь, с животом неладно — сам пройдет. Небольшое усилие и — опрокидываются горы. А вот если кто возьмется за работу вяло, заранее чувствуя себя обреченным, дело будет валиться из рук, вперед не подвинется. Такой труд тупит, убивает человека. Многие из товарищей Буланбая работали как раз так. Оттого и тупились их сила и мысль, словно коса, наскочившая на камень. Буланбай, когда видел такое, отстранял в досаде товарища, доделывая его работу сам.

От «Черного рта» неожиданно донеслась песня. Голос был нескладный, но очень громкий, а слов не разобрать.

— Наш атап ведь ревет! — догадались рабочие. Кайла и лопаты заходили быстрее. Песня была особая — сигнальная. Сложили ее с большим трудом в бараке Буланбая из самых простых казахских слов, чтобы могли понять и русские друзья:

Светлый вечер! Мы дверь для друзей распахнем
В земляное жилище шахтера.
А змею Акулая пусть завалит углем,
Вместе с ним и собаку Сикора!

Колбану выпала сегодня трудная работа. Петь он не умел, ни одного слова из песен не мог запомнить. И вдруг, только он начал разгружать свои сани, снаружи из «Черного рта» послышался звонкий стук. Это был сигнал — колотили по бадье. Видно, начальство прибыло! Хочешь не хочешь, а товарищей предупредить обязан. Вот Колбан и запел как мог.

Обратно несся изо всех сил — только бы поскорее кончить это неладное занятие, эту песню. Домчался до «черной пещеры» и на ходу выпалил:

— Какой-то лохматый дэв спустился в железном ведре. Теперь переодевается. Шегир Быков с ним говорит. — Шегир — то есть голубоглазый, так перевел он слово «штейгер». — Сейчас, пожалуй, и сюда придут. Так что шевелитесь, грузите веселей.

— Да кто же приехал?

— Откуда мне знать. Только не тот, «не камышиные ноги». Этого собаку Сикора я ни с кем не спутаю. — Дернул нагруженные больше обычного сани и потащил обратно.

Спустившийся в «железном ведре дэв» был Ушаков. Он выбрался из бадьи, сбросил свою мохнатую шубу, пошел к рабочим. На площадке у спуска, которую называли рудничным двором, три женщины перебирали уголь — выбрасывали из него куски глины. Как только освободилась бадья, двое жигитов начали ее загружать — они отправляли уголь наверх. Ушаков послал одну из женщин за штейгером Быковым. Сам пока стал осматривать рудничный двор. То, что увидел здесь, вызвало тревогу. Из узких штреков, как из щелей, появлялись один за другим саночники, сваливали уголь. Его уже порядком накопилось у входа. Шахтный ствол не успевал выдавать его наверх. «Надо же пробить еще один ствол! — взволновался Ушаков. — Неужели Сикорский сам не может додуматься до этого? Немедленно пробить!... И углю и воздуху лишний ход будет», — соображал Ушаков, втягивая удушливый воздух шахты.

— С Урала пришли? — приветливо обратился он к сортировщицам.

— Та правда ж, с Урала. На золотых приисках господина Рязанова восемь рокив работали. Теперь сюды прийшлы, — затараторила круглолицая, немолодая уже сортировщица Катерина Неволя. — Мужики наши заладили: «Черное золото, черное золото! Червонное им уже не годится! Выгодно, мол, тут. Ну и пишлы. Три мисяци пешком топали. Чуть зовсим не пропали...

— Знаю, обо всем знаю... — перебил Ушаков. Но Катерину Неволю не так скоро остановишь:

— Балакали, рязановские прииски закроются. Потому и пишлы. А може, и не закрылись? Говорила им — подождем!

— Ну, а тут как работается? — Ушаков опять попытался остановить ее.

— Работа что? Работа одинаковая везде. Пуд угля, пуд золота — все одно спину давит. Я ж говорю...

— Ничего, ничего... Привыкнете. Годок-другой, все наладится. Потерпите немного.

— Нет уж, кажись, не привыкнем. Уедем, должно. Последнее слово, конечно, за мужиками. Но тикать надо. Вот тильки шесть мисяцив отбудем, як договорились...

— Почему так? Что вам тут не понравилось?

— Та шо тут може нравиться? Ни тебе ветлы, ни речки!.. Белье отбить и то негде! Одни бураны да ветры... Всю зиму шуме да гуде. И капусту, картошку сажать

где? На угле? Нет, тикать надо! Мужики все обещают с хозяином побалакать. Та бабы все равно решили не оставаться. Мужиков обломаем. Поспорят, пошумят и повернут по-нашему. Знаем мы обещания хозяев! По горло ими сыты! Слышали посулы, аж тошнит... — Катерина сердито отвернулась. Она и не подумала, что перед ней стоял сам хозяин.

Озадачила эта речь Ушакова. Что недовольны уральцы, он слышал. Но как-то не думал, чтобы так серьезно. Рабочие всегда недовольны: мал заработок, плохи харчи, бани нет!.. Это все понятно. Затем и приехал, чтобы поговорить — уладить. Но вот как повернуло!.. Уезжать собираются, не хотят пускать здесь корни. Да, было над чем поломать голову. И мысль Ушакова, как всегда в таких случаях, усиленно заработала. Это же бедствие! Надо остановить! Он даже не сразу заметил подошедшего штейгера — так разволновался...

Быков повел Ушакова осматривать шахту.

— Это правда, русские не хотят оставаться здесь? — спросил Ушаков, когда достаточно отошли от женщин.

Быков ответил с раздумьем:

— Никон Абрамович! Месяц прошел, как докладывал я вам о положении рабочих. Ничего до сих пор не сделано. Вы сами знаете, отчего волнуются рабочие. Чем это кончится, не берусь сказать.

— Да, но мои обещания? Вы же передали их рабочим?

— Передал.

— Ну и как?

— Рабочий человек верит только тому, что держит в руках. Что он может знать о том, чего еще не получил?

Ушаков с интересом взглянул на Быкова. Вот как? Этот штейгер не прост, имеет свое собственное мнение. Месяц назад приходил к Ушакову, предъявил ему целый ряд требований, можно сказать, нанизал на веревку. А теперь ответа ждет: «Ничего не сделано!..» Ушаков резко остановился. Заговорил прямо «в лоб» — лучше сразу открыть лицо этого человека.

— Я начинаю понимать вас. Вы не скрываете своих мыслей. Это мне даже нравится. Открытая борьба, не так ли? Пожалуй, так лучше. Вы коротко и ясно требуете исполнения того, о чем другие только шумят. Я понял и все-таки оставляю вас штейгером. Но ответьте мне: сами вы как считаете, — осядут тут русские рабочие или нет?

— Я уже сказал, Никон Абрамович, все зависит от вас самих. Рабочие не требуют чего-то особенного. Свое дело исполняют добросовестно и к себе хотят такого же отношения. Привыкли довольствоваться немногим. Жить по-человечески — только одного и просят. Разве это не справедливо? Мы живем только своим трудом. У нас ничего нет. Нам некогда разбираться: что за работу мы делаем, чья она, кому от нее польза? И если иногда просим о какой милости, хозяину самому выгоднее прислушаться к нам. Я не собираюсь толковать о справедливости. И все-таки скажу — предела справедливости лучше не переступать.

Ушаков услышал в словах Быкова намек на нечто значительное и понял: лучше прекратить этот разговор. Здесь, в непроглядной темноте подземелья, они ясно увидели друг друга и поняли, о чем думает каждый.

Разговаривая, спускались по главному уклону. Навстречу шли саночники. Согнулись, натужившись, тянули груз в гору.

— Ну, а эти?.. — указал на них Ушаков. — Выйдут из них настоящие рабочие?

— В нашей рудничной работе нет такого инструмента, который не был бы знаком казахам. Если вас интересует эта сторона дела, можете рассчитывать, — казахи, именно они, будут вашими основными рабочими. Самыми дешевыми и постоянными, — повторил Быков.

Ушаков тотчас же понял намек: «самые дешевые!», но продолжал так, будто не заметил:

— А какие еще стороны могут быть?

— Хочу напомнить: жалобы, которые мы предъявили вам, не только наши. Так думают и казахи.

— И казахи?

— А как же? Они тоже рабочие, как и мы.

Ушаков принужденно рассмеялся.

— Нет, мой штейгер, так не пойдет. Русские рабочие — одно, казахи — другое. И договоры с теми и другими мы будем заключать на разных условиях. Вы подходите к делу, исходя из общих интересов рабочего движения. У меня подход иной. Я хозяин, и мне удобнее дифференцировать, отдельно рассматривать русских и местных рабочих. И тут лучше вам не вмешиваться в дела хозяина. А что касается условий жизни рабочих, буду стараться наладить быт и русских и казахов. Но опять-таки по отдельной договоренности с теми и другими.

— Не думаю, чтобы вам долго удавалось разделять их.

Они подошли к забою — пещере. Буланбай как раз в это время выдернул колья и обрушил угольную стенку. Рукава у него были засучены. Поверх тымака напялена наподобие каски сложенная вдвое кожа — настоящий шахтер. И другие такие же. Люди все черные. Где кто — узнать невозможно. Лиц не разглядишь, только глаза поблескивают.

Ушаков поздоровался со всеми и спросил:

— Десятник кто? Пусть подойдет!

Буланбай вылез из пещеры, отер рукавом угольную пыль со лба и глаз. Высоко поднял фонарь, осветил лица гостей.

— Здрасти!.. — узнал Ушакова и Быкова.

— Здравствуй! — Ушаков присел на кучу угля. — Ну как, десятник, какой хабар идет из аула? Семьи ваши как там? — Он всегда начинал с таких вопросов. Знал — тоскуют рабочие по аулу, по семье.

— Плохой хабар! Совсем плохо в аулах!.. Мы рвемся в аул, к семье... Да как бы аул сам сюда к нам не прикочевал, — ответил Буланбай.

— Джут, слыхал я, большой был.

— Джут... Все бедняцкие аулы навестил. Все обнюхал. Одну-единственную телочку в семье и то забрал. Даже козой не брезговал.

— А вы-то разве не помогаете своим? Почему бедствуют?

Вместо ответа Буланбай развернул ладони. На них будто отпечатались те копейки, что он получал. Каждая мозоль с гривенник. Ушаков не понял. Буланбай пояснил, обводя указательным пальцем мозоли левой руки:

— Вот такие копейки и посылаем. Из своего рта отнимаем и им шлем.

— Ну, а с Сикорским перестали скандалить?

— Пожалуй, с полмесяца уже не ссоримся, спокойны. Он ли исправился, мы ли не докучаем, об этом спросите вот у него, — показал на Быкова. — Это человек справедливый, расскажет вам всю правду.

— А сам ты как думаешь, может Сикорский исправиться? — улыбнулся Ушаков.

Буланбай ответил серьезно и твердо:

— Нет. Не такой он человек... Спать не будет, пока не обидит кого. Сам червем стелется перед вами и от нас того же требует. А мы не можем — чокаи не позволяют,

очень грубые, не гнутся, — усмехнулся, показывая на свою рваную, набитую угольной пылью обувь.

Буланбай видел, что хозяин в хорошем настроении, и постарался выложить все обиды на Сикорского. Вспомнил и то, как теплый барак хотел отдать русским — барак, в котором уже жили казахи. Спасибо, «Шило-агатай» и «вот этот Быков» вступились. И про «скандал десяти копеек» припомнил. И о том, что Сикор мешал знакомиться с русскими рабочими... Старался говорить понятно, как мог.

— А теперь как живете? Не ссоритесь с русскими, не коситесь друг на друга?

— По-моему, хорошо живем. Да вы у них самих спросите...

Ушаков не зря расспрашивал, «не косятся ли друг на друга» русские и казахи. Очень уж волновались насчет этого тёре Жумабек и хожа Куренкоз. Хожа теперь служил имамом и на угле и на меди — на всех трех предприятиях компании. В один голос твердили хожа и тёре: не могут казахи ужиться с русскими. Тёре Жумабек объявил однажды Ушакову: «Вряд ли могу поставить еще тебе жигитов. Очень много твоих русских понаехало!» Оказывается, хитрили друзья, цену себе набивали.

Доволен остался Ушаков разговором с Буланбаем.

Жигиты понравились ему и в работе. Хорошо шел забой, споро. Конечно, старались сейчас ради хозяина. Но главное, видно было, что люди уже приноровились, нашли подход. Шутки казахов, смех во время работы, как всегда, настроили весело и его самого. Что говорят — не все понять, может, и над ним самим подсмеиваются — это бывает. Но шутили беззлобно, дружески — пусть их!..

Ушаков похвалил:

— Весело работают. Радостно смотреть. Шутят, значит, и работа ладится.

— Это у них в натуре, — как бы безразлично сказал Быков. — Не здесь нажили, из степи привезли. Подождите, обомнет их еще шахта.

Ушакову стало досадно.

— Боюсь, штейгер, вы видите все в слишком темном свете. Я могу простить многое... Но только не старайтесь посеять в них желчь вместо веселья. Вот как...

Он повернулся к Буланбаю:

— Через час поднимись наверх, зайдешь в контору Сикорского.

Сикорский тем временем бегал по штрекам, разыскивал Ушакова. Как услышал, что хозяин спустился под землю, сразу засуетился, побежал. Фонарь трясся в его руке, будто управляющего била лихорадка. А длинные «камышиные», как называл Колбан, ноги подгибались в коленях. Ушаков взял Сикорского с собой, и они пошли дальше осматривать шахту.

Какое богатство тут было! Штреки обнажали пласты угля мощностью больше чем в два аршина. Даже в одной этой шахте, где штреки едва достигали трехсот шагов, и то этого угля было столько, что хватило бы на добрый десяток заводов, таких, как Акбуйрат. Слава богу, задача с углем решена! Его шахты оказались надежными. Ушаков попробовал прикинуть: сколько же всего пудов может дать эта шахта, но скоро сбился со счета — слишком много. А что, если уголь Караганды пролегает на целые версты? Жизни не хватит, чтобы выкопать весь! Сокровище!.. Даровое богатство!..

И сразу пришла другая мысль. Вот добывает он уголь, много добудет его, а девать куда? Только сейчас здесь, под землей, уразумел он до конца простую вещь: Акбуйратский завод не сможет пропустить через себя весь уголь. Глотка узка! Все это богатство, оставленное здесь бескрайним древним морем, досталось ему за какие-то двести пятьдесят рублей. Даром досталось! И вот уже новая задача — как его проглотить, чтобы не застряло в глотке? «Эх, дорогу бы железную сюда! Или пароходы! По всему миру можно было бы погнать уголь. Сил нет, до чего тупа наша матушка Россия! Сами себе связали руки, сами заковали свою мысль!..» — Ушаков шел и качал головой, отвечая своим думам.

Он не слышал, не понимал, о чем говорили Сикорский и Быков. Его бесило — вот и он завяз в российской косности, попал в болото. Плевать им на сокровище, что валяется у них под ногами! Ленятся запустить в него руки. А он запустил, да, видно, и останется так — завяз! Кормить один Акбуйратский завод всем этим углем! Да, это все равно что на поджарку одной-единственной куропатки истребить целую тополиную рощу. Железную дорогу! Дорогу! — чуть вслух не застонал Ушаков.

За легкость, с которой приобрел богатства Караганды, ему еще придется расплатиться. Он ясно почувствовал это теперь. Изнутри заторится его дело. Мысленно прикинул: куда же можно добраться с углем на верблюдах,

волах, лошадях? Нет, в этих пределах никто не купит у него даже мешка!.. И тут на память пришел сон, который видел сегодня, добираясь сюда из Акбуйрата.

Будто бы он с Турсынбаем очутился у Алтындытау — Золотой горы. Зубчатые утесы торчали, упираясь в небо. Солнце садилось и высвечивало золотые самородки, вкрапленные в скалы. Как эти скалы сияли! Он и сейчас их видел. На самой высокой вершине, на остроконечном пике застыл архар. В небе парил орел. Он давно уже кружит, хочет и никак не может схватить архара. Как изловчиться орлу, как схватить добычу? Кружит черный беркут, петляет вверх и вниз, и крылья его выписывают на шелке неба: «Колхида».

— Колхида. Не видишь? Золотая Колхида! Подставляй спину! — приказал Турсынбаю и полез уже было на его плечи, чтобы карабкаться по скале к вершине за золотыми самородками. Но Турсынбай сверкнул на него змеиным глазом.

— Зачем вам лезть под самое небо? Ни один человек еще не дотрагивался до тех самородков. Никто не может добраться туда. Лучше посмотрите: золото само пришло к нам. Оно у нас под ногами, им полны подземные пещеры. Я один знаю ход туда. Эту тайну я не открыл Попову — берег для вас... Идите за мной!

И они нырнули под караганник в едва приметную щель.

Долго ползал он по скользкой жирной грязи в узкой и темной пещере. Руки по локоть увязали в липком месиве. Холодный пот обливал лицо, бороду, затекал за пазуху. Сбросил с себя заляпанный пиджак, остался в одной рубашке. И тут откуда ни возьмись появился Рязанов и — прыг ему на плечи.

— Быстрей, быстрей! Золото уже недалеко, — будто коня, пнул под бока.

Потом и Рязанов и Турсынбай исчезли. Перед Ушаковым была все та же каменистая площадка у утеса с архаром. На площадку круто спускались горные ложбины, и по ним непрерывно сыпались мелкие камни. Ушаков заметил, как ярко поблескивают некоторые из них. Золото! Озираясь, словно вор, подкрался к золотому потоку. Запустил руки. Все десять пальцев проворно, точно ножки скорпиона, забегали, подбирая самородки. И вдруг сверху с грохотом сорвалась большая золотая глыба, упала к его ногам.

Какой самородок! Счастье, что нет здесь ни Рязанова, ни Турсынбая. Можно всю жизнь искать, да вряд ли найдешь такой. Ушаков обхватил самородок, с трудом приподнял... В этот миг черный беркут вонзил наконец когти в архара и начал опускаться на каменную площадку, где стоял Ушаков. Тяжел архар, в десять раз тяжелее беркута. Сумеет ли тот донести его до земли? Часто-часто замахал орел крыльями. На затылке встопорщились перья, злые глаза налились кровью. Разожми когти, брось архара — и будешь спасен! Но орел — птица риска, не выпустил добычу. Вместе с архаром грохнулся о скалу и разбился... Ушаков выпустил из рук самородок. Вскрикнул от боли и проснулся. Вот каков был тот сон.

Ушаков не верил ни снам, ни гаданьям. Конечно, сон этот всего лишь отражение его собственных мыслей. Рязанов и в самом деле не прочь вскочить верхом на компаньона. Турсынбая народ тоже недаром прозвал «Три страсти». Рад продать всякого. А что до Алтынды — верно: Попов раструбил теперь о ней как о новой Колхиде.

Все как будто объяснимо. Почему же Ушаков, вспоминая свой сон, вздрогнул? Потому что держит сейчас в руках золотую глыбу. Нильда, Акбуйрат, Караганда! Одолеет ли он, сумеет ли все это удержать в руках? А может быть, выронит, как тот самородок? Опасение больно кольнуло сердце. Но вспомнился беркут, и утешил Ушаков себя надеждой: пока жив, не разожму когтей. Удержу добычу! Но для этого...

Что надо сделать для этого, обдумать не успел. Подали бадью — ту самую, в которой спускался сюда. Жигиты держали наготове тяжелую крышку — сейчас захлопнут за ним.

— Всех десятников и штейгеров в контору! Пусть придут все, и скорее! — приказал Ушаков Сикорскому и перекинул ногу в бадью.

2

Безмолвная степь. Тихая ночь нависла над ней. Но и в эту глухую пору сотни рабочих продолжали копать уголь, тесать камень, дробить руду — руки их доставали для других богатство, к которому еще не могла дотянуться степная мысль. На белом зимнем покрове Караганды

с каждым днем вырастали все новые черные горы — добытый уголь. Первые красно-бурые кирпичи меди были отправлены в Екатеринбург. Не гасли печи Акбуйрата. Днем и ночью пожирали они горы руды и угля. За сорок верст было видно их пламя — и Караганда смотрела, как сгорал ее уголь в этих печах. Удивлялась степь этому огню. Не могла еще понять его смысла: зачем горит он на холмах Акбуйрата? Но одно было ясно: сама степь уже не даст ему погаснуть. Своими руками будет поддерживать это пламя — зажжено оно навеки.

Безмолвна ночь... На десятках пикетов заночевали сотни обозов. Чуть свет тронутся они двумя потоками навстречу друг другу, потекут по двум дорогам на пути в триста верст.

Никон Ушаков, положивший начало всему этому движению, сидел в низкой землянке, крытой караганником. Это он пробудил мертвого, вдохнул в него жизнь. Но это еще не все. Чтобы новая жизнь не заглохла, надо многое сделать... Сколько еще помех впереди!.. И всегда в тугую минуту неутомимый, сильный человек Ушаков старался представить себе, как размахнется его дело завтра, через несколько лет, что будет тогда...

Задумался Ушаков. А в комнате хлопочет Степан Бушуев. Железная печь пышет красными боками. Медный чайник с шипеньем сплевывает воду. На столе Бушуев раскладывает колбасу и калачи, соленые огурцы и лук — знает толк в походном быте. Посматривает на хозяина, ждет. Двинь тот хоть подбородком, моргни глазом — мигом выставит Бушуев на стол и водку.

— Неси! — сказал Ушаков.

— Сейчас!..

— После чая возьмешь лошадей Сикорского и гони к этому «Три страсти» — Турсынбаю. До утра доставь сюда.

— Будет сделано, Никон Абрамыч.

— Смотри, успеть надо... Чтобы тронуться отсюда с восходом солнца.

— Понятно, Никон Абрамыч!

Открылась дверь. Вошел тёре Жумабек, внес целую охапку морозного воздуха. Улыбнулся Ушаков: больно хороша волчья доха на тёре! Пушист лисий тымак! Не узнать Жумабека, совсем не тот, что при первой встрече. Лицо круглое, черные усы заботливо подстрижены, весь лоснится, как бык после весенней линьки. Видно, впрок

пошла ему вербовка рабочих. А как посолиднел! Поздоровался с достоинством — голос бархатный, мягкий. Не спеша повесил волчью доху у двери. Оправил меховую безрукавку. Протянул руку хозяину — пальцы мягонькие, теплые. Глубоко посаженные глаза оживлены — смотрит не робея.

— Присаживайся, выпей чаю...

Ушаков не вызывал Жумабека. Тёре явился по своему почину. Прискакал ночью. Торопился застать, прослышал, что хозяин собирается уехать надолго. Очень уж надо было повидаться. Через месяц кончался срок шестимесячного договора с рабочими. На угле и меди сейчас работало больше пятисот казахов. Все они прошли через руки Жумабека. И каждый для него — звонкая монета, три серебряных рубля! Если вернет прежних по аулам и соберет новых пятьсот человек, Ущаков отсчитает ему еще полгоры тысячи таких рубликов. Было из-за чего Жумабеку лететь сюда в этот поздний час.

Ушаков прекрасно понимал гостя и намеренно уклонялся от делового разговора. Жумабек же, в свою очередь, все ловчился вбить в беседу свой клин.

— Ну что, как дела, тёре?

— Хорошие дела, Никон Ибрахим. Одна только у меня забота, успею ли вовремя выполнить обещание.

— Как зима идет? В аулах нет ли беды? — перебивал Ушаков.

— Слава аллаху, благополучно, Никон Ибрахим... Объехал вот жигитов второй очереди, все готово.

— Ну, а здоровье бия Игилика как?

— Здоров, слава аллаху! Все напоминает, чтобы я сдержал свое обещание вам...

— Спасибо! Привет от меня передавай. Буду в Петропавловске, договорюсь со строителями. Думаю, с весны бий сможет начать свой дом. Я прикинул... Сделаем, как у екатеринбургского домостроителя Сухаркова. Красивый получится дом, в двенадцать комнат! У меня у самого такого нет...

— А правда, говорят, там одна целая комната будет для мытья? — оживился Жумабек. Забыл на минуту о своем деле.

— Правда.

— А еще что? Что там будет?

Удивительные, сказочные слухи ходили по аулам об этом доме. Рассказывали, будто бы Игилику, его детям и

всей семье незачем будет даже выходить на волю. И намаз и все другое будет совершать внутри, в отдельных комнатах. Даже по нужде не станет бегать в степь — об этом люди говорили и с ужасом и с любопытством, но осуждать никто не смел. Жумабек хотел бы спросить про эту, больше всего удивившую его вещь, да не знал, как приступить. В аулах он не стеснялся: не то что говорил, а на глазах у всех совершал самое действие. А тут при Ушакове засмущался, не смел назвать вещь своим именем. А другого слова не мог подобрать. Обычная история: отсталый, невежественный спотыкается на том, на что цивилизованный смотрит как на привычное, само собой разумеющееся. Споткнулся и тёре, заерзал, не смог перескочить трудность и перешел к своему делу.

— Никон Ибрахим, жигиты, которых я поставил на кумагу, давно ведь готовы. Осталось найти пятьдесят человек. Их придется со стороны брать. Не беспокойтесь, сейчас же поеду, всех тебе доставлю, свое слово выполню. Ты только скажи... Новых когда приводить? Оказывается, жигиты из первой очереди торопятся домой. — Жумабек поднес ко рту чашку, начал не спеша отхлебывать крепкий чай.

Ушакову надоело ходить вокруг да около.

— Жумабек! — заговорил строгим, не допускающим возражения тоном. — Мы с тобой договорились не хитрить друг с другом, по чести поступать, верно?

Жумабек чуть не поперхнулся чаем.

— Да, да, — закивал головой, и показалось ему, что попал в ловушку.

— Ты говоришь, мои рабочие торопятся домой? А правда ли это? Я что-то не слыхал. Кому рабочие заявляли? Кто тебе сказал?

— Говорят... В аулах говорят. Отцы и матери, жены и дети, которые остались в степи. Все они говорят, — пошел петлять тёре. И сам понял — не те слова. И вдруг его осенило: — Никон Ибрахим, сами же велели мне нанимать рабочих на шесть месяцев? Срок кончается. Разве не так?

Начать бы ему с прямого вопроса, Ушаков обошелся бы помягче. А тёре по своей привычке начал путать съедобное с поганым, вот и заврался. Ушаков давно раскусил своих «друзей» и решил пока хоть одного проучить.

— Слушай. Первое: о чем мои рабочие думают — не

твоя забота. Запомни это. Второе: они не только не торопятся домой, а наоборот, хотят даже взять сюда свои семьи, понял? В-третьих — я не дурак... Отпустить обученных рабочих и начинать все сначала? Кто хочет уйти, пусть уходит, задерживать против воли не стану. Но и выгонять не буду — не могу и не хочу!..

Ушаков долго мучил тёре. Когда тот совсем скисал, чуть обнадеживал. Если же Жумабек чересчур оживлялся, снова давил. Хотел, чтобы вербовщик понял: он, Ушаков, никому не позволит превращать в игрушку серьезное дело, баловать с наймом рабочих. Когда же тёре достаточно поблек, хозяин предложил:

— Чем говорить о наборе новых, ты лучше помоги мне закрепить старых. Мне они нужны здесь, на месте.

— Хорошо... Хорошо... Скажу семьям, пусть не ждут.

— Зачем же так? Ты постарайся, чтобы и семьи рабочих перекочевали к лету сюда. Уговори их. Пусть селятся по берегам Майкудука и Теректы. Я разрешу им строить там зимовки, косить сено. А кто захочет, может и хлеб сеять. Понял?

— Понял... — вяло отозвался тёре. Он твердо понял только одно. Источник, который питал его полгода, иссякает. И чувствовал себя так, будто, по крайней мере, высохли разом обе Нуры.

Ушаков понимал, что совсем отстранить Жумабека от вербовки рабочих нельзя. Тёре, пожалуй, начнет еще вредить в аулах. И слегка разжал когти, улыбнулся.

— Тебя я не обижу. За каждого рабочего, которого сумеешь закрепить на угле и меди, получишь, как и прежде, по три рубля. — Он увидел в глазах Жумабека огонек и неопределенно закончил: — Вот позаботься теперь о закреплении старых, вместо того чтобы новых вербовать. Закрепи хотя бы лет на пять...

По три рубля за каждого закрепленного на угле и меди! Но как?.. Как раньше — через каждые шесть месяцев — или, может быть, теперь только раз в году? А вдруг всего-навсего один только раз? Выплатит по три рубля, и все... А там получится, как с ручейком, который течет-течет и вдруг — пропал, потерялся в песках... Узнать бы, выяснить все это! Но выяснить Жумабек не решился. Вместо этого приоткрыл Ушакову краешек одной беды. При случае он сам мог бы потихоньку ее и раздуть, свалить на степной обычай.

— У нас так: кто бросит землю и воду, навсегда ли-

шается их. Земля, вода переходит к родичам. Это вы должны знать, — предупредил Жумабек.

— Как это лишается?

— Ушел — лишился... Вот и все.

— Даже если человек не продал свою землю?

— Продавать совсем нельзя. Земля принадлежит всему роду. Владеет землей аул.

— Как же это? Выходит, казахи не могут забрать свои семьи сюда? И сами не смогут остаться?

— Об этом лучше с бием Игиликом поговорите, — уклонился Жумабек.

Ушаков припомнил кое-что из известных ему порядков степи. Не руками осуществляли казахи свои связи с землей, а с помощью зубов скота: лошадей, верблюдов, коров и овец. Пастбищами владел род. Но на деле хозяевами были богатые влиятельные баи. Эти хозяева изредка менялись, когда их разорял джут. Но общая картина была постоянна. Дело свое Ушаков предпринял на землях рода Алтай-Карпык. Бий Игилик тут был влиятельным из влиятельных. Ясно, сейчас для Ушакова казахи — это бий Игилик. И он больше не стал выспрашивать Жумабека, проводил словами:

— Надо будет, поговорим и с бием. А ты поезжай и постарайся все же выполнить мое поручение.

Жумабек кое-как влез в свою волчью доху. Не поправил даже воротника, а ведь как он красиво лежал на плечах, когда тёре входил к Ушакову! Теперь было не до наряда. Под нахлобученным по самые глаза пушистым лисьим тымаком рождались новые плутни, а может быть, даже и месть.

Жумабек заставил Ушакова задуматься. Степь никак не желала дать место промышленности. Подошло, видно, время серьезной схватки. А ведь Ушаков думал было уже отделаться от таких, как Жумабек. Хотел забрать в свои руки хлопоты по найму рабочих. Вовремя тёре напомнил, что он не у себя дома, а в степи.

Выйдет ли толк, если рабочие все будут меняться? Казахов не пускает обычай. А русских тут не удержать, пока не дашь им клочка земли, огороженного плетнем. Да чтобы там петух вышагивал с десятком кур. Запоет петух по утрам, наденут на частокол по горшку — душа успокоится, тогда только почувствуют себя дома.

Да... Со степным законом тяжело бороться. Только не видел Ушаков такого бога, которому бы покорились день-

ги. Не покорятся они и степной косности. Нет-нет! И на руде и на угле будут постоянные рабочие. Будут!..

Так решил Ушаков и, как всегда, тотчас же принялся осуществлять на деле свою мысль. Для начала решил покончить с первой причиной ропота и недовольства рабочих — и русских и казахов. Сейчас он ответит им на их требования.

Когда в землянку вошли вместе с Сикорским вызванные десятники и штейгеры, он попросил:

— Извините, придется вам немного подождать. Решил дать кое-какие поручения моему управляющему, а уж потом и с вами потолкуем... — И сразу к Сикорскому: — Бери карандаш и бумагу, записывай!

Первое. В течение пятнадцати дней построить для рабочих баню. — Задержался на миг, соображал: — С четырьмя сорокаведерными баками и парной на восемь человек. Записал? Стены укрепить стойками, как в шахте, пол настелить досками. Закончить барак под баню в пять дней. На постройку бани поставить двадцать рабочих. Денег, сколько надо, выдам. Подсчитай...

Десятники переглядывались, усмехались. Хозяин делает вид, что сам решил больные вопросы. Хитрый ход!.. А Ушаков продолжал, будто не замечал усмешек:

— Второе. Весной, как только стает снег, приступить к постройке шести каменных бараков. Два пойдут для семейных. Четыре — для одиноких рабочих. Никто из старых рабочих в следующую зиму не должен жить в землянках. Подчеркиваю, из старых рабочих! Бараки должны быть теплыми и светлыми. С двойными рамами, с деревянными нарами, с круглыми голландскими печами! Записал? Не позднее чем через месяц предъявить главному управляющему компании, то есть мне, подробную смету расходов. Ответственным за все назначаю управляющего Карагандой Сикорского и от компании Ушакова.

Усмешки сошли с лиц рабочих. Они по-настоящему радовались. Правда, Шило охладил их:

— Рай земной! — сказал он, и не понять было: то ли в насмешку, то ли и сам рад.

Ушаков чуток. Знает, как быстро меняется настроение рабочих. Приберег на всякий случай самый важный пункт к концу.

— Пиши: по берегам Майкудука и Теректы, — начал диктовать снова, — распахать двадцать десятин земли под

огороды для рабочих. Семена закупить в Акмолинске за счет рабочих. Поручить Сикорскому. Семьям казахов, которые пожелают перебраться сюда, отводить землю под аулы и пастбища по берегам Майкудука, Теректы, а также Букпы — по их выбору. — Ушаков кончил диктовать и подошел к Буланбаю и Байшегиру: — Слышали? Тем, кто останется у меня и перевезет сюда свои семьи, я разрешаю селиться в любом месте по берегам Майкудука, Теректы и Букпы, — повторил он свое решение десятникам-казахам.

Буланбай и Байшегир принялись благодарить хозяина. Они как раз ломали голову над тем, как быть дальше с семьями. Аулы совсем отощали от страшного джута. Буланбай и Байшегир принадлежали к аулам среднего достатка, их называли в степи: «аул с серым теменем». Но из джута они вышли уже бедняцкими аулами — с «черным теменем». Понятно, почему обрадовались десятники-казахи словам Ушакова.

— Не мешает иной раз подумать и об интересах рабочих. Их жизнь — тоже наше дело, — отчетливо проговорил Ушаков, строго взглянув на Сикорского. — Приказ перепиши набело и повесь, да так, чтобы все видели!

Десятники, кроме Акулы и Зубова, шли сюда — решительные, с твердым намерением не спускать хозяину, требовать свое. Рабочие в шахте наставляли их: «Выкладывайте все, не давайте спуску, требуйте!..» А оказалось, требовать нечего. Хозяин сам все выложил. Они мялись, не знали, о чем же еще говорить. Ушаков тотчас заметил это и поспешил опередить их:

— Рабочим еще многое, очень многое нужно. То, что мы тут записали, — это всего малая толика. Знаю, знаю!.. Что могу сделать пока, вы слышали. Вас прошу: передайте рабочим мои распоряжения с той же точностью, с которой доводите до меня их требования. Если кто захочет все же уйти, пожалуйста! Насильно держать не стану! Но что бы там ни было, добьюсь — будут у меня постоянные рабочие! Уйдет сегодня один, на его место завтра придут десять. Об этом тоже рабочие должны подумать! Срок договора с русскими кончается через три месяца. За это время пусть обдумают окончательно и решат — остаются или уходят. Казахи сейчас сказали мне свое слово, они останутся. Спасибо им, обнимаю их! Я кончил. Говорите, если есть еще что ко мне!

Десятники все еще мялись. Сказать вроде больше нечего.

На всякий случай поглядывали на Быкова — он лучше знает, может, и скажет чего. А Быков прикидывал про себя, проверял смысл приказа. «Пожалуй, неплохо! Да только выполнят ли?» Заговорил Шило:

— Как шли сюда, восемнадцать человек в дороге померло! Почему семьям их до сего дня не выплатили ни копейки? Законом не положено? Или, думаете, они в этих деньгах не нуждаются? — По голосу было слышно: въедливый старик потянул нитку, сейчас пойдет по своей привычке разматывать клубок рабочих бед.

— Из тех, кого нанял я сам, погибли трое. Их семьям я уже выдал положенное пособие. За людей, посланных Рязановым, отвечаю с того дня, как приступили здесь к работе. Так что вопрос не ко мне — к Рязанову. К нему обращайтесь!.. И вот еще... Пока шли сюда, вы задолжали казахским аулам. Долг этот компания выплатила. Я все еще не удерживал из вашего заработка. И готов простить его вам, если остальные компаньоны согласятся.

— Обращаться к Рязанову? Руки наши теперь до него не дотянутся! Семьи погибших поручили нам быть истцами между ними и нанимателем. Придется вам самим поговорить с Рязановым. Неужели так трудно понять: сироты и вдовы не могут добраться до него со своей жалобой! — сердито сказал старик Шило.

— И мне нелегко, — усмехнулся Ушаков. — Но, хорошо, берусь быть истцом вместе с вами. Только помните: ответчик не я, а господин Рязанов. Два месяца назад я уже обращался к нему, да без результата. Попробую еще. Слышишь, старик?

— Слышу. На этот раз ваша взяла. Обошлось без скандала.

Ушаков рассмеялся.

— А ты думал, у меня только и дела — скандалить с вами? Нет, старина, скандалить, слава богу, у меня и без вас есть с кем, хватит!.. А с вами бы хотел вместе действовать, заодно. А ну-ка, давайте выпьем, чтобы нам жить без ссор и скандалов!

Ушаков схватил бутыль. Забулькало, полилась водка в глиняные и жестяные кружки.

— Выпьем, а там подумаем и решим остаться! — сказал он, чокаясь первым с Шило.

— Подумаем, отчего же. Только вот уши наши, ко-

нечно, слышали, а что глаза увидят? Вот о чем разговор, — не сдавался колючий Шило. Но Ушаков уже не слушал. Протянул стакан Быкову.

— Ну как? По-моему, русские осядут в Караганде! — сказал, чокаясь с ним.

— Мы не против. Рабочим самим лучше бы остаться на месте. Ключ в ваших руках. Все зависит от того, как будет выполнено сегодняшнее распоряжение.

Буланбай с Байшегиром опасливо таращились на поставленные перед ними стаканы. Даже притронуться боялись. Будто прозрачная жидкость могла запачкать их черные от угольной пыли руки. Между ними и этими стаканами встали старина с ее обычаями, предки, суровый ислам. Лица побледнели от страха — а вдруг заставят выпить эту жидкость! Начни Ушаков уговаривать, пожалуй, не раздумывая, сейчас бы бросили и уголь и работу, убежали бы в степь.

— Зачем им водки налили? — строго взглянул Ушаков на Сикорского. — Чаю! Дайте им чаю. — Он присел поближе к казахам.

— Ну, значит, остаетесь? А что остальные, как думаете, не уйдут по аулам?

— Куда идти? Некуда... Останемся, — сказал бесхитростный Байшегир — белая душа!

— Ну, а ты как думаешь? — повернулся Ушаков к Буланбаю.

— Большая часть жигитов останется. А мне нельзя.

Ушаков удивился: такой богатырь, да к тому же десятник, и хочет уйти!

— Семья наняла меня на два года к одному баю, нашему родичу. Ничего не поделаешь. Есть им надо было? Надо. Целый месяц брали мясо, курт и кизяк тоже. Вот и придется мне отработать у бая два года. Теперь моя мать-старуха и сынишка пошли с коржыном по аулам. Доели уже все. Добрели до одного моего товарища. Живут пока там, последний кусок доедают. Так что придется мне идти.

— Зачем же они тебя отдали?

— Не умирать же им с голоду. Что еще могла старуха отдать, кроме меня?

— Месяц кормились, а тебе два года отрабатывать!..

Буланбай усмехнулся — такой умный человек хозяин, а не может понять простой вещи: не старуха отдала — голод отдал. Ушаков понял, тоже улыбнулся.

— Как-нибудь уладим и ваши аульные дела. Пусть перебираются сюда семьи. Сразу, как снег сойдет. И твои старуха с парнишкой тоже пускай откочевывают. Земли и воды всем хватит. Платы не требую...

На том и кончился разговор Ушакова с десятником.

* * *

На рассвете Ушаков уехал. Надолго ли, куда? Этого он никому не сказал.

В бараках бурно обсуждали его распоряжения. Особенно шумели женщины.

— Давно бы уже парились в бане! Все-то робели, а еще мужики!

— Спасибо скажите, Катерина Неволя выложила все хозяину. А то бы так и остались с носом!..

— Как миленький запрыгает Сикорский... Пускай только не выполнит, последние волоски выдернем!

Радовались и казахи — решилось самое главное, можно будет забрать сюда семьи!

Один Сикорский остался недоволен. Не пришлись ему по душе распоряжения Ушакова. Успехи, неудачи компании сами по себе управляющего Карагандой не интересовали. Важно, чтобы собственный карман толстел. А для этого чем глубже увязает дело в болоте, тем лучше. В суматохе одному богу, может быть, известно, что там осело на дне... Но и ему, Сикорскому, тоже... А Ушаков вздумал наводить порядок. Хочет в свою твердую руку забрать поводья. Не нравилось все это Сикорскому!

Во-первых, русские рабочие! Зачем они нужны! Пусть бы уходили. Одна беда с ними! Казахов мни себе на здоровье, как пожелаешь. А эти, бывалые уральцы, сквозь огонь и воду прошли. Вот и казахи от них набрались. Не зря он, Сикорский, с самого начала хотел разделить их, установить разные порядки — знал ведь что делал!.. Тогда вмешались уральцы, а Ушаков их поддержал. Да еще накричал на Сикорского. Нет бы помочь своему управляющему, а он — все на поводу у рабочих.

Во-вторых, эта постройка бараков! Не иначе, силок своему управляющему подставил. Уничтожить задумал!.. Понятно — какой из него, Сикорского, строитель! Разве сможет он расчислить всю смету? Насчет бани и то наобум назвал цифру — семьсот рублей. Сколько на самом

деле надо, черт его разберет! Гореть Сикорскому с этой постройкой!

И он решил действовать, пока и в самом деле не вспыхнул пожар. Как действовать — о том Сикорский не ломал головы. Как угодно, лишь бы ему самому была польза. С такими помехами, как честь, совесть, справедливость, он не считался. За десять копеек мог все продать в придачу со своей родиной. Ради собственной глотки готов был пойти на любую крайность.

Он достал стопку плотной разлинованной бумаги и, не долго думая, сел за донос. На первом листе вывел вверху: имя, отчество, звание Рязанова, перечислил чины и ордена, закрепил все большим восклицательным знаком — ушло пять строк. Затем приступил:

«Долго не понимал я смысла Ваших последних поручений. Теперь же действия некоторых лиц, чинимые беспрепятственно, которые грозят в этой дикой безбожной степи вылиться в большую беду, открыли мне глаза».

Сикорский перечитал написанное. Фраза показалась вполне складной.

«В одном из своих прошлых писем я сообщал Вам о моих подозрениях в связи с некоторыми событиями. Однако особенно серьезного значения я им тогда не придал. Теперь приходится о том горько пожалеть. Чувствую свою вину и покорнейше прошу простить меня. Не смею надеяться на Вашу милость, слишком уж поздно схватился я писать Вам. Единственно, что меня обнадеживает — это моя честная двадцатилетняя служба на Ваших предприятиях. И впредь хотел бы служить Вам».

Сикорский колотил себя, не щадя. Этим рассчитывал усилить впечатление от письма. Теперь можно было перейти к главному — к измышлениям, к доносу.

«Господин Ушаков, испугавшись пустякового недовольства рабочих, поторопился удовлетворить все их требования. Вы сами можете убедиться в этом, просмотрев копию приказа, которую я прилагаю к письму. Должен прибавить, что устные его распоряжения в десять раз превышают те, что записаны на бумаге. Рабочие обступили Ушакова и заставили принять их требования. Фактически они приказали ему, а он — мне. Я по своей простоте заметил было: приказ должны сначала утвердить компаньоны, тогда только и можно будет выполнять. Ушаков обругал меня, не стесняясь в выражениях. И о компаньонах отозвался нелестно: один пьяница, другой —

ненасытный, третий еще того хуже... Все это, заметьте, при рабочих. Так что приходится мне, как Иван-царевичу в сказке, возводить по велению царя в этой пустыне город по имени — Караганда. Как же иначе назовешь, если не город? Бани с удобствами — совсем как в Москве! Отдельные комнаты для семейных! Двойные рамы... Голландские печи! Остается только ковры закупить...

Десятки степных аулов скоро расселятся по берегам названных в приказе рек и ручьев. Будут пасти свои стада, косить сено, и притом — безвозмездно! Люди, конечно, довольны. Отзываются: «земной рай!» А спросить, ради чего все это делается? Только ради одного: закрепить рабочих, привязать их к месту. Постоянные рабочие — конек Ушакова. Я же сам лично не возьму в толк — к чему такие расходы? Зачем строить чуть ли не город, создавать кругом поселки? Гораздо удобнее, а главное, подчеркиваю, выгоднее обходиться наймом временных. В степи после зимнего джута начинается голод. Если и придется за ранее набранными сохранить по пятьдесят копеек, то новые рады будут и тридцати. О большем и заикнуться не посмеют. Разреши Ушаков, я бы за десять дней набрал тысячу рабочих по этой цене. Притом эти тридцать копеек можно было бы закрепить на много лет вперед!.. Я человек доверчивый, но и мне трудно поверить в то, что господин Ушаков не понимает такой простой истины. Извините меня, что говорю так о Вашем компаньоне. Иначе не могу. Считаю, что, как честный человек, должен высказать вам всю правду.

Странным и непонятным кажется и отношение Ушакова к русским рабочим. Я лично считаю вредным держать их тут. Они разлагают казахов, подбивают их на протесты. О дифференцированной оплате русским и казахам не дай бог и заикнуться! Нет ни русских, ни казахов, есть только рабочие! Удивительно, господин Ушаков полностью поддерживает это мнение. Он и слушать не хочет о разделении тех и других. Вот так мы сами отказываемся использовать местную дешевизну рабочих рук. Вот что делаем!.. Если Вам понадобятся для Ваших предприятий рабочие, заберите отсюда уральцев, очень было бы полезно. С лопатой и кайлом справятся и казахи, а большего в нашем деле не требуется.

Еще сообщу любопытную вещь. Управляющего Карагандинскими шахтами надумали превратить в огородника. Можете сами убедиться в этом из приказа. Буду вы-

ращивать капусту да картошку для рабочих!.. Степь кругом дикая, ветры гуляют бешеные, бураны своевольные. Видно, влияет все это на некоторые натуры. Оставшись здесь без контроля, тоже начинают своевольничать, подражают дикой степи. Не удивляйтесь, если через какое-то время услышите, что ваш Сикорский пасет овец казахского бая. В империи под названием Караганда все возможно. Насчет такой империи у нас ходит хабар. Говорят, имя ее императора будет начинаться на букву «У». Простите мою вольность. Но, поверьте, шутки эти недалеки от истины.

Теперь последнее, чем могу Вас «порадовать». Господин Ушаков навязал мне в штейгеры человека, которого Вы сами считаете неблагонадежным. Конечно, здесь не найдешь более грамотного, нежели Быков. Но, простите, такого штейгера мне на моем веку еще не приходилось видеть. Интересы хозяев для него ничто! Дерзок выше всякой меры. Своеволен до крайности. Подозрительна мне и жена его Елизавета Быкова. Она скорее напоминает петербургскую даму, чем жену рабочего. Думается, они вовсе и не супруги. Но это мы вскоре выясним.

Боюсь, Вы будете недовольны мною. Сам понимаю — слишком долго терпел я незаконные дела, не сообщал о них заблаговременно. Не в оправдание, а справедливости ради замечу. Во-первых, только сегодня раскрылись мне истинные намерения господина Ушакова. Ведь только сегодня он объявил приказ и тем окончательно открыл свое лицо. Во-вторых, в этой дикой степи мне не на кого опереться. До Вас далеко, а Акула и Зубов всего лишь истуканы, глупая и грубая сила! Так что идти против господина Ушакова, полномочного представителя компании, мне нелегко. Однако на сей раз я решил не следовать указке Ушакова. Буду ждать от Вас собственных Ваших распоряжений. А до тех пор, считаю, мне нечего особенно усердствовать в выполнении приказа господина Ушакова...»

Сикорский перечитал письмо. Все было как надо. Он верно нащупал и драл по живому месту старого волка. Пожалуй, волк взвоет, когда услышит, как расходуются его денежки! Оставалось найти ловкого, неприметного и надежного человека, чтобы переправить письмо, хотя бы в Акмолинск.

В каждом кругу людей, большой он или малый, у всякого члена этого круга есть еще и свой собственный

кружок, свой, сказать по-степному, «косяк». И независимо от того, волнуют ли человека общие цели или нет, у него всегда есть и своя собственная цель, своя забота, особые радости и печали. У Сикорского тоже был свой «косяк», свои нужные ему люди. Одного из них — Мусакая — он и решил отправить в Акмолинск. Это был тот самый Мусакай, которого недавно жигиты-рабочие наказывали как вора. Мусакай явился, и Сикорский завел с ним такую речь:

— Мусакай, забирай моего жирного гнедого, а твоего тощего оставляй мне, — начал он. — Понял?

— Нет, не понял.

— Сейчас поймешь. Меняемся баш на баш, придачи не надо. Идет?

— Идет.

— Садись на гнедка и — айда в Акмолинск. Сегодня же чтоб выехал. Поедешь?

— Поеду.

— Через два дня должен быть в Акмоле... Не позднее! Будешь?

— Буду.

— Приедешь и — сразу на почту. Понял?

— А потом?

— Потом отдашь вот это письмо начальнику почты Иконникову — из рук в руки! Сделаешь?

— Сделаю.

— Скажешь, Сикорский прислал, скажешь?

— Скажу.

— Теперь понял, за что отдаю тебе гнедого?

— Понял.

Дальше можно было не объяснять. Мусакай — ловкая степная лиса — умел различать, откуда дымком потянуло. Оживился, завилял хвостом. Продать Сикорского — это он мог, но не понять — не мог.

— Гнедка в Акмоле сменяешь на вороного, — улыбнулся Сикорский. — Обратно на вороном чтоб приехал.

Мусакай расплылся.

— Сменяю.

— И еще вот что... — Сикорский сдвинул брови. — Сколько, ты говорил, аулов желают пойти на уголь.

— Теперь не счесть! Есть и такие, что ради одной еды пойдут. Хоть тысячу можно набрать, не тратя и трех копеек на Жумабека, — вставил хитрая лиса, надеясь урвать кус доли у волка.

— Жумабека не трогай, он нужный человек, — недовольно остановил Сикорский.

— Да я так... — заерзал Мусакай. — Просто, чтобы знали.

— Ты вот что сделай! Добудь мне сегодня же сотню заявлений. Чтобы было написано: согласен поступить на работу в шахты Караганды за тридцать копеек. Достанешь?

— Через два часа будут!

— Надо, чтобы стояла печать аульного старшины.

— А как же? У аулная и будем их писать, — проговорил ловкач и не заметил, как упускает из рук хороший кусок.

— Тогда лети! Через два часа жду. Заявления вместе с письмом поедут.

— Только аулнай, как приложит печать, ведь на меня посмотрит... Что мне тогда делать? — спохватился вдруг Мусакай.

— А ты положи ему на ладонь вот эту печать с головой царя. — Сикорский подал ему серебряный рубль, а затем и еще четыре таких же монеты. — Дуй! По пути заверни к Байжану. Там у него Жумабек ночует. Пошли ко мне... Да пусть не медлит! И ты не задерживайся смотри!

Мусакай исчез, а Сикорский снова взялся за письмо. Добавить требовалось немногое, хватило бы двух строк. Но Сикорский уже вошел во вкус — солил, приправлял, украшал свою стряпню всяческим образом: и что казахи давно-де просятся на работу, пороги обили. И что Ушаков запретил принимать их. И что теперь, отчаявшись в одиночку, подают уже заявления целыми аулами. Одно из таких заявлений он и прилагает к письму, чтобы господин Рязанов мог убедиться во всем этом собственными глазами.

Сибирские чиновники знали цену документам, изготовленным от всего аула, всей волости или даже от нескольких волостей. Отпечатки пальцев, заменяющие подписи, на таких бумагах странным образом бывали похожи один на другой. Известно ведь — во всем свете нельзя найти двух человек с одинаковым узором кожи, а тут сотни отпечатков-близнецов! Два-три байских прихлебателя заменяли здесь столько жителей степи, сколько потребуется. Брали во внимание такие бумаги чиновники или нет, все зависело от того, как они смотрели на дело.

Сикорский знал, что его бумага, за которой послал Мусакая, будет именно такой. Но Рязанова она должна была убедить. И карагандинский управляющий продолжал «творить» дальше в самом высоком стиле, будто ратуя за высшую справедливость. И не приходило ему в голову: ведь копается-то в навозной куче! Закончил письмо, «смущенно» признаваясь, что пришлось все-таки снять двадцать человек с постройки закрытой шахты и поставить на рытье котлована под баню — не мог слишком явно ослушаться приказаний Ушакова.

Оживленный, вбежал Жумабек... Срочный вызов очень его обнадежил. Сикорский заговорил сдержанно. Он не очень доверял этому тёре.

— Ты, слышал я, говорил, что вторая партия жигитов уже готова?

— Да, говорил. Только Никон Ибрахим сказал, новых пока не требуется.

— Ну, это дело наше. А твое дело — чтобы все было готово, когда потребуют. В любой час. Списки составил?

— Составил. Пятьдесят человек придется на стороне искать.

— Пока не торопись. А списки принесешь завтра мне. Смотри, чтобы аульные заверили, чтобы не забыли печати приложить!

— Сделаю, сделаю.

— А как бы ты поступил, если бы хозяин не сдержал слова? — неожиданно спросил Сикорский.

Жумабек оторопел, растерялся.

— Я! Никак...

— Ну, а с тобой как хозяин поступит, если ты свое слово не сдержишь? Это знаешь?

— О! Знаю, знаю! — испугался Жумабек, уже чувствуя, как его карманы треснули и из них посыпались деньги.

— Так запомни: сделай все, что обязался сделать. Хозяин есть хозяин. Подрядчик в любом случае остается подрядчиком. Смотри, чтобы никто ни в чем не мог тебя упрекнуть. Запомнил?

Нагнал страху на Жумабека, проводил его, а тут вскоре и аульное заявление легло перед ним на стол. Мусакай принес, запоздав лишь ненамного. Сикорский проверил списки. Сверху шел текст — арабские буквы бежали по строчкам, как черные муравьи. Ниже — имена сотен Жылкыбаев, Туебаев... А на полях сверху вниз вились,

точно следы верблюдов, возвращающихся с водопоя, отпечатки пальцев. На поддельных документах часто вместо пальцев прикладывали к бумаге намазанную чернилами пятку грудного младенца — степная хитрость, чтобы можно было потом отпереться. В этих же целях аульный, прикладывая печать, поворачивал ее немного, сдвигал. Но на этот раз все было четко, ясно: настоящие отпечатки пальцев и печать не смазана.

Сикорский приложил бумагу к письму, зажег над большим конвертом палочку сургуча, в пяти местах припечатал медной печатью и передал пакет Мусакаю.

— Ну, айда! Счастливый тебе путь!..

3

Сущий... Единый... Правый... Не на небе, не на земле — во всем необъятном мире...

Не человек и ни на одно живое существо не похожий.

Не рожден и не смертен.

Непорочный, непостижимый, единый, незримый и всемогущий...

Аллах!..

Так возглашают муллы. Женгей Жубай не слыхала ни об одном из этих достоинств аллаха. Она стояла у колодца и на свой лад изо всех сил честила всемогущего, и не было заметно робости в ее голосе. Ругала, укоряла сердито и горько, громко кляла:

— О бесплодный бог! Глухой и слепой кудай! Проклятый, несправедливый аллах!..

Такие богохульственные речи могла произнести только женщина-казашка. Казах бездумно простирался долу на своем молитвенном жайнамазе, творил священный намаз. Степная жизнь привольна лишь для жигита, жену его она колотила за двоих, не давала ей спуску.

Молчит кожаная саба, а ударь палкой, услышишь — застонет. Так и тетушка Жубай, если уж заголосила, отчаянно клянет своего бога, значит, жизнь крепко хватила ее своим шокпаром, проняла задубленную душу. Нет образа у аллаха. Нельзя воплотить его ни в дереве, ни в камне. Но проклятия, которые обрушивает на него Жубай, ничем не отличаются от тех, что сыпались на головы деревянных и каменных идолов из уст ее прапрабабушек. Боги — деревянные ли, каменные или без образа — всегда были одинаково глухи и слепы к бедам казашки.

Бледное зимнее солнце уперлось в иссиня-свинцовое облако, застывшее над горизонтом. Гладкая — ни единого кустика — белая степь по-вечернему меркла, серела. Безмолвно и хватко сжимал все живое мороз. Женгей Жубай поила коней, доставая воду из круглой обледенелой проруби в колодце. Рук не чуяла от холода. Жизнь не щадила ее. Зимой опаляла морозом, летом жгла солнечным зноем. Откуда взять Жубай слова благодарности аллаху?

Жена кляла у колодца аллаха, Байжан творил на торе — почетном месте — вечерний намаз. Губы шептали священные слова, но на душе не было заметно молитвенной благости. Он очень спешил, и намаз его походил на торопливую скачку всадника, который гонит коня без дороги, не разбирая ни ухабов, ни ям. Уши молящегося ловили все звуки. Не замедлили отозваться и на причитания жены.

— А, шайтан-баба! Что она там натворила?..

Ему и в голову не пришло пожалеть жену: как, мол, ей там тяжко на морозе с конями. Выругал — и снова за намаз. А тут затопали под окнами кони — Жубай гнала их с водопоя. Посмотрел в продушину. Как раз в это время под окном шагал вслед за верным Куцым крупный вороной конь. Тот самый, которого в Омске Ушаков велел Бушуеву запрячь в Байжановы сани. Порадовался Байжан: красавец вороной! Остался-таки у него этот конь! И, не считаясь с аллахом, пошел хвалить Ушакова. Вот ведь, хоть и неверный, хоть и капыр, а лучше иного правоверного... Тут он окончательно сбился. Забыл, сколько уже молитв прочитал... Начал было снова, но как на беду в комнату ворвались два малая — младшие сыновья Байжана. Вбежали, радостно, в один голос сообщая:

— Киши-апа идет! Киши-апа идет!..

Байжан оторвал лоб от жайнамаза, живо обернулся к детям.

— А ну зовите мать, пусть затапливает печь. — И снова простерся в молитве. Теперь он и вовсе заскакал борзым конем — торопился закончить положенное, но не очень важное, как он считал, дело. «Намаз — налог с бороды», — часто шутил он.

Киши-апа — значит младшая мама, — так называли дети Байжана Елизавету Быкову. Успели привязаться к ней за полтора месяца, что пролежала она в их доме.

Байжановы малыши называли обычно байбише Копей старшей матерью, поэтому, должно быть, и прозвали Лизу Быкову младшей — киши. Ласковая, приветливая Лиза стала в доме Байжана своим человеком. И дети и взрослые ее полюбили. Ради нее и старался Байжан поскорее окончить намаз. Быкова уже входила в дом.

Байжан опять прервал молитву:

— Абажды, кызым... Бог — первай, шелабек — оптарой!

Лиза понимающе улыбнулась. Она не раз слышала эти слова от Байжана и считала их казахской поговоркой.

— Тише, тише! Аке молится, — остановила она детей, которые шумно накинулись на нее, обнимали. Лиза пошла в переднюю, собралась присесть на деревянную кровать, ту самую, на которой так долго пролежала. Но малыши тянули ее каждый к себе, спорили.

— Киши-апа, иди сюда, на мое сиденье садись, — подставлял один свою табуретку, — я первый тебя увидел.

— Нет, на мое садись. Это я первый сказал: киши-апа идет, — тянул к себе другой. — Ты первый увидел, а я первый узнал. Пускай киши-апа на мое сиденье сядет.

— Не сядет к тебе киши-апа. Кто вчера свое сиденье бил ногами? Ты!

— А кто сегодня ревел? Ты!..

— А ты тоже ревел. Вчера. Тогда и бил ногами! И апа тебя надрала.

— А тебя аке летом надрал!

Елизавета не все понимала в их речи, но догадывалась — из-за нее спор. Притянула обоих к себе и, чтобы успокоить, села на кровать между ними.

— А теперь хватит. Не шумите. Обоих люблю. Вот вам базарлык, — протянула горсть леденцов. Конфеты — редкое лакомство для казахских детей. Малыши сразу успокоились. Глаза так и прилипли к леденцам. Лиза купила эти конфеты в лавке Сеиткамала и, конечно, вдвое дороже.

Байжан тем временем прикинул, что, пожалуй, хватит уже молиться. Сложил коврик, натянул сапоги, нахлобучил тымак и направился к выходу. Проходя мимо Лизы, сказал:

— Око мое, кызым! Теперь, аллах, прощай! На улице

штойта баба сершайт. Абажды, сейшас шай пить буйдым, — Байжан старался говорить по-русски.

Елизавета кивнула и опять мягко улыбнулась. Вспомнила, как хозяин дома молится, не раз приходилось видеть. Глядя на Байжана, она даже решила, что и все казахи, видно, не очень набожные мусульмане.

Вот уже два месяца, как поднялась Елизавета Быкова после тифа и перешла жить в рабочий барак. И всегда-то была она с виду тонкая, слабая, а тут из-за болезни сделалась и вовсе худая, почти прозрачная. Когда она в первый раз вошла в черную толпу шахтеров, Катерина Неволя всплеснула руками: «То ж ангел с неба!» Понемногу на белых, как бумага, щеках начал пробиваться румянец. Карие глаза заструились светлым лучом. Но движения все еще были медленные, а ласковый голос слаб. Товарищи жалели, берегли ее. Для шахтеров, чья жизнь проходила в темном подземелье и такой же черной нужде, Елизавета Быкова казалась и правда каким-то небесным светом. Она ценила их доброту, была счастлива их дружбой и еще больше желала служить им. Первое, что должна была она сделать, — быть вместе с ними. Не дожидаясь, пока окончательно поправится, взялась за сортировку угля в шахте. Но это было еще не самое главное. Сразу же начала и то дело, ради которого пришла в этот далекий край. И тут очень пригодилась комнатка в доме Байжана, где провела дни болезни. Сегодня она пришла сюда тоже не зря.

Елизавета Быкова не так давно познакомилась с рабочим людом. За более чем двухмесячный путь от Урала до Караганды люди постепенно открывались ей. А потом в Байжановой передней она еще ближе узнала их... Больная, изредка приходя в себя, она видела, как склонялись над ее кроватью и Быков, и Михайло Неволя, и старик Шило. Иногда замечала тут и каких-то незнакомых рабочих-казахов. И здесь, в этой комнатке, произошло с нею чудо. Она отправилась в далекую степь, чтобы зажечь свет сознания в рабочих. А тут вдруг почувствовала однажды, как на нее самое упал свет от этих людей.

Было это дня через три по приезде. Она очнулась после очередного бреда и поразилась — передняя была залита ярким солнечным светом. Что случилось с Байжановым полуслепым окошком? Вот тогда-то ей и показалось, что свет исходил от ее друзей — они сидели тут, в комнате. А было так...

Старик Шило в первый же день пошел с Быковым навестить больную. Увидал, где она лежит, и накинулся на Быкова.

— Это что же?.. Хочешь, чтобы она задохнулась и сгнила тут в этой темноте да вони? — метнул бородкой на больную.

Пока Быков объяснял, что да как, старик Шило подошел к окошку и начал вершками обмерять его, растянув кривые, мозолистые большой и указательный пальцы. Покачав головой на подоконник, много раз промытый вешними водами, оббитый детьми да козлятами, обмерил и его.

— Полтора на полтора... Слава богу! Как раз встанет... Без форточки не обойтись, надо будет и ее... Ты, Андрюша, сначала открой дорогу свету в эту комнату, а потом уж и за мой разум берись, — бурчал сердито под нос — привычка мастеров своего дела. Такие и хвалить будут ворча.

— Стены — тоже, вон какие горбатые. Можно б выровнять. Подрезать хорошенько, и комната в два раза просторнее станет, — вмешался Михайло Неволя.

— А это уже будет по твоей части. Мои руки знают только свое дело.

Через день Байжаново окошко было выброшено вместе с пузырем и со всеми многолетними отметинами и накоплениями. В передней появилось большое, застекленное, с двойной рамой окно. В верхнем углу Шило вставил вертушку с крышкой — жужжалку. Откроешь крышку — жужжалка завертится, нагоняет свежий воздух. Яркий свет, который увидела Лиза, пришел через это окно.

Байжан вначале артачился, не соглашался. Думал, большое окно весь дом охладит. А увидел, как засияла передняя, пристал, чтобы и в его половине так же сделали. В конце концов пришлось и для него вставить такое окно. Теперь стоило войти в дом гостю, Байжан наперебой с детьми кидался открывать свою жужжалку. Гости, может, потом между собой и судили хозяина, а при нем ахали:

— О Байжеке, просто чудо! Ваши окна, оказывается, поют...

Байжан в таких случаях подбоченивался и начинал рассуждать:

— Ойбой, разве у нас, у казахов, дома? Вот у Ушакова

в Омбе поглядели бы. Вот это дом! Не дом, а настоящий дворец! Останавливались мы у него с Апаком... А недавно пришлось заночевать у Игилика в землянке для гостей. Ну, скажу, чуть не задохнулся. Нельзя без воздуха, нельзя...— И он с гордостью глядел на свою жужжащую в железной трубе вертушку.

Многое сделали рабочие в Байжановом доме, пока болела Лиза. И кровать, на которой она теперь сидела с детьми, и маленькие табуретки для сынишек Байжана. Таких ни у кого не было в степи. Эти «сиденья» и предлагали сегодня дети своей киши-апа. Сколотили и две скамьи — стояли тут же у стен. Да и вся передняя стала такой, что не узнать. «Лиза больше страдает от грязи, чем от болезни»,— жаловались женщины — они дежурили по очереди у больной. Михайло Неволя привел товарищей. Вместе они подрезали, подчистили отсыревшие стены. Наружу пришлось выкинуть несколько пудов земли. Углубили и пол на целый аршин. Просторно стало в передней, воздуху много. Вслед за мужчинами пришли женщины во главе с Катериной Неволей. Принялись сметать паутину, скрести, мазать, белить. Скоро потолок и стены стали такими белыми — смотреть больно. Такой передней не было ни в одном, даже байском, доме. Байжан подумывал: не прорубить ли к следующей зиме наружную дверь со стороны его половины. Пусть передняя станет парадной комнатой. Но ведь и внутреннюю комнату можно вычистить так же — догадывался он.

Лиза поправлялась, и рабочие все чаще захаживали сюда в свободное время — хоть голову просунуть в человечье жилье. Люди тосковали по семьям, по обжитому Уралу, по его тихим солнечным дням. В переднюю к Лизе их притягивала чистота, уют, весело поющий самовар, хозяйка и дети. Тянуло посидеть тут после грязного душного барака. Выздоровела Лиза, ушла, а рабочие все продолжали ходить. Передняя Байжана стала первым домом во всей казахской степи, где новые здесь люди — рабочие обсуждали свои новые для степи рабочие дела. Заводили речь и о народе, на землю которого пришли. С интересом расспрашивали Байжана, присматривались. Но мало еще они знали о жизни казахов. Могли судить только по тем впечатлениям, что остались от дороги,— от аулов, где приходилось останавливаться. Не так уж много добавили и разговоры с жигитами-рабочими. Удивлялись: почему так? О народах Африки, Австралии, о дру-

гих народах мира им известно больше, чем о людях, которые живут бок о бок с ними, в одной стране? Пробовали делиться впечатлениями.

— Бедный народ! Землю пахать не умеет!..

— Нет бы руки к ней приложить, берут только, что сама дает...

— Темнота! Детишки мрут! — жалели женщины.

— Навьючили все заботы на шею аллаха, а сами сидят-посиживают, чай пьют... Лентяи! — сердился дядя Шило.

— Это ты напрасно. Скажи, разве жигиты-рабочие ленивы? Хуже нас копают уголь? Признайся лучше, что ничего не знаем о них, не понимаем их жизни. А ведь стыдно не знать о народе, с которым живем! — останавливал Андрей Быков.

— Ну и стыдитесь, коли не знаете. А я усе знаю,— перебила Катерина Неволя.— Счастливый народ! Николы не знали неволи!

— Счастливый? Это чем? Может, грязью да темнотой? — колол дядя Шило.

Катерина махала на него рукой.

— Усе вы пустяки балакаете. Разве не знаете, сколько у них земли? На одну коняку, слыхала, целая тысяча десятин, во! Нема ни царя, ни тоби помещика... Урядников и тих нет! Да кто ж тогда и счастливый, колы не воны?

— Все! Раз моя Катюша сказала, значит, так и есть. Царя и помещиков у них и правда нет. Як же с ней не согласиться? — подтрунивал Михайло над женой.— Шо мы знаем? Вот моя жинка поживет тут лето, все выяснит и нам доложит.

— И царь у них есть и помещики тоже. Что-то не слыхал я о народе, над которым бы царь не сидел. Шах ли, хан — все едино царь! — отрезал Шило.

Так спорили рабочие часто. И споры эти не приводили ни к чему. Казахи были такие же, как и они, рабочие, жили в тех же бараках, но между ними была стена. Стену эту пока еще они не могли взять. Ни русские, ни казахи не знали как следует друг друга. Не могли поговорить, как надо, обо всем. Поездить бы по степи, самим посмотреть — да где там рабочему люду!.. Только и видели — Байжанов дом. Спорили, спорили и обычно соглашались на одном: мертвая эта степь, пустыня, пески кочующие! Что еще было сказать о жестоком для них крае людям,

выросшим в местностях горных, богатых лесом, обильных водой и лугами.

Не могла тут пролить свет и Елизавета Быкова. Многое она знала, многое рассказывала рабочим. Но должна была признаться себе,— ничего никогда не читала об этом народе, хотя и жил он на земле, в десятки раз превосходящей размерами большинство европейских государств. О племенах Африки, об индусах и их кастах, о китайцах — о многих народах мира могла она рассказать подробно. А вот о жизни одного из народов России не знала ничего. Почему так? — задумывалась она. Свет знаний давно уже начал озарять русскую землю. Ученые, мыслители шли плечом к плечу, рука в руке, зажигали неугасимые свечи. Их подхватывали и несли учителя, народные просветители. Свет этот уже начинал падать на весь мир. Но сюда, в казахскую степь, до сих пор не проник. Почему?..

Однажды вечером у Байжана собрались почтенные гости: хожа, Игилик. Лиза попробовала расспросить их. Она в то время жила еще в доме Байжана. И вот какой получился разговор...

* * *

Хожа Куренкоз собрался к Байжану по делу. Прослышал, что тот ездил в Омск, вернулся оттуда разбогатевшим и вдруг вспомнил: младшие сыны Байжана ведь до сих пор не обрезаны! Заторопился выполнить обряд, пока другие «невежественные» муллы не схватились за Байжановых малаев. Он очень беспокоился, не опоздал ли? Но, слава аллаху, шутей — кожица, которую надо обрезать, оказался на месте. Хожа повеселел. Начал расхваливать Байжана за верность исламу, а заодно и жену его за крепкий чай и густые сливки. Между прочим заметил: он-де, хожа Куренкоз, в их крае единственный благородный потомок пророка — «его драгоценные копыта», так он сказал. Дом, который благословит он, Куренкоз, обязательно будет процветать. Для примера указал на Игилика. Как ведь поднялся с тех пор, что хожа стал сотрапезником! А для сравнения вспомнил несчастного бая Жумана — пренебрег Куренкозом, и что получилось?

Байжан для виду почтительно слушал, а сам чувствовал себя так, будто его щекотали под мышками сразу два

шайтана. А все оттого, что рядом с хожой сидел младший сын Куренкоза Кенжегара, крепкий, не в тщедушного отца, мальчик. Байжана так и подмывало сказать: «Вашему роду тоже на пользу пошла близость с Игиликом!» Он еле удерживался, неприлично же у себя дома обижать гостей. Вместо этого вежливо ответил:

— Я и сам все собирался просить вас, хожеке, чтобы благословили мой дом. Да ведь зима какая!.. Рад, что сами приехали. Никто из нас, кроме, конечно, Игилика, не знает настоящую цену хожи,— неясно добавил и усиленно заугощал — гостеприимный хозяин! — Попробуйте куймак, хожеке...

Но шайтаны все не отставали.

— Как он, ваш щенок, похож на отца! Пусть, как Игилик, станет баем и бием.

Хожа и не заметил изнанки слов. Хозяин желал богатства и знатности его сыну! Такой почтительности Куренкоз не ожидал от «Бешеного», и речь его побежала дальше рысью:

Сокола ты не удержишь в руках!..
Если ж услышит молитву аллах,
Можешь пустить хоть в моря и пустыни,
Будет он твой и без привязи ныне!.. —

важно продекламировал он, щеголяя своей книжностью. Этот хожа часто мешал книжные слова со степным просторечьем.

— Нас, хожей, все обижают. Но одно приветливое слово — и мы забываем несправедливое, готовы призвать на прежнего обидчика благословение аллаха.

— Апыр-ау, какие мудрые слова! Повторите, хожеке, еще раз,— восхищался Байжан, хоть и не совсем понял, что в стихах шла речь о счастье.

Хожа собирался было еще напустить туману. Но тут дверь отворилась, и в переднюю осанисто вошел Игилик. Черная жеребковая доха его отливала серебром, голову украшал лисий тымак с черным бархатным верхом. За бием в дверь тенью скользнул Омар. На его голове тоже красовался тымак с бархатным верхом, как у Игилика. Но доха была поскромней — собачья. Хожа сжался, будто поджаренный, на руках от напряжения набрякли синие жилы: не руки — лягушки!

— Ассалаумагалейкум! — негромко поздоровался Омар. Игилик лишь пошевелил губами.

Омар снял с бия доху, усадил и начал стаскивать с его ног сапоги. Только тогда, сидя боком к присутствующим, Игилик поздоровался со всеми. Сообщил и Омар, что в его доме тоже все благополучно. Разделся Игилик, встал. Тут уж хожа и вовсе растерялся: не знал, с какой стороны от себя предложить сесть. Но Игилик прошел в своих мяс — кожаных чулках,— мягко ступая по краю дастархана, чуть не задел нос хожи и сел выше на торе — почетном месте. Кенжегара оказался теперь между отцом и Игиликом. Всем, даже Лизе с Быковым — они сидели здесь же за дастарханом,— бросилось в глаза, как мальчик похож на бия! Прямо из его рта выпал!

Такова уж беда иных семей! Отцу хочется, чтобы сын получился похож на него, а он удается в мать или в ее родню. А то даже и в жигита, который случайно переночевал в их юрте. Но чаще всего сын получается похожим на постоянного сотрапезника мужа. И не удивительно! Известно же: на кого мать взглянет при первом толчке ребенка в чреве, в того он и пойдет. А молодая токал хожи чаще всего видела в своем доме Игилика. Так что все было ясно... Игилик сам и женил Куренкоза на красивой молодой вдовушке. Ходил хожа бобылем пять лет — хватит! И вот, словно в знак их единодушия, младший сын вышел похожим на друга семьи.

Чем больше рос мальчик, тем сильнее сказывалось это сходство. Поначалу хожа в конце каждого намаза молил аллаха, чтобы смилостивился, сделал бы сына похожим на отца. Но аллах не слушал его просьб. Пришлось смириться. «Все в воле аллаха»,— сказал себе однажды и с тех пор успокоился.

Только лишь сел Игилик рядом с Кенжегарой, шайтаны опять принялись за свое. Так защекотали Байжана, что он не выдержал:

— Зрачок мой! — сказал мальчику. — Подвинься к отцу...— Слова как слова, но хитрость в глазах выдала затаенные мысли.

Игилик сразу понял, но не оскорбился. Настроение у него было самое лучшее. Возвращался из Петропавловска после удачно сделанных дел. А последнюю ночь хорошо отдохнул в доме хожи. Хозяина не было, он на пути к Байжану как раз заночевал у Игилика и был очень доволен поставленным угощением. Игилик тоже был доволен, молодая токал хожи угостила и его неплохо. На шутку Байжана бий и сам ответил шуткой — надо было поднять

упавшее вдруг настроение хожи. И все за дас
развеселились, потек разговор.

Тут-то Елизавета Быкова и решилась попы
лидных гостей о степи, о ее жителях и нравах.

— Сколько всего живет в степи казахов? —
она.

Вот уж вопрос! Все сидевшие за чаем перегл
Спросила бы: сколько у того-то детей, жен, ло
А то — сколько всего человек в степи?! Кого из
интересовало? Они были заняты своими домаш
аульными делами. Ни во сне, ни наяву не задум
над подобными вещами.

Для ученого хожи вопрос был тоже не из лег
немедля ответил бы, спроси его, скажем: сколько
рая и ада на том свете? Куда попадет капыр и к
воверный мусульманин? Не хуже очевидца сооб
сколько на каждого жигита приходится райских
Даже возраст их назвал бы — не старше восем
Пожалуй, мог бы даже открыть, что и сам надеет
лучить на том свете целую отару жумак-кыз —
дев. Не постеснялся бы и своей молодой токал, с
тут. Пусть бы злилась. С женщинами он не больш
ется. Знал не хуже русского мужика поговорку:
долог, ум короток». А вот на вопрос, который хор
вестен всякому, кто живет жизнью своего народа,
о благе его, ни хожа, ни кто другой здесь не м
тить. Байжан рискнул подставить спину, хотел
уважаемым гостям переправиться через неспо
ручей.

— Ты, кызым, спрашиваешь, сколько казахов
те? — Байжан поднял глаза к нему.— Ойбой,
Ошень-ошень многа!

— Ну а миллионов сколько?

— Э, дошка, кто его считал, сколько? Спроси,
родов насчитывают казахи,— скажем. Сколько
каждом роду, тоже помним. Самые древние у нас к
их — девяносто два колена, считай! Потом идет дв
тидедовый Аргын. А Большой Жуз, Малый Жуз!
ря уже о нашем — Среднем! Ошень многа...—
выложил все что знал.

Игилик понимал, какими дикими должны к
русским такие ответы, и одернул своих:

— Отвечайте толково, прямо!

Хожа делал вид, что ничто мирское его не инте

Но после слов бия пришел в себя, старался вникнуть в вопросы русской. И Омар, рассеянно смотревший перед собой, подтянулся.

— А сколько всего земли у вас? — снова спросила Лиза. Омар переводил ее слова Игилику.

Только Игилик и задумался над вопросом русской. Вот она женщина молодая, а занимают ее такие мысли. А казаху все равно, не думает, не печется казах о своей земле!..

Елизавета Быкова часто задавала казахам, которые приходили к Байжану, вопросы об их жизни. Ответы их обычно не открывали ей ничего, люди даже не понимали как следует вопросов. Может быть, эти важные с виду гости: ученый хожа, уважаемый бий — судья, смогут ей сказать что-то новое? И вот опять — ничего!.. Вконец расстроилась Лиза. Нет, что ли, у этого народа интереса к собственной жизни, к своей истории? Хотела бы спросить еще о положении женщины в степи, о запретах, которые налагает ислам, но не стала. Видела — отвечают неохотно. Заговорил Андрей Быков:

— Было ли у вас когда государство?

И опять вопрос привел всех в затруднение. Государство по-казахски «мемлекет». А к тому слову, что сказал Быков, ближе всего в казахском языке «оспадар». Оспадар — так говорят о грубом человеке, невоспитанном, с дурным характером. Байжан переглянулся с Омаром и ответил:

— Оспадар? Таких, слава аллаху, в каждом ауле достаточно найдется...

Омар догадался, что Байжан говорит не о том, поправил:

— Этого слова в нашем языке нет,— сказал и отодвинулся подальше в темный угол.

Быков толковал и так и сяк, говорил и о земле, и об управлении, о законах, начальниках. Все простейшие признаки государственности перебрал, но толку не получилось. Ничего не поняли на Байжан, ни Омар, ни хожа.

— Ну а царство? Был на вашей земле царь? — попробовал подойти с другого бока.

— Сарь? Все под ним ходим...

— Налоги платим,— закивали дружно Байжан, Омар и хожа.

Игилик до сих пор сидел молча. Но тут он решил вступить в разговор — раздосадовали глупые ответы друзей.

— Попробуйте вдвоем передать на их языке мои слова,— сказал Омару и Байжану и повернул лицо к русским: — У нас никогда не было своих письменных знаков. Мы — народ, располагающий только тем, что видим и слышим. Доказать точно, что и когда было, не можем. Всего нас около четырех миллионов. Это со слов русских. Ушаков говорил. Живут казахи в Коканде, в Хиве, в Бухаре. Но там их не много. Большая часть нас — в России. На каждого казаха, говорят, выходит земли пять верст в длину, пять в ширину. Инженер Бернер рассказывал. Аршина казах никогда в руках не держал. Меряет голосом: где кончается голос, там и конец версте. Зовем мы свою версту шакырым. Вот и считайте, сколько у нас земли.

Игилик выждал, пока Омар и Байжан спотыкаясь, кое-как перевели его речь. Хотелось ему добавить, что и миллион для казаха необъятен. Сколько тысяч в него входит, не знают. Однако не стал останавливаться на мелочах, заговорил о главном:

— Они спрашивали, было ли у нас царство? Скажите, не было. В разное время в разных концах возникали отдельные ханства. Но существовали, скорее всего, недолго. Такого хана, чтобы объединил под своею властью головы кочующих аулов, не было. Трудно нами управлять. Далеко разбредаемся со своими табунами. И чем больше растут табуны и стада, тем дальше уходим друг от друга, сильнее разобщаемся. Так что под те признаки государства, о которых говорил русский, ханство не подходит. Не было условий — не было государства. Вот у наших узбекских и таджикских соседей другое дело. Там условия были... А мы до русского царя никаких законов не знавали. Копье и камча — вот наш закон!

— Скажите им: весь элем подвластен халифу! — квакнул хожа, привстав на корточки, как лягушка, готовая прыгнуть. «Ученый» хожа назвал мусульманский мир по просторечью — элем, а не по-книжному: галам.

— Это, хожеке, религия и к царству отношения не имеет. А кроме того, казахи никогда не признавали власти вашего халифа! — осадил хожу Игилик.

— Города у вас были?

— Никогда не было. Строить дома — большое искусство. У нас такого уменья не было и нет. От стойбищ наших предков остались лишь кучи золы. И мы, видно, оставим тоже... Вот, может, дети наши выучатся, при-

думают что-нибудь,— вздохнул Игилик, посмотрев на мальчика, который сидел между ним и хожой. На Байжановых малаев — они жались у печки, будто испуганные перепелята,— он и не взглянул...

— О да!.. Он выучится, я сам научу его... Иншалла! — сложил хожа молитвенно ладони.— Он станет истинным мусульманином!

Игилик усмехнулся, покачал головой и наклонился к мальчику:

— Сними чапан, жарко,— шепнул в ухо, расстегивая ему пуговицы.

Вспотевший мальчик с благодарностью посмотрел на большого важного человека и мигом скинул чапан. Большой человек ласково смотрел на него.

Разговор, зашедший было в тупик, оживился. Лиза решилась все-таки задать свой вопрос о казашке.

— В жизни казашки — три разные поры. Можно сказать даже— три жизни, настолько они не похожи одна на другую,— заговорил Игилик с легкой ухмылкой, точно и сам удивлялся тому, что собирался рассказать.— Первая — счастливая пора девичества, последняя — пора достойной старости. Казахи очень любят своих дочерей и высоко чтят престарелых матерей. Если кто посмеет оскорбить молодую девушку или старуху, от такого все отворачиваются: и чужие и родные. Самым последним человеком считают такого, презирают — ничего, мол, не видел в жизни!.. Но между этими двумя порами лежит пора замужества. Женщина-жена у нас все равно что рабыня. Говорят о ней только так: баба, катын! На плечах ее лежит вся черная работа по дому. Вот хоть бы Байжеке, почтенный наш хозяин, считается ли он со своей женой, советуется ли хоть в малости? Нет, не удостоит даже рассказать о деле, цена которому гривенник. Так уж повелось у казахов: жена — рабыня!.. Наш уважаемый хожа никогда не допустит, чтобы женщина стала к намазу рядом с мужчиной. Недаром сложилась у нас поговорка: «Девушки все хороши, откуда берутся плохие жены?» Мы, мужчины, сами творим их себе. Мы — как дети. Попала в руки дорогая вещь — играем, балуемся и быстро портим, ломаем... Подай саптаму,— повернулся к Омару, показывая, что разговор окончен, пора уходить...

Тот вечер не много прибавил к знаниям Лизы о казахском народе. Ей хотелось бы услышать о больших событиях из многовековой истории, о жизни, которая,

пусть медленно, путем чуть заметных перемен, но все-таки движется вперед. Ничего такого Игилик поведать не мог.

Как хотелось Лизе Быковой понять новых для нее людей! Прислушивалась к песням,— их часами тянули жигиты, когда заходили к Байжану попить чаю или постирать белье. Известно же — песня открывает душу. Сильны ли желания, глубоки ли и искренни чувства, умеет ли человек со всей силой страдать и любить — все можно узнать, слушая песню. Сколько раз читала Лиза в книгах: через искусство народа можно понять главную его страсть, мечту, то, к чему он стремится, что ценит сильнее всего. У каждого народа в его творчестве есть своя главная нить. В искусстве Древнего Египта — стремление к вечности, античная Греция искала совершенную красоту человеческого тела, в ассирийских памятниках искусства — величие, мощь, сила. Обо всем этом Лиза столько раз читала, и вот теперь искала в песнях жигитов эту главную нить. Но в песнях рабочих слышались только жалоба узников, заключенных в душные бараки, тоска по вольной степи, ее необъятным просторам, свежему воздуху. Перед их глазами вставала бескрайняя степь, родные места и, не желая расставаться с видением, они тянули свой напев долго, бесконечно. Заканчивались эти песни неизменно тоскливо, безнадежно. Лизе они казались какими-то бесстрастными и не задевали ее. Может, певцы были не слишком искусны? Но однажды она услышала настоящую песнь. Пел Алшагыр... Доняла, видно, разлука с дорогими ему людьми. Взялся за домбру. Начал перебирать струны и сам не заметил, как затянул печальную и сильную казахскую песнь «Кулагер». Пел тихо, чуть слышно, весь отдаваясь чувству заброшенности, оторванности от близких. Но песнь подняла его на своих мощных крыльях, охапками выталкивала тоску из груди.

«Пяле, пяле!» — подбадривали товарищи, просили петь еще и еще. Голос домбры и голос певца сплетались в неожиданных поворотах, дрожали, колебались — и все это проникало в самую душу тех, кто слушал эту песнь.

В это время и вошла в барак Лиза. Вот это песня! Вот это искусство! Обрадовалась она. И чем больше слушала Алшагыра, тем явственнее ощущала: ожили, зазвучали в ней и ее собственные, глубоко спрятанные чаяния. Не понимала ведь ни единого слова в этой песне, но,

слушая ее, вся будто плавилась. И, как бывает при встрече с истинным творцом, заработала и собственная мысль, песнь Алшагыра отозвалась во многих думах, которые носила в себе Лиза Быкова. Алшагыр не только жаловался на горе, тоску, в голосе его была и досада. Человек досадовал на себя — он наступил на огонь. Никого не винил, никого не упрекал. Только горько сетовал на свою беспечность,— как дорого она ему обошлась! Медленно, тихо угасла печальная песня...

— Еще, еще! — просили рабочие. И снова взвился голос певца. В нем слышалась горькая жалоба на жестокость судьбы. Но тут же и оборвалась. Зазвучал сильно призыв к мести. «Я сам за себя отомщу!» — гремела громом последняя фраза, и в бараке словно бы посветлело, будто вспыхнул огонь и осветил все вокруг.

Певец перевел дыхание и собрался снова запеть. Но тут в барак влетел Иван Акула. Громко хлопнул тяжелой обледенелой дверью и властно приказал:

— Прекратить! Кто сегодня не выходил на работу?..

Песня качнулась и оборвалась, как от грубой пощечины.

Не лопнула разом, а поднялась высоко-высоко. Заколебалась, переходя в дрожь, и исчезла...

Лиза была взволнована. Такие песни может петь только народ с чуткой душой. Стало быть, эти жигиты — люди надежные, верные в дружбе, честные. Свежим внимательным глазом она уже и так подметила эти черты в своих казахских друзьях. И вот песня подтвердила...

Присматривалась Лиза Быкова и к обычаям этих людей. Она задумала войти в незнакомую ей среду с новым для жигитов словом и искала путей. Люди пришли из аулов, у них еще нет рабочих традиций, тем важнее найти черты, привычки, которые помогли бы сблизиться с ними.

Два месяца барачной жизни и работы в шахте не прошли зря. Лиза успела присмотреться к казахским рабочим. Среди них у уральцев уже появились друзья, такие, как Буланбай, Байшегир, Алшагыр. Надежные люди. Эти не дадут товарищей в обиду ради своей выгоды. Заметила Лиза, что и другие жигиты начинали тянуться к ним. И появилось у нее новое дело. Приехала сюда зажечь свет мысли среди русских рабочих, а теперь мечтала о том, чтобы свет озарил и казахов. Так и написала ураль-

ским товарищам, которые послали ее сюда: «Круг нашего дела расширился...»

Круг, к которому Лиза принадлежала, был одной из ветвей большого движения. Движение это ставило своей главной задачей — быть среди народа, в его гуще, узнавать его и нести ему свет. Ехать с уральцами Лиза вызвалась сама и очень боялась, как бы не отклонили ее предложение. Андрей Быков — рядовой рабочий — не был в их кружке. Он просто помог ей, выдал Лизу за свою жену — так было удобнее ехать.

Сегодня русские и казахские рабочие должны были прийти на свою первую встречу. Вот почему Лиза сидела на деревянной кровати в передней Байжана, обнимая двоих его малышей. Она ждала...

4

Байшегир одевался, готовясь идти на собрание, а жигиты — товарищи по бараку — уговаривали, приставали:

— Не ходи!... Увидишь, бедой обернется!..

— Скажешь потом: заболел!..

— Какое нам дело до разговора русских.

— Смотри, налетит Акулай!.. У него нюх, как у собаки.

— О, да отстаньте вы!.. Когда перестанете совать нос в дела, в которых не смыслите?.. Степная привычка!..— отмахивался в досаде Байшегир. В сердцах сдернул с железной печки ссохшиеся чокан. Притопнул сильнее, чем надо, проталкивая в них ноги.

— Разговоры русских! А спор о десяти копейках — это тоже был русский разговор? Кто отстоял вам ваши копейки? Разве не русские? А ведь они тогда только приехали: голодные, замерзшие! Им бы о себе побеспокоиться, а вот о вас думали! Русский разговор! Будь проклята вечная ваша привычка вилять!

Жигиты опустили головы, но вслух никто не захотел признаться, что не прав.

Все еще сердитый Байшегир обернулся в дверях:

— Если задержусь, захватите в шахту мое кайло и лопату. Приду прямо туда.

Вышел Байшегир и чуть не у самого входа наткнулся на сани с большим плетеным кузовом. Тощая гнедая лошаденка, запряженная в них, понуро стояла — не в силах была ни шагу ступить, завязла в сугробе, наметенном

возле барака. Свернула, видно, с Акбуйратской дороги и еле доплелась сюда по следам людей — понял Байшегир, взглянув на развороченный по тропе снег. Солнце заходило и гасло в сугробах и в инее, густо покрывавшем морду, бока и спину лошади. Она, казалось, заснула и не думала больше просыпаться, уткнулась мордой в снег. Только кожа в паху мелко дрожала. Рядом стояла с вожжами в руках женщина в черном пуховом платке и мужских шалбарах. Видно, давно уже вела она лошадёнку под уздцы — пестрая подушка на деревянном седле успела покрыться толстым слоем инея. В кузове кто-то сидел — кошма, которой человек был укрыт, все время колыхалась.

Женщина обрадовалась Байшегиру.

— Эй, большой человек, скажи, где тут живут жигиты из аула «Сотня без двадцати»?

— Око мое, тут я на такие загадки. Назови прямо, если даже твой аул носит имя пророка!

— Аныр ау! Разве трудно понять, сколько будет, если от сотни взять двадцать? — все не решалась она прямо назвать свой аул. Не положено — как бы беды не накликать!..

— Сотня без двадцати!.. Сексен!.. Ищешь жигитов из аула Сексен? — догадался наконец Байшегир.— Вон в том бараке, с самого края.

Теперь не поняла женщина.

— В бараке?.. Да тут одни сугробы? Где же ваши проклятые бараки?

— А ты посмотри хорошенько. Видишь дымки? Это и есть бараки. Ладно уж, провожу вас...

Байшегир попробовал тронуть лошадь. Она, сделав два-три шага, снова заехала по брюхо в сугроб и, вытянув шею, повалилась. Больше вставать и не пробовала. Лучше лежать, чем тащиться в этих сугробах, видно, решила она.

— Пусть отдыхает... Сейчас позову ваших жигитов,— сказал Байшегир и быстро пошел к бараку.

— Эй, кто тут из аула «Сотня без двадцати»?.. А ну, выходи в степь!.. Ваши жены увязли в снегу! — крикнул он в широко распахнутые двери.

«Сотня без двадцати»!.. Жигиты гурьбой повалили в дверь. Ведь так называли аул только их жены! Низкие, высокие, плотные, тощие и все одинаково черные, бежали они к саням. Среди них, лоснясь чернотой, точно бык,

только что вынедший из воды, мчался толстый, громоздкий Колбан. Но быстрее всех летел Алшагыр. И не зря... Сердце угадало — его жена приехала...

Жена показалась ему маленькой, как ребенок. Он хотел было схватить ее и понести на руках, но тут набежал Буланбай, узнал Кунзилу:

— Ойбой! Да ведь это моя гордая! Моя, к которой и пыль не пристанет!..— широко раскрыл объятия.

Буланбай кинулся к Кунзиле, Колбан — к гнедой лошаденке в сугробе, а Алшагыр — к кузову, к кошме: там, наверно, сидит его сын, единственный, Алишер!.. Из-под кошмы навстречу ему выглянули две головенки — два мальчика, оба лет по десяти. И еще кто-то сидел там — привалился к углу кузова. Это была старуха — мать Буланбая. Она так вымоталась за дорогу да и за всю эту зиму, что даже на человека не стала похожа — истрепанная старая кукла...

Дети, пока ехали, все мечтали об отцах, как они встретятся! А тут испугались, даже не узнали их сразу — какие-то чужие черные люди! И радость, которой было вспыхнули ребячьи глаза, погасла.

— Алишер мой, счастье мое! — обнял Алшагыр сына. Мальчик сдержанно положил руки ему на плечи, внимательно смотрел в лицо. Голос будто бы свой, родной, а все остальное незнакомое, чужое. Даже глаза не те. У отца были веселые. И запах чужой, в степи так ничто никогда не пахнет. Мальчик выскользнул из объятий и стал обтирать рукавом щеки, там, где коснулись их усы и борода незнакомого агая. Посмотрел Алшагыр на сына и понял: каким страшилой показался он мальчику!..

А Буланбай, точно черный медведь, схватил в охапку Кунзилу, крепко прижал к груди. По щекам его катились слезы — все было в них — и тоска по жене, по другу, и благодарность. Ведь Кунзила спасла его старуху и сына.

Нартай, сынишка Буланбая, успел уже повиснуть на спине у отца. Для него нет никого на свете лучше. Пусть аке черный и пахнет углем, все равно никто не сравнится силой и храбростью с отцом, с палуаном! Алшагыр чуть было совсем не расстроился, глядя на чужого сына. Но тут и Алишер признал вдруг своего аке, повис на его шее — успокоил отцовское сердце.

Тяжело досталась эта зима Кунзиле. Спешила сюда — хоть душу отвести. И вот перед ней те, кто должен успокоить, утешить приехавших из аула. Какие же они сами

несчастные, заброшенные! Так больно было смотреть, что чуть не расплакалась. Крепко, видно, взялась за них новая жизнь. Она слышала, что рабочим не слишком сладко живется. Но не думала, что так. Ведь хоть не часто, а шли от них деньги. Думалось, значит, там все же получше. И вот они, их жигиты, черные, будто прокопченный дымом казан. Да такие жалкие и тощие, посмотреть — хуже коня больного. Ее Алшагыр всегда был таким чистым, опрятным, а теперь... глядеть жалко. А Буланбай, орел степной, что с ним сделалось?!

И правда, все жигиты были на себя не похожи. Только Колбан оставался все таким же круглым и мощным, недаром ведь хлопотал у очага.

— О пэри мой! Взгляни же на своего Нартая, ишь повис на отцовской спине! — Кунзила отстранилась от Буланбая, повернулась к мужу.

Палуан захватил одной рукой сына и перебросил вперед.

— Ну, щенок мой, вырос ты, однако!

— И аже с нами приехала..— не забыл Нартай бабушку.— Сидит в санях. Не может сама подняться...

— Е-е!.. — протянул себе под нос Буланбай. — Видно, и правда наши аулы дожили до «черного темени».

Жигиты из артелей Буланбая и Алшагыра обступили Кунзилу, спрашивали наперебой, как там их семьи. Услышав короткий ответ, тут же отступали.

— Сидят, терпят кое-как, — отвечала одному Кунзила, и сразу другому: — Жди, в оба глаза на тебя смотрят. А у вас на три дня, как уезжала, еды оставалось. Тоже, пожалуй, дожидайся, сюда двинутся... И ваши тоже собирались... А у вас все болеют, тиф... И у вас тоже... И у тебя...

Беда в каждый дом заглянула. Ничего утешительного не могла сообщить Кунзила. Ответы ее, как камчой, больно хлестали жигитов, и они отходили, понурив головы.

— Ну, значит, приехала? Насовсем? — спросил Алшагыр.

— И сама не знаю,— ответила, нерешительно оглядываясь кругом.— Не стало сил терпеть дольше, вот и отправилась к вам.

Не сказала Кунзила, что джут почти ничего не оставил от их небольшого хозяйства. Да Алшагыр и сам понял. Впалые щеки его веселой Кунзилы громче слов сказали ему о беде.

Я и сам ждал тебя, моя голубка.— Алшагыр хотел бы добавить еще что-нибудь ласковое, да какой-то ком задушил слова в глотке.

— Ждать их ты ждал! Скажи, где устраивать будем хоть бы на одну ночь?

— И правда, где же устроим их? — спохватился Алшагыр.— Может, Сикора попросить, пусть разрешит переночевать в нашем бараке?

— Не к чему и просить, не позволит.

Алшагыр все-таки пошел попытать счастья, хоть и сам знал, напрасно. Вернулся скоро, еще более унылый.

— Говорит, Ошаков запретил. Иди, сказал, принеси кумагу от Ошакова, тогда пущу...

— Давай к Байжану! Больше некуда! — решил Буланбай.

Жигиты кое-как подняли гнедую на ноги. Но она, видно, сочла, что пришла в свой аул, и никуда больше идти не хотела. Буланбай сам полез в оглобли. Его отстранил Колбан.

— Садись, Кунзила-айналайн. И вы, малаи, лезьте. Желтый атан всех свезет. Рысью доставлю!

Дети весело вскочили в сани. Интересно было посмотреть, как повезет их этот силач. Но, проехав немного, застыдились, спрыгнули и побежали впереди саней...

Позади всех с лошаденкой в поводу шел Алшагыр. С ним рядом Кунзила. Они все разговаривали:

— А дом как же? Так бросила?

— Нет, на отца оставила. Прибрел к нам недавно... Не нужен стал старый Талтаяк Жумановым наследникам. Прогнали.

— Не помер бы с голоду...

— Теленка закололи, ему оставили. Корову тоже пришлось зарезать. Мясо в дорогу забрали...

— Эх, гнедой, гнедой!..— потрепал своего отощалого коня по гриве.

— Твой гнедой... Дед Абзан предлагал за него воз сена, барана и таз курта. Не дала я его без тебя.

Колбан давно хотел задать один вопрос Кунзиле, да почему-то тянул. А тут остановился, повернул к ней голову:

— Послал я своим девять рублей, велел купить трехлетку или хоть стригунка. Не знаешь, Кунзила, купили они?

— Не знаю, Колбан, не знаю.

Расстроился толстяк:

Видно, так и умру, не коснувшись спины своего коня... — И потянул сани дальше, ворча под нос и на своих, и на весь белый свет.

И Буланбай спросил:

- Наверно, те, кто продает сено и мясо, совсем взбесились? — Он лучше других жигитов понимал значение того, что творилось в аулах.

- И не спрашивай, мой пэри, все из нас выжали.

Так, в невеселых разговорах, впрягаясь по очереди в сани, вели Буланбай, Алшагыр и Колбан первых гостей из голодающего аула к дому Байжана.

* * *

Русские рабочие уже собрались в передней Байжановой землянки. Они ожидали своих казахских друзей, гадали, что могло задержать их. И тут хлопнула дверь — вошел Байшегир.

— А остальные? — с тревогой спросила Елизавета Быкова.

— Пока один...

Байшегир объяснил, что задержало товарищей.

Байжан выглянул из своей половины, позвал Байшегира выпить чаю, согреться.

Уральцы пока принялись обсуждать одно свое дело. Началось оно только вчера, а разговор о нем уже гудел среди рабочих.

— Итак, большинство решили вернуться? — невесело спросила Быкова.

— Да,— ответил старик Шило.— Мы и сами не думали оставаться. А теперь, раз Рязанов приглашает на Урал, поедем. Что нам тут мучиться! Рабочие только о том и говорят теперь. Шесть месяцев отобьем — и айда...

— Глупые мы, что ли, менять Урал на эту пустыню? — подтвердил и Михайло Неволя.

— А я так сплю и бачу себе на Урали. И пыпче бачила... Будто так гарно картошки да гарбузы народились!.. Полный погреб набила и еще — девать некуда! И я кличу Михайлу...— заговорила Катерина Неволя. Она бы и не решилась так прямо высказать свою мечту, муж все сердился, если вспоминала об Урале. А тут сам заговорил, она и рада. Глаза Катерины потеплели, видать, так и стоит перед нею картошка с гарбузами.

А точно ли Рязанов приглашает? Может, просто слухи? — спросила Лиза.

— Написал об этом Ушакову. Копии письма разослал управляющим. Вчера Сикорский зачитал десятникам. Собираются строить Сибирскую железную дорогу, и господин Рязанов будто бы один из пайщиков новой компании.

— Мало ему золотых ручьев, хочет, чтобы река золотая потекла в карман! — опять заговорил Шило.— Дорогу ли будет строить или еще что, но главное для нас — зовет обратно на Урал. Это точно!

— Похоже, действительно так,— взглянул на Лизу Быков. — Не зря же разослал копии и в Караганду, и в Спасское, и в Успенский рудник. Требует, чтобы вернулись все. Так что, даже если захотим, вряд ли согласится кого оставить.

Рабочие замолчали. Сосредоточенно пыхтели цигарками. Дым скоро заволок все лица, не стало видно нахмуренных бровей. Товарищи видели, как расстроили Лизу их слова, понимали и не знали, чем помочь.

Лиза и в самом деле расстроилась. Быков дал понять, какой камень лег на пути их только что зарождающегося дела. Только только первый шаг надумали, чтобы объединить русских и казахских рабочих. Вот сейчас придут сюда их товарищи, жигиты. А что сказать им? Надо ли продолжать дело, если русские через два месяца все равно уйдут? Приходилось серьезно подумать.

Уральские заводы — старейшее производство России. Промышленность была выпестована там крепостным правом. Заводчиков государство наделяло обширными поместьями, такими, что могли разместиться города и селения. Рабочие прикреплялись к земле, которую давал им заводчик-помещик. В результате — прочная связь рабочих с производством.

Владения Рязанова на Урале простирались вокруг заводов на пятьдесят верст. Рабочие его жили в собственных домах, ими же и построенных. Разводили огороды, бахчи. Пуповина, соединяющая рабочего с крестьянским хозяйством, еще не была обрезана. И заводчик-помещик все еще сохранял власть, распоряжался своими рабочими, как хотел.

На этот раз приказание вернуться пришлось рабочим кстати.

— А со здешними шахтами, с заводом что будет? За-

кроет их Рязанов или просто выйдет из компании? — спросила вдруг Лиза.

Андрей усмехнулся.

— Нет, Лиза. Так не бывает. Карман богача никогда не откажется от лишнего богатства, тем более дарового, как тут. Он требует в письме, чтобы Ушаков срочно занялся казахскими рабочими, их бы закрепил за шахтами, рудником и заводом. Сокровище досталось ему по дешевке, так же без хлопот желает он и добывать его. Чуть мы уйдем, казахам снизят заработок, отберут те десять копеек, которые мы отстояли. Уже и теперь готовятся новым по тридцать платить.

— Да-да,— закивал Байшегир, выходя из половины Байжана. — Много есть в аулах людей, таких, что готовы хоть сейчас за тридцать копеек идти...

Дверь распахнулась, появился Буланбай. Он, как ребенка, нес на руках свою старую мать. За ним застучали чокаями по полу Алшагыр и Колбан. Последней вошла небольшого роста казашка с двумя мальчиками. Она с удивлением посмотрела на людей, собравшихся в Байжановой передней. Женщины сидели рядом с мужчинами, да к тому же с непокрытыми головами. И шеи тоже ничем не прикрыты! А одна, подстриженная, так та выше всех мужчин забралась — на почетное место. Уже входя на половину Байжана, Кунзила не удержалась, еще раз краем глаза взглянула на Лизу Быкову.

— О Буланбай, ты ли это? Проходи, гость дорогой! — начал было Байжан. В это самое время Буланбай опустил у печи свою ношу.— Апыр-ау, кто же это? Что случилось?..

— Байжеке, моя мать и жена Алшагыра с детьми убежали от голодной смерти. Думаю, ты не прогонишь их, пока мы с Алшагыром построим какое-нибудь жилье. Перед аллахом ответ за них держать будешь!

— О чем ты говоришь? — обиделся Байжан.— Я, как услышал от Байшегира, тут же велел жене чай готовить, мясо варить. Знал, ко мне приведете. Раздевайтесь, проходите!.. Как здоровье, шеше? — взял руку матери Буланбая в обе свои. Старуха лишь приоткрыла с трудом глаза и снова закрыла их.

Байжан выделял Буланбая среди всех рабочих. Очень уважал его. Встречал всегда особенно приветливо, порывал угостить, чем только мог. Жене приказывал стирать на него, и Жубай всю зиму обстирывала Буланбая. Не

отвернулся Байжан от чужой беды. Даром, что у самого вот-вот хребет треснет — и его зима чуть не заставила задохнуться.

— О Байжеке, знал я... Никого другого не решился бы просить...— не много слов сказал Буланбай, но было видно — велика благодарность его.

Надо было идти к русским, заждались ведь. Буланбай передал приехавших Байжану и прошел в переднюю.

— Теперь можно и салем сказать,— с улыбкой поклонился рабочим.— Издрасти всем, а «те-те» только для Лизы!

Он всегда произносил русское «здравствуйте» в два приема: скажет «издрасти», а потом прибавит «те-те».

— Здравствуй, Буланбай, здравствуй! — оживились рабочие.

— Семьи приехали?

— Насовсем?

— Как у них там, в ауле? — посыпались вопросы.

— Плоха, сапсем плоха! — торопливо ответил Буланбай, чтобы поскорее покончить с расспросами.

— Джут у вас, голод? — допытывался Шило. Он больше других знал о том, что творилось в аулах.

— Джут... А с ним и его братья: богатство и бедность, налоги и лень, дедовы обычаи, суровая зима! — Буланбай намеренно отступил и не точно по пословице перечислил «семерых братьев джута».

— Чи хлиб у вас не уродився, чи шо?..— спросила Катерина Неволя, вспомнив про те голодные годы, которые случались на Урале. Вопрос этот позабавил Буланбая:

— Хлеб? Во всем Алтын-Карпыке сеет один только бий Игилик. Он и раздает сейчас пшеницу в долг. Пуд за теленка. А если теленка не можешь отдать, отработай десять дней на сенокосе. Моя мать взяла у него три пуда. Значит, я ему должен месяц сенокосной работы...

Лизе очень хотелось расспросить подробнее о «джутовых братьях», она учуяла там какой-то интересный смысл. Но Быков напомнил — скоро в шахту. А надо было решить все-таки: как быть с делом, ради которого собрались?

— Прежде всего я обращаюсь к казахским рабочим,— заговорила Быкова.— Помните, у нас был разговор о том, что рабочим надо действовать вместе? И казахи и русские должны идти рука об руку. Мы с вами уже од-

[illegible] проверили это на деле. Только потому Сикорский [illegible] от нас с «десятью копейками», что были тогда все заодно. Хозяевам не удалось съесть нас порознь. Или возьмем распоряжение Ушакова о бане и постройке бараков. Не от щедрой души, поверьте, он это сделал. Наши требования заставили его задуматься. И опять-таки потому, что действовали не в одиночку. Сейчас хозяева готовят новое наступление на заработок рабочего. И нам сейчас особенно важно быть вместе, стоять друг за друга. Одной артелью действовать: казахи и русские вместе. Вот мы и должны создать такую артель... — Лиза старалась говорить привычными для казахов словами.

Така артель на Урале була. Гарно було,— замечала Катерина Неволя.— Обидят хоть одного рабочего, артель тут же и заступится. Я каждый день говорю Михаиле: чи можно забувать про такое доброе дело?

Такая артельная спайка особенно нужна сейчас для казахских рабочих,— подтвердил со своего места и Шило. — Кто знает, сколько еще черных дней ждет их впереди. Мы ведь скоро, наверно, уедем. Надо же хоть опыт свой им передать, научить своих друзей. В единстве сила рабочих, и мы должны им эту силу оставить.

Буланбай закивал, ему понравились слова дяди Шило. Он всегда лучше всего понимал, когда говорил меткий на язык старик.

— Прабильный аксакал. Сапсем харашо гауарит,— постарался сказать по-русски и продолжал на своем языке: — Очень трудно, плохо будет нам, когда вы уйдете. Это мы сами уже начали понимать. Наш главный враг придет из степи. Оттуда уже двинулись люди, много их, и все готовы схватить тридцать копеек, которыми их манят Жумабек и его прихвостни. С голоду рады схватить любой кусок. Сикор уже говорит: или берите тридцать копеек, или уходите. Надеемся только, Ошаков приедет... А спизят до тридцати, не знаю, когда и жасак выплатим. Сколько еще придется работать даром. Мне насчитали двадцать один рубль, по семь рублей с души. А нас трое...

— Тебе, по-нынешнему, два месяца десять дней отрабатывать, мне тоже. Колбану три месяца и три дня, Байшегиру три месяца и шесть дней,— перебил Алшагыр.

Недавно у них в бараке побывал аульный старшина, оповестил: каждый рабочий должен выплатить подуш-

ный налог — за себя и за всю семью. Алшагыр тут же и сел подсчитывать, кому сколько. Просидел несколько вечеров.

— Всем казахам так — по два, по три и больше месяца придется даром работать. Всем трудно. И никто из нас, конечно, не откажется, если вы найдете какую защиту. Познакомились уже хорошо, верим друг другу, — закончил Буланбай. Его друзья: Алшагыр, Байшегир и даже толстый Колбан — все в подтверждение закивали головами. Байжан — он тоже вышел в переднюю — пояснил по-русски, как мог, слова Буланбая. Опасался — а вдруг рабочие не все поняли.

Лиза Быкова внимательно слушала всех. Похоже было, что время действовать пришло.

— Но вы вот через два-три месяца уедете,— повернулась она к русским.— Что станет тогда с нашей рабочей дружбой? Развалится скорее всего, сама собой распадется! А каждое развалившееся дело хуже не начатого совсем. Такое дело показывает нашу слабость. Поблагодарят нас за это друзья казахи? Обнадежили и бросили. Потеряют веру во всякую борьбу. Вот что меня заботит, вот что, признаюсь вам, тревожит. Давайте подумаем, как нам быть?

— А ты, дочка, брось умничать. У тебя все книжки да рассуждения. А тут не до того. Каждый день этих людей нуждается в защите,— обрезал по своему обыкновению Шило.

— Мы очень жалеем, что вы уходите. Но пока вы еще здесь, поучите нас. Проложите хоть след. А дальше мы сами пойдем по нему. Будем, конечно, сбиваться. Но след все же лучше, чем гладкая степь!

— Вот умница! Правильно говорит. Послушай его, дочка, послушай...

Елизавета не обиделась на старика, привыкла уже: рабочие не выбирают слов, рубят с плеча. А Буланбая и она с удовольствием слушала.

— Так давайте же приступать,— торопил дядя Шило.— Вместе нужно действовать, об этом договорились. Сейчас все и решим о нашей новой семье.

— Нечего откладывать,— заговорили хором рабочие.

— Сегодня же...

— Пора!

Этой ночью казахские и русские рабочие в первый раз по-серьезному взглянули на свою дружбу. В Байжа-

новой передней была закреплена первая попытка каратанцевских рабочих объединиться в крепкий «кос», как назвал его по-казахски Буланбай. Что собой будет представлять этот «кос», не могли знать даже Лиза с Андреем. Но все твердо верили в одно: он будет опорой, защитит и русских и казахских рабочих.

Время назрело, и цели были ясны. Но тропа, по которой предстояло шагать к достижению целей, еще не наметилась. Солнце задолго перед восходом посылает первые лучи, пробивает ночь. «Артель»,— как сказала Лиза, «кос»,— так назвал Буланбай, «семья»,— как назвал их дружбу дядя Шило,— все это и было тем первым лучом. А оказался он предвестником великого дня...

— Но в семье должны быть старшие,— вела Елизавета дальше свою мысль.— Кого выберем?

— В первую очередь вас, как вы человек образованный. И Быкова. Он у нас грамотный,— не задумываясь, предложил Шило.

— Дядю Шило!..

— Михайла Неволю!..

— Буланбая!..

— Правильно, всех присутствующих, поскольку сознательные...

Старик Шило не успел договорить. В Байжанову переднюю ворвались трое: Иван Акула, Зубов и Сикорский.

— А говорили, веселитесь? Что-то не заметно! — начал с порога Сикорский.— Где же ваши песни?

— Не все же песни веселят. Бывает, от песни и волком взвоешь,— обрезал Шило.

— Напрасно, кажется, прогулялись. Даже стаканов не видать.— Сикорский оперся на плечо Быкова, усаживаясь с ним рядом.

— Не напрасно. Так просто вы не придете,— снял руку Сикорского Быков.

— Если думали веселиться с нами, чего же не прихватили бутылку. Мимо лавки небось шли,— вмешался и Михайло Неволя.

— Нализались однажды от радости, как царь нынешний на трон сел. Сегодня нам не к чему.

— Не к чему? — слова Шило насторожили Сикорского.— Зачем же тогда собрались?

— А затем, что здесь хоть жильем пахнет: тепло, самовар, детишки... Свинью и то выпускают иной раз из вонючего хлева,— огрызнулся Шило.

— Так, значит: не пьете, не поете, не пляшете... Интересно! Может, книжки почитываете?

— Это точно!.. Всякий день в лавку бегаем за книжками. Только все что-то нет их. Может, распорядитесь, чтоб привезли? — смеялся в глаза Шило.

— Выходит, просто так собираетесь? Вроде как дети— поиграть?

— Э, нам меньше, чем детям, надо...

— Ладно, старик!.. Кому другому расскажи. Если такой смелый, выкладывай: зачем собираетесь?

— Не собираемся. Сказал же, к приятелю приходим, к тамыру: погреться, покурить.

— Что же тамыр ваш без вас сидит?

— Гости у него сегодня.

— Дом у меня тесный. Их напоил чаем, теперь гостей из аула угощаю,— вынырнул со своей половины Байжан.— А потом и вам самовар поставлю...

Байжан давно понял— не выпить чаю да погреться приходят к нему рабочие. Знал о недовольстве шахтеров. Слушая рассказы Буланбая, Алшагыра и Байшегира не раз грозился все передать Ушакову, пусть только приедет. Очень он жалел степных жигитов. Больно было смотреть на них — до чего худые, черные. Нет, Байжан не был против разговоров в передней.

В последний месяц к нему что-то зачастил Сикорский. Приходил то с Мусакаем, то с лавочником Мансуром. Сначала Байжан встречал его приветливо, угощал чаем — как-никак человек Ушакова! Но вскоре раскусил — Сикорский вынюхивает, зачем собираются рабочие. Байжан быстро «подобрал ноги» на все вопросы кружил вокруг одного: приходят погреться, покурить, тамыр он с ними. А сам затаил обиду на Сикорского. Как же, за простачка Байжана принял! Так ему и выложит Байжан все, что видит. Предупредил семью:

— Эта собака вынюхивает что-то. Если спрашивать будет, молчите: не понимаете — и все.

Буланбаю и Лизе докладывал о каждом приходе Сикорского, обо всех его вопросах.

Однажды лавочник Мансур выложил перед ним деньги — пусти на квартиру. Байжан осадил его: не татары мы, квартирантов не пускаем.

О сегодняшнем вечере Буланбай предупредил его заранее. Как только вошел Сикорский со своими друж-

самой. Байжан сразу насторожился. А сейчас вмешался, решил, что пора ему заступиться за своих гостей.

— Не лезь не в свое дело! — грубо оборвал Сикорский. — Не с тобой, со своими людьми говорю! Зачем, отвечайте, собираетесь?

— Не мое дело? А тебе какое дело до моего дома? — огрызнулся Байжан.

— Это что же, допрос? — двинулся вперед Быков. До сего времени он молча наблюдал за спором Сикорского с дядей Шило.

Сикорский давно прицеливался к собраниям рабочих в доме Байжана. Сегодня рассчитывал захватить с поличным. К своему разочарованию, ни бумаг, ни книг — ничего не увидел. А тут еще поддался этому занозистому старику Шило. Больше Сикорский не смог себя сдерживать.

— А если и допрос?! Тебе, штейгер, думаю, не долго его ждать.

— Это уж дело полиции.

— Я здесь управляющий! Я за вас отвечаю!

— Что же, раз так — допрашивайте, мы готовы. Какие у вас улики, доказательства?

— Мне все известно! Вы у меня в руках! По пояс в болоте увязли! Идите лучше сами в полицию, винитесь во всем, лучше будет. Хотите допроса? Будет вам и допрос! Собираетесь? Читаете запрещенные книжки? А нука, попробуйте отговориться!..

Сикорский брал горлом — привычка всех недалеких и грубых начальников.

— Глупый ты человек! — презрительно бросил Шило.

— Эй, старик, говори, да не заговаривайся! — злобно прохрипел, шагая от двери, Зубов.

— Что, кулаки зачесались?

— Отправляйтесь на работу! Гляди, опоздаешь, вычет запишу!..

— Это другой разговор. Мы бы давно пошли, да вы задержали. Это ты тоже запиши.

Рабочие поднялись с мест.

— А ты погоди! — Акула дернул за рукав Байшегира.— Ваша смена отменяется. Иди спать. С завтрашнего дня яму под баню рыть будете. Скажи своим жигитам. Понял?

— Понял.

— На рассвете поднимайтесь!

Сикорский во все глаза следил за рабочими — не унесли бы тайком какой листок. Как только последний вышел, кивнул Акуле и Зубову.

— Начинайте! Ищите! — указал подбородком на кровать и углы...

Рабочие быстро уходили от домика Байжана. Лиза шла рядом с Быковым.

— Ненавижу таких! Гадость какая! Прямо дрожь пробирает... Я ни одного слова сказать не могла, боялась: заговорю и не удержусь, закачу ему по отвратительной физиономии,— делилась она с Андреем.

— Ну, это уже ни к чему! Так недолго угодить в силок. Выдержка требуется.

— Да. А дядя Шило каков? Когда он говорит, можно и не вмешиваться. Как гвозди заколачивает.— Лиза залилась смехом.

— Елизавета Сергеевна, а что, если о деле нашем сейчас в шахте продолжим? Надо же закончить,— предложил Андрей.

— Да, да! Сразу же, как спустимся. Я кое-что наметила, прочитаю.

— У вас было длинно очень.

— Сократила. Оставила только то, что поймут.

— Учли, значит, замечания дяди Шило?

— Учла. Ну и дядя Шило! — опять засмеялась она.

Подождали, пока догонят их остальные рабочие.

— Вот Лиза предлагает закончить с нашим делом в шахте. Как думаете, успеем до прихода Акулы и Зубова?

— Отчего не успеть? Они явятся только к рассвету.

— Где соберемся?

— Лучше всего около рудничного двора. Там рядом женщины работают. Будут за входом следить.

— Значит, решили?

— Решили.

— Может, еще кого из товарищей позвать?

— Только тех, кто надежен.

— А мы поклянемся на кайле и молотке! — пошутил Шило.

Рабочие еще прибавили шагу, торопились скорее спуститься. Сегодня под землей в темной шахте они собирались поставить на ноги «новорожденного» — определить цели и выбрать старших в своей семье.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Снег Караганды в тот год взялся таять бурно, как-то сразу. Овраги и лощины быстро наливались талой водой. Переменчивые степные речки вздулись, готовые вот-вот выйти из берегов. Ветры свистели такие сильные, что казалось, земля под ними дрожала. Весенние ветры споро обрывали подолы сугробов, задирали их вверх. Холмы с солнечной стороны запестрели — точь-в-точь спины чесоточных баранов. Обнажались по пояс кусты таволги и карагана. Всю зиму они скрывались в тепле под толстым снежным одеялом и сейчас дрожали на холодном ветру.

В один из первых весенних дней на левом берегу Нуры показалась группа всадников. Кони неслись размашистой рысью, из-под копыт дробью взлетал подтаявший снег. На гребне холмистой гряды всадники остановились. Сытые стоялые кони рвали удила, били копытами о камень, для них будто и не было ни суровой зимы с ее джутом, ни нынешнего порывистого ветра. Среди всадников возвышалась на рослом коне крупная фигура Игилика. Он был в своей бархатной черной дохе, и конь под ним тоже был бархатно-черный. С Игиликом — все данные его спутники: тёре Жумабек, хожа Куренкоз, Омар, старший сын — волостной управитель Ордабай да пять-шесть косши — коноводов. Все столпились на вершине высокого холма, оглядывали открывшуюся им огромную равнину и реку в густых зарослях сероватого тальника.

Равнина начиналась между двумя хребтами, смотревшими друг на друга. Чем дальше от подножия хребтов, тем вольнее расправляла она крылья, пока не упиралась в реку. От хребтов к реке спускались полосы леса: береза, осина, тополь, черемуха. В тихом удобном гнезде, укрытом от ветров холмистой прибрежной грядой и высокими хребтами, леса росли бурно, не знали пожаров, не ведали топора дровосека. В этом лесу встречался и ыргай — дерево, славящееся прочностью древесины. Там, где вырастал ыргай, другие деревья расступались, стоял он — несгибаемый, прямой, одинокий. Длинный, высокий хребет на той стороне Нуры поднимался как крепостная стена, будто нарочно выведенная, чтобы укрыть равнину

от буранов и заносов. Снег здесь лежал спокойно, ветер не ерошил его, не сбивал в сугробы, как в степи. На склонах хребта ветер трепал даже кустики низкорослой арши — хвойного деревца. А здесь лишь чуть проводил крылом по верхушкам леса.

Игилик, казалось, остался доволен осмотром равнины. Он медленно поворачивал голову, и свита тоже поворачивала головы вслед за ним. Вот взгляд его упал на высокий холм неподалеку от места, где они стояли. На его вершине над самым обрывом возвышалась древняя гробница, сложенная из красного кирпича. Красный мазар — так называли ее в народе. Спутников давно тянуло взглянуть в ту сторону, но не смели — зорко следили за ресницами и бровью Игилика. Теперь все разом перевели глаза к Красному мазару. Игилик быстро повернул коня и направил его к гробнице. Жумабек, Омар и хожа Куренкоз переглянулись и опасливо, точно воры, затрусили следом...

Игилик задумал сменить зимовку. Решил построить деревянный дом. Всю зиму возил лес к пикету у брода через Нуру. Сегодня выехал пораньше и весь день провел в поисках удобного для постройки места. Мест таких встречалось немало, но мысль бия все вертелась вокруг Красного мазара, что на берегу Нуры, и в конце концов привела его сюда. Хозяйским глазом осмотрел сначала равнину, а потом повернул к гробнице.

С Красным мазаром связывала его давняя история. Случилась она много лет назад. Султан Кенесары, один из последних деспотов этого края, чинил здесь в то далекое время расправу под непокорными. Игилик нехотя плелся за Кенесары — это был последний поход властителя — и медлил, задерживая, сколько можно было, свои табуны. Но пришел день — Кенесары приказал и Игилика доставить к Красному мазару. Не забыть бию этого дня! Младший брат Кенесары, беспощадный и свирепый Наурызбай, играл кинжалом с позолоченной рукоятью.

— Эй ты, черный казан!.. Почему до сих пор не откочевал? Или соскучился по желтому кинжалу моему? — Он подкинул кинжал, поймал за острие и снова подкинул. Игилик в это самое время, простирая вперед руки, склонялся в низком поклоне. Кинжал воткнулся в землю у самого его лба. Игилик отшатнулся.

— О алдияр! У меня и в мыслях не было оставаться...

— Нет, ты не стоишь ни моего копья, ни кинжала

моего. Хватит с тебя и камчи туленгутов. Сегодня же чтоб погнал своих коней на Алатау! На земли киргизов гони! И я буду ездить на твоих конях! Я буду пить кумыс от твоих кобылиц! — орал Наурызбай. Для него не было запретов, не боялся оскорбить и седую бороду, не то что такого молодого жигита, каким был тогда Игилик. Он перебрал весь род Игилика до седьмого колена. Крыл грязными словами. Казалось, мутный поток хлестал из его рта. Игилик задохся от такой крепкой ругани.

Я что же... Я и не думал отставать... Если все спинутся, так и я... Табуны мои в полпути...

Знаю тебя, собаку! На Акмолу да Кызылжар оглядываешься! Хватит жевать свой язык! — Наурызбай просто потряс желтым кинжалом.

Мой алдияр! — почтительно остановил его хожа Куренкоз, подняв правую руку с четками.— Э-э, этого жигита я хорошо знаю. Он пойдет. Аллах даст, встретимся с ним у подножья киргизского Алатау.

Влиятельный тогда хожа Куренкоз спас Игилика. Наурызбай хоть и скрипел зубами, но не мог ослушаться — хожа ведь потомок самого пророка. Только пригрозил напоследок:

Завтра же, не позднее этого времени, пригонишь сюда сотню боевых коней! Не пригонишь — быть твоей голове на острие моего копья! Клянусь духом деда моего, что покоится в этом мазаре! Если не сделаю так, пусть встанет из могилы и пристукнет меня!

Наурызбай указал свободной рукой на выход. Игилик будто получил удар в затылок, вмиг вылетел.

На следующий день он пригнал сотню коней, выполнил приказ Наурызбая.

С того дня носил в себе Игилик мечту о мести.

Позднее, возвращаясь с предгорий Алатау, Игилик немного утешил себя — прихватил табуны соседей. Но месть прочно засела в сердце. Не кровь и слезы народа тревожили. Лишь то, что сам он, Игилик, был унижен, оскорблен, вот что не давало спать.

А кровью и слезами в то мутное время Кенесары залит всю степь. Игилик начинал терять надежду на будущее. Аулы приречных степей Иртыша, Тобола и Ишима окончательно отшатнулись от него. Тянулись к русским городам: Петропавловску, Баглану и Кургану — и старались держаться в стороне от разгулявшегося тирана. За два года Кенесары трижды опустошил аулы этих

мест. Но ни набеги, ни угрозы не устрашили людей. За Кенесары пошли только проклятые аулами разбойники и воры. Большинство народа не тронулось с места.

Это было неслыханное сопротивление. Такого еще не знавали потомки Чингисхана.

Кенесары начал свой последний поход на киргизов и свирепо расправился с пятью волостями рода Аргын. Аргынцы не двинулись со своих мест, не желая следовать за ним на Алатау. Третий месяц стоял султан на Красном мазаре. Третий месяц его полчища душили аулы. Народу надоели набеги и войны ханов, тёре, биев и баев. Народ сопротивлялся как мог. И только силой, налетая огромным войском, сгонял Кенесары к своей ставке непокорных аргынцев.

Вокруг Красного мазара, казалось, воздух сотрясался от крика. От одного этого Игилик уже пришел в ужас, когда его волокли к юрте Наурызбая. Склоны двух скалистых холмов сплошь были уставлены рядами виселиц. Трупы тихо раскачивались под перекладинами. Это были те, кто пошел на смерть, но не покорился. Виселицы были поставлены на самом видном месте: пусть видят и помнят о грозной руке.

По обе стороны дороги висели распятые. Того, кто еще не был сломлен, распинали за руки и за ноги между четырех колов. Те же, кто, казалось, колебался, были привязаны за руку и за ногу к двум кольям — с угла на угол. Работу палачей продолжали тучи зеленых мух. Жирные, крупные, чуть не с воробья, впивались они в глаза, присасывались к разбитому темени. Мухи не хуже самого Кенесары пили кровь и слезы его жертв.

Между рядами распятых прохаживались муллы в высоких чалмах и палачи с тяжелой камчой — «телячьим зубом» на кисти руки. Они останавливались над каждым распятым, спрашивали:

— Ничтожный раб, отвечай, пойдешь за нами?

Распятые молчали. Но находились и такие, что не могли сдержать ненависть, эти кричали в лицо палачам «нет» и, не стесняясь, осыпали проклятиями даже святую чалму. Они знали — не миновать им «волосяного аркана».

На резвых конях весело проезжали группы всадников. Им не было дела до того, что творилось вокруг. Эти баи своей волей присоединились к Кенесары. Направлялись они к гостевым юртам. Оттуда слышались домбра и пенье — будто и не было кругом мук и резни.

Люди, насильно согнанные сюда, недобро поглядывали на всадников. Стояли кучками, тихо переговаривались, ждали до времени гнев. Проверяли друг друга:

Как же вы-то здесь оказались? Говорили, что успели откочевать...

Так же, как и вы. В пути перехватили.

А нас в горах настигли. Жуман выдал...

Аксакалы, согнутые тяжестью лет, подходили к палачам, упрашивали — разрешили бы им хоть напоить несчастных. Напрасно, псы Кенесары забыли обычай, смеялись и над сединами. Старики, отходя, кляли мучителей: «Чтоб им подохнуть от жажды! Чтоб их кости истлели непогребенными в песках!..»

Возмущение росло. Казалось, сам воздух накалялся от людского гнева. И гнев этот готов был вспыхнуть пожаром, упади хоть самая малая искорка.

В тени мазара восседал Кенесары. Ярко-пестрый в своем наряде, он был похож на узорчатую змею, поднявшую голову. К нему теснилась свита: тёре, бии, султаны. Жены и дочери потомственных тёре расположились позади. Зрелище казни не устрашало свиту. Они наслаждались тем, что творилось вокруг,— стая жадных волков! К повелителю подводили баев, которых желал он почтить. Пригоняли на расправу особенно яростных, упорных врагов. Тут наступал настоящий праздник для всей стаи.

Одну такую расправу пришлось увидеть и Игилику. Он тогда еще ожидал своей участи, стоял в толпе согнанных.

Кенесары «творил суд» над известным в степи силачом Саурыком. Его с вывернутыми назад руками бросили под ноги тирану. Ударом по сухожилию палач заставил пленного опуститься на колени. У Игилика дух зашелся, когда палач только еще замахнулся дубинкой. А Саурык будто и не заметил удара, не дрогнув, продолжал смотреть в глаза Кенесары. Второй палач быстро опутал одним концом аркана щиколотки ног, другой конец затянул на шее. Саурык невольно выгнулся. Литое тело напряглось, вздулись мускулы спины и ног. Словно высеченный из камня, замер он. Сами палачи невольно залюбовались, приостановили свое дело. И лицо этого человека было под стать его сильному телу — смуглое, с широким лбом и умным смелым взглядом. Коротенькая остроконечная бородка вздернулась вверх, будто указывая на Кенесары,— вот он, тиран!

— Ты почему сбежал? Куда задумал увести свой аул? — грозно спросил Кенесары.

— Сам знаешь, почему от тебя люди бегут. Я — один из многих. А шел за горы Ереймен,— ответил не смутясь Саурык.

— Родичи у тебя за теми горами, что ли? — издевался Кенесары. Связанный богатырь был ему не страшен.

— Никого у меня там нет. Зато есть чем накормить голодных. Нашлась бы мирная работа для рук.

— Э, да ты не к русским ли шел?

— К ним!

— Разве ты не знаешь моей воли? Не приказал я разве всем идти за мной? Не слышал, что обещал вам, если ослушаетесь? В кровь вашу степь ведь разукрасить поклялся! — все больше свирепел Кенесары.

— Все знаю,— просто ответил Саурык.

Спокойствие связанного богатыря смутило тирана. Он считал, что даже голос его заставит трепетать аулчанина. А этот и глаз не опустил.

— Сколько же ты вел за собой?

— Немного. Всего около тридцати семей, это из тысяч, которых преследуешь ты.

Тридцать жигитов стояли тут же. Их настигли воины Кенесары у гор Ереймен. Жены и дети еще были в пути — идти приходилось пешком, захватчики отобрали и коней и верблюдов. Кенесары намеренно поставил жигитов здесь. Надеялся: дрогнет вожак, и все тридцать запросят пощады, станут в ряды войска.

Кенесары уставил на дерзкого холодный взгляд.

— Эй ты! Пойдешь за мной — прощу и тебе и твоим жигитам. Не пойдешь — весь род ваш погублю, всех перережу!.. Грудного младенца не оставлю!.. Говори, пока еще можешь говорить. Пойдешь?

— Нет! Ни я, ни жигиты мои — не пойдем мы за тобою! — твердо сказал Саурык. И, зная, что с казнью султан не замедлит, смело продолжал: — Как ты наказываешь людей, вижу. И не я один — видят все. Видят и запомнят, детям и внукам своим передадут. Не думай, что все это тебе так пройдет. Еще спросится с тебя! А по мне — лучше висеть там,— кивнул на виселицу,— рядом с мужами, чем плестись за тобой в стае трусливых псов. Ведь только трусы и идут за тобой!

Саурык еще что-то хотел сказать, но его заглушили голоса возмущенной свиты.

Замолчи!

Нечестивый, перед кем стоишь?!

Крики покрыл властный голос Кенесары:

Затяните ему петлю на лбу!

Саурык и тут не дрогнул, спокойно ждал кары.

Волосяной аркан — точно лохматый скорпион — упал на лоб Саурыка. Аркан затянули, палач вложил в петлю на затылке рукоять шокпара и начал закручивать. Все туже закручивалась петля, все страшнее натягивалась кожа на лбу. Уголки глаз потянуло врозь. Вены на черепе надулись, разбухли и лопнули. Виски залило кровью.

– Пойдешь?

– Скажи же «пойду»!

– Да говори, говори: «пойду, алдияр мой!» — жужжали в уши, точно назойливые мухи, свита и палачи Кенесары.

— Не пойду! Не пойдут и жигиты! Проклятие наших жен и детей падет на вас! — выкрикнул Саурык из последних сил и умолк.

Волосяной аркан врезался в кость, железной хваткой сжал череп. Не услышал Кенесары даже тихого стона...

Что было дальше, как умер бесстрашный Саурык, Игилик уже не видел. В это самое время его и схватили, потащили к Наурызбаю. Много лет спустя ему пришлось однажды вспомнить о герое Саурыке. Это было в тот день, когда пришел к нему наниматься юный Буланбай. Он назвался сыном Саурыка...

Сейчас, глядя на Красный мазар, Игилик еще раз вспомнил Саурыка. Сын весь в отца пошел! Отец не хотел склоняться перед Кенесары, сын не захотел служить его, Игиликовой, воле. И тревожно стало на душе у бия. Новое поколение, а дух в нем все тот же...

«Ханский жайлау!» — так называли по старинке прильные окрестности Красного мазара. Копыто двадцать лет уже не мяло тут высокой травы, топор не рубил дерева. Проклятым слыло это место в народе. Слишком много мук приняли здесь люди от Кенесары и его палачей. Вот и предпочитали держаться подальше от Ханского жайлау. Безлюдная лежала долина, безмолвные стояли холмы.

Самое близкое жилье — зимовка хожи Курешкоза — отсюда на расстоянии дневного перехода. Хожа — последнее око старины. Так он сам считал. Вот и взял на себя

труд оберегать Ханский жайлау. За двадцать лет, что прошли с той кровавой поры, только он один и навещал Красный мазар. Приходил почтить прах владык чтением из святого Корана.

Вот тут, на Ханском жайлау, и задумал Игилик поставить свою новую зимовку.

Всадники подъехали к мазару. Хожа почтительно приблизился к Игилику. На лице написана просьба. Игилику не надо объяснять, понял без слов, придержал коня. Хожа быстро скатился со своего, возложил руки на колени и как бы задремал в молитве.

Игилик не спешил присоединиться к намазу. Распоряжался не слезая с коня, посылал сына с Омаром проверить дорогу.

— Тут должен быть спуск к равнине. Посмотри, сколько там снега, можно ли проехать? Не заносит ли на спуске к берегу?

Ордабай с Омаром поскакали. Только тогда бий спешился. Опустился рядом с Жумабеком позади хожи. А тот торопливо свертывал молитву. Вот уже и по лицу ладонями провел — закончил.

Игилик приступил к делу:

— Думаю, хватит пустовать этому месту. Пожалуй, тут и буду строиться. А вы глядите, чтобы потомки тёре не вздумали стать мне поперек дороги. Объясните кому надо... — зорко взглянул на спутников.

Так вот для чего привел Игилик их сюда! Среди бела дня вздумал захватить Ханский жайлау!.. Не по душе пришлось такое дело ни «потомку тёре» Жумабеку, ни хоже — добровольному хранителю памятных мест. Но не те времена. Запели в один голос и тёре и хожа:

— О, пусть аллах благословит ваше зимовье!

— Хорошая земля!

— Благодатная, достойная вас.

— Поздравляем!

— А я-то последние дни все хорошие сны видел! Теперь понятно, к чему. Мой дом рад будет услышать хоть лай собак вашего аула. Счастливо вам тут поселиться! — Хожа всячески старался выказать свою радость, хоть соседство бия и не сулило ему ничего отрадного. Игилик не слушал — наперед знал, что могут сказать ему оба ничтожных льстеца. Наблюдал за всадниками. Они шли легко. На рысях неслись на другой берег. Игилик, успокоенный, подошел к коню.

А вы, кожеке, теперь поезжайте домой,— обратил [illegible] лицо к Куренкозу.— Да за этими местами не за[illegible] приглядывайте... Ко мне погостить тоже заез[illegible] Захватите свою байбише, проведете у меня не[illegible] ней.

Х[illegible] повторил слова благодарности, тяжело влез на [illegible] и потрусил к своему аулу.

Вернулись Ордабай с Омаром. Оказалось — проехать [illegible] можно. Выше, чем по грудь, снегу нигде нет. Но мы[illegible] Игилика уже была занята другим. Указал на ма[illegible]

Довольно ему здесь торчать. Кирпич, кажется, [illegible] крепкий, надо разобрать! На что-нибудь приго[illegible]

Ордабай и Омар без слов поняли — бий будет стро[illegible] здесь и начинает с разрушения древней гробницы. Хочет, чтобы и память исчезла о Кенесары и его предках.

— Придется вам пошевеливаться. Смотрите, чтобы весь лес сюда успели по снегу переправить! Скоро уже и строители прибудут. Медлительность наша может нам дорого стать.

Игилик тронул поводья, за ним его спутники — все повернули к броду через Нуру. Там Акмолинский тракт пересекала река. И там на пикете бий и тёре оставили свои легкие сани.

— Ордабай, не иначе сам аллах здесь, на месте, шепнул твоему отцу ставить дом у Красного мазара. Ведь даже еще сегодня утром речи о том не было! — льстил волостному по дороге к пикету Омар.

К заходу солнца добрались до пикета. А там уже развернул работу Батыраш. Сегодня утром получил, как всегда, короткий приказ, и вот — сосновый лес спешно перебрасывали через реку. На льду набралось уже порядочно талой воды. Намокшие по колено жигиты хлестали верблюдов камчой, гнали в воду.

— К утру управитесь? — спросил Игилик, измерив взглядом не тронутые еще штабеля леса.

— Умрем, но сделаем,— отчеканил Батыраш.

— Сколько у тебя здесь людей?

— Двадцать пять.

— Еды хватит?

— Не кончили еще мяса той кобылицы, что вы утром дали.

— Пожалуй, завтра лед может тронуться, торопитесь!

Игилик направился на другой берег. Ордабай с Омаром задержались — объясняли Батырашу, куда перевозить лес.

* * *

Игилик въехал на широкий двор пикета. Там уже кривой Сарымсак запрягал пару карих с лысинкой. Длинные хвосты лошадей были завязаны узлом. Отдохнувшие, сытые кони нетерпеливо перебирали ногами — готовы полететь.

Игилик уже собирался войти в дом попить кумыса, но кони вдруг поставили уши камышом, насторожились. Игилик прислушался: колокольчики... Чуть слышные вначале, колокольчики быстро приближались. Тот, кто летел к пикету, казалось, властно предупреждал: еду, будьте готовы к встрече!

— Э-э-хейт! — донесся уже и окрик ямщика.

— О, да это сам едет! — Содержатель пикета кинулся к конюшне, вывел пару темно-гнедых стоялых коней.

Заторопился вдруг и Жумабек.

— Бийеке, я поеду!.. Лучше будет, если встречу хозяина за работой.

И, не дождавшись ответа, бросился к своим коням. Через минуту он уже летел в сторону Караганды, завязывая на ходу тесемки тымака.

«Э, тёре! — усмехнулся про себя бий, глядя вслед Жумабеку.— И при мне ты невелика птичка-перепел, а уж как Ушаков дохнул — перекати-полем помчался. А ведь сам наверняка орлом себя мнишь. Благородное семя!»

Тройка Ушакова, лихо развернув сани на широком дворе, подкатила к самой двери дома.

— Игилик Утепович! Салам! — замахал Ушаков рукой, вываливаясь из саней, точно медведь.— Здравствуйте! Как здоровье байбише? — уже на крыльце протягивал руку.

Игилик ответил почтительно, но сдержанно. Считал нужным не терять своего веса перед русскими друзьями.

Вслед за Ушаковым из саней вышел кто-то высокий, в черном тулупе. Длинная сабля на боку била на каждом шагу по сапогам.

— Э, да лес уже прибыл! Через полмесяца и строителей ждите. По-моему, договорились с первого мая, вер-

но? раскатывался по пикету энергичный голос Ушакова.

Верно, Никон Абрамович! Вы нас всегда подхлестываете. А мы с нашей степной медлительностью вот... Ни леса, ни кирпича на место стройки еще не вывезли. Да и место, признаюсь вам, только сегодня выбрали. Вот сам приехал, чтобы не краснеть перед вами,— разводил виновато руками Игилик.

Нет, нет, Игилик Утепович! Вас уж никак нельзя упрекнуть в медлительности. Медный караван только благодаря вам и успел до Петропавловска. Два рейса прогнали. Обошли-таки распутицу! Удивили вы Петропавловск, весь город вышел смотреть на ваш караван. Спасибо вам, но заставляете два раза повторять просьбу.

— Ну, это и мне на руку было. Лес ведь надо же было подобрать, перевезти. Два года валялся по Акмоле-тракту, — не уступал Игилик, настаивая, что это он в долгу перед Ушаковым.

— Караваны вернулись?

— Да. Второй еще тут — лес перевозили к месту.

— Слыхал, у вас потери? В пути четыре верблюда пали. Приедем домой, рассчитаемся.

— Нет, нет!.. Потеря моя. Ничего вы не должны мне...

— К себе собрались ехать?

— Да. Ваши колокольчики задержали. Решил подождать вас.

— Вот и хорошо. Вместе до Караганды. Мне уже запрягают.

— Не знаю, угонюсь ли за вами!

— Уж вы ли не угонитесь! Думаете, я в конях не смыслю?..— Оба рассмеялись. Игилик был явно польщен.

— Зайдем-ка в дом, выпьем кумыса.

Оба богача прощупали шутками друг друга и остались довольны — черная кошка пока не пробежала между ними. Смеясь, дружно вступили в дом. Там у лампы уже курил спутник Ушакова — тот, что был с саблей. На плечах полицейские погоны, глаза холодные, блекло-голубые. Он и не двинулся при виде Игилика, хоть и казался моложе его.

— Пристав Алексей Петрович Соколов! В ваши края путь держит, порядок наводить... Игилик Утепович, уважаемый бий нашего округа, отец волостного управителя этих мест. Вы как раз собирались с его сыном встречаться,— представил их Ушаков друг другу.

Только тут кивнул Соколов головой, протянул руку. Из передней в добела выстроганном тегене внесли зимний кумыс. Ни Ушаков, ни пристав не отказались от угощения.

— А ваши дела как? — спросил Игилик Ушакова.

— Дела неплохие! Двадцать лет брожу по вашей степи и в первый раз, поверьте, почувствовал, что не зря трудился! Акбуйратская медь пошла уже гулять по свету. Надумал с будущей осени школу открыть в Акмолинске. На тридцать человек... И только для казахских детей. Наши основные рабочие — казахи. Вот и надо, чтобы штейгеры и инженеры тоже были из казахов. Для работы важно, чтобы понимали друг друга. Детишки окончат школу, пойдут в высшее горнорудное училище в Томске.— Ушаков говорил, и глаза его загорались мечтой. — Расходы за счет компании. Буду просить вас помочь и в этом деле — когда детей набирать начнем.

— Ну, это дело нетрудное. Раз казна берет заботу на себя, кто из аулчан не согласится!..

— Заметьте, мне прежде всего нужны дети рабочих. Чтобы по окончании учебы работали здесь.

— Это понятно. Дети к вам придут. Приедете в Караганду, сами увидите, что зима натворила в аулах. Многие теперь с куруком да коржыпом по дорогам бродят. Я и сегодня встречал таких. Только пообещайте кормить бесплатно — от малаев отбою не будет.

Ушаков насторожился. Голодающие на дорогах? Верно, хлынули в Караганду? Расспрашивать не захотел, сказал только:

— И тут мне без вас не обойтись.

Повторил ли о школе или новая забота возникла вдруг, пока было не ясно.

Ветер стих. Темная ночь свинцовой тяжестью навалилась на землю. Набрякшие тучи медленно плыли с запада на восток. Молодой месяц, вспарывая их, показывал то один, то другой рог и тут же пропадал. Небо низко нависло над степью. Скоро месяц и совсем пропал. Исчезли последние прогалины с одной-двумя звездами. Небо будто натянуло на себя толстое одеяло.

Темень непроглядная, но лысая дорога отчетливо видна. Всю зиму ходили по ней караваны да обозы — проторили путь. Тонким арканом тянутся конные тропы между аулами. Эта дорога, заметная даже в такую ночь, напоминала толстую вздутую вену. «Вот ведь и дороги у

ших не так у нас! — удивлялся Игилик. — Одолели русские даже бураны!»

Кони мчались. Полозья саней еле касались укатанной дороги. Неслись, пустив хвосты по ветру, привязанные к саням запасные. Вот бубенцы передних саней утихли. Кучер Сарымсак тоже придержал коней — видно, передние достигли уже развилки. Ушаков стоял на повороте в Караганде, поджидал Игилика. Свернув на свою дорогу, остановился и Игилик.

До вашего аула далеко, до моего ближе. Поедем по мне. Гостем будете,— весело приглашал Ушаков Игилика.

— Спасибо, Никон Абрамович! У вас, думаю, и без меня гостей хватит. Лучше уж буду вас ждать, управитесь с делами и приезжайте!

— Приеду... Еще не раз приеду. От меня вы легко не отделаетесь!

Два бая прощались, всячески выказывая один перед другим свою любезность. В это время на дороге, куда свернули сани Игилика, показался человек, не понять — верховой или пеший. Для всадника двигался слишком медленно, для пешего был очень высок.

— Ай-ай!.. Сворачивай с дороги или мимо труси быстрей! — крикнул Сарымсак.

— Так, значит, ждите! До свиданья! — Ушаков прощально махнул рукой, и резкий, будто угрожающий звон колокольчиков снова встревожил ночь.

Неторопливо, задумчиво шел к своим саням Игилик. Сарымсак разговаривал с каким-то человеком. «Опять, видно, голодающий!»

— Карагандинская дорога? Да ты уже на ней. До рассвета, пожалуй, и до Караганды добредешь,— объяснял Сарымсак, забирая вожжи, чтобы тронуть коней, как только Игилик сядет.

— Что за человек? — спросил, усаживаясь в санях, Игилик. Его удивил необычный рост путника.

— Сугурали. Сармантаевец.

— Палуан Сугурали?

— Да, он.

Сугурали стоял, опираясь на палку, бессильно опустив голову. Было заметно, что он измучен и очень голоден. Это был тот самый палуан Сугурали, который прошлой осенью сошелся в поединке с Буланбаем. Игилик будто снова увидел двух мощных борцов — сплелись, как два

дерева, и тянут друг друга с коней. Кони шатаются под ними, припадают на колени. Сугурали! Тот самый Сугурали, который побеждал и, победив, выходил к ликующей толпе — гордый и сильный. Игилик быстро взглянул на путника и тотчас, будто устыдившись, отвел глаза.

— Кумыса у тебя не осталось? — шепнул Сарымсаку.— Дай ему напиться.

Сарымсак бросил вожжи на дорогу, слез с коней.

— Кумысу выпьешь?

— Воду и ту выпью... Все, что ни дашь!

Сугурали приник к холодному тостагану. Осушал одну чашку за другой — лишь губы приблизит. Видно было, человек так изголодался, что и правда рад проглотить что угодно, лишь бы через горло прошло.

— Э, жаным, пожалуй, довольно. Худа бы не было. Не дойдешь, пожалуй, так до Караганды,— остановил Сарымсак после третьей чашки.

— Еще один... Налей! — просил Сугурали, уныло глядя на опустевшее дно тостагана.

* * *

Слабый звон далеких колокольчиков едва тронул ухо. Сикорский выбежал наружу — знал уже, что Ушаков едет, Жумабек успел предупредить. Прошелся вокруг землянки, разворошил по пути две-три кучки угольной крошки. Куски покрупней поднял, отбросил в сугроб, крошки и пыль отмел ногой в сторону. Выругал конюха:

— Эй, Ефим!.. Ослеп, что ли?! Почему так плохо вымели?

Оглядел все и уставился задумчиво на дорогу. «С какой бедой несет его? К чему начнет цепляться?» А прицепиться можно было ко многому: баня не сделана, бараки не начаты, семена для огородов и бахчи не закуплены. Яму под баню вырыли, а теперь ее всю талой водой залило. Заставил было вычерпывать, да куда там. Воды — краю нет.

«Виноват я, что ли? Кто его знал, что тут низко. Разве под сугробами разглядишь? — оправдывал себя Сикорский.— А что семена не закупил? Русские все равно уезжают, я и не торопился. Так и скажу. Да-а... А вдруг узнал, что и к отъезду русских я руку приложил? Вдруг Рязанов сказал о письме? Тут уж и правда беда выйдет.

такой человек. Не спустит. А насчет семян! Вдруг придерется, скажет — и жигитам картошка нужна! А может, они ее, картошку-то, и не едят? Может, Коран запрещает? Где этот Мусакай? Спросить бы...»

Пока Сикорский дрожал да придумывал отговорки, приказакал и сам Ушаков. Как вихрь налетел, с саней на ходу спрыгнул, не дождался, пока станут, и к Сикорскому:

— Вели сена побольше настелить в твоей конторе. Не стою, устал в дороге!

Сикорский распорядился конюху насчет сена, а сам все еще внутренне дрожал. Повернулся опять к Ушакову — и отлегло от души: из саней вылезал пристав Соколов. Страхов как не бывало.

— Алексей Петрович, вы?! — засиял он. — Добро пожаловать!..— здоровался, как с близким знакомым. Пусть Ушаков видит...

Ушаков понял и умерил радость подчиненного:

— Что-то у вас тихо? Ни одного обоза не видать. Или празднуете сегодня?

— Вечером проводил обоз Ибрая...— начал объяснять управляющий. Но хозяин не слушал.

— Идемте, Алексей Петрович,— пригласил пристава,— отдохнем немного.

Сикорский пожал плечами, взглянул на гостя: так вот, мол, и живем! Соколов, непроницаемо-важный, прошел мимо, в землянку.

Ушакова ждали, и было видно — готовились. Длинное выутюженное полотенце волнисто вздымалось на столе, показывая, что там под ним кое-что заготовлено. В углу перед образом богоматери, обнимавшей младенца Христа, горели три свечи. Земляной пол был застелен пестрым казахским алаша и ковром. Ворсистый, слегка вылинявший ковер висел и на стене над кроватью. Ушаков от входа окинул все взглядом и начал раздеваться. Подстелил, что под руку попало: пиджак, рубашку, улегся на толстый ворох сена и тотчас засопел.

— А вы здесь располагайтесь,— предложил Сикорский Соколову свою кровать.— Мне пора спускаться в шахту. Устраивайтесь, как вам удобно.

Заснул Ушаков, закрыл глаза и пристав. Только кроткие очи богоматери все продолжали смотреть. Горели забытые свечи...

* * *

Байжан встал, как всегда, вместе с солнцем и первым делом полез на крышу. Окинул довольным взором свое небольшое хозяйство. Весь скот сгрудился возле стожка сена — Байжан на днях привез с Игликова пикета. Кони тянули морды, норовили ухватить клок с самой верхушки. Под ногами у них шныряли козы, подбирали раструшенное сено. А корова с теленком — ишь ты! — с головой ушли в стожок. Пусть едят! Теперь и сами добудут корма — снег вон как за ночь осел! Байжан любовался на свою скотину. Уцелели ведь! В такую зиму!.. На этот раз обошел Байжана джут. А все два бая — Ушаков да Игилик. Один перед другим старались, завалили вдруг Байжана кто чем: и деньгами, и мукой, и вот — сеном.

Солнце открыло пока лишь один глаз, но было похоже — день выдастся ясный. Степной ветерок, пробудясь, мирно позевывал. Видно, уж не станет сегодня беситься. Толстое одеяло, затянувшее ночью звезды и месяц, сползло куда-то. Небо очистилось. Степь подобрела, расправила плечи.

Час был ранний, а дороги и тропки от аулов уже запестрели вереницами людей. Народ словно спешил на базар. Кто верхом, а больше все пешие, и в одиночку и целым аулом, брели за санями. И собаки не отставали — бежали следом. Люди текли из разных мест, чтобы сойтись в Караганде.

На дороге от Акмолинска показался не похожий на других странник — словно бы черная длинная тень. Шел он медленно, будто бы даже не шел, а стоял на месте. Вот присел у обочины, снова встал. «Охотник за сурками,— решил Байжан.— С голодухи многие охотятся. Всегда так после джута. Нет, в степь с дороги не сворачивает, видно, тоже в Караганду». И Байжан потерял интерес к нескладному путнику. Много пеших и конных теперь идет и идет мимо его дома. Вот сегодня ночью промчались колокольчики. А ведь это, наверно, хозяин! Байжану вдруг очень захотелось увидеть Ушакова. Кто знает, может, скажет еще что про муку и про деньги? Каждый месяц обещался ведь выдавать! Даже если просто за руку подержит при всем народе, похлопает по плечу: «О, Байжан!» — и то лестно. Байжан теперь при деньгах, отчего бы ему и не сойтись поближе с такими уважае-

[illegible] [illegible], как Игилик и Ушаков? «А что, если при[illegible] [illegible] Ушакова в гости? Дом у меня теперь хороший. Мука есть, чай есть, сахар есть. День будет теплый. А [illegible] можно на солнышко, пусть играют...» Он загорелся этой мыслью и в нетерпении, прямо с крыши, начал звать домашних:

— Эй, катын! Эй, Апак! Выходите!

После каждого клича ждал самую малость и снова звал как на пожар.

— Эй, катын! Да что вы там?!

Застегивая на бегу пуговицы камзола, выскочила всполошенная Жубай, очень торопилась — только бы не рассердить мужа. Казашки всегда так! За ней — сын Апак [illegible] на ходу тесемки тымака. Позади Кунзила. Она была уже одета. Поднималась в доме раньше всех. Неудобно же, не у себя ведь!

— Неси скорее серебряный жилик, теньгу! И кумажник тоже. На дне пестрого кебеже, в углу, — приказывал [illegible]не.— Поеду Ошакова в гости звать. А вы тут все в доме чтоб вычистили! Проверьте жужжалки на окнах, чтобы не останавливались! Мука есть, пажарь куймака, свари мяса!

Байжан пошел было к воронному, но вдруг что-то вспомнил, закричал снова:

— Белые чашки из кебеже вытащи, которые из Омбы. Головку сахара — там осталась, поставишь целиком!

Жубай, может, и сказала бы что-нибудь против, да знает, если муж вобьет что в голову, все равно по-своему сделает. А Байжан подождал чуть — жена молчит — и поскакал, важный, руку упер в бок.

— Всегда так,— пожаловалась Кунзиле Жубай.— Как взбредет что в голову — всех переполошит.

Она не торопилась войти в дом, все смотрела вслед мужу, а вдруг опять окликнет.

— Детишки на улице поиграют. Старуху в шушале устроим. Укутаем хорошенько, не замерзнет. Подтопить бы там! — говорила Кунзила.

— А как же, затопим. Варить ведь в шушале придется.

Байжан виднелся точкой. Женщины совсем уже собрались войти в дом и тут заметили на Акмолинской дороге очень высокого и какого-то странного путника.

— Тоже голодный! Первый с той стороны. Значит, двинулись. Как и мы, — сказала будто себе Кунзила.

— Ой-бой! Упал, кажется!

— Нет, ничего, голову поднял...

И они пошли по своим делам. Привыкли к бредущим и падающим — каждый день их видели. Жубай в душе обеспокоилась: как бы эти бишара не потревожили гостей мужа.

Байжан подъехал к конторе и остановился с Ефимом — конюхом. Ушаков в это самое время с хрустом разминал свое богатырское тело, готовился встать — всклокоченный после сна, зарос бородой. Загорелое коричневое лицо — и белая обнаженная грудь. Будто присадили голову с чужого плеча. Соколов услышал возню и подал знак — мол, тоже проснулся. Сикорский, приглаженный, с зачесом на лысину, хлопотал над чайником, у железной плиты.

— Доброе утро, Никон Абрамович! — приветствовал он хозяина.

— А-а-ы...— Ушаков, точно лев, разинул пасть, раскатисто зевнул, широко раскинув руки.

Сикорский обиженно поджал губы.

— Алексей Петрович, проснулись? — повернулся Ушаков к приставу.— Можно бы и не торопиться, поспали бы. Я тут еще проторчу порядком. К вечеру выедем.

— Благодарствую, Никон Абрамович. Знаете, как-то и спать не хочется и вставать тоже.

— Не полюбопытствуете ли заглянуть в шахту?

— Нет, увольте, Никон Абрамович. А за честь — моя вам благодарность.

— Попариться бы! — взглянул Ушаков на Сикорского.— У этого человека до сих пор бани нет. Рабочий один тут — Михайло Неволя, так сам среди зимы оборудовал себе баньку. По воскресеньям вдвоем с женой оттянали. А этому человеку что? Ему баня не требуется. У него есть конюх Ефим: коней чистит и его самого моет-скребет...— не удержался, кольнул управляющего.

— Не один строил баню, товарищи помогали,— заметил Сикорский. И неожиданно закончил, видимо, специально для пристава: — С рабочими шутить нельзя.

Ушаков поплескался водой, оделся и вышел на свежий воздух. А там на вороном коне — Байжан. Увидел хозяина, свалился с коня, подбежал.

— А, Байжан!

— Здрасти, мой тёре!

И они долго и крепко жали друг другу руки:

Хман!

Хман. Маржа, баранчук живой? — спросил Байжан [illegible] и сыне.

Живой! А ты, гляжу, не заколол еще вороного?

Зачем Байжан будет резать чужого коня? — ответил хитрец: пусть хозяин прямо скажет, чей же конь теперь?

Да что ты? Твой он, твой! Мне все рассказали. Ты вон не заслужил вороного,— понял Ушаков хитрость и успокоил Байжана.

О, вы и так обогатили Байжана в Омбе! Карман Байжана полон коней,— хлопнул себя по карману, и там зазвенели монеты.— Байжан сейчас зовет тебя в гости. Том у меня сапсем орусски, вотка сарски!..— шутил Байжан.

— В гости?

— Да, в гости! Самауыр тулской, белай шашке омбинский, шай белохвостый китайский, уголь байжанский, Байжан — ушаковский... Вот как! — сыпал Байжан. Знал — Ушаков любит с ним посмеяться. Ушаков и правда захохотал, хлебнул холодного воздуха и закашлялся. Выглянул Сикорский. Увидел Байжана, помутнел: с киргизом любезничает, а ему, управляющему, «здравствуй» не сказал.

Справившись с кашлем и смехом, Ушаков ответил:

— Хорошо, приду. Жди в полдень.

«Вот как? А моей пищей, значит, брезгует. Наверняка завтрака не коснется!» — все злился Сикорский. Байжана он в последнее время терпеть не мог.

А Байжан, счастливый, улыбался во весь рот.

— Байжан теперь обогатит Мансура! — повернул с конем на поводу к лавке.

Ушаков и в самом деле рад был случаю, больно не хотелось сидеть за столом с неприятным ему Сикорским.

— Я похожу, посмотрю немного,— сказал, отпуская управляющего.— Может, и задержусь. Так что не дожидайся, корми гостя завтраком. Побудь с ним. О делах потом поговорим.

Зашагал к шахтам. По дороге заглянул в большую яму, доверху наполненную водой. Баня! Прошел места, обозначенные для бараков. И следов подготовки к стройке не видно. Работничек! — качал головой Ушаков.

У открытых выработок Каражыры дожидалось с десяток подвод. Пять-шесть, уже погрузившись, выбирались

на дорогу. Что кони, что волы — тощие, слабые. Сразу видно: бедняк-шаруа взялся за извоз, на жизнь зарабатывает. Толпы людей подходили к шахтам. Это уже не возчики! Больше все пешие. Из аулов. Ищут работы.

Немилосердная степь вымучила людей и теперь гнала их на уголь. А уголь еще не был готов принять всех — сам не встал пока на ноги.

«Изголодались и вспомнили о работе. А пожалуй, это неплохой признак!» Ушаков был в отличном расположении духа. Всю медь с пяти обозов удалось оптом продать прямо в Петропавловске. Удача разожгла аппетит. Решил с этого лета как следует размахнуться. Правда, письмо Рязанова окатило холодной водой. Как получил его в Акмолинске, целый день кипел, места себе не находил: «Что делает? Отзывает уральцев! Опора ведь, опытные рабочие!..» Но назавтра, поразмыслив, решил не бросать задуманного. Только делать все придется быстрее. Уральцев использовать, пока не ушли. А казахских рабочих достаточно.

Казахские рабочие... Вот они, сами идут к нему. Ушаков, щурясь, смотрел на бредущих по снегу жигитов. С помощью русских закончить две новые шахты. Угля тогда хватит на десять таких заводов, как Акбуйрат. А там на заводе две новые печи вступят. Акбуйрат станет выдавать по девятьсот пудов меди в месяц!.. Да, конечно, всю силу надо направить на это. Русских, русских нагрузить, пока еще здесь!..

Мысли подстегнули, Ушаков прибавил шагу и скоро был уже возле первой шахты. Рабочие заметили его издали, и бедный верблюд в честь прихода хозяина получил лишнюю плеть. Он громко рявкнул и пошел вращать барабан.

— Сколько раз за смену опускаете и поднимаете бадью? — поинтересовался Ушаков у жигитов. Они как раз опрокидывали бадью с углем.

— Сколько раз вылезает эта проклятая? — спросил озадаченный жигит у товарища.

— А кто ее знает. Сам ты не помнишь?

— Да разве считали?

— Выходит, надо было считать,— чесали головы рабочие.

— Эй, малай, может, ты знаешь? — кликнул один из них парнишку — того, что работал у барабана, поднимающего бадью.— У тебя ведь руки свободны, не как у нас.

Парнишка только головой покачал. Тогда первый житель повернулся к хозяину, улыбнулся:

Не знаем... Считать не успеваем. Только опустим, туда-сюда и обратно выходит. Она, проклятая, и пустая тяжелая. А с углем совсем тяжело. Еще и отгрести надо, в кучу собрать. Нет у нас времени считать... Совсем нет.

Сколько денег получить — это вы знаете, а сколько работы делается — времени нет,— сердито ворчал Ушаков, забираясь в освободившуюся бадью.

В шахте на этот раз пробыл недолго. Заглянул — насколько удлинились забои. Прикинул — много ли вырубят угля. С рабочими был, как обычно, приветлив, но в разговоры не вступал. Поговорил только со штейгером, поинтересовался, когда закончит проходку вентиляционного штрека, и приступил к главному:

Пока уральцы здесь, надо успеть обе шахты довести до конца. Казахам одним не справиться.

Ушаков прямо высказал, что беспокоило его, и в то же время показал — вопрос о возвращении русских на Урал решен окончательно.

- Шахты не очень большие, пожалуй, успеем... Закончим, времени хватит, ведь еще два с половиной месяца.

Ушаков и сам видел: работы осталось месяца на два-три. Завел речь о другом:

– Те рабочие, у которых хозяйство не на земле Рязанова, могут остаться. Надеюсь, им известно это?

Быков понял, вопрос прежде всего для него самого.

— Известно, а как же. Посмотрят, если там работать не расчет, может, и останутся.

— Жить здесь, конечно, тяжело... Но зато заработок. Рязанов и половины не дает того, что тут. И учтите: тот, кто здесь штейгером, десятником, там пойдет простым рабочим...— Ушаков выжидательно помолчал.— А вы сами как решили? Пойдете или останетесь? — спросил наконец прямо.

— Пока еще не решили. Жена за то, чтобы вернуться.

— Прошу довести до рабочих: обещания свои я выполню. Все, как приняли, в точности выполню. Обязательно,— сказал и пошел к выходу.

Ушаков решил зайти за приставом Соколовым и потом уже вместе отправиться к Байжану.

Перед конторой Сикорского толпился народ — неуклюжие, медлительные аулчане. Ушаков понял, зачем они

тут. «Надо, пожалуй, сказать им что-то, подбодрить...» Посеревшие голодные лица устремились к нему. Люди поснимали тымаки, низко кланялись. Молчали, пока хозяин не заговорил. А как спросил о здоровье, о жизни, запричитали, заблеяли наперебой.

В радости все люди на одно лицо. Горе и нужда тоже выравнивают их. Все повторяли одни и те же слова. Глаза, лица, движения — все было одинаковым. Начинали: «мой тёре», «мой патша», заканчивали просьбой: «спаси от смерти, не дай умереть с голоду, возьми на работу». Были среди них и уже завербованные, обработанные Жумабеком, были такие, что сами пришли. Немногие рассчитывали на пятьдесят копеек. Большинство рады были и тридцати.

— По-русски кто-нибудь говорит?

Вперед выдвинулся низенький рыжий человечек — Мусакай.

— Объясни-ка им. Мне нужны пока двести рабочих: копать уголь, руду, на разные строительные работы. Через два с половиной месяца возьму еще сто человек. Бараков нет. Пусть приезжают со своими юртами. К зиме бараки построим. Да и сами могут за лето сделать себе землянки. За землю, воду, уголь платы не берем...

Мусакай переводил, а Ушаков наблюдал за лицами — поняли ли, довольны? Кончил толмач, Ушаков заговорил снова.

— Принимать будем в первую очередь тех, кто записался у Жумабека. Больных не берем. Равнять со старыми, опытными рабочими не могу, платить будем по тридцать копеек. Как стает снег, так и приезжайте. Ставьте юрты по берегам Майкудука, Кокозека, Теректы и Сарысу. А пока готовьтесь. Что еще непонятно, спросите у подрядчика Жумабека. К нему обращайтесь.

Бритые, гладкие, точно такыр, головы склонились еще ниже. Люди готовились слушать дальше — привыкли к длинным речам. Но Ушаков уже скрылся за дверью конторы. Казахи недовольно зашумели — не доверяли быстрому решению дела, кратким речам.

— Не хочет помочь нам...

— И слушать не стал...

— Десять дней брели, а и десять слов не услыхали...

— К Жумабеку отсылает... Сказал бы прямо: умирайте!..

Ушаков не слышал недовольного шума, весело звал с собой Соколова к Байжану:

Встали, Алексей Петрович? Пойдемте со мной, одевайтесь! Тут один казах пригласил. Очень интересный человек. Это он и продал как раз мне Караганду. Чаю попьем, такого никогда не пивали!

Соколов что-то писал за маленьким столиком. Перед ним стоял конюх Ефим. Незаметно пристав придвинул ладонью бумаги к себе.

Благодарю! Меня уже тут накормили. И за вас пришлось есть и пить. Так что сыт... С вашего разрешения останусь.

Ушаков почувствовал в словах Соколова холодок... «Что это может быть?» — мелькнула мысль.

Упрашивать дальше не стал. Сбросил шубу, стал быстро умываться. Соколов подал какой-то знак Ефиму. Тот вышел.

До Байжана было недалеко. День выдался весенний, солнечный — отчего не прогуляться пешком? Ушаков шел и радовался сияющей ласковой степи, ручейкам, сочившимся из-под снега. На дороге показались рабочие, запачканные угольной пылью — возвращалась смена, заступившая в двенадцать ночи. Брели усталые, сбившись по четыре-пять человек. В яркий день даже издали заметно было, как серы и изнурены их лица. Ушаков коротко ответил на приветствия и заспешил дальше — не дай бог еще заговорят: засыплют жалобами!

Домик Байжана находился в версте от открытых забоев. В ясный день он был хорошо виден. Дым столбом стоял над крышей. И не только над землянкой, но и над пушалой — сараем. На доме кто-то дежурил. Должно быть, сам хозяин. Увидел гостя и кинулся вниз. Впереди на полпути к дому, обнявшись, шли трое. Передвигались они очень медленно: поддерживали друг друга, часто останавливались. Как будто тоже направлялись к землянке Байжана. Ушаков скоро догнал их. Средний, очень высокий, оказался степным казахом. Остальные двое — рабочие. Навстречу бежал и сам Байжан.

— Что с ним? Больной, голодный? — Ушаков узнал в одном из рабочих десятника Буланбая. — Твой родич?

— Родич. Мой старший брат.

— Апыр-ау! Да ведь это Сугурали! И тебя одолел джут? — захлопотал вокруг Байжан, узнав того, кто опирался на плечи Буланбая и Алшагыра.

— Как видишь, Байжан...— тихо ответил Сугурали.

Буланбай будто решал что-то, поглядывая то на Ушакова, то на Байжана.

— Байжеке,— заговорил он.— Опять я к тебе. Можешь выбросить мать мою и сына моего, но этого брата моего Сугурали устрой у себя и до лета прокорми. Все, что заработаю, буду делить пополам. Думаю, на нас двоих хватит.

— Отведи пока в шушалу, там тепло, топят сегодня. Гость у меня. Пусть пока там побудет.

Ушаков слушал и не верил: заработка десятника не хватает на семью!

— Буланбай, ведь ты в месяц пятнадцать рублей получаешь? И тебе их не хватает? В семье у тебя, я знаю, трое, откуда еще этот брат?

— Это не такой брат. Байжан объяснит. А заработок? Джут съел мой заработок. Я же рассказывал.

Ушаков никак не мог взять в толк, почему бедствуют его рабочие-казахи. Как-то не укладывалось в его голове, что они все еще не ушли из-под власти аула, старые законы степи держат и их. Припомнился разговор с кузнецом Баянды. Да и Буланбай говорил же. Голодная мать его за байские подачки продала труд сына.

— Я расскажу. Все знаю. Пойдемте,— повел гостя с собой Байжан.— Аята первай Буланбай, аята — оптарай Буланбай,— постарался для ясности объясниться по-русски, когда отошли немного.— Он — палуан, и он тоже палуан.

«О, значит, этот Сугурали был такой же силач, как и Буланбай!..— понял Ушаков.— Даже еще сильнее... Байжан назвал его первым Буланбаем!»

* * *

Вернулся Ушаков от Байжана в самом благодушном настроении. Соколов все еще сидел за столиком и писал. Перед ним стоял уже не кучер Ефим, а кто-то другой, по виду, похоже, рабочий. «Шептун!» — понял Ушаков, едва взглянув на позу и лицо этого посетителя. Соколов что-то записывал с его слов.

«Э, значит, неспроста сюда прикатил! Узелок нащупал, распутывает!» — решил Ушаков.

И Ушакову показалось, Соколов напросился в попутчики. О том, что у него возник интерес к предприятиям компании, и слова не было. «Волости пора объехать, а у вас кони добрые», — вот ведь как говорил. А сейчас подобрался, вошел в роль полицейского пристава. Глаза заволокло мутной пленкой, меж бровей пролегла волевая складка.

— Алексей Петрович, вы как, готовы? Пора двигаться.

Соколов, видно, через силу улыбнулся.

— Пожалуй, у нас с вами сегодня поездка не выйдет... Дело одно неожиданно встретилось. Вы не беспокойтесь. Я уже дал знать волостному. Завтра пришлет коней. Боюсь, не смогу к вам на завод заехать. Послезавтра отправлюсь по волостям.— Отвечал подробно, точно хотел избавиться от расспросов.

— Что ж... И у нас могло найтись кое-что. Опытному глазу виднее. — Ушаков тоже выпудил себя улыбнуться.

— Нет, нет, ничего серьезного! — что-то слишком уж горячо вскинулся Соколов.— Так, пустяки. Старые следы. Просто желание появилось. Хочу познакомиться с шахтами. Ни разу ведь не заглядывал сюда.

— Хорошо, хорошо. Счастливого знакомства,— быстро распрощался Ушаков.

У саней ждал Сикорский. Он будто был очень удивлен и даже огорчен, что Ушаков уже уезжает.

— Как же так! О делах и не поговорили! А работа как раз не очень ладится,— сам подставлял под удар спину.

— О чем говорить? Собственными глазами все увидел. Заметил и хорошее и плохое. Главное сейчас — быстрее закончить новые шахты. Не позднее первого мая они должны дать первый уголь! А ты опять увильнул, не выполнил последнего приказа. Смотри, как стает снег, начинай строить бараки и баню! И вот еще: беру сейчас триста рабочих из казахов. Позднее хочу взять еще двести. Ты со своей стороны обдумай, сколько еще нужно рабочих, чего не хватает. Встретимся в Акбуйрате, дам знать.

Сикорский долго смотрел вслед умчавшейся тройке, щурил глаза. Он подметил туман на лице Ушакова — подпортил-таки Соколов настроение этому чересчур деятельному предпринимателю. А вот настроение самого Сикорского поднялось.

2

Сикорский в последние дни заметно приободрился. Удача, казалось, повернула наконец в его сторону. Ушаков до сих пор, как медведь, без остановки пер в гору. Теперь «медведь» пошатнулся. Не упал еще, но закачался. Пришлось ему в этот приезд прикусить язык. А ведь кипел, что печь, переполненная плавкой! Пожалуй, больше не крикнет, как когда-то: «Утри нос!» Не простит ему Сикорский такого оскорбления. Ускакал! А ведь было к чему придраться: ни одного из его распоряжений управляющий не выполнил. Тихонько уехал! И, пожалуйста,— готов набирать рабочих только из казахов. Крепко, видать, прижал его коленом Рязанов. Раньше, бывало, Ушаков, сколько ни дави компаньон, к делу и близко не подпускал. А тут вдруг сдался — легко, без боя. И притом в самую ответственную минуту, когда завод и особенно Караганда встают на ноги. Да, пожалуй, есть над чем поразмыслить.

Приезд пристава Соколова тоже был хорошим знаком. Не так давно Сикорский сам просил его навестить Караганду. Клещом впивался, лисицей юлил и добился согласия. А тут еще и Рязанов помог, ускорил приезд. Тучи над головой Ушакова сгустились. Пожалуй, уже и первые капли начинают падать. Сикорский наведет, а Соколов раскроет в Караганде бунтарскую шайку. Оставит после себя пристав звон, вот тогда... Тогда и в самом деле вспыхнет гаснущая свеча Сикорского. Не только Рязанов, но и полицейские чины начнут ценить его. Пожалуй, и выберется из этой пустыни.

Сегодня он уже начал кое-что. Его люди дали показания. Оплел паутиной некоторые головы. Самое время навести сдержанного Соколова на откровенный разговор.

Сикорский выставил на стол пузатый графинчик и всякую закуску — испытанный путь к дружбе. Прозрачная водка заставляет мутнеть и самую прозрачную мысль. Матерый лис крепко надеялся на ее помощь.

— Утомились, я думаю. Диву даешься, как у вас хватает терпения с этими безголовыми! Бьетесь, допрашиваете. И отдохнуть как следует негде. В моей-то землянке не больно удобно. Три ночи в этой пещере! После таких-то трудов! Сердце надрывается,— приговаривал Сикорский над прилегшим до ужина отдохнуть Соколовым.

— Служба, ничего не поделаешь, — в голосе пристава звучала нотка великих трудов.

Вскоре пошла и застольная беседа.

— Как думаете, работа хоть не пропадет даром? Заранее тревожу — мне ведь ответ держать, если напрасно приехали.

— Нет, еще благодарить вас будем. След один тут с утра. Легко мог затеряться в этой бескрайней степи. Была такая опасность. Думаю, теперь она позади.

— Вот даже как?! Ну, поздравляю, поздравляю, Алексей Петрович! Что значит наметанный глаз! Все разглядели! След-то, должно быть, запутанный?..

— Себя прежде всего поздравьте. Ваш глаз первым приметил.

— Э, что там я... Одичал бы тут совсем, если б не вспоминал иногда, что существует все-таки власть.

— Сеть расставлена. Теперь задача: погнать ли зверя сейчас или подождать, когда подсохнет земля и реки будут брод.

— Степные речки не задержат. Через неделю и брод будет. Снег-то уж почти стаял.

— И потом, важно прощупать главных. Знать наперед, что они собой представляют.

— Если ими окажутся Быковы, то, надо сказать, очень изворотливая пара. Особенно жена. Настоящая колдунья! Ваше знание людей тут очень пригодится,— польстил, пришлось к слову, Сикорский.

— Жена?! Не вы ли подняли тревогу, что не жена она ему?

— Виноват, привычка. Выдают себя за супругов. Мы по простоте было и поверили. А пригляделся — ничего между ними похожего нет, ни одной супружеской черты. Какие там муж и жена!

— Только ли по простоте поверили? — пугнул вдруг Соколов и тут же смягчил: — Я не о вас... Другие так ли уж просты были?

Прозрачная жидкость в графинчике заметно осела. На тарелках сиротливо лежали головки да хвосты — остатки копченой селедки. «Пожалуй, пора!» — решил Сикорский, боясь пропустить удобный случай.

— Не знаю, как у вас с уликами и доказательствами, но одно бесспорно: бунтовщики провели здесь не меньше пяти собраний. Два из них мы сумели засечь. Можем подтвердить свидетельскими показаниями. Остальные, к со-

жалению, пропустили. Не сразу ведь поняли. Кто мог подумать: в этой глуши — и чтобы такое! И второе тоже бесспорно: Быковы не супруги. Колебаний тут не должно быть. Сами рабочие первыми о том заговорили. А однажды мне и самому удалось услышать. Были они вдвоем, и он назвал ее Елизаветой Сергеевной. Жену-то свою! А при всех: «Лиза» да «Лиза». Это-то и насторожило меня.

— Сведения существенные для следствия. Но слов еще мало, доказать надо. Ведь, может статься, что у них и брачное свидетельство имеется.

— Если и есть — обязательно фальшивое. Ваш опытный глаз сразу разберет. Можно допросить жену Ефима. Божится: девушка, говорит, она. Я, говорит, с ней в бане моюсь. Зараз поняла. Ефим вам рассказывал уже об этом.

— Да, конечно, но все же это только слова. А следствию нужны факты, доказательства. Следствие само не может создавать улики.

— Полагаю, если подтвердится наше предположение о собраниях, другая сторона дела сама собой раскроется.

— Но надо еще раскрыть и первую сторону. А лучше бы обе разом!

— Ваше уменье, ваш опыт подскажут. Раз вы тут, я убежден в успехе.

— И вот еще что: нет ли у ваших рабочих связи с рабочими Нильды и Акбуйрата? Не замечали ли чего?

— Нет. За всю зиму ни один рабочий не ездил туда.

— А где сейчас Шило?

— В акбуйратской больнице.

— И в самом деле он болен?

— Да. Провалялся сначала тут две недели. Чахотка. Говорят, в весеннюю распутицу всегда у него так. Однако старик въедливый. Если что поручат — сделает. Ни болезнь, ни сама смерть не помешают.

— А как тот киргиз, в чьем доме собирались рабочие? Думаете, так и будет упорствовать?

— Киргиз заговорит. Можно заставить. Любого из них можно. Для того два способа есть.— Сикорский говорил так, будто всю жизнь только и делал, что изучал характер степного народа.— Один из них я попытался применить. Да по неловкости испортил дело. Говорю ему: «Пригласи начальника в гости, будешь друг — тамыр с ним». Не учел я, что вы отказались с Ушаковым пойти. Он мне в ответ и отрезал: «Приглашал вашего тёре, не захотел идти. Больше приглашать нельзя, такого обычая нет...»

Ну, а если сюда позвать в гости?

Это можно.

А что как опять не получится?

Тогда вторым способом надо действовать. Киргиз дрожит перед начальниками и бумагой. Допрашивайте, заставляйте почаще прикладывать к бумаге палец. Припугните, что повезете в Акмолинск. Язык развяжется.

Знаю, хорошо известен нам этот ваш второй способ. Знаю и то, что такой свидетель на суде от всего отпирается: ни о чем не говорил, ничего не понимал!

Очень может быть. А за этого Байжана, кромо того, обязательно вступятся Ушаков и здешний влиятельный бий Игилик.

- Что же делать?.. Приглашайте вашего киргиза сюда. Надеюсь, выжму из него все-таки, что он там знает.

Несколько дней готовились Соколов и Сикорский, плели сети. Когда сети оказались расставлены повсюду, пристав решил начать с Елизаветы Быковой.

Лиза собиралась в ночную смену. И как была в замасленной, перепачканной угольной пылью одежде, вошла в контору — спокойная, ни о чем не подозревающая простая женщина. Вежливо поклонилась.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, мадемуазель Сергеева.

— Не Сергеева, а Сергеевна,— поправила пристава.

— Ах так?

— До сегодняшнего дня было так.

Первый ход пропал даром. Расчет на внезапность провалился. Быкова не дрогнула, оставалась спокойной.

— Тогда простите. Мне говорили, ваша девичья фамилия Сергеева.

— Мало ли что наговорят.

— Значит, девичья ваша фамилия не Сергеева? — попробовал еще раз пристав с того же захода.

— Нет, Родионова.

— Родились в Омске?

— Нет, в Екатеринбурге.

— Ну, что же... Попрошу принести документы — подтвердите ваши слова. Это чтобы не затруднять неинтересным для вас разговором. Дело, конечно, пустяковое. Не стоит гривенника. Но такова служба — без формальностей невозможно.

— Ладно, сейчас принесу.— Ни намека на смущение. Быкова спокойно вышла.

Задача приставу! Елизавета Сергеевна! След пришел из Екатеринбурга. Теперь ее разыскивает омская полиция. Конечно же, это она. Все приметы сходятся. Хоть и низко повязала платок, а глаз не скроешь. Все — и глаза, и прочие черты — как в записке. Сейчас принесет документы. Несомненно там она значится не Сергеевой, а Родионовой. Что предпринять? Как быть с ней? Арестовать тотчас или оставить пока все как есть? А потом уже, после поездки в Нильду и Спасское, накрыть всех сразу? Пожалуй, пока оставим. Напрасно даже тронул их. Опрометчиво, неразумно, очень неразумно! Вытащить сначала связи между «Уральским кружком» и Акбуйратом с Нильдой, тогда и действовать. Не вспугнул ли сейчас понапрасну?

Соколов соображал, придумывал, ворошил свои мысли, а тем временем вернулась Елизавета Быкова. В руках держала старательно завязанный опрятный узелок — простая женщина, жена рабочего принесла свои документы. Села по приглашению пристава и принялась развязывать свой крестьянский узелок. Распутывала, вытягивала концы загрубелыми, черными от угольной пыли пальцами. И все-таки не по-рабочему тонки были эти пальцы — пристав сразу приметил. Над одним узелком трудилась особенно долго, пришлось тащить концы зубами. Зубы — ровные, белые. Соколова так и подмывало хватить кулаком по этим зубам, сломать тонкие пальцы. Сдержал себя до времени. Но Лиза успела заметить мелькнувший в его глазах злобный огонек.

Наконец узелок был развязан. Быкова неловко положила перед Соколовым бумаги. Часть их упала на пол. Бумаги — пожелтевшие от времени, потертые на сгибах: маленькая, с замусоленными страницами Библия, паспорта ее и мужа, церковное брачное свидетельство, странички отрывного календаря, старые письма. Все это замасленное, пропитано угольной пылью.

— Зачем мне все? Дайте только то, что просил.

— Почем я знаю, что вам подавать. Неграмотная же я.

«Неграмотная?! А кто институт в Казани кончил? Кто читает рабочим крамольные книжки? Неграмотная?..— крикнул бы ей в лицо Соколов, если бы мог закончить сейчас «дело». Пришлось опять подавить свои чувства — осторожность!

— Что же, посидите. Придется порыться в ваших бумагах.

Брачное свидетельство и метрики попались на глаза сразу. Но сделал вид, что не находит нужного, перебрал все бумаги. Шарил, хоть и знал, что ничего компрометирующего не найдет. Привычка сыщика.

Не та,— приговаривал и отдавал Быковой. Лиза принимала очередной листок и неловкими пальцами бережно расправляла на коленях, и правда — жена простого рабочего.

Ага, вот они! — взял наконец метрику и брачное свидетельство.— Хотите, расскажу, зачем потревожил вас? Пустяковое дело.

Ни к чему мне чужие дела знать.

Коротко говоря, женщина, которую разыскивают, не вы. Не Родионова, а Сергеева. И возраст не подходит. Та — пожилая. Недоимки за ней за много лет. Возьмите ваши бумаги. Извините, напрасно побеспокоил.— Соколов вернул документы.— Библию кто же читает? Муж, наверно?

— Он, а я слушаю.

— Вы сами тоже на шахте работаете?

— Да, уголь перебираю.

— Хорошо. Идите.

Пристав постарался как можно мягче закончить разговор. И все же сердце Лизы подавало сигналы тревоги. Она шла к бараку, а сердце стучало так громко, будто ее дружелюбный иркутский сосед снова забарабанил в стенку. Он всегда предупреждал стуком о появлении полицейского. Нет, не напрасно пристав назвал ее Сергеевой! Дознался? А может, и правда разыскивает другую Сергееву? Так или иначе, но придется удвоить осторожность. Елизавета, пока дошла, перебрала все «броды» — не оставила ли где какого следа? Бумаги она положила снова в деревянный сундучок в изголовье, заперла на замок и с теми же думами отправилась в шахту.

С детства привыкла относиться настороженно к полицейским мундирам — родилась в семье ссыльного. И самая настоящая ее фамилия была Чайкина. Молодым офицером отец ее тесно дружил с декабристом Каховским.

За сочувствие декабристам Чайкин был арестован, и вскоре отправлен в Сибирь «на каторгу и вечную ссылку». Мать Елизаветы отправилась вслед за мужем. Там, когда истек срок каторжных работ и Чайкин остался на положении ссыльного, и родилась их дочь. Елизаветой

назвал ее отец — в честь матери. Она и вышла похожая на мать: и лицом и душой.

Запомнилось ей, как собирались у них люди, горячо спорили, читали книги. Мать обычно, когда приходили такие гости, уводила ее гулять. Но если читали стихи, оставляла послушать. А это бывало часто. Читали рылеевского «Гражданина», Пушкина — «Послание в Сибирь», «Чаадаеву» и «Вольность». Тогда эти стихи ходили только переписанными от руки. Позже прибавились и лермонтовские: «На смерть поэта» и «Кинжал».

Лиза многие из этих стихотворений тогда же запомнила наизусть. Она и теперь, в Караганде, читала их рабочим. Только, казалось, не умела так зажечь слушателей, как зажигал их ее отец.

Не тот отчизны верный сын,
Не тот в стране самодержавья
Царю полезный гражданин,
Кто раб презренного тщеславья!

Но тот, кто с гордыми в борьбе,
Наград не ждет и их не просит,
И, забывая о себе,
Все в жертву родине приносит.

Эти строки из стихотворения казненного Рылеева вызывали бурю в сердцах ссыльных...

Когда Лизе минуло десять лет, произошло одно событие, изменившее ее жизнь. Детям тех декабристов, которые пробыли в ссылке больше двадцати лет, волею царя милостиво разрешалось поступать в гимназию, институты, университеты любого города, кроме Петербурга и Москвы. Но только с одним условием: дети должны были отказаться от фамилии отца. Отец болезненно воспринял этот удар, но все же Лизу стали готовить к поступлению в казанский институт.

Прошло пять лет. Настало время ехать в Казань. И тут отец умер. Поехала Лиза вдвоем с матерью — ей разрешили покинуть Сибирь.

Окончила Елизавета институт, и наступила ее пора пробовать силы — служить России. Сначала учительствовала в селах, помогала крестьянам понять их жизнь. Выполняла задания уральских товарищей. В рабочую среду попала недавно. При этом пришлось ей еще раз изменить фамилию. Из Чайкиной стала Сергеевой. А в Караганду приехала Быковой.

И вот, кажется, ищейки нащупали след Сергеевой...

Ну как? Зачем тебя приглашал пристав? — кинулись с расспросами женщины, как только Лиза спустилась в шахту.

Да ничего особенного. Спутал с кем-то. Посмотрел бумаги, извинился и отпустил.

Правда? — удивилась Екатерина Неволя.

Да, правда...

Первый раз слышу! Полицейский признался в ошибке да еще и извинился!

Подошел Быков. Он уже несколько раз заглядывал на шахтный двор, беспокоился. Теперь заметил среди женщин Елизавету и с облегчением вздохнул.

— Быстро что-то.

— Ошибся, не я была нужна ему. Ищет какую-то Сергееву. Говорит, за ней старые недоимки.

— А-а, я и сам так думал.

Быков понял намек. Оба понимали, чем может кончиться для них приезд пристава.

После ухода Елизаветы Быковой Соколов долго сидел насупясь — не мог придумать, за какой же теперь конец ухватить. Винил Сикорского: лезет под руку с советами, не терпится ему. Но больше всего досадовал на себя: «Перестарался! Надо же быть таким медведем!»

На кого опереться в поисках? Были четыре человека — четыре раба темноты, науськанные Сикорским: конюх, сторож, возчик и углекоп. Все будто вышли из одного гнезда. Даже ходили одинаково, бодая глазами землю. Если же взглянут на человека, то словно хотят поддеть ротом. Эти готовы дать любые показания. Поднатаскать хорошенько, может, и пригодятся. Сами-то ничего придумать не могут. Соколов вызывал, разговаривал, но записать с их слов пока ничего не удалось.

— С каких пор знаешь Елизавету Быкову? — спрашивал, например, Ефима.

— Как вам будет угодно, ваше благородие! Мы с Митрофаном хоть от рождения можем ее знать,— кивал на сторожа Митрофана.

— Ну, а о Быкове что знаете?

— О нем? Все, что пожелаете,— отвечал Митрофан.

— А как, против царя говорили они что, не слыхали?

— Как же, кажинный день слышим. И она и муж ейный все супротив государя... Страха божия не имеют, болтают всякое. Сто раз слышали.

— С кем они такие речи вели?

— Да хоть бы и с нами. Ему и мне говорили.

— Отчего же это именно с вами?

— Совратить нас желали.

— Известно ли вам, где проживали Быковы последние пять лет?

— Отчего же, известно будет, ежели, конечно, кто подскажет.

— Уверены ли вы, что Быковы не супруги?

— Уверены. Это точно. Сами видели...

— Как так?

— Да спят вроде вместе, а тулупами укрываются врозь. Каждый своим. Так у супругов не положено.

— Ну, а насчет собраний? Знаете, где они их проводят?

— Все знаем. Большинство у одного тутошнего киргиза, а бывает, и в штреке.

Соколову понравилась их готовность служить ему. Но надо было еще научить. Да и сам Сикорский, их учитель, тоже нуждался в ученье.

По-настоящему полезными могли быть только Акула и Зубов. Оказалось, они въедливо следили чуть не за каждым шагом Быковых. Много злобы накопилось у них на русских рабочих и прежде всего на штейгера и его жену. Очень уж во все вмешивались. До чего довели — кулак на киргиза не поднимешь! Знали оба и о собраниях в доме Байжана. Но откуда прибыли Быковы, ничего не могли сообщить. Андрей Быков до степи всего года полтора проработал на рудниках Рязанова. А Елизавету привел перед самым отъездом сюда — объявил, что женился. До этого ее на рудниках не было.

Пора, пожалуй, было взяться и за «киргиза», в доме которого собирались русские...

— Пришел. Долго спорил. За дверью ждет,— докладывал конюх Ефим, приведший Байжана.

Соколов подержал некоторое время Байжана за дверью — пусть потомится. Выждал достаточный срок и крикнул в черный ночной проем:

— Ефим, пошли киргиза!

Байжан, скребя шубой об узкую дверь, неловко протиснулся в землянку. Соколов с ходу набросился на него. Потребовал, чтобы приложил палец к бумаге — удостоверил, что будет говорить только правду. Байжан не испугался. Он слышал, что затевается недоброе, и подготовил-

[illegible] Новгородцев да рассуждал перед дверью с Ефимом и все перебирал пальцами гриву коня — пятер как надо [illegible] конским потом большой палец. Спасибо, Турсынбай научил! На белой бумаге расползлось чернильное пятно — точь в точь след поскользнувшегося на такыре [illegible]...

Расписался? А понял, в чем расписался?

Нет, не понял.

Зачем же тогда палец приложил?

Тёре велел, я и приложил. Если надо, могу еще,— [illegible] Байжан — так он решил еще по дороге [illegible]

Смотри, врать не вздумай, пропадет твоя голова!

Голова? Она же казенная, мой тёре. Ваша воля: [illegible], когда хотите, поставьте, куда желаете.

Этот «киргиз» и не думал робеть и смущаться. Соколов приготовился увидеть послушного, который на все кивал бы, как лошадь. А он, было похоже, себе на уме.

Ну, знаешь, дурака валять брось!.. Дорого поплатишься! Приложил палец, подписался, что будешь говорить правду, держи теперь свое слово. А то, смотри, плохо будет. Сколько раз собрания устраивали в твоем доме, отвечай?

Собрания? Это, когда бии и волостные съезжаются? Так это вам волостной и скажет...— на этот раз Байжан и правда не понял. Решил, что речь идет о волостных съездах.

Хитрить вздумал? Понимаешь прекрасно... Сколько раз, говори, собирались русские в твоем доме?

А, русские рабочие? Казах не считает, сколько раз к нему за зиму гости приходят. Да и гости они какие? Самое большое чаю попьют, покурят в передней, погреются, посидят и уйдут.

«Русские рабочие собирались у меня много раз»,— записал пристав.

А разговаривают о чем, когда приходят?

Где же казаху понять, когда русский с русским говорит. Ведь и русский не разберет, если казах говорит с казахом. Больше все поют...

Поют? Какие песни?

Хорошие песни.

А ты почем знаешь, что хорошие?

Слушать приятно. То будто буря надвигается: небо тучами заволокло, море закачалось... А то словно лето на-

ступило: зеленое, теплое. Так станет хорошо, словно дитя тебя ласкает.— Байжан старался, чтобы пристав понял его. Когда говорил «буря», хмурил брови, гудел, качался всем телом. Когда же называл «лето», «дитя», улыбался поглаживал себя руками по лицу и груди. Никак не думал Байжан, что, рассказывая о песнях, может повредить друзьям. А Соколов записал: «Пели крамольные песни».

— А книги читали?

— Читали.

— Какие книги?

— Кумажные.

— Печатные, говорю, или рукописные?

— Печати не видел,— отвечал Байжан, белая душа.

«Читали запрещенные рукописные книги»,— заметил себе Соколов.

В степи очень ценилась песня, а уменье читать почиталось за редкий дар. Байжан и постарался как можно лучше показать своих друзей.

«Киргиз» оказался на редкость покладистым. Пристав был очень доволен. Долго записывал что-то. Наконец размял опемевшие пальцы, удовлетворенно потянулся:

— А ты, оказывается, умница. Молодец! Много полезного рассказал,— он потрепал Байжана по плечу.

«Ой-бой, язык мой, кажется, наболтал лишнего!» — испугался Байжан и попробовал было исправить дело.

— Ой-бой, что мы понимаем в книгах! Ни читать, ни писать не умеем, даже говорить по-русски не можем. Вы уж напишите, пожалста: не знает, о чем они читали.

Но Соколов уже не слушал, пододвинул ему свои записки.

— Приложи палец!

И снова жирный корявый палец, похожий на лапу, которую обмакнули в мед, ступил на бумагу.

* * *

В эту ночь Байжан не мог заснуть. Успокоится немного, повернется на другой бок, поплотнее закроет глаза и вдруг снова вспомнит свой разговор с приставом. «Ой-бой! Что натворил твой язык, Байжан! Вроде ты и не дурак, что же перед этим тёре завилял, потерял голову?.. Не хотел ты зла бишаре — рабочим... Но, сознайся уж, зу-

дно в одном боку — покрасоваться перед тёре захотел. Сначала завыл бурей и сам не заметил, как заиграл, словно дитя. А под конец и вовсе стал подвизгивать песне!

Чтобы смутить казаха, надо было поймать его с поличным. Байжан не в пример другим сам был недоволен собой. Как сильно навредил русским друзьям, в какой мере опозорил себя,— это пока еще не было ему ясно. Но мучительные сомнения — вспомнит, что говорил, и будто раскаленный уголь коснется сердца. А уж как горело плечо, по которому похлопал пристав! «Наболтал, наболтал лишнего! Чего бы иначе стал он хлопать?..»

Опять закрыл глаза, и Лиза встала перед ним, будто и правда пришла сюда. Лиза — его кызым! Он ведь и вправду начал считать ее своей дочкой. Байжана так и бросило в жар. Откинул одеяло.

— Ой, отец Апака! Почему все ворочаешься? Или тёре сказал что плохое? — забеспокоилась жена.

— Что может плохого сказать мне этот тёре? Я в Омбе не с такими еще тёре беседовал,— отмахнулся Байжан.

Жена успокоилась — бедой как будто не пахло. Натянула на себя и мужа отброшенное одеяло...

Чуть свет Байжан поднялся на крышу. День занимался тихий, солнечный. Какой казах пропустит такое утро, не порадуется на ласковую степь! Да и пора какая стояла!.. Снег так и ели теплые ветры. В эти дни люди первым делом поутру смотрят — сколько еще почернело степи? Но Байжану было не до того. Глаз не сводил с черного зева шахты, ждал, когда же появятся Булапбай с Алшагыром. Он все ловил себя на мысли: что бы ему придумать хорошее, что бы сделать такое для его друзей рабочих? Думалось втайне — может, хоть доброе дело немного смоет вчерашний позор.

Из дому, опираясь на палку, вышел Сугурали. Всего ночь еще только провел в доме Байжана, а смотрит будто бодрее — отдохнул, поел досыта.

— А ты пойди, присядь на солнышке, вон там у стенка в затишке,— посоветовал Байжан, хотя Сугурали и без того направлялся туда. Байжану не терпелось сделать что-то доброе.

— Э, Апак! Принеси-ка мою шубу. Пусть Сугурали будет тепло! — крикнул в дом.

И тут его озарило. Знает он, какое доброе дело должен сделать! Отдаст-ка свой дом этим людям! Пусть в нем жи-

вут Сугурали, Буланбай и Алшагыр со своими семьями. А сам он переселится с семьей в юрту. Переднюю оставит русским. Пусть проводят эти свои собрания, поют песни, читают... Байжан им мешать не будет. Тёре Соколову не нравится? Ну и что, Байжан не посмотрит на него. Вот что Байжан сделает!..

По своему обыкновению не стал откладывать дела, тут же поднял суетню в доме. К полудню юрту уже кончали ставить.

— Земли, земли навалите за кошмы! Шкурами от ветра закройте! Сена стелите, не жалейте! Топите жарко, на рагану хватит!..— командовал Байжан женщинами и Анаком.

В полдень из шахты начали подниматься рабочие ночной смены. Байжан бросился к Буланбаю с Алшагыром — они направлялись к своему бараку,— замахал руками: подождите!

— Смотрите, я юрту поставил! Землянку вам отдаю! Перешел, чтобы не мешать... Передняя — для русских, пусть что хотят делают. Правильно? — торопился выговорить все Байжан.

— Э, поступил как настоящий муж. Наши семьи спасибо тебе скажут.

— Ну вот, сейчас же и сами переходите...

Буланбай о чем-то размышлял.

— Алшагыр пусть переходит. А я свое место Сугурали отдаю,— сказал он.

— Разве я Сугурали выгоняю? И ему места хватит.

— Правильно, Байжеке. Не обижайся, не могу я перейти. Должен остаться с жигитами. Так надо. Не будем обижаться друг на друга.

Буланбай вдруг умолк.

Мимо, разбрызгивая лужи, промчал тарантас, запряженный тройкой гнедых.

— Э, пристав, кажется, отбывает?! — удивился Буланбай.

— Нет. Кони и арба Игиликовы, разве не заметил? К волостному отправился. Долго придется ждать, пока уберется отсюда,— сказал Байжан.

— Да ведь он и тебя вчера приглашал. Ну что?

— Приглашал. Это и не дает покоя Байжану! Хотел посоветоваться с вами. Боюсь, не вытащил бы из слов моих кончик какой беды.

И Байжан рассказал друзьям о допросе.

Две мысли приходят мне. Палец к кумаге я, конечно, приложил. Да только долго перед тем тер его в гриве своего. Неправильная моя подпись. Что, если откажусь от своих слов? Никому никаких показаний не давал. А то мне можно уездному пожаловаться. Без толмача ведь допрашивал — не знаю, что он там записывал, мне никто ничего не объяснял. Поту у моего коня хватит, могу и в Акмоле свой палец приложить.

Да ты прямо скажи: проговорился, что ли? Или он сам поймал тебя на чем?

- Кажется, и то и другое было: и поймал и проговорился.

- Вот что!.. Ступай домой. Вечером зайду с Елизаветой и Андреем, посоветуемся.

Пришлось Байжану ждать до вечера...

3

Зеленая степь в ожерелье из красных, желтых, фиолетовых весенних цветов приветливо колыхалась. Уральцы, едва успевшие расправить спины после суровой зимы, не гадали встретить в Караганде такой ласковый день, как сегодня. Небо — чистое, ясное — поднялось высоко-высоко. И в вышине, словно сомы в озере, проплывали недвижные беркуты. Там, где небо сходилось с землей, переливчато играли волны: будто манила к себе большая река. Это кудрявились миражи — надежда слабых. Тихо и чисто дыхание степи, ни единого чуждого запаха не было в нем. Распускались коробочками хлопка облака и медленно плыли по бескрайнему небу-морю. Жаворонки повисли над степью, размахнули крылья, словно желали обнять весь этот зеленый мир. Песнь их сверкала, славила землю, трепетала, как и крылья на солнце. Степь полна была песней. Земля проснулась, и тысячи ее обитателей соединили свой голос навстречу жизни. Казалось, пела каждая зеленая, тонкая, как шелк, травинка. Кругом стоял сплошной звон. Все обновилось, радовало глаз: и сероватые тальники, вытянувшиеся, будто шалаши, вдоль речки, и гибкие ветви таволги, и принарядившийся зеленый караган. Мир был свеж и нежен, ждал объятий и ласки, точно малыш, открывший глаза после глубокого сна.

Вдоль ручья Майкудук рассыпались группы людей. Одни разводили костры, другие играли на домбре или гармошке, пели. Больше всего было мужчин, и потому каждая толпа сливалась в темно-дымчатое пятно. Лишь кое-где расцвечивали его красные, синие и белые с подсинью платки женщин. Но скоро женщины поднялись на холм собирать тюльпаны, и толпы совсем посерели. Издали посмотреть — однообразный рабочий скот. Потускнели и песни без яркого женского голоса. Но те, кто пел, и не заметили этого. Казалось, одна песня рождала другую.

Это не те песни, что изредка были слышны в бараках зимой. Там была грусть, тоска по широкой степи, по вольному воздуху, лесу, водам. Душу, где печаль свила свое гнездо, может облегчить лишь песня, изливающая эту печаль. Закрыта тоскующая душа радостному напеву. Сегодня люди вышли наконец в бескрайнюю степь. Вольный воздух развеял грусть, и сами собой пришли веселые песни. Казахская сливалась с русской. В стороне о чем-то ласковом запели и Кунзила с Жубай. Они отстали от русских женщин, пока те собирали цветы.

— Эх, на эти зеленые холмы да выгнать бы свои табуны! — вздохнул Байжан, поглядывая на своего Куцего и еще трех лошаденок, бредущих вдоль воды. Очень уж скудным показалось его хозяйство на этом приволье. Байжан с завистью посмотрел на длинный верблюжий караван, уходивший по большой дороге. Голова каравана взбиралась уже на дальний холм, а хвост все еще тянулся у ручья.

Караван Игилика увозил новые тысячи пудов меди. Спешил обернуться раза два до Петропавловска, пока не налетели комары и мошка. То и дело взревывали мрачно-грозные буры — самцы, не улеглись в них еще весенние страсти. Весело позванивали медные колокольцы — много их стало: большие, малые, каждый пел свою песню и все — для Игиликовой славы. Не зря умножил он свои колокольцы. Росло на перевозках угля и меди его богатство, росли караваны, росла Игиликова слава.

Караван оживил степь, еще больше украсил ее. Замолкли домбры и гармошки, люди засмотрелись. Притихли уральцы: звон колокольчиков напомнил родные края. А караван постепенно скрывался за холмом — уходил, чтобы превратить в деньги долгую зимнюю муку людей.

— Караван Игилика! — не выдержал, вслух вздохнул

Байжан. Сидел он сейчас в кружке друзей-рабочих, а мысленно шагал с этим богатым караваном.

Буланбай кивнул на Байжана, улыбнулся и взялся было за домбру. Но колокольцы все еще звенели, заглушали песню домбры. Люди прислушивались к каравану. Это было своеобразное соперничество — едва родившееся новое в степи уже начинало спорить со старым...

Хороший выпал сегодня денек! Люди плескались у ручья Майкудук. Закатав рукава и штанины, терли, мыли, скребли и снова терли и мыли прокопченные лица, руки и ноги. С интересом подолгу рассматривали пальцы, ладони: оказывается, если долго тереть, можно отмыть всю зимнюю копоть!..

— А ну-ка, Байжеке, выпьем!.. Ей-богу, тебе еще со вчерашнего дня хочется,— поднес старик Шило Байжану стакан.

— Ой-бой, нет, нет!.. Не пью я,— шарахнулся Байжан.

— Пей, говорю! Вижу же, хочется тебе выпить... Все равно теперь с нами... В аду ли, в раю — вместе будем,— не отставал Шило. Он только вчера вышел из акбуйратской больницы и был очень бледен, на лице проступали голубоватые вены.

— Пей!..

Байжан хоть и шарахался, а самому и впрямь любопытно было отведать этой шайтановой водки. Все началось со вчерашнего дня. Ушаков поставил угощение рабочим — кончили первую из двух закрытых шахт! Все восемьдесят уральцев, как один, пили водку. Казахи же наслаждались густым чаем и вареным мясом. Ушаков чокался с рабочими, пел с ними, даже целовался. А уезжая, объявил:

— Завтра всем отдых! Хорошо потрудились, спасибо вам! Пойдите в степь, отдохните, погуляйте. А послезавтра с богом за дело. Закончите вторую шахту, отпразднуем и ее так же.

Рабочие с почетом проводили Ушакова.

Был на вечернем тое и Байжан — пригласили с семьей. С большим интересом смотрел он на пьющих. Наблюдал незнакомые казаху свойства водки и вслух делал замечания:

— Видно, жжет, проклятая, горло, как красный перец! Шайтан! Веселит ведь человека!.. Посмотрите, не сравнять пьющего с непьющим!

Покрепче бы насели, так он еще вчера испробовал бы

на себе эти свойства. Теперь же, хоть и отнекивался, не отрывал глаз от стакана.

— Смотри, какая прозрачная! Питье капыров... Думаю, сделано из чего-то чистого!..

Старик Шило сразу угадал слабое место Байжана...

— Выпей, выпей со мной. Я же пью твой чай, не отказываюсь. Не обижай старика...

— Пей уж! Все будем пить, куда денешься,— подтолкнул и Буланбай.

— Эх, этот старый уговорил меня! Отчего же, выпью... Кроме пользы, другого пока от русских не видел... Ну, айда, Байжан! Бисмилла! — и глотнул из стакана.

Водка показалась не жидкой, как вода, а сухой и твердой. Во рту будто бы холодная, а внутри все обжигает.

— Оказывается, у нее когтистый хвост, как у осетра! Ой-бой, глотку обдирает! — открыл еще новое свойство Байжан.

Люди, разбредшиеся по степи, собирались у ручья. Вернулись с цветами женщины. Подошел Андрей Быков, он обходил группы рабочих: шутил, пел со всеми. Подошел к гармонисту.

— Караван перебил наши песни. Теперь можно и снова. Давайте-ка попоем, попляшем вволю, сегодня наш день.

Заходила гармонь... Зазвенела песня... Белая березка, одинокая, росла в степи. Трудно было ей зимой: дрожала под холодным ветром, гнулась под снегом. Но вот пришла весна — и распушилась, зазеленела молодая березка, закрасовалась под добрым солнцем. Споем же о солнце! О великом солнце, одинаково щедром для всех! Вот что выводила гармонь. Многочисленные голоса рабочих — высокие, низкие — подхватили песню, понесли на весь Майкудук.

Пели и казахи. Отдельно мужчины, отдельно женщины.

— Отчего же не вместе поете? — удивлялась Елизавета.— И Алшагыр и Кунзила так хорошо поют, вот бы вам вместе?

— Нельзя... У нее тонкий голос, у меня — грубый. Не подружат друг с другом,— объяснил Алшагыр.

Лиза поняла по-своему: не в разных голосах дело, а в разном положении мужчины и женщины у казахов — вместе обычаем не положено.

Принялись всласть и начали хором приставать к Лизе: рассказывай да расскажи что-нибудь, давно уже не слыхали.

Елизавета и Андрей ждали этого. Весь смысл нынешней прогулки в том, что нового сумеют они вложить в головы рабочих. А наготове всегда есть и книги и речи. Лиза начала:

Сегодня первый настоящий весенний день, день надежд. И я хочу почитать вам стихи великого русского поэта Пушкина. В них тоже надежда...

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье... —

читала Лиза пушкинское «Послание в Сибирь».

Простые неграмотные рабочие тесно обступили ее. Люди слушали и ушами и ртами, казалось, руками готовы были подхватить падающее слово.

...Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Когда Лиза дошла до слов: «Темницы рухнут», она даже топнула ногой, а со словом «свобода» широко повела рукой в сторону степи. Слова о далеких рудниках напомнили рабочим их собственный тяжкий труд. Мысли стихотворения сами собой лились в душу.

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели... —

перешла Лиза к ответу Одоевского. Объяснила — писал он поэту с каторги, с тех самых сибирских рудников.

...Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы,
И с ним грянем на царей, —
И радостно вздохнут народы.

Очень сильными, прямо убивающими наповал, показались рабочим слова пушкинской «Вольности»:

Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле!..

— Неужели он не подох после таких слов?

— Подох... Три царя с той поры умерли — и все не своей смертью,— объяснил Шило.

Буланбай задумчиво слушал Елизавету. «Есть у нас глаза, да не видим. Есть уши, да не слышим,— грустно думалось ему.— Сидим рядом с русскими, а так же далеки от них, как и наши сородичи в аулах за сто верст отсюда!» Он даже вздохнул. Оглядел жигитов — у всех лица безразличные. Только в глазах Байжана, Байшегира и Алшагыра напряженность. Эти поняли, потемнели — рассердились на царя! Зато Колбан уронил бритую голову и сладко дремлет. Даже пропотел. Он то морщился, то причмокивал — видел свои сны.

К концу Лиза приберегла еще одно стихотворение. Великий поэт провозглашал в нем победу. Звал:

...Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

— Слышь, не сомневайся, говорит, товарищ!

— Да, верь, говорит.

— Товарищем называет!..

В те далекие времена Пушкин первым обратился к людям со словом «товарищ». Рабочим показалось, будто бы говорил с ними родной человек. Пожилые расчувствовались, прослезились. Первой всплакнула Екатерина Неволя, за ней и Шило украдкой смахнул слезу.

Темные глаза Лизы разбрызгивали огонь большой любви к людям. Хотелось ей обнять сейчас каждого, каждого спросить: почувствовал ли хоть краешком, что за великое счастье быть свободным? Уразумел ли слова свободы?

Сама она так и сияла счастьем. Товарищи смотрели на нее, и не было в эту минуту для них ничего краше ее темных волос, лучистей глаз.

Казахские рабочие не могли понять, что же так взволновало и обрадовало их русских друзей. Они озирались кругом, смотрели на степь, на дорогу. Со стороны шахт вдруг выскочила пароконная телега. За ней скакали двое нескладных верховых. Жигиты тотчас все заметили, закричали:

— Берегитесь!..

Бубенцы угрожающе надвигались.

Книги и рукописные листки мгновенно пошли по рукам, пока не исчезли за пазухой Кунзилы, обвязанной большим жаулыком. Осклабилась гармонь, рабочие подхватили шуточную песню.

В телеге оказался знакомый рабочим урядник Боткин. Посыльные верховые были: Мусакай и посыльный Ордабая «поштабай» — так называли его казахи. На груди «поштабая» блестела большая, с ладонь, медная бляха — отличительный знак.

Боткин вывалился жирным боком из телеги, оправил рукой длинную саблю, спросил:

— Кто здесь Елизавета Быкова? Кто из вас Быков Андрей?

— Я Быкова,— Лиза отбросила кивком темную прядь волос с белого лба. Боткин на мгновение даже растерялся — какая красивая!

— Я Быков, —встал и Андрей.

— Именем уездной власти обоих вас арестовываю. Прошу сесть сюда.

— Далеко повезете? — поинтересовался Андрей.

— В Акмолинск...

— Ничего, друзья... Раньше или позже — все равно пришлось бы расставаться. Так уж лучше в такой счастливый день, как сегодня. Я сохраню в сердце этот день. Прощайте, товарищи! — поклонилась Лиза сначала всем, а потом каждому подала руку. Тихо плакала Катерина Неволя. Всхлипывали и другие женщины. Кунзила и Жубай не смогли удержать горя, заголосили. Громко запричитал Байжан:

— Зачем берете?.. Не может быть виноватой ни в чем такая кыз!.. Аллах свидетель, я свидетель — не может!.. Не бойся, дошка, до Омбы погонюсь за тобой, помогу тебе!..

Байжан крепко прижал к груди Лизу, поцеловал в лоб.

Сдержанно прощался Андрей Быков. Старику Шило и Михайле Неволе что-то шепнул. Когда подошла очередь прощаться с Буланбаем, сказал тихо:

— Теперь все будет зависеть от вас.

Ясные голубые глаза смотрели так, будто договаривали то, чего не смог сказать вслух.

— Увидим еще,— заговорил Буланбай и задохся от волнения. Надо было сказать многое, а не сказал ничего.

Телега тронулась... День стоял все такой же светлый,

весенний... Пара коней прямо по степи без дороги затрусила к баракам. Рядом с урядником — Лиза. Быков — около кучера. Только теперь рты сгрудившейся толпы раскрылись. Вслед уряднику полетели проклятия, угрозы...

Есть в жизни события, которые начинаются крадучись, тихо, заканчиваются же громко, иной раз даже взрывом. Глухи, неясны вначале народные проклятия. Но вырвавшись на волю, словно вспыхнувший огонь, зажигают единодушным гневом все головы. Вот уже и глаза заискрились желанием мести, сжались кулаки. Люди стояли плечом к плечу, смотрели вслед телеге, и единая дума была у всех. Никто уже не любовался весенней степью, никто не слушал песни жаворонка. Арест двоих дорогих товарищей сблизил, сроднил оставшихся. Тихо входит в дом беда. Известие о смерти произносят вполголоса, встречают же его воплем. Опешила перед нежданной бедой толпа рабочих. Но только лишь кони повернули к бараку, — все вдруг разом двинулись туда же. Понадобилось еще раз взглянуть на товарищей, еще раз хоть руки пожать им. Подались вперед все вместе. Но вскоре те, кто помоложе да побыстрей, вырвались вперед. Женщины намного отстали. Вместе с ними торопился и толстый Колбан. На полпути между вырвавшимися вперед и отставшими шли Шило, Михайло Неволя, Буланбай и Байшегир. За ними по пятам — Алшагыр с Байжаном.

— Что же, так и отдадим среди бела дня двух наших лучших товарищей? — вырвалось у Михайлы Неволи.

— Вернутся. Просто так их не возьмешь,— сказал Шило.

— Вернутся? А мы будем сидеть сложа руки и ждать?

— Что Быков-то тебе шепнул, прощаясь?

— «Теперь все зависит от вас»!..

— И мне... И мне то же сказал,— взволновался Буланбай.

— Как думаете, о чем он?

— О нас говорил, о нашей рабочей семье.

— Конечно! А вы будете сидеть и смотреть, как хватают ваших главарей? — сердился Михайло Неволя.

— Наших нельзя отдавать! Я ему сказал: еще увидим.

— Объясни, непонятно.

Буланбай начал рассказывать товарищам то, что задумал, прощаясь с Андреем.

— В эту же ночь освободить надо. Ночь наша, степь наша, брод через Нуру один — Талды. Густые талы — то-

[illegible] Три жигита, два аркана, закинули на шею — ко[illegible] [illegible], конец урядник!

Сколько раз бывал палуан Буланбай в конных схват[illegible]! Сейчас он до мелочи представил себе, как все должно [illegible] случиться. Загорелся в нем прежний борец. «Сугурали бы мне в товарищи!» Он оглянулся. Сугурали медленно шел среди женщин — все еще был слаб.

Ну как? Так?.. — как русские, закончил свою мысль Буланбай.

Задержали шаг. Осторожный старик Шило раздумывает.

Еще и вас потеряем. А попадетесь вы — жди, схватят десяток.

Кто же поймает человека на коне?! Этот жирный урядник — саба? Трясется в арбе, как саба с кумысом.

Он же не один.

Поштабай да Мусакай? Эти не страшнее козленка. Крикну и — душа вон.

— Не навредить бы... Если провалим, им еще туже будет,— задумался и Неволя.

— Эх, навредишь ли, нет! — махнул вдруг рукой Шило. Дальше Сибири не сошлют. А уж наверняка туда повезли.

Люди, не привыкшие к глубоким размышлениям, скоры на руку. Недолго Михайло и Шило сдерживали друг друга. Поговорили и согласились с Буланбаем.

— Теперь главное — коней достать.

Буланбай посмотрел на Байжана. А Байжан совсем изменился. Жалел Елизавету и мучился — он, он один виноват в беде этих людей!

— Пусть застрянет в моем горле, что ем и пью! — начал клясть себя Байжан.— Зачем только согласился продать Караганду? Зимой сам видел, как гибли вы и мерзли. А теперь?! Моя дошка, бедное дите мое, родная ласточка! Схватили!.. Нет, Байжан, на своей шее унесешь свой стыд и могилу!..

Слезы потекли по лицу Байжана.

— Твой стыд?.. Не болтай зря! Думаешь, без тебя не было бы шахт Караганды и Акбуйратского завода? Если младенцу пора родиться, выйдет на свет и без потуг матери. Углю и меди подошла пора выйти на свет. Хоть бы тысяча Игиликов и две тысячи Байжанов уселись — придавили их, уголь и медь все равно бы вышли из-под земли. Чего тут больше: горя ли, радости, поживем — увидим...

А вот кони только у тебя. Мы тут подождем в овраге, а ты айда за конями,— по-казахски толковал Буланбай Байжану.

— Я и сам с вами пойду.

— Идет. Только аркан да соил не забудь!

Байжан отправился к пасущимся у ручья коням. Остальные стали совещаться. Решили: поедут Буланбай, Михайло Неволя, Байшегир и Байжан.

— Тащи сюда кайло... Быстрее! — велел Неволя жене. Она как раз подошла. Видела — мужчины что-то затевают, но расспрашивать не стала, побежала за кайлом.

— Только чур никого не убивать!.. И чтобы вас не узнали, глядите!.. К утру все должны быть в своих постелях, — провожал товарищей Шило.

Три всадника с крепкими соилами в руках, с приторороченными к задней луке волосяными арканами направились вверх по оврагу к броду через Нуру. Позади, без седла, четвертый — Михайло Неволя. Ехал, прижав под ногой кайло.

Пароконная телега задержалась у бараков — забирали пожитки Быковых. Елизавета и Андрей опять прощались с рабочими. Четверо верховых затаились в овраге, выжидали. Когда телега перевалила через ближний холм, поскакали в обход к броду.

* * *

Вечерело. Тени вытянулись в пять раз по сравнению с полднем. Начали докучать мошка и беспокойный желтый комар. Буланбай ехал впереди всех на расстоянии выстрела — соскучился по доброй езде, да и конь под ним был надежен. Ехал сторожко: уши тымака задрал вверх. Позади за холмом послышались бубенцы. Товарищи Буланбая прибавили шагу.

— Хорошо бы, они в темноте подъехали к броду,— заговорил Байшегир, когда бубенцов не стало слышно.

— Так и будет. Поздно ночью туда приедут,— уверенно заявил Байжан. Ему эти места были хорошо знакомы. — Ехать им еще долго, а кони у них ордабаевские. Издали идут, не свежие. Мы и то будем, уже как солнце утонет.

— А кроме Талды, нигде они не могут перебраться? — обеспокоился Буланбай.

Кроме? Кроме Талды, река нигде не дает броду. Вот и аулы на жайлау никак не перекочуют. Всегда так...

Поезжай-ка ты, Байжеке, вперед,— прервал Бузанбай.— Осмотришься, пока глаза не связало. И место в тальнике для засады выберешь. Следи за поворотом к переправе, идет?

О, ладно.

Байжан рванул вперед, и сине-гнедой иноходец его пошел волчьим наметом.

Трое всадников ехали, стараясь не отрываться слишком от бубенцов. К броду добрались, когда солнце утонуло за холмом. Брод недаром назывался Талды. Берега сплошь поросли тальником, а у самой переправы и густым чием. Тальник в этом году рос особенно буйно.

Мягкая весенняя ночь медленно густела. Но вот уже и совсем стало темно. Позвякивая бубенцами, к берегу Нуры подъезжала телега. Кони почуяли воду, пошли бойчее. Обок телеги, отмахиваясь от комаров, ехали двое стражников. Одолевали комары и тех, кто сидел в телеге. Андрея обмахивала Лиза. Сам он не мог отбиваться. Руки были связаны за спиной, а цепь от наручников прикреплена к окованному железом борту телеги. Елизавете руки оставили свободными.

Урядник Боткин настороженно поглядывал на арестованных и всю дорогу вел длинную беседу — наставлял с видом человека, достаточно узнавшего жизнь:

— Не понимаю я ваших дел...

— И не поймете. Напрасно себя утруждаете,— перебила Лиза, ей уже надоел гудящий голос Боткина.

Урядника раздражала резкость арестованной, и он переключился только на нее.

— Такая молодая!.. Кто вас, скажите, успел обидеть? Чем вам могла досадить жизнь? Родители-то, ей-богу, на руках носили! Обучали, воспитывали... Ну с чего вам на жизнь обижаться? С какой стати ожесточились? И против кого?! Кто вы такие? Вот эти желтые комары! Раз, и прихлопнул,— он шлепнул себя по кончику носа, там как раз уселся комар, да промахнулся — комар улетел. В носу у Боткина защекотало, он громко чихнул. — Разве я враг вам? Нет, конечно. А вот пришлось заковать в цепи здорового молодого человека, вместо того чтобы работал. Что поделаешь? Однажды оплошал и, пожалуйста, — десять лет уже раскаиваюсь в этой глуши. А я ведь в годах уже... Поберегитесь, барышня, впереди обрыв. Сейчас пойдем на

спуск. Глаза, глаза берегите! Кустарник больно густой. Как бы не выхлестнуло невзначай.

Боткин схватился одной рукой за окованный железный борт, другой прикрыл лицо от веток. Но что такое? Впереди послышался непонятный шум — топот коней, крики.

Боткин понять не мог: что же случилось? Стражники — Мусакай и «поштабай» — вдруг резко повернули и бросились спасаться. Мимо телеги громко протопали два незнакомых верховых — соплы наотмашь. И тут же из-под обрыва раздался вопль — молили о пощаде...

— Айда, айда!..— только и успел крикнуть урядник. Волосяной аркан ожег шею, железное колено придавило затылок. Кто-то мгновенно скрутил за спиной ему руки, словно клещами сжал шею, приткнул лицом в лужу на дороге. «Конец пришел!» — решил Боткин.

Испуганные кони понесли. Михайло Неволя догнал телегу в густом тальнике, схватил коней под уздцы. Кони, дрожа всем телом, стали. Кучер бросил вожжи, побежал прятаться в тальник. От резкого толчка Быков, прикованный к борту телеги, упал навзничь.

— Андрей?.. Живы?..— позвал из темноты голос Михайлы Неволи.

— Дядя Михайло!..— проговорила Лиза. Молча улыбнулся Быков.

— Обождите... Сейчас коней выведу...

Что-то трещало, что-то ломалось — Михайло пёр, как медведь, напролом, сминал кусты тала. Вывел лошадей на дорогу, привязал и — к друзьям.

— Ну вот... Можете ругать нас. Семья наша рабочая так постановила... Если считаете неправильно,— вот дорога, урядника посадим рядом.

— Поищите ключ от наручников... в кармане урядника,— сказала Лиза.

Михайло быстро повернул назад по дороге.

— Что будем делать? — спросил Быков.

— На золотом блюде свободу нам не поднесут. Значит, нечего и думать. Главное — быть свободным, а как — это не важно.

Позади на дороге будто скрипело надломленное дерево — это стонал урядник. Вернулся с ключами Неволя. Подскакал к телеге Буланбай. Спешили и остальные — по дороге громко стучали копыта коней. Наручники открылись легко. Андрей расправил затекшие плечи, с удовольствием потянулся.

Вот и узнал, какие бывают оковы!

Подоспели и Байжан с Байшегиром, в поводу вели коней стражников. Андрей и Елизавета пожимали всем руки, благодарили.

Кызым!.. Дошка,— кинулся к Лизе Байжан.

Тс-с... Переправимся на ту сторону, там и поговорим.

Послушались Буланбая. На другом берегу в стороне от дороги друзья уселись кружком — поговорить на прощанье. Лиза нет-нет да опять начинала благодарить. Избавилась ведь от десятилетней, не меньше, каторги! Скорее всего не миновать бы ей Нерчинских рудников.

Не страшилась ни ссылки, ни каторги — сама ведь пошла на опасность. И все-таки — столько лет потерять напрасно, без пользы для дела! Сидя рядом с урядником, Лиза и сама все искала случая шепнуть Андрею насчет бегства. Все это она рассказывала теперь товарищам.

— И я о том же думал. Вы как раз сказали: какая темная ночь! Я и решил: изловчусь, оглушу урядника, а вы спрыгнете с телеги, и не найти им...

— Бежать одной? Нет, это было бы уж совсем несправедливо. И так порядком из-за меня натерпелись...

Непонятно друзьям — о чем она говорит. Но одно стало ясно: Андрей и Елизавета — товарищи по общему делу, но не муж и жена.

— А урядник как, жив? — спросил Быков.

— Живой. Стонет связанный,— ответил Буланбай.

— А те двое?

— Коней отобрали, а их пустили,— вставил Байжан. Все не доходила очередь ему слово сказать. А уж очень хотелось показать Лизе и Быкову, что и он вместе со всеми освобождал их.

— Куда же мы теперь?

— Поближе бы к какому-нибудь большому городу,— размышляла вслух Лиза.

— К Акмолинску?

— Нет. Лучше бы в Омск или Петропавловск. А там видно будет...

— Кони есть, арба есть. Айда! Насчет арбы и коней не бойтесь, я с Игиликом все сам улажу. — Байжан по простоте решил, что вся трудность в том, как быть с имуществом бия...

— Да мы и дороги ведь не знаем. Пожалуй, завтра и схватят опять,— сказал Быков.

Все глаза уставились на Байжана.

— Эй, на Байжана смотрите? То-то... От урядника вырвали — и рады. А теперь, думаете, бросим их в этой пустыне? Байжан проводит. До самой Омбы доведу. Мне и самому туда надо,— разошелся Байжан, готовый на край света идти ради своей «единственной Елизы».

— На кого же еще валить тяжесть, как не на тебя, белая ты душа, Байжан! Спасибо, что сам назвался. Кони наш долг, потом разочтемся, — обрадовался Буланбай.

Все хором принялись хвалить Байжана, а Лиза даже расцеловала в обе щеки. Тут уж Байжан рекой разлился:

— Друг у меня поблизости, Мынбай. В десяти верстах отсюда. Мы с ним конями менялись. Породниться думаем... Скажу ему: отвези их в Омбу, он и повезет. А коней и арбу пусть возьмет себе. Если не сможет, сам повезу. Ну и довольно сидеть. Нам до солнца надо успеть к Шидерты, да и вас утром должны в постелях застать,— сказал и пошел к лошадям.

Буланбай печально смотрел на Лизу и Андрея. Чувствовал себя так, будто раскрылась стена дома с подветренной стороны. Вот уедут они сейчас... А потом скоро и остальные уральцы уедут. Что станет с ними, с казахскими рабочими? Что будет с их чуть сплотившейся рабочей семьей? Без друзей, без защиты останутся. А на угле и меди не видно пока, будет ли когда полегче...

О том же думали и Лиза с Андреем. Не успело родиться их дело — и вот уже и к концу идет. Все молчали, будто сидели на свежей могиле.

— Уедем — не забывайте о дружбе рабочих,— заговорил Быков.— Советуйтесь, действуйте сообща. Поодиночке легче попасть на зуб хозяину. Пусть всегда чувствует, что вас много...

Байжан привел телегу. Бубенцы больше не звенели — успел снять их. Верный Купый шел за хозяином. Байжан забрал в руки вожжи, отдавал последние распоряжения:

— Апаку велите, чтоб как следует остудил коней. А про меня, если кто спросит, пусть говорит: к кайнам поехал — давно собирался навестить родичей жены. А ну айда, залезайте!

— Урядника развязать не забудьте,— вспомнил Быков уже в телеге.

Лиза прощалась с товарищами. Какие оказались люди! Верные, преданные друзья! И знали ведь друг

друга совсем мало. Даже сойтись как следует не успели. Голос ее сделался совсем тихим, а что было с глазами — немного скрыла.

Увидимся ли еще когда, кто знает... Но помнить вас всегда буду. И степь казахскую, просторную и добрую, богатую и несчастную! Всюду, где придется быть мне, расскажу о ней. Пусть будет у нас новая встреча... Радостная встреча...

Байжан тронул коней и вдруг спохватился:

Ой-бай-ау, забыл совсем! Эти штуки, оказывается, еще у меня...

Он вытащил из-за пазухи книгу и две тетрадки — то самое, что сегодня днем спрятала Кунзила в свой жаулык.

Пароконная телега, постукивая колесами, запрыгала напрямик по степи. Буланбай, Михайло Неволя и Байшегир провожали молчаливыми взглядами. Только что освободили, вернули товарищей и тут же снова теряют. Пустело гнездо их мыслей. Казалось, навсегда лишались самого важного, самого дорогого.

Что же станет с их делом, с их рабочей семьей? Распадется или все-таки будет расти? И то могло быть и другое...

Пора было и им в путь. Коней Мусакая и «поштабая» расседлали, пустили пастись по берегу.

— Завтра же кто-нибудь подберет. Поездит с месяц и вернет хозяевам,— объяснил Байшегир Михайле.

Буланбай отправился освобождать урядника. Ехал без седла, с песенкой — мирный проезжий! Тымак, чтоб не узнали, вывернул мехом наружу, поглубже надвинул на глаза. Урядника на месте не оказалось, только черно-белый аркан валялся на земле.

«Кучер развязал»,— решил Буланбай и повернул к товарищам.

Утром Буланбай, Байшегир и Михайло Неволя встали со своих постелей вместе с другими шахтерами...

4

— Нафа — зыфы — кефеш,— сказал Сеит, прибавляя «фа», «фы», «фе» к каждому слогу имени Назыкеш. Тем же способом высказал он и свою просьбу: — Если хочешь, чтобы я тебя слушался, проводи того желтого обжору, скажи ему: кумыс весь.

Сеит седлал у юрты Кунше карего с лысинкой. Назыкеш в юрте мыла тостаганы — только что напоила кумысом работников, которые строили тут дом Игилика.

— Ты хочешь, чтобы я солгала,— ответила Назыкеш на том же, их особенном, языке. Ответила быстро, потому что ловила каждое слово жигита. Сеитов конь с раннего утра стоял привязанный у юрты. Спасаясь от мошкары, он жался в холодок, тыкался о кереге, мешал девушке. Но она не гнала коня: ждала, когда же придет за ним хозяин. И дождалась...

— А ты не лги, обмани немножко — и все.

— Разве ложь и обман не близнецы?

— Не могу слышать, как он командует: «Назыкеш, почему кумыс теплый? Остуди, взболтай!» Бесит это меня, просто не знаю, куда себя деть!..

— Боитесь?

Глаза с хитринкой и голос с переливами сказали больше, чем слово.

— Не боюсь... Противно слушать.

— Хотите, чтобы я одна слушала?..

Тот, кого называли «желтым обжорой», был ловкий Омар. Это о нем с таким отвращением говорили Сеит с Назыкеш. А сам Омар вот уже несколько дней, можно сказать, жарился от досады — слишком уж Сеит зачастил сюда. Сейчас, подъезжая к юрте, Омар нарочно замедлил шаг, напряженно вслушивался, старался зацепить хоть краешек разговора молодых людей. Очень не по душе был ему их согласный говор. Особенно же жег, мучил Омара шутливый, легкий тон Назыкеш. «Скромница, а с ним разошлась! Готова повиснуть на шее жигита!» — горел Омар. Но о чем же они говорят? Вот этого он никак не мог разобрать. Где только научились такой мудреной речи? Впрочем, что Омар! Объявись среди его родни ученый языковед, и то завяз бы, разбирая этот разговор жигита с девушкой.

А они, чем ближе подходил Омар, тараторили все быстрее. Теперь прибавляли к слогам уже не «фи», «фа», а «аддрей» и «еддрей». Понять их стало решительно невозможно. И сами путались, не всегда разбирая, что кто сказал. Начинали весело хохотать. Смех этот совсем уж не нравился Омару. Прямо в жилы колол.

Сеит правильно угадал — подъехав, Омар тотчас спросил:

— Назыкеш, кумыс есть?

Выпился кумыс, только айран остался.

Девушка выполнила все-таки просьбу жигита.

После кумысом явился Омар. Есть, нет — не так уж важно. Поскорее покончить с согласным воркованьем молодых людей — вот что должен был сделать.

Ты, я вижу, жиен, коня седлаешь. В аул собрался?

Может, и в аул... К вечеру выеду,— лениво ответил Сеит.

Нет, бала, придется поспешить. Перекочевку аула на наши с тобой спины взвалили,— давал понять, что важное дело перекочевки поручено ему, Омару. И заодно уколол жигита, назвал бала — мальчиком, старался уничтожить в глазах взрослой девушки.

Это почему же на наши спины? Я пока еще не верблюд,— отшучивался жигит.

- Заботы большие. Придется взять тебе хоть часть на свои молодые плечи.

— О нет, зачем же мне делить честь с вами!

Девушка поспешила управиться в юрте и пошла к реке — там на берегу ее мать доила коров. Не хотела Назыкеш слушать, как Омар унижает жигита. Уходя, блеснула на парня глазами.

«Ишь как посмотрела!.. Больно смелая стала... Не иначе, приглашает с собой. Надежды своей не скрывает...» Омар ревниво следил за девушкой и парнем. Сеит и точно — вскочил на коня, пустил шагом к берегу, след в след. Назыкеш впереди — легкая, сладко покачивает станом. Весна еще прибавила ей красоты. «Смотри, как выровнялась! Ой-яй, сейчас догонит ее!.. Опять начнут смех да свои разговоры. Уже догнал. Смеются!» Пучок перьев филина на шапочке Назыкеш склонился к жигиту, казалось — ласкается. Омар из себя выходил. Шайтанова девка, приманивает жигита! И взгляд, что метнула ему, и склоняющийся пучок перьев, и колеблющаяся походка, даже развевающиеся полы платья — все нарочно, все для этого «жиена»! И потешаются над кем — понятно. Над ним, над Омаром смеются!

Сеит свернул в тальник — напоить коня. Расходившаяся мысль подсказала Омару — зовет девушку в кусты. Зависть и ревность душили его. «Погодите! Посмотрю, как вы будете смеяться через три дня!»

Ревность совсем отравила его. Сейчас он завидовал всему свету. Посмотрел невзначай на строящийся деревянный дом Игилика и подумал: отчего бы ему не сго-

реть?! Кругом щепки, стружки, сосновые бревна — весело затрещат. Подумал и тут же дрогнул — увидел на холме самого Игилика. Испугался: не услышал ли бий его мысль?

Игилик накануне провел ночь в доме уважаемого хожи. Поутру приехал осмотреть постройки. Сейчас расхаживал вокруг места, где стоял раньше Красный мазар. Омар спохватился: не слишком ли надолго оставил хозяина? Да и поговорить о деле надо было. Уже несколько дней сидела в голове одна мысль. Ловкий Омар заторопился.

Деревянный дом возводили русские строители, выписанные из Акмолинска. Ставили его внизу под склоном. Сюда спускался лес из белоствольных берез и тополя. Выше строили дом для гостей, еще выше — конюшни, амбары, навесы для сена. Здесь трудилось с полсотни казахов. Под байский дом подвели кирпичный фундамент. Остальные постройки, в том числе и навесы, клали целиком из камня — так посоветовал Ушаков. Игилик стоял наверху и широко поводил рукой — указывал своим людям на то место, где был недавно Красный мазар.

Там оставались только обломки кирпича да бугорок с провалившейся серединой. Этот бугорок был Игилику что бородавка на глазу. И почему его до сих пор не убрали?! Правда, бий не давал прямых распоряжений, рассчитывал — сами догадаются. Недогадливые помощники заставили-таки ткнуть их туда носом. Игилик злился.

— Почему стену навеса спустили ниже? Через тот бугорок надо вести! Боитесь, что ли, сена у меня не хватит, если двор чуть просторней станет?

— Да ведь бугорочек... Как его... Не простой ведь бугорочек,— заговорил заикаясь Батыраш.

— Можешь не объяснять, знаю.

— А я что тебе говорил? Спроси, говорил, у бия!..— вмешался подъехавший к ним Омар. Игилик и не взглянул на угодливого, отошел к гостиному дому. А что касается могильного холма, знал — теперь все сделают.

— Омар, отвезешь аул на жайлау и сразу отправляйся в Атбасар. К тому времени и скот уже там будет. Возьми с собой с десяток жигитов,— распорядился Игилик.

— Э, успею, до базара еще две недели. Я хотел...

Игилик еще вчера заметил — Омар собирается о чем-то просить. И как матка не допускает чужого теленка к вы-

мени, так и бий не подпускал Омара с его вопросом к себе.

А о сене кто-нибудь из вас позаботился? — сурово спросил, отклоняя сторонние разговоры.

Машины приготовлены. Возвращусь из Атбасара, сразу и пущу.

Все успевал сделать ловкий Омар, но Игилик не стал мягче. Повернулся и пошел к тем, что тесали бревна на стропила для гостиного двора, сараев, навесов и прочего. Тут вместе с другими работал и мастер Сандыбай. На днях он получил наконец пяток лошадей вместо обещанного косяка. Только далеко этим клячам до промелькнувших перед ним прошлым летом бархатно-черных и сине-гнедых красавцев. Этот пяток бий взял в обмен на сено в голодающих аулах. Семья мастера была теперь с ним — перевел по пути Игиликов медный караван. Сын Сандыбая подвозил сейчас к стройке на двух волах кирпичи. Тот самый сын, которому отец, почувствовав себя разбогатевшим, чуть не сосватал Назыкеш.

— Ну как, мой мастер? Смотрю я, ты еще не все свое забрал. Ни коз, ни овец что-то не вижу возле твоей юрты,— заговорил бий с Сандыбаем.

— Омар сказал, чтоб и не заикался! Я и молчу... Думаю, не пропадут же мои пять-шесть коз в вашем стаде, — несмело высказал свою обиду Сандыбай. Хотел было напомнить о прошлогоднем обещании, о бархатно-вороных и сине-гнедых кобылицах, да не посмел.

— А юрта у тебя добрая... Гляди-ка, по шанырaку даже белым крыта,— похвалил Игилик, заметив на верху черной Сандыбаевой юрты заплату из серой кошмы. Юрту Сандыбай тоже получил в счет своего труда. И тут смолчал, не отважился ругать подачку бия.

— Подожди еще... Все у тебя будет. И сын вон какой вырос, оказывается. Что же, начинай зимовку ладить,— посоветовал Игилик на прощанье.

Нужен Игилику мастер, вот и хлопочет о зимовке. Все понял Сандыбай, но сказать свое слово не посмел.

Игилик отправлялся в Атбасар на летнюю ярмарку. Сюда завернул по пути — посмотреть, как подвигается дом. Оказалось, все будет готово к перекочевке с жайлау. Радостно было на душе у бия — следа ведь не останется от Красного мазара, от заносчивого рода чингизидов.

Омар помогал усаживаться бию в повозку. Лишая его последнего случая заговорить о своем, бий выговаривал:

— Почему до сих пор не пригнал мастеру коз? Чего тянешь?

Так и остался Омар со своим делом. Пришлось вечером отправиться к хоже Куренкозу, искать у него поддержки.

Хожа уже выехал на жайлау. Теперь он поджидал аул Игилика, чтобы кочевать вместе.

Не все в своем деле открыл хоже Омар...

— Прошу завтра пожаловать в мою юрту. Подоспело время исполнить долг наш перед пророком. Решили Тлеуке женить. И веретеноголовую приглядели. Будьте нашим уважаемым гостем, благословите молодых.

— Что же, Омеке, приеду. И ехать ведь недалеко...

— Пожалуйста, с байбише.

— Хорошо, свет мой. Кого же посватали? Почему я ничего до сих пор не слыхал?

— Сваты мои не очень... Из аулчан. Да где нам подальше искать? По правде сказать, стыдимся. Знаете же нашего Тлеуке. А эта ничего, подойдет... Помните, прошлой осенью к нашему аулу доильщица пристала? Так это ее дочь.

— А, та, что из дома покойного Жумеке? Бедняжка!.. Вы ее осчастливите. Так... Да ниспошлет аллах здоровья им и долгих лет.

Вот и получил Омар то, что было ему нужно. С благословением хожи в ту же ночь заявился к Кунше. И всегда-то он с ней не очень считался, а здесь, на постройке дома, она полностью была в его власти. Кунше варила обед работникам, доила кобыл, квасила айран — делала все, что ей приказывали. Заступиться за нее было некому.

— Эй, выходи-ка! — поднял ее Омар среди ночи. Отъехал немного в сторону, сошел с коня.— Гляжу на тебя, несчастная ты,— заговорил, когда Кунше подошла.— И пожалеть тебя некому. Вот только я... Будешь моей кудагай. Сватаю Назыкеш моему Тлеуке.

— Ойбой! О чем ты? — встревожилась Кунше.

— Сыграем той, и не позднее, чем завтра... Послезавтра аул будет уже на жайлау.

— Ойбой, замолчи! Какая из меня кудагай?! — отмахивалась Кунше, не желала стать сватьей Омара.

— Тлеуке уже взрослый парень, и Назыкеш в поре. Пусть вместе повеселятся на жайлау,— продолжал Омар так, будто Кунше ничего и не говорила.

О чем ты? — со страхом спросила мать.

Батыраш будет за главного свата. Завтра с ним и приходи в мою юрту...

Ойбой, никуда не пойду. Пусть провалится твой сват! — в отчаянии кричала Кунше.

И хожеке будет. Я уже пригласил...

Провалиться тебе с твоим тоем и твоим хожеке! Иди, иди отсюда! Уходи!

Насчет калыма не беспокойся. Не обидим.

Да что же это такое?! Этот вконец обнаглевший Омар не хочет даже слышать ее слов. Будто она пустое место или скотина какая! К горлу Кунше подкатил ком. Больше она ничего не отвечала. Плача, просила бога:

О кудай! Возьми меня к себе!.. Избавь от нового горя. Чем провинилась перед тобой? Мало было мне обид от тебя?

Кунше вся дрожала — дрожали губы, щеки, каждый палец, тряслась каждая жилка.

Наконец-то Омар заметил ее. Да и только для того, чтобы хлестнуть побольнее.

— Не скули! Или нравится, что на дочку кидается всякий баран? Думаешь, мне ничего не известно? Стыда у вас нет. Радовалась бы... С бием я переговорил. Завтра Батыраш заедет за тобой.

Уехал Омар. Кунше упала ничком на землю.

На другой день Батыраш силой притащил Кунше в юрту Омара. Свершилось дело, веками безнаказанно творимое в степи.

Со слезами поехала в юрту Омара Кунше, со слезами вернулась. Повалилась у сиротеющего очага своего, лежала, не видя и не слыша ничего. На материнской постели убивалась Назыкеш, вся ушла в свое горе. Некому было пожаловаться. Некому заступиться. За юртой весело гоготали сваты и гости. На почетном месте сидел хожа Куренкоз. Тут же неподалеку на виду привязан был к опоеке юрты калым за невесту — подстриженная кобыла с заплывшим глазом. Около нее топтался жеребенок в намордник из шкурки ежа, чтоб не сосал матку. Рядом овца с ягненком да, пережевывая жвачку, жались друг к дружке две пестрых козы.

В чистенькой, всегда опрятной юрте беспорядок. Брошено кое-как платье, не прибрана посуда — незаметно, чтобы здесь готовились к свадьбе. Перед юртой доильщицы кипятили над земляными очагами в куманах чай.

Палили над огнем баранью голову. Они были невеселы. Перешептывались, качали головами, причмокивали с состраданием. Зато сваты почуяли запах паленого, развеселились еще того пуще. Оживлен и жених Тлеуке. Насчет свадьбы он понимал очень смутно. Ясно было одно — сегодня его праздник и никто не станет ругать и пинать Тлеуке. Зажал в ладони зеркальце и ждет: когда же наконец поднимется луна!

Горюет Назыкеш, не знает, за какую соломинку ухватиться. Вспомнила о байбише Копей. Где ты, Копей-апай? Она-то заступилась бы за бедную Назыкеш. Даром что сама несчастная, все равно заступилась бы. Не знает Назыкеш, что бродит Копей по белу свету, выгнали ее пасынки. И кажется Назыкеш: вот откроется дверь и войдет Копей-апай, спасет ее.

Появлялся в мыслях ее и Сеит. Но что она Сеиту? Шутили, смеялись, хорошо им было вместе — и больше ничего. Разве могла дочь простой доильщицы надеяться на большее, если парень — жиен самого бия Игилика? И все же в глубине души таилась обида. Шутил, смеялся, а как пришел тяжелый для нее день — исчез. Не видно совсем. Не знала, как Сеит горюет о ней.

* * *

Сеит медленно ехал к месту, где всего два дня назад так весело смеялись они с Назыкеш. Зачем едет? Что будет делать? Этого он сам не знал. Но в мыслях и в сердце была Назыкеш, только одна Назыкеш. Она представлялась ему маленькой птичкой, жаворонком. Пел жаворонок, резвился и не заметил, как подползла змея. А теперь трепыхается в змеиной пасти. Сеит был будто в тяжком сне. Слышится ему крик жаворонка, а он не в силах ни слова вымолвить, ни рукой шевельнуть. Да, да, ничего не может он сделать — сам беззащитный, сирота без крова.

Про той со сватами услышал только сегодня — сболтнула Айганша. Жене бия не было дела до чужой печали, просто захотелось посмеяться над парнем.

— Ты все ходишь за Назыкеш, а женится на ней Тлеуке. Была я ночью у них на тое в честь сватов.

Побледнел Сеит, сделался точно мертвец. А сказать — ничего не сказал.

— А может, тебе балдыз хожи больше по душе? —

посмотрела на Сеита с подозрением.— Ну да, наверно, как твой нагаши, тоже метишь в тот дом.

Ханиша нечаянно выдала свою тайну. Игилик и правда хотел женить Сеита на свояченице — балдыз хожи и стать совсем уже своим человеком в его доме. А ей и то было горько, что зимовки их с хожой будут теперь рядом. Как была бы рада, если б замысел бия лопнул. Пусть бы Сеит женился хоть на Назыкеш. Накипела обида и выплеснулась наружу. Не подумала и бросила честь семьи к ногам жиена. А он и не понял ничего. Опалел от своего горя. Как узнал о беде Назыкеш, с той минуты и не приходил больше в себя.

Сколько ехал Сеит, что проезжал, где находился — не знал, не видел ничего.

— Эй, заснул на ходу, что ли?

Сеит вздрогнул, будто и в самом деле со сна. Перед ним стоял всадник с куруком поперек седла.

— А, это ты, Жанбатыр? — сказал, с трудом узнавая табунщика бия. А ведь виделся чуть не каждый день. Жанбатыр пас дойных кобылиц, выделенных Игиликом для строителей дома. Сеит будто просыпался. Заметил невдалеке и табун.

— Я, а кто же еще? — отвечал Жанбатыр.— Доброго пути, Сеит! Да что это ты еле тащишься? Конь заболел?..

— Здоров конь.

Пастухи и работники Игилика всегда были приветливы с Сеитом. Ведь за душой у парня, кроме доброго коня, ничего не было. Видели в нем своего человека. Жанбатыр с участием заглянул в лицо жигита.

— Сам здоров ли?

— Не знаю.

— Ну, раз не знаешь, придется объяснить, что у тебя за болезнь. По Назыкеш тоскуешь?..

Вздохнул Сеит, опустил голову.

— Вижу, вижу... Хорошая кыз! Байские дочки ноготка ее не стоят. Мы все гадали — кому достанется? Бий решил по-своему, полоумному Тлеуке отдает! Кто привык проглатывать, не замечает, каково тому, кого глотают!

Не было у Сеита друга среди близких бию людей. Не искал его и среди простого люда. А друг вот, нашелся. В самую трудную минуту подоспел. Сеит глядел на Жанбатыра, как на гору, за которой могут укрыться они с Назыкеш.

— О Жанбатыр!.. А я уж думал, никому до меня дела нет. Друг Жанбатыр, проводи-ка меня немного... Где мы сейчас?

— Недалеко от Красного мазара. За этим вот холмом плачет бедная Назыкеш. Был бы я, как ты, один на свете, не стал бы долго думать — схватил Назыкеш в охапку и ускакал бы с ней. Пускай искали бы ветра в степи!

— Да как же?.. Разговора у нас о том не было.

— Не было? Так что же, рассчитывал позабавиться — и все?

Сеит молчал. Стыдно стало перед этим простым человеком. Он и правда не задумывался серьезно, как пойдет у них с Назыкеш дальше.

— Нехорошо, брат, обижать такую алтынкыз. Нельзя! — Жанбатыр уже не так дружелюбно смотрел на Сеита.

Но Сеит ничего не заметил, заторопился выложить нежданному другу все, что было на душе. В Назыкеш вся его жизнь. Только как быть ему, Сеит не знал. Разве может он мечтать о ней, он — одинокий, бишара! Ни дома, ни скотины — ничего у него нет. Весь в руке у Игилика.

— Ойбой, какой ты, оказывается, робкий! Уберетесь с глаз долой на месяц, два, а там потребуешь у нагаши и свою долю. Разве не знаешь, что осталось тебе наследство? Пусть отдает хоть косяк и юрту. Или боишься — прогонит? Ну и прогонит — не большая беда. Живем же своими руками. И ты обойдешься без твоего нагаши.

Сеиту и самому приходила в голову такая мысль, только все в тумане. Сейчас же он будто стоял на гребне холма и должен был разорвать конский хвост и, бросив его на две стороны, разойтись с Игиликом навсегда. Не станет же бий ради бишары-жиена трогать нужного ему ловкого Омара. Нет, не заставит он Омара вернуть Сеиту отцовский косяк и юрту. Пожалуй, его же, Сеита, еще и накажет. Пришлось признаться себе — этого больше всего и боялся. Стыдно стало парню. Правильно Жанбатыр сказал — слаба у него кость. Но нет, не слаба! Ничего он не побоится... Пусть Игилик делает что хочет!

— Жанбатыр, друг, помоги мне. Устрой, чтобы вышла ко мне Назыкеш сегодня ночью,— решительно сказал Сеит.

— Вот еще помощь! Хоть сейчас.

— Как же ты сумеешь?

Это уж мое дело. Слыхал песенку? «Я пришел к тебе на свиданье, конь мой в тальнике укрыт». Так и мы с тобой. Жди у привязи, где жеребят держат.

А она? Придет она?

Не болтай зря, печень моя. Куда же ей еще идти? И нечет, бедная...

Значит, решили?

А как же?

...Так и сделал Сеит. Коня оставил в тальнике на берегу реки, а сам спрятался у привязи для жеребят. Отсюда он видел свет, пробивавшийся из юрты Кунше сквозь тундук. Слышал веселые голоса, смех. Доносилась и песня. В земляном очаге перед юртой то вспыхивало, то тускнело пламя. Жанбатыра все не было. Но вот кто-то затопал. Может, он? Нет, человек вел за повод кобылицу с жеребенком. Видно, это и есть калым за Назыкеш. Но что же Жанбатыр? Вот в юрту к гостям понесли деревянные тазики — тегене с бесбармаком.

— Эй, Кунше-апай, выйди-ка сюда... Кобыла что-то не ест, не захворала бы. Захвати-ка и аркан, — услышал Сеит голос Жанбатыра и радостно улыбнулся. Ай да Жанбатыр! Значит, это все-таки он шел. Сам Сеит ни за что бы не додумался так сделать... А Жанбатыр громко, чтобы Сеит услышал, торопил:

— Живее, скот у меня без присмотра.

Торопливо вышла Кунше. Жанбатыр повел лошадь от юрты.

— Кол забьем в сторонке, вон там. Около привязи нельзя... А сторожить ночью придется уж вам самим,— громко говорил Жанбатыр. Послышался глухой стук — забивали кол. Потом неясный шепот, вздохи матери Назыкеш. Но когда же сама Назыкеш придет? Сеит ждал...

Прямо на него вышла Кунше. Сеит узнал, поднялся навстречу.

— Щит ты наш, свет мой, ты ли это? Буду жертвой твоей, зрачок мой! Откуда взялся, с какой стороны пришел?! А мы уж совсем отчаялись. Опять ты выручаешь нас...

Поцеловала Сеита в обе щеки, как мать.

— Шеше, — вырвалось у парня. И больше ничего не мог сказать. Беззвучно плакал, приникнув к Кунше, — и первый раз за всю жизнь почувствовал ласку матери.

— Пусть путь ваш будет добрым! Пусть стану жерт-

вой вашей! Ничего другого не может сделать для вас Кунше.

Она пошла, не замечая, где идет, спотыкалась, и все в ней пело от радости. Сказали бы ей — Назыкеш закована в цепи вместе с Сеитом, и то бы готова была созвать той. Сказали бы, что погибла вместе с Сеитом, и тогда бы пролила меньше слез, чем о несчастной доле с полоумным Тлеуке.

Сеит опять остался один. Жанбатыр не подошел к нему. Ускакал к табуну, громким топотом дал знать — все идет хорошо, жди!

Ждать пришлось долго. Песен больше не пели, видно, кончили и угощаться. Вышел хожа, пошел к темным кустам, за ним прислужник с лейкой. Шум за черной юртой затих. Назыкеш! Она неслышно шла, прикрытая поношенным шелковым шокпаном, и пучок перьев на ее шапочке вздрагивал. Сколько ласковых, красивых слов заготовил Сеит, пока ждал девушку. А увидел — и все слова вылетели. Только и смог прижать ее к себе.

— Назыкеш, уедем? Уедем, да? — спрашивал так, будто договорились об этом раньше.

Назыкеш положила руку на грудь жигита, прижалась лицом к плечу его и глубоко вздохнула.

Куда поедут, где будут искать защиты, об этом не говорили. Взялись, как дети, за руки и пошли в тальник, туда, где был спрятан Сеитов конь. Об одном помышляли сейчас — скорее, скорее умчаться отсюда.

* * *

Омар все не ложился. Сидел с женихом, сватом Батырашем и косши — дружками жениха. Он ждал — скорее бы кончилась вся эта хлопотня с жениховством. Хотел сам убедиться, что перейден тот мосток, после которого жених и невеста становятся мужем и женой. Постель молодым готовили в юрте Омара. Еще с вечера он наказал жене Сандыбая сделать все как надо и ко времени. Омар щипал Тлеуке за ляжку, старался ввести в роль мужа.

— Смотри, не сробей, поганец! Она теперь твоя катын, понял?

Тлеуке сжимал в руке зеркальце и с тоской поглядывал на луну. Какая она круглая, яркая, вот бы пустить зайчика! Но не решался, боялся брата.

Вдруг Омар насторожился. Ухо уловило приглушенный топот.

— Эй, слышите? Что это? Проверьте, все ли кони на месте! Живо!

Жигиты быстро вернулись. Все кони были на месте. Как их спутали за передние ноги, так и паслись вдоль берега.

За юрту заглянула жена Сандыбая, растерянно посмотрела, пошла в юрту, опять вернулась.

— Эй, чего это ты носишься? Когда у тебя будет готово? — громко и грозно выговаривал Омар, будто не Омар он, а сам Игилик.

— Ойбой! Невесты нигде нет!.. Не можем найти...

— Что? — Омар вскочил на ноги. — Чего болтаешь? Где мать?

Первое, что пришло в голову, — девушка убежала искать защиты у Айганши. Он по правде все время боялся этого. За весь вечер Назыкеш не подняла головы, лежала, будто не ее свадьбу справляли. Айганша... Ойбой!.. Омар не хотел бы с нею сегодня встретиться. Она обязательно спросит, дал ли согласие бий? Солгать ей Омар не решится. А эта взбалмошная катын может и прогнать его. Скажет: «Не морочь мне голову!» Все это мгновенно промелькнуло в голове Омара, и посыпались приказания:

— Седлайте коней! Не пускайте в аул! Накипуть аркан, пусть тащится за конями пешком!

Разъяренный, вбежал в юрту Кунше.

— Где, где твоя дочь?.. С кем спюхалась?

Кунше замкнулась, молчала. Омар понял — она все знает.

— Пусть бабой стану, если спины обоих кровью не окрашу. — Он хлестнул Кунше камчой по голове. Еще, еще!

Испуганно поднялся хожа, попытался остановить. Омар будто и не видел его, продолжал хлестать.

— Нет больше моей Назыкеш для твоего дурачка! Бей, можешь убить, все равно Назыкеш тебе не видать! — крикнула Кунше, защищая лицо руками.

— Омеке, кони готовы! Быстрее! — раздался за юртой голос Батыраша...

Сеит с Назыкеш примчались прямо к юрте Игилика. Где же еще мог искать приюта Сеит? А тут вспомнились вчерашние слова Айганши. Пожалуй, она и правда рада будет женить его на Назыкеш.

В юрту вошел, как привык, не спросясь.

— Айганша-апай, я к вам с Назыкеш. Помогите, заступитесь!

Был глухой предутренний час. Вспугнутая Айганша зашелестела шелком одеял.

— Ой, о чем ты? Что ты сказал? Разве этот дом убежище для беглых? — послышался из-за занавесок голос. Сеита будто дубинкой огрели по темени. Стоял и понять не мог: Айганша ли это? Та Айганша, которая всегда так любила пошутить с ним, поболтать? Что же теперь им с Назыкеш делать? Уловил далекий топот. Скоро погоня будет здесь. Айганша тоже забеспокоилась.

— Ойбой! Иди, иди же! Скорей! Не наводи врага на мирный аул. Уходи сейчас же!

Шелка зашелестели решительней, — Айганша подымалась.

Назыкеш потянула Сеита за рукав. Стыдно было Сеиту, стыдно перед Назыкеш. Зачем только привел ее в этот богатый и жестокий дом? Рассчитывал на милость сытых? Только очень смелый и дерзкий поступок мог теперь облегчить его душу. Плевать ему на этот аул, плевать на самого Игилика! Враги они, враги навсегда! Сеит посадил девушку на карего с лысинкой, послал вперед. Сам вскочил на одного из двух скакунов, что стояли оседланными между юрт сыновей бия. Второго взял в повод и полетел вскачь вдоль аула.

— Э-эй! Враг напал! Подымайтесь! Я ваш враг! Догоняйте, держите! — кричал, проносясь между юртами.

Из юрт выскакивали люди, бежали к коням.

...Начинало всходить солнце. За спиной беглецов показалась погоня — на гребень выскочил Омар и один за другим его жигиты. А дальше чернела толпа аульчан.

— Не бойся, Назыкеш. Надо будет, сам встречу их. А ты скачи. Держи к Акмоле. Случится что со мной, не останавливайся — спасайся сама. От этих пощады не будет. Пробивайся к русским, — сказал Сеит, поравнявшись с Назыкеш.

— Что суждено, вместе примем.

Назыкеш и Сеит летели вперед. Погоня разделилась. Двое продолжали скакать вслед беглецам. Другие направили коней наперерез.

Оглянулся Сеит, видит: от погони оторвался всадник на вороном коне. Догадался — пустили вперед самого быстрого, хотят перерезать путь на Акмолу.

Бросай повод! — крикнул Назыкеш.

Вольно рванули кони, понесли быстрее бурана Арки. Загудел в ушах ветер, замелькали, сливаясь в зеленый ковер, травы. А тот, на вороном, не отстает — торопится успеть раньше их к переправе. И беглецы и преследователь намного оторвались от остальных. Перевалили за холм.

— Смотри, Сеит, тымаком машет! — крикнула Назыкеш. Она зорко следила за погоней.

— Хитрит. Обмануть хочет.

Преследователь действительно снял тымак и размахивал им над головой. Беспокойно оглядывался назад.

— Похож на Танатара. Да, да, это Танатар! — узнала Назыкеш. — Танатар обманывать не станет.

Назыкеш верила Танатару. Этот табунщик помогал ей доить кобыл и очень жалел девушку в ее беде.

— Не останавливайся. Скачи вперед! Я сам узнаю, что ему надо.

Сеит придержал бег коня. Танатар, сближаясь, кричал:

— Чего удираешь? Своего не узнал? Попрощался бы лучше! Все равно ведь догнал бы.

На правой руке его висел соил. Похоже, Танатар и не собирался пускать его в дело.

— Не до прощаний! Говори лучше: враг ты или друг?

— Что этот несчастный говорит? Если я твой враг, кто же тебе друг? — укорил Танатар, осаживая вороного.

— Тогда пропусти, не задерживай!

— Не пойдет! Сначала ударь меня, чтоб слетел на землю. Коня пущу, а сам останусь лежать здесь. А то ведь никто не поверит, что не догнал тебя. Катын моя и то скажет — врет!

— Ойбой! Как же так. Ударить тебя!

— А почему нет? Молодой жигит, сильный жигит. Стукнул старого, тот и свалился. Ладно, будем считать, ударил. — Танатар, скорчившись, скатился с коня. Седло спустил коню под брюхо, хлестнул по крупу камчой. Испуганный вороной метнулся и, гремя стременами, помчал назад к аулу.

— Теперь не зевай! Возьми-ка соил! Назыкеш привет передавай!

Сеит готов был плакать, как ребенок, — второй раз за этот день находит он друга! И оба из простых аулчан, оба табунщики. За что только они так добры к ним? Сам

он ни разу никому из них не помог! Может, за Жабая благодарят, что отвез его в больницу? Не понимал Сеит одного — работники бия давно уже считали его своим.

Танатар был раньше табунщиком Жумана. Вместе с Купше больше десятка лет прослужил ему. С тех пор как погиб табун, который он пас, перешел к Игилику. Очень обрадовался Танатар, узнав, что Сеит выхватил Назыкеш у Омара. С погоней пустился только затем, чтобы помочь жигиту и девушке. И драться бы за них стал, если б понадобилось. Да случай помог — именно его, быстрейшего из всадников, послали отрезать путь беглецам.

Солнце уже поднялось. Беглецы взлетели на гребень очередного холма. Перед ними широко раскинулась Караганда. Оглянулись назад — там между холмов один за другим выскакивали преследователи. Вот отделилось трое, опять помчались наперерез, прямо по степи, к броду через Нуру.

— Назыкеш! На Акмолу не прорвемся. Объезжают! Гони в Караганду! Будем ли живы, умрем ли — вместе.

Назыкеш кивнула.

Караганда приближалась — черные кучи угля, грязно-желтые землянки-бараки, толчея обозов и людей...

У низких бараков стояли подводы, было необычно людно. Уезжали уральцы. Их забирал до Петропавловска воловий обоз Ибрая, который на этот раз отвозил медь. На телеги грузили узлы, сундучки. Люди суетились, кричали, прощались. Тут же стоял и сам Ушаков. Вчера вечером он устроил угощение ради проводов и завершения второй закрытой шахты, сегодня вышел проводить русских рабочих. Рядом с ним Буланбай, Алшагыр, Байшегир и Михайло Неволя. Неволя не уезжал, решил остаться с новыми друзьями в Караганде.

Бешеную скачку на дороге первым заметил Ушаков.

— Что там такое?

— Убегают двое, а те ловят, — объяснил Буланбай, вглядевшись.

Байжан прикрыл рукой глаза от солнца.

— Кыз и жигит. Э... жигит девушку карапшит, — рассмотрел зорким глазом.

Беглецы свернули к крайней землянке. «На помощь! На помощь...» — звал Сеит на ходу. Обращался к толпе, а подъехать близко не решался — увидел Игиликов обоз.

— Помочь надо. Только, смотрите, без драки, — остерег Ушаков.

Сеит с Назыкеш соскочили с коней, бросились в крайний барак. Сеит держал Назыкеш за руку. Внутри барака было чадно, все застилал синеватый туман. В этом тумане раскачивались фигуры двух или трех людей. Били по раскаленному железу. Сеит заметил и горн. Значит, попали в кузницу.

Помогите, заступитесь! — попросил Сеит кузнецов.

Мы ни в чем не виноваты, защитите... — взмолилась и Назыкеш.

У входа громко затопали лошади. Разгоряченные погоней преследователи кричали, вопили — им нужна была кровь!

— Где эта собачья дочь?! Давайте ее сюда! Увидишь, как бегать со всяким! — Омар выплеснул грязный поток ругательств. Дверь распахнулась, и он, ведя за собой своих жигитов, ввалился в кузню.

— Посторонись-ка, Назыкеш! — услышала девушка чуть не над ухом. Вроде бы знакомый голос. Но гадать, чей — некогда. Скользнула за горн и притихла там. К Омару метнулся коренастый сгорбленный кузнец. В руках его блеснул то ли кетмень, то ли еще что. Подавившись собственной руганью, Омар рухнул ничком и затих. Лишь носки его сапог заскребли земляной пол.

— Убирайтесь отсюда, если не хотите лежать, как он!

Теперь Назыкеш поняла, чей это голос. Жабай! Он заступился за нее! Вот и сейчас снова изготовился для удара. Единственный глаз, казалось, метал красные искры.

— Убирайтесь! — замахал направо, налево рукояткой кетменя.

— Ой, Жабай, что ты!.. Не надо, Жабай, довольно, — останавливал Сеит.

Испуганные жигиты Омара бестолково толкались, вопили:

— Ойбой! Омар!

— Упал, упал Омар!

— Убили!

Шум покрыл голос Буланбая:

— А ну, айда отсюда! Уходите!

Жигиты замерли. Ослушаться Омара боязно, и погибать тоже желания нет. Опомнились и затолкались к двери.

В кузницу вошли Буланбай с Байшегиром.

— Омар?!

— Давайте на улицу вытащим. А ну, кто-нибудь помогите! — сказал Байшегир.

Сеит вместе с другими подхватили Омара, вынесли наружу. Перед входом в кузницу собралась толпа. Ушаков был уже здесь. Сторонкой стояли жигиты Омара. Похоже было — поостыли.

— Так это из-за тебя, жаным, весь шум?! — узнал Буланбай Сеита.

Сеит, побледневший от тревоги, виновато молчал.

— Кто лежит? Убили, что ли? — раздвинул толпу Ушаков.

Омар лежал без движения, не дыша. Левая скула была раздроблена, подбородок сдвинут на сторону. Из угла рта стекала густая черная кровь, и в ней белел обломок зуба. Над своим вожаком склонились Ибрай и Батыраш. Вдруг Омар с хрипом потянул воздух и задышал, сначала часто, потом глубоко и ровно. Караванщик Ибрай отвернулся, пошел в сторону — казалось, был разочарован, что их предводитель не умрет. Из всей толпы лишь один Батыраш жалел Омара.

— Байжан, айда в Акбуйрат за фельдшером! — приказал Ушаков. — Кто же его избил?

— Он гнался, а этот жигит спасался от него, — объяснял Буланбай, указывая то на Сеита, то на избитого Омара. — Оба они люди Игилика.

Ушаков понял, на чьей стороне был Буланбай. Палуан сочувствовал беглецу, а не избитому.

— Я его ударил, я! — вышел из толпы Жабай.

И все сразу поняли и одобрили — так и должно было быть, это справедливо. Жабай отомстил за прошлогоднюю обиду. Ответил тем же ударом, что получил сам. Один Ушаков ничего не знал и ничего не понял. Неодобрительно спросил своего кузнеца:

— Зачем влез в чужое дело?

Жабай молча отступил назад. Ответил за него Буланбай:

— Вот этот глаз и эта нога, — показал на глаз и ногу Жабая, — дело рук того, который лежит. Он его покалечил.

— Ладно. Пусть бий Игилик сам разбирает, кто тут прав, кто виноват. А пока присмотрите за раненым. Как бы не умер до фельдшера. Воды ему дайте...

И Игликова жена, и Омара Ушаков, конечно, узнал, но виду не подал. Не хотел вмешиваться в историю. Ушел поскорей в контору.

— Эй вы! Сами смотрите за своим, — крикнул Буланбаи жигитам Омара. Они тихонько стояли в стороне, будто их и не касалось все это дело — очень боялись попасть в какую-нибудь беду. Нехотя подошли к Омару, перенесли подальше от двери, положили на траву.

— Не ту сторону держишь, Буланбай! — окликнул Катыраш.

— А чью же еще? Виноватого поддерживать? Нет уж, я за тех, кого обидели зря.

— Вижу теперь, раскрыл ты свое лицо.

— Вот и хорошо. Путать ни с кем не будешь.

Катерина Неволя и Кунзила вывели Назыкеш — она все пряталась в кузнице.

— Ай да красавица! Яка гарна, разумна! Где же жених твой? Этот? Добрый парубок, добрый! Правильно поступили. Як же ще? Жениться тильки по любови и надо. Та що ты боишься? Мы здесь в обиду не дадим, — уговаривала Катерина.

— Пока побудете в нашем бараке, а там увидим. Мы народ дружный, и нас тут много, — сказал Буланбай.

Сеит почувствовал, как кровь прихлынула к лицу.

В стороне над Омаром возились жигиты из погони. Оттуда доносилось: «Кошму, кошму жгите. Надо приложить... Жженую кошму!»

Жабай смотрел и смотрел на Назыкеш и Сеита. И любовался ими и ревновал. Почему он ударил Омара? Мстил ли за себя или за друзей вступился?.. Сам пока не мог разобраться, что подняло его руку. Повернулся Жабай, пошел в кузницу, а в глазах все стояли бледная и оттого еще более красивая Назыкеш и Омар с перебитой скулой и скошенным подбородком...

Обоз тронулся, потянулся из Караганды. Долго шли за уральцами казахские рабочие: провожали — обнимались, плакали. Платок Кунзилы белел то у одной телеги, то у другой. Никогда не видела такого Назыкеш, чтобы казах обнимался с русским. Очень это ее удивило.

Вот и последняя телега скрылась за холмами. Буланбай позвал Сеита и Назыкеш:

— Идемте... Айда в барак!

Уральцы уехали.

5

Из степи пришло на уголь много новых рабочих. Они принесли с собой все запахи бедняцкого аула. Теперь здесь можно было увидеть корову; пощипывали сухую траву овцы, на низких крышах приземистых бараков наскакивали друг на друга козлята. Караганда ширилась. Заканчивали крыши двух новых бараков. Между кустами карагана выросло порядочно небольших землянок, их строили сами для себя рабочие семьи. Вдоль ручья Майкудук рассыпались темные юрты: лохматые, а иные и недокрытые — не хватало кошмы. Подоткнув за пояс подол платья, по тропам текли и текли женщины в широченных, свисающих, точно грива верблюда, пестрых дамбалах. Они тащили на спинах вязанки карагана. В Каражыре рабочие, не зная покоя, с утра и до ночи долбили уголь ломами, подрубали кайлом. То и дело раздавался жесткий окрик Ивана Зубова:

— Не зевай! Бросай болтать!

Начинали работу с шутками. После полудня приходила усталость. Все чаще ломались кайла и лопаты, слышались сердитые слова. И чем длиннее становились тени, тем опасливее Иван Зубов посматривал на рабочих, меньше одергивал их.

У входа в обе закрытые шахты людей почти совсем не было видно. Два атана с завязанными глазами беспрерывно ходили по кругу, будто приговоренные к вечному кружению. Дремали на ходу. И до того, кажется, закружились, что не понимали уже команду: когда надо остановиться, когда трогаться с места. Валы угля были здесь длиннее и выше, чем у Каражыры. Прикрытые караганом, они напоминали ряды длинных овечьих кошар.

От ручья Майкудук возвращалась стайка ребят. Они то бежали наперегонки, то останавливались, поджидая отставшего взрослого. Подпустят поближе и снова рассыпаются, как воробьи.

Взрослый человек — инженер Некрасов. Он недавно пустил новую шахту в Нильде, а теперь ехал в Акмолинск — побывать дома. Ребятишки — казахские школьники. Те самые, о которых Ушаков советовался ранней весной с Игиликом. Ушаков попросил Некрасова довезти ребят до Акмолинска и устроить их на месте. В свое время Некрасов сам посоветовал готовить специалистов из казахских детей и охотно согласился взять с собой.

Школа, которую нынче открывали в Акмолинске, представлялась Ушакову большим делом. Пока это только начальная школа, а через четыре года вырастет в горнорудное училище Спасской компании Рязапова-Ушакова. Окончившие его смогут или сразу начать работу в Караганде, Акбуйрате и Нильде или, при желании и способностях, поступить в высшее горнорудное училище в Томске. Ушаков, прочно уверовав в новое дело, хотел, чтобы школа компании была выше всех подобных школ. Ее ученики должны быть одеты в особую форму — форму школьников Спасской компании. С первых шагов ученикам будут внушать — они люди угля и меди, люди компании. Все расходы по содержанию их школа брала на себя, и рабочие рады были отправить своих детей на ученье.

Среди ребятишек, бежавших от ручья Майкудук, были и сыновья Буланбая и Алшагыра — крепко сбитый, круглолицый Нартай и краснощекий, белоликий Алишер. Оба смышленые, шустрые малаи. Они, похоже, успели стать вожаками ребят.

Второй день задерживался Некрасов в Караганде. Ждали сына тёре Жумабека. Сейчас Некрасов вел детей с купанья.

Солнце уже перевалило за полдень. Жара и сушь! Казалось, сама пустынная степь добавляла пыла знойному дню. Ветер, проносясь над нею, накалялся, и травы, которые поглаживал он, сгорали, желтели. Выгорело все. Лишь торчали кое-где кусты джусана — полыни. Не стало других запахов — только терпкий дух джусана. Желтели холмы и долины. «Сардала» — желтая степь — иначе не скажешь. Видно, здешние места получили свое название именно в эту пору года.

Ближе к вечеру жара начала спадать. Поласковел ветер. Запели жаворонки, будя степной мир: пора браться за дело! Тени жаворонков прыгали по земле, дрожали. И кроме этих теней-мотыльков ничто не заслоняло собой степь.

— Айда по домам! Ложитесь пораньше, завтра чуть свет тронемся. — Некрасов распустил ребятишек. Дети поглядывали на Некрасова с опаской — не могли разобраться: то ли мулла он, то ли тёре? Послушались сразу.

Вчера Некрасов обошел одну из закрытых шахт, теперь решил посмотреть и вторую. Было одно предложение Ушакова, о котором следовало поразмыслить. Некра-

сову вспомнился последний разговор с ним: «Если вы не против, я бы перевел вас в Караганду, а Сикорского — вон отсюда совсем. Чую, однажды эта лиса крепко меня посадит... Гвоздем сидит он у меня в боку!» Согласия своего Некрасов еще не давал, однако познакомиться с шахтами было интересно.

На шахтном дворе — обширной площадке у спуска, четыре женщины отбирали из угольных куч куски глины и камня. Одна из работниц была русская, остальные — казашки. Двое саночников перебрасывались с ними шутками. Но стоило из бадьи показаться голове Некрасова, как саночники помчались в штрек, и оттуда немедленно послышались их сиплые голоса. «Добрый вечер!» — затянули свою сигнальную песню, подавая знак тем, кто работал в забоях. Некрасов попросил у женщин фонарь и тоже отправился к забоям.

— Сразу заметно хорошего человека. Не кричал, не придирался, — сказала вслед ему одна из женщин.

— Хоть один такой. К чему только не привыкают уши? Совсем, кажется, забеременели от ругательных слов, — соглашалась самая молодая.

Это была Назыкеш. За три месяца работы на шахте она заметно осмелела. Не постеснялась вот и недовольство вслух высказать.

— Нашлась неженка! Дома, что ли, мало слышим таких слов? Будто уж твой муж рта не открывает!

Это сказала женщина с желтым, злым лицом — жена Мусакая. Звали ее Балсары. Сам Мусакай по-прежнему промышлял по аулам на своем коне. Жену отправил на уголь — пусть поработает, пока рассчитаются с зимними долгами.

— Ты, может, и слышишь. А мой Алшагыр такого никогда себе не позволяет. Пусть бы попробовал!... — сказала Кунзила.

— Еще бы! Разве осмелится он обозвать тебя, дочь самого бая Талтаяка! Твой ведь старик пасет здесь овец, не мой же?

Жена Мусакая, видно, нарочно старалась раздуть ссору, тлевшую давно. Желтое лицо ее покраснело от злости. Готова была схватиться с первой, кто скажет что-нибудь поперек. Женщина эта была крупная и жилистая. А лицо такое широкое — жайлау для целого аула! На левой щеке торчала бородавка с пуговицу, а на ней — пучок волос, лохматый от пыли.

Нашлась какая, нос тут задирать! — не успокаивалась Балсары. — Сгинь ты — пропади!..

Сама ты пропади!.. — вспыхнула Кунзила от обиды. Пусть мой отец и пасет овец, да не для того же, чтобы выплачивать наворованное...

Талтаяк действительно пас для рабочих поселка небольшое овечье и козье стадо. А Мусакай и правда выплачивал то, что присвоил за зиму. Байшегир заставил-таки его отрыгнуть награбленное. Бедностью хвалиться не велика честь, но все-таки она не позор. Иное дело — воровство. Слова Кунзилы попали точно в цель. Балсары совсем озверела, бросилась на Кунзилу, толкнула в грудь. Вот вежливый Некрасов, так выгодно отличавшийся от Акулы и Зубова, и стал невольной причиной схватки между женщинами.

Катерина Неволя не понимала, из-за чего ссорятся казашки, продолжала свое дело. Но, когда началась драка, попыталась развести их. Балсары, будто набивший руку боец, ударила и ее в грудь. Пожилая женщина повалилась на угольную кучу. Рассвирепевшая Балсары накинулась на Назыкеш — всюду ей виделись враги. От бадьи подбежали двое жигитов — унять расходившуюся. Балсары и им не дала спуску. Не получалось руками — била руганью, такой хлесткой, что и жигиты задохнулись.

— Смотри, изо рта у нее так и выскакивают черные псы! — удивлялись казахи.

— Эта сердитая не даст ведь работать! Давай запрем ее в бадью, — предложил один.

Но не так-то просто было запереть Балсары. Она отбивалась руками и ногами. Наконец удалось ее схватить. Как попало, головой вниз сунули в бадью, захлопнули крышку. Канат натянулся, бадья пошла вверх.

Такие ссоры в последнее время стали не редкость. Скандалили женщины, схватывались мужчины. Новые рабочие принесли с собой старые степные привычки. Давняя месть, зависть и ревность, соперничество и драка пришли из аула вместе с вошью и блохой. Там хоть сдерживали аксакалы, здесь все были равны. Сикорскому и Зубову на руку эти привычки. Дружба и согласие между рабочими им ни к чему.

Некрасов, выйдя из шахты, наткнулся на Балсары. Она сидела над обрывом открытых выработок Каражыра и не переставая выла. Останавливалась только, чтобы выпалить жалобу.

— Избили, связали, проклятые! В бадью бросили!..

Некрасов старался понять, на что и на кого она в обиде, прислушался. Выходило — старые рабочие захватили все, что есть лучшего в Караганде, и ходят, как баи. А к новичкам придираются, норовят выжить. Сами работают в прохладе, посиживают в холодке под землей. Да и как работают? Стоит десятнику отвернуться — уже пошли болтать. А получают чуть не в два раза больше. Новички же, бишара, за них отдуваются. С утра до вечера под палящим солнцем на открытой работе, на глазах у десятника. Балсары, бесясь от досады, выкладывала все, чего наслышалась дома от Мусакая. Она явно рассчитывала на скандал.

Простодушные жигиты сочувственно кивали, соглашались. Они все еще думали, что это Мусакай помог им устроиться на уголь.

— Вот что делают!..

— Нам от них житья не будет!

— Ни одного не оставят, всех выживут, — слышались обеспокоенные голоса.

Жигиты бросили работать. Стояли вокруг Балсары, опершись о лопаты и ломы. Зубов на этот раз не торопился их подгонять. Наоборот, даже спросил участливо:

— Кто же избил ее? Не иначе, Булапбай!

Жигиты окружили Зубова, принялись жаловаться:

— Выбросили ее из шахты, выгнали.

— Всех нас хотят выгнать.

— Дешево мы нанялись, они и злятся...

Некрасов не слишком хорошо понимал казахскую речь. Показалось, жалуются на низкий заработок.

— Скажи им, научатся лучше работать и сами станут получать больше.

— Не так, — сурово отозвался Зубов. — Они получают то, что положено, по тридцать копеек в день. Это тем переплачиваем. Вот жигиты и обижаются. И правильно обижаются.

В последнее время Некрасов заметил, что и Ушаков начал держать сторону Рязанова, хлопотать о снижении платы рабочим. Это очень было не по душе справедливому, разумному инженеру. Но с Зубовым спорить не имело никакого смысла. Лучше поскорее свернуть к конторе. Старым рабочим, пожалуй, не решатся скостить заработок, — думал по дороге, — а новички поймут в конце концов и начнут тянуться к более высокой оплате.

У конторы стоял тарантас Жумабека, запряженный парой лошадей. Рядом дремали утомленные дальней дорогой еще два коня под седлом. Вокруг толпились ребятишки — те, кого недавно распустил по домам Некрасов, и четверо вновь прибывших. Эти четверо, не то что остальные, щеголяли новенькой, красивой и одинаковой одеждой. Даже пуговицы — черные, блестящие — были у всех одинаковые. А на ногах сняли, поблескивая кожей, красивые сапожки. Привез этих детей Жумабек. Один из них был его собственный сын, остальные — сыновья Ордабая, хожи Куренкоза и Турсынбая. Турсынбай и сам приехал. Это его оседланные кони дремали у конторы.

Ребятишки, как только увидели Некрасова, вспорхнули воробьиной стайкой и скрылись за бараком. Но лишь Некрасов захлопнул за собой дверь конторы, все опять выпорхнули, подскочили к новичкам.

Детей рабочих раздражали эти чистенькие байские сынки, глаза царапала их новая красивая одежда. Зависть и досада требовали немедленного выхода. Лучше всего бы померяться силой. Увидели бы, кто из них настоящий жигит! Дети не имеют почтения к богатству, только они и не кланяются ему. Нартай выбрал самого рослого из четверки, подошел.

— Будешь бороться со мной?

— Давай! — ответил тот. Это был сын Турсынбая — Кудайменде.

Противники обхватили друг друга, и почти в ту же минуту Кудайменде повалился на землю. Непривычным оказался в драке, не было хватки.

— Не в счет! — запротестовал Кудайменде. — Я не успел приготовиться, — он кинулся на Нартая. Но тот неожиданным рывком схватил его за плечи и повалил лицом вниз.

— Ну что, опять не успел? Опять не в счет?

Нартай вскочил на загривок противнику, поддал ногами в бока.

Кудайменде ничего не ответил, притих. Нартай засмеялся, встал на ноги, обвел сверкающим взором своих друзей, а потом и четверку нарядных мальчиков. Подошел к Кенжегаре.

— Ты, черный бурдюк, почему не борешься?

Не дожидаясь ответа, запустил правую руку Кенжегаре под мышку, хотел обхватить. И тут же упал сам.

Кенжегара знал толк в драке, успел подставить подножку. Бледный, злой, он не тронулся с места, ждал.

Нартай поднялся — медно-красный, смущенный. Мальчишка ниже ростом — и повалил его... Стоял ошарашенный, никак не мог прийти в себя. Взглянул на товарищей — лица сумрачные, бледные. Тут и сам Нартай начал бледнеть.

— Борись еще, если такой сильный! — подзадоривал Кудайменде. Радовался, будто это он сам свалил противника. И до чего он не понравился Нартаю! И зуб-то у него такой длинный — противно торчал из пасти. Чего лезет? Нартай и сам собирался еще бороться.

— Неправильно подсекаешь! Взяться еще не взялись, а ты подножку... — обвинял, приближаясь снова к Кенжегаре.

— Ты взялся, не я, — насмешливо ответил сын хожи.

— Хватит болтать, ну-ка, берись теперь и ты! Любишь неожиданно действовать, смотри теперь в оба!

Разозленный Нартай рывком повалил Кенжегару, приговаривая:

— Вот тебе нечаянно, вот тебе!.. — Снова поставил на ноги и, не дав опомниться, опять повалил. Теперь можно было и не торопиться. Честь восстановлена, противник дважды положен на лопатки.

Жигиту положено три попытки.

— Давай еще! — предложил спокойно Нартай.

Кенжегара молча ухватил его за пояс. На этот раз Нартаю пришлось нелегко. Кенжегара уперся, не давал даже двинуться.

Однако и сам не делал попыток повалить. Нартай начинал злиться.

— Смотри, какой тяжелый! Сколько айрана выпиваешь за день?

Кенжегара молчал. Сосредоточенно следил за босыми ногами Нартая. Вот Нартай шагнул вперед... В тот же миг Кенжегара придавил ему край ступни окованным каблуком своего сапога. Из-под железной подковы брызнула кровь. Вид крови обычно пугает детей. Но Кенжегара не испугался. Продолжал нажимать на ногу Нартая. Тот, стиснув зубы, терпел боль. Отдернуть ногу нельзя — еще глубже раздерет рану... Но вот он собрался с силой, поднял Кенжегару вверх и грохнул затылком о землю. Обозленный, вскочил на грудь упавшего.

— Кто твой отец! А ну, отвечай быстро!

Не скажу!

Подпрыгнувшись, Кенжегара коленкой пнул его в спину. Нартай в ответ несколько раз, как на коне, подпрыгнул, сильнее придавил к земле. Кенжегара отвернул лицо в сторону, затих, смирился со своей участью.

— Говори, кто отец? Не отпущу! До Акмолы на тебе поеду.

Пододвинулись товарищи Нартая, зашумели.

— Говори! А то живо набьем тебе рот землей! — кричали, дергая за уши.

Друзья Кенжегары отступили подальше, чтобы удобнее было бежать, если начнется большая свалка.

— Куренкоз... — через силу выдавил из себя Кенжегара.

Нартай знал, чей на самом деле сын Кенжегара. За зиму наслушался в доме Байжана разговоров об этом. Он не отставал.

— Не твой он отец. Скажи — Игилик! Слышишь? Скажи — Игилик! — с детской жестокостью потребовал Нартай и запрыгал на груди мальчика.

— Дети, где вы? Чай пить идите! — позвали из конторы.

И опять ребята вспорхнули, как воробьи. Поднялись и Нартай с Кенжегарой. Кенжегара отряхивал коричневую бархатную тюбетейку и вдруг заметил — на чекпене не хватает пуговицы. Принялся искать.

— Вот она, твоя пуговица! — подал Нартай черную, блестящую. — Так и не назвал своего отца? Погоди, до Акмолы сто раз назовешь, заставлю!

— А мы отдельно поедем... Мы и учиться не с вами будем! — веско и победно заявил Кенжегара.

— Дети-и! — снова позвали из конторы.

Байские сыновья ехали учиться в гимназию. В конторе Жумабек оправдывался перед Некрасовым:

— Не обижайтесь. Никак не мог раньше. Бий Игилик задержал. Велел, чтобы мой сын ехал учиться с их малаем. Кенназия, что ли, какая есть? С ней бий Игилик договорился.

— Гимназия?

— Наверно, так.

— Мне все равно, — сказал Некрасов, — решайте как знаете.

— В Акмоле нас писарь Ордабая ждет. К нему и повезу малаев...

Игилику запали слова Ушакова о школе. То, что собираются учить детей рабочих, он не слишком одобрял. Но вот своих решил обучать непременно. И теперь посылал в гимназию внука и сыновей своих близких.

— О, бий Игилик далеко видит! — отозвался на слова Жумабека Турсынбай. — А мы что? В хвосте плетемся. Куда люди, туда и мы. Ездил к Ушакову, просил, чтобы и этого малая взяли. Хорошо, что не отказал. Кумагу вот привез.

— Э, не все ли равно, где учиться? Разве стал бы я выбирать? Слепой курице все пшеницей кажется. Говорят: от меда и от бая хоть капелька да пристанет. Вот и посылаю своего вместе с его малаем, — скромничал Жумабек.

— И к хоже тоже аллах милостив! — все завидовал Турсынбай.

И ему хотелось бы отдать сына в гимназию. И не почему-либо, по одной причине — вместе с сыновьями баев. Но не получилось. Турсынбай был немного обижен. И тут еще этот тёре загордился, будто он, по крайней мере, половина Игилика.

— Аллах даст, все же вместе поедут. Так вы уж, тёре, постарайтесь, пусть подружится с вашими, — упрашивал Турсынбай. Но Жумабек уперся, важничал:

— Не смогу... Мы тронемся сейчас. Ночевать здесь не будем.

* * *

В тот вечер во многих домах Караганды долго не гасли огни. Рабочие провожали своих сыновей. Жизнь стала теперь, когда съехались семьи, полегче. Могли разрешить себе устроить по такому случаю небольшой той. Кто заколол на угощение барашка, кто козленка.

Устроили проводы в доме Байжана и Алшагыр с Буланбаем. Собрались все старые друзья. Сидел среди гостей и Некрасов. Не было только Байжана. По старой привычке откочевал весной на жайлау и еще не вернулся. Сеит, как самый молодой, услуживал гостям. В шушале весело, точно одна семья, хлопотали над казаном с мясом Жабай, Колбан, Кунзила и Назыкеш.

Больше всех шутили и смеялись Назыкеш с Жабаем. Когда-то соединяла их одна общая надежда. Кажется,

так далеко то время. Назыкеш была молоденькой девушкой, а теперь жена, молодуха. Кривой и хромой Жабай был тогда красивым, стройным жигитом. Как, бывало, скакал на норовистом коне! Смелый, отважный. Ничем не запятнаны, чисты были сердца их, робка любовь. И вот Назыкеш стала женой Сеита. Любящей женой. Оба работают в шахте. И тому уже рады, что вместе спускаются, поднимаются вместе. И все-то шутят, смеются, будто и усталость их не берет. Вместе со своим кайлом Сеит всегда несет лопату Назыкеш. Идут и счастливо поглядывают друг на друга.

Бывает, человек живет — томится около другого, гаснет. А иной раз оба начинают светиться одним счастливым светом. Так светились и Назыкеш с Сеитом. Недаром единственный глаз Жабая безошибочно узнавал их в толпе шахтеров. Угадывал даже, о чем говорят, чему смеются. Любовался и вздыхал. Сам ведь мечтал когда-то о таком счастье.

Нет, не легко было ему отказаться от своей любви. Но, став несчастным, не мог сделать несчастной и Назыкеш. Жабай не ревновал. С Сеитом они теперь еще больше сдружились. Сегодня же почему-то особенно тянуло Жабая к Назыкеш. Заставлял себя отойти, а ноги опять вели к ней. Назыкеш веселилась, смеялась. Сбросила с себя аркан аула, перестала стыдиться своей бедности и со всеми держалась смело, свободно.

Жабай, как случилась с ним беда, долго ни с кем не сходился. Целый год не вылезал из своей кузни. Приехали Назыкеш с Сеитом, и он словно забыл о своем увечье. Даже принарядился за последнее время — заработка на одного хватало. И ходить стал почти не хромая — старался. После случая весной, когда избил Омара, Жабай все ждал мести. Но все прошло благополучно. Игилик вступился. Сказал: «Омар виноват сам!» Слова бия — приговор. Жабая с той поры никто не трогал. Успокоились и Сеит с Назыкеш. Им тоже передали слова бия на их счет: «Мечтал — заступит Сеит место Омара, но вижу, что не по нему. Ничего не поделаешь. Могу только пожелать ему счастья».

Игилик оставлял Сеита в покое, но давал понять: об отцовском наследстве и не думай. Сеит и не думал. Радовался вместе с Назыкеш новой жизни. Оказалось, в жизнь эту все входят равными. Не то что в ауле: «садись здесь, там не положено!» Пожалуй, один лишь Кол-

бан и вздыхал по аулу. Посылал туда свои копейки и все наказывал: купите хоть стригунка. А из дома всякий раз сообщали: долги растут, рассчитаться не можем. Колбан — белая душа — не умел выражать мысль по-разному, твердил всегда одно:

— Неужели мой зад так и не коснется спины моего коня? Один раз посылал девять рублей, другой раз — шесть, а они глотают и снова на меня смотрят.

Вот и сейчас товарищи подшучивали над беднягой.

— Зачем тебе стригунок, Колбан? Купи лучше козу, — советовал Жабай.

— На что мне коза? — круто повернулся Колбан к Жабаю.

— На что? Через два года она превратится в трех коз.

— А три зачем мне?

— За трех коз можно выменять жеребенка. Жеребенок подрастет, конем станет. Ну, а ты сам к тому времени будешь мерином.

— Зачем же мне конь, раз сам буду мерин?

— Продашь.

Колбан надулся. Понял наконец, куда гнет Жабай — никогда, мол, не будет у тебя коня, Колбан. Назыкеш ласково утешала:

— Не горюйте, Колбан-агай! Пожелайте лучше себе, чтобы обе руки были целы, а конь от вас не уйдет.

Жабай посмотрел на руки самой Назыкеш. Что сделалось с ее тонкими бледными пальчиками, прозрачными ноготками, на которых чуть заметны были белые поперечные черточки?! Как любил он смотреть на эти пальцы, на черточки! В лицо девушки стеснялся заглянуть, только и смотрел на ее руки. И вот огрубели пальцы, растрескались. Ногти почернели, заскорузли. Больно стало Жабаю, так и не пришлось ему подержать в своей руке эти пальцы.

Тесно сидели за дастарханом рабочие. В землянке Байжана было душно. Пот черными потеками сползал по лицам. После шахты искупались в Майкудуке, да плохо помогло. Стесняясь Некрасова, то и дело обтирали лица рукавами.

— Хорошо сделали. Пусть дети учатся. Выйдут из них штейгеры, будут понимать своего брата рабочего. Пусть учатся, — говорил Михайло Неволя, поглядывая на Нартая и Алишера.

Кто знает, кем они станут... Только бы не мучились, как мы. — Буланбай тоже взглянул на мальчиков.

— Кем бы ни стали — такими, как Акула да Зубов, дети рабочих не будут. Вот как Быков — это другое дело, — продолжал Неволя.

— О, Андрей наш был особенный человек!

— А Елиза? Какой человек Елиза!

— Где-то они теперь? Трудно скитаться по белу свету! — вспоминали Елизавету и Андрея рабочие.

— А все Сикорский! Он их подвел.

— Избавимся ли от него когда?

— Он еще и Ушакова подведет...

Ушакова упомянули специально для Некрасова. Рассчитывали — передаст.

Кончилось угощение. Рабочие не стали засиживаться. Поблагодарили хозяев и за полночь разошлись — утром ведь на работу. Погасли последние огни в домах. Караганда затихла. Не слышно стало и стука в карьерах — работали теперь только днем.

* * *

В темном углу заснувшего барака вели чуть слышный разговор двое. Один говорил по-русски, другой мешал русские слова с казахскими. Чувствовалось дыхание третьего — он молчал.

— Ночь подходящая. Лучше не придумаешь. У них сегодня той был. Вполне может загореться! — говорил русский голос.

— Не приходилось никогда. Опасно... — дрожал голос казахский.

— Чего там опасно! Дело простое, даже ребенок сумеет. Хватит вилять. Договорились — сделай! Ладно уж, будет вам не по пять, а по десять аршин.

— Тогда уж и чаю добавь...

...Теплая ветреная ночь! Звезд на небе высыпало — будто небосвод подновили, сверкают, как шляпки только что вбитых гвоздей.

Сикорский лежал на крыше своей землянки. Не спал, прислушивался к тихому разговору на соседней крыше, там переговаривались Михайло Неволя с женой.

— Миш, чи ты заснул? Чудной ты, Михайло...

— Кто, я?

— Та ты же.

— Это как?

— Та так, чудной, говорю, и все.

— Сейчас открыла?

— Та як же? Цилу зиму степь хаял: и бураны, и пустыня, и глушь. Пугал людей. А теперь все уехали, а мы остались...

— А ты что, жалеешь?

— Та не... Я зо всими уживусь.

— Не горюй, жинка! Баньку уже построили, через недельки две и в дом свой войдем. На будущую весну деревья посажу, огород разведем, бахчу. В шахту не будешь тогда ходить, копайся себе в грядках.

— А ты не затоскував?

— Чего тосковать? И с жиганами дружить можно. Народ простой, добрый.

— А шо я говорила? Зараз и сказала, как приехалы. Гарни они. Та вы не слухали...

Но вот Михайло и Катерина затихли, видно, уснули. Сикорский быстро оторвал голову от подушки и снова уронил ее. Замер. Прислушался. Как будто все кругом тихо. Прикрыл голову одеялом и опять приподнялся. Посмотрел в сторону Байжанова дома. Что-то не видать огня. Или нет, будто что-то вспыхнуло! А вот и еще язычок, еще... Но медленно как! Хоть бы скорее добралось до сена и хвороста во дворе. Сикорский нервничал. Ему не терпелось увидеть большое пламя. Ругал себя: отчего не велел начать с шушалы. Не дай бог, убегут, не кончив дело. Вспыхнуло еще в двух местах. Но куда же пропал ветер? Совсем затихло...

Байжанова землянка, стоявшая особняком от бараков, давно сидела занозой в глазу Сикорского. Там собирались рабочие. Кто выручил Быковых? Этот дом, конечно же, имел прямое отношение к побегу. Уличить никого не удалось, но вся история — Сикорский не сомневался — зародилась там. Только бы сгорел, а там уж он постарается, не подпустит Байжана к Караганде. Пусть селится за десять верст, не ближе...

— Пожар, пожар! — завопила вдруг Катерина Невоя.

Сикорский нырнул под одеяло.

— Вот собаки!.. — выругался Михайло.

Сикорский отогнул уголок одеяла. Эге, пламя взметнулось чуть не к самому небу!

Заколотили в железный брус, подвешенный на столбе. Из бараков высыпал народ. Больше прятаться не годилось. Сикорский встал.

В шахты, в шахты бегите! Не подпускайте огонь! — закричал еще с крыши.

Михайло Неволя остановился на полпути к пожару: и в самом деле, не дай бог, уголь загорится! Надо было бежать в шахты.

— Ты беги к ним, посмотри, успели ли? Выскочили? — велел жене.

— Караган рубите! Вот здесь!.. Охраняйте уголь! — командовал голос Некрасова.

Вокруг землянки Байжана все полыхало. Сикорский поворачивал тех, кто пытался проскочить туда. Только Буланбаю с четырьмя жигитами удалось прорваться.

Дети и женщины были кто в чем, успели выскочить. Все стояли у дома. Алшагыр выбрасывал в окно посуду, подушки, кебеже. Буланбай подбежал, хотел было помочь. Но Алшагыр уже выпрыгнул наружу. В доме как будто бы ничего больше не оставалось.

Пожар слизывал кучи мусора, сено, солому. Перекосилась, полыхала шушала — вот-вот рухнет.

Спасти от пожара казахский дом тех времен было невозможно. Во дворе за много лет нарастал пласт навоза. Беспорядочно валили в кучу мусор, караган. Отовсюду торчали клочки сена, соломы. Да и сам двор — из сухого караганника — вспыхивал, как дрова в печи. Так получилось и с домом Байжана. И шушала, и двор, и сама землянка догорали на глазах у людей.

К утру на месте Байжанова дома осталась лишь куча золы да тлеющего навоза, и надо всем — облако синего дыма.

Некрасов не отходил от шахт. Он решил, что поджечь намеревались именно их. Старался остановить, не подпустить пожар к шахтам. По его приказу вырыли канаву с наветренной стороны, вырубили ближние заросли караганника. В сто лопат работали люди. Успокоился Некрасов, когда на пожарище погасли последние искры. Лишь после этого собрался наконец в путь.

Было уже близко к полудню. У тлеющего пепелища простились с сыновьями Алшагыр и Буланбай...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1

Прошло пять лет. В дыхании Акбуйратского завода появились солидность, степенность. Возня, суматоха, крики исчезли. Работа текла размеренно, спокойно. Скрежет железа, грохот камней, вспышки пламени перед печами — все ушло за толстые каменные стены сараев. Железо и камень покорились делу человека, звучали согласно. Из-за толстых стен постоянно доносился сплошной, неторопливый и веский гул. Успокоилось и само сердце земли, отзывалось в ногах ровнее и мягче. Не зная отдыха, непрерывно двигались караваны и обозы. Приходили молчаливые, деловитые, с углем и рудой, и так же бесшумно и важно уходили с медью.

Вокруг завода стало больше домов, больше огней. Черно-синие, на тонких шеях дымы взмывали прямо вверх и там, подломившись, стелились облаками. А выше плавало красноватое облако — дым медеплавильных печей. Эти густые кудрявые дымы и непрерывный ход обозов и караванов, которые не уступали дороги даже генералу, придавали Акбуйратскому заводу вид необычный и грозный. Таким он запоминался всякому, кто хоть раз видел его. Таким был теперь Акбуйрат и зимой и летом, и ночью и днем.

Изменился и вид обозов и караванов. Еще недавно байский извоз отличался кичливой нарядностью, а обозы и караваны бедняцких артелей тащились по дорогам, как старый, собранный из разных кусков аркан. Теперь нет ни тех, ни других. Заводской извоз превратился в выгодное ремесло, надежный источник дохода. Упитанные, большие волы, рослые верблюды ходили размеренно-важно, будто понимали: каждый их шаг — деньги. Шли, никуда не сворачивая, останавливались и трогались в путь сами, где надо.

Труд стал обычен. Уверенно и ловко сверкала лопата в руках казашки, и это не удивляло уже никого.

Спокойнее и сдержаннее сделался и сам Ушаков. Свалились с плеч беспрерывные заботы и хлопоты первых лет. Ушаков располнел, раздался, начали седеть виски, и это придавало ему вид солидный, важный.

Прохладно в удобном четырехкомнатном доме. Ничего лишнего. Только в дальней комнате — спальне над

кроватью и под ногами ковры. У стены — шкаф. На ковре, что над кроватью, два пистолета и двустволка. Видно, давно их не трогали, смазка загустела, стволы запылились. И черную фуражку с потрескавшим лакированным козырьком тоже, чувствуется, давно не снимали со шкафа. Перестал носиться по любому делу Ушаков. Легкая тужурка с самой весны так и стоит в амбаре. Завод, шахты, рудник — все было теперь налажено. Достаточно распорядиться, инженеры и сами справятся.

Ушаков сидел в просторном, в пять окон, рабочем кабинете. Он глубоко ушел в свои мысли. Свертывал цигарку — не заметил, что бумажка прорвалась и табак сыплется на пол. Летний день ярко светил в окна кабинета. На пол ковровым узором падали тени — дом был обсажен вокруг серебристыми тополями. Узоры чуть подрагивали вслед шелесту листвы. Ушаков не слышал шелеста листьев, не замечал подрагивания теней на крашеном полу. Взгляд его не отрывался от широкого и длинного стола в центре кабинета.

Там стоял вылепленный из глины, ярко раскрашенный макет всех предприятий компании. В северной стороне макета — Караганда. Тут и две ее закрытые шахты, и Каражыра, две кузницы, баня, контора, все двенадцать бараков и даже уборные. Чуть в стороне рассыпались домишки рабочих, построенные ими самими. По Майкудуку — юрты. Большая бурая дорога извивалась по зеленой степи, направляясь к Акбуйрату и — дальше, к Нильде. Все было как бы в лучшей поре года — в красках весны, и казалось намного красивее, чем на самом деле.

Особенно тщательно был вылеплен Акбуйрат. Прямо над обрывом правильными рядами расположились каменные сараи, мастерские, склады, валы угля. В центре — высокие трубы завода. Отчетливо показан дом Ушакова и даже белые тополя вокруг него. Все это вместе напоминало окраину крупного города.

Голыми, правда, вышли окрестности Нильды. Дорога к Джезказгану извивалась, словно дохлая змея, узенькой вялой лентой. Ближе к краю макета она и вовсе терялась в песках.

На макете были показаны и гора Алтынды, земли Майкайына и Кызыла, хоть они и не принадлежали компании.

Речки Кокозек у Акбуйрата, Сарысу вблизи Нильды, ручей Майкудук в Караганде, а рядом Теректы тесни-

лись на небольшой площади макета голубыми жилами. Это создавало благоприятное впечатление — предприятия компании расположены среди множества рек.

Ушаков послал рисунок с макета — тоже в красках — Рязанову. Приложил для убедительности к письму, в котором просил выделить из общего фонда компании сто тысяч рублей на расширение производства. Теперь он ждал ответного письма. Но ответ почему-то все не приходил.

У глухой стены кабинета по углам были выложены до самого потолка две островерхие горки. Одна из свинцовой и серебряной руды, другая — из меди, угля и графита. Между горками, у их подножия, лежал тридцатисемипудовый медный самородок из Нильды и рядом, под стать ему по величине, глыба карагандинского угля. Сиял, отливал в красноту медный самородок. Черно блестели грани угольной глыбы. Сверкали золотом вложенные в трещины глыбы куски пирита. Разделяя в островерхой горке свинцовые и серебряные руды, били в глаза яркие сине-пестрые камни — специально проложенные, чтобы оттенить тусклую руду. Все это было найдено в Акбуйрате, вокруг Нильды. Все, кроме графита. Его привезли из недавно разведанных месторождений Аягуза. Ушаков уже начинал подумывать: вот бы вытеснить из России всемирно известные карандаши Фабера! Но это — в ряду самых дальних целей. Вот удалось бы расширить производство меди! Станут давать медь и уголь все больше и больше приплода, тогда можно будет взяться и за графит. Теперь уже никто не сомневается: здешняя медь — дело выгодное. Не зря волком рыскал Ушаков десяток лет по степи, сгибал то, что поддавалось, крушил, что не сгибалось. Поставил на ноги уголь и медь! Здешние прибыли поражали предпринимателей. Еще бы! Можно сказать, дармовые деньги! Затраты на производство ничтожны, рабочие руки почти что даром. Главный перевал взят. Но впереди один за другим поднимались новые перевалы, к ним тянулась теперь мечта Ушакова. Их видел перед собой, разглядывая макет.

— Можно, Никон Абрамович? — приоткрыл дверь секретарь.

— Заходи.

— Прибыл человек от господина Рязанова. Просит принять.

— Кто такой?

Незнакомый мне. А спросить не решился, неудобно.

Вот уж кого Ушаков никак не ожидал видеть — в кабинет вошел Сикорский! Ушаков подобрался, словно на него наползала змея. Жилы на висках набрякли. На душе замутило.

Три года тому назад Ушаков с большим трудом избавился от Сикорского. Заменил Некрасовым. И вот этот ненавистный ему человек опять выскочил. Да еще как — доверенное лицо Рязанова! Очки в золотой оправе! Важный!

Иные очки смотрят приветливо, будто улыбаются. Эти же леденили холодным блеском. Искры, взметнувшись, преломились в центре стекол и, как бы вскипев, разошлись к золотым краям. Ушаков вдруг ясно почувствовал: в этом человеке — беда. И не только для него, Ушакова, но и для всей степи. Он неохотно взял протянутую Сикорским руку.

— Не ожидали, Никон Абрамович? Я и сам, признаться, не думал опять попасть в вашу степь. Но что поделаешь? У господина Рязанова людей не хватает. Послал меня. Вопрос сложный. Сами вы подняли... Прошу.

Сикорский протянул письмо Рязанова.

«Эх, поленился я! Самому надо было съездить, — сокрушался про себя Ушаков, принимая письмо. — Такой посланец хорошего ответа не привезет».

Красиво выведенные на гербовой бумаге слова не давались в руки, ускользали, словно подмазанные. Очень уж много уважения, почтения, похвалы. Не так-то легко было продраться сквозь этот лес и обнаружить подножку. Белая кость — Рязанов, видимо, давал урок мужиковатому Ушакову — вот как надо писать письма! Это был высокий класс пустопорожнего стиля, который распространялся в то время по казахской степи. Рязанов, не скупясь, благодарил Ушакова: он-де вдохнул жизнь в мертвую степь, сумел из дикого кочевого населения создать постоянную рабочую силу, привел производство к новому подъему... Особенно восхвалял широту и смелость, с которой Ушаков поднимал новые вопросы в своем последнем письме. Подчеркивал, что придает им исключительное значение. Письмо было длинным, сладким и липким, как мед. Надо было прочитать его наедине и как следует обдумать.

— А устно велел господин Рязанов мне что-нибудь

передать? — спросил Ушаков, надеясь выслушать и выпроводить Сикорского. Тот предупредил его желание.

— Если разрешите, я бы отдохнул немного с дороги. От самого Петропавловска без остановки. С нарочным еду. А поговорить успеем еще, времени будет довольно. Сами понимаете, господин Рязанов не стал бы посылать меня с одним этим письмом.

— Хорошо, отдыхайте. Бернер вас устроит.

Ушакову хотелось подумать над письмом в одиночестве. Не расслышал, пропустил намек полномочного посланца.

Сикорский церемонно откланялся — прямо столичный гость! Извиваясь всем телом, отступил к двери. Он торжествовал: «Пришлось тебе все-таки говорить мне «вы»!»

Ушаков внимательно изучал письмо Рязанова. И скоро уже споткнулся в трех местах. Пошел дальше и почуял запах четвертой, очень серьезной беды. Все высказывалось не прямо, а в форме вежливых замечаний. Окончательное решение по всем вопросам поручалось Сикорскому. При этом Сикорский был трижды рекомендован как человек надежный и деловой. Это уже был прямой щелчок по носу.

«Видать, дело подошло к серьезной стычке», — подумал Ушаков.

Школа для казахских детей оказалась первой ночкой, о которую споткнулся Ушаков.

«Вы далеки отсюда, ваша душа спокойна... Мне же приходится чуть не каждый день выслушивать немало неприятных вещей, — писал Рязанов. — Мы не можем не считаться с обществом. А общество наше очень взыскательно и критично. Оно тотчас замечает неверный шаг. Не понять с полуслова недовольство его — значит поставить себя в весьма шаткое положение. Мне теперь приходится слышать уже не намеки. Слова прямые, основанные на фактах, бросают мне прямо в лицо.

До сего времени я многое умалчивал. Не хотел тревожить ни вас, ни других компаньонов. То были упреки в англизации. Мы-де новая Вест-Индская компания. Меня величали королем казахской степи, вас — вице-королем. Я молчаливо терпел. Но теперь вынужден поставить точку. Пора покончить с вещами, которые ставят нас в неприятное положение.

Недавно на вечере в Петербурге у главного государственного казначея со мной с глазу на глаз говорил ми-

ного просвещения. И то, что мне пришлось выслушать, я обязан вам сказать, очень и очень неприятно. Учтите, что граф человек чрезвычайно вежливый. Помните, я как-то рассказывал вам о нем. Сам предупредительный и тонкий, он желает и в своих друзьях встречать эти же качества. Не любит, когда его заставляют повторяться. И вот этот человек сказал мне: «Обучение детей инородцев — область государственной политики. Мы ценим Деньги. Но и Деньги должны считаться с нами. Если у вас пойдет и дальше так, как сейчас, вы, пожалуй, вашими инородцами заполните Томский университет...»

Понимаете, как должен был я покраснеть? Жаль, конечно, разрушать мечту ваших учеников. Знаю, что и вам мое известие не покажется приятным. Но, согласитесь, не считаться с подобными ответственными заявлениями мы не можем. Поэтому прошу: обсудите вопрос о школе с господином Сикорским и срочно сообщите о вашем решении».

Рязанов собрался закрыть школу! Ушаков никак не мог понять этого. Закрыть теперь, когда они готовились послать учеников первого выпуска в Томский университет! Первый выпуск... Двадцать семь человек... «Нет, не дам тебе, жадина, проглотить школу. Разве только проглотишь меня вместе с ней!»

Ушаков убежден был, что проглотить его не так-то легко. Его, который своими руками расправился со всеми бедами и поставил на ноги медь и уголь! Он стоит теперь у нового подъема и чувствует в себе новые силы. Нет, эти подножки не свалят его!

Но Рязанов готовил уже вторую подножку. Речь шла об оплате труда рабочих. Рязанов высказывался на этот раз категорически и официально.

«Если в чем и брать пример с англичан, то в их политике заработной платы. Англичане добиваются ежегодного снижения оплаты труда. А мы застряли на первоначальном высоком уровне. Вновь нанятые у вас через какие-то пять-шесть месяцев приравниваются к опытным рабочим. Так ведь? Вы нерасчетливо щедры с оплатой труда. Возразить здесь вы мне не можете. И это там, где рабочие руки так дешевы, как нигде в мире!.. Хочу напомнить, что на моих собственных предприятиях никогда не было такой высокой оплаты. Вас не должно удивлять, что и этот вопрос я поручил господину Сикорскому».

Спорить в этом вопросе было трудно. В конце концов Ушаков может здесь и уступить. Он за постоянных рабочих, за поощрение опытных, но в степи свободных рук и правда сколько угодно...

Третья и четвертая подножки вывели Ушакова из себя.

«Некоторые считают меня ненасытным. Их смущает та большая доля паев, которой владею я. Но, должен признаться, доля моя самая меньшая из всех. Вы вот один безраздельно владеете своим паем. Я же получаю малое от малого. Мои многочисленные наследники делят со мной этот большой пай. И вот теперь эти самые наследники вынуждают меня проверить две вещи:

I. Оправдывают ли себя затраты на разведку новых рудных месторождений? Не проглотит ли так-то степь и нас самих с нашими деньгами? Короче: нужна ли новая разведка вообще?

II. Не слишком ли велики затраты и на производство, на новые стройки? Чужие глаза не закроешь. Считают, что мы безрассудно ухлопываем большие средства. Ради бога, скорее успокойте меня! Пожалейте! Вы же помните, как неважно с моим здоровьем! Пожалуйста, подробно ознакомьте Сикорского и с этой стороной дела...»

Это была ревизия. И поручили ее Сикорскому.

Ушаков хлопнул письмом о стол, выбежал из дому. Попадись ему сейчас на глаза Сикорский, отведал бы кулака. Но Сикорский еще в Екатеринбурге предусмотрел такой оборот дела, не показывал носа. Вместо него попался на дороге Бернер. Он тоже был недоволен приездом неприятного ему человека.

— Что, Никон Абрамович, не отклонили ли Джезказган? — как мог мягче спросил Бернер.

— Зайдите в дом! Прочитайте! Письмо на столе... — отрывисто сказал Ушаков и пошел не оглядываясь.

О Джезказгане Ушаков особо упоминал в своем письме к Рязанову. Рассчитывал заинтересовать и тем облегчить получение ста тысяч. Джезказган оказался намного богаче древних Чудских выработок, где из ста пудов руды получалось всего лишь пять пудов меди. Руды Джезказгана давали одну треть. Но чтобы сохранить за собой месторождение, надо было его разрабатывать. Иначе по истечении положенного срока оно отходило в казну. Ушаков, учитывая это, вот уже два года постоянно держал на сортировке этих руд по тридцать рабочих. Рязанов дол-

жен был решить судьбу Джезказгана. Вот Бернер и подумал, не отклонил ли главный компаньон их предложения. Испугался, наверно, что нет там топлива и воды и место отдаленное.

Нет, в письме другое. Немец Карл Карлович Бернер с его практическим умом быстро понял, куда клонит Рязанов. Ему не надо было читать второй раз. Не испугал Рязанова Джезказган. Наоборот — разжег аппетит. Главный компаньон, видно, решил — пора стать ему безраздельным, единственным владельцем всех здешних богатств. Ушаков приготовил и подал их ему, а Рязанов готовился проглотить.

Проницательный инженер не ошибся...

Бернер давно ожидал такого поворота. Теперь, когда медь и уголь встали на ноги, самое время столкнуть Ушакова. Каждый месяц завод безотказно выдавал по полторы тысячи пудов меди. А с будущего года станет давать вдвое больше. Догадки инженера-немца подтверждались. На какой-то миг Бернер даже ощутил удовлетворение — мысль его работает безошибочно. Интересно, как Ушаков? Он-то понимал ли, какая ему грозила беда? Кажется, понимал... Только не слишком тревожился. Среди компаньонов ни один не мог бы сделать того, что сделал он. Надеялся на свою незаменимость. В этом и была его ошибка. Так думалось Бернеру.

Чем же и когда все это кончится? — рассуждал инженер. — Оставшаяся часть года уйдет на бесплодные пререкания, и Рязанов за это время потихоньку приберет все к рукам. Станет полновластным хозяином. Вместо ушаковского размаха, новых поисков пойдет скучная, расчетливая работа по выколачиванию новых и новых прибылей. Нет, Бернер не останется у Рязанова. Впрочем, и сам Рязанов наверняка постарается заменить тех, кто работал с Ушаковым, своими людьми. И Бернер решил не откладывая сообщить в окружное горнорудное управление, что с нового года будет свободен.

* * *

Весь день Сикорский не появлялся. Не посылал за ним и Ушаков. Он вызвал из Караганды Некрасова. Долго советовался с ним и с Бернером. Инженеры уговаривали не торопиться с ответом — опасно писать сгоряча.

И все-таки, как только остался один, Ушаков тотчас же сел за письмо. Возмущение требовало немедленного исхода. Обмакнул перо в чернила. Рука привычно вывела: «Милостивый государь!» Написать бы что-нибудь хлесткое вместо этих двух вежливых слов! Задумался... Письмо не шло дальше. Поднялась вдруг досада на себя, на простоту свою. Особенно царапала сердце одна последняя оплошность. И какая оплошность!..

Выложил Рязанову то, что тщательно скрывал до сих пор и от него и от других. Развернул ладони — на, бери! Подсунул Каратагай и Коргаштау — месторождения богатейших свинцовых руд. Одна треть чистого свинца! И месторождения эти никому пока еще не принадлежали.

А рудник Мыстау! Тоже поспешил поделиться: «Баснословное богатство! Невиданные запасы меди! Великое будущее!» Мало того — послал пески из золотоносных местностей Бесшокы и Кызылтау. Даже рассортировал их! Думал заинтересовать Рязанова — разохотится, станет податливым. И вот — разохотился! Чересчур разохотился!

— Можно войти?

Тихий вкрадчивый голос ударил по напряженным, как струны домбры, нервам. Ушаков вздрогнул, будто наступил на змею. В комнату бесшумно вползал Сикорский — учтиво вобрал голову в шею, потирал руки у груди. Весь вечер не спускал глаз с дома Ушакова. Заметив, что тот один, решил навестить перед сном.

— Прошу прощения, побеспокоил вас. Наверно, успели за день обдумать? Теперь можно бы и поговорить.

Ушаков буркнул, как в старое время, — не до приличий было:

— Снов, что ли, приятных пришел пожелать? Садись. Выкладывай, что у тебя.

— От души желаю вам видеть во сне только приятное.

— А наяву?

— И наяву... Обижаться вам на меня, думаю, не за что.

— Что ты думаешь — это не так важно. Расскажи, что думает господин Рязанов?

— Извините. Господин Рязанов должен был обо всем сообщить вам в письме. Я, помнится, вручил его вам.

— Письмо письмом. Лично тебе что поручено? — не снижал тона Ушаков.

Прежде всего доставить ваш ответ. И второе: познакомиться на месте с некоторыми делами.

Ушаков стал похож на разъяренного клыкастого льва, с которым вздумал поиграть котенок. Никчемному человеку, гроша ломаного не стоящему, поручено ревизовать его! Это был прямой вызов со стороны Рязанова, заранее обдуманное оскорбление.

— Ответ не тебе дам, Рязанову. Из моих рук получит, — сказал, желая хоть как-нибудь оградить себя от позора.

— Очень сожалею, но, во-первых, вы не найдете сейчас господина Рязанова, — завел Сикорский, весь извиваясь. — Они по своему обычаю отбыли с семьей на кавказские воды. Во-вторых, мне поручено не только привезти ваш ответ, но еще и проверить тут кое-что... Весьма сожалею, что нахожу вас в дурном расположении духа. Не желаете беседовать со мной — пожалуйста, ваше дело. Но прошу: не чините препятствий в порученной мне проверке.

— Ступай к Бернеру! К бухгалтерам! Куда угодно! Только мне на глаза не попадайся. Вон!

Ушаков вскочил с места. Сикорский рванулся к дверям.

Все же дал выход гневу. Это облегчило Ушакова. Снова сел за письмо и вскоре совсем забыл о Сикорском.

Да, пришла пора схватиться с Рязановым. Кто-то из них двоих должен быть опрокинут. Рязанов прикидывается другом, обнимает, а коготки-то выпустил. Только покажи себя слабым, тут же хватит по затылку. «Я тебе покажу! Моими ведь руками все сделано! Столичный хлыщ!..» — шептал Ушаков.

На бумаге вышло иначе. Слова погасли, звали к примирению. Ушаков внутренне ежился, досадовал на себя и все-таки продолжал сдаваться. Куда делись обиды, горечь проглоченного оскорбления! Только что казалось — так все это тяжело, такой груз, что и доброму коню не поднять. Но вот спохватился, степные богатства уходят от него. И все обиды одна за другой скатились под ноги — совсем их не стало. Честь, разум, красота, человечность — все оказалось под ногами. Ничего не осталось — ограбленный до нитки человек...

Рязанов хочет, чтобы казахскую школу закрыли? Хорошо, Ушаков согласен. В конце концов открыл он ее для дела, ради процветания угля и меди. А если уголь и

медь ускользают из рук, можно принести ее в жертву. И первая жертва была принесена. Ушаков уступил школу.

Не замедлил и со второй жертвой. Заработок рабочих? Пожалуй, тут Рязанов прав. Зачем, в самом деле, переплачивать, если можно найти сколько угодно даровых рук! И Ушаков поспешил успокоить компаньона. Он снизит оплату: сначала до сорока копеек, а там и еще. Единственно, о чем просил, — это перейти на новую оплату с осени. Вспомнилось, как воевал когда-то из-за рабочих нужд. Хлопотал о бане, удобных бараках, даже об огородах! И сам удивился своей горячности. Чуть было не покаялся в письме. Но что-то все-таки удержало.

Вот и покончил с двумя вопросами. А ведь они-то в первую очередь и щекотали его. Казалось — уступи, тут и дело шагнет назад. Но то было днем, когда он в горячке выбежал из дому. Сейчас же все сделалось просто. И рука не дрожала — Ушаков спокойно выводил на бумаге отречение от самого себя.

Подошел к следующему требованию. Рязанов не хочет новых разведок. И снова поднялась вся прежняя горячность. Разведка — ведь это же ключ к росту дела! Пусть проверяют! Что-то, может, и было упущено, сделано не так. Только не прекращать разведку! Надо как можно скорее зарегистрировать обследованные месторождения и начать их разработку. Он еще полон сил! Пусть Рязанов это почувствует...

Утром секретарь принес переписанное набело ночное сочинение. Ушаков перечитал. Бросилась в глаза угодливость написанного. О том, что больше всего бесило, совсем ничего не было сказано. Что думал дать намеком, получилось открытым. А что собирался высказать прямо, вышло туманно, несмело. И совсем уж робкими глядели те самые строки, которые должны были показать его силу. На минуту вспыхнул прежний огонь. «Обжора, пиявка, потаскуха!..» — привычными словами обругал Рязанова. Пошептал и угас, будто огонь залили водой. Вместо обычного ощущения силы пришли расслабленность, даже равнодушие. Чувствовал, что падает, но удержаться уже не мог. Даже будто начал бояться своих сомнений и поспешил подписать письмо.

Что падал — это Ушаков чувствовал. Но глубины падения еще не видел.

Зови Степана... Бернера и Некрасова тоже... — сказал секретарю.

Все трое скоро явились. Пока Бернер и Некрасов знакомились с письмом, Ушаков занялся со Степаном. Говорил тихо, то и дело беспокойно поглядывая на инженеров. Бушуев кивал — показывал, что все наперед понял. Он нередко бывал в доме Рязанова, успел завести дружбу с тамошним управляющим. И с прислугой тоже был в хороших отношениях.

— Не беспокойтесь. В этом доме от меня секретов нет, — вставил между слов.

— Перед отъездом зайди еще, — и громче, чтобы слышали инженеры: — Сикорский врет. Не может и дня без лжи! Никуда Рязанов не уехал. Если все-таки не застанешь, жди. Неделю, две жди! В крайнем случае, отдашь управляющему Полещуку. Это — если уж очень надолго уехал.

Бернер и Некрасов кончили читать, удивленно переглянулись, посмотрели на Ушакова. Только теперь заметили, как сильно переменился он за одну эту ночь. Седины как будто прибавилось. На лбу и у рта углубились морщины. Крепко сбитое могучее тело расслабло, и сразу стало заметно, как он заплыл жиром. Все исчезло: ни силы, ни воли — ничего. Теперь уж не уважение — жалость внушал Ушаков. И инженеры, делившие с ним беды и радости, жалели его. Но были и недовольны им.

— Вот все, что я мог придумать, — сказал Ушаков.— Понимаю, вам это не должно нравиться.

Бернер считал себя другом Ушакова. И как друг мягко заговорил о своих сомнениях.

— Вчера вы сами сказали, чем все это кончится. Вы были правы. Мы согласились с вами, что будет именно так. Если вы помнили вчерашнее, когда писали ответ, мне нечего добавить...

Ушаков понял Бернера. Но не хотел бередить старое.

— Помню... И мнение мое не изменилось. Да и как тут изменишь? Все так и будет. Рязанов хочет проглотить эту степь.

«Тогда зачем же вилять?» — подумал Бернер, но вслух ничего не сказал.

Зато Некрасов выложил с русской прямотой:

— Своими, значит, руками торопитесь уничтожить все хорошее, что успели сделать! Думаете, кроме вас, больше некому все поломать? Не возьму в толк, зачем

это? Если посмотреть трезво, все делалось ведь не ради казахов, не ради рабочих. Дело требовало! Подковы нужны не самому коню. Зря вы, Никон Абрамович, так легко уступили школу! И с заработком рабочих расправились. Забыли: не гони лошадь кнутом, а гони овсом! Сами же повторяли. Так что письмо можно было бы нам и не показывать.

Ушаков слушал и думал: зачем говорит? Только бередит рану. Неужели не понимает, что в моих руках всего тридцать паев из ста двадцати!

— Нет, не напрасно, — сказал твердо. — Вы должны знать, как повернется наше дело. Приказ о закрытии школы будет отдан сегодня же. Снижение оплаты откладываем на три месяца.

«Понятно!.. Сейчас многие бы побросали шахту, а глядя на зиму — куда пойдешь? Останутся!» Хотел было высказать это Некрасов, да появилось одно соображение, и он смолчал.

Инженеры ушли. Ушакову было горько. Чувствовал себя брошенным, одиноким. Старые друзья, соратники не захотели понять его беды, отвернулись! Что им чужая печаль? Они-то будут получать свои большие рубли — и ладно...

Позвал секретаря.

— Допиши в конце: «Тридцать рабочих, которых держал на переборке джезказганской руды, рассчитаны мною полностью и уволены». Написал? Теперь иди, позови Степана.

2

«За малым погонишься, потеряешь в большом», — любил повторять Ушаков. И он был прав. Оттого и росло его большое дело, что не скупился по мелочам. И вот Ушаков будто забыл эту истину.

Бернер, старый и верный сотрудник, в последние дни иной раз переставал понимать его. Казалось, не Ушаков распоряжается, а Рязанов. Начал придираться к мелочам, ни за что обижать. Был Ушаков строгим и требовательным — теперь стал назойливым.

Почувствовал на себе эту перемену и управляющий Карагандинскими шахтами Некрасов. Куда девалась прежняя хватка? Всюду Ушакову мерещились убытки,

С конца копошился в мелочах. Урезывал даже самые необходимые затраты. С недоверием проверял каждый шаг. Уже не Рязанова — Сикорского напоминал Некрасову Ушаков.

Что ни день управляющие получали теперь письменные приказы. И сегодня перед Некрасовым лежал новый приказ — три пункта: о бараках, о больнице, о разведывательной группе. Строился барак для семейных. Ушаков и тут нашел способ сберечь копейку — вычеркнул деньги на перегородки. Полмесяца назад распорядился о постройке больницы на пятнадцать коек. Сегодня приказывал строить на двенадцать. В распоряжении Некрасова была разведывательная группа из десяти человек. Предлагалось упразднить ее совсем. Прежде, бывало, Ушаков не скупился. Всегда советовался со своими инженерами, не терпел бумажной волокиты. А нынче объяснялся только на бумаге — приказом!..

В былое время Некрасов смело пошел бы к Ушакову и доказал неправильность решения. Теперь ответил коротко: «Будет исполнено». Работник, знай свое дело, на домбре играет домбрист! И все же душа болела. Так круто на глазах менялся человек. А дело? Ведь и Некрасов вложил сюда немалую долю труда. Меркли широкие планы, мутнело будущее Акбуйрата, Нильды, Караганды!..

Между рабочими прошел слух, что собираются снизить заработок. Хабар появился не без участия Сикорского. Открыл Жумабеку, что к осени ждет его большой барыш. «Готовь к сентябрю людей. Пока старые будут возмущаться да шуметь, ты и подкинешь своих. Смотри, не прозевай!» — советовал подрядчику. Хабар обрастал все новыми и новыми подробностями и начал сильно тревожить рабочих.

Мимо окна комнаты, где сидел Некрасов, шумно прошагали пятеро. Некрасов узнал Михайлу Неволю, Буланбая, кузнеца Жабая и Сугурали. Пятый был какой-то незнакомый молодой рабочий с приветливым светлым лицом. Вошли, не дожидаясь разрешения, и сами, без знака хозяина, стали рассаживаться на скрипучих скамьях у стены. Поздороваться — поздоровались, а извиниться, что оставили в рабочее время шахту, забыли.

— Вот мы и пришли! — начал Михайло Неволя. — Не могли не прийти. Скажите нам правду, вы знаете... А не хотите говорить, отпустите нас на три дня. Мы —

вот эти пять человек — съездим в Акбуйрат, пусть Ушаков нам ответит.

Неволя не просил, а требовал.

— Выкладывать правду, говорите? Считаете, я знаю что-то? — Некрасов улыбался.

— Да, знаете, — твердо сказал Неволя. — И мы должны все узнать... Теперь же. А не так, что ударят обухом на зиму глядя. Тогда уж нам никуда не шагнуть.

— Вы — не Сикорский, — добавил Буланбай. Он уже довольно бойко разговаривал по-русски. — Сикорский — наш враг. А вы человек справедливый. Так говорят наши дети. Четыре года учились, и все эти годы вы не забывали их. «Некрасов-аке» зовут они вас. Нам нужен сейчас честный человек, и мы пришли к вам. Скажете «не знаю» — поверим, пойдем к Ушакову. Будем ссориться. Так мы решили.

Было видно: рабочие решили крепко и не остановятся, пока не узнают всего. Темный, как ночь, сидел Сугурали. Казалось, дай знак — и он пойдет все ломать и крушить. Опустив бровь на незрячий глаз, мрачно сидел Жабай. Молодой рабочий, — это был Сеит, — чутко прислушивался к разговору. Некрасову показалось — этот жигит уже угадал, что скажет им сейчас инженер.

У Некрасова были обязательства перед хозяином Ушаковым. И все-таки следовало ли ему молчать сейчас? Тревога этих людей, что сидели перед ним, оправдана. Их возмущение — законно. Кривить с ними было бы нечестно. Он — образованный, просвещенный человек; помочь этим людям его долг. Вот только не всех из них он знает. Не хотелось, чтобы посторонние уши услышали его ответ.

— Можно бы и не кучей являться. Есть же у вас, как оно там... Не знаю, как называется... — повернулся к Неволе, спрашивая глазами: можно ли говорить открыто?

— Мы тут одна семья, — сказал Неволя, нажимая на слово «семья».

— Вот-вот, семья...

— Посторонних тут нет.

Некрасов слышал о рабочей «семье». И не раз, казалось ему, угадывал ее руку. И когда устроили побег Быковым, и в требованиях к Ушакову, и даже в стычках с десятниками. Сейчас он понимающе улыбнулся:

— Коли так... — Пошел к двери, накинул крючок. — Так будет спокойнее. А то еще явится кто из другой

семьи. Слушайте: Рязанов предъявил Ушакову ряд требований. Несправедливых и тяжелых требований. Ушаков все их принял. Два непосредственно касаются вас. — Он замолчал, будто подавил вздох. — Дети ваши больше не будут учиться. Акмолинская школа закрылась. Учителя рассчитаны.

И снова замолк Некрасов. Немало труда вложил он в эту школу. Руководил учениками в их практических занятиях. Радовался их успехам, мечтал: какие из них получатся люди! Новые, не униженные степным обычаем, образованные люди!

Так... Значит, что? Дети больше не будут учиться? — испугался Буланбай.

— Да, не будут.

— Совсем не будут? — не хотел верить Буланбай.

— Совсем.

Выбраться из-под векового гнета не так-то легко. Буланбай унаследовал его от отца. Жалкая это была жизнь... Вся целиком для бая, жизнь на подачках — собачья доля. Буланбай отрекся от нее. Ушел на уголь, чтобы жить трудом своих рук. Душа его потянулась к русским, которые дали школу его сыну и сыновьям его товарищей — рабочих. Сыновья должны были увидеть свет новой жизни. Большего счастья казах и представить себе не мог. Вот почему никак не хотел Буланбай понять слов Некрасова, не хотел поверить, что школу закрыли. Правая нога соскользнула с колена левой, грузно стукнула об пол. Он и не заметил.

— Сыновьям пока не говорите. Они сейчас на практике. Пусть продолжают ходить ко мне...

— Ну, а второе требование? О чем оно? — перебил Михайло Неволя.

— Второе. Готовится снижение вашего заработка. С первого сентября. Ушаков было предложил установить средний заработок в сорок копеек в день. А Сикорский лжет, требует снизить до тридцати пяти. Видно, по Сикорскому и будет.

— Средний заработок? Как это? — тихо спросил Буланбая Сугурали.

Ответил Некрасов.

— А вот как: в Караганде у нас работает, например, триста семьдесят рабочих. Общая сумма денег на оплату рабочим будет отпускаться из расчета по тридцати пяти копеек на человека. А получать будут по-разному, смот-

ря по тому, кто как работает. Вы сейчас, как опытные рабочие, получаете по семьдесят копеек, а с сентября вам сбавят до пятидесяти. Те же, кто зарабатывал по сорок, получат по двадцать пять.

— Это нам знакомо. Собачья бухгалтерия! Так она называется, — сердито буркнул Неволя.

Рабочие притихли. Каждый прикидывал свой заработок, делил на дни. Выходило — еле будут дотягивать до половины месяца. Притом, еще неизвестно, как подорожают к зиме чай, сахар в лавке Сеиткамала. Сколько запросит за своих баранов и коз перекупщик Мусакай? «Лошит тожы скотына — полнай мяса колбаса», — вспомнилась Михайле Неволе присказка лавочника. Пожалуй, этой «колбасы» теперь не больно попробуешь. Лица рабочих потемнели, будто окутались мраком. Да не тем мраком, что в шахте. Там хоть фонарь, а иной раз шутка рассеивали темноту. Этот мрак отдавал могилой.

Потемнел и Некрасов. Начиная разговор, хотел быть честным — и только. А теперь на лице его та же забота, то же горе, что и на лицах рабочих.

— Ладно, чего сидим? Айда! Спасибо вам за правду. От всей рабочей семьи спасибо! — сказал Неволя.

— Это все, что я знаю. Откроете меня или нет — ваше дело. Сам я все же не хотел бы, чтобы меня называли.

— Не беспокойтесь. Семья наша отвечает честностью на честность! — заверил Неволя.

— Желал бы и я быть в такой семье. И мои ведь дни сочтены.

Все удивленно посмотрели на Некрасова.

— Так получается. Но это уже моя печаль...

Ушли рабочие. Оставили на крашеном полу широченные угольные следы. И в сердце Некрасова остался след...

* * *

Дни в последнее время летели быстро. В бараках споры не утихали далеко за полночь. Рабочие шумели поутру, идя на работу. Горячились, возвращаясь с нее. На всех делах сказывались раздражение, гнев. Чаще ломались лопаты и кайла, стопорились бадьи. Затлела, злым огоньком поползла рознь между рабочими из бараков и аулчанами — так называли себя те, кто жил в юртах.

Аулчане не все работали на угле. Многие водили скот, промышляли молоком и кумысом. У юрты Мусакая всегда паслось с десяток овец. Чуть не каждый день продавал, а их все оставалось столько же.

Аулчане и прежде не часто заходили в бараки, а теперь даже на приглашение собраться, потолковать о делах отмахивались.

— А ну ваши вонючие бараки!.. Если надо, соберемся на вольной степи.

— Лежебоки! — сердились барачники.

— Скорпионы двухвостые! — обвиняли аулчане. Они не понимали, что происходит, и подозревали подвох.

Ссоры уже два раза заканчивались потасовкой. Правда, кидались в драку молодые, но зрелые мужи из аула молчаливо одобряли их.

Михайло Неволя, Алшагыр и Буланбай жили теперь в собственных домах. Но в последние две недели пропадали допоздна в бараках. А сегодня собрались там, где жили их старые друзья. Рядом с ними на нарах Сугурали, Байшегир и еще несколько человек из старых рабочих. Вокруг кто на чем: на нарах, на корточках — все жители барака. Последних даже не видно, потерялись в полумраке. Из женщин рядом с мужчинами только три: Кунзила, Катерина и Назыкеш. Остальные в стороне. Кто стоит, прижимая к груди младенца, кто качает — успокаивает плачущего; то тут, то там держат малышей на вытянутых руках, подхватив под коленки, чтоб не напустили матери в подол.

Прислонясь спиной к стене, в своем высоком жаулыке сидела Копей. Она покачивалась всем корпусом, баюкала ребенка — он лежал у нее на коленях. Мешали выкрики взрослых, младенец никак не мог заснуть. Вокруг Копей было свободно — знак особого уважения.

Качает малыша, а сама прислушивается к разговору в центре барака, и на светлом лице ее проступает печаль — Копей сочувствует этим людям.

На иных лицах гнев, возмущение сегодня обозначались резко, вышли наружу, будто тугой узел на веревке. Страдание Копей давно в глубине души ее. Оно вывело на лице скорбный узор. Даже когда улыбалась ребенку, печаль не уходила из глаз. Качала она ребенка Назыкеш. Молодая мать беспокойно поглядывала в ее сторону, порывалась подойти. Копей успокаивала взглядом.

Жила теперь Копей постоянно в Караганде, в последнее время с Назыкеш и Сентом. Была рада хоть понянчить младенца. Не ее вина, что сама не стала матерью. Когда-то, еще в доме Жумана, вырвалось у нее горькое: «Отчего не понесла хоть от собаки!» Теперь отдавала накопившуюся материнскую любовь этому ребенку, его матери Назыкеш и Сенту. А что приходится жить у одной из прежних служанок, об этом и не думалось...

В барак торопливо вошли Сент и Жабай. Все глаза обратились к ним.

— Ну как, скоро придут? — нетерпеливо спросил Буланбай.

— Сюда не придут. Выходите, говорят, в степь, между бараками и аулом. Мы, говорят, от вас не бегаем, — ответил Сент.

— Что-то незаметно, чтобы хотели прийти. Все оглядываются на кого-то, — добавил Жабай.

Сегодня думали окончательно решить двухнедельный спор. За это время рабочим из бараков удалось победить робость, недоверие и оглядку на аул у некоторых своих товарищей. Завязали, кажется, мысль в единый узел. Все дело теперь было за аулчанами. Там еще колебались. То будто соглашались действовать заодно с барачными, то снова увертывались. А Ушаков не ждал. Прислал строгое предупреждение: «Даю три дня сроку. Если не закончите свою болтовню, пеняйте на себя!» Был начеку и Жумабек. Кружил вокруг бараков, вызнавал все через аулчан. Прибегал, говорили, уже и к Ушакову — мол, наготове триста новых жигитов. Сикорский и Мусакай гостями у него — так передавали языки.

И в эти-то тяжелые дни аул совсем замучил рабочих из бараков. Никак не давал прямого ответа. А ведь там более ста рабочих. Вначале, как узнали, что хотят снизить заработок, подняли такой вой, будто им напильником рану разбередили:

«О аллах!.. За что нас караешь? — Заступитесь!.. Не привычные мы еще к вашему углю. Первыми нас и проглотят...»

Буланбай и его друзья поверили, пожалели и вот — увязли. На лице аула проступили застарелые пятна. На первую же встречу с барачными пришли почти одни аксакалы. Нахлобучив по самые брови тымаки, ковыряя землю палками, опустив глаза, бубнили:

— Разве уйти человеку от воли аллаха?

Да и верно ли все это? Может, один только хабар?..

Да, да... Кто точно знает? Не трогают ведь пока нашего заработка.

— Пожалуй, сами еще и подтолкнем их. Ушаков, кажется, не виноват.

Кружили впустую на одном месте, точно арба, завязшая в болоте. Не могли и не хотели понять того, что понятно даже ребенку, — всем косом легче дело сдвинуть, чем в одиночку. А еще почтенные старики — аксакалы!.. Как говорится: «Ни чужое слово не пробьет, ни свой ум не выкует!» Долби их, а они словно тюк хлопка: рука уходит по самый локоть, а следа нет.

Вот и сегодня. Сеит с Жабаем все юрты обошли. Рабочие с глазу на глаз как будто соглашались с ними. При стариках же опять начинали мяться. А те пуще прежнего упрямились. Возвращаясь, Сеит и Жабай заметили у юрты Мусакая тарантас с задранными вверх оглоблями. Арба Жумабека! Тёре не терял времени зря. Так и вернулись с одним-единственным ответом: «Встретимся в степи между аулом и бараками».

— Ступайте! Идите все, — советовал Михайло Неволя товарищам. — Идите. А я вот с этими инженерами сяду письмо писать, — мигнул двум молодым жигитам, они стояли в стороне. — Думать буду я, писать — они. А ну, черти, чему вы там научились? Чему, спрашиваю? — по-отцовски шутливо-грозно прикрикнул на них.

Молодые люди лет по пятнадцати понимающе улыбнулись друг другу. Это были сыновья Буланбая и Алшагыра: Нартай и Алишер.

— Что же, сами пойдем, раз не хотят идти к нам. Гора не идет к Мухаммеду, так Мухаммед пойдет к горе. Так говорю? — сказал Буланбай и поглядел на Неволю.

— Идите, идите! Да прямо и скажите им: пришли, мол, — в последний раз. Хватить им вилять. Пускай прямо говорят: с нами они или нет!..

Рабочие дружно поднялись, пошли из барака. Вышел и Неволя — вместе с Нартаем и Алишером отправился к себе. В бараке остались одни женщины. «Успокойся, щит мой!», «Не плачь, солнце мое!» — приговаривали над детьми и тихонько расспрашивали Пазыкеш и Кунзилу, на чем же порешили их мужья — рабочие...

* * *

— Кто из вас хорошо пишет? Катюша, поставь-ка нам самовар. Колбасу, спрашиваешь, едят ли? Едите? Едят, оказывается. Сюда, сюда, садитесь, — говорил Неволя, придвигая к столу скамейку.

Нартай, похожий на отца, крепкий, как кремень, подтолкнул легкого, подвижного Алишера: «Ты пиши!»

— Садитесь. Вместе соображать будете. У рабочих только так и делается.

Алишер обмакнул перо в чернила, посмотрел на Неволю. О чем же писать? По-казахски ни он, ни Нартай писать не умели. По-русски приходилось, и не только в школе. Алишер посылал письма домой. Родители хвалились: сын пишет, ученый! Только читать по-русски никто кругом не умел. Так и хранились нечитаными в кебеже — сундуке матери — все письма, посланные за четыре года. Получал и Алишер письма от отца. Их составлял за него хожа — арабскими буквами. Тут уж сын не мог прочесть написанного. Встречались на каникулах, расспрашивали друг друга: «Что ты тогда писал?.. Ах, вот что!..»

Алишер терпеливо ждал. Неволя расхаживал по комнате, обдумывал. Но куда делись все слова? Когда разговаривал с другими, рекой текли. Так и вонзались, точно лом в уголь, рубили, как кайло. Очень хорошие, убедительные получались слова. А вот задумал перенести их на бумагу и пошел спотыкаться, будто конь на льду. Неволя уже и руками помогал себе — казалось, ловил и не мог поймать ни одного из тех замечательных слов.

— Ладно, сделаем так, — остановился наконец перед столом. Он даже вспотел. — Я вам расскажу все что нужно. А на бумагу вы уже сами положите, идет? С головой же жигиты, не ошибетесь, думаю, куда хомут надеть, где дугу пристегнуть! Верно?

Молодые люди смущенно закивали головами. Неволя начал:

— «Вы, уважаемый господин Никон Абрамович, понапрасну нас обижаете... Совсем понапрасну. Караганда нашими руками сколько лет уже растет. Весь пот свой на нее пролили. И не совестно вам? Побойтесь хоть бога!»

— Так и напишите: «Побойтесь хоть бога!» Не за-

ходите! Правильные слова, — он погладил жигитов по головам.

— «Да, побойтесь бога! Все ваше богатство — на наших спинах... Мы это довольно почувствовали. Не мешает и вам вспомнить о том. Разве мы хуже стали работать? Нет, все так же крепко долбим ваш уголь. Вот и спрашиваем: с какого лиха задумали снижать наш заработок? Может, боитесь, переплатили нам? Незаметно что-то. С голоду мрем. Подумайте, отчего это в наших семьях выживает только один ребенок из троих?..»

— Жипка!.. Катюша, сколько пацанов умерло у Сеита? — позвал Неволя в кухонную дверь.

— Трое вмерли. Это ж у них четвертый. Та тоже нездоровый хлопчик, — громко ответила Катерина.

— Значит, поправьте: «еле один из четырех выживает». Теперь дальше: «Нет, Никон Абрамович, нечего вам серчать. Нечего обижаться на нас попусту. Мы тоже серчать умеем и труд свой тяжелый защищать будем. Мы не согласны с вами. Задумали выгнать нас, а на наше место взять рабочих подешевле? Что же, делайте как знаете. Не испугаемся. Сами уйдем! Все уйдем, кто подписал эту бумагу. Поэтому с завтрашнего дня на работу не выйдем. Не выйдем, пока не объявите, что заработок останется тот же».

Неволя разгорячился. Кричал, наступал на Нартая и Алишера. Будто не они, а Ушаков и Рязанов сидели перед ним.

— «Мы тоже люди! Сколько нам терпеть? За свой труд требуем, не за чужое! Совсем погубить захотели? И без того ходим, как тощие клячи. Нет, так не пойдет! Не пойдет!..»

Он рубанул рукой, чуть не ударил по голове Алишера.

— Ну ладно... Теперь пишите. А я пойду чайку попью, — сказал и скрылся за кухонной дверью.

Михайлу Неволю рабочие давно признали за вожака. Первым за общие интересы грудью вставал. И на Урал вот не поехал, остался. Боялся — уйдут все русские и распадется молодая рабочая семья. Но был Михайло неграмотен. Понадобилось написать рабочее требование, а уменья нет. Все объяснил, все рассказал. А теперь лучше уйти, все равно больше ничем помочь не сможет. Волновался Михайло, только и оставалось надеяться, что жигиты сами справятся с остальным.

Алишер с Нартаем трудились долго. Боялись, как бы не пропустить какую-нибудь мысль. Напоминали один другому: тут он так сказал, а здесь вот так! Наконец вроде бы получилось: и мысли передали, и гнев сохранили. Вышло что-то среднее между официальным обращением и письмом. Начали прямо со слов Михайлы Неволи: «Вы, уважаемый господин Никон Абрамович...» Иного придумать не смогли. Неволя уже три раза справлялся — не кончили ли? Наконец к нему вышел Нартай.

— Готово!

— А ну, читайте!

Михайло обрадовался, увидев ряды ровных черных букв на бумаге.

Алишер начал читать дрожащим голосом, запинаясь там, где как будто получилось нескладно. В прошлом году в школе они писали изложение басни Крылова «Крестьянин и работник». Немало слов из этого изложения попало, оказывается, в рабочее требование. Хорошо легли, увесисто. Намного лучше, чем в прошлом году в школе. Нартай слушал их общий труд, узнавал слова из басни и весело улыбался.

Но больше всех радовался Неволя. Надо же, как получилось: и забористо и гладко. Совсем как в книге! Говорил, конечно, он. Но писали-то они, казахские парни, жигиты! Прямо чудо! И ничего не забыли! Ему самому ни за что не пришли бы в голову такие красивые и сильные слова.

— Катюша! Ты только послушай, чего эти щенки написали. Скорее же! — кричал Неволя жене, благодарно похлопывая Алишера по плечу.

Поспешила из кухни Катерина. Уставилась на ровные строчки. Неужели по-русски, по-настоящему? Неужели казахские хлопцы писали? — говорило ее лицо.

— Да ты послушай! Читай! — попросил Михайло Алишера.

Похвала подбодрила. Теперь Алишер читал без запинки, с жаром.

Скрипнула дверь. Из передней окликнула Кунзила:

— Катя, молока у тебя не осталось? Старики наши возвращаются.

Кунзила просунула голову в дверь и — назад: нельзя мешать, заняты важным делом. Неволя, не прерывая чтения, поманил указательным пальцем. Кунзила вошла на цыпочках и сияющими глазами стала следить за сыном.

Душа ее таяла. Особенно гордилась, что сын так легко, быстро читает, да еще по-русски. Ни разу не запнулся. И перед кем? Перед русскими ведь! Ее сын... Алишер... настоящим жигитом стал...

— А теперь Нартаю дай. Пусть тоже почитает, — прервала сына Кунзила.

— Нет, апай, не мешайте, нельзя, — ласково улыбнулся ей Нартай. Он понял, почему Кунзила хочет, чтобы и он почитал.

Алишер кончил.

— Хоть самому царю посылай! — радовался Неволя. — Как придут отцы, прочтешь еще раз.

Неволя взял письмо. Куда бы пока спрятать? Переводил глаза с подушки на сундук и обратно.

— Видишь, Катюша, какие они стали? Настоящие люди будут! Небось позабудете нас, как в инженеры выскочите? Где уж знаться с чумазыми да неграмотными! Знаем вас, — шутливо погрозил им пальцем.

— Это мы забудем? — Нартай чуть не расхохотался.

— Никогда не будет такого, Михайло Романович! — сказал Алишер.

— То-то!.. — похвалил, пряча в сундук письмо. Понравился Михайле решительный ответ парней.

— Вдвоем, наверно, писали? — спросила Кунзила сына, и глаза подсказали — скажи «да».

— Вдвоем, конечно. Кое-как сочинили, — ответил сын.

Кунзила обняла обоих. Прижала к себе. Целовала по очереди. Совсем забыла, что стали они уже большими. Жигиты смущались, увертывались. Но вот Нартай сам обнял ее — веселый, ясноглазый, как отец. Сказал — и не просто сказал, а из самой глубины сердца:

— Апай, есть ли еще такой человек на свете, как вы?! Но придется вам восстановить справедливость. Меня целовали на целых десять лет меньше, чем Алишера. За это поцелуйте особо, вот сюда, — он подставил лоб и закрыл глаза. Ресницы у парня повлажнели. Видно, вспомнил свою давно умершую мать.

Вытирая украдкой слезы, женщины вышли на кухню.

— Ты молоко шукала? Есть, Гуля, молоко, есть... Но шли бы лучше до нас. Самовар готов. Веди своего старика. Вместе с детьми побалакаем, — приглашала Катерина.

— Они и сами сюда придут. Накрывай, Катюша, на стол, — сказал Михайло.

что говорят правду? Буланбай и сам подтверждал свое слово такими же клятвами. Приходилось верить. И все-таки холодные были их речи. В душе осталось сомнение.

Буланбай шел с товарищами домой. На полпути остановился с Алшагыром, а товарищам сказал:

— Как придете, не расходитесь. Ждите нас в бараке. Есть одно дело.

Сам с Алшагыром отправился к дому Неволи.

— Выиграть хотя бы три дня... — задумчиво сказал Алшагыр.

— Это можно бы. Только придется днем и ночью не отходить от них. Завтра после работы, значит, опять в аул, так?

— Так. А то снова разбредутся по ветру.

Дом Михайлы Неволи светился окнами. Темной сплошной стеной стояли бараки. От них доносился негромкий разговор. Видно, и там не все еще спали.

— Вот что, иди-ка, приведешь Сугурали и Байшегира, — сказал Буланбай и пошел, срезая путь, по караганнику. Алшагыр тоже ступил в густой караганник, но повернул в другую сторону — к баракам. Прошел шагов около сотни. Из темноты выскочил человек и тут же снова нырнул в кусты.

— Эй, кто там? — окликнул Алшагыр. Человек не ответил, побежал, пригнувшись, прочь. Алшагыр посмотрел ему вслед и увидел далеко впереди Буланбая. Он медленно шагал в высоком густом карагане. «Видно, кто-то из аулчан. Разговор наш послали подслушивать». Не успел Алшагыр так подумать, как вдруг услышал страшный стон, будто игла вошла в уши. «Буланбай!» — метнулась мысль. Алшагыр уже несся к месту, где только что видел Буланбая. Опоздал! Палуан лежал ничком. Вот тогда и закричал Алшагыр.

К дому Буланбая сбегались шахтеры. Некрасов и фельдшер были уже здесь. Буланбай, как принесли его сюда, все еще не приходил в себя. Дышал то с хрипом, то вовсе переставал дышать.

— Рана тяжелая, но не смертельна. Нужен покой, свежий воздух. Пусть один дежурит около него. Остальные идите, — сказал фельдшер.

Люди молча выходили, но от дома не шли. Женщины не сговариваясь задержались в сенях. У выхода, прислонившись к дверному косяку, стоял Нартай.

Неволя, Байшегир сидели около дома. Возвращались

по одному молодые жигиты, ходившие обшаривать карагашник.

— Ну как, очнулся? Что сказал бершиль? — спрашивали они. А сами ничего не сообщали. Значит, никого в карагашнике не нашли.

— Ступайте домой. Завтра после работы обо всем поговорим, — уговаривал шахтеров Михайло Неволя. Уходить никто не хотел.

Молодой фельдшер Морозов с удивлением осматривал рану Буланбая. Он уже три года проработал в Караганде. В последние две недели перевязал с десяток жигитов. Раны все были пустяковые. Даже в последней драке, на что уж была шумливая, тяжелых не было. Морозов успел решить: казах в драке крепко не бьет. Важно лишь кровь пустить — чтобы видно было. Рана Буланбая оказалась иной. Ударили повыше виска чем-то округлым, гладким. Может, шокпаром, а может, тупым концом лома. На месте удара на виске сначала была вмятина. Теперь это место припухло, налилось густой синевой. Фельдшер перевязал рану, но кровь просачивалась и сквозь белую марлю. Раненый лежал неподвижно, глаз не открывал.

С рассветом к дому Михайлы Неволи потянулись рабочие. Прежде чем спуститься в шахту, каждый хотел знать: как Буланбай?

— Лучше ему. Спит, — отвечали повеселевшие Михайло, Алшагыр и Байшегир. Всю ночь прокараулили они у постели больного.

Нартай взял отцовское кайло. Решил заступить место отца на несколько дней. Сегодня он уже не школьник-практикант у Некрасова, а шахтер — замена отца.

Возле раненого остались Кунзила и Копей.

Рабочие со всех сторон — от собственных домов, от бараков, от аула — подходили к шахте. Вдруг их нагнал звон колокольчиков.

— Сам едет! Ушаков! — заволновались шахтеры.

Колокольчики будто сердились, угрожали. Свернув с большой дороги, Ушаков не замедлил бега коней. Мчался, будто спешил вот так и в шахту спуститься: вместе с коляской и конями.

— Нартай, беги за письмом! Ты знаешь где, — послал Неволя.

Ушаков ждал у шахты. Рабочие поснимали шапки, стали у тройки. Лопаты и кайла на их плечах блестели холодно и грозно. Мрачно и холодно было и лицо Уша-

кова. В первый раз за все время не ответил на приветствия рабочих. Встал в коляске, широко расставив ноги, поднялся над толпою — литой, чугунный, вот-вот коснется макушкой неба. Коренник нетерпеливо закивал головой, и тотчас зазвенели, забеспокоились бубенцы, и звон отдался в крепкой дуге. Все это: и нахмуренный огромный Ушаков, и нетерпеливые кони, и резкий звон — предупреждало о беде.

— Кто моим деньгам хозяин? Я или вы? — крикнул Ушаков, и голос его тоже загудел.

Сквозь толпу протискивались к коляске Сикорский и Жумабек. Ушаков не смотрел на них.

— Мало плачу вам? Берите расчет — и долой!.. Сегодня же вместо вас придут сотни новых.

Жумабек стал у коляски перед глазами хозяина.

— Прикажете советоваться с вами: сколько кому платить? Нет! Где это вы видели? Может, у ваших баев? Ну и ступайте к ним! Никого не держу.

Слова Ушакова, как увесистые градины, били толпу. Люди ежились, опускали глаза.

— Кончайте! Я не шучу с вами. Упретесь — пеняйте на себя. Всех выгоню! Начну с зачинщиков!

Еще минута — и будет поздно. Колебались уже и те, кто пришел, желая протестовать. Медлить было нельзя. Михайло Неволя вышел вперед, остановился перед коляской. И тут же от каждой артели отделилось по человеку, и все стали рядом с Неволей. Только от аулчан никто не двинулся. А ведь и сегодня Сеит с Жабаем ходили — уговаривали их. Сеит и Жабай тоже стояли среди «зачинщиков». Место Буланбая занял его сын Нартай.

— Что это значит? — еще сильнее нахмурился Ушаков.

— А вот почитайте, увидите! — протянул Неволя протест рабочих, составленный вчера.

Ушаков пробежал письмо глазами.

— Не верю этой бумаге. Тут и подписей нет. Болтовня кучки.

— Ничего, поверите! Все, кто стоит здесь с лопатой и кайлом, подпишут. Все! — уверенно и сурово сказал Неволя.

Приподнялись и задвигались лопаты и кайла. Ушаков хотел было разорвать и швырнуть требование, но это движение остановило его.

— Как знаете. Мое слово сказано — и конец. Оплата

будет снижена. Кого не устраивает, пусть уходит. Вот подрядчик — тёре Жумабек. Он вам скажет, сколько новых просятся на уголь.

— Триста! Триста приступят хоть сейчас. А если нужно — завтра приведу еще триста! — услужливо выскочил Жумабек.

— Слышите? — подхватил Ушаков. — Триста. Кто сегодня не выйдет на работу, будет немедленно уволен! Я думал подождать до осени, жалел вас. А раз вы так, снижаю с сегодняшнего дня. Кто хочет остаться, идите в шахты!

Аулчане, будто их стегнули камчой, без оглядки помчались к Каражыре. Шахтеры из бараков не тронулись, лишь плотнее придвинулись к Ушакову.

3

В Караганду Ушаков прискакал распаленный, гневный. Казахские рабочие с ним не согласны! Те самые степные казахи, которые до сего времени казались ему дикими и такими простодушными! Мелкие неполадки между ним и рабочими, конечно, бывали и раньше. Ушаков в таких случаях обычно показывал себя щедрым, заботливым хозяином. Щедрость да два-три теплых слова при встречах — это и принесло ему славу хозяина справедливого, доброго. Рабочие уважали его. Не к другому кому — к нему ведь шли с жалобами на тех, кто исполнял его же волю. Потому в первые дни и не придал особого значения недовольству рабочих. Куда им деться в этой глухой степи? Куда еще уйти от нужды и голода, кроме как на уголь и медь? Пошумят и затихнут...

И вот эти простодушные казахи больше не слушались его. А главное — и Нильда, и Акбуйрат, и Караганда, как сговорились, заявляли одно и то же. Это больше всего злило и вместе с тем удивляло Ушакова. Совсем вышло из головы, что снижение зарплаты грозило одинаково и рабочим Нильды, и Акбуйрата, и Караганды.

Внутри России еще понятно, там рабочие могли и волноваться. Все чаще, мощнее возвышался их голос против хозяев. Но здесь, на окраине, в тихой степи... Ушаков считал, что здесь этот голос станет слышен не раньше, как через полвека. И никак не хотел понять причину возмущения, не видел ее. Приписывал все повороту судь-

бы — год неудачный, ни в чем не везет ему нынче! А то, что зерна добра и зла, брошенные в народ, дадут в конце концов всходы, обязательно выбьются однажды ростком на поверхность, — было ему невдомек. Не хотел понять этого Ушаков. И застрял — человек сильный, уверенный в себе и деловой — застрял перед высоким перевалом. Да не один он. Перевал этот не могли осилить ни его общество, ни его время.

Все мысли Ушакова в эти дни были заняты бедой, которую принес Сикорский. Не заметил, как толки о заработке выросли в большой, серьезный разговор. Отмалчивался, потерял беспечно столько дней! Вчерашний день заставил посмотреть на дело иначе.

Утром секретарь принес два письма. В одном была жалоба от нильдинских рабочих. Из двухсот человек ее подписали сто двадцать. Рабочие заявляли: «Если правда то, что снижаете заработок, рассчитывайте нас, уйдем сейчас же!» Жалоба была написана по-казахски. Толмач Жусуп читал спотыкаясь, долго толковал места, показавшиеся особенно важными:

— Плохие слова... Говорят, если в три дня не получат хорошего ответа, ни один ушпыр не будет пробит, ни одна арба не будет нагружена. Никто, грозятся, на работу не выйдет... Плохое дело. Кругом Нильды много богатых баев. Да и Улытау рядом. А там кругом богатые аулы. В эту пору баи помногу нанимают работников. Осторожно действовать надо. Осторожно, — предупреждал Жусуп.

Ушаков не слушал — в степи любят из малого большое делать.

— Отвечать не надо, — сказал секретарю. — Бернер скоро туда поедет, разберется.

Второе письмо было из Караганды от Некрасова. Он ничего не скрывал, описывал все как есть. Подчеркивал: недовольство быстро растет и грозит серьезными бедами.

«...Акмолинская школа была для них что шахтерская лампочка под землей — единственная светлая точка... А то, что заработок—единственная опора в жизни рабочих, думаю, напоминать вам не надо. И школа и предстоящее снижение заработка не сходят у них с языка. Говорят с горечью и гневом. В конце концов они, наверное, покорятся, примут вашу волю. Деваться ведь некуда! Однако и закрытие школы и удар по заработку оставят рубец в

их сердцах — это наверняка. Доверие к вам будет подорвано. Не могу судить, законны или нет их требования, но считаю своим долгом сообщить о следующем: ко мне пришли пятеро рабочих. Они собирались потребовать от вас всей правды. Просили отпустить их, чтобы съездить к вам. Я постарался отговорить. Однако дело принимает опасный оборот, и этим пренебрегать нельзя. Сначала были разногласия между рабочими шахт и открытых выработок. Сейчас, похоже, шахтеры взяли верх, и дальше все рабочие будут действовать заодно. Надо срочно принять меры, иначе мы можем оказаться в трудном положении...»

— Рабочий адвокат! Законно — незаконно!.. — озлился Ушаков и швырнул недочитанное письмо на стол.

— Ты читал? — буркнул, спохватившись, секретарю.

— Начал было. Но такое... Побежал к вам.

— С этого дня писем Некрасова сам не распечатывай. Понял?

— Понял, Никон Абрамович.

Тяжелая тишина замкнула вдруг комнату. Не слышал больше Ушаков рабочего заводского гуда, только мысли ударяли в голове, громко стучали. «Что это? — шевелил губами. — Забастовка? И сразу в трех местах! То-то радость Сикорскому! Ликует теперь!..»

В эту тишину ворвались громкие голоса. Сюда двигалась толпа рабочих.

— Не мое это дело! Говорю вам, я не касаюсь этого,— убеждал голос Бернера.

В ответ слышались гневные, сердитые выкрики. Громко стучали чокаи.

— Можно? — Бернер просунул голову в дверь. Лицо растерянное, тревожное. Ушаков нехотя кивнул. Бернер торопливо вошел, прикрыл за собой дверь. Заговорил взволнованно.

— Прошу вас, Никон Абрамович! Избавьте меня от скандала. Объясните им, что я не имею отношения к их заработку. Зачем они угрожают мне?

Бернеру хотелось бы сказать еще о многом, поговорить обстоятельно, но гневом сверкнули глаза хозяина, и Бернер осекся.

Ушаков рассвирепел. Этот немец хочет спрятаться за его спину! Все предатели! Все! Он не стал отвечать, сам вышел к рабочим. Они столпились в передней.

— Зачем пришли?

— Сами знаете зачем. Если собрались урезывать заработок, так объявляйте прямо! Нам тоже надо позаботиться о себе, — заявил в лицо хозяину один из рабочих — весь серый от рудничной пыли, точно из камня высечен.

Ушаков пригляделся. Тут были и медеплавильщики в замасленной лоснящейся одежде, и запорошенные по самые брови угольной пылью подносчики угля к заводским печам. А этот, каменный, что говорил с ним, пришел с рудников Нильды. Рядом стояли и еще несколько таких же каменно-серых людей. Так и пришли, не смахнув пыли и сажи с лиц. Будто бы даже нарочно выставляют — вот мы, побросали работу! Хоть бы намек на неловкость, смущение — ничего! Это больно уязвило Ушакова.

— Кто вам разрешил бросить работу? Что за своеволие? — закричал. Он рассчитывал: сейчас заморгают глазами, испугаются.

— Нам сначала надо решить: будем работать вообще или нет? — ничуть не смутясь, сказал все тот же каменно-серый жигит. Остальные смело и прямо глядели на хозяина.

Знакомыми показались немигающие раскосые глаза жигита. Но припомнить, кто он, Ушаков не мог. Не узнал искусного прокладчика шурфов Танжарика, сына старейшего рабочего Мунайтпаса! Того самого Мунайтпаса, который умер от чахотки на глазах Ушакова. В первые годы многих рабочих знал даже по имени. А вот сейчас перед ним стояли семеро, и никого из них он не мог вспомнить.

— Вы что же, пугать вздумали? — вызывающе уставился на них Ушаков. — Не выйдет!

— Зачем пугать? Не хотим, чтобы нас грабили среди бела дня, потому и пришли, — ответил другой рабочий, по виду горновой.

Рабочие не намерены были отступать. Это Ушаков понял. Но и он не думал сдаваться. Спорить с ними здесь смысла не было. Досадно, что вырвался первый окрик. Перестали слушаться его? Он покажет еще свою силу!

— Запугать вам меня не удастся. Средняя плата за день будет снижена до сорока копеек. Кому мало, пусть уходит. Свободных рук в степи хватит. Другого от меня не услышите.

Ушаков резко повернулся и захлопнул за собой дверь.

Деревянные подошвы гневно простучали под окнами.

Громко шумели недовольные голоса.

— Посмотрим!

— Мы тоже люди!

— Не запугает!

Люди, привыкшие к единоборству с камнем, огнем и лишениями, готовы были схватиться и с ним — с хозяином. Пришли не робея и уходили не сломясь.

— Вот, слышали? Уже десять дней так. Осаждают меня. Я не могу, — заговорил Бернер, как только Ушаков вернулся в комнату.

— За Акбуйрат отвечаете вы. Сами и успокаивайте своих рабочих.

— Как успокоишь? Что я могу сделать?

— Кто управляющий Акбуйратом — я или вы? Ответ будет держать управляющий. Не можете сами, обратитесь к волостному, к Ордабаю. Ступайте! Сегодня же порядок должен быть наведен! Иначе — не обижайтесь!

«Не могу тягаться с Рязановым, так пусть хоть тут почувствуют мою волю! Сломлю, раз не хотят подчиниться!»

Воодушевленный этой мыслью, Ушаков помчался на следующий день в Караганду.

Казалось, решимость его не пропала даром. Рабочие Караганды не выдержали напора. Толпа раскололась, и часть покатилась к разрезу. Это ободрило Ушакова. И те, что еще окружали его коляску, будто тоже заколебались. Ушаков заметил, как тревожно смотрели вслед отделившейся кучке.

— Я все сказал... Не согласны — ступайте куда хотите!

— Требования наши законны! — к коляске вплотную подошел Михайло Неволя.

Ушаков, не слушая, скомандовал кучеру:

— Айда! Гони в контору!

Колокольчики рассекли толпу и умчались. Толпа шахтеров, точно река, прорезанная лодкой, сомкнулась снова...

У конторы, слезая с коляски, Ушаков бросил взгляд в ту сторону. Рабочие зашевелились и — наконец-то! — побрели к шахтам. «Ага, не выдержали, сдались!»

Теперь настала очередь Некрасова. Он как раз вышел встречать хозяина.

— Деньги тебе за что плачу? Чтоб поперек дороги вставал? — набросился Ушаков.

— Думаю, платите за труд мой.

— Я нанимал инженера, а не адвоката!.. — шумел, входя в контору. Но тут же сбавил тон: испугала мелькнувшая в глазах инженера решимость.

— Неужели так много требуется труда, чтобы прекратить скандал? — продолжал он уже спокойнее. — Оба вы с Бернером размякли. Строгости нет. Считаете, я должен поспевать всюду сам? Имею я право требовать от вас исполнения долга или нет?

Ушаков сел на подоконник. Грузное тело заполнило весь проем открытого окна. В том, как он сел, как вяло обвисли щеки, бессильно поникли руки, видна была большая усталость. Неутомимый Ушаков! Некрасову стало жалко его. Казалось, и оплывшее тело, и поникшие руки — все звало на помощь. Некрасов подошел ближе, мягко заговорил:

— Никон Абрамович, если и был, как вы говорите, адвокат, то адвокат этот выступал только в ваших интересах...

— Мне не нужны никакие адвокаты! Строгость к рабочим — вот в чем должна быть ваша помощь. Стоило только заявить со всею твердостью: «Не хотите — не надо!» — и, пожалуйста, как миленькие пошли в шахты! Сами посмотрите! Ни один не остался.

И правда, рабочие двумя группами шагали — каждая к своей шахте. Там, где только что волновалась толпа, не было никого. Прерванный ненадолго рабочий день возобновился. От конторы хорошо видны были открытые выработки Каражыры. Здесь работа шла горячо.

— Со всею твердостью могли сказать только вы. И все же победа ваша не прочная, — сказал Некрасов. Он задержался у окна. Мимо Каражыры неслась к конторе пара красавцев гнедых. В тарантасе рядом с Жумабеком сидел Сикорский.

— Почему не прочная? Увидите, сегодня же затихнут и Акбуйрат и Нильда.

— И все же мне хотелось бы, чтобы вы выслушали меня...

Дверь распахнулась. В контору властно ворвался Сикорский. Он без стеснения перебил Некрасова:

— Я немедленно сообщу Рязанову о ваших решительных действиях! Очень правильно взялись за дело. Заработок должен быть понижен! Думаю, понятно, какое для вас значение будет иметь ваша решимость. Говорить не

надо. Хотел бы удостовериться в одном: можно ли объявленное вами рабочим считать приказом?

— Можно. — Ушаков вынул из кармана и протянул Некрасову бумагу: — Вот приказ. Вступает в силу с сегодняшнего дня.

Сикорский, заглянув через плечо Некрасова, пробежал глазами бумагу.

— Одновременно на всех трех предприятиях! Отлично! Господин Рязанов оценит это.

Сердце Ушакова всколыхнулось. Стыдясь выдать свою радость, он промолчал, не ответил ни слова.

— Я с почтой! Есть и для вас письма. От Рязанова. Сейчас вручить или, может быть, в Акбуйрате? Я туда направляюсь. Надо бы нам с вами потолковать.

Сикорский держался развязно. Нарочно старался перед Некрасовым — показывал свою власть над Ушаковым.

— К вечеру буду дома, — ответил Ушаков. Ему не хотелось читать при Некрасове рязановское письмо.

Сикорский быстро попрощался, вышел почти вприпрыжку. Он не мог и не хотел скрывать своего торжества.

Некрасов с сожалением смотрел на Ушакова. Что сделалось с ним — таким прямым, деловым и честным человеком? Все эти качества принесены в жертву, и ради чего?.. Ведь когда-то думалось — Ушаков скорее рухнет, но не согнет спины. А он в угоду Рязанову заискивает перед Сикорским! Некрасову даже не хотелось говорить дальше с Ушаковым.

— Ты, кажется, собирался что-то сказать мне? — вспомнил Ушаков.

— Хотел... Не знаю только, надо ли теперь. Я вам сказал уже, адвокат, как вы назвали меня, защищал в эти дни ваши интересы. Более того, даже рабочие с их протестом действовали тоже в ваших же собственных интересах...

— Это еще как? — начал Ушаков и замолчал. В приоткрытую дверь просунулась голова Жумабека. Некрасов не обратил на тёре внимания. Заговорил горячее:

— Если уж говорить прямо, рабочим платят по ничтожной расценке, установленной пять лет назад. Им следовало бы бороться не за сохранение расценок, а за повышение платы. Жизнь-то дорожает. Цены на самое необходимое для человека к лету поднялись в два раза, к зиме поднимутся втрое.

— А я не ошибся. Ты и есть рабочий адвокат, — холодно сказал Ушаков.

— Рабочий адвокат втолковал бы все это им. А я ограничился сочувствием — и только.

Ушаков успокоился, решил дослушать до конца.

— Рабочий хочет жить по-человечески. Помыться после работы. Не валяться на одной постели всей кучей: мать и отец рядом с сыном и невесткой. Хочет, чтобы дети его не умирали от голода и грязи. Что это — много? Разве его желания не совпадают с интересами хозяина? Хорошо отдохнет после работы — больше сделает на следующий день. Разве не так? А вы, вместо того чтобы облегчить им жизнь, добавляете новые муки. Сколько вы сэкономите, если замените сотню опытных рабочих сотней новичков? Вместо пятидесяти копеек заплатите по сорок копеек в день? Десять рублей экономии! А сколько сот рублей при этом потеряете на производительности труда? Сами же твердили нам: «Погнавшись за малым, теряешь в большом». Я ведь понимаю, что именно заставило вас отступиться от прежних взглядов...

— Ну, это, положим, не твое дело! — сердито оборвал Ушаков.

— Вы только что похвалились: одним, мол, словом покончили со скандалом. А надолго ли? На сколько месяцев? Думаете, так и затихло все? Нет, нынешние рабочие — это уже не прежние степные жигиты. Вы сами вызвали к жизни новых здесь людей — промышленных рабочих. И не в ваших силах задержать рост их сознания. Я не останусь здесь. Ухожу. Считаю долгом своим быть хоть напоследок откровенным. Немало потрудился я для Караганды. Ей предстоит большое будущее, верю! Ради этого будущего и говорю сейчас с вами. Вот ваш приказ, — Некрасов положил приказ Ушакова на стол. — Пусть другой выполняет его. Простите...

В словах инженера была правда, и Ушаков чувствовал ее. Но могли ли ему помочь какие-то слова? Только больнее раздирали душу. Изменить что-либо, повернуть по-своему было Ушакову уже не под силу.

— Со стороны легко судить. Но я не могу все же назвать другом того, кто потакает рабочим. Если в самом деле задумали уйти, удерживать не стану.

Некрасов заметил, что сказал все это Ушаков не очень уверенно. В это время в дверь еще раз заглянул Жумабек. Видно было — ему не терпелось. Боялся, как

бы не ускользнула прибыль. Шагнул в комнату — озабоченный, встревоженный — и тут же выложил:

— Никто не спустился в шахты! Сидят у входов. Очень плохие лица... И верблюдов остановили... Кузнецы тоже там... Закрыли свою кузню.

Только теперь Ушаков и Некрасов заметили — не было слышно привычного уханья кузницы. Ушаков спрыгнул с подоконника.

— Что ты болтаешь?!

— А вы сами поглядите, — ничуть не обидевшись, посоветовал Жумабек.

Ушаков высунулся в окно. Шахт не было видно. Зато хорошо открыта вся Каражыра. Работа там замедлилась. Люди будто ждали чего-то.

Вернулся Некрасов — он выходил на улицу.

— Все правда. Шахтеры не спустились. И у строящегося барака людей не видно.

Теперь уж побежал смотреть и сам Ушаков.

Рабочие плотно окружали входы в обе шахты. Солнце пекло им головы, но никто и не думал отойти в тень. Некоторые забрались повыше, на отвалы угля — видно, нарочно, чтобы хозяин быстрее заметил. На шахтеров глазела толпа аулчан: старики, женщины, дети. Сюда же поглядывали и те, кто работал в открытых забоях Каражыры.

— Беги к ним! — велел Ушаков Жумабеку. — Скажи, пусть немедленно прекратят свои фокусы. Выгоню всех! Сегодня же! Ни один из уволенных и дня не останется здесь. Моя земля! Это тоже скажи им. Понял?

Жумабек затрусил к шахтам.

* * *

Утром, когда испуганная окриком Ушакова толпа аулчан ринулась к Каражыре, рабочие из бараков остались стоять на месте. Это был серьезный знак — рабочие поддерживали своих главарей — тех, кто ради общего дела вышел вперед и стал во весь рост перед хозяином.

— Собаки, в какую минуту предали! — сыпались упреки вслед аулчанам. — Струсили!

Но и оставшиеся колебались.

— Хорошо, потерпим... А дальше что? Так и будем стоять здесь?

— Они не выдержали, а мы — выдержим. Пускай потом ругают себя, — сказал Байшегир.

— А дальше, дальше что будем делать? — уже открыто колебались рабочие.

Внимательно прислушивавшийся к ним Михайло чувствовал себя неловко. Ночью ему думалось, что сам царь не устоит перед их протестом, так хорошо написанным двумя казахскими парнями. А вот Ушаков, хоть и прочел письмо, а выслушать не захотел. Надо было срочно придумать что-то другое. Мысленно Михайло оценивал: долго ли смогут выдерживать напор хозяина шахтеры-казахи. Он видел, как бойко замелькали кайла и лопаты в открытых забоях. Слушал сердитые речи Алшагыра и Байшегира, понимал — они тревожатся.

К толпе подошел Иван Акула.

— Чего стоите? Видите, работают. Вам особое приглашение надо? Идите, ступайте в шахты! Все равно придется.

Михайло Неволя посмотрел на него с ненавистью.

— Чего лезешь? Народ сейчас злой. Гляди, нам не до шуток!

— А я и не шучу. Не спуститесь сейчас же, считайте — сегодняшний день пропал. Пятьдесят копеек из кармана!.. Буду ждать в забоях. Только долго ждать я не люблю. Думаю, поняли?

Акула резко повернулся, пошел к шахтам.

Неволя проводил его злым взглядом. Пора было начать разговор с рабочими.

— Значит, что дальше делать будем? — сказал он.

— Как что? Разве не обговорили все за эти две недели? Будем держаться! Заработка не отдадим! — ответил Байшегир.

— Будем! Пусть один останусь, все равно не уступлю! — громко, чтобы все услышали, крикнул Сугурали.

— Это почему один? Все стоять будем! Давайте решим так: кто колеблется — отпустим. А уж кто останется — с теми будем до конца твердо стоять. И хватит болтать без толку, ясно и так, что дальше делать, — сказал Алшагыр.

— Все будем стоять!

— Выдержим!

— Правильно!..

— Тогда все к шахтам! — предложил Неволя.

— К шахтам? Зачем?..

— А вот зачем. Окружим шахты и никого, ни одного человека не впустим туда и не выпустим. Пусть попробует Ушаков отобрать у нас наши кайла, лопаты и ломы!

Слова Неволи очень понравились шахтерам. Никого не впускать в шахты и не выпускать из них! Это была уже не просто угроза, а решительное действие. Как раз то, чего им не хватало сейчас.

— Правильный карасакал — Черная борода! — хвалили Неволю. — Не зря остался с нами!

— Покажем, что и мы можем колоться! И у нас шины есть!

Рабочие разделились на две группы. Каждая направилась к своей шахте.

— А я кузнецов приведу! — предложил Жабай.

— Верно, веди! — подхватил Неволя. — А вы с Сугурали, — повернулся он к Алшагыру, — зовите тех, которые бараки строят. Ты, Нартай, беги к отцу, расскажи, что у нас делается...

В шахту в тот день успел спуститься только Акула. Опрокинутая вверх днищем большая железная бадья лежала у входа. Пережевывали жвачку верблюды, дивясь нежданному отдыху. Рабочие сидели вокруг спуска в шахты. Работа стояла. Лишь обозники, озираясь с недоумением по сторонам, продолжали грузить уголь.

Все это увидел Жумабек, когда подошел к шахте. Он долго и длинно объяснял рабочим короткий наказ Ушакова. Старался, как мог, затуманить слова хозяина.

— Все равно самое большое до вечера дотянете. Поймите, что вам говорит хозяин. Подумайте, как бы вам уцелеть, — говорил и тут же спохватывался: а вдруг послушаются, начнут работу? Пропадут тогда его денежки! И начинал вилять в сторону. Грозный приказ Ушакова так и не решился передать.

— Да что ты тянешь? — остановил наконец Сугурали. — Послал тебя Ушаков, чтобы уговорил нас начать работу, или нет?

— Да, вот хозяин говорит: плата будет снижена. Слушать вас не станет. А сидите тут зря. Этим хозяина не запугаете. Деньги никого не боятся. Сила теперь вот в чем, — Жумабек похлопал себя по карману.

— Значит, хочешь сказать, нам надо рассчитаться и уйти? — спросил Сугурали.

— Голову кладу, об этом только и мечтает, — придвинулся поближе к Жумабеку и Алшагыр.

— Ой, зачем же валите на меня? Сами же утром слышали: «Кто не выйдет на работу, будет уволен». По-вашему, я его научил? — обиделся Жумабек.

— Вот, вот. Нас уволят, а ты приведешь взамен три сотни жигитов. Положишь в карман по три рубля за каждого. Не так? — наступал Алшагыр.

— А ну, попробуй докажи, что не это щекочет твою глотку? — Сугурали так и воткнулся взглядом в Жумабека. Сощуренные в треугольники глаза его стреляли злыми искрами.

Рабочие засмеялись. Жумабек побледнел, усы встопорщились и нервно подрагивали.

— Ты лучше позаботься о своей глотке. Если я и беру деньги, то не из твоего же кармана.

Сугурали перемигнулся с Алшагыром, и в тот же миг Жумабек рухнул навзничь — рука одного рванула за ворот, другой толкнул в затылок. Сугурали придавил правой ногой грудь тёре, сняв чокай с левой, стал нашлепывать деревянной подошвой по чингисидскому носу. Так оглушают обычно сурка, попавшего в капкан. Сугурали придумал бы еще что-нибудь, если б не Неволя.

— Перестань! Не хватает нам драки!

Неволя отбросил ногу Сугурали, помог Жумабеку встать.

— Поучили тебя? Не путайся в чужие дела. Да не забудь — большой долг у тебя перед этими людьми. Зуб на тебя давно точат. Ступай. Платок у тебя есть?

Неволя провел его через толпу.

Жумабек брел шатаясь, обеими руками зажимал кровоточащий нос. Голубой камзол лопнул под мышкой, зиял дырой.

Ушаков из себя вышел, увидев, что сделали с Жумабеком.

— Хорошо же! Раз они посмели дать мне такой ответ, пусть не ждут добра. Давай сюда списки! Всех уволю! Сегодня же выгоню вон отсюда! Всех до одного!

Некрасов поднялся, стал перебирать папки в шкафу.

— А ты, Жумабек, веди сюда твоих жигитов! Чтобы сегодня же вечером все триста были здесь!

Жумабек кинулся выполнять приказ — наконец-то дождался.

— Любуйся! Плоды твоего труда! Хорошее наследие оставляешь, Некрасов! — Ушаков подошел к окну. — Но ничего — обойдусь без твоих... — вдруг он осекся. К дому

чалась коляска. Из нее на ходу выскочил Бернер. На лице не тревога — беда.

— Завод встал! — не сказал — выдохнул Бернер, влетая в контору. — Ни один человек сегодня не вышел на работу! Ордабая на месте нет. Печи! Печи остывают вместе с плавкой!

Ушакову не надо было объяснять, что значило бросить печи, в которых есть плавка. Конец этим печам!

Все замолкли. Ушаков сам стал похож на большую печь, выбрасывающую жар. Дышал громко, тяжело, казалось: вот-вот рухнет. Некрасов бесшумно открыл шкаф, положил на место списки и так же бесшумно закрыл его. Все трое старались не смотреть друг на друга. Перед глазами Ушакова были его печи, в которых жидкая медь застывала, как вода в ведре на морозе. Бернер все еще видел толпу разъяренных рабочих. Едва ведь ускользнул после двухдневной осады! Некрасов смотрел в окно. Что-то заинтересовало его. Он оглянулся на Ушакова.

— Посмотрите! — показал в сторону шахт. Ушаков метнулся к окну, надеясь на чудо.

Над обрывом Каражыры, налегая на кайло, стоял Буланбай. Голова его была в марлевой повязке. Он что-то горячо говорил рабочим. Широко махал рукой, указывал на шахты. Из открытых забоев поднимались люди. Все больше и больше их собиралось вокруг Буланбая.

Ушаков узнал Буланбая, увидел рабочих, спешащих к нему, и понял — конец.

— Пойди объяви им. Все останется как прежде. Пусть приступают к работе, — сказал Некрасову и тут же — к Бернеру: — Скачите в Акбуйрат! Объявите им: плата не будет снижена, пока я здесь. А там... Пусть делают после меня что хотят.

Инженеры поняли — надежды Ушакова оборвались...

4

Буланбай в тот день проснулся поздно. В южное окно било яркое солнце. Оно отражалось от чисто выбеленной — во всю стену — печи, и небольшая комната весело сияла. Буланбай давно не видел такого света. В шахту спускался затемно, возвращался, когда солнце уже село. Как это он сегодня проспал так долго? Хотел было вскочить — ведь не привык залеживаться. Оторвал голову от подушки — и тут же в мозг будто впились раскаленные

осколки. Теряя свет, бессильно упал на подушку. Опять пришел в себя, огляделся. Вспомнил вчерашний день. Показалось, снова увидел стариковские тымаки, надвинутые на брови, и реденькие, упрямо трясущиеся бороды. И такая досада взяла его! Чтобы забыть их, стал пристальнее рассматривать комнату. Взгляд наткнулся на черную фуражку сына. И еще больнее сделалось. Не будет сын больше учиться!..

Кто-то снаружи завешивал окно пестрым одеялом. Буланбай догадался — Копей! Только у нее могли быть такие ловкие, бесшумные пальцы. В комнате потемнело. Тихонько открылась дверь, и черные назойливые мухи, гудя, ринулись с улицы в просвет. В двери показалась Копей. Какое доброе, прекрасное у нее лицо! Буланбай глядел на нее, и будто легче ему становилось. Вернулась обычная бодрость.

«Бедняжка! — подумал о Копей. — Обо всех заботится, а ведь у самой жизнь горькая».

О жизни Копей он знал немного. В прежнее время обходил жену Жумана стороной. Байбише, жена бая! Богачам Буланбай не доверял. И вот она появилась в Караганде и с первого дня начала заботиться о других — всю жизнь свою отдавала. Так просто, по-матерински нянчила ребенка Назыкет, бывшей ее служанки. Ласкает, не пропустит и других детей. Чуть кому понадобится помощь — она уже тут. Незаметная, сама ни от кого ничего не ждет. Эта черта Копей сильнее всего притягивала Буланбая.

Очнулся Буланбай сегодня перед рассветом и очень удивился: почему около него столько людей? Он не помнил, что случилось с ним ночью.

— Случилось что? Почему пришли?

Фельдшер Морозов спокойно, мягким голосом объяснил ему все.

— Теперь ты молодец! Опасность прошла. Но смотри, лежи смирно. Двигаться никак нельзя!

За плечами рабочих Буланбай увидел Копей. Она тянулась, чтобы посмотреть на него, встревоженная, как всегда тихая, молчаливая. Лицо ее показалось ему очень бледным. А вот сейчас оно было радостно и все светилось.

Копей вошла в переднюю. Постояла у его комнаты, прислушалась. Отошла к входной двери, оперлась о косяк и так застыла вполоборота к нему. Она и не догады-

казалось, что Буланбай наблюдает за ней. Копей смотрела на шахты и улыбалась. У нее были редкие среди казахов большие глаза. Глаза эти сейчас искрились, и щеки зарумянились. Что сделалось сегодня с тихой, сдержанной Копей? Буланбай удивился.

— На кого это ты там загляделась, Копей? — спросил он.

Она вздрогнула, сильно покраснела и стала совсем молодой.

— Жигиты у шахт борются. Нартай всех победил. Теперь на него Сугурали вышел. Нартай убегает, не хочет бороться, а Сугурали все пристает.

Копей подошла к постели Буланбая. В затемненной комнате сияющее лицо ее потускнело.

— Борьба? Разве они не работают?

— Никто не работает. Вы же сами вчера так решили.

Теперь Буланбай понял все.

— Вот молодцы! Значит, добьемся своего! — обрадовался он. — Все не вышли?

— Нет, в Каражыре работают. Испугались аульные.

— Так и знал! — с досадой проговорил Буланбай и вдруг рывком поднялся с постели.

— Ойбой! Что вы! — испугалась Копей. — Нельзя. Бершиль лежать велел. Не двигаться.

Буланбай молчал. Зажав ладонями голову, ждал, пока пройдет тошнота. Посидел и медленно начал подыматься.

— Копей, помоги мне, помоги.

— О, кудай! Что теперь скажу бершилю?..

Буланбай закачался. Копей положила его левую руку себе на плечо, обняла за пояс и всем своим телом подперла его. Оказалось — тело упругое, сильное. Не какая-нибудь рыхлая да толстая от безделья. Но и не пересушена тяжкой работой.

— Вот так и будем двигаться потихоньку. Ну, айда! — сказал Буланбай и шагнул вперед. У наружной двери он свободной рукой подхватил кайло. Появилась еще одна опора.

— Так тебе полегче будет. Только немного поддерживай. А то разве донесешь такого?

На воле опять потемнело в глазах, немного замутило. Но прохладный ветерок помог — освежил.

Копей потихоньку выбралась из-под мышки Буланбая, пошла рядом, поддерживая под локоть. И опять Бу-

ланбай почувствовал — сильная у нее рука, упругая, молодая.

— Ай да жигиты!.. Не дал аллах быть мне с ними, — позавидовал, увидев, как у шахт товарищи мерялись силой.

«Слава аллаху, хоть живым остался!» — подумала про себя Копей.

Нартай все еще увертывался от Сугурали.

— Ай щенок! Ай недогадливый! Честь ведь какая с самим Сугурали бороться! Ну и поддался бы, раз такой сильный, — сказал Буланбай.

— Правильно делает. Не хочет бороться, значит, уважает старшего, признает его силу, — похвалила Копей Нартая.

Посмотрел Буланбай на открытые выработки. Каражыра суетилась, кипела. Никогда такого не было. Обычно аульные жигиты старались увильнуть от работы. Немало доставалось им затрещин от Акулы, выговоров от Некрасова. А сегодня показывали усердие.

— Вот она, аульная трусость! Оттого и не выходит ничего у нас с ними.

Буланбай с сердцем повернулся и пошагал, поддерживаемый Копей, к ним.

Аулчане скоро заметили Буланбая. Лопаты и кайла замелькали еще бойчее. Стыдно было. Делали вид, что не видят его. Суетились много, но работы получалось мало.

— Эй! Что вы по одному месту десять раз колотите? Отгребать уголь надо. Из-за него не видите, где пласт, где шов. Если уж решили стараться, так делайте как надо, по-настоящему, — громко сказал Буланбай, останавливаясь у кромки забоя. — Ассалаумагалейкум!

— Салаумагалейкум! — хором ответили рабочие. Сначала, как увидели, что палуан встал с постели и идет к ним, струсили. Боялись, как бы не пошла большая драка, как Ушаков уедет. Сейчас обрадовались. Буланбай заговорил о работе, и у них отлегло от души. Побросали ломы и кайла, окружили Буланбая. Заговорили смущенно:

— Слава аллаху, цел остался. Прости нас, не успели навестить, уголь не пускает. Всем косом хотели прийти к тебе после работы.

— Хорошо, что на ноги встал. Очень мы за тебя боялись.

Спасибо. Это вы меня на ноги поставили! — Голос Буланбая вдруг изменился — опять кольнуло в мозг, голова закружилась. Заметила это только Копей. Она крепче подперла его своим плечом. — Спасибо... — Буланбай говорил сурово. — Не меня жалейте — себя! Вон там, у шахт, сидят люди. Они не вышли на работу. Думаете, только ради себя? Нет, ради всех нас и для вас тоже. А вы, как бездомные трусливые псы: чуть прикрикнули на вас, вы и отбежали в сторону. Глядите на них — как стойко держатся! Не враги они вам — друзья! Большая беда надвигается. Не на одного, на всех нас, поймите! Беда надолго. Страшная, грозная беда! Деньги никого никогда не жалеют. Деньги не могут насытиться. Теперь хозяева протянули руку, хотят вырвать у вас те крохи, что даете вы вашим отцам, матерям и детям. Ваши товарищи взялись отвести эту жадную, безжалостную руку. Они защищают вас. Почему вы отступили? Покажите, что вы тоже люди! Три дня, только три дня продержаться! Хозяин больше не выдержит, уступит. Надо эти три дня потерпеть. Ведь договорились же с вами. Вчера договорились. Так или нет?

Буланбай замолчал. Крепко зажмурил глаза. Раскаленные осколки снова скребанули по мозгу. Копей почувствовала, какой горячей вдруг стала его рука. Начала тихо упрашивать:

— Нельзя... Бершиль не велел вставать. Идемте домой.

Буланбай молчал, пережидая боль.

Рабочие, пока он говорил, перешептывались: видно, подбадривали друг друга. Здесь, в Каражыре, с ними не было отцов, все только молодые. Они готовы были теперь показать, что есть и у них воля и стойкость жигитов. Как только Буланбай умолк, подались вперед.

— Булан-ага, мы бы рады пойти за тобой. Только что делать нам? За три твоих дня три года ведь придется ругаться с нашими стариками. Не пускают они нас, — пожаловался высокий черный жигит с истрескавшимися в кровь губами.

— Это так, Булан-ага. Сами мы не против.

— Да, да... Только они помешали.

Буланбай рад хоть прямому ответу. Даже боль в голове как будто уменьшилась. Открыл глаза.

— А, это ты, Жадай? Смотри, какой стал, длиннее вечерней тени верблюда! — приветливо пошутил и по-

чувствовал: снова подступает боль. Закончил серьезно: — Не говори: «за тобой». Не за мной идите — за ними, за народом.

— Пойдем, Булан-ага! Теперь ты встал и все пойдем за тобой! Кончаем работать. Никто тут не останется. — Жадай обернулся к своим: — Правильно говорю, жигиты?

Побросали ломы и кайла и те, кто оставался еще в забоях. Все окружили Буланбая.

— Булан-ага! Булан-ага!..

— Смотрите, он еле на ногах стоит.

— Из наших какая-то собака подняла на тебя руку.

— Найдем, никуда не денется! Проучим, пусть будет хоть сыном пророка!..

— Разыщем!..

— Давайте отнесем Булан-агу домой!..

Послышались колокольчики. Люди насторожились. Колокольчики, показалось, звенели сердито.

— Кто это? — спросил Буланбай.

— Хозяин. Сегодня приехал и вот уезжает уже, — ответил Жадай.

К рабочим спешил Некрасов. Он только что проводил Ушакова. Бежали сюда и от шахт товарищи Буланбая.

— Победили! Победили! — радостно кричал Некрасов. — Вы победили! — он подошел к Буланбаю. — Ушаков отменил приказ. Заработок остается прежним. Всем сегодня отдых! И ты, Буланбай, иди. Вон уж и Морозов торопится сюда. Достанется тебе от него!

Из глаз в глаза, из уха в ухо передавалось: «Мы победили!», «Плата остается старая!».

Рабочие из бараков сторонились аулчан. Не хотели делить с ними победу.

— Эй, не надо... Не разделяйтесь! Вместе будем радоваться! — крикнул своим Буланбай.

— Зачем встал? Нам не веришь? — подошли Неволя, Алшагыр и Сугурали.

Сугурали и Нартай сложили руки замком, подняли Буланбая и понесли навстречу фельдшеру Морозову. Копей догнала их. Оберегая, пошла рядом, поддерживала за плечи, Кунзила и Назыкеш — они тоже были тут — понимающе переглянулись. Буланбай узнал мягкие руки Копей, обернулся к ней, посмотрел благодарно.

Фельдшер Морозов кипел:

— Господин управляющий, я отказываюсь лечить этого человека! Вчера умирал — сегодня в новую драку ле-

...! Расходитесь! Пошумели и хватит! — прикрикнул на толпу, провожающую Буланбая. — Чтоб не видел я тут больше ни одного. Слышите? Ни одного! А ты, больной, в постель! Живо!

— Доктор, он не дрался. Да и драки не было. Больше не будет вставать, — заступился за Буланбая Некрасов.

Народ расходился. Каждый хотел сказать что-нибудь Буланбаю на прощанье:

— Быстрее выздоравливай!

— Как поправишься, той справим!

С Буланбаем остались фельдшер, Нартай и Копей. И тут Копей досталось от фельдшера.

— Это так вы о муже заботитесь? Я вам наказывал: следите за ним, нельзя ему двигаться! Вашему мужу нужен покой.

Копей покорно слушала.

— Смотрите! С вас спрошу, если что. Поняли?

Фельдшер уходил, возвращался и снова распекал «жену» больного.

Ошибка фельдшера очень насмешила Нартая.

— Ну, аке, тебе повезло, — сказал отцу, когда фельдшер ушел. — Если бы не Копей-апа, тебе бы самому крепко досталось. Смотри, не вставай больше.

— А жаль, Нартай, что Копей не мать тебе. Жаль, что не сын ты ей! — вздохнул Буланбай. И была в его словах просьба и к сыну и к Копей.

Сын понял. Рос без матери. С отцом были как товарищи. Привык, что отец всеми думами делится с ним. Угадал, о чем просит сейчас. Копей в это время возилась у очага. Нартай присел перед ней, обнял, уткнулся головой в колени. Быстро и горячо зашептал на ухо. О чем говорил — слов не разобрать. Но Копей все поняла. Горячие слезы, брызнувшие из глаз парня, сердце, которое забилось жарко, отрывистые слова: «моя шеше»... — сказали ей о многом. Он просил ее стать его матерью, обещал быть ей сыном. Ведь об этом просил сказать отец.

Копей первый раз в жизни почувствовала — что-то начало плавиться у нее в груди. Она прижала к себе голову, парня, поцеловала в загорелое темя. Ее зрачки блестели, словно омытые чистой водой, — водой радости.

* * *

Караганда радовалась. Первый раз за все пять лет и старые рабочие и новые радовались вместе. Они победили! Самого Ушакова! Человека, сильнее которого, — считали они, — не было в степи. До этого дня ходили всегда хмурые, подавленные — выброшенные из привычной степной жизни, отверженные люди. Сегодня углекопы подняли головы. Первая победа вдохновила их. Такого еще не бывало в их жизни. Мужчины расселись на холме кучками, и каждая кучка гудела, вспоминала последние дни.

— Михайло и Буланбай — вот кто настоящие мужи! — заговаривал кто-нибудь. И тут же — второй, третий, четвертый — принимались хвалить Михайлу и Буланбая. О них больше всего говорилось сегодня. Вспоминали бессонные ночи, слова, сказанные в эти дни; стойкость одних, трусость других. Речи лились дождем, соединялись в реку, а река грозила разлиться морем.

— Все это так. Но главное — письмо! Какое письмо написали малаи! Из-за него все и завертелось! — горячо сказал Сугурали. Он сидел, подставив лицо свежему ветерку.

В душные бараки никому не хотелось идти. За пять лет первый раз вышли на яркое солнце. А то вся жизнь под землей, в темноте. Свободного дня рабочим-казахам не давали. Разгоряченный победой Сугурали решил отвоевать и его.

— Какой сегодня у нас день? Кто скажет? Пусть будет он для нас «боскресень». Как у русских рабочих было, помните? — предложил он.

— Какой день? То ли сейсембе, то ли жума, — сказал Колбан. Он не помнил как следует и назвал вторник и пятницу.

— Вот врет! Хоть бы рядом назвал, — досадливо сказал Алшагыр.

— Может, бейсембе? — пробубнил Колбан.

— Все равно. Какой бы ни был день, для нас пусть будет «боскресень», — повторил Сугурали. — Будем требовать. На другой день не согласимся!

Все поняли: Сугурали хотел, чтобы нынешний день — день их победы над хозяином, остался в памяти углекопов. И еще хотел Сугурали отвоевать для казахских рабочих отдых, хоть раз в неделю.

— Нам бы еще этого собаку Мансура-лавочника побить... — размечтался Колбан.

Похожие речи велись и в других кучках рабочих. Одни говорили дельные вещи, полезные для всех. Другие предлагали что-нибудь вроде того, что предложил Колбан. Но главное — рты открылись. Люди высказывали вслух то, что до сего дня носили глубоко в себе.

Вокруг Михайлы Неволи тоже собрался кружок. Здесь говорили не только о Караганде.

— А что делается, интересно, в Акбуйрате?

— А Нильда? Не чувствует себя одинокой?

— Да, да... Надо съездить к ним, — говорили рабочие.

— Кто возьмется поехать? — ловил дельное слово Михайло Неволя.

Две недели борьбы прошли не зря. Победа подняла дух рабочих. Они поняли, как важно для них быть вместе, жить одним общим косом, одной рабочей семьей.

5

Пара вороных на полном скаку стала перед коричневыми воротами, оглобли тарантаса ударили в створки. Если бы не эти закрытые наглухо ворота, кони пронеслись бы к самому крыльцу большого деревянного дома под железной крышей. Из тарантаса вышли три молодых жигита — одеты скромно, но одинаково и по-русски. Ни величественный вид дома, ни богатый, вымощенный камнем двор, казалось, нисколько не смутили приехавших.

Кругом было чисто прибрано. Около ворот — выровненная площадка, посыпанная песком. Ни навоза, ни мусора, будто и копыто тут не ступало. Трава по забору — осенняя, желтая — росла стройно, никем не примятая. Справа и слева от ворот высажены кусты пестрой колючки. Кусты рассыпали вокруг себя желтые листья, и казалось — золотые монеты валяются на земле богача.

Из-за ворот послышались недовольные голоса.

— Погляди, кто там ломится. Пьяный, что ли, или слепой?

— Эй, кто ворота ломает?

В щели калитки показалась на миг голова в большом лохматом тымаке и тут же скрылась.

Жигиты смело вошли во двор. Первый, на кого они наткнулись, был Омар. «Лохматый тымак» как раз в

это время докладывал ему о них. Через щеку Омара шла красная повязка. Нижняя челюсть сдвинута к правому уху.

— А я дуал, коо нешет? Это ты, Шеит? — сказал повнятно, шепелявя — губы его не сходились.

Страшно и жалко было смотреть на искореженное лицо Омара. Изъеденные коренные зубы, похожие на обгорелые пни, торчали в незакрывающемся рту. Между этими «пнями» тяжело ворочалось красное мясо языка. Сеит чуть не протянул ему руку — так стало жалко «ловкого» Омара. Жабай — он тоже был тут — узнал свою работу и отвел глаза.

Увидел и Омар своё клеймо на лице Жабая и пожалел, что не так уж глубоко оно. Вот и глаз уже не торчит, как рог — вошел в орбиту. А говорили — калека! Даже почти не хромает. Того и гляди — обе ноги сравняются. Досадно стало Омару.

Жигиты быстро поднялись по крыльцу в дом. Никто не успел остановить их. Трое молодых людей уверенно шагали через комнаты. И будто знали, где искать Игилика, открыли как раз нужную дверь.

Игилик полулежал, вдавив локоть в большую бархатную подушку. Перед ним — счеты. Рядом в окружении множества не виданных в степи игрушек сидел мальчик лет двух-трех. Важный, весь в бия-отца. Игилик неодобрительно взглянул на тех, кто посмел войти без спроса. Но, узнав, приподнялся, приветственно коснулся дерзко протянутых рук.

— Сеит? А, это ты, Жабай? Проходите, — пригласил вежливее, чем хотел бы. — А это чей? — спросил, не припоминая третьего жигита.

— Буланбаев сын, Нартай, — ответил Сеит.

— А-а... Тот, что в школе учился?

— Тот самый.

— Как отец, свет мой? Поправляется?

— Ничего, поправляется.

Игилик соображал: жигиты так дерзко ворвались к нему, значит, намерены требовать. Но что? Решил на всякий случай расположить к себе.

— Правду говорят, что учебу вашу закрывают?

— Да, наша школа закрылась. В этом году из тридцати только один пошел учиться.

— Кто же такой?

— Турсынбаев сын.

— А-а... Значит, он пошел учиться дальше?

— Да, в школе был с нами, теперь хочет с вашими.

— Ну, а сам ты что?

— Известно что. Не выходит мне дальше учиться, — сказал Нартай.

— Отчего же? Попросил бы — помогли. Разве нет у тебя родичей?

— Не вижу таких родичей. Сыновьям рабочих кому охота помогать!

— Всем не поможешь. Говорю о тебе. Твой отец десять лет был сотранезником моего дома, — продолжал Игилик.

Нартай рассмеялся прямо в глаза бию и при этом стал очень похож на отца.

— Мой отец после тех десяти лет об одном только и молит: не приведи жить у чужого порога! Не зря ушел на уголь от порога родича. Я ведь все помню, мне десять лет тогда было. Тоже приходилось умолять глазами, ждать подачки от родича. Родич тот, кажется, были вы?

Давно уже Игилик не слышал таких речей. Молодой человек был дерзок. Смелый взгляд и громкий смех обещали еще немало таких же слов. Говорил без опаски, спокойно. А вот Игилик, к своему удивлению, почувствовал легкую робость.

— И между родичами всякое бывает. До сих пор не пойму, на что обиделся Буланбай? Ушел, даже рассчитаться с ним не успели. С тех пор ни разу не появлялся. Как видите, моей вины, может, и нет? — развел с улыбкой руками.

— Ничего... лишь бы помнили, что в долгу перед отцом, — опять рассмеялся Нартай. — Думаю, когда-нибудь рассчитаетесь.

— Напрасно радуешься, что поймал меня на слове. Конечно, кое-что есть за мной. Передай отцу, пусть сам придет и заберет, — сказал Игилик, надеясь остановить дерзкого.

— Не беспокойтесь, отец и без меня все помнит, — Нартай посмотрел прямо в лицо бию. И почудилось: в глазах его угроза.

— Как знаете... — Бий помолчал немного и — к старшим: — Добро пожаловать! Куда, жигиты, путь держите?

— Спасибо, конец нашего пути тут, — ответил Септ.

— Располагайтесь, гостями будете.

— Не можем. Мы — люди рабочие, отпросились на один день. Кончим наше дело — и сегодня же обратно.

— Тогда рассказывайте: что у вас за дело?

В дверях показался юноша в гимназической форме.

— Можно, ата? — хотел войти и попятился: увидел — у деда посторонние. Из-за спины его выглядывали еще двое, одетые так же, как и он.

— Входите, входите, — обрадовался Игилик.

Юноши вошли и вежливо сели вблизи двери — в стороне от гостей. Фуражек не сняли, стеснялись обнаружить городской зачес — не брили уже головы наголо, постепному. Спрашивал разрешения войти сын Ордабая — Ержан. С ним — сыновья хожи Куренкоза и тёре Жумабека: Кенжегара и Тореш. Все гостили у Игилика уже третий день. Пришли попрощаться перед отъездом. Гимназисты узнали гостей бия. Но поздороваться сразу не сумели и теперь сели боком, смущенно отводили глаза.

Нартай хорошо знал всех троих. Он усмехнулся про себя — сравнил Кенжегару с Игиликом и с малышом, что сидел среди игрушек. До чего похожи! Вспомнилось, как при первом знакомстве трижды сряду повалил Кенжегару, пытая об имени отца. Родной крови не скроешь! Пришли на память годы учения. За это время все три гимназиста не раз отведали его кулаков. Встречаясь вечером после учебы, гимназисты и ученики школы Спасской компании редко расходились мирно. Ержан и Тореш — те не могли сопротивляться, сразу валились на землю. Кенжегара дрался отчаянно. И в редких случаях, когда удавалось оседлать Нартая, бил, не щадя, в кровь. Только не часто это ему удавалось...

Кенжегара учился хорошо, один из всей этой тройки. Сыновей же Ордабая и Жумабека приходилось тащить, словно в тяжелой упряжке, каждого с помощью двух репетиторов. Нартай уже не ученик — углекоп, и одежда на нем шахтерская. А эти трое — чистенькие, опрятные. Даже тужурки Ержан и Тореш смотрят так, словно искупались в прозрачной воде науки.

Гимназистам хотелось поскорее вернуться к своим забавам, да и напряженность в кабинете бия заметили. Внук Игилика Ержан поспешил сказать:

— Ата, если позволите, нам пора ехать...

— Когда в город? — спросил дед.

— Завтра погостим на жайлау, а послезавтра в путь. Иначе опоздаем.

Игилик этой осенью рано перебрался в зимний дом, а сыновья все еще летовали.

— Хорошо, поезжайте. Только не задерживайтесь. Не опоздайте на учебу!

Игилик взглянул на Кенжегару. Тот стоял как всегда сдержанный в его доме. Но показалось — глаза прячут многое, не пускают выйти наружу.

Гимназисты, по обычаю, почтительно подержали в обеих руках руку Игилика и вышли. Кренкоспинный, широкоплечий Кенжегара кинул Нартаю торжествующий взгляд — остаешься, мол, не поедешь уже!

— Продолжай, Сеит! — сказал Игилик, придвинув к себе большие счеты. Приход гимназистов помог ему оправиться. Заговорил равнодушно и холодно, как всегда.

— Дело небольшое. Наша мать у нас. Хотим забрать ее.

— А, это ты о Кунше?.. А сама она как, хочет ехать?

— Она давно хочет, только не пускают, — вмешался Жабай.

Игилик не хотел и слушать Жабая — не его это дело. Обращался только к Сеиту.

— А мы все ждали тебя. Надеялись — вернешься. Тут еще твое имущество, твоя доля есть.

Сеит слыхал, что ждет его Игилик, надеется заменить им Омара. Но у него был свой путь.

— Нет уж. Осел я там на угле. Не о наследстве приехал говорить. Как-нибудь в другой раз. Будет еще время. За матерью приехал, — повторил Сеит.

«Как-нибудь в другой раз!» Нет ли в этих словах угрозы? Ведь, если подумать, все трое могут потребовать у него своей доли. Игилик подосадовал в душе на Ордабая: до сих пор не может обойтись без подсказки. Сам никогда не замечает, где шевелится недовольство.

Игилик тихо кашлянул. Тотчас в комнату просунулась голова Батыраша. Он трепетал за дверью — достанется от бия, что пропустил этих дерзких гостей.

— За Кунше приехали. Скажи Айганше, пусть не задерживает, если она сама хочет ехать с Сеитом. — Игилик помолчал. Его молчание сказало Батырашу: «Добейся, чтобы отказалась!» — Если захочет, проводите так, чтобы осталась довольна. — Бий значительно взглянул на Батыраша. Батыраш в ответ поморгал — понял!

Жабай вдруг спохватился:

— Ой, что же это мы? Хоть поздороваться, спросить.

Не скотина же она, чтобы взять и повести с собой. Пойду-ка я к ней!

Он поспешил за Батырашем.

Разгадал Жабай Игилика и перехитрил. Теперь не было надобности дольше задерживать жигитов. Все равно не успеет Батыраш нажать на Кунше. Уйдет из дома ценная работница.

— Если других просьб нет, на этом и кончим. — Игилик откинулся на подушку. Толкнул нечаянно счеты, и они, гремя костяшками, упали на пол. Сент с Нартаем поднялись.

Айганша так и не вышла поздороваться с женом. Не смела показаться на глаза Сеиту. Стыдно было — не заступилась, когда он в беде просил укрыть его и Назыкеш. Она даже не вышла во двор проводить Кунше.

— Отдай ей вот это и скажи: пусть заходит, если в чем будет нужда, — подала Батырашу узел, завернутый в поношенное пестрое одеяло.

Случай, казалось бы, пустяковый для дома, привыкшего к большим делам. И все-таки горделивые души Игилика и Айганши были ранены. Толстые подошвы рабочих сапог оставили там след. Только съехали жигиты и Кунше со двора, Игилик призвал к себе всех домашних. Тут уж он вылил на них весь свой гнев. Почувствовали, как умеет сердиться бий. Особенно попало Омару — он ведь первый встретил наглых жигитов. Потом, когда Омар ушел на кухню, от него, в свою очередь, досталось очагу с казаном. «Ловкий» Омар управлялся теперь вместо стряпухи.

Игилик, обычно невозмутимый, говорил громко и гневно:

— Какой тёре, какой бий, какой хожа или мулла посмеет вот так ворваться в мой дом, отвечайте? Никто не посмеет. Так почему же терплю я наглость этих вымазанных в саже и угле рабочих? У себя дома я или нет? Доярку жалкую не сумели уговорить, испугались!

Злости Игилика не было конца. Долго бы еще дрожали его работники, да выручили колокольчики. Сегодня в доме ждали Ушакова. Колокольчики были его.

— Ступайте! Это Ушаков. Открывайте ворота!

Открывать ворота бросились все. Пошел встречать гостя и сам Игилик.

Колокольчикам Ушакова в этом доме привыкли оказывать особую честь. Так уж было заведено. Едва по-

слышится знакомый звон — работники бегут к воротам. Чуть приблизится ушаковская тройка — ворота настежь, и она на полном скаку въезжает во двор.

Игилик наблюдал с крыльца. Батыраш с Омаром взялись за кольца, изготовились. Ворота распахнулись, и тотчас в них показались оскаленные морды гладких ушаковских лошадей, взметнулись развевающиеся гривы. Но, видно, день сегодня задался неудачливый. Правая пристяжная, испугавшись чего-то, шарахнулась. Заднее колесо рессорной коляски сильно ударилось о стойку ворот. На стойке осталась глубокая царапина. Колесо, обгоняя коляску, покатило к крыльцу.

Под воротами валялся узел, завернутый в пестрое одеяло, вокруг рассыпались тряпки. Этот узел и напугал пристяжную. Игилик помрачнел — позор, если Ушаков заметил! Айганша, выглядывавшая в окно, вздрогнула...

— Коляску вам повредили, простите. Работники у меня теперь стали хромыми да слепыми, — громко, чтобы слышали домашние, сказал Игилик, подавая гостю руку.

— Это коляска моя ударяется теперь обо что попало, — отвечал Ушаков. — Ничего... Степан, зови кузнеца!

Игилик повел знатного гостя в особую комнату — гостиную. Обставлена она была по-городскому. Ушаков каждый раз, бывая тут, не забывал похвалить дорогой персидский ковер, расстеленный на полу, и большое парижское зеркало. Сам добывал их для друга. Сегодня ни на что даже и не взглянул. Заполнил собой просторное кожаное кресло и — к делу.

— Вы, наверно, наслышаны уже. В Петропавловск еду. К вам вот по пути. Пожалуй, в последний раз. — Ушаков замолчал, начал сворачивать цигарку.

— Как? Почему?

Ушаков закурил и повел рассказ о своей беде.

Степан Бушуев, посланный с письмом к Рязанову, вернулся ни с чем. Рязанов никуда и не уезжал, просто не пожелал принять Бушуева.

— Пусть возвращается. Отныне Ушаков будет получать мои письма только через Сикорского, — вот что велел передать через своего управляющего Полещука.

С того времени Сикорский вручил Ушакову два письма. Оба были, не в пример прежним, короткими и откро-

вечно резкими. Волк не считал больше нужным прятать клыки.

«Заключение Сикорского считаю правильным, — говорилось в первом письме. — Не буду касаться мелочей, остановлюсь на главном. Первое: Вы за последние два года впустую выбросили на сортировку джезказганской руды десять тысяч рублей. Второе: так же безответственно израсходованы Вами за последние три года двенадцать тысяч рублей на разведку. Всю эту сумму — двадцать две тысячи рублей — Вы должны полностью возместить компании. Чем скорее Вы это сделаете, тем будет лучше для всех нас. Верю, что такая малость не составит для Вас особого труда...»

Передавая это письмо, Сикорский так и сиял торжеством. Второе же письмо Рязанова вручил, приняв вид государственного мужа на ответственном посту.

«Вести дела так, как они до сих пор велись Вами, считаю невозможным...» — писал Рязанов.

— Как это понять?.. — растерялся Ушаков.

— По-моему, здесь ясно сказано. Яснее нельзя. — Сикорский наслаждался, говорил, словно обсасывал каждое слово.

— Вы так думаете?

— А как же еще думать? Обижайтесь, но раз не хотите сами понять, придется сказать прямо. На средства, которые вы расходуете на оплату труда, можно было бы выписать рабочих хоть из Парижа или Лондона. Казах ради молока от одной-единственной коровы служит своему баю целый год. А вы им даете по корове в месяц! Здесь, в степи, вы превратили свои желания в закон!..

— Не вам судить о том, что и как я тут делал! — взорвался Ушаков. — Я хочу знать: каково окончательное решение Рязанова.

— К этому и подхожу. — Сикорский не торопясь закурил папиросу. — Ваша работа! Возьмем хоть угольные шахты, окончание которых вы так шумно отпраздновали пять лет назад. Сколько еще надо биться над ними?! А открытые забои? Волчьи ямы — и только. Пыль в глаза!..

— Шахты расширяются постепенно, — перебил Ушаков. — И сейчас они уже дают угля на пять таких заводов, как Акбуйрат.

— А рудники? Разве что один колодец в Нильде, тот,

который вы величаете рудной шахтой! И еще такая же дыра в Акбуйрате. А остальное? По-вашему, это рудники?

— Открытые выработки. Они и должны быть такими. Руды нам, слава богу, хватает. Три года завод может работать на одном только наличном запасе. Даже если не подвезут ни одной подводы руды. По-твоему, не так? Хватит читать мне наставления. Отвечай на вопрос прямо!

Ушаков перешел на «ты». Сикорского это ничуть не задело. Сила была на его стороне.

— Простите, я думал, вы прочли этот ответ в письме. Но, если желаете, — тонко растянул губы и начал выдавать слова, будто щелчки по голове: — В казахской степи отныне будет один хозяин: или вы, или Рязанов. Иного положения быть не может! Теперь поняли?

Ушаков давно понял, что кончится этим. И все-таки надеялся. Целое лето старался угодить Рязанову, выполнял все, что ни требовал богатый пайщик. И сейчас переспрашивал Сикорского только для того, чтобы оттянуть конец. И вот конец пришел. Ушаков встал.

— Хорошо. Пусть так. Я ухожу. Мое место свободно. Буду полеживать дома. Вторым Зотовым стану.

— Извините, так не получится, вы не сможете оставаться в компании. Во-первых, вам следует поторопиться с долгом, вернуть компании двадцать две тысячи. Во-вторых, господин Рязанов рекомендует вам продать ваши тридцать паев с торгов. Конечно, вам никто не мешает сговориться с другими пайщиками и заставить самого Рязанова продать свою долю. Но так или иначе, а торопиться следует. Господин Рязанов в середине сентября будет в Петропавловске. О здешних делах можете больше не беспокоиться.

Разговор этот шел после возвращения Ушакова из Караганды. В тот самый день, когда Ушаков вынужден был отменить приказ о снижении платы рабочим, Сикорский приберег письмо Рязанова к этому времени. Давно носил в кармане, ждал только, когда кончится скандал из-за рабочего заработка. Хотел, чтобы все неприятности пали на голову Ушакова. Пусть бы рабочие думали, что заработок снижен по его вине. Ведь Сикорскому предстояло занять здесь место Ушакова.

Сикорский держался вызывающе. Он мог бы вывести

из себя и не такого горячего человека, как Ушаков. Но Ушаков не кричал, не требовал, не бесился — покорился своей беде. Одно только позволил себе — скрыл последний приказ о заработной плате.

После этого разговора Ушаков и отправился в Петропавловск. По пути завернул к Игилику. Выезжая, еще надеялся на благополучный исход, перебирал в памяти, выискивал — что бы могло спасти его? Но мелькали мимо холмы Акбуйрата, уходили назад, и вместе с ними уходила надежда, отбрасывалась прочь очередная выдумка. Кто и что может сделать с Рязановым, владельцем половины паев? Ведь выводят-то из компании его, продают с торгов его, Ушакова, долю!

А можно было бы кое-что и сделать, возьмись он чуть раньше. Да вот напала на него непривычная робость. Откуда только взялась? Проколебался, просомневался все лето. С каждым днем росли в душе сомнения и росла седина на висках. Надо было оспаривать. Отдать бы их дело с Рязановым на суд постороннего глаза. Чего испугался? Что такое натворил? Тащил Рязанова все к новым вершинам. Разве что в этом и вина его. Нашелся бы справедливый судья, и посмотрели бы тогда еще, кто кого! Но время упущено...

Конечно, виноват сам... Торопился наладить побыстрее и лучше да показывал все это Рязанову. Раскрывал глаза — какие богатства в степи! Иначе надо было. Пусть бы Рязанов думал, что добыть пуд меди все равно что вырыть иголкой колодец. Можно бы выиграть еще лет десять. А теперь волк раскрыл пасть, всеми зубами ухватился — «мое!».

Все это рассказал Ушаков Игилику, ничего не скрыл. Под конец удивил неожиданным предложением:

— Купите мои паи! А потом я войду компаньоном в вашу долю в размерах, удобных для вас.

Предложение было заманчивым. Но уголь, медь, шахты, рудники, рабочие — все это Игилик понимал плохо. Чувствовал сейчас себя так, будто надо было шагнуть в пропасть.

— Никон Абрамович, дело это для нас непонятное. Если уж Рязанов вас посмел куснуть, что же тогда с нами сделает? Среди белого дня проглотит.

— Не проглотит. Я найду надежного человека. Будет у нас защитник, обещаю.

— Тяжело это нам. Вот вы — променяли бы разве

свое дело, даже в нынешнюю несчастную пору, на наше, пусть хоть наше цветет, как весенняя степь? И мы, казахи, не рискнем, пожалуй, взяться за ваше дело, даже когда оно идет в гору, — все боялся сделать шаг Игилик.

Ушаков перебил:

— Не думайте... Сейчас и наступает как раз самый расцвет нашего дела!

— Без вас? Будет процветать даже без вас?

— Да, даже без меня. Дело это — большое богатство.

— Боюсь, такое большое, что не вместится в мои счеты. Страшно нам браться за настоящее большое дело, — отказывался, но уже не столь решительно Игилик.

— Вместится, не беспокойтесь. Нет такого богатства на свете, чтобы не вошло сюда. — Ушаков щелкнул костяшками. Щелчки приятно отозвались в душе Игилика. Замолчал, прикидывал.

— Ну, а точнее как? Каковы будут расходы и каков доход? — заговорил деловито, и в тоне появилось превосходство: успел свыкнуться с мыслью, что большой могущественный Ушаков теперь зависел от него. — Назовите примерно, сколько придется мне вложить и что получу взамен?

— Сколько вложить? Если говорить всю правду, вам придется вступить в жестокую борьбу. Вы должны будете выторговать мои паи. А это значит: предложить дороже других. Предложите самую высокую цену — положите мои паи в карман. А что касается доходов? Ну, это будет примерно раз в десять больше того, что сейчас дает вам ваш караван. И учтите, доходы с каждым годом будут возрастать. Не сомневайтесь. Дело это очень прибыльное.

«В десять раз больше! Сейчас у меня двести подвод. Значит, буду получать, как с обоза в две тысячи подвод?» — соображал Игилик.

— Хорошо. Но сколько все-таки будет стоить один пай?

— Думаю, тысячи две с половиной.

— Значит, чтобы выкупить тридцать ваших паев, потребуется семьдесят пять тысяч рублей?

— Да, что-то в этом роде. Но торги есть торги. Цена может неслыханно подняться и так же неслыханно упасть.

— А Рязанов будет участвовать в торгах?

— Наверно. Он уж постарается, чтобы торги не были объявлены широко, чтобы задешево схватить мою долю.

«Значит, я буду из тех, кто набивает цену!» — смекнул Игилик и решил уточнить все до конца.

— А на сколько паев вы потом рассчитываете?

— Как вы уступите.

Игилик улыбнулся Ушакову, а сам в это время прикинул в уме — что и как.

— Согласимся на половине. И радость и горе будем делить пополам. А теперь пойдемте обедать.

— Значит, завтра едем вместе?

— Да, вместе.

За обедом Ушаков поинтересовался: кто это приезжал перед ним к Игилику. Не Некрасов ли? Бушуев узнал его повозку. Игилик пожаловался — рабочие! Гости непрошеные. А вытерпеть что пришлось!

— О, то ли еще приходится терпеть! Полмесяца я вот тягался с ними. Врагу своему не пожелаю такого, — пожаловался в свою очередь Ушаков.

«Крепко ему достается!» — подумал Игилик и показался сам себе прочной, непоколебимой стеной.

6

В Петропавловске Ушаков, как всегда, остановился у своего компаньона и друга Зотова. Игилик — у татарского бая Хамидуллы Бекметьева.

Зотов, по обыкновению полупьяный, с порога принял Ушакова в объятия.

— Друг мой единственный! Умру за тебя! Все уже знаю, — приговаривал. — Хочешь, Рязанова прикончу? — объявил, обнимая в седьмой раз.

Ушаков знал, что не так-то просто отделаться от объятий друга, и терпел.

— Волкодав! Медведь! Русский медведь! Казахский хан! — награждал Зотов своего друга самыми лестными, казалось ему, прозвищами.

Наконец выдалась пауза, и Ушаков поторопился воспользоваться ею.

— Ну, если ты все сказал, то вот тебе две моих просьбы: первая — потерпи ты несколько дней, не пей, пожалуйста! Русский человек — когда нужно, и потерпеть можешь, правда?

— За кого меня принимаешь? Зотов все вытерпит! Даже Рязанова терплю! Все могу! Не веришь?

— Верю... Вторая просьба — вели-ка баню истопить.

— В пять минут сделаем! Я сам напарю тебя. Докрасна веником нахлещу. Согласен?

— Нет. У меня для этого есть Степан.

— Марфа! Слышь, баню! — закричал Зотов в кухню.

Старался он от всей души. Одно обещание выполнил с лихвой. Пока спрашивал, пока сам же и отвечал, пока поднимал шум в доме — баня и правда поспела в пять минут. Что касается второго обещания — с ним поступил так: помог Ушакову забраться на верхний полок и, зажав под мышкой графин, оплетенный посеребренными лентами, пошел ждать в предбанник. Ушаков парился, а Зотов отдыхал и время от времени наливал себе стопку. При этом кричал:

— За твое здоровье, Ника! Крепче его, Степан! Шпарь, чтоб березовый дух в кровь вошел!

Степан в банных рукавицах нахлестывал хозяина поочередно двумя распаренными вениками. Потом и сам разлегся, собираясь попариться в свое удовольствие.

— Ну, теперь самая пора и тебе пропустить одну, — кинулся Зотов к выходящему в предбанник Ушакову. — Есть у меня одно желание. Давно держу в уме. Дай выскажу, пока не забыл. За твое здоровье! За погибель Рязанова!

Ушаков выпил. Вытираясь и одеваясь, расспрашивал о петропавловских новостях.

Зотов опять потянулся к графину.

— Больше не трогай! Договорились же. Ну, так какие новости?

— Самая большая новость — это ты сам. Вот уже три дня на бирже и в банке висят объявления о торгах.

— Всего три дня?

— Да, три... Объявлено, что купец второй гильдии Никон Ушаков добровольно выходит из компании и продает акции. Подумай, добровольно!

— Правильно. Я сам заявил о своем выходе.

— Торги будет вести Дуплов, управляющий банком. Он уже потирает ладони, заигрывает с теми, у кого сума толстая.

— Из других городов приехал кто?

— Не заметно. Только чиновник из горнорудного управления. Проверил законность торгов и отбыл.

— Неужели так-таки совсем никого?

— Я не видел. Может, прячутся до поры. А пока что объявление читают и перечитывают здешние, петропавловские: обанкротившийся Воропаев да Меринов, который туда же тянет. Еще Черепанов, знаешь его — у него двенадцать псов и пустой карман; бакалейщик Заварухин, ну и татарские толстопузые баи. Читают да затылки чешут.

— Интересно, Рязанов будет?

— Не знаю. Может и не быть. Есть же у него правая рука — Савостьянов. Поручит ему — и все. А может и объявиться... В самый решительный момент, когда чаша весов дрогнет.

Известия не радовали. Здесь объявление вывесили поздно, и из других городов никого еще нет. Торги грозили пройти плохо. Так, пожалуй, его акции не доберут и своей цены. Призадумался Ушаков.

— А не узнавал — разослали ли извещения в другие города?

— Дуплов говорит, послал в двенадцать городов в положенное законом время.

— А сам ты не проверял?

— Проверил. Не врет. Ошибаются лишь в добрых делах, а тут резону нет.

— Не понимаю...

Понять и в самом деле было трудно. Предстояла продажа четверти паев одной из самых прибыльных компаний — Спасской. Отчего же купцы так равнодушны? Почему не набрасываются на идущий в руки барыш? Но мог же Рязанов всех их купить!

— Ничего, Ника, ты держись. Советуешь же мне потерпеть, ну и сам потерпи тоже, — утешал Зотов, подкрепляясь глотком из графина. — Приедут еще. Объявятся. Не тревожь себя. Акции твои не уйдут по дешевке. А то, знаешь, я сам их выкуплю!

— А через год продашь вместе со своими?

— Зачем? Никогда!

— И твоя очередь придет. Казахскую степь Рязанов ни с кем не захочет делить.

— А ведь ты прав! Это точно: и меня выгонит.

За столом говорили о том же. Говорили — и только...

* * *

Действовать Ушаков не мог, да и желания не было. Усталый с дороги, напарившись в бане, он теперь после сытного обеда, с рюмочкой чувствовал себя блаженно. Хотелось сидеть и не думать ни о чем. Так и заснул за столом. Посмотреть со стороны — беспечный человек.

— Надо же, заснул! Первый раз вижу. Такой неутомимый был человек! — Зотов покачал головой и, захватив графин, пошел к себе.

Игилик знал обо всем, что происходило в доме Зотова. Посылал туда ночью Батыраша, а чуть утро — послал опять. Степан разбудил Ушакова:

— Игиликов человек пришел.

— Чего хочет? — недовольно проворчал Ушаков.

— Да вот Игилик спрашивает: не надо ли, мол, вам с ним встретиться?

— Ладно. Сюда, пожалуй, ему нехорошо. Скажи, сам скоро буду. Пусть подождет.

Спал Ушаков долго, а встал — будто не выспался совсем.

— Приготовь в бане холодную воду, — велел Степану. — Зотов что, проснулся?

— Плещется в бане...

Ушаков не хотел, чтобы его заметили. Пошел пешком и в обход: задами да переулками.

Игилик встретил в чистеньком татарском доме, сам свежий и бодрый. После коротких взаимных расспросов о здоровье Ушаков рассказал все, что успел узнать от Зотова. С болью пожаловался: о торгах-то заблаговременно не оповестили! Игилик слушал равнодушно и неожиданно, точно желая поймать, спросил:

— А кто такой Понштейн?

— Ка-ак? — не понял Ушаков.

Боясь снова ошибиться, Игилик открыл дверь в другую комнату, позвал:

— Хамидулла, поди-ка сюда!

Хозяин, бритоголовый, с оттопыренными ушами татарин, вошел тотчас. Одет он был по-городскому.

— Что прикажете, биеке?

— Как звать того, о ком разговаривали ночью?

— Синицын?

— Нет, другой.

— А-а, фон Штейн?

— Да, да, он...

— Фон Штейн? — Ушаков не знал такого.

Хозяин поклонился русскому гостю:

— Не Ушаков ли эфенди будете?

— Он, он... Ушаков.

Только тут Игилик представил их друг другу.

— Так кто же такой этот фон Штейн?

— У самих голова кругом, — сказал Хамидулла на чистейшем русском языке.

— Не маклер ли швейцарской фирмы?

— Похож на маклера. Но откуда прибыл, никто не знает. Известно только, что побывал у Дуплова. Остальное — темнота!

Швейцарская фирма «Электрик» заключила договор со Спасской компанией на двадцать лет и оптом забирала всю акбуйратскую медь. Ушаков знал, что эта медь через ту же фирму доходит до Англии. Предвидел, что в недалеком будущем заграничные купцы постараются окунуть свои руки в богатства окраин Российской империи. Англичане уже рыскали, подступали через Индию и Китай. Этот фон Штейн, думал Ушаков, вполне может оказаться доверенным лицом иностранной фирмы. Если так, то цена акций должна резко подскочить. Однако такая возможность не радовала Ушакова. Он не хотел бы, чтобы его паи ушли на чужбину. Вспомнилось: есть же в России закон, запрещающий иностранцам вкладывать капитал в разработку месторождений.

— Вы, кажется, назвали еще Синицына?

— Да, приехал вчерашним поездом.

Синицын был известный богач, его приезд порадовал Ушакова.

— А еще не знаете — приехал кто?

— Еще Перфильев. Владелец рудников Шокпака и Кулак-Алки. Где-то около вас.

— Так, хорошо...

— Он давно здесь. Только неизвестно еще, что его больше интересует: торги или женитьба. Есть тут у нас одна красавица, дочка здешнего адвоката, — засмеялся Хамидулла.

— Вы, я вижу, неплохо осведомлены, — тепло улыбнулся Ушаков. Скромный с виду татарский бай начинал ему нравиться. Намного оказался зорче и умнее Зотова.

— Мы здесь тоже помаленьку заболеваем вашей болезнью, — сказал Хамидулла. — Вы, однако, уже переболели, выздоравливаете. А мы только еще начинаем бредить свинцом да серебром.

— Да? У вас рудники, заводы?

— С полгода уже числимся владельцами месторождений Гулшат и Жетыконыр. Только вот разработку никак не удается наладить. Может, и вовсе не наладим.

— О, вы достали до самого Балхаша!

— Нам, татарам, достаются только окраины, глушь.

— А с топливом как? — поинтересовался Ушаков.

— Будет топливо. Купили мы уголь Самбыжала.

Ушаков смотрел теперь на Хамидуллу с уважением.

— О, это дельно! Счастливо вам шагать и дальше! Не собираетесь принять участие в предстоящей драке?

— Нет, упаси аллах! Боюсь и близко подойти к местам, которых коснулась нога Рязанова или Попова. — И, обратившись к Игилику, добавил на родном языке: — Не друзья они нам!

— Кто только не знает этих двух волков? — рассмеялся Ушакова. Понравилась ему откровенность Хамидуллы.

Хамидулла все больше внушал к себе уважение. Ушаков взглянул на Игилика и подумал: видно, неспроста останавливается бий в этом доме. Деловые связи, особый расчет!

Хамидулла вышел из тех купцов, что держат лавки: в маленьких городах — в центре, в больших — на окраинах. Знал толк в торговле скотом, на этом и поднялся. Очень помогла женитьба на дочери казахского бая Байгары. Был он из оказачившихся татар, а тут и вовсе вошел в казахский род. Как и Ушаков, он рыскал по степи, и не зря. Скупил месторождения свинца и серебра на Балхаше и теперь намеревался хорошо запустить в них руки. Это-то и было одной из причин его дружбы с Игиликом.

Игилик, пока хозяин и гость прощупывали друг друга, не вступал в разговор. Теперь решил — можно!

— Никон Абрамович! Я вот все уговариваю Хамидуллу вступиться от моего имени в это «хватанье за ворот». Да никак не могу уговорить. А куда мне с моим большим тымаком!.. Пока буду поднимать уши, думать-

гадать, найдется ловкач и вырвет кусок из-под носа. Как вы думаете?

— Вы, Игилик Утепович, редко ошибаетесь в людях. Такого, как Хамидулла, десять лет искать — не найти. Упускать никак нельзя. Я на вашем месте двумя руками бы уцепился и не отстал.

— Нет, нет, биеке... Мы — молодые петухи и не в меру горячие. Нельзя нам доверять такое серьезное дело, — отнекивался, смеясь, Хамидулла. Было видно: если цена подойдет — согласится.

* * *

На торгах все трое сели порознь, но так, чтобы не терять друг друга из виду. Хамидулла впереди, между петропавловскими богачами, Ушаков и Игилик сзади. Степан Бушуев и Батыраш — уши хозяев — стали у дверей.

Большой зал банка быстро наполнялся. Было шумно. Люди встречались в обнимку, громко смеялись, трясли друг другу руки — казалось, не виделись сто лет. Но вот ряды кресел заполнились. Все замерли. И будто не было недавнего дружелюбия — сидели, чутко прислушиваясь даже к дыханию друг друга. Взоры устремились к круглому столу. Там на зеленом сукне поблескивал медный аукционный колокол, похожий на шатер.

Маленькое происшествие ненадолго нарушило торжественную тишину. Между рядами, неловко задевая сидящих, пробирался Зотов. Он громко и длинно извинялся перед теми, кого задел. Заметно было, что совсем забыл об обещании, данном Ушакову, и, похоже, со вчерашнего вечера не расставался со своим оплетенным серебряными лентами графином. Ушаков болезненно поморщился — только этого еще недоставало. Обернулся к дверям: искал глазами Степана. Но Бушуев и сам догадался — шел уже к Зотову.

— Ника, я должен тебе сказать! Иди, говорю, сюда, скажу тебе! — кричал Зотов на весь зал, уходя под руку со Степаном.

Происшествие тотчас забылось — предстояло дело куда более важное и интересное. Люди снова застыли на своих местах, напряженно смотрели, точно ждали выхода народного героя.

И вот он вышел — управляющий банком Дуплов, торжественный, одетый в черное сукно, с внушительной лы-

синой на овальной голове. Подошел к столу, остановился, поигрывая тонкой медной палочкой. И тотчас все взоры приковались к ней, будто была эта палочка волшебной...

— Господа! — начал Дуплов, почтительно, обеими руками поднимая перед собой увесистый пакет. — В этом пакете акции господина Ушакова Никона Абрамовича. Одна четверть всех паев Спасской медеплавильной компании. По собственному желанию господина Ушакова и с полного согласия остальных компаньонов эти акции продаются сегодня с открытых торгов. В торгах могут принять участие все желающие. Все, кроме иностранцев! Акции и прочие документы проверены представителями Промышленного банка и Горнорудного управления. Законность торгов официально удостоверена. Доля Ушакова, как уже было сказано, — одна четверть, тридцать паев. Каждый пай компетентно оценен в две с половиной тысячи рублей. Цена пакета в целом — семьдесят пять тысяч. По правилам открытых торгов пакет перейдет в собственность того, кто предложит на данных торгах наивысшую цену. Позвольте не оглашать здесь сведения о средствах компании, размерах и количестве предприятий, о рабочей силе и прибылях. Все имели возможность ознакомиться с этим. Кого интересует, может прочитать — объявления вывешены в соседнем зале. Итак, объявляю торги открытыми!

Палочка опустилась на медный колокол, и он покачнулся, издав певучий гулкий звук. Закачался на ножке-подставке, укрепленной внутри него. Темный сверху, показывал публике блестящую, отполированную внутреннюю поверхность. Все взоры следовали за движением колокола. Зал затаил дыхание. Но вот колокол успокоился, остановился. И все равно зал молчал. Казалось, так все и разойдутся, не произнеся ни слова. Только глаза обратились на соседей, люди как бы прощупывали друг друга.

— Вот заломили так заломили! — раздался вдруг осуждающий голос.

— Видит око, да зуб неймет! — поддержал другой.

— Сказали бы уж прямо, что не хотят продавать! — присоединился третий.

И будто искра упала и вспыхнул пожар — зал зашумел, загудел. В сплошном гуле выделялись негодующие

выкрики. Люди сердились, можно было подумать — их кровно обидели.

— И зачем только беспокоят людей!

— Нечего тут делать, уходить надо!

Человек возмущенно подскочил с места и вышел, хлопнув дверью. За ним с тем же гневным стуком двери еще несколько.

Игилик наблюдал во все глаза. «Подставные!» — решил, вспомнив рассказ Ушакова о торгах.

И он не ошибся.

— Господа!.. — призвал к порядку Дуплов. — Объявляю перерыв на час. Познакомьтесь с делами компании, подумайте.

Сердито скрипя креслами, народ вставал с места, толпился в дверях — устремлялся в соседний зал.

Ушаков вышел вместе с Дупловым.

В зале осталось человек двадцать. В передних рядах — щеголеватый самоуверенный Перфильев и рядом с ним молоденькая Наташа — красавица, адвокатская дочка. Перфильев непринужденно шутил, раскланивался направо-налево с выходящими из зала купцами, громко смеялся — чувствовал себя любимцем общества; то и дело склонялся к красавице Наташе, видно, забавлял анекдотами. Он и во время речи Дуплова пытался что-то шептать ей на ухо. Девушка раза два осадила своего кавалера, толкнула локтем — ее заинтересовало то, что говорил Дуплов. Теперь же Наташа заливалась звонким смехом, оба начисто забыли о торгах. Кроме Наташи, в зале почти не было женщин. Только две или три пожилых дамы пришли в сопровождении мужей и сыновей.

Еще один человек вызывал интерес общества, и даже больше, чем Перфильев и Наташа. Его здесь никто не знал. По виду казался столичным жителем, человек средних лет. За все время он ни разу не изменил своей горделиво-непринужденной позы. Рука с округлыми белыми пальцами лежала на подлокотнике кресла. Носатое лицо ничего не выражало. Когда публика двинулась к выходу, он не тронулся, не шевельнулся. Игилик сразу догадался — это и есть фон Штейн — и подумал про себя: «Заметно человека, выросшего на берегу родника культуры!»

К Игилику подошел Хамидулла. Оттопыренные уши горели, видно было, что возбужден.

— Будет жарко! — сказал он.

— Но ведь многие ушли? — прикинулся простачком Игилик.

— Нет, нет!.. Для отвода глаз. Шантажируют!

— Значит, думаете, в самом деле будет жарко?

— Определенно. Надо ожидать подвоха. Так как же дальше сотни не идем? — решил уточнить Хамидулла.

— Ни копейки, — покачал головой Игилик. Он заранее прикинул. Один его карман был заповедным. Там лежала торговля — занятие привычное и надежное. Другой предназначался углю и меди — делу шаткому, так казалось Игилику. Первый карман перетянул.

Медный колокол позвал в зал. Люди поспешили занять места. Дуплов взглядом прицелился в публику.

— Итак, начнем, господа!..

Недовольные голоса перебили:

— Дорого! Это не цена!

— Такие торги для Петербурга, а не для Петропавловска!

— Это же насмешка!

Дуплов не обратил внимания на выкрики, ровно продолжал:

— Так, кто желает начать?

— Невозможно!

— Как начнешь! — жужжали назойливые голоса.

— Кому надо, начнет, — будто про себя проговорил Дуплов.

— Пятьдесят тысяч!.. — смеясь, объявил Перфильев. Он все продолжал играть. — Пятьдесят!

Красавица Наташа подарила ему сияющий голубыми лучами взгляд и что-то быстро-быстро зашептала на ухо. Видно, восхищалась его отвагой.

— Сумасшедший!

— Свихнулся!

— Просто пьяный — и все!

— Приберег бы лучше для своей красотки! — обрушились на Перфильева. Это еще больше развеселило его. Зажав уши ладонями, смешливо пригнул голову. Девушка была в восторге. Она тоже склонилась, плечи задрожали от смеха.

— Пятьдесят тысяч! Слышали? Пятьдесят тысяч! Кто больше? — спрашивал Дуплов.

Из разных концов зала все еще выкрикивали — поно-

силы Перфильева. Солидные купцы не обращали внимания на этот шум — известны им были повадки таких купленных крикунов.

Денежные люди прикидывали: сколько еще может прибавить Перфильев.

По три, по пять, десять тысяч — цена постепенно достигла обозначенной Дупловым стоимости пакета — семидесяти пяти тысяч. И те, кто только что поносил Перфильева, начали вдруг хвалить набавлявших.

— Вот это размах!

— Этот унесет. Унесет!

— Восемьдесят тысяч! — с подъемом провозгласил Хамидулла.

Все головы тотчас повернулись к нему.

«Вот умница, — подумал Игилик. — Выжидал, пока задохнутся резвецы!»

Зал приветственно шумел, точно радуясь скакуну, вырвавшемуся вперед на последнем заезде.

— О, богатейший человек!

— Восемь, говоришь, магазинов?

— Да. И серебряные рудники!

— В его руках караванный путь между Бухарой и Иркутском. Этот унесет! Непременно унесет!

Адвокатская дочка с укором посмотрела на Перфильева. «Ну же, ну!» — подстегивал ее взгляд. Перфильев был все так же непринужденно весел, вид его говорил: могу, но не хочу!

— Кто еще, кто? Кто больше? Желающих нет? — добивался Дуплов.

Медная палочка поднялась над колоколом. Зал завороженно следил за ней.

Дуплова не видели — только палочку, сияющую в руках.

— Желающих нет?

Дуплов еще раз поднял палочку. Все глаза поднялись и начали опускаться. Но палочка не успела коснуться колокола. Из зала торопливо крикнули.

— Восемьдесят одна!

Раздался смех.

— Прибавь еще гривенник!..

Цена пакета медленно роста. Богачи тужились: набавляли по одной тысяче, даже по пятьсот рублей — старались столкнуть друг друга в пропасть. На девяноста тысячах застряли, дальше никто ступить не хотел.

Дуплов дважды повторил: кто еще? Медная палочка снова взлетела вверх. И тут фон Штейн, неподвижно просидевший все торги, первый раз пошевелился. Послышался мягкий, спокойный, безразличный голос:

— Девяносто пять тысяч!

Медная палочка чуть не выпала из руки Дуплова. Зал теперь забыл про нее. Все внимание перешло на фон Штейна. На него — холодного, уверенного в себе маклера — уставились как на чудо.

— Сто тысяч! — твердо сказал Хамидулла. В голосе был вызов — не уступим!

Люди радостно заволновались, возбужденно заговорили друг с другом. Мягкий спокойный голос фон Штейна остудил пыл.

— Сто двадцать пять тысяч! — выговорил четко и ровно. Все поняли: на каждый рубль этот неизвестный маклер ответит тысячей.

Хамидулла сник. Беспомощно топырились на круглой голове уши. Он пытался поймать взгляд Игилика. А тот словно уменьшился, похудел — так беспокоился за свой карман, отводил глаза в сторону.

«Все... Теперь прощай моя доля! — сказал себе Ушаков. — Но кто же такой этот ловкий маклер?» — ломал он голову.

— Кто еще? Кто больше?

Дуплов дважды с нажимом повторил вопрос. Перед последним, третьим разом выждал значительную паузу.

— Желающих набавить нет? Итак, нет!

Медная палочка решительно поднялась и с силой ударила по колоколу.

Панихидным звоном отдался этот удар в душе Ушакова. Сквозь звон, будто издалека, донеслось:

— Пакет акций — одна четверть паев Спасской компании — переходит к господину фон Штейну, Людвигу Федоровичу, проживающему в городе Москве, подданному его величества государя императора Российского.

Народ уходил. Ушаков и не заметил, как исчез Игилик. А ведь пришли сюда вместе. Поискал глазами — друга в зале не было. Между пустыми креслами шел Зотов. Шел прямо, торопился.

— Ника, я же хотел тебе сказать про фон Штейна! Знаешь, он от Рязанова! До торгов телеграмму ему давал и сейчас пошагал на почту. Можешь верить — у Зотова везде свои люди есть. Пойдем-ка, Ника, домой.

Ушаков не пошел с Зотовым. Не хотелось ни видеть, ни говорить с людьми. В ушах все звенел панихидный колокол. Русский купец Никон Ушаков хоронил свои большие замыслы.

1953

ОДНАЖДЫ
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

I

Две недели Еркебулан почти не слезал с седла.

Он проводил собрания в аулах — неспокойные, с самыми неожиданными поворотами и всплесками настроений, порою бестолково-крикливые... По решению уездного ревкома на местах создавались совдепы.

Молодой поэт, которому недавно исполнилось двадцать четыре, во время этой поездки с удивлением обнаруживал, как возносила его людская молва.

— О-е, Еркебулан!.. Еркен!.. — говорили про него. — Двадцать два было парню, ему бы за девушками бегать и по тоям ездить... А он? Он был среди тех, кто замахнулся на белого царя! Теперь рядом сверкают шашки Колчака, пули свистят, а Еркен не побоялся встать под красное знамя. У него сердце батыра. А какой поэт!.. — И на память приводили его стихи.

Он действительно находился в гуще событий, его имя не зря связывалось со всем, что происходило в степи. А возвышенные сравнения в его стихах простодушный народ воспринимал в прямом смысле. Буря — значит буря самая настоящая. Охваченная пожаром степь. Сильные и гордые орлы, устремившиеся к вершинам. От взмахов орлиных крыльев и поднялась эта буря.

Он так тогда чувствовал и так писал об этом.

Днем Еркен провел собрание в волостном центре. Подходящего помещения там не было, и толпа расположилась у подножия невысокого холма.

Казалось бы, ежедневные выступления должны были притупить у него способность зажигаться, и слова от частого употребления могли потерять силу и необыч-

ность. Но стоило ему увидеть собравшихся людей, заметить ожидание в их настороженных глазах, и он забывал про усталость, про то, что выступал только вчера и что завтра ему снова выступать...

Еркен говорил о свободе, которая, размахивая красным флагом, пришла в степь к казахам. Одни приветствуют ее, другие — шарахаются в сторону, третьи притаились и ждут... Чего ждут? Кто-то толкует о верности законам отцов, о покорности. А кто видел покорного муллу или покорного бая? Нет, им не для себя нужна покорность! Но так больше не будет, говорят большевики. Нет больше унижения, нет неравенства. Надо покончить с горькой несправедливостью судьбы. Но право на счастье придется еще отвоевывать.

Время от времени до него доносились возгласы:

— Верно говорит, а? Откуда только слова берет?

— Ну, жигит! Пожалуй, поручу я детей и жену аллаху, а сам подамся к нему в товарищи, если возьмет.

— Дай бог увидеть своими глазами хотя бы половину того, что он обещает!

Это шумели кедеи, по вековой привычке устроившиеся сзади. Им нравился ладный жигит. Черная рубашка со стоячим воротником, черные суконные брюки, заправленные в остроносые сапоги, и тонкий кавказский ремень с серебряной отделкой — все это удивительно ему шло. Им нравилось, как он откидывает назад густые черные волосы. И его речь, в которой была уверенность, вселяла в них надежды.

Собрание уже близилось к концу, и Еркену казалось, что на этот раз все сойдет благополучно. Но тут выяснилось, что на груди, под чапанами и покоробленными шубами, лежали не только тымаки-ушанки. Кое-кто и камень припрятал за пазухой.

Качнулся передний ряд, оттуда посыпалось:

— Эй вы, рванье! Тихо! Раскудахтались!

— Хватит болтать, голодранцы несчастные!

Задние опешили. Нет, они не испугались. Просто не нашлись сразу, что ответить. Словцо-то привычное, хорошо знакомое. Но странно было услышать его опять, в то время, когда наступила свобода, наступило равенство, как говорил этот приехавший из города жигит. Еркен тоже замолк. «Голодранцы несчастные» — кто бы мог это выкрикнуть?

Он оглядел первые ряды и ни на ком не смог оста

ниться. Но тут невзрачный серолицый человек с неулыбающимися, точно у змеи, глазками крикнул:

Помолчите, вы! Помолчите там! Дайте послушать приезжего человека. Я спросить хочу. Можно спросить? Это он...

— Спрашивайте... — ответил Еркен, приготовившись к какому-нибудь подвоху.

— Вот не могу я понять... — начал тот грустно, как бы печалясь о собственной непонятливости. — Классовая борьба — это как? Аргын-кипчак схлестнется с керей-уаком, а потом в их драку влезет и конрат-найман?[1] И все они должны будут колошматить друг друга? Я правильно понимаю?

«А может, обычный аульный дурак-краснобай?» — подумал Еркен и, усмехнувшись, поинтересовался:

— Вы в самом деле не поняли? Или просто так, язык захотелось почесать?

— Нет, нет! Как можно! Я хочу знать...

Но к этому времени задние ряды уже пришли в себя.

— Как же! Узнать он хочет!

— Этот Берш только прикидывается дураком!

— Не отвечай, парень, не отвечай ему! Мы знаем, кто натравливает этого пса!

Еркен поднял руку, чтобы успокоить толпу, и снова заговорил о классовой борьбе. Нет, речь идет не о родовой вражде. Пусть аргыны-кипчаки и конрат-найманы живут в мире между собой. Им нечего делить. А враг у всех один.

Они сидели впереди, багроволицые от постоянного обжорства, жирные, как осенние дрофы. И одеждой они с теми, задними, не могли сравниться: все в добротных плюшевых камзолах и мерлушковых, низко надвинутых на лоб шапках. Глаза их шныряли, будто мышата бегали взад и вперед.

Передние перекидывались вроде бы ничего не значащими словечками. Рукоятками камчей, обмотанными медной проволокой, они то и дело толкали Берша: «А ну, ужаль!.. А ну, еще подкуси». Уж чего-чего у казахов, а самую хитрую их хитрость опытный глаз разгадает мгновенно.

— Вы все слышали, сыны степей! — сказал Еркебу-

---

[1] Аргын-кипчак, керей-уак, конрат-найман — названия казахских племен Среднего жуза.

лан. — Смотрите сами... Вам жить на этой земле. Вам и решать. Многие, наверное, видели от-арбу[1]. Можно ли остановить паровоз, когда он мчится, развевая длинную чернобурую гриву? Вот так и новое время — оно сметет тех, кто попробует его задержать.

Он замолчал, и сразу взорвались насмешливые возгласы:

— А, хитрозадый Берш, что же ты замолк? Язык свой поганый проглотил?

— У, лиса! Заткнулся?

— Спина у тебя не чешется, Берш? Истолкали ведь всего...

Но Берш, как будто и не к нему относились все эти колючие слова, опять поднял руку:

— Слушать тебя, жигит, — что хороший кумыс пить в жаркий летний день. Красиво говоришь... И про красный флаг, и про от-арбу. Но я человек простой, неученый. Ты объясни мне. Ты пастбища отдашь бедняку. Скот — тоже ему. Власть опять же в его руках, в натруженных, мозолистых, как ты сказал. Но смотри сам! В конце концов твой бедняк разбогатеет и сам баем станет. Тогда как? У него будете все отбирать и раздавать бывшим баям?

Еркен не сразу нашелся, что же ответить. Ловко ты, Берш, поворачиваешь! В груди похолодело от злости, и он уже знал, что вот сейчас наповал сразит ответным словом наглого байского прихвостня. Так бывало, и не раз.

Но он ничего не успел сказать. Задние ряды взметнулись и смешались с передними, и толстобрюхие стали отступать, огибая холм. Между ними вертелся тощий Берш, увертываясь от десятков рук, тянувшихся к нему. Кто-то крыл матом чью-то рваную ушанку, кто-то — чей-то приплюснутый нос, кто-то — чей-то палец, высунувшийся из рваного сапога.

Берша все же схватили, швырнули на землю, и от нескольких хороших пинков он откатился в сторону. Плюшевые камзолы сбились в кучу и, отступая, затравленно шипели: «Эй, эй ты! Потише!.. Потише». Ни гордой осанки, ни грозного вида, ни самоуверенной ухмылки — ничего не осталось. И плетеную камчу никто из них не решился пустить в ход.

---

[1] От-арба — дословно: огненная повозка, поезд.

Они отступили и скрылись за холмом.

Еркен стоял немного поодаль. К нему подходил высокий плечистый старик. Два молодых жигита хотели взять его под руки, но он недовольно повел бородой:

— Да вы что, дети мои? Думаете, я без вашей помощи и на бугор не взойду?

Возле Еркена старик остановился. И толпа, следовавшая за ним, замерла. Вот так — разойдется народ, что река в половодье, а схлынет — как маленький ручеек.

— Нам передавали твои слова, сынок: «Наступает твой день, народ! Выходи встречать зарю новой жизни». Мы слышали о тебе — и вот собрались послушать умное слово. И не ошиблись в надеждах. Верно я говорю? — Он повернулся к своим: — Такой может сам обманываться, но другого не обманет.

Еркен почтительно слушал старика. Еркену не приходило в голову объяснить такой исход собрания зажигательностью своих речей. Нет, это время, время все расставляет по своим местам.

— Спасибо на добром слове, отец. Я рад, что мои слова коснулись вашего сердца, — скромно, как подобает младшему рядом со старым, умудренным жизнью человеком, ответил Еркен.

— Теперь скажи, — жигитам, призванным Алаш-Ордой, можно вернуться домой?

— Да, домой.

— Вот правильно! Нечего им там делать. А ты... Помни, будешь самым дорогим гостем, если дом старого Байкена окажется на твоем пути...

...Об этом собрании, о неизбежной стычке между «плюшевыми камзолами» и «рваными шубами» Еркен продолжал думать, подъезжая верхом к маленькому аулу на берегу озера Кзыл-Мола. Он вспоминал и то, как откровенно неприязненно сказал ему волостной управитель Мырзакельды: «Выходит так, товарищ кемесер, ты перессорил у нас людей, сорвал собрание, взбаламутил народ? Да? Кто же будет в ответе?» И без лишних слов ясно было, чью руку он держит, кому тут Мырзакельды друг и кому — враг. Еркен резко сказал волостному: «Не забудь, что ты должен дать мне лошадей ехать дальше». Тот ответил: «Хорошо, хорошо... Свежие лошади ждут у озера Кзыл-Мола, а там подставы через каждые двадцать верст до города».

И вот уже солнце садилось, когда Еркен вместе с неразговорчивым хмурым провожатым добрался до Кзыл-Молы и спешился возле небольшой белой отау.

II

Еркен спешился, а провожатый, приняв у него повод, тотчас поскакал обратно.

Хозяин вышел навстречу. Он производил странное впечатление. Один его глаз недоверчиво ощупывал гостя, а другой смотрел куда-то в сторону, и нельзя было понять, кому он подмигивает, кому плутовато-заискивающе улыбается. Казалось, пересчитывает появившиеся на небе звезды.

— А лошади где? — спросил Еркен, поздоровавшись. — Волостной говорил, что мне тут дадут коня до города.

Теперь на Еркена смотрел подобострастный глаз хозяина:

— Только под вечер аульный сообщил — ждать вас надо завтра в полдень. Я отпустил коней в табун. Заночуйте у нас. До вашего города пятьдесят всего верст. Утром мигом доставим.

— А ты кто? Помощник аульного старшины?

— Нет, ямщик. Но решил отказаться. — Другой глаз уперся в Еркена. — Хлопот полный хуржун. Того встреть, того проводи. В лавку теперь уйду — каператып[1] называется, — с важностью добавил он.

Откинулся изнутри войлочный полог, и перед Еркеном появилась молодая женщина, еще не потерявшая в замужестве стройности и привлекательности. Голова у нее была покрыта не жаулыком, а цветастой цыганской шалью. Ай да косоглазый! Какую жену отхватил!

Женщина, продолжая поддерживать полог, другой рукой сделала приглашающий знак.

Еркен вошел.

В юрте возле супружеской кровати висел старый выцветший занавес из пестрого шелка. Подстилка, одеяла, подушки, крытые дешевым полосатым ситцем, тоже не новым, — все говорило о том, что хозяева очень далеки от достатка.

---

[1] Каператып — искаженное: кооператив.

Хозяйка указала ему почетное место у очага. Рядом стояла домбра, прислоненная к решетке.

— Аулы откочевали на жайлау, мы одни... — сказала она.

Еркену показалось, что приветливость женщины омрачает лицо ее мужа. Он по-прежнему молчал, и что-то явно его тревожило, он места себе не находил. «А мы тоже — откочевать собрались», — промямлил он и вышел из юрты, но тут же вернулся и стал зачем-то объяснять, что его старик отец уехал к волостному и вот задерживается... И снова вышел...

Женщина зажгла лампу и, застенчиво улыбаясь, сказала:

— Мы слышали, что вы стихи слагаете, и домбра — не чужая в ваших руках...

Еркебулан остался один в юрте. Он не любил хлестать по струнам. Он едва касался их пальцами, и от этих почти незаметных прикосновений рождалась легкая, ускользающая мелодия раздумья.

Вот пробирается по степи спокойный ручей. А это — ветер заглянул по дороге в шумную и беззаботную тополиную рощу...

Молодая женщина тихо, чтобы не мешать ему, откинула полог и впустила парня с охапкой дров. Затеплился огонь в очаге, и когда огонь набрал силу, в юрте сразу стало просторнее и веселее. Справа висело на стене выложенное серебром дорогое седло, а рядом с ним — изящная камча с ручкой, туго обмотанной проволокой. Медь и серебро тускло поблескивали и, казалось, о чем-то перемигивались между собой в свете пламени.

За дастарханом стало уютно. Молодая хозяйка наливала густой пахучий чай с подогретыми сливками. Она явно старалась выказать незнакомому гостю свое уважение. Возможно, хотела сгладить впечатление от сумрачного молчания мужа?

— В неудачное время вы нас посетили, акын-ага... Соседние аулы откочевали на жайлау. Одни мы тут торчим. Нет ни жигитов, ни девушек. Нет для вас достойных слушателей. Безрадостный вечер с унылыми супругами — вот что ждет вас сегодня.

— Почему вы думаете, что безрадостный? Что может быть дороже искренней доброты и сердечного внимания? — вежливо ответил Еркен и взглянул было на хозяйку, но тут же почувствовал, что косой хозяин одним

глазом нацелился на него, а другим — на жену. Еркен чуть рот не разинул от удивления. Ну и ну! Ревнует? Знает же, наверное, себе цену и ей, такой красавице.

Юноша, сидевший на корточках у стены, заметил изумление на лице гостя и не удержался — прыснул. Женщина догадалась, что его рассмешило. Она сказала словно бы невзначай:

— Кайсар, чего ты? Ты не можешь, как человек, не шнырять глазами вкривь и вкось?

Муж пропустил мимо ушей обидный намек.

— Послушай, неужели нет коня, хоть какого-нибудь? — обратилась она к нему. — Послали бы Кайсара в аул Бузау-ата, они тоже задержались. Позвали бы молодежь к нам... А?

— Нет, — коротко ответил Отарбай.

— Зачем конь? Я и так сбегаю, мигом всех соберу. Им только скажи, что у нас в гостях — акын!

Юноша чуть привстал. На нем был светлый из овечьей шерсти чапан, слабо затянутый в поясе, из-под чапана проглядывала голая грудь. Оспинки на лбу и на щеках не портили его лица, оно было открытым, доброжелательным. Видно, легкий, исполнительный парень этот Кайсар. Так, кажется, назвала его хозяйка?

Но в ответ и на его предложение — сбегать, хозяин снова отрубил:

— Нет...

— Да почему это нет?! — возмутилась женщина. — Или мы людей боимся? Или каждый день к нам приезжает акын, которого могли бы послушать наши соседи?

Хозяин не посчитал нужным объяснить свое несогласие. Наверное, он привык к ее постоянному неодобрению и перестал обращать внимание на просьбы, на требования жены.

Еркен пожалел, что не проявил твердости и не заставил сегодня же дать ему коня, чтобы ехать в город. Семейные ссоры — пусть ссорятся без посторонних.

Снаружи послышался торопливый перебор конских копыт.

— Ты что задергался? — резко спросила у мужа женщина. — Это к нам? Ты ждешь кого-нибудь?

Он не ответил, продолжая настороженно смотреть на дверь.

Кони приблизились, стали возле отау. Было слышно, как спешиваются всадники. Двое показались в дверях. Легко одеты, не похоже, чтобы собирались в дальнюю дорогу. Гости или преследователи? Снаружи, на слух, тоже остались двое-трое.

— Добрый вам вечер, — сказал негромко один из вошедших.

— Проходите, проходите... — С ними хозяин разговаривал совсем другим тоном.

— Как здоровье, Акбала? Все ли благополучно в доме, Отарбай?

Только теперь Еркен узнал их имена. Конечно, такая милая, приветливая женщина должна быть Акбалой. Странно было бы назвать ее иначе. Не дай бог — как-нибудь Ултуган или Даметкен...[1]

Вошедшие разговаривали с хозяевами как с давними знакомыми. При этом они с любопытством посматривали на Еркена.

— Э, а куда вы путь держите? — спросил хозяин.

— Да так... Потеря у нас. Конь городской сбежал... — загадочно ответил один из них.

Едва они заняли места за дастарханом, как снаружи вдруг кто-то рявкнул:

— Отарбай!

Хозяин чуть втянул голову в плечи и не сразу собрался с духом — подняться и выйти.

— Эй, Отарбай! Сколько тебя звать!

Он уже направлялся к двери, и Акбала сказала вслед сквозь зубы:

— Не вздумай привести его сюда...

Жигиты снова покосились на Еркена — и потому не заметили короткого требовательного взгляда, который Акбала бросила Кайсару. Тот понял ее и тут же вышел. Один из жигитов вел себя спокойно, а другой делал вид, будто кроме чая его ничто не занимает. Еркен начинал догадываться, что хозяин вовсе не из ревности не находил себе места после его приезда.

В юрте наступило молчание, а снаружи наставительно гудел сиплый бас. Слов разобрать было нельзя, но говоривший что-то требовал, к чему-то принуждал. За-

---

[1] Женские имена: Акбала — светлый (буквально: белый) ребенок; Ултуган — родился сын; Даметкен — вселявшая надежду.

искивающий тенорок хозяина поначалу неуверенно возражал ему. Потом совсем умолк, заглушенный потоком баса.

Видно, предупреждение Акбалы не подействовало. За Отарбаем двое вошли в юрту. Первым — верзила в сатиновом камзоле, перепоясанном красным кушаком. Глядел он мрачно, на лице выдавалась рассеченная верхняя заячья губа. Он держался как предводитель. Его спутник был тенью возле него. Верзила стал у двери, и тот замер. Верзила окинул собравшихся взглядом, и тот провел глазами по всем.

— Здорово, баба! — сказал верзила, и его спутник пошевелил губами, словно повторяя сказанное.

Акбала, не поднимаясь от дастархана, ответила с плохо скрытой неприязнью:

— Разве от тебя человеческое слово услышишь?

— Хо! А кто ты такая, если не баба? Или забыла, как тебя в голодный год продали за одну яловую корову, за полмешка зерна? Забыла?

— Нет. Но вот тебе — тебе проглотить меня все же не удалось. Рот-то дырявым оказался.

Женщина всегда остается женщиной... Акбала ударила по самому больному — заячья губа... Верзила даже не нашелся, что ответить. Только шумнее засопел.

— Вот злюка! — Это у него прозвучало немного мягче, словно он предлагал заключить перемирие. — Я, что ли, виноват?.. На своего отца пеняй, чтоб ему в могиле тошно было. Это же он тогда сосватал тебя Отарбаю, а потом жалел, что продешевил.

— Чем болтать попусту про чужие могилы, ты бы лучше поискал, где валяется твой отец-поштабай! — Нет, не такая была Акбала, чтобы оставить без отпора малейшую обиду. А что может быть оскорбительнее — сказать, что ты не знаешь, где похоронен твой отец.

Верзила побагровел, его рука крепче сжала толстую восьмигранную камчу. Еркен был готов вступиться за молодую женщину, если это понадобится, хоть и не понял, при чем тут ненавистный всему народу поштабай, обидчик знаменитого певца и поэта Биржана.

Отарбай оказался между двух огней. Ему и жену было не под силу присмирить, и перед верзилой он хотел выглядеть хозяином в своем доме.

— Проходи, Токе... Проходи, что ты встал! Присаживайся... Чай вот пей...

— Что я, нищий из Караоткеля?[1] — оборвал его Токе. — Чай буду лакать? Кумыс подай.

Он тяжело опустился на кошму возле очага, бросил рядом витую камчу и в первый раз за все это время взглянул на Еркена. Глаза его были в красных прожилках. Не знающие жалости глаза. На подбородке — ни волоска, зато запястье, кисть и толстые короткие пальцы были покрыты черной шерстью, как мохнатые лапки у тарантула.

Акбала молча собрала дастархан, а вынести самовар Кайсар ей помог. Вскоре он снова заглянул в юрту:

— Хозяин! Хозяйка зовет.

Когда Отарбай вышел, Токе взял свою камчу и, слегка помахивая ею, сказал:

— Не будь дохляка этого, Отарбая, стегнул бы я разок наглую бабу по пухлым ляжкам...

— Ойбай, Токе-ау, — не удержался один из его спутников. — Что останется от самой пухлой бабы, если вы разок приложитесь к ней?

— А правду говорят, что этой самой камчой ваш отец хлестнул в давние времена самого Биржана?

Токе самодовольно усмехнулся и опять посмотрел на Еркена.

— Нет, не врут люди, — ответил он спросившему. — Эту камчу я принял из рук отца. А Биржан после того раза так и не пришел в себя. Стихи свои перестал сочинять. В конце жизни, я слыхал, совсем спятил.

Историческая плеть вызвала к себе живой интерес.

— Я слышал, в самый кончик вплетен свинец. Верно? — спросил второй из тех двоих, что вошли в юрту с самого начала.

— А ты как думал? Свинца тут на целый вершок. Чуть задень матерого волка — и череп напополам!

— А за что твой отец огрел Биржана, не знаешь?

— Э, Биржан-сал! Биржан-сал!.. Ты что, не видал их, этих салов и серэ? Сам из нищего рабского рода, а скакуна заведет... Разодепется... Ставит себя вровень с почтенными людьми. Берет на себя право судить, кто хорош, а кто плох. А все потому, что на домбре умеет бренчать и сочиняет дурацкие песни. Тогда праздник был. Биржан заступился, что ли, за кого-то, хотел свою

---

[1] Караоткель — казахское название Акмолинска (ныне Целиноград).

справедливость показать... Ну, и получил... Чапан из верблюжьей шерсти — как ножом разрезало. Конь у него был белый — весь круп биржановской кровью залило.

Спутники Токе удивленно зацокали:

— Вот это да!

— И как он только выжил?

— Ту-у, господи... Отец же легонько к нему прикоснулся, просто так, поучить.

Каждое слово из этого разговора острым ножом вонзалось в грудь Еркена. Так вот кто этот верзила с заячьей губой! Сын подлеца-поштабая, который осмелился поднять руку на всеобщего любимца, мудрого и проникновенного поэта, чьи стихи с завистью твердил Еркен.

Эта история давно стала легендой — из тех, что передаются в степи от аула к аулу. Рассказывали по-разному, как «поштабай» — посыльный волостного управителя Азнабая — хлестнул на празднике певца. Но мог ли Еркен предполагать, что он когда-нибудь воочию увидит эту камчу в руках сына того самого поштабая!

Сперва Еркен не придавал значения такому разговору, но потом подумал: а не нарочно ли они вспомнили историю Биржан-сала именно при нем? Знают, что и он — поэт?

Еркен достал записную книжку.

Токе повернулся к нему:

— Ты что там, парень? Пишешь?

— Пишу.

— А что пишешь?

— Твой рассказ хочу записать о Биржане.

— А... А зачем? Кто Биржан тебе?

— Можешь считать, что отец.

— А ты знаешь, что когда у акынов чешется язык, это значит, что чешется и спина?

— А ты знаешь, что камча и в разных руках может хлестнуть одинаково?

Токе отрывисто захохотал и похлопал себя по голенищам тупоносых, как морда теленка, сапог. Голенища были густо измазаны жиром — Токе имел привычку вытирать о них руки после бесбармака.

Хоть сказано было достаточно прямо, но Еркен все же не принял слова Токе за действенную угрозу. Скорее, неуклюжая шутка наглеца, который и сегодня считает себя всесильным в степи, потому что у него зычный

голос, черные мохнатые кулаки и восьмигранная камча со свинцом.

— Тебе пора бы понять, — улыбаясь, сказал Еркен, — на свете есть сила и покрепче твоей камчи. Ты разве не слышал? В степи до сих пор поют песню Биржан-сала, где на всеобщий позор выставлен твой отец... И даже его имя не сохранилось — поштабай и поштабай...

— Что? Что ты сказал? — угрожающе приподнялся со своего места Токе.

Но тут откинулся полог. Отарбай и Кайсар осторожно внесли тегене — большую деревянную чашу с пенистым кумысом. Следом за ними вошла Акбала. Лицо у нее было бледное. Что лицо, что жаулык — одного цвета. Встревоженно она посмотрела на Еркена, и тот понял — Акбала дает знать, что над ним нависла опасность, и еще — что он может рассчитывать на ее помощь.

— Ну, что возишься! — накинулся Токе на хозяина.— Узнаем мы сегодня вкус твоего кумыса или нет?

— Сейчас, батыр-еке... Вот, уже наливаю, Токе. Вот, минуты не пройдет...

Лицо у Отарбая было сморщенное, несчастное. Еще недавно, хоть и хлипкий, он был похож на мужчину и даже пытался важность сохранить. А теперь — дрожал, как коза под проливным дождем. Видно, крепко попало ему от жены. Но еще больше, чем ее, он боялся Токе.

Акбала, не говоря ни слова, оттеснила мужа, выбрала пиалу поярче, поновее. Верзила к этому времени уже успел выпить чашу, поданную ему хозяином, и снова протянул ее. Но Акбала заставила его подождать.

— Кайсар, подай гостю, — сказала она, и Кайсару не пришлось вторично объяснять, кого она подразумевает под этим словом — гость.

Приняв чашу из рук Кайсара, Еркен почувствовал, что под самым ее дном лежала записка. В это время в юрте все наблюдали, как перенесет новое оскорбление Токе, и Еркен незаметно вложил листок в записную книжку и быстро скользнул по нему глазами.

Акбала, словно ничего не случилось, помешивала кумыс. Гости осушали пиалу за пиалой. В юрте стало тихо. Все настороженно следили друг за другом, и разговор не клеился.

Ловя на себе взгляды Акбалы, Еркен понимал ее недоумение. Она заметила, что записку он прочел. Почему же он так беспечен? Почему время от времени улыбка

проскальзывает у него по губам, а высокий лоб не трогает ни одна морщина? Ее взгляды становились все отчаяннее: она умоляла, требовала, чтобы он не сидел так, словно в кругу друзей, а что-то предпринял бы для своего спасения.

Возле юрты, бренча, остановился чей-то тарантас. Глаза Акбалы потухли, стали безнадежными. «Ах, опоздал, опоздал!» — говорили они Еркену. Неужели опоздал?..

Еркен медленно, словно нехотя, поднялся.

— Парень, проводи-ка меня во двор, — сказал он.

— Пойдемте, акын-ага, — вскочил Кайсар и откинул полог.

Еркен медленно прошел мимо Акбалы, простился с ней взглядом и направился было к выходу, но возле него вырос Токе.

— Куда поперся?

— Я сказал — во двор.

— Сиди! Никуда не пойдешь.

— Ты, что ли, не пустишь?

— У-у!.. Твоего отца, Биржана твоего!..

Камча взвилась. Но Еркен ждал этого. Короткий, убийственный, почти незаметный удар угодил Токе точно в висок, и он рухнул как подкошенный. Левая нога попала в огонь, пламя лизнуло засаленную кожу сапога, и по юрте разнеслась липкая вонь.

Никто не успел понять, что произошло; вошел Фарид, сын известного в Караоткеле купца-татарина. Неизменная черная такия на голове, на груди от кармана к карману серебряная цепочка часов. Таким привык его видеть Еркен в городе, таким увидел и здесь. Понятно, что он — с ними. Фарид протянул руку Еркену, а он — шагнул во двор.

Кайсар тянул его за руку. Еркен на мгновение остановился, чтобы глаза привыкли к темноте. В это время открылась дверь стоявшей напротив большой юрты и, освещенная с той стороны, появилась молоденькая девушка в черной плюшевой безрукавке на ярко-желтом, в оборках, платье. Свет лишь на мгновение озарил девушку, и она сразу же скрылась. Она словно пришла из песен акынов — тонкобровая и трепетная, нежная, как серна, гордая и покорная. Извечная мечта жигита... Еркен успел заметить все это. Но она не казалась ему реальной девушкой, к которой можно подойти, заговорить. Это

была сама красота. Раньше он часто старался представить себе, как она может выглядеть. Теперь он это знал.

А Кайсар все тянул его к лошадям, стоявшим на привязи за юртой.

— Идемте, ага! Скорей! Они убить вас хотят. Садитесь вот на этого. Это гнедой, сейчас не видно, со звездочкой на лбу. Это конь Токе, того верзилы. Не конь, а ветер. А я — на белом... Тоже славный конь. Давайте, ага, скорей!

Еркену казалось, что прошла вечность с тех пор, как он увидел девушку. Но, очевидно, это и в самом деле было всего лишь мгновение, потому что только теперь из юрты донеслись испуганные возгласы:

— Убил?.. Токе, Токе очнись!

— Воды, скорее...

— Он его?.. Еркебулан?.. — Это спросил приехавший татарин, сын купца.

Еркебулан, все еще плохо сознавая, чего от него хочет Кайсар, легко вскочил в седло. Да, скорей. Он готов был мчаться на край света. Чтобы не запалить лошадей, всадники вначале пустили их рысью, а потом уже — вскачь. Из юрты неслись выкрики:

— За ними! За ними!

— Далеко не уйдут!

Могли и догнать. Но Еркен был твердо уверен, что ничего с ним не случится. Отныне его охраняет сама красота.

III

Эти выкрики, угрозы, проклятия еще долго стояли в ушах девушки. «О, аллах, неужели догонят?» — твердила она. Но нет, — такой красавец, такой мужественный жигит. Куда им!

В большой юрте Аклима прилегла рядом с матерью, но уснуть не могла. То она в темноте улыбалась самой себе. То снова ее охватывал страх, и она зябко ежилась под одеялом. Сердце начинало стучать так громко, что Аклима боялась — мать проснется. Она еще не понимала — почему, но почувствовала: минувший день и минувший вечер сделали ее старше на целую жизнь.

Вчера, в полдень, она вместе с Кайсаром поехала на озеро за водой. Как ездила много раз... В старую скри-

пучую арбу с бочкой впрягли худющего — все ребра на виду — атана. Со стороны аула берег озера был обрывистый. Кайсар таскал воду двумя ведрами, а Аклима, стоя на арбе, наполняла бочку. Им было весело, и они устроили себе забаву: Кайсар подавал ведро так, чтобы облить ее. Аклима в долгу не оставалась и сверху тоже плескала на Кайсара. Под прилегшим в оглоблях верблюдом образовалась лужа, вода пробила себе канавку и стекала в сторону. Старый атан неодобрительно покачивал головой и сердито рявкал, когда вода проливалась ему на круп.

Кайсар, голый по пояс, закатав до самых бедер штанины, готов был до вечера таскать воду. Аклима уже вся промокла. Пестрое ситцевое платье прилипло к тугому девичьему телу, плотно облегая бедра, живот, грудь. Но, пожалуй, ни она, ни Кайсар не думали о том, что такие шалости обычно добром не кончаются. Может быть, они этого просто еще не знали.

Аклима выплеснула на голову Кайсару добрые полведра и спрыгнула с арбы:

— Сам носи, сам и выливай! А я пойду, платье высушу.

Аклима ушла. Кайсар, заглянув в бочку, обнаружил, что она залита лишь наполовину. Продолжая таскать ведра, Кайсар нет-нет да оглядывался — куда же девалась Аклима. С арбы он вскоре увидел девушку, отплывшую довольно далеко от берега. Над гладью озера мелькали ее белые руки, на солнце светилась спина.

Кайсар спрыгнул, бросил ведра и пошел туда, к ней — подразнить ее, испугать. Он сбежал по обрыву вниз. Аклима как раз выходила из воды. Первый раз в жизни юноша увидел обнаженное женское тело. Густые распущенные волосы прикрывали левую грудь. На животе, на бедрах, на сильных и стройных ногах, словно осколки драгоценного камня, блестели капли воды.

Кайсар застыл. Он тяжело дышал и никак не мог отдышаться, он хотел и не мог проглотить сухой комок в горле. Аклима ойкнула, схватила сушившееся на траве платье и, присев, прикрылась им.

— У-у, бесстыжий! Уходи сейчас же!

Юноша очнулся. Он быстро закивал головой и неуверенно пошел прочь.

Они выросли в одном ауле. Вместе играли. Как все дети, ссорились, дрались, мирились. И как-то не догады-

вались, что один из них — мальчик, другая — девочка. Последние пять лет они не виделись. Кайсар нанимался куда-то на сторону. А теперь вот — вновь встретились в доме Отарбая.

Еще днем, едва выехав из аула, они во весь голос затянули песню. В тот момент они были еще детьми. Детьми они были и тогда, когда обливали друг друга из ведра, и старый атан укоризненно качал головой, наблюдая за их возней. И вот теперь это детство оборвалось, разом. Мальчик и девочка куда-то убежали, чтобы никогда больше не вернуться. Была девушка. Был молодой жигит.

На обратном пути оба надулись, пораженные внезапной переменой, умолкли и на арбе сидели, отвернувшись друг от друга. Кайсару все происшедшее казалось такой глубокой тайной, что он не позволял себе смотреть на Аклиму. Но сколько бы он ни мотал головой, отгоняя это видение, все равно — она стояла перед ним, вся обнаженная, залитая солнцем.

Акбала была возле юрты, когда эти двое вернулись с озера. Она только взглянула на Кайсара, на Аклиму и, нахмурившись, сказала:

— Кайсар! Ты что это? Выкинь ее из головы. Понял?

То, что юноша и девушка только смутно чувствовали, Акбала высказала резко и определенно. И от этого сжалось сердце девушки. Это строгое «выкинь» до самого вечера преследовало Аклиму, прилипло, как водоросли к ноге во время купания. Весь день Кайсар и Аклима старательно обходили друг друга. Как это было все удивительно... Как странно!

Днем прискакал из волостного аула всадник и распорядился приготовить двух коней для какого-то важного гостя. К вечеру появился другой и приказал отпустить стоявших на привязи коней в табун. Перед закатом солнца приехал Еркебулан, и с этой минуты юрту Отарбая охватила тревога.

Акбала в большой юрте месила тесто.

— Давай я помогу, — предложила Аклима.

— Е-е, сестричка... Успеешь! Замуж выйдешь, весь дом свалится на тебя.

— А он поэт?

— Да, Аклима. Ты бы видела, как он домбру в руки взял. Слышишь, играет?

Отарбай появился весь красный и потный.

— Что ты бегаешь? — с неудовольствием заметила Акбала. — Постыдился бы — гостя одного оставлять.

— Ничего. Ему с домброй веселее, чем с хозяином. А он — странный, вдруг спрашивает ни с того ни с сего, сколько людей в мой каператып войдет...

— А ты что?

— Я говорю — пока я один, а немного погодя подыщу пирканшыка[1].

— А он что?

— Ничего, засмеялся. Оказывается, какой-то пай надо. Я говорю — какой пай? Как же, говорит, каператып без пая? Откуда средства возьмешь? Сказал ему — два человека мне обещали дать деньги.

— Так он одобрил или не одобрил твою затею?

— Эй! То он привязывается, теперь ты, баба! — рассердился Отарбай. — Я и сам знаю, что делаю, не хуже тебя, не хуже него. Кажется, мои Манкур и Нанкур[2] — не ты!

Он махнул рукой и ушел, но вскоре вернулся снова.

— Гость говорит, чтоб мы не резали барана.

— А ты что, перед тем, как резать барана, у гостей спрашиваешь разрешения?

Акбала взвилась, и разговор с ней не предвещал для Отарбая ничего доброго. Вообще, когда Аклима наблюдала за семейной жизнью сестры, у нее пропадала всякая охота идти замуж.

Акбала взволновалась и обрадовалась, узнав, что их гость — поэт. Если бы аул не откочевал на жайлау, кто знает, остановился бы у них в юрте такой человек, оказал бы внимание ничтожному Отарбаю?

Казахи чтут больше по привычке святых и самого пророка, имя его повторяют без должного священного трепета. Оказывая духовным лицам все знаки почтительности, они ничего, кроме презрения, к ним не испытывают. Зато нет для вольного степного народа никого выше акына — поэта, которому дано от бога так слагать стихи, что давно знакомые слова обретают неожиданный смысл, поэта, которому предоставлено право судить людей и их поступки — будь ты последний бедняк в худом чапане, будь ты сам султан... Он судит их в своих стихах

---

[1] Пирканшык — искаженное: приказчик.

[2] Манкур и Нанкур — два ангела, следующие за человеком и ведущие счет его поступкам, добрым и злым.

и песнях, которые народ хранит потом в своей памяти, и они тревожат или утешают, зовут...

Акбала с молоком матери впитала это уважение, потому она и беспокоилась сейчас, как бы достойнее принять необыкновенного гостя, и, как всякая хозяйка, опасалась, что не сумеет этого сделать. А тут еще этот глупец Отарбай мямлит, что гость не велит резать барана. Как будто у нее в доме кто-то может устанавливать свои законы гостеприимства!

Вообще со вчерашнего дня Акбала не узнавала своего мужа. Он ходил какой-то потерянный и был похож на человека, который норовит стянуть что-то у себя же в доме. Все валилось у него из рук — утром он выронил пиалу с чаем. Еще два дня назад он собрался вместе со всеми откочевать на жайлау, а потом неожиданно переменил решение.

Он важно объяснил домашним:

— От волостного получил наказ. Послезавтра приезжает какой-то кемесар. Надо подготовить для него свежих лошадей.

А перед самым приездом сказал Кайсару, чтобы он угнал коней обратно в табун.

Акбала ничего не могла понять. Когда приехавший молодой красивый жигит уже сидел в отау, а она месила тесто в большой юрте, Акбала спросила у мужа, не скрывая раздражения:

— Чего ты себе места не находишь? А ты знал, что наш гость не просто кемесар, а большой акын? Знал или нет?

— А тебе какое дело? — привычно огрызнулся Отарбай. — Тесто свое лучше меси, занимайся своим бабьим делом.

— Не учи меня! Но если ты знал, что гостем будет этот акын, знал и не сказал мне, то еще не раз пожалеешь! Я тебя научу, как тесто месить!

Обычная перебранка. Аклиме надоело слушать, и она вышла из юрты. Сумерки постепенно сгущались. Сумерки укрывали необозримую степь, словно задергивался над ней непроглядный черный занавес. С озера доносился сонный гогот перелетных гусей. Перекликались лебеди. Лягушки в любовной истоме завели свои песни. И такой же естественной среди всех вечерних звуков была мелодия, которую выводили на домбре искусные пальцы.

Аклима вздрогнула — она не заметила подошедшего

к ней Кайсара, просто почувствовала, что кто-то взял ее за руку.

— Кайсар... Ты?

— А ты думала, кто? — мрачно спросил он.

Аклима не ответила. Домбра продолжала негромко звучать.

— А ты стихи его знаешь? — нарушил Кайсар молчание.

— Некоторые знаю.

— Нравятся?

Она и на этот раз промолчала. Кайсар, вздохнув, сказал:

— Хочешь посмотреть на него? Акын... Жигит...

Он тянул ее за руку к отау.

— Ты что? Стыдно ведь, — возразила она, но неуверенно, и Кайсар, не слушая возражений, подвел ее к войлочной стене.

Аклима прильнула к щели.

Акын в эту минуту был один, потому что Отарбай по-прежнему препирался с женой. Вернее, акын был не один, а с домброй. В эту минуту, может быть, он слагал про себя высокие слова о народе, который выходит на новую дорогу, о крутых перевалах времени, которые предстоит преодолеть, о красных соколах, чьи крылья не в силах опалить огонь... А может быть, про верную любовь? Он был еще красивее, чем тогда, когда подъезжал к юрте, и Аклиме удалось мельком взглянуть на него.

Она вдруг почувствовала огромную благодарность к Кайсару, который — она это знала, она сегодня стала взрослой девушкой — пожертвовал сейчас собой ради того, чтобы она могла вблизи увидеть поэта.

— Кайсар, родной! Какой ты хороший, — едва слышно шепнула Аклима.

— Что? Сразу влюбилась?

Сегодня ведь и он стал взрослым жигитом.

А потом... Потом началась суматоха. Конский топот нарушил покой ночи. Всадники разговаривали хмурым шепотом. Время от времени, словно чуя опасность, на озере гоготали гуси.

Кто-то сипло рычал в стороне на Отарбая:

— Не хнычь, дурак! Или ты воображаешь, что я у тебя, у такого слюнтяя, буду спрашивать, как мне поступить? Что мне можно и чего нельзя? Заткнись и делай, что тебе сказано!

В большой юрте ярко горел огонь в очаге, пламя фиолетовым отблеском плясало в глазах связанной по ногам овцы. Старик чабан, поплевывая на брусок, деловито точил нож. Аклима, чтобы не видеть крови, хотела уйти. Но тут прибежала насмерть перепуганная Акбала.

— Ойбай!.. Беда у нас в доме. Скорей, Аклима, пиши ему: акын-ага, вас хотят убить. Пиши!

— Ты что... ты что, Акбала! Не могу. Боюсь!..

— Пиши! — приказала Акбала, а возражать ей было трудно, к тому же Аклима привыкла во всем полагаться на старшую сестру. Она написала записку.

Кайсар пришел за Акбалой:

— Хозяйка! Тебя ждут кумыс разливать...

— Когда будешь подавать акыну пиалу, под низ подложишь... — Она сунула ему в руку записку.

— Сделаю...

— Потом выбери двух коней, самых хороших. Поедешь с ним. Смотри, чтобы акын-ага благополучно добрался до города!

Старик чабан не вмешивался в их разговор. Он продолжал точить нож, но тут Акбала вспомнила древнее поверье: в час, когда кому-нибудь из близких грозит опасность, нельзя проливать кровь.

— Перестань, — сказала она старику. — А нож — вонзи в землю...

— Э, доченька, — ответил старик. — Ты, я вижу, забыла, как у нас полагается это делать... — И он резким броском всадил нож, но не в землю, а в серую золу с края костра.

От напряжения, от ожидания неминуемой опасности Аклима дрожала, и все остальное проходило перед ней как во сне. Она выходила из юрты и снова возвращалась. Разговор в отау то вспыхивал, то угасал. Потом раздался короткий вскрик, и упало что-то тяжелое. Из отау вышел Еркен. Возле него волчком вертелся Кайсар. «Успел, — радостно стукнуло сердце Аклимы. — О, всемогущий! Помоги ему, не оставляй его...»

И вдруг отчаянный вопль:

— Убили! Убили!

Аклима вне себя выскочила из юрты. Скрылась в темноте — и через какое-то время раздался торопливый конский топот. Топот удалялся. Аклима расплакалась. На ее всхлипывания прибежала Акбала и увела ее в юрту.

— Где же? Где же этот старик? — Акбала не могла ждать. По тому же древнему поверью овцу нужно было резать именно в эту минуту, в минуту избавления, чтобы отвести опасность от того, кому она угрожает. Она выдернула нож и, не отряхнув золу, крепко взяла овцу за голову и полоснула ножом по горлу.

— О, алла! Сохрани его...

Аклима, плача, вторила ей:

— О, алла, о, алла!..

— Не плачь. Кайсар выбрал лучших коней...

Вскоре стало тихо. Двое пустились в погоню. Остальные вынесли Токе, уложили его в тарантас, на котором приехал Фарид, — сам Токе ходить не мог, ногу он подвернул при падении и опалил в огне. Его повезли в волость к фельдшеру.

Аклима прилегла рядом с матерью. Но лишь перед восходом солнца ей удалось забыться чутким сном, который не приносит ни отдыха, ни успокоения. Догнали?.. Не догнали? Этот вопрос мучил ее всю ночь. Когда она открыла глаза, ее мать и Отарбай сидели у очага. А снаружи громко, чтобы и в юрте было слышно, бранилась Акбала:

— Я думала — минует нас черная беда! А он, оказывается, и еще одну пакость задумал. Живет — все время чужие зады лижет! Баба! Такому — жаулык на голову, и чтоб ни слова не смел сказать! Будь она проклята, такая жизнь!

Ее голос приблизился. Видно, Акбале уже недостаточно было в одиночестве изливать свой гнев и свое горе. Продолжая ругаться, она вошла в юрту.

Отарбай, не поворачиваясь к ней, сказал:

— Когда аллах хочет наказать смертного, он посылает ему жену-дуру. Слушай, дура! Ты забыла про угрозу Заячьей Губы? Забыла, да? Он же пообещал, что сотрет нас в дорожную пыль.

— А ты уже и трясешься? Слушай его больше! Знаю я вас, вы все одной веревочкой спутаны. Недаром ты два дня вертелся, как будто у тебя еж под задницей! Ты ведь заранее все знал!

— Думаешь, они со мной советовались?

— Молчи уж! Я ведь все твои мысли наперед угадываю. Ты перед ними выслуживаешься, чтобы тебе достался каператып... Ты для этого и Аклиму хочешь им подсунуть, да?

— А ты воображаешь, что так уж легко стать каператыпом?

Аклима, которая лежала с закрытыми глазами, вздрогнула. Теперь речь шла о ней. «Подсунуть», — сказала Акбала. Уж наверняка тот, кому собирается отдать ее в жены Отарбай, не будет похож на этого акына с мечтательными и мужественными глазами.

Старуха — мать обеих сестер — вздохнула и сочла нужным вступить в разговор:

— Я не знаю, легко стать каператыпом или трудно стать каператыпом. Но слушай, мой зятек. Ты можешь стать хоть султаном, только, ради аллаха, не впутывай нас в свои дела, не торгуй нами. Вставай, Аклима! Уезжаем отсюда, доченька! Вставай...

Это Аклиме не надо было повторять. Она и сама понимала, что уезжать надо поскорее.

IV

Аул остался позади, в тумане. Они вымахали на большак, ведущий в город. Кайсар остановил коня, и Еркен тоже натянул поводья. Сзади, со стороны озера, приближался цокот копыт — вот преследователи тоже добрались до большой дороги. Опытному уху нетрудно было определить, что в погоню пустились двое. Двое — это не так и страшно, но ведь они наверняка вооружены.

— Ойбай! Это вороной скачет, хрипун, — сказал Кайсар, который, конечно, хорошо знал всех знаменитых в округе лошадей. — Тут у нас нет коня, чтобы он не догнал. Под мышками две дырки у него. Усталости не знает, хоть день и ночь скачи. — Кайсар был рад случаю показать свою осведомленность знаменитому человеку.

— А что за дырки такие?

— Дырки как дырки. Вроде как жабры у рыб. Он через них дышит глубже, потому и бег у него такой. Это все у нас знают.

Как ни опасно было их положение, Еркен не мог удержаться от насмешливой улыбки, но Кайсар в темноте ее не заметил.

— Как же нам теперь?.. — спросил Еркен.

— Придется с дороги свернуть. Впереди за холмами — зимовье Елемес. А за ним — Улыкуль, Кисактам, Буратал, Тас-Бекет. Оттуда я с завязанными глазами доберусь до города. Поехали, акын-ага!

Кайсар свернул влево и поскакал. Гнедой со звездочкой на лбу, что шел под Еркеном, разгоряченный и злой, тоже пустился галопом. Кайсар, приблизившись, предупредил:

— Ага, пустите коня волчьим наметом... Тогда топота не будет слышно.

Кайсар и Еркен меньше чем за версту отдалились от большака, а там уже пронеслись двое преследователей.

Кайсар никак не мог найти зимовье. Где тут Елемес, а где Улыкуль... Туман все плотнее, темень все гуще. Еркен по поведению парня понял, что он не знает, куда ехать, и стыдится перед ним. Он все чаще пришпоривает коня, поворачивает его то в одну сторону, то в другую. А глухая, молчаливая степь злорадно притаилась в темноте. Ни звука. Ни огонька. Хоть бы какая-нибудь звездочка подмигнула им с неба.

— Ага, я заблудился, — признался наконец выдохшийся Кайсар.

— Ладно, — утешил его Еркен. — До утра куда-нибудь приедем. Давай-ка оставим этот волчий намет, а то запалим лошадей. Мой гнедой все время норовит свернуть влево. Может, пустим?.. Куда-нибудь приведет. А? Как ты думаешь?

— Давайте пустим, ага. Я уже ничего не думаю, у меня башка закружилась от этого плутания.

Еркен отпустил поводья. Гнедой помедлил, словно проверяя, действительно ли ему предоставлена свобода, или это только показалось, и потом пошел, забирая влево.

Для Еркена уже не было непроглядной ночной степи. Он ушел в свои мысли. О судьбе певца Биржана думал поэт, о судьбе Биржана, которого недавно, в столкновении с Заячьей Губой, назвал отцом. По преданию, он сошел с ума в конце жизни, и Ахан-серэ тоже лишился рассудка. Почему?.. Почему все даровитые, выдающиеся люди кончают так печально?

Что мог понять в их жизни этот грубый, злобный Токе? Токе, который привык считаться только с силой... Но что-то в его словах объяснило Еркену, почему Биржан после того случая с усердным байским холуем поштабаем так и не оправился. «Совсем спятил», — сказал Токе. А как же Биржану, народному любимцу, соловью Арки, было не затосковать, если на глазах людей его хлестнул камчой какой-то посыльный! Разве мог он пос-

ле этого слагать те же гордые, тонкие и нежные песни? Какая, собственно, для поэта разница между тоской и сумасшествием? И кто из поэтов степи избежал подобной участи? Ни Биржан-сал, ни Ахан-серэ, ни сам Абай.

Еркен хотел написать поэму о Биржане. Он чувствовал в себе достаточно сил и умения, чтобы — после многих стихов — взяться за большую вещь. Сюжет для него был ясен. Он не собирался отступать от того подлинного случая, который произошел в давние времена. На празднике у волостного — Жанботы — домбра Биржана заставляла людей радоваться, грустить, думать о своей жизни. И посыльный другого волостного, соперничавшего с Жанботой, позвал певца к своему хозяину, тот отказался, и поштабай огрел его камчой, вырвал из рук домбру. Жанбота не заступился за него! Гневные слова обрушил на него Биржан: «Как позволить ты мог, чтоб поштабай дурной при всем народе избил меня камчой?»

— Ойбай, ага! Не надо, не пойте так громко, — услышал Еркен голос Кайсара.

— Не буду. Прорвалось, — отозвался он.

«Жанбота» называют эту песню в народе. Давно нет в живых враждовавших между собой волостных. Поштабай тоже лежит в земле, и никто не знает, где его могила, сгинул, как собака... «Ты унизить, Жанбота, меня позволил! Ты в грязь втоптать меня, певца, позволил!» Кто бы помнил теперь, что был такой Жанбота? «Ты в грязь втоптать меня, певца, позволил!» — сколько в словах Биржана отчаяния, боли, гнева. Он обрек на вечный позор и поштабая, и его сын Токе знает об этом, потому и ярится, хоть и старается всем своим видом показать, будто ему наплевать на этот позор. Гнев Биржана рождал слова, а слова вели за собой мелодию, которая и сегодня звучит обвинением. Зло не кончается с тем, что ушло время волостных. Еще много предстоит сделать, чтобы жизнь стала чистой и светлой, как ручей в степи.

А кто знает — может быть, гнев и отчаяние Биржана усугубляло еще и то, что во время пения и стычки с поштабаем на него украдкой взглянули чьи-нибудь быстрые удивительные глаза...

— Скажите, ага, — прервал ход его мыслей Кайсар.— Вы этому верзиле с рваной губой, этому Токе — горло перерезали?

— Что-о?..

— Он так упал, как мертвый...

— Нет, что ты! Я ударил его ребром ладони в висок.

— И что? Он помер?

— Нет, только сознание потерял. Очнется.

— Жаль! Надо было так, чтоб околел. Говорят, этому разбойнику ничего не стоит пролить человеческую кровь. Но теперь, может, хоть хромой будет. Даст бог, сухожилие ему пережжет... Ногой он прямо в огонь попал.

Еркен взглянул в его сторону, но тьма сгустилась перед рассветом, и он голову гнедого не видел впереди себя, не то что спутника.

Парень замолчал, и Еркен тут же забыл о коротком разговоре с ним. Перед его глазами появилась девушка у входа в юрту, слегка освещенная пламенем, но все же достаточно, чтобы увидеть на ее лице и печаль, и мимолетную улыбку, и сдерживаемый страх. Сколько самых разных чувств — и в одну лишь долю секунды — может выразить лицо. Ему хотелось думать, что это его приезду она обрадовалась, а испугалась — из-за той опасности, которой он подвергался.

— Слушай, записку ты писал? — спросил Еркен.

— Какой там! Я же неграмотный, — отозвался невидимый Кайсар. — У нас гостит сестренка хозяйки. Вот Акбала-апа ее и заставила. Акбала-апа такая пастырная, глаза у нее все видят! А сестра ее сперва не хотела писать. Плакала. Как, говорит, я могу ему написать такие слова: акын-ага, вас хотят убить.

Кайсар не догадался назвать ее, а Еркен постеснялся спросить. А может быть, и лучше, что он не знает ее имени? Она так и останется для него символом красоты, добра, женственности. А почему — останется? Разве они никогда больше не встретятся?

Темнота начала рассеиваться. Впереди — по-над берегом болотистого озера — теснились юрты аула. Возле них бродили разномастные коровы, рядом паслись овцы и козы. Гнедой под Еркеном встрепенулся, пошел легкой горделивой рысью, хоть позади у него была нелегкая ночь, долгий путь.

Кайсар сразу встревожился:

— Что это ваш гнедой так обрадовался? Не привел бы он нас к себе в аул. Может, не заедем, ага? Свернем?

Еркен не успел ответить. Гнедой заржал, высоко задрав голову.

— Да, ладно, — сказал Еркен. — Хоть дорогу узнаем до города.

На конский топот, на ржанье гнедого из юрт повысыпали люди. Они всматривались в незнакомых путников. С чего бы? Испокон века у казахов не принято вставать в такую рань — восток еще даже не заалел, только чуть-чуть порозовело небо.

Юрты приближались. Уже можно было расслышать:

— Апыр-ау! Смотрите, гнедой-то — наш!

— Наш, наш. Видите — звездочка на лбу.

— Только — что за люди?

Пока всадники подъехали, мужчины успели разойтись. Кто в юрту, кто за юрту. Ведь как знать, кем еще окажется этот всадник в городской одежде, чего ему здесь понадобилось. Остались одни женщины — поразведать, что за путники, увидеть, что-то будет дальше. Время такое — иной раз лучше, когда в ауле не оказывается мужчин.

Из продымленной серой юрты выскочила женщина и, увидев незнакомцев, заголосила:

— Ойбай! Ойбай! Конь пришел, а хозяина нет! Где хозяин?.. Куда его дели? Убили?

— Оу, ты что, мужа своего не знаешь? — спокойно сказал Еркен. — Кто его убьет? Что он — бандит или барымтач?

— Какой там! Человек, как все. Жив ли он, мой муж?

— Жив, жив. Скоро и сам прискачет сюда.

Из этой же юрты вылез оборванный мальчонка лет десяти. Потянулся, почесал живот и, скривив рот, уставился на путников. Неожиданно он ухватил гнедого за узду.

— Слезай, слезай! — пронзительно закричал он. — Наш конь!.. Наш! Слезай, нечего ездить на нашем коне!

Кайсар тронул своего коня и оттеснил мальчишку. Еркен заметил мужчину, который осторожно выглядывал из-за юрты, стараясь получше рассмотреть подозрительных гостей, услышать, с какими вестями они пожаловали. Он подозвал этого мужчину и подробно расспросил, какие тут по соседству расположились аулы и где дорога в город. Оказалось, в пяти верстах — русский поселок.

— Женгей, перестань, — сказал Еркен продолжавшей причитать женщине. — Никуда твой муж не денется. А своего сорванца посади к этому парню. Доберемся до поселка, и там вернем ваших коней, он их назад и приведет.

Отъехав, Еркен обернулся — посмотреть, не станет ли кто-нибудь их преследовать. Аул-то, по всему видно, не очень мирный... Разбойничий аул. Но среди серых юрт, похожих на сложенный в кучи кизяк, было спокойно. Люди смотрели им вслед и, видимо, обсуждали их неожиданное появление. Может быть, посчитали за друзей Токе?

Мальчишка, их провожатый, вел себя как злобный волчонок, попавший в плен. Еркен подумал — жаль парнишку, жаль, что он появился на свет в такой семье, что кровь деда, презренного поштабая, течет в его жилах. А отец? Чему может научить такой отец, как Токе?

Чего только не выделывал по дороге этот мальчишка! Он хватал сзади Кайсара за горло и не шутя душил его. Или, ловко изогнувшись, бил коня пяткой в пах. Белый испуганно взбрыкивал, шарахался в сторону, ошалело пускался вскачь. Кайсара, понятно, не так просто было выбросить из седла. Но это ему надоело, и он разок-другой хлестнул назад камчой по голым бедрам сорванца. Тот орал, свистел, шипел, ругался на всю степь. Потом визгливо-торжествующе хохотал и начинал все сначала.

В поселке, у здания местного совдепа, всадники спешились. Сын Токе, пересев на гнедого и ведя второго коня в поводу, на прощанье крикнул:

— Эй, вы! Отцов я ваших!.. А мой отец встретит вас — живыми не будете!

...От аула к аулу, нанимая свежих лошадей, Еркен и Кайсар только к вечеру добрались до города, до Караоткеля. Далеко же в сторону увел их гнедой с приметной звездочкой на лбу.

Не заезжая домой, Еркен отправился сразу в редакцию недавно родившейся казахской газеты «Тиршилик» («Жизнь»). По дороге он невольно обратил внимание: что-то много в городе пьяных. А, завтра какой-то православный праздник. А у русских есть пословица: кто празднику рад, тот накануне пьян.

В редакции сидел секретарь — Карим. Один из тех двух, которые вместе с редактором и составляли весь штат. Они дежурили поочередно, один днем, другой вечером. Чтобы всегда был кто-то, кто мог бы принять посетителя, поговорить с ним, помочь написать заметку. Зарплаты не было. Ни у секретарей, ни у редактора.

Хоть Еркен, как истинный сын степи, и привык к седлу, но все же он сейчас с удовольствием опустился на стул, который, по крайней мере, не ерзал под ним, не поровил свернуть куда-то в сторону.

Карим оторвал голову от сырых, пахнущих типографской краской гранок.

— А-а, явился, неутомимый кочевник, поэт, редактор, комиссар просвещения! Ну, повсюду создал, во всех аулах, Советскую власть?

— Повсюду, повсюду, не то, что надо, — в тон ему ответил Еркен.

— И цел остался?

— Почти что... Послушай, Карим... Вот — Кайсар... Он помог мне выбраться из большой неприятности. И потому в аул ему возвращаться нельзя. Ты прими-ка парня на работу. И поживет пусть пока у тебя, ты же знаешь мою хозяйку.

— Принять можно. А ты грамотный? — обратился он к Кайсару, который скромно сидел на корточках почти у самой двери.

— Нет... Еще не учился.

Еркен вступился:

— Неграмотный — ну, так что ж? Ты его грамоте заодно и обучишь.

— Понятно, — сказал Карим. — Ну, Кайсар, будешь моим заместителем. Согласен? Возьми вот эту бумагу и дуй в типографию. Как выйдешь свернешь влево. Третий дом отсюда. Там наборщик есть, старик, Гиззат-ага. Ему отдашь.

Кайсар кивнул и так же молча побежал выполнять первое редакционное поручение.

— Ну... Теперь дома посидишь? Напишешь о поездке?

— Еще бы! Кое-кто надеется в аулах, что мы — ненадолго. Надо их огорчить. Статья будет. А стихи мои получил?

— Два идут в завтрашнем номере. А третье!.. Хочешь, бей меня, хочешь — убей, но это бред какой-то, а не стих!

— Смотри-ка! — притворно удивился Еркен. — Я ж нарочно прислал все три. А ты, оказывается, научился разбираться в стихах.

Ему не надо было спрашивать, какое из трех забраковал Карим. Он сам чувствовал, что в том стихотворе-

ние слова получились вялыми, невыразительными, строчки спотыкались, как приуставшие кони, и не выражали того, что хотел сказать автор. Но шутки шутками, а для Еркена Карим был всегда самым первым слушателем и ценителем стихов, доброжелательным и придирчивым, который никогда не прощал неудачной строки, плохой рифмы или расплывчатой мысли.

Они обменялись новостями, поговорили о том, какие материалы идут в завтрашнем номере и что именно напишет об этой поездке Еркен.

— А теперь иди, — сказал Карим и снова склонился над гранками. — Ради самого старого аллаха не мешай мне. Куда это годится, чтобы работа страдала из-за пустопорожней болтовни о каких-то стишках. Топай скорей в свой совдеп, к своим комиссарам. Они там уже охрипли от споров.

В совдепе Еркен застал почти те же разговоры, что и две недели назад.

Сразу ему сообщили:

— Вчера мы тут совещались, и кто-то пульнул камнем в окно. Вон, в углу валяется, целый булыжник... Угодил в Ефрема. Сидит теперь с завязанным глазом, как после хорошей попойки. Хорошо, хоть пулю не пустили.

— Что вы все про мой глаз? Я ж от вас, чертей, не уплаты за свой глаз требую. Давайте наконец договоримся: заставим мы купчишек и всех прочих богатеев открыть свои лавки?.. Заставим или нет, я спрашиваю?

— А как ты заставишь? Сила у тебя есть, чтобы их принудить?

— Тогда давайте создавать свой батальон.

— Ишь, хватил! А где оружие? Чем ты будешь кормить бойцов?

— О чем тут спорить? Хлеб нужен городу?

— Нужен.

— Керосин нужен?

— Так вот, все это под замком на складах у буржуев.

— А без тебя мы этого не знали.

Положение, действительно, было сложным, если не сказать — отчаянным. Железной дороги нет. Никакой связи с далекой революционной Россией у заброшенного степного городка — тоже нет. Керосин, спички, топливо, соль и хлеб, хлеб!.. От разговоров — всего этого не прибавлялось. Совдеп принял постановление: изъять това-

ры, которые торговцы прятали до лучших времен. Но принять постановление было легче, чем его выполнить. Совдеп обложил состоятельных горожан налогом на общую сумму три миллиона рублей. Мельницы — ветряные, паровые, водяные — удалось национализировать, но запасы зерна таяли. Молоть было больше нечего. Все административные учреждения находились под контролем совдепа. Но положение по-прежнему оставалось тревожным, как понял Еркен, вернувшись из поездки по аулам.

Засиделись они далеко за полночь, а так ни до чего и не договорились.

V

Еркен неторопливо шел домой по тихим ночным улицам.

Окна в домах давно погасли. Только одно попалось, в котором был свет. Оттуда доносились голоса, кто-то затянул песню, но тут же ее оборвал.

Вот так же допоздна они засиживались в Омске, где тогда учился Еркен. Только споры у них были другие. О поэзии. О красоте. О мужестве и человечности. О поэтах и художниках, которые становятся голосом народа и его глазами.

Сколько было сломано пик во имя прекрасной Моны Лизы! Великий Леонардо был влюблен в свое творение и никогда не расставался с ним. Иные пытались объяснить его пристрастие лишь восхищением перед женской красотой, влечением к совершенству. Художник ведь — живой человек, и в его груди горячее сердце мужчины.

Но спор, в общем-то, был не об этом. На печальном лице молодой женщины, недавно потерявшей мужа, на одно лишь мгновение мелькнула улыбка, и над этой загадочной улыбкой уже несколько столетий люди ломали головы. И Еркен ломал, встречаясь с прекрасными темными глазами. Для себя эту загадку он разгадал. В жизни каждый день, каждый час неповторим. Не по одной колодке скроены они. И в жизни человека бывает не одна лишь радость, не одно лишь горе. Едва уловимая улыбка на лице скорбящей женщины — вот что было главным для художника, и Еркен был так в этом уверен,

будто сам Леонардо делился с ним сокровенными замыслами, создавая свою Мону Лизу... Отчего улыбнулась кроткой мимолетной улыбкой печальная молодая женщина? Лучшие дни прошедшей любви ей вспомнились? Или мелькнула надежда на будущее? Неизвестно, и никто никогда этого не узнает. Но только разомкнулись сгустившиеся тучи горя, и пробился к ней неяркий солнечный луч. «А почему это тебе пришла сейчас на ум Мона Лиза?» — обратился к Еркену Еркен.

От самого себя не было смысла скрывать: это неизвестная девушка, мелькнувшая на мгновение возле юрты, освещенная слабым пламенем костра, она, на лице у которой были и страх, и надежда, и радость, и сомнение, — вот что навеяло омские воспоминания о Моне Лизе, о бессмертной Джоконде. У каждого, кто пишет — независимо от того, великий он или малый, — должна быть своя Джоконда. Он не знает имени этой девушки и никогда ее, быть может, больше не повстречает, но как хорошо, что она есть, и сейчас — там, на берегу озера Кзыл-Мола — радуется, что проезжему акыну и Кайсару удалось уйти от погони.

Придя домой, Еркен залпом выпил стакан холодной простокваши, оставленной хозяйкой, и присел к столу. Лампа-пятилинейка едва мерцала, сузив до сумрачного уголка огромный мир, который вмещал в себя и загадку Моны Лизы, и верзилу Заячью Губу, и прекрасную девушку в доме косоглазого Отарбая, и подбитую скулу Ефрема, и разговоры в совдепе про хлеб и оружие.

— Ложился бы, комиссар, — проворчала за перегородкой хозяйка. — Сам знаешь, не даете вы нынче керосина...

Еркен ничего не ответил. Он только чуть прикрутил фитиль и придвинул лампу поближе. Спать ему не хотелось, хоть он и провел почти сутки в седле. Он знал в себе это состояние обостренной восприимчивости, когда слова начинают появляться — одно слово за другим, и рождается образ, мысль, чувство...

Казалось бы, он будет писать о девушке, поразившей его воображение. Но на листке он арабской вязью вывел «Хлеб». Он думал о том хлебе, который лежал на складах, а рядом ходили голодные люди... О хлебе писал он, и строки поднимались на листке — строка за строкой, и все равно это были стихи о девушке, может быть, — для девушки, потому что время от времени Еркен отрывал-

ся и старался представить себе, какое у нее будет лицо, когда она прочтет вот эту строку или вот эту.

Унылая пятилинейка начала чадить, когда он кончил про хлеб. Но остановиться Еркен уже не мог, и рука сама вывела на другом листке «Плач лампы». Плач тускло мерцающих, обескровленных ламп — сам просился на бумагу.

В дверь постучали. Один раз, два, три... На своей постели заворочалась хозяйка:

— Комиссар, ты сам пойди открой. Опять, верно, твои дружки. Вот и вчера они приходили. Сказал бы, чтоб не шлялись по ночам. Боюсь я...

Еркен прошел в сенцы. Что там такое стряслось, что в совдепе не могли подождать до утра? Он откинул засов и, торопясь записать родившуюся строку, направился обратно к себе...

— Стой! — раздалось у него за спиной.

Он вздрогнул от неожиданности. Он обернулся. Двое вооруженных стояли в дверях, с ними — пучеглазый Фарид, быстро же он добрался от Кзыл-Мола обратно в город! Уже сейчас-то он не протягивал руку для приветствия...

— Ты арестован!.. Кончился ваш совдеп!

При последних вспышках лампы у себя в комнате Еркен положил на стол деньги за квартиру. Фарид, увидев бумаги, подошел, взял листок, на котором было написано «Хлеб», и другой — с неокопченным «Плачем лампы». Он повернулся к Еркену:

— Ты думал, если сбежал из Кзыл-Мола, то и вовсе ушел от нас?.. Вот тебе хлеб! — Он сложил и показал ему кукиш. — «Плач лампы»? «Я была рождена, чтобы людям светить...» Хо! Акын!

Еркен молчал. Он ни слова не произнес с той минуты, как резкий окрик: «Стой!» вырвал его из мира стихов. С улицы — издалека — донесся одинокий винтовочный выстрел.

Листки со стихами Фарид сунул в карман. Хорошо хоть, стихи не пропадут. Еркен все там помнил от слова и до слова.

На улице скакали верховые, кучками двигались вооруженные люди. «Кончился ваш совдеп»? Нет, врешь, Фарид!

— Шагай, комиссар. Да поживей! В царство свободы!

У выхода из дома камча больно стегнула его по непокрытой голове. Кончик угодил по лбу, и кровь теплой струйкой заливала ему левый глаз, стекала к уголкам губ. Это впервые в жизни Еркен узнал вкус собственной крови, она была солоноватая... Это впервые в жизни кто-то осмелился поднять на него камчу — это сделал купеческий сынок Фарид, такой решительный и храбрый с безоружным человеком.

Стало уже светло. Тягучий колокольный звон обволакивал город. С минарета большой мечети на главной площади торжественно звучал азан. «Аллаху акбар!.. Аллаху акбар!..» Они сегодня не прекословили, а вторили друг другу — эти голоса извечных врагов, православной церкви и мусульманской мечети. Кажется, никто в эту ночь не спал в городе. Народ повалил на улицу, и такое столпотворение Еркебулан, пожалуй, наблюдал только в тот день, когда сюда дошла весть о свержении белого царя.

На площадь согнали много арестованных, со всех концов города. Страшно было смотреть на них: избитые, окровавленные, опухшие... Одежда изорвана в клочья. Еркену как-то не пришло в голову, что сам он, должно быть, выглядит не лучше.

В толпе было много таких, которые только вчера старательно сдергивали шапки, встречаясь на улице с кем-нибудь из совдепа. Владельцы мельниц и кожевенных мастерских, торговцы, офицеры — все они пришли на площадь, чтобы насладиться зрелищем поверженного, как они считали, врага. И каждый норовил наотмашь, похлеще ударить пленника, ударить так, чтобы зубы вон, чтоб кровь из носу... Изможденные люди сплевывали и молчали.

Еркена ухватил за волосы знакомый купец и хрипел от ярости, пока часовой не отогнал его, чтобы не задерживать движение колонны. Но тот все же успел — унести клок волос, несколько пуговиц, порвать воротник рубашки.

Полгода назад Еркен около месяца жил на квартире у купца. У того была дочь: рыхлая девица с короткой шеей и грудями, как колокола на церкви. Маслеными глазками она умильно посматривала на мужчин, которые торопливо проходили мимо, если сталкивались с ней на улице. Купец открыто подсовывал неудавшуюся дочь квартиранту, расписывал ему прелести и радости, кото-

рые ждут того, кто свяжет свою судьбу с его дочкой. Еркен плюнул, съехал с квартиры. И сейчас купец рассчитывался с ним за нанесенное оскорбление.

Еркен молчал. Надо выстоять, чего бы это ни стоило! Он верил, он знал, что это еще не конец. Борьба, борьба не на жизнь, а на смерть, была еще впереди. И тюрьма длиною в девять месяцев и девять дней — тоже была впереди.

Штабс-капитан Сербов, монархист по убеждениям, допрашивал Еркена. На столе перед ним лежала тонкая изящная камча — стек.

— Ты большевик?

— Большевик.

— Комиссар?

— Комиссар.

— И еще, кажется, редактор газетки?

Кажется!.. Почему это ему кажется, когда всем в Караоткеле доподлинно известно, что Еркебулан — поэт и редактор новой газеты «Тиршилик».

— Да, я редактор. Это не ложь.

— Воюешь за советскую власть? Признаешь, что вы провели уездный съезд совдепа?

— А мы этого никогда не скрывали.

— А среди тех, кто разгонял земство, ты был?

— Да, был.

— А почему ты против земства?

— Потому что земство присягнуло на верность Временному правительству и потребовало от своих делегатов служить ему. А мы это правительство не признали.

— Так... Понятно. Но ведь ты, насколько мне известно, и против создания уездного отделения Алаш-Орды выступал. Ты их тоже разгонял?

— Да, тоже.

— А почему, позволительно мне будет спросить, ты выступаешь против своих?

— «Своих»... Кто хоть немного разбирается в сути событий, тот так не скажет... Алаш — это не мои. Националисты воображают, что свобода для них — это создать свое ханство, где баям будет еще вольготнее, чем раньше. Алаш-Орда — это их партия. Мне с ними не по пути. Я против них.

Помахивая стеком, выпуская кольца дыма, играя массивным портсигаром, временами хмурясь, три часа его

допрашивал этот красивый штабс-капитан. Уговаривал, угрожал.

Три часа стоял перед ним поэт, не поддаваясь уговорам, не пугаясь угроз. Сербов загадочно посматривал на него. В эти дни перед ним прошли десятки людей. Были и такие, что на первом же допросе теряли все мужество, раскалывались и говорили даже больше, чем было им известно. Этот — из других. Но пускать его сразу в расход не советуют. Он, видите ли, поэт! А в этой дикой степи — поэт нечто вроде живого святого. Его убийство может вызвать недовольство у местных казахов, оттолкнуть их от алашордынцев, которые и без того не слишком пользуются влиянием. Но повозиться с этим Еркебуланом, по видимости, придется немало! Убить — не убьешь, но прижать его можно и нужно.

Сербов вызвал конвой и приказал тут же, у него в кабинете, заковать арестованного в кандалы.

— Желаю... — улыбнувшись, сказал штабс-капитан, — желаю, чтобы цепи оказались прочными и не износились до конца дней твоих...

— И я... — тоже улыбнулся Еркебулан. — В тот день, когда цепи будут на вас, считайте, что я пожелал вам то же самое.

...Узники ютились в холодной камере, на каменном полу.

Здесь, где с трудом могло бы уместиться человек двадцать — тридцать, находилось их больше ста. Кандалы были не на всех. На всех кандалов просто не хватало, и тюремное начальство, и штабс-капитан Сербов приберегали их для особо несговорчивых.

Еще с царских времен в тюрьме сохранились арестантские куртки и брюки из полосатого, черного с желтым, грубого холста. Еркен недоверчиво оглядывал сам себя в этом одеянии. Он готов был биться головой о стену при мысли об униженнях, которым его подвергают враги. Но он сдерживал себя. Орел за решеткой, лев, томящийся в клетке в железных цепях, — они ведь тоже готовы каждую минуту вырваться на волю.

Он горько упрекал себя и своих товарищей за то, что они позволили подготовить и совершить этот контрреволюционный бунт. В камере иногда вспыхивали бурные споры, кто-то пытался на кого-то свалить ответственность за все случившееся. В таких случаях Еркен говорил, что виноваты — все. Не хватило опыта. Отказала

осторожность. Не проявили революционной бдительности. Пока они вели разговоры о том, как заставить торговцев открыть лавки, где добыть оружие для батальона, притаившиеся до поры до времени офицеры и алашордынцы сумели захватить их врасплох.

Минутами Еркен уже не надеялся на то, что когда-нибудь вернется в ту жизнь, которая осталась за этим гнусным каменным мешком! Как-то раз, не в силах больше томиться на месте, он вскочил, подпрыгнул, ухватился за железную решетку и подтянулся к окну на руках.

Он увидел всего лишь небольшую площадку — зеленую лужайку и голубое небо вверху, и даже грубые ржавые прутья решетки не могли испортить этой живой зелени и прозрачной голубизны. Не отрываясь, смотрел на площадку Еркен, и ему казалось, что на всем свете нет более прекрасного уголка. Глупец!.. Сколько таких лужаек он встречал в жизни и равнодушно проходил или проезжал мимо. Ему казалось, он грудью чувствует прохладу травы... Но это была сырость тюремной стены.

Закованный поэт теперь несколько раз в день припикал к окну, не боясь, что какой-нибудь стражник может пальнуть в него — подходить к окнам было строжайше воспрещено, это было одно из самых тяжких нарушений тюремного режима.

Он уже знал: ежедневно, почти в одно и то же время, по лужайке важно выступала белая гусыня со своим выводком. Гусята — еще неуклюжие, с желтоватым нежным пушком, смешно переваливаясь, подергивая хвостиками, чинно тянулись за матерью и пищали. Потом они стали самостоятельнее, и матери уже иной раз приходилось щипнуть кого-нибудь из них разок-другой, чтобы заставить слушаться.

Если же Еркен поворачивал голову влево, — там, шагах всего в ста пятидесяти, вела вдоль речушки проезжая дорога. По ней на быках, на лошадях, на бричках, груженных кизяком, с утра до вечера двигались городские жители.

В камере было душно, сыро. Лишь по утрам в единственное окошко доносился прохладный степной ветер. Иногда раздавалась трель жаворонка. Сердце у Еркена начинало щемить, и он, не обращая внимания на гремящие кандалы, кидался к окну, подтягивался... Может быть, и глупо было рисковать получить пулю в лоб. Но

он не в силах был отказаться от этих рискованных «прогулок», как он их называл.

С некоторых пор он замечал на лужайке совсем юную девушку. Она прохаживалась здесь, пристально вглядываясь в тюремные окна. Черная плюшевая безрукавка, белое шелковое платье с оборками, на голове — удивительно идущая к ней черная шапочка, украшенная перьями филина, надетая немного набекрень. Рослая и стройная...

Увидев ее впервые, Еркен потерял покой. Не она ли это? Не та ли девушка, увиденная в ауле сумрачным тревожным вечером? Она или не она? Правда, ее лицо было плохо видно отсюда. Глаза, как черная смородина, черные шелковистые волосы, следы печали на чистом лице — все это поэт выдумал, все сам дорисовал в своем пылком воображении.

И все равно Еркен мысли не допускал, что это может быть какая-нибудь другая девушка. Нет, та самая, которая в доме у Отарбая писала записку: «Ага, эти негодяи собираются убить вас». Неокрепший полудетский почерк. Убить — палочки и крючки еще более неуверенные, видно, как дрожала у нее рука, когда она выводила это страшное противоестественное слово.

Еркен, стиснув зубы, изо всех сил рванул на себя железную решетку, но четырехгранные толстые прутья не поддавались.

Арестанты встревожились:

— Что там такое? Что произошло?

Еркен ничего не ответил. Что он мог им сказать, как объяснить, кто эта девушка и что она для него значит.

Дни тянулись томительно долго, а ночи были еще страшнее, а когда удавалось забыться тревожным сном, сон скоро прерывался от лязга кандалов, от глухих ударов о пол прикладами. «Про-о-щай-те, то-о-ова-ри-щи!..» Среди этих голосов, измененных предчувствием близкой смерти, Еркебулан распознал однажды голос Ефрема, того самого, которому подбили глаз, и друзья утешали его, что до свадьбы заживет. Ефрем действительно собирался вскоре жениться на дочери рабочего с салотопенного завода. Говорили, что расстреливают беляки за городом, за рощей, где раньше собирались на тайные маевки.

И уже не было сна, а мысли снова возвращались к тому, как же они допустили, чтобы офицерье захватило

их врасплох, и где теперь Кайсар, удалось ли скрыться Кариму.

Иногда его гнев и ненависть и любовь просились в стихи, и строчки начинали складываться в голове. О свободе он писал, которой был лишен, о том, что мало любить свободу, надо еще и уметь биться за нее.

Время в застенке ползло, точно повозка, запряженная волами. Еркебулан однажды добирался на них в Караоткель из поселка, где для него не нашлось лошадей. Какое-то разнообразие вносили допросы. Сербов, правда, становился все настойчивее и, видя бесполезность своих усилий, уже пускал в ход стек, а не только поигрывал им, и многозначительно говорил: «Может быть, и тебе хочется прокричать «прощайте, товарищи»? Твое упрямство к этому приведет в конце концов». А в камере Еркен рассказывал об этом легко, остроумно, — как бесится Сербов, как конвойный попросил Еркена — «комиссара», чтобы он заступился за него, когда снова придут красные... Многие после допросов подавленно молчали, сцепив руки на коленях и уставившись глазами в одну точку. Еркен знал, что нельзя отчаиваться, но только ему одному было известно, чего стоит — владеть собой и развлекать товарищей по камере рассказами о Сербове.

Подложив под голову подушку, набитую трухлявой соломой, поэт устроился на голом полу. И вдруг — вскочил и бросился к окну, хотя только оглядывал лужайку и проезжую дорогу. Вот сейчас, в эту минуту, должна появиться о н а.

Как он угадал! Едва он прильнул к железным прутьям, на площадке перед тюрьмой появилась девушка. Но сегодня она была не по-обычному тороплива. Почему так спешит? Куда? Как заглядывает в окна! А кто эта женщина в кимешеке, которая подбежала к ней, сердито схватила за руку и начала выговаривать. Девушка ей не отвечает. Кажется, она даже не слышит. Застыла — смотрит на тюремные окна. На полном скаку осадил возле женщины вороного коня какой-то жигит. Он замахал руками, показывая назад, что-то возбужденно говорил. Но девушка и его не слышала, и ему ничего не отвечала. Еще раз обвела взглядом окна и как-то сразу сникла. И медленно, словно навсегда прощаясь с кем-то, повернулась к женщине в кимешеке.

Пальцы у Еркена разжались, и он упал на каменный пол, и глухо звякнули кандалы.

Арестанты всполошились:

— Что такое?..

С этого дня он вдвое дольше висел на окне, но больше так и не увидел девушку.

Наступила осень. Гусята стали совсем взрослыми и больше не нуждались в материнской опеке. Потом и снег выпал, ударили жгучие морозы Арки. А юная девушка в плюшевой безрукавке и белом шелковом платье?.. Как бы она была одета теперь? Еркен думал о ней наяву. А ночью она приходила к нему такой, какой он видел ее однажды у юрты, на берегу озера Кзыл-Мола, и такой, какой она прохаживалась вдоль тюремной стены, приходила настоящая и придуманная. Она или не она? Кого она искала здесь? Неужели?.. Неужели она искала его? При этой мысли о несостоявшейся встрече, которая должна была бы принести ему счастье, сердце поэта наполнялось болью. И он знал, он чувствовал, что никогда уже не излечится от этой боли.

VI

— Когда я только избавлюсь от этих бродяг!..

Отарбай произнес это вместо ответа на учтивое приветствие, произнес громко, нисколько не стесняясь, что путник уже вошел в отау и нерешительно остановился у двери. Это был рослый мужчина лет сорока, он оброс густой бородой, в бороде, при ярком свете пятидесятилинейной лампы, можно было рассмотреть серебряные прожилки. Весна стояла холодная, и он был в просторной шубе, на голове ушастая шапка «кулакшын», на ногах — громоздкие, набухшие от сырости сапоги, подвязанные снизу бечевками и сыромятными ремешками.

Бродяг по нынешним временам действительно развелось много. Голод погнал их от родных очагов, и они пошли по миру. Но все эти бедствия, как видно, обходили стороной хозяина юрты. Видно, капералып — это не то что какой-то бесправный ямщик, которым помыкает кто хочет. Новые подушки и одеяла, новые кошмы. Прежним осталось то, что Акбала не ладила со своим мужем.

— От хорошей жизни как будто становятся бродягами! — сказала она, чтобы только сказать что-то ему наперекор. — Чем насмехаться и ворчать, позвал бы человека к дастархану.

Она немного помолчала, как бы давая возможность ему — хозяину дома — исправить свою оплошность и проявить гостеприимство. Но он и не подумал воспользоваться этой возможностью.

— Присаживайтесь, — сказала Акбала. — Пейте чай.— Она протянула ему пиалу.

На дастархане, словно отара перед закатом солнца, рассыпался курт, примшик, лежали крупные ломти пресной лепешки. Перед Отарбаем белел кусок сахара. Возле Акбалы, возле пожилой женщины, сидевшей по соседству с почетным местом, путник сахара не заметил.

Он оказался не жадным до еды, не набросился, как можно было ожидать, на хлеб и примшик. Только небольшой кусок лепешки съел и выпил всего лишь две пиалы черного чаю.

— Спасибо...

Он говорил отрывисто, коротко. Сперва он боялся, что Отарбай или Акбала узнают его по внешнему виду. Но если бы ему сейчас, год спустя, удалось бы взглянуть в зеркало, он бы и сам себя не узнал. А голос? Голос тоже звучал хрипло. Девять месяцев и девять дней в тюрьме, и потом вот — три месяца плутаний по степи. Кружным путем, чтобы избежать опасных для него встреч с колчаковцами и алашордынцами, он шел на юг, где, по слухам, укрепились Советы.

— Ты что? — решил нарушить молчание Отарбай. — Должно быть, и ты к нагаши подался? Все, кто забыл запах родного очага, говорят одно и то же — к нагаши иду...

— А вы угадали. Я действительно разыскиваю своих нагаши.

— Ну, я думаю, они — такие, что не знают, куда добро девать, а?

— Насчет добра не знаю. Но в тех краях, я слышал, не голодают.

— А! Ты слышал... Говорят... — злобно ухмыльнулся Отарбай. — Разбрелись по степи тюремные бродяги — одни нагаши ищут, другие к жиенам пристраиваются... Ты работал бы лучше, чем бродяжничать!

Он с треском откусил от сахара.

— А вам работник не нужен?

— На меня весь аул работает. Бродяга зачем?

— Я кучером могу...

— Чтобы на дороге зарезать хозяина и угнать его лошадей? Ты знаешь, что такое каператып? Я кормлю их всех, голодранцев.

— Кормишь! — не удержалась Акбала. — Слава аллаху, что у тебя у самого не оказалось голодных родственников. А то бы они у твоей юрты подохли с голоду.

— Меня аллах избавил, зато у тебя есть. Сидит же вот одна такая на моей шее...

Одним глазом он буравил жену, а другим — уставился на пожилую женщину, которая молча сидела за дастарханом, но ни к каким угощениям не притрагивалась, только чай пила.

В голосе Акбалы звучало нескрываемое презрение:

— Не беспокойся. Она тебя не объест. Я ее накормлю из своей доли, а ты меня кормить обязан. Мать тоже забыла запах родного очага, потому что к дочери едет. К той самой дочери, которую ты со своими прихвостнями продал замуж. Аклимажан на руках будет носить мать! А ты больше не задевай, не смей задевать ее своим поганым языком.

Хорошо, что сейчас никто из них не обращал внимания на путника, никто не заметил, как дрогнула у него рука, державшая пустую пиалу, заблестели его глаза, бывшие до этого совершенно безучастными. Ведь если эта пожилая женщина — мать Акбалы, и она едет к другой дочери... Значит, его мечту звали Аклима! Прощай, Аклима! Он уже один раз прощался с ней. А теперь это — навсегда...

Он заставил себя слушать, надеясь еще что-нибудь услышать об Аклиме.

Акбала забыла о присутствии постороннего. После каждой новой едкой, гневной, меткой ее насмешки косоглазый опускал голову все ниже и ниже, он просто захлебнулся в потоке убийственных слов. А она упивалась ненавистью к нему и возможностью высказать эту ненависть всю, до конца. Но вот Акбала остановилась, чтобы немного передохнуть.

Отарбай, униженный и жалкий, немного помолчал, а потом, видно, захотелось ему сорвать свое зло хоть на ком-нибудь.

— Эй, а ты кто такой? — обратился он к путнику. — У тебя белет[1] есть? Если есть — покажи.

---

[1] Белет — удостоверение, вид на жительство.

— А если он тебе покажет белет, то что ты в этом белете разберешь? — снова вскинулась Акбала.

— Не разберу, так по виду пойму, что за белет...

— А ты сам кто такой, чтобы людей проверять? Может быть, — ты аулнай? Или урендык? [1]

— Я — каператыш. А кто сильнее — каператыш или урендык, это еще неизвестно.

— Какой ты каператыш! Ты несчастный послушный пирканшик волостного Мырзакельды и хаджи Калжана. Пирканшик, пирканшик, вот ты кто! Слова сказать не смеешь. Они себе берут плюш и бархат, сахар, чай, а тебе, дурню, выдают ситец и мампаси. Как собаке кость. Лучшие куски оставляют себе, а в тюрьму за них, за всех, сядешь ты.

Отарбай не нашелся, что ответить, а потому швырнул в жену пиалой. Но швырнул осторожно, чтобы не разбить ее о самовар.

— Да что вы грызетесь? — вступила в разговор мать Акбалы. — Я же недолго буду вам в тягость. Завтра же уеду. Аклимажан через людей передавала, чтоб я забрала ее домой. Плачет, говорят, бедняжка, убивается...

Все было ясно... Только в чьих руках теперь томится и мечется и рвется на волю, как большая белая птица, Аклима? Что может быть горше судьбы девушки, попавшей в лапы степных шакалов, в когти стервятников? Все было ясно. Неизвестно лишь одно. Та девушка, что приходила к тюремной стене и кого-то искала в зарешеченных окнах, — была Аклима? Или другая? Кто-то на лихом вороном коне умчал ее тогда! А даже если это была она. Какая теперь разница? Там, где пылал огонь, осталась зола. Там, где цвело дерево, лежат пожелтевшие листья, втоптанные в грязь. Там, где был портрет Джоконды, поработал кистью пьяный маляр.

Он не мог больше находиться в этом доме. Он должен был остаться один на один со своим горем, в котором никто не в силах был его утешить и которое никто не мог с ним разделить.

— Спасибо... Я ухожу. Прощайте, — негромко сказал он и направился было к двери.

— Апыр-ау! — удивленно воскликнула Акбала. — Куда вы в такую темень? Ночь же на дворе. Волки... А страш-

---

[1] Аулнай — аульный старшина; урендык — искаженное: урядник.

нее любых волков в степи — разбойники. Оставайтесь, переночуйте.

— Э-э! Волку я сам горло перегрызу. А разбойнику — что с меня взять?

Он еще раз посмотрел на Акбалу, попрощался с ней взглядом и вышел.

Акбала вздрогнула. Ведь было уже такое... Год назад — тут же в юрте, с того самого места — безмолвно простился с ней черноглазый красавец поэт, который одним ударом свалил Токе. Нет, не может этого быть! Тому было двадцать четыре, двадцать пять. А этому сорок, не меньше. Но глаза, глаза! Немного удивленные, немного смеющиеся, немного печальные. Его глаза. Но слышно было, того посадили в тюрьму и расстреляли на рассвете. А может, каким-то чудом спасся? Тогда понятно, почему он поседел... Дай бог, дай бог, чтобы это был он. Пропади Отарбай со своим краденым добром, подушками и скотом. Пропади его каператып! Пропади все!.. Дай только бог, чтобы это был он, поэт, голос степи.

А путник вышел наружу, постоял, чтобы глаза привыкли к темноте. Напротив, на том же самом месте, находилась большая юрта. Но из дымового отверстия, как тогда, не летели искры. Некому было откинуть полог. Не было огня, не было того прекрасного лица, которое этот огонь на мгновение похитил у темноты. Не было рядом и Кайсара, который сказал бы: «Акын-ага... Пойдем, пойдем, акын-ага». Кто знает, где теперь Кайсар.

Опираясь на толстую суковатую палку, он двинулся в путь. В ауле шумно вздыхали сонные коровы. Стреноженные лошади неподалеку хрустели травой, фыркали. Вслед ему лениво, больше по обязанности, лаяли потревоженные собаки.

Не было здесь Аклимы, и аул казался ему пустым и холодным, как труп.

...Горькие мысли были его неразлучными спутниками и через три дня, когда он подходил к аулу, где рассчитывал получить помощь, чтобы добраться наконец на юг, к своим. Было раннее утро. По высокому голубому небу плыли легкие облака. Небольшой косяк коней пригнали на водопой после ночной пастьбы. Табунщик на рыжей куцехвостой кобыле-трехлетке, размахивая длинным куруком, загонял в воду жеребят. То ли жеребята боялись воды, то ли им просто нравилась игра с табунщи-

ком, но они носились вдоль берега, тоненько ржали, и стоило большого труда заставить их сойти в реку.

Табунщик заметил на берегу пешего человека, который стягивал с себя сапоги, явно собираясь переходить речку вброд.

— Эй! Эй, черная борода! Не раздевайся! Я тебя сейчас перевезу. Ты что, спятил? Или ты такой гордый, что никого не хочешь ни о чем просить?

Бородач, не отвечая ему, снова натянул сапог, подвязал ремешками подметку, но большой палец так и остался торчать наружу.

Табунщик направил к нему рыжую кобылицу. Путник сперва подумал, что ошибся, не может быть, а теперь увидел, что — нет.

Верхом на рыжей кобыле сидел Кайсар.

Но его парень не узнал.

— Куда ты путь держишь, старина?

— Где-то здесь должен быть мой нагаш.

— А кто?

— Его зовут Байкеном.

— Акылбек Байкен?

— Да, да! Он!

— Ойбай! Да я же табунщиком в его ауле, хоть сам родом из другого места. А тот аул, что виден по ту сторону речки, — это его аул и есть.

— А дома ли сам Баеке? Здоров ли он?

— О! Да еще как здоров! К большому тою сейчас готовится. В позапрошлом году умерла его жена, и он в жены взял молодку... Так вот, она ему родила сына. Ладно, старина. Я как раз собирался в аул. Сейчас дам тебе коня. Иначе Баеке всю шкуру спустит с меня...

— А как тебя зовут, парень?

— Меня-то? Кайсар. Большевик Кайсар... В прошлом году я с одним поэтом, с Еркебуланом, подался в Караоткель. С тех пор меня и прозвали большевиком.

— А ты в Караоткеле в партию вступил?

— Да ну! Какой там! Один день, — нет — полдня заместителем был в газете, у Карима. Вообще-то не он, а этот поэт определил меня на работу. Это длинная история, ага. Я после вам когда-нибудь ее расскажу, если захотите слушать.

Кайсар почти не изменился за этот год. Немного раздались у парня плечи, крупней стала рука. А так — все тот же простодушный, чуть шумливый... Вообще люди в

аулах не меняются, — десять лет пройдет, а встречаешь их в той же поношенной шубе, в той же шапке, и ведешь разговор, словно расстался вчера.

Вскоре Кайсар вернулся, ведя в поводу красивого, горячего светло-мухортого коня. Конь был оседлан.

— Принимай, ага! Может быть, слыхал? Это и есть знаменитый, самый знаменитый скакун у Баеке.

Все так же он знает в округе лучших лошадей и гордится ими, словно они принадлежат ему.

Три дня шел по степи Еркен наедине со своим горем. Теперь же, едва почувствовав под собой коня, — преобразился. Кургузая потертая шуба на нем была та же. Осанка стала другой. У него распрямились плечи, поэт встрепенулся, словно молодой беркут перед взлетом, и если бы Кайсар заметил его в эту минуту, ему бы и в голову не пришло сказать — старина.

Они перебрались на тот берег — Кайсар гнал косяк в аул, наступило время привязывать жеребят, чтобы можно было подоить кобылиц. Мухортый плыл, широко раздувая ноздри, а ступил на землю — и сразу помчался, едва касаясь ее копытами. Ну и мухортый. Не зря хвастался им Кайсар, не зря называл его братом ветра! Еркену пришлось придержать коня, чтобы парень мог догнать его. Кайсар поехал рядом, и мухортый теперь не торопился обгонять игривую рыжую кобылу, они рысили рядом, и Кайсар рассказывал:

— Вы, должно быть, слыхали про Еркебулана, ага? Знаменитый поэт. У нас каждый знает его стихи. Особенно девушки были от него без ума. Хоть тайком, хоть в дверь, хоть в щелку в юрте, — только бы им на него взглянуть. Любил на домбре играть. Сидит, глаза у него блестят, а пальцы — цок, цок, цок, вот вроде как этот мухортый, что под вами. А баи его не любили, он им очень досаждал своими стихами, а еще — с речами выступал в аулах. Убить однажды хотели, у нас в ауле Кзыл-Мола. За то, что он правду говорил.

— Он тебя в газету, ты говорил, устроил. А почему ты оставил эту работу?

— О, алла! Разве я сам бросил бы? Заместителем-то я вечером стал, а утром газету разгромили. Мне разок-другой дали по затылку и велели убираться. Они Карима искали, но не нашли.

— А этот поэт?

— Его они, по несчастью, арестовали. Ночью взяли,

дома. Держали долго в тюрьме. Одни говорят — убили его. Он им ничего не сказал, вот они и расстреляли его — там, где всех расстреливали, за рощей. Но я слышал и другое. Будто ему удалось бежать. Будто, когда расстреливали, Еркен упал — на секунду раньше, чем раздались выстрелы. И что будто он ходит где-то в степи, пробирается к своим, таким же большевикам, как он сам. Только, я думаю, неправда это. Если бы он был жив, мы бы знали его новые стихи. А мы не слышали новых стихов.

— Может, ему сейчас не до них, — отозвался он. — Но если он жив, то обязательно услышите. А что с тобой потом было?

— Что потом... Бродил по улицам, как бродяга. Из своего аула я удрал, туда мне было нельзя. А куда идти? По счастью, я встретил в городе Баеке. Я знал, кто он. Он меня накормил. Разговорились. Он оказался другом этого поэта, Еркена. Вот и взял меня к себе. Пасу тут лошадей. Куда, куда?! Всегда она такая сумасшедшая! Куда ты!

Кайсар понесся вдогонку пегой кобылице и завернул ее к остальным лошадям. Косяк вошел в аул, кобылицы разбрелись. Аульные ребятишки принялись гоняться за жеребятами, чтобы поймать их и привязать.

Возле большой юрты посередине аула стоял пожилой мужчина. Он пристально вглядывался во всадника, который сидел на его коне.

— Суюнши, Баеке, суюнши! — издали крикнул ему Кайсар, в этом он тоже остался Кайсаром, ему доставляло удовольствие — приносить людям радость. — Ваш родственник приехал!

Еркен соскочил с коня, бросил повод и заспешил к старику, который быстро шел ему навстречу, расставив руки. Мужчины обнялись.

— Изгнанник ты мой, — тихо говорил Баеке, не отпуская его. — Как я истомился по тебе! Где ты пропадал так долго, мой Еркеш? Твой старик все глаза высмотрел, дожидаясь тебя. Я знал, что ты приедешь. Если ты жив, ты не пройдешь мимо дома твоего Баеке. Вот видишь, я не ошибся.

За девять месяцев и девять дней в тюрьме ни одной слезинки не уронил Еркен. Сжалось сердце поэта, когда он узнал про горькую участь, которая постигла Аклиму, но и тогда он сдержал слезы. А тут сердце не выдержало. Он не стыдился своих слез. Рядом с ним был друг.

Баеке ласково похлопывал Еркена по спине, по плечам, он говорил какие-то слова. Он был простой аульный старик, но он знал, что поэта нужно иногда вот так дружески одобрить. И тогда смягчается его душа. Поэт становится нежным и мягким, как расплавленный свинец. Правда, из того свинца можно лить и пули для встречи врагов.

— Вижу, вижу... — твердил Байкен. — Вижу, что и ты соскучился по своему ничтожному старику. А я ведь приезжал к тебе, в Караоткель, да, приезжал. Но не пустили меня подлецы в тюрьму! Там-то и встретился мне Кайсар. Ну, ладно, ладно, успокойся... А ты, Кайсар, что? Так до сих пор не узнаешь его, глупый щенок? Ты посмотри, Еркеш, вот дурень, а?

Кайсар смутно догадывался, кто этот бородач. Он помнил, к кому в прошлом году приезжал в Караоткель старый Байкен. Всю дорогу они тогда рассказывали друг другу про Еркена. Узнав, наконец-то, кому он дал коня на том берегу, чтобы переправиться через речку, Кайсар скатился с седла, бросился к нему:

— Ерке-ага!

— Тише... Идемте в юрту. Нужно быть осторожным, — сказал Байкен, оглядываясь по сторонам.

Возле юрт стояли таганы, и из котлов густо валил пар. Возле них хлопотали женщины, суетились и галдели дети. А ребятишки постарше, поймав стригунов, скакали между юрт. Кое-кто из взрослых, отпустив кобылиц и привязав жеребят, посматривал в сторону юрты Байкена, а двое мужчин издалека направлялись к ней, чтобы приветствовать гостя.

— Ты узнал меня, Баеке, могут и другие узнать... — сказал Еркен. — Ты прав, лучше мне скрыться с глаз...

В юрте Байкен сказал:

— Сегодня у меня той. Сын родился у такого старика, как я. Пришла бумага, Еркен. Тебя разыскивают. Нам надо хорошенько подумать, как тебя укрыть. А пока... Кайсар! Наш гость знаешь кто? Хозяин дома, мы у него останавливались в прошлом году в Караоткеле. Он, бедняга, заболел в дороге. Ему сейчас постелят постель. Он отвернется к стене, будет лежать и болеть.

Еркен едва успел улечься и накрыться шубой, как в юрте уже появились люди. У каждого был один вопрос: кто такой гость Байкена, откуда родом и куда направляется. Байкен всем отвечал, как договорились.

Еркен лежал, прикрыв лицо ушанкой, отхлебывал кумыс из большой пиалы, поставленной рядом с ним, и, когда кто-нибудь из гостей заходил в юрту, очень естественно стонал. Лежать вот так, прикидываясь больным, когда ты долго был лишен людей, когда ты долго скрывался, а снаружи шумел и расходился той, было настоящей мукой.

Прибегал Кайсар:

— Акын-ага!.. Вот бы вы посмотрели! Борьба идет... Абеке схватил Байсеке, закрутил, завертел — и ка-а-ак швырнет его на землю! Бедняга даже подняться сразу не смог. Хотите еще кумыса, акын-ага?

— Давай еще кумыса...

— Весело у нас сегодня, давно так не было. В байге участвует и тот вороной хрипун. Помните, Ерке-ага? У него две дырки под мышками, он через них сильнее дышит. Вороной сегодня первым придет. Ведь Баеке своего мухортого не пускает. Он же хозяин тоя. Не положено, неудобно. А вот была бы заваруха, а? Мяса хотите?

— Давай мяса.

Было слышно через войлочную стенку, как томится на привязи мухортый, как мучается, что его не принимают в байгу, и как он хочет всем доказать, что нет тут коня, который сумел бы его обогнать. А Еркен — мысленно представлял себе, какие бы он песни спел, если бы мог при всех, не таясь, взять в руки домбру. Он бы им показал — как это нет у него новых стихов!..

Снова прибежал Кайсар:

— А я тоже, на своей рыжухе, буду участвовать... На всем скаку монету с земли достану. Многим, даст бог, носы утру!.. Чаю хотите? Дать вам чаю, акын-ага?

— Давай чаю.

Мухортый за стенкой возмущенно заржал. Ни одна из лошадей, увлеченных байгой, ему не откликнулась.

Когда село солнце и гости разъехались, Баеке и еще шесть или семь мужчин вошли в юрту. Кроме муллы, все были жителями этого аула. Пятилинейку Баеке поставил подальше от больного караоткельца, чтобы свет не резал ему глаза.

Мулла с черной такией на голове восседал на почетном месте. Байкен учтиво обратился к нему:

— Молда-еке, просим вас дать имя этому мальчишке, шалуну, виновнику тоя, которого аллах послал на радость старому отцу.

— О, Баеке! Вы мне доверяете выбор? А может быть, у вас уже есть имя для малыша?

— Мы подумали, молда-еке... Ведь у таких стариков, как я, младший — любимчик, шалун... Есть одно имя. Я бы хотел назвать его — Еркебуланом.

Мулла сказал:

— Кто станет возражать, если такова воля отца и матери?

Один из пришедших стариков тоже вступил в разговор.

— Теперь, считай, у нас в ауле три Еркебулана. Моего внука — сына моей младшей — тоже этим именем нарекли.

— Эх, знать бы, где сейчас он — наш самый первый, большой Еркебулан, первый из всех троих, — вздохнул кто-то. Еркену, лежавшему по-прежнему лицом к стене, не было видно, кто именно, а по голосу он не узнал.

Мулла поднялся со своего места и затянул соответствующую молитву. На руках у Баеке посапывал младенец.

— Аллаху акбар!.. Аллаху акбар! Лайлаха елла аллам! — старательно выговаривал мулла слова молитвы. — Имя твое — Еркебулан, Еркебулан, Еркебулан!

Трижды было произнесено имя новорожденного, как и полагается по обряду.

— Да ниспошлет аллах всемогущий здоровья, благополучия и долголетия всем Еркебуланам, — сказал Байкен. — Да будут они сильны духом и счастливы в своих начинаниях.

— Аминь...

VII

Аул стих, сморенный шумным хлопотным тоем. Сон свалил людей где попало. Храп доносился с разных сторон. Женщины прикорнули возле очагов, свернувшись, как перепелки в гнезде.

В юрте, не зажигая огня, чтобы не привлекать ничьего внимания, старый Байкен вел тихий разговор с Еркеном.

— Ну, Еркеш, теперь говори — куда ты направляешься, в чем ты нуждаешься. Ты же знаешь, что в моих силах, то я всегда для тебя сделаю.

— Я это знаю, Баеке... Первым делом мне нужно

съездить тут, неподалеку. Если можно, отпустите со мной Кайсара.

— Только и всего? Что еще надо?

— Пока больше ничего.

— Когда ты хочешь ехать?

— Если можно, сегодня ночью.

— Тогда выбирай, что тебе необходимо. Переоденься. Хоть я и старик, а кое-какую одежонку с молодых лет сохранил. Сапоги возьми с войлочными чулками, ночи еще холодные стоят. Суконный серый чапан у меня есть, прямо просится тебе на плечи. С бельем как? Найдется и белье. Ушанку свою брось подальше, возьмешь мой малахай. Коня какого?.. Мухортого, пожалуй, я тебе не дам. Слишком он заметный, разговоры пойдут. Про Кайсара скажу — поехал проводить тебя до города. А когда ты назад?

— Дней за пять думаю обернуться.

Еркен слушал старика и думал, как самые простые слова: возьми мой малахай, с бельем у тебя как — могут выражать самые глубокие человеческие чувства. Дружбу. Любовь. Товарищескую помощь. Готовность пойти на риск.

Он покинул аул затемно. Рядом на своей светло-рыжей кобыле ехал Кайсар. Едва они отъехали так, что можно было разговаривать, не опасаясь, что кто-то услышит и обратит внимание на тайный отъезд, Кайсар принялся расхваливать коня под Еркеном — тоже рыжего, только темнее, чем его кобыла.

— О, знал Баеке, какого коня вам выбрать! На нем осенью, по первому снегу, трех волков забили. Он, правда, не жорга, но рысью хорошо ходит. А куда мы едем, Ерке-ага?

— За кого выдали замуж Аклиму?

— А-а... Он из рода жаппас, они теперь на Кара-Коине. Косоглазому Отарбаю до смерти захотелось стать каператыпом — вот он и продал бедную девушку племяннику самого Калжана.

— А где стоит этот жаппас? Кара-Коин — это где?

— Жайлау ихние. А мы не так свернули, если хотим туда... Это — в сторону Кызмоншака-Сыргалы.

— Сколько было Аклиме в прошлом году, не знаешь?

— Как же мне не знать, мы росли вместе, вместе за водой на озеро ездили. Мне восемнадцать уже исполнилось, а она — на год меня моложе.

Еркен больше ни о чем не спрашивал Кайсара. В пути, на хорошем коне, ему всегда хорошо думалось. Сколько было друзей у него, с которыми он сражался за Советскую власть. И вот — он остался один, потерял с ними всякую связь. Многих из Караоткеля и Кзыл-Жара перевели в Омскую тюрьму. Сам он — беглец, бродяга... Колчак еще в силе. Алаш-Орда еще в силе. Не зря ведь сказал Байкен: «Пришла бумага, Еркеш, тебя разыскивают». А на юг можно только через Бетпакдалу, через мертвую неприютную пустыню. Кто будет его проводником? Тут уж и Кайсар не поможет...

Он успеет потом посоветоваться с Баеке. Это такой старик! Он что-нибудь придумает, он всегда найдет выход, если дело касается Еркена!

Они ехали к Аклиме. Еркен не знал даже — зачем? Что он может изменить? Чем он может помочь ей? Но и не повидать ее он не мог. Болезнь какая-то... Однажды темной ночью лишь на мгновение мелькнула перед ним девушка — и навсегда вошла в его жизнь. Она стояла перед ним и сейчас, уже никуда не уходя, и он снова видел на ее точеном лице и страх, и радость, и испуг, и грусть, и все эти чувства относились к нему. Может быть, так дорога была ему Аклима потому, что в тот короткий миг возникла между ними какая-то тайна... В ту минуту он впервые и до конца постиг всю человеческую сложность. Нет, не умом постиг — он понимал все и раньше, а почувствовал всем сердцем.

Великие художники прошлого, поэты, которые познали существо бытия и умели передать чудодейственным словом любое движение человеческой души — разгадывали эту тайну каждый по-своему. Но юная казахская литература еще только постигает ее. И если судить по самому большому счету — а только такой счет и ведется в поэзии, — то собственные стихи все меньше и меньше нравились Еркену. Ну, внешность у них порою есть. Такое пестрое тряпье, за которым — пустота. А все возвышенные и высокопарные сравнения не стоят одного слова Баеке, когда он раздумывал, какого коня дать ему в поездку. И ведь не скажешь, что пожалел мухортого. Нет, он заботился о Еркене. Всадник на таком роскошном коне привлекает внимание, а мятежного беглого поэта знали слишком многие. А как передать это, чтобы люди могли оценить душу старика, то высокое чувство, которое им двигало, когда он сказал: «Пожалуй, я му-

хортого тебе не дам». Тут не отделаешься дежурными восклицаниями — о ты, мой друг! Твое благородство велико, как эта степь!

Может быть, Еркен и преувеличивал свои недостатки. Но не мог он не думать о новых средствах выражения. Быть зачинателем новой казахской литературы... Иногда такая мысль по отношению к самому себе казалась ему непростительным заносчивым мальчишеством. Но он видел и другое — что многие подражают ему, что его находки в стихах как-то по своему используют те, кто избрал трудный путь литературы. Поэтому на него ложится большая ответственность. Если время избрало его — удержит ли он такой груз на плечах? Ведь ему всего лишь двадцать пять. Он понимал и то, что кончилась, ушла в прошлое поэтическая эпоха, во главе которой стоял великий Абай. Новые времена наступили в степи, их сопровождает не унылый скрип старой арбы и не ленивая поступь верблюда. А как ты выразишь это? Мона Лиза, Евгений Онегин — стали для него такой же реальностью, как Аклима, увиденная однажды. А как сделать, чтобы она стала такой же близкой для других, для многих людей?

Еркен хотел еще раз увидеть ее. А что, если... Вдруг он вместо такой гордой, удивительно чистой и независимой в своей красоте девушки увидит безголосую рабыню? Нет, нет! Не приведи аллах увидеть ее смирившейся, униженной...

...На жайлау они приехали через день. По берегу растянувшегося озера, на небольшом расстоянии друг от друга, стояли аулы. Казалось, все тут вымерло. Не дымились очаги. Не было видно людей. Они или притаились, или бросили все и ушли. По степи без всякого присмотра бродил скот. В трех аулах Еркен и Кайсар пытались найти ночлег, чтобы завтра с утра начать поиски, но никто, ни один хозяин, не пустил в юрту.

— Мор у нас. Кара-шешек[1].

Наконец им попался одинокий чабан с небольшой отарой. Он и показал, где стоит аул, который они разыскивают:

— Вон... Видите, две юрты? Одна из них полуразобрана. Это там. Только вряд ли кого найдете у них. Одни повымерли, другие откочевали.

---

[1] Кара-шешек — черная оспа.

Еркен ударил темно-рыжего каблуками и поскакал к белевшим впереди юртам. Подъехав, он не стал ждать, встретит его кто-нибудь или не встретит, а тотчас спрыгнул с потного, в мыле, коня и чуть не сорвал полог, входя в юрту.

Тупо уставившись в золу потухшего очага, сидела пожилая женщина, та самая, которую он недавно повстречал у Отарбая.

Справа часть юрты была отделена голубой шелковой занавеской. За ней кто-то тяжело дышал, словно после долгого беспрерывного бега.

Кайсар снаружи возился с конями и вошел немного позднее.

Не поднимая головы, старуха спросила:

— Кто вы, дети мои?.. Уходите скорей. Наверное, вы не знаете, что у нас — кара-шешек?

Они переглянулись.

— Нет, знаем, женеше, — ответил Еркен.

— Так что, вам жизнь совсем не дорога, что проклятой черной беды не боитесь? Кто вы такие?

— Мое имя Еркен, а товарища зовут Кайсар.

Внезапно дрогнул голубой занавес, там, за ним, дыхание на секунду затаилось.

— А... Кайсар. Кайсара я знаю, — сказала старуха. — Но все равно я не могу вас к себе пустить. Так догдыр[1] велел...

За занавеской кто-то вскрикнул. Еркен чуть не застонал от боли, которая стиснула его сердце. Этот хриплый, страдающий голос... Таким ли он представлял себе голос Аклимы. Он слушал его в своих мечтах, как когда-то в Омске — слушал рояль, который умел радоваться, и грустить, и отчаиваться, и надеяться... Аклима... Значит, жива. Не хочет, чтобы уезжали. В этом вскрике нельзя было разобрать слов, но Еркен явственно услышал: «Не уходите! Не бросайте!»

— Слушай, Кайсар, — сказал он. — Меня против оспы прививали, в тюрьме даже два раза делали прививку. А ты как?

— Ой, Ерке-ага! Разве вы не видите мою изрытую кожу? Меня никакой мор не возьмет.

— Тогда, женеше, мы ночуем у вас, если позволите. За нас можно не беспокоиться.

---

[1] Догдыр — искаженное: доктор.

Старуха больше не возражала. Она молча встала и вынесла остывший самовар. Кайсар тут же исчез за занавеской.

— Аклима, это я, Кайсар.

— Н-гы...

Даже в такую минуту, на грани жизни и смерти, замужней женщине не полагается вступать в разговор с посторонними мужчинами, полагалось быть сдержанной, и все ее чувства выражались в коротком междометии — «нгы». «Нгы» — значит: я узнала тебя.

— Аклима, ты меня слышишь? Ну, как ты, родная?

— Нгы... — «Я слышу тебя. Если сказать честно, то не очень-то хорошо мне».

— Кайсар! — позвал Еркен. — Уходи оттуда. Не тревожь ее, оставь. Иди сюда.

Кайсар вышел. Он обхватил руками голову и заплакал, громко всхлипывая.

— Тише, Кайсар.

Но парень не мог удержаться.

— Ерке-ага, я так... так был рад, когда услышал от вас, что едем к Аклиме. Разве я думал, что... что... Эх! — Голос у него сорвался, он быстро-быстро замотал головой и выскочил из юрты.

За занавеской снова раздался возглас. Больная чего-то требовала, на чем-то настаивала. Может быть, она зовет его? Еркен больше не колебался. Тяжелая опасность, нависшая над Аклимой, устраняла необходимость соблюдать приличия. Он прошел туда, к ней.

Грудь ее тяжело поднималась и опускалась, она хрипела при каждом вздохе. Лицо было закрыто красной в полоску шалью. Еркен взял ее за локоть — да, сомнений быть не могло... Рука вся покрыта твердыми струпьями. Тревожно билась голубая жилка у самого запястья.

— Аклима! Ты не отчаивайся! Ты поправишься. Я искал тебя — и вот, нашел. Я буду здесь, пока тебе не станет хорошо. Ты хочешь, чтобы я остался, Аклима?

— Нгы, нгы...

Со вчерашнего дня Аклиме стало особенно плохо. Черная оспа душила ее, но молодость — не сдавалась, молодость боролась с болезнью. Узнав о первых вспышках оспы, муж Аклимы, не заезжая в аул, без оглядки удрал в город. Его младший брат, его сестра, оставшиеся в соседней юрте, умерли. К больной Аклиме ходила бездетная вдова из соседнего аула, подавала ей пищу и

кипятила чай, по ночам сидела в изголовье. С приездом матери Аклимы вдова больше не показывалась. Может быть, она давно умерла?

Неожиданное появление Еркена и друга детства Кайсара взволновало больную. Аклима внезапно почувствовала себя молодой, красивой, сильной. Она снова была той девушкой, которая, раз увидев знаменитого акына, сохранила память о нем. Но почему, почему он стал ей так дорог? Ведь она почти ничего не знала о нем, только видела в узкую щель, как он сидел в отау у сестры и с небрежным изяществом выстукивал на домбре какую-то мелодию. Нет, неправда, что она почти ничего не знала о нем. Она же знала его стихи, она знала о нем все. Как она тогда надеялась, что будет веселый беспечный вечер с песнями, с домброй, с играми. А вышло так, что поэта у них в доме чуть не убили. Она не надеялась когда-нибудь встретить его вновь. А оказывается, и он думал о ней. Искал и нашел ее!

— Может быть, снять с лица шаль? Тогда тебе не будет так душно.

— Нгы...

— Ладно, не буду.

Аклима, видно, немного успокоилась. Грудь у нее уже не ходила так бурно.

Он искал ее и нашел в самые беспросветные минуты... Еркен-ага! Какая девушка не мечтает о таком жигите, как Еркен? Ты счастливой оказалась, Аклима. Хоть и ненадолго, а счастливой. Судьба свела тебя с поэтом, когда ему понадобилась твоя помощь, и как дрожала у тебя рука, когда ты выводила страшные слова: «Акын-ага, вас хотят убить...» Я спасла его тогда от верной смерти, а теперь он приехал, чтобы спасти меня от черного вихря. Он же сам сказал, что будет со мной, пока я не поправлюсь, не встану на ноги. А поэт — все может, он всесилен, как святой. Если завтра мне будет немного лучше, соберу уцелевших жигитов, девушек позову. Это будет шильдехана[1], ведь я действительно вторично появляюсь на свет. Акбала, ты заранее позови всех, кого увидишь. Еркен с домброй пусть сядет возле меня. О, девушки! Вы уже пришли? Как быстро вы откликнулись на мой зов. Я вам рада. Я соскучилась без вас в доме постылого. Ерке-ага, начинайте, пожалуйста. Спойте, я прошу

---

[1] Шильдехана — празднование рождения ребенка.

вас, «Сурша-кыз»... «Когда тебя, любимая, я вспомнил, обняв подушку, залился слезами». Можно к тебе прислониться, ага? Как спина горит!.. Кайсар, ты где? Теперь ты спой, спой «Каракоз». Ты хорошо пел эту песню. Спой, как прежде, во весь голос. «Черноглазая, ты меня покинула, как мне быть теперь, как мне быть?» Ну, что же ты?..

Опустив голову, сидел рядом с ней Еркен и слушал ее слова. Теперь он никому ее не отдаст. Леонардо да Винчи не расставался с портретом Моны Лизы, а он не покинет Аклиму. Когда она поправится и окрепнет, они станут вместе пробираться через Бетпакдалу, на юг, к своим. Как смел ничтожный Отарбай кому-то отдать его Аклиму! Не было этого. Наплевать на старые законы, если они мешают его счастью с Аклимой. О, алла, помоги ей. Не допусти, чтобы она ушла. И как он мог сомневаться — она ли ходила по лужайке напротив тюремного окна. Какая другая девушка осмелилась бы поступить так решительно? Только Аклима.

— Не уходи, Еркеш, — сказала она. — Не уходи, Кайсар. Акбала, не уходи.

Бред кончился. Аклима впала в забытье.

Еркен до утра просидел рядом с ней, ничего не видя вокруг себя, ничего не слыша. Аклима лежала тихо. Он бесшумно поднялся, боясь ее потревожить, но тут к ней подошла ее мать, и пронзительный крик старой женщины объяснил все. Никто и никогда уже больше не потревожит Аклиму.

VIII

В жизни каждого человека есть свой календарь памятных дат. В ту ночь, возле умирающей Аклимы, поэт знал, почему молодая женщина с головой укрылась шалью, — не хотела, чтобы он видел ее лицо, обезображенное болезнью. Он держал ее руку, покрытую струпьями, словно чешуей, и думал, что никакая черная оспа, никакое страдание не может уничтожить красоту... Тонкая девушка, которую он однажды увидел в ауле, на берегу озера Кзыл-Мола, разве могла она умереть?

С той ночи прошло много лет.

Слово поэта звучало по всей казахской степи, слово поэта разнеслось и далеко за ее пределы. Остались по-

зади дороги, пройденные в боях за Советскую власть. И теперь не саблю, не наган держал он в руках, а сафьяновый портфель, набитый важными деловыми бумагами.

Грозное было время. Гордое было время, трудное и веселое. О нем не приходилось писать старым привычным стихом, и поэт ломал этот стих, он находил новые необычные сочетания слов, и в ритме его строк слышалось биение многих сердец. Он стремился в самую гущу жизни, он старался все увидеть, все понять, и на самых простых, ничем не примечательных внешне событиях, осмысленных им, лежал отсвет перемен, происшедших в его родной степи после Октября.

К нему пришла устойчивая шумная слава. Однако поэт, если только он настоящий поэт и настоящий мужчина, — должен уметь перенести и славу, и все, что с ней связано. В стихах, написанных уже зрелым мастером, критики находили множество достоинств. А самому поэту они не нравились. Он не кричал об этом на всех перекрестках, чтобы не создавалось впечатление, будто он кичится своей взыскательностью и выставляет ее напоказ. Но он видел их недостатки и знал, что можно было написать проще, ярче, глубже и сильнее.

Прокладывать путь по нетронутому снегу — труднее, чем идти за кем-то след в след. У поэта были ученики. Были откровенные подражатели. Учениками он гордился, а подражатели доставляли ему немало неприятных переживаний. Особенно в последнее время они превозносили поэта, что бы он ни написал. Суесловие?.. Нет, не только. Расчет был точным; безудержно восхваляя его, они тем самым преувеличивали значение своих произведений. А те так же походили на литературу, как его старая кургузая шуба — на щегольский чапан тонкого сукна, которым когда-то одарил его Баеке.

Поэт не мог простить себе, что до сих пор не взялся за большую работу. Такая книга вобрала бы весь запас его наблюдений и раздумий, осмыслила бы огромные сдвиги в судьбах степного народа. Он не мог себе простить, что о многом не написал — из того, что пришлось увидеть и пережить. О создании сложных, многогранных — и жизненных в этой сложности — образов он мечтал еще двадцатичетырехлетним юношей, когда только догадывался о том пути, который ему предстоит пройти в литературе. То ли боялся, что еще не созрел для такой работы и может все испортить поспешностью. То ли вре-

мя, до краев наполненное событиями, не оставляло ему возможности сесть за большую книгу...

Так или иначе, поэт никогда о ней не забывал. С годами и Мона Лиза, и Онегин, и та девушка, промелькнувшая в его жизни, все чаще тревожили и требовали: «Ты все забыл? Почему ты не пишешь? Ты должен писать». А верно ли, что та девушка лишь раз промелькнула в его жизни? Нет. Как вечернее эхо, многократно повторяясь, мечется в горах от скалы к скале, так и она всегда откликалась по первому зову. Аклима решительно и властно вошла в его жизнь, заставила по-новому взглянуть на многие события и явления. Может быть, он и писать стал по-другому, потому что однажды, там, на берегу озера Кзыл-Мола, она явилась ему на мгновенье...

Ему было о чем вспомнить, о чем подумать. Он мог бы описать все пережитое — с того дня, когда в Караоткель пришла весть о свержении белого царя, и он, Еркен, одним из первых помогал водружать красное знамя. Все он испытал: и гордость побед, и горечь поражений. Его память со всей отчетливостью, во всех подробностях хранила приметы времени.

Нет, нельзя слишком долго собираться в дорогу. От размышлений — сумеешь ли преодолеть препятствия, пройдешь ли ее до конца, дорога не становится ни легче, ни короче.

«Круговорот». Название книги пришло вдруг — казалось бы, само по себе, но ведь сколько он думал о ней, готовился к этой минуте, когда за своим рабочим столом останется наедине с чистым листом бумаги. Перо поэта становилось нежным и добрым, когда он вспоминал о друзьях и соратниках. А когда по ходу рассказа появлялись враги, поэт, не задумываясь, кидался в бой с пылом молодого горячего Еркена.

Страница за страницей, книга была написана и вышла в свет. Что тут поднялось! Родня тех, кто в «Круговороте» получил свое и получил по заслугам, подняла бешеную травлю. Жалобы и угрозы, сплетни, доносы, анонимки посыпались на голову поэта. «Знай, что есть оружие посильнее твоего поганого пера», — напоминал один. «Учти, и не таким ломали рога», — писал другой. «Эй, ты! Ходи и оглядывайся, я тебя встречу», — обещал третий.

Когда особенно тяжело и безрадостно становилось

на душе, поэт брал в руки верную домбру, постоянную спутницу его размышлений, его путешествий в прошлое. Нет, он не сомневался... Он знал, что находится на правильном пути, и сейчас обдумывал вторую книгу «Круговорота». Критика на первый том ничем поэту не помогла. Если кто-то злобно ругал ее, то другие — столь же безудержно хвалили. Середины почти не было.

...За окном сгустились сумерки, но ему не хотелось зажигать свет. За окном росли две яблони. Был август, и ветки под тяжестью плодов низко клонились к земле. Неожиданно, как это часто бывает в городе, расположенном у гор, испортилась погода. Нависли темные лохмотья туч. Гроза перекатывалась над вершинами, неподалеку, и вот-вот должен был пролиться ливень.

Пальцы поэта все чаще задерживались на нижних ладах домбры. При таком захвате на удивление красиво сливаются и согласно звучат обе струны, и это созвучие как бы напоминает поэту о многих еще не разгаданных тайнах писательства. На их постижение уходит вся жизнь, да и всей жизни оказывается недостаточно. А созвучие — это вовсе не одинаковое звучание двух струн, не примитивный унисон, а согласие, взаимность!.. Без такого согласия слов нет ни поэзии, ни прозы. И добиваться его с годами все труднее, потому что становишься еще суровее, требовательнее к самому себе.

Глухо звучала домбра. Может быть, и чародей песни Биржан-сал задумывался вот так же о великом таинстве звуков и слов, оставаясь наедине с домброй? Просторный его халат из верблюжьей шерсти лопнул на спине от удара камчи, в хвосте которой был спрятан свинец. Наглый поштабай вырвал из рук певца домбру. Оборвалась струна. Казалось, не зазвенела она, а застонала. Стон отчаяния. А волостной Жанбота не заступился, грубо оборвал певца: «А кто просил тебя вмешиваться не в свое дело?» Понятно, разве стал бы волостной ради какого-то певца, даже если это и был сам Биржан-сал, ссориться с другим волостным?

А поштабай? Этим ударом он навлек вечный позор не только на самого себя, а и на весь свой род. Чего стоил тот его сын — Токе, верзила с заячьей губой. А его сын, внук поштабая?.. Совсем взрослый теперь. Если переехал куда-нибудь в город, то с камчой, с позорно

знаменитой камчой не ходит. Но сегодня для злых, для подлых дел камча и не нужна.

Пальцы поэта по-прежнему держались на нижних ладах. Однозвучно пела домбра. «Ты унизить, Жанбота, меня позволил...» Видно, он уже давно бессознательно выстукивал именно эту фразу.

Поэт помнил, что Биржан обладал высоким зычным голосом, и, добиваясь такой же высоты звучания, он незаметно для себя крутил и крутил колки, и струна лопнула.

На улице зажглись фонари, и свет упал в комнату, в которой сидел поэт. И хотя теперь он не пел своих стихов, но все равно натянул новую струну.

И домбра снова ожила в его руках.

1965

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Ага, агай — старший брат; почтительное обращение к старшему по возрасту мужчине.

Адалбакан — инкрустированный столб, вешалка.

Адат — свод неписаных законов, обычаев.

Аже — бабушка.

Азамат — молодец, бравый, удалой, доблестный.

Аип — вина; возмещение за нанесенную обиду, то есть принять вину на себя.

Айналайын — ласковое обращение к собеседнику.

Айран — простокваша, кислое молоко.

Айран-шалап — похлебка из айрана, разбавленная водой.

Акбахай — породистый белоногий конь.

Аке — отец, папа.

Акша — деньги.

Алаша — ковер кустарной работы; полог, которым завешивают вход в юрту.

Албасты — злой дух, кошмар, всякая нечисть.

Алла акбар — велик аллах.

Алтыбакан — казахские национальные качели.

Алтын — золото.

Аман — букв.: Здоровы ли? Как поживаете? Приветствие.

Апа, апай — старшая сестра; почтительное обращение к матери, а также к старшей по возрасту женщине.

Апыр-ау — возглас удивления, сомнения.

Асбаши — букв.: хозяин еды; повар.

Астагфирулла — да простит бог!, спаси боже!, помилуй боже! Выражение удивления, сожаления, сокрушения.

Ата — дед, отец.

Атан — рабочий кастрированный верблюд.

Аткаминеры — букв.: всадники; старейшины рода, правящая верхушка.

Базарлык — гостинец с базара.

Байбише — старшая жена бая.

Байга — конные состязания, скачки; так же называется приз на скачках.

Бакан — тонкий шест.

Баксы — знахарь, лекарь.

Бала — мальчик; дети.

Балдыз — свояченица.

Балта — топор.

Баранчук — ребенок, дети.

Барекельде — возглас одобрения; браво, прекрасно.

Батшагар — восклицание: ах, вот ты какой!

Баурым — букв.: моя печень; ласковое обращение к собеседнику.

Бедел-хаджи — человек, совершающий хадж — паломничество в Мекку, к гробу пророка вместо другого.

Бейсембе — четверг.

Бесбармак — букв.: пять пальцев; национальное блюдо: баранина с крупной лапшой.

Бисмилла — начальные слова суры Корана «господи, благослови!», ставшие формулой, употребляется перед началом любого дела.

Бишара — бедный, несчастный, бедняга.

Боскресепь — искаженное: воскресенье.

Бота — верблюжонок.

Боялыч —степной кустарник.

Бура — верблюд-самец.

Дамбал — нижняя женская одежда.

Дастан — эпическая поэма, сказание.

Дастархан — букв.: скатерть; угощение.

Джусан — полынь.

Джут — массовый падеж скота в суровую зиму.

Дэв — див; громадный, исполинский.

Едиль — так казахи называли Волгу.

Еке — добавляется к имени старшего мужчины при почтительном обращении.

Елик — дикая коза.

Ерке — баловень; ласковое обращение: милый, милая.

Зиндан — подземелье, темница, тюрьма.

Жаик — так казахи называли реку Урал.

Жайлау — летнее пастбище.

Жайпамаз — молитвенный коврик.

Жал — холка лошади, как блюдо считается деликатесом.

Жаным — букв: душа моя; ласковое обращение к собеседнику.

Жасак — подушный налог.

Жатак — полуоседлые бедняки.

Жаулык — головной убор замужней женщины.

Жепге — невестка, жена старшего брата; обращение к замужней женщине.

Жерик — неодолимое желание съесть какую-нибудь особую пищу.

Жиен — племянник по женской линии. Обычай, уходящий своими корнями к матриархату, требует, чтоб нагаши — дядя из родни матери — оказывал своему жиену всяческую помощь и уважение. Жиену ни в чем не отказывали, а если и отказывали, что бывало очень редко, — жиен мог украсть или просто, не таясь, взять желаемое, так как тот же обычай закреплял за ним полную неприкосновенность личности в ауле родной матери.

Жузбашы — сотник.

Жума — пятница.

Жумак-кыз — райская дева.

Жырау — исполнитель народных сказаний.

Имам — духовный наставник мусульман.

Иман — совесть.

Ипшалла — благодарение аллаху.

Ичиги — мягкие сапоги, которые носят с галошами.

Кавуши, кебис — обувь типа кожаных галош.

Кайпага, кайны — родня жены.

Капыр — иноверец, то есть не мусульманин.

Карапши — вор.

Караши — челядь, батраки.

Карасакал — мужчина средних лет; букв.: чернобородый.

Катын — жена, женщина, баба.

Кебеже — деревянный сундук на ножках.

Кедей — нищий, бедняк, человек низшего сословия, голодранец.

Келин — невеста, невестка; обращение к молодой женщине.

Кереге — деревянный решетчатый каркас юрты.

Кесе — большая фарфоровая чаша, из которой едят суп.

Кетмень — мотыга с широким лезвием.

Киндик-ше ше — повитуха.

Киши — младший.

Коген — длинная веревка со множеством петель, приспособленная для того, чтобы привязывать ягнят.

Коже — постный суп, похлебка, забеленная кислым молоком.

Коржын, хурджун — переметная сума из ковровой ткани.

Коримдык — подарок за то, что посмотрел обнову.

Кос — артель, косяк, кочевье, шалаш чабанов.

Косши — коновод, на свадьбе дружки жениха.

Кудагай — сватья.

Кудай — бог.

Куймак — блины.

Кумалакши — гадалка, гадающая на камушках.

Куман, кумган — медный чайник.

Кунак — гость.

Курай — тростник.

Курт — овечий сыр, высушенный в виде шариков.

Курук — шест с петлей для ловли лошадей.

Кыз — дочь, девочка; кызым — моя доченька.

Кызылжар — так казахи называли Петропавловск.

Кыстау — зимовье, зимнее становище.

Кюй — музыкальное произведение без слов.

Мазар — гробница, кладбище.

Майдан — поле битвы; битва, сражение.

Малай — мальчик, парень.

Маржа — искаженное от Мария; так казахи называли русских женщин.

Медресе — мусульманское духовное училище.

Мирза — господин, человек, принадлежащий к привилегированному классу.

Мюрид — последователь ишана, приверженец какого-нибудь духовного ордена.

Мяс — кожаные чулки.

Намаз — обязательная ежедневная пятикратная молитва у мусульман.

Нар — одногорбый верблюд; лучшая порода.

Насыбай — табак, который кладут под язык.

Науруз — мусульманский новый год, который приходится на 22 марта — день весеннего равноденствия.

Нукер — воин охраны богатого лица.

Ойбай-ау — восклицание, выражающее удивление, недоумение, обиду.

Омбы — так казахи называли Омск.

Отау — юрта женатого сына.

Орамал — платок, полотенце. Набор подарков из девяти разных предметов. Это может быть и скот, и одежда, и другие вещи.

Палуан — богатырь, борец.

Патша — царь.

Пяле — возглас восхищения; браво.

Саба — кожаный мешок для хранения кумыса, молочных продуктов.

Сарбаз — воин.

Сал, серэ, пэрэ — профессиональные певцы и музыканты, разъезжавшие по аулам.

Саптама — зимние теплые сапоги с войлочными чулками.

Сармантаи, мураты, каракесек — название родов.

Сарт — так до революции называли узбеков.

Саукеле — головной убор невесты.

Сейсембе — вторник.

Сексен — восемьдесят.

Согым — зимний забой скота.

Сопл — длинная дубинка.

Сорпа — мясной бульон, суп.

Сунюнши — подарок за радостную весть.

Сыбызгы — свирель.

Такыр — каменистое плато.

Тамга — клеймо, метка. До революции неграмотные казахи прикладывали палец вместо подписи — тамгу.

Тамыр — приятель, друг, иногда в значении побратим.

Таксыр — господин.

Тегене — большая деревянная чаша.

Теньга — монеты.

Терме — узорчатые ленты вдоль стен юрты, служат для украшения.

Тёре — привилегированная каста; человек аристократического происхождения.

Той — свадьба, пир, пиршество, празднество.

Токал — вторая жена.

Томага — кожаный колпачок, надеваемый на голову беркута.

Тор — почетное место, соответствует русскому понятию красный угол.

Торсык — кожаный мешок для хранения кумыса.

Тостаган — чаша, из которой пьют кумыс.

Туленгуты — свита аристократа, прислуга.

Тундук — кусок войлока, которым закрывают верхнее дымовое отверстие юрты.

Тымак — казахская шапка-ушанка.

Уа! — возглас обращения.

Узун кулак — букв.: длинное ухо; слухи, вести.

Ураза — пост, когда мусульмане едят два раза в день: до восхода солнца и после его захода.

Уруски — искаженное: русский.

Уста — мастер.

Уки — длинные с вогнутым изгибом подпорки, на которых держится верхний купол юрты.

Ушыктау — обряд изгнания боли, болезни; заклинание при лечении.

Хабар — весть, сообщение.

Хазрет — мусульманский священник; почтительное обращение к духовному лицу.

Ханум — госпожа, повелительница; почтительное обращение к женщине.

Хожа — почтенный религиозный титул, распространенный в странах ислама; титул присваивается лицам, якобы ведущим свой род от дочери Магомета.

Чабарман — посыльный, байский приспешник.

Чапан — верхняя одежда, стеганый халат.

Чембур — длинная веревка для привязывания коня к коновязи.

Чекпен, чекмень — мужской кафтан, стеганый, крытый плотной материей.

Чокан — деревянные башмаки.

Шабак — спица колеса.

Шалбар — брюки, национальные мужские штаны.

Шалбас — букв.: голова старика; белоголовый конь.

Шапырак — купол юрты.

Шариат — свод мусульманских законов, основанных на Коране.

Шаруа — бедняк; безлошадный казах.

Шашу — сладости, монеты, которыми осыпают невесту, когда она входит в дом жениха.

Ш е ш е — мать; обращение к пожилой женщине.

Ш о к п а р — дубина с утолщенным концом.

Ш о ш к а — свинья, свинина.

Ш у ш а л а — сарай, летняя кухня, помещение, которое стоит вдали от юрты.

Ш ы н а р — чинара; как женское имя означает красоту, стройность и верность.

Ш ы р а г ы м — свет моих очей, огонек мой.

Ш ы р а к — светильник.

Э л е м — мир, вселенная.

Э ф е н д и — господин.

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Ломидзе. Орлиные крылья таланта . . . 5
Пробужденный край. Роман. *Авторизованный перевод Н. Гордеевой и В. Дудинцева* . . . 21
Однажды и на всю жизнь. Повесть. *Авторизованный перевод А. Белянинова* 475
Пояснительный словарь 536

Мусрепов Габит
М 92 Избранные произведения: В 2-х т. — М.: Худож. лит., 1982.
Т. I. Пробужденный край: Роман; Однажды и на всю жизнь: Повесть. Пер. с каз. Вступ. статья Георгия Ломидзе. 1982. — 543 с.

Герой Социалистического Труда, писатель-академик Габит Мусрепов — один из тех, кто закладывал фундамент казахской советской литературы. Роман «Пробужденный край» запечатлел широкую картину дореволюционного Казахстана, крушение феодальных устоев, пробуждение классового самосознания, формирования национального рабочего класса.
Повесть «Однажды и на всю жизнь» — о становлении Советской власти в Казахстане.

М $\frac{4702230200-184}{028(01)-82}$ 92-82 С(Каз)2

ГАБИТ МАХМУДОВИЧ МУСРЕПОВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В 2-х ТОМАХ

Том I

Редактор *Р. Фаткуллина*

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Т. Фатюхина

Корректоры *Л. Овчинникова,*
Т. Филиппова

ИБ № 2302

Сдано в набор 11.03.81. Подписано в печать 23.06.82. Формат 84×108 1/32. Бумага типограф. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56 + 1 вкл. = 28,61. Усл. кр.-отт. 28,61. Уч.-изд. л. 30,67 + + 1 вкл. = 30,72. Тираж 50 000 экз. Изд. № IV-483. Заказ 1254. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Набрано и сматрицировано в 1-й типографии Профиздата. Москва, Крутицкий вал, 18. Отпечатано на Киевской книжной фабрике, 252054, Киев, ул. Ворозского 24.